This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Библіотека „СВѢТОЧА“
подъ редакціей С. А. Венгерова.
№№ 101—112.

166272

Ч. Вѣтринскій.

ГЕРЦЕНЪ.

Съ 4-мя фототипіями и 16-ю автотипіями на мѣловой бумагѣ.

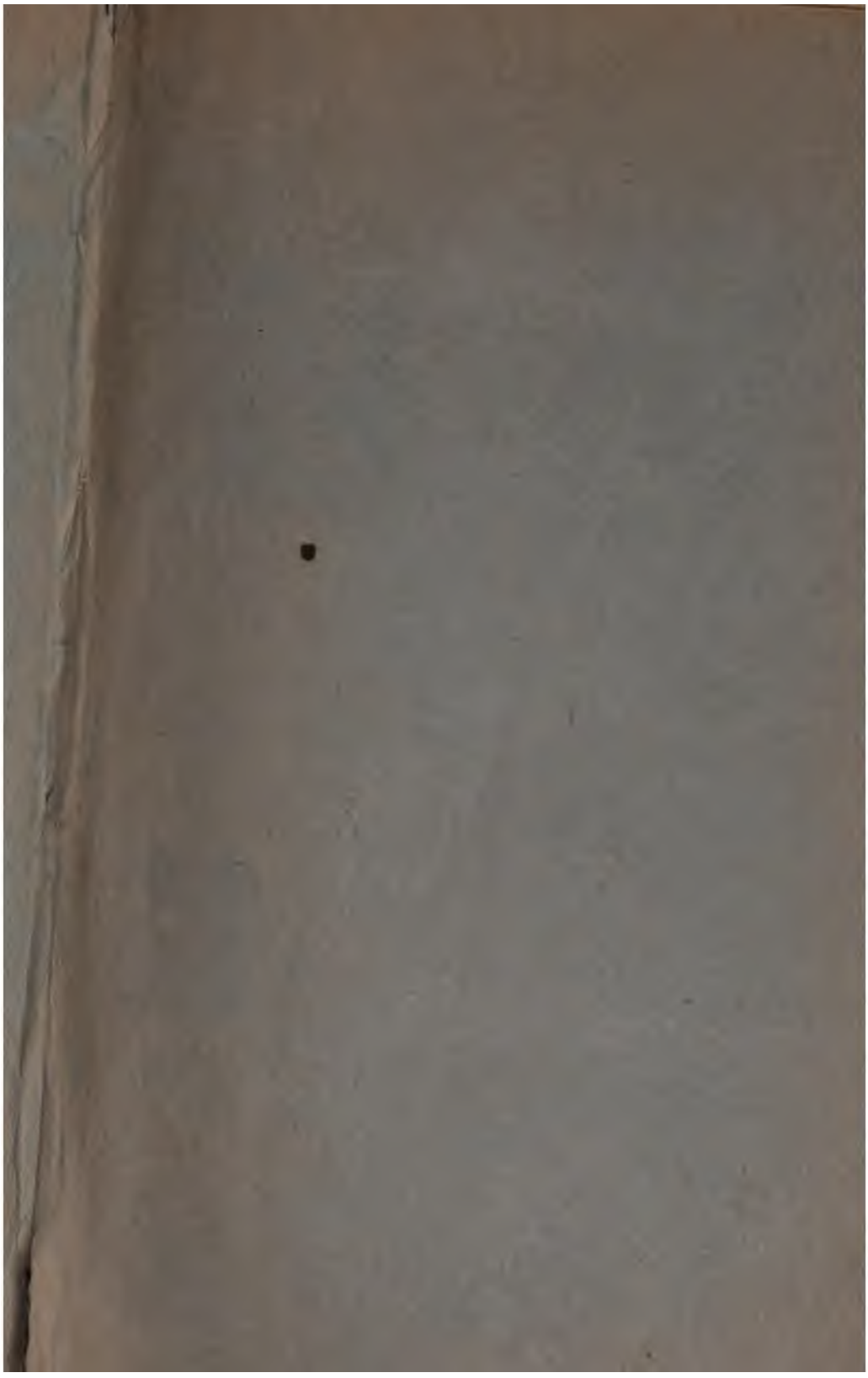
Приложеніе: А. Г. Фомина. Библіографія произведеній Герцена и литературы о немъ.

Цѣна 3 рубля.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка 86.
1908.

Включено
в каталог
1960

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES



Библіотека „СВѢТОЧА“

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ *С. А. Венгерова.*

№№ 101—112.

9(с)16 Герц.
В-393

Ч. Вѣтринскій.

Chesh-khin, V.E.

ГЕРЦЕНЪ.

Съ 4-мя фототипіями и 16-ю автотипіями на мѣловой бумагѣ.

Приложеніе: ***А. Г. Фоминъ.*** *Библіографія произведеній Герцена и литературы о немъ.*

106372

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка 86.

1908.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

Отъ автора V

Часть I. Герценъ въ Россіи.

I. Годы дѣтства 1
II. На учебной скамьѣ 11
III. Т. П. Кучина.—Н. П. Огаревъ.—Васильевское 20
IV. Университетъ 28
V. Послѣ университета 39
VI. Тюрьма 43
VII. Вятка 52
VIII. Владиміръ на Клязьмѣ 73
IX. Москва и Петербургъ 84
X. Новгородъ 94
XI. Герценъ въ Москвѣ 105
XII. Москва.—Славянофилы и западники 117
XIII. Литературная дѣятельность 133
XIV. За границу! 162

Часть II. Герценъ за границей.

I. Медовый мѣсяцъ заграничной жизни 177
II. Парижъ.—Іюньскіе дни 1848 года.—Прощаніе съ родиной 187
III. Женева и Ницца 197
IV. „Письма изъ Франціи и Италіи".—„Съ того берега" . 213
V. Мысли Герцена о Россіи 239
VI. Лондонъ. „Былое и Думы" 260
VII. Вольная русская типографія.—Восточная война . . . 271
VIII. Смерть Николая I.—„Полярная Звѣзда".—Книгоиздательство 285
IX. „Колоколъ".—1857—1861 гг. 302
X. Освобожденіе крестьянъ 327
XI. 1861—1862 гг. 345
XII. Польское возстаніе 372
XIII. Послѣдніе годы „Колокола" 387
XIV. Произведенія послѣднихъ лѣтъ 420
XV. Послѣдніе дни и кончина 438
Итоги 452
Библіографія произведеній Герцена и литературы о немъ. Составилъ *А. Г. Фоминъ* 469
Указатель 522

Иллюстраціи.

Стр.

Портреты А. И. Герцена:

1838 года, Герценъ во Владимірѣ 81
Герценъ въ Вяткѣ; работы Витберга 81
* 1842 г., работы Рейхеля 97
* 1842 г., „ „ 113
1845 г. *(литографія К. А. Горбунова)* 177
1848 г., парижская литографія 209
По фотографіи рисовалъ *А. Морозовъ;* оригиналъ принадлежитъ *Л. Ф. Пантелѣеву (фототипія)* . 225
1860-хъ годовъ 237
1861 года. Съ фотографіи Левицкаго *(фототипія)* . 353
1860-хъ годовъ. Съ фотографіи Левицкаго *(фототипія)* 469
Фотографическая шутка Левицкаго 385
Съ гравюры Адта 417
1868 года, работы Ге *(фототипія)* 433

Родители Герцена:

Отецъ 17
* Мать 17

Дѣти Герцена:

* Дочери 227
* Сынъ 241

Жена Герцена 193
Н. П. Огаревъ 33
*** М. А. Бакунинъ** 401
Герценъ на смертномъ одрѣ. Литографія Спринка 449
Памятникъ на могилѣ Герцена 465

---

* — отмѣчены портреты, появляющіеся впервые. Воспроизведены по коллекціи „Комнаты 40-хъ годовъ“, въ Московскомъ Румянцевскомъ музеѣ.

Отъ автора.

Не много русскихъ писателей, о которыхъ было бы высказано столько противорѣчивыхъ мнѣній, сколько о Герценѣ.

Съ сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка немалочисленная группа его идейныхъ и политическихъ противниковъ видѣла въ немъ того,

...кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становитъ
Превыше истины святой...
...кто нашу Русь злословитъ
И ненавидитъ всей душой,
И кто нѣметчинѣ лукавой
Передался...

Для этихъ „истинно-русскихъ“ людей своего времени Герценъ былъ измѣнникомъ и предателемъ. Такъ прочна была эта слава Герцена, какъ нѣкоего исчадія ада, что долгіе годы даже тѣ произведенія, которыя выдержали драконовскую цензуру сороковыхъ годовъ, не могли быть перепечатываемы; самое имя его и товарища его Огарева долго появлялось въ печати подъ псевдонимами Саши и Ника, а о сколько-нибудь полной и всесторонней оцѣнкѣ его роли въ русской литературѣ и исторіи не могло быть и рѣчи вплоть до манифеста 17 октября 1905 года. Правда, еще до этого дня издателю Павленкову удалось добиться разрѣшенія на „цензурное изданіе“ Герцена. Но выходъ и такого изданія тормозился. Въ 1899 г. начальникъ главнаго управле-

нія по дѣламъ печати М. П. Соловьевъ, жестоко преслѣдовавшій за вольномысліе газеты, но снисходительный къ книгамъ, говорилъ, что согласенъ на Герцена, но „дѣло споткнулось и затормозилось въ министерствѣ, наверху, при дворѣ. Тамъ къ нему мистическій ужасъ... стихійное предубѣжденіе..." („XX Вѣкъ", 1906, № 52).

Между тѣмъ иностранцы особенно охотно подчеркивали въ Герценѣ, этомъ „отступникѣ", именно его русское происхожденіе, говорили о немъ, какъ о русскомъ патріотѣ. Карлъ Марксъ обзывалъ его москвичемъ и казакомъ, друзья Маркса и Энгельса даже говорили о Герценѣ и его сподвижникахъ за границей, какъ о шпіонахъ и агентахъ русскаго правительства, и во всякомъ случаѣ иностранцы видѣли въ немъ типичнаго сына своей страны, страстно ей преданнаго и вѣрнаго до послѣднихъ испытаній и послѣдняго вздоха.

Но даже независимо отъ этихъ противорѣчій и грубыхъ разногласій, истекающихъ изъ разницы политическихъ и иныхъ убѣжденій, поражаетъ обиліе разногласій въ опредѣленіи основныхъ сторонъ характера и смысла жизни и дѣятельности Герцена.

Для однихъ — это типъ русскаго Гамлета, для другихъ боецъ; то крайній идеалистъ, почти Донъ-Кихотъ, то безнадежный пессимистъ; то вѣчно ищущій Бога типъ Ивана Карамазова, то сухой, разсудочный атеистъ... Одни ужасаются его соціализму, другіе находятъ, что соціалистомъ онъ былъ развѣ что по имени только; видятъ въ его взглядахъ на Россію только своеобразную форму славянофильства, считаютъ ихъ началомъ развивающагося и живучаго донынѣ соціалистическаго народничества, и т. д.

Истина вполнѣ, конечно, ни на одной сторонѣ. „Въ томъ-то и дѣло, что все живое такъ хитро спаяно изъ многаго множества элементовъ, что оно почти всегда стороною или двумя ускользаетъ отъ самыхъ многообъемлющихъ теорій. Отсюда рядъ ошибокъ. Такъ поступаютъ и съ историческими людьми". Эти слова самого Герцена (Соч. I, 95) какъ нельзя лучше идутъ къ

большинству характеристикъ Герцена, какія до сихъ поръ появлялись. Совершенно исключительная личность, геніальная натура, какою несомнѣнно былъ великій русскій изгнанникъ, никакъ не можетъ быть сведена на какую-нибудь одну „заднюю“ мысль, дающую тонъ *всей* его жизни. Самъ писатель сильно содѣйствовалъ этой противорѣчивости сужденій о немъ. Мало на свѣтѣ писателей до такой степени „личныхъ“, какъ Герценъ. Каждое свое настроеніе онъ передаетъ въ такомъ яркомъ, ослѣпительномъ свѣтѣ, онъ столько говоритъ о себѣ, о *своихъ* именно впечатлѣніяхъ и настроеніяхъ, столь широко разнообразныхъ, что вѣроятно немало еще пройдетъ времени, пока русскій читатель и изслѣдователь сравняется въ этой широтѣ воспріятій съ Герценомъ. Во всемъ написанномъ Герценомъ о себѣ легко найти обиліе матеріала, подтверждающаго тотъ или иной предвзятый взглядъ, и останавливаясь на той или иной группѣ идей и настроеній Герцена, соотвѣтственно личной своей впечатлительности къ этой именно группѣ, пишущій о Герценѣ болѣе всего и рискуетъ ошибиться, увидѣть всего Герцена въ томъ, что было лишь частью его или имѣло перевѣсъ только въ тотъ или иной періодъ его жизни.

Самая жизнь Герцена прошла въ значительной своей части въ такихъ разнообразныхъ условіяхъ, столько было въ ней драматическихъ личныхъ и общихъ коллизій, достигала такихъ вершинъ духовнаго развитія Европы, что не могла не вызывать наружу разнообразнѣйшихъ сторонъ его богатой натуры, и уже по этому одному жизнь Герцена будетъ давать пищу пестрой грудѣ сомнѣній, недоумѣній, кривотолковъ. Въ одномъ, однако, будутъ всѣ согласны, что это была, дѣйствительно, *жизнь*, яркая, страстная, полная захватывающаго интереса, настоящая „героическая симфонія“.

Объективный простой разсказъ *этой* жизни, безъ всякой претензіи на полное психологическое объясненіе, самъ въ себѣ имѣетъ оправданіе, ибо и въ немъ не можетъ не отразиться эта мятежная кипучая страстность и прелесть этой жизни. Добросовѣстно прослѣдить

главнѣйшіе факты этой жизни, безъ лишнихъ мелочныхъ подробностей, еще требующихъ дополнительныхъ изслѣдованій, было указать общественно-историческое значеніе отдѣльныхъ моментовъ жизни и дѣятельности Герцена, выдѣлить главныя мысли и настроенія, волновавшія его въ разное время,—вотъ цѣль настоящей книги.

Въ ней читатель найдетъ, быть можетъ, недостаточно освѣщеннымъ и тотъ высоко интересный фонъ, на которомъ развертывалась жизнь Герцена. Авторъ могутъ не безъ основанія упрекнуть, что Герценъ всесторонне не можетъ быть отданъ ни полной картины идейныхъ и общественныхъ явленій своего времени. Но Герценъ самъ—настолько полное и яркое ихъ отраженіе, такъ полно собралъ основное въ нихъ въ своей собственной личности, какъ въ жгучій освѣтительный фокусъ, онъ—настолько центральная натура (примѣняя къ нему опредѣленіе личности Бѣлинскаго Тургеневымъ), что разсказъ о пережитомъ и передуманномъ Герценомъ и есть очень часто разсказъ о томъ или иномъ общественно-историческомъ фактѣ, моментѣ, явленіи. Не беря за исчерпывающее изображеніе эпохи Герцена, мы сочли себя въ правѣ ограничиться лишь самыми краткими и общими указаніями, часто поясняющаго характера.

Болѣе полная разработка біографическихъ данныхъ и всесторонняя научная оцѣнка общественно-историческаго и литературнаго значенія Герцена пока еще впереди. О первой половинѣ жизни Герцена, до его отъѣзда за границу, и въ нашей легальной печати опубликовано уже весьма много данныхъ. Очень цѣнны по сообщаемымъ фактамъ и письмамъ, по многимъ устанавливаемымъ здѣсь точнымъ датамъ статьи М. К. Лемке въ журналѣ „Міръ Божій" („Современный Міръ") за 1906 г., захватывающія и первые годы пребыванія Герцена за границей. Но то же вторая половина жизни Герцена требуетъ еще множества сырой подготовительной работы для болѣе или менѣе полнаго своего освѣщенія. Въ сущности о жизни и дѣятельности Герцена за границей мы знаемъ немного

больше того, что самъ онъ разсказалъ въ отрывкахъ второй половины „Былого и Думъ“, въ „Колоколѣ“. Переписка заграничнаго періода его жизни извѣстна далеко не сполна. Значительный интересъ представила часть ея, именно письма къ Огареву за шестидесятые годы, напечатанные г. Г. Георгіевскимъ въ „Вѣстникѣ Европы“ 1907 и 1908 гг. Не менѣе важны для пониманія мѣста Герцена въ исторіи международной демократіи письма къ нему дѣятелей Запада, опубликованныя въ „Быломъ“ за 1907 г. М. О. Гершенсономъ. Но очень многое все еще остается совершенно не приведеннымъ въ извѣстность. Большая часть этой работы можетъ быть выполнена только за границей, такъ какъ въ лучшихъ нашихъ книгохранилищахъ нельзя найти многихъ книгъ, газетъ и журналовъ, гдѣ разсѣяны детали для исчерпывающей біографіи Герцена, критическія и полемическія статьи и замѣтки, и т. п. Необходимы тщательные поиски въ библіотекахъ Лондона, Парижа, Берлина, Вѣны, въ Италіи, даже въ Нью-Іоркѣ (оказывается, напр., что одна изъ главъ „Съ того берега“ впервые стала извѣстна по публичному чтенію въ Нью-Іоркѣ въ собраніи нѣмецкой колоніи). Придется обратить особое вниманіе на подробныя біографіи выдающихся людей Запада, бывшихъ въ сношеніяхъ съ Герценомъ, на ихъ переписку, мемуары и т. п., потому что всюду, вѣроятно, удастся обнаружить незнакомые намъ пока слѣды въ ихъ жизни Герцена, какъ напримѣръ, въ обширной біографіи К. Фохта оказались три весьма любопытныхъ письма Герцена. Для подобныхъ частныхъ изслѣдованій остается еще весьма обширное поле; напримѣръ, вовсе не обслѣдована литература критическихъ отзывовъ по поводу такой важной книги, какъ „Съ того берега“ *). Вслѣдствіе этихъ пробѣловъ огромное количество именъ

*) Мы не нашли также нигдѣ точныхъ библіографическихъ указаній на мемуары Орсини, статьи Зольгера, „самаго остроумнаго противника“ Герцена, по выраженію послѣдняго, и на другія статьи, о которыхъ говоритъ самъ Герценъ или о которыхъ упоминаютъ другіе авторы.

и фактовъ, упоминаемыхъ въ „Быломъ и Думахъ“ и письмахъ Герцена, остается для современнаго читателя и изслѣдователя неяснымъ. Одною изъ задачъ возникшаго недавно въ Петербургѣ кружка имени Герцена могли бы явиться планомѣрное собраніе и разработка этого рода матеріаловъ при содѣйствіи немалочисленныхъ, за границей живущихъ, поклонниковъ Герцена.

Въ нашемъ трудѣ неизвѣстными о Герценѣ заграничными матеріалами намъ почти не пришлось пользоваться, если не считать статей о Герценѣ Eckhardt'a и Althaus'a, нѣсколькихъ страницъ изъ „Memoiren einer Idealistin“ М. Ф. Мейзенбугъ, немногихъ деталей изъ переписки Прудона и біографіи Фохта, и нѣкоторыхъ газетныхъ вырѣзокъ, хранящихся въ „комнатѣ сороковыхъ годовъ“ Румянцевскаго Музея; здѣсь собраны обильные матеріалы о Герценѣ и Огаревѣ; къ сожалѣнію, всѣмъ этимъ намъ также пришлось воспользоваться лишь въ ничтожной степени.

Для полноты пониманія и изученія Герцена, необходимо, наконецъ, прежде всего полное собраніе его сочиненій, какъ русскихъ, такъ и написанныхъ на нѣмецкомъ и французскомъ языкахъ, изданіе критическое, необходимо и полное по возможности собраніе обширной его переписки. Нѣтъ до сихъ поръ и работъ, которыя глубже и детальнѣе опредѣлили бы связь и зависимость литературныхъ произведеній и соціально философскихъ идей Герцена отъ теченій и вѣяній общеевропейской духовной жизни **). Словомъ, авторъ популярной работы о Герценѣ, какъ настоящая, наталкивается на множество пробѣловъ въ матеріалѣ и неясностей, которыя не могли, конечно, не сказаться и въ нашемъ трудѣ.

На исчерпывающую полноту менѣе всего можетъ

**) На нѣкоторые вопросы въ этомъ направленіи даютъ отвѣтъ только книга: „Die socialpolitischen Ideen Alexander Herzen's. Von dr. Otto von Sperber. Leipzig, 1894“, общія указанія въ книгѣ г. Веселовскаго: „Западное вліяніе въ новой русской литературѣ“ и его же замѣчательная характеристика: „Герценъ-писатель“ („Вѣстн. Евр.“, 1908).

претендовать наша книга. Если она поможетъ читателямъ, не имѣющимъ возможности рыться въ сыромъ матеріалѣ, спеціальныхъ работахъ и журналахъ, найти опорныя точки къ самостоятельному пониманію и усвоенію всего, чѣмъ такъ богата жизнь и литературная и общественная дѣятельность Герцена, наше дѣло сдѣлано.

Имѣя въ виду такого рядового читателя, мы не нашли нужнымъ обременять изложеніе точными и подробными библіографическими указаніями, разсѣивающими вниманіе, и ограничились весьма немногими, гдѣ то казалось совершенно необходимымъ. Самостоятельно работающій надъ Герценомъ безъ труда найдетъ и самъ, въ случаѣ надобности, каждый контекстъ множества приводимыхъ у насъ цитатъ и источникъ тѣхъ или другихъ фактовъ. Курсивъ въ цитатахъ, если нѣтъ особой оговорки, всюду принадлежитъ Герцену.

Въ заключеніе авторъ считаетъ пріятнымъ долгомъ высказать искреннюю признательность за содѣйствіе въ его работѣ библіотекарямъ — Румянцевскаго Музея— А. І. Калишевскому, университетской въ Москвѣ—Д. Д. Языкову и нижегородской городской—П. И. Крылову.

Нижній-Новгородъ, мартъ 1908 г.

Важнѣйшія поправки.

Страница.	*Строка.*	*Напечатано.*	*Должно быть.*
49	21 сверху	его заключенія	его *тюремнаго* заключенія
160	7 снизу	жизни	*мысли*
185	8 сверху	вѣсть отъ 24 февраля въ Парижѣ	вѣсти *о* 24 февраля въ Парижѣ,
191	11 „	М. Ф. Эрнъ	*М. Ф. Коршъ и М. К. Эрнъ*
„	3 снизу	войны	*волны*
213	21 сверху	1518	*1851*
237	4 „	Корсесъ	*Кортесъ*
256	11 „	сложились	сложилась
257	20 „	статья	статьи
„	7 „	Море	*Торе*
261	14 снизу	Memoiren, 149	Memoiren, *II*, 149
264	24 „	(„Письмо къ Мишле“,	(*изъ письма къ Мишле*
281	11 и 12 сверху	Варбеса	*Б*арбеса
304	17 „	разоблаченій	разоблаченія
319	1 снизу	т. 11	*т. II*
344	*Пропущена выноска къ словамъ въ первой сверху строкѣ „Sire, pas des rêveries!“*: „Pas des rêveries!“—слова Александра II въ Варшавѣ въ 1856 г. при пріемѣ польской депутаціи: „не надо мечтаній!“		
360	21 сверху	мірный	мирный
414	10 снизу	„Колоколъ“	„Kolokol“
415	13 сверху	не почелъ	почелъ
418	13 снизу	Г. Ніонскій	*І.* Ніонскій
421	13 сверху	смыслъ личнаго существованія	*личное существованіе*
433	4 снизу	вступить	*выступить*

А. И. Герценъ.

Жизнь.

Мысли.

Дѣятельность.

„Я не хочу тебя обманывать,—знай истину, какъ я ее знаю; тебѣ эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованіями, а просто по праву наслѣдства.

„Въ твоей жизни придутъ иные вопросы, иныя столкновенія... въ страданіяхъ, въ трудѣ недостатка не будетъ.

„Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ,—ихъ нѣтъ въ ней, ихъ вообще нѣтъ у современнаго человѣка. То, что рѣшено, то кончено, а грядущій переворотъ только что начинается.

„Мы не строимъ,—мы ломаемъ, мы не возвѣщаемъ новаго откровенія, а устраняемъ старую ложь. Современный человѣкъ, печальный Pontifex Maximus, ставитъ только мостъ,—иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по немъ. Ты, можетъ, увидишь его... Не останься на старомъ берегу... Лучше съ нимъ погибнуть, нежели спастись въ богадѣльнѣ реакціи.

„Религія грядущаго общественнаго пересозданія—одна религія, которую я завѣщаю тебѣ. Она—безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти...

„.. Благословляю тебя на этотъ путь во имя человѣческаго разума, личной свободы и братской любви".

Герценъ—сыну, Посвященіе „Съ того берега".

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЕРЦЕНЪ ВЪ РОССІИ.

„Тебѣ—лавровый вѣнокъ, представителю русской мысли, чающей свое величіе и неизмѣримую будущность“.

К. Кавелинъ—Герцену.

I.

Годы дѣтства.

Александръ Ивановичъ Герценъ родился 25-го марта 1812 года въ Москвѣ. Онъ былъ внѣбрачнымъ сыномъ родовитаго московскаго помѣщика Ивана Алексѣевича Яковлева и нѣмки изъ Штутгарта Генріэты-Вильгельмины-Луизы Гаагъ.

Родъ Яковлевыхъ велся отъ прусскаго короля Вейдевута. Сухово-Кобылины, Романовы, Шереметьевы, Колычевы и др. знатнѣйшія фамиліи были въ близкомъ родствѣ съ ними. Яковлевы служили русскимъ царямъ въ боярахъ, окольничими, воеводами и т. д.

У одного изъ представителей этого рода Алексѣя Александровича Яковлева было въ XVIII вѣкѣ четверо сыновей. Петръ, Александръ, Левъ и Иванъ, отецъ Герцена. Люди французскаго воспитанія,—удивительные это вышли оригиналы. „Иностранцы дома, иностранцы въ чужихъ краяхъ,—писалъ о нихъ Герценъ,—праздные зрители, испорченные для Россіи западными предразсудками, для Запада — русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись въ искусственной жизни, въ чувственныхъ наслажденіяхъ и нестерпимомъ эгоизмѣ“.

Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ остался послѣ родителей ребенкомъ. Воспитанный французомъ-гувернеромъ, какъ сказывали, родственникомъ Вольтера, онъ до конца жизни писалъ свободнѣе и правильнѣе по-французски, нежели по-русски. Шестнадцати лѣтъ онъ вступилъ въ Измайловскій полкъ и оригинальнымъ, сильнымъ умомъ обратилъ на себя вниманіе великаго князя Константина Павловича. Ему могла предстоять блестящая карьера, для которой у него, повиди-

мому, были и такіе задатки, какъ рано развившаяся проницательность, умѣнье понимать людей. Но почему-то онъ служилъ недолго, вышелъ въ отставку капитаномъ гвардіи, въ началѣ столѣтія уѣхалъ за границу, путешествовалъ изъ страны въ страну, и только въ 1811 г. возвратился въ Россію, гдѣ повелъ до конца своихъ дней странную, праздную, мучительную для всѣхъ окружавшихъ жизнь.

„Я никогда не могъ вполнѣ понять,—писалъ впослѣдствіи его сынъ,—откуда происходила злая насмѣшка и раздраженіе, наполнявшія его душу, его недовѣрчивое удаленіе отъ людей и досада, снѣдавшая его. Развѣ онъ унесъ съ собой въ могилу какое-нибудь воспоминаніе, котораго никому не довѣрилъ, или это было просто слѣдствіе встрѣчи двухъ вещей, до того противоположныхъ, какъ восемнадцатый вѣкъ и русская жизнь, при посредствѣ третьей, ужасно способствующей капризному развитію,—помѣщичьей праздности". Всѣ способности, огромный запасъ „ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ" ушли Богъ знаетъ на что, на непрерывную войну ироніей и презрѣніемъ съ близкими и дворней. Своими имѣніями онъ управлялъ безтолково, старосты и бурмистры грабили и мужиковъ, и его самого, а онъ усчитывалъ свѣчи и расходы на вино, въ то самое время, когда въ одной деревнѣ сводили цѣлый лѣсъ, а въ другой ему продавали собственный же овесъ. Онъ увѣрилъ себя, что опасно боленъ, и безпрестанно лечился, разгоняя тѣмъ и безъ того рѣдкихъ гостей. Невыносимую холодную тоску, наконецъ, онъ нагонялъ на окружавшихъ требованіями соблюденія приличій.

„Людей онъ презиралъ откровенно, открыто—всѣхъ, — вспоминаетъ Герценъ;—ни въ какомъ случаѣ онъ не считалъ ни на кого, и я не помню, чтобы онъ къ кому-нибудь обращался со значительной просьбой. Онъ и самъ ни для кого ничего не дѣлалъ. Въ сношеніяхъ съ посторонними онъ требовалъ одного — сохраненія приличій: les apparences, les convenances составляли его нравственную религію. Онъ говаривалъ: „Въ жизни всего важнѣе esprit de conduite, важнѣе превыспренняго ума и всякаго ученья. Вездѣ умѣть найтиться, нигдѣ не соваться впередъ, со всѣми чрезвычайная вѣжливость и ни съ кѣмъ фамильярности". Вообще онъ не любилъ никакого abandon, никакой откровенности, онъ все это называлъ фамильярностью, такъ, какъ всякое чувство—сантиментальностью. Онъ постоянно представлялъ изъ себя человѣка, стоящаго выше всѣхъ этихъ мелочей; для чего, съ какой цѣлью, въ чемъ состоялъ высшій интересъ, которому жертвовалось сердце—я не знаю".

Мать Герцена была во всемъ противоположностью этой

загадочно-холодной личности. Красивая брюнетка, добросердечная до безконечности, она родилась въ Штутгардтѣ въ небогатой семьѣ; жилось ей несчастливо, и дѣвушка часто проводила по нѣскольку дней въ одномъ богатомъ семействѣ, гдѣ видала русскаго посланника Льва Алексѣевича Яковлева и брата его Ивана. Послѣ какой-то семейной ссоры пятнадцатилѣтняя дѣвушка бѣжала изъ дому въ посольство. Въ исходѣ 1811 года, наканунѣ Отечественной войны, Иванъ Алексѣевичъ собирался въ Россію; уступая отчаянію Генріэты, онъ привезъ ее въ Москву, гдѣ она и осталась „при баринѣ“ подъ именемъ Луизы Ивановны. Въ ворчливыя минуты Иванъ Алексѣевичъ зло подшучивалъ, не считаясь съ посторонними, надъ ея ложнымъ положеніемъ „барышни съ сынкомъ“. Ему онъ далъ фамилію Герцена (т. е. „дитяти сердца“—отъ нѣмецкаго слова Herz—сердце). Оффиціально и постороннимъ всю жизнь называлъ его своимъ воспитанникомъ или пріемышемъ.

Захватъ Москвы французами засталъ Яковлева врасплохъ. Одно время всѣмъ пришлось скитаться въ пожары, среди разоренія города, не зная куда приклонить голову и чѣмъ накормить ребенка. Къ счастью, все окончилось для нихъ благополучно. Иванъ Алексѣевичъ обратилъ на себя вниманіе главнокомандующаго Москвы Мортье (герцога Тревизскаго), знавшаго его по Парижу, былъ представленъ Наполеону и получилъ пропускъ, съ условіемъ отвезти письмо Александру I. Выбравшись изъ Москвы со всею семьей и дворней, Иванъ Алексѣевичъ уѣхалъ въ Петербургъ, а семья жила по Яковлевскимъ помѣстьямъ въ Ярославской и Тверской губерніяхъ, пока, наконецъ, не явилась возможность снова поселиться въ Москвѣ.

Герценъ родился слабымъ и тщедушнымъ. Къ нему взяли кормилицу изъ подмосковной деревни, а въ подмогу ей няню Вѣру Артамоновну, пожилую дѣвушку. Отъ колыбели мальчика какъ отецъ, такъ и всѣ къ нему близкіе звали „Шушкой“ и заняты были имъ чрезвычайно. Иванъ Алексѣевичъ дрожалъ за его здоровье, зимой непомѣрно куталъ, при малѣйшемъ насморкѣ или кашлѣ поднимались хлопоты и тревога, и т. п. Меньше другихъ его нѣжила мать, жившая въ отдѣльной отъ отца половинѣ, но не перечила кричать, шумѣть, шалить цѣлые дни. Онъ былъ такъ живъ и рѣзвъ, что пяти минутъ не могъ оставаться на одномъ мѣстѣ безъ шума. Колотилъ, стучалъ, ломалъ, только трещали дорогія игрушки. Любопытная черта: не взирая на его чрезмѣрную живость, онъ рѣдко улыбался,—шалилъ, ломалъ, шумѣлъ серьезно, какъ бы дѣлая дѣло. Часто, бросивши игрушки, онъ останавливалъ взоръ на одномъ предметѣ и какъ бы вдумывался во что-то.

Это былъ ребенокъ худой, блѣдный, съ рѣдкими, длинными бѣлокурыми волосами, съ большими темносѣрыми глазами, въ которыхъ порой блестѣли искры и рано засвѣтилась мысль.

Добродушная Луиза Ивановна больше всѣхъ въ домѣ была любима, съ каждымъ обращалась она ласково и снисходительно, за каждаго заступалась, не вмѣшивалась ни въ какія дѣла. Вмѣстѣ со всѣми она несла тяжелую долю притѣсненій и оскорбленій отъ капризовъ Ивана Алексѣевича. Тихо протекла лучшая пора ея жизни, въ мелкихъ домашнихъ работахъ, въ чтеніи книгъ нѣмецкихъ авторовъ, попеченіи о Сашѣ и о постоянно больномъ и капризномъ старикѣ. Это незамѣтное и блѣдное существованіе было освѣщено лишь привязанностью къ сыну, мыслями, горемъ и радостью о немъ, и онъ платилъ ей тѣмъ же. Но на душевный складъ, на строй и особенно на направленіе мыслей ребенка мать едва ли оказала прямое вліяніе. Ея доброту онъ оцѣнилъ позднѣе, понялъ позднѣе и ложное положеніе, а пока росъ охваченный впечатлѣніями общаго вниманія къ каждому своему шагу и угодливости его капризнымъ настроеніямъ.

Пока отецъ жилъ вмѣстѣ съ братомъ Львомъ (сенаторомъ), послѣдній, человѣкъ нрава веселаго, сангвиническаго, любившій разсѣянія, вносилъ въ домъ не мало оживленія. За Шушкой ходили двѣ нянюшки: кромѣ упомянутой уже Вѣры Артамоновны, занимавшей его на сонъ грядущій безконечными разсказами о пожарѣ Москвы и бѣгствѣ изъ нея, нѣмка м-мъ Прово. Обѣ были очень добрыя женщины, но Шушкѣ было скучно смотрѣть, какъ онѣ цѣлый день вяжутъ чулокъ и пикируются между собой, а потому при всякомъ удобномъ случаѣ онъ убѣгалъ на половину сенатора, гдѣ у него былъ закадычнымъ пріятелемъ камердинеръ сенатора французъ Кало. Совершенно одинокій въ Россіи, разлученный со всѣми своими, плохо говорившій по-русски, онъ поженски привязался къ мальчику, часами развлекалъ его, вырѣзывалъ чудеса изъ картонной бумаги, точилъ разныя бездѣлицы изъ дерева, по вечерамъ приносилъ изъ библіотеки наверхъ книги съ картинами. Особенно дороги были мальчику сюрпризы, которые Кало приготовлялъ своему любимцу ко дню его рожденія и именинъ; эти сюрпризы, транспаранты съ вензелемъ именинника, кукольная комедія или комнатный фейерверкъ—затмевали обычную подарочную рухлядь, дорогія механическія затѣи, подарки сенатора и другой родни. Недоставало одного—товарищей.

Съ этой стороны Герценъ, дѣйствительно, не былъ избалованъ. Такимъ товарищемъ не могъ быть ему старшій братъ по отцу, Егоръ Ивановичъ, также незаконнорожденный, от-

цомъ очень нелюбимый и вдобавокъ больной, постоянно выносившій разныя операціи. Въ качествѣ товарища иногда являлась дѣвочка, лѣтъ на пять старше, внучка старшаго брата Ивана Алексѣевича, Таня Кучина (Т. П. Пассекъ), но дружба между ними завязалась позднѣе.

„Темно и однообразно шло для меня время въ странномъ аббатствѣ родительскаго дома. Не было мнѣ ни поощреній, ни разсѣяній, отецъ мой былъ почти всегда мной недоволенъ, онъ баловалъ меня только лѣтъ до десяти; товарищей не было, учителя приходили и уходили, и я украдкой убѣгалъ, провожая ихъ на дворъ, поиграть съ дворовыми мальчиками, что было строго запрещено. Остальное время я скитался по большимъ почернѣлымъ комнатамъ съ закрытыми окнами днемъ, едва освѣщенными вечеромъ, ничего не дѣлая или читая всякую всячину". Отъ бездѣлья мальчикъ вошелъ во всѣ интересы и тайны передней и дворни, повелъ „маленькую войну съ отцомъ, соединяясь съ слугами и служанками".

Это было на переломѣ къ отрочеству, въ пору перваго раздумья надъ окружающимъ и надъ собственнымъ своимъ положеніемъ.

Взаимному сближенію мальчика съ кое-кѣмъ изъ дворни содѣйствовало и то, что крѣпостныя отношенія въ домѣ Яковлевыхъ не проявлялись въ особо грубой обнаженной формѣ. Ни сенаторъ, ни отецъ не тѣснили особенно дворовыхъ, т. е. не тѣснили физически, какъ ни докучалъ порою Иванъ Алексѣевичъ холодно-вѣжливыми насмѣшками и капризами своимъ приближеннымъ. Тѣлесныя наказанія были очень рѣдки. Слуги жили около господъ, зная, что бываетъ гораздо и много хуже, цѣнили уже это одно и ласково смотрѣли на полубарченка, какимъ считали, конечно, между собой—баловня Шушку. При немъ велись откровенные разговоры о своихъ дѣлахъ и бѣдахъ, и мало-по-малу у мальчика широко открывались глаза на положеніе крѣпостныхъ, на положеніе людей зависимыхъ вообще.

На мальчика сильно дѣйствовали страшныя сцены отчаянія дворовыхъ, отдаваемыхъ въ солдаты. Поразилъ его однажды видъ старика лѣтъ шестидесяти, какого-то старосты, которому Иванъ Алексѣевичъ за растрату оброка велѣлъ обрить бороду: онъ плакалъ навзрыдъ, кланялся въ землю и просилъ положить съ него, сверхъ оброка, сто цѣлковыхъ штрафа, но помиловать отъ безчестья. Однажды, видя, какъ на дворѣ довѣренный сборщикъ оброка съ Яковлевскихъ мужиковъ билъ какого-то стараго крестьянина, мальчикъ отъ бѣшенства вцѣпился драчуну въ бороду и чуть не упалъ въ обморокъ, и не могъ потомъ равно-

душно смотрѣть на него. На глазахъ мальчика, когда ему было девять лѣтъ, отравился крѣпостной врачъ сенатора Толочановъ, съ горя, что его оставила жена, когда узнала, что ея мужъ скрылъ отъ нея свое званіе. Въ спившемся съ круга поварѣ, котораго сенаторъ почему-то не отпустилъ на выкупъ, мальчикъ разглядѣлъ сосредоточенную ненависть и злобу, лежащія на сердцѣ крѣпостного. И этотъ несчастный любилъ полубарченка, давалъ при немъ волю своему языку и часто, фамильярно трепля по плечу, говорилъ: „Добрая вѣтвь испорченнаго древа“. Вообще мальчика „люди“ считали на своей сторонѣ. Няня, желая сильно обидѣть за какую-нибудь шалость, говорила ему: „Дайте срокъ, вырастете, такой же баринъ будете, какъ другіе“. „На меня передняя не сдѣлала никакого дѣйствительно дурного вліянія,—категорически заявляетъ самъ Герценъ:—Напротивъ, она съ раннихъ лѣтъ развила во мнѣ непреодолимую ненависть ко всякому рабству и ко всякому произволу“.

Откровенные пересуды той же дворни рано раскрыли мальчику глаза и на его незавидное положеніе, какъ незаконнорожденнаго. „Однажды настороженный,—вспоминаетъ Герценъ,—я въ нѣсколько недѣль узналъ всѣ подробности о встрѣчѣ моего отца съ моей матерью, о томъ, какъ она рѣшилась оставить родительскій домъ, какъ была спрятана въ русскомъ посольствѣ въ Касселѣ у сенатора и въ мужскомъ платьѣ переѣхала границу; все это я узналъ, ни разу не сдѣлавъ никому ни одного вопроса. Первое слѣдствіе этихъ открытій было отдаленіе отъ моего отца... Мысль, что доля всего выносится (матерью) за меня, заволакивала иной разъ темнымъ и тяжелымъ облакомъ свѣтлую, дѣтскую фантазію. Вторая мысль состояла въ томъ, что я гораздо меньше завишу отъ моего отца, нежели вообще дѣти. Эта самобытность, которую я самъ себѣ выдумалъ, мнѣ нравилась“...

Сверхъ того между самимъ Иваномъ Алексѣевичемъ и его близкими знакомыми бывали разговоры о ложномъ положеніи его побочнаго сына, и слыша ихъ, послѣдній приходилъ къ той же мысли о своей самобытности. „Я чувствовалъ себя свободнѣе отъ общества, котораго вовсе не зналъ, чувствовалъ, что въ сущности я оставленъ на собственныя свои силы“. Такъ рано зародилось въ Герценѣ, сперва безсознательно, отчужденіе отъ того аристократическаго общества, дорогу въ которое ему легко могли открыть связи Ивана Алексѣевича въ высшихъ кругахъ, вплоть до придворнаго.

Съ ростомъ сознанія „самобытности“, угасло въ мальчикѣ ребяческое увлеченіе всѣмъ военнымъ. Мы упоминали уже о

разсказахъ Вѣры Артамоновны. Разсказы о пожарѣ Москвы, о Бородинскомъ сраженіи, о Березинѣ, о взятіи Парижа были колыбельною пѣснью, дѣтскими сказками, Иліадою и Одиссеей Герцена. Старые сослуживцы отца по Измайловскому полку, теперь участники, покрытые славой, едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали въ домѣ Яковлева. Мальчикъ особенно любилъ разсказы графа Милорадовича, и не разъ засыпалъ подъ нихъ на диванѣ за его спиной. Разумѣется, при такой обстановкѣ онъ былъ отчаянный патріотъ и собирался въ полкъ.

Однако на военную карьеру при мальчикѣ указывали, какъ на единственное средство выйти изъ „ложнаго положенія“, и вотъ мало-по-малу дорожа своею „самобытностью“, онъ, разбирая вопросъ въ совершенномъ одиночествѣ недѣли и мѣсяцы, вдругъ охладѣлъ къ военной службѣ; любовь и нѣжность къ эполетамъ, аксельбантамъ, лампасамъ угасла.

Охлажденіе къ военной службѣ, упорныя тайныя думы о своемъ положеніи, начало ученья и рано развившаяся страсть къ книгамъ были концомъ ребячества Герцена, на которое бросили мрачную тѣнь сумрачный характеръ отца и сцены его съ матерью, общая холодная атмосфера нравственнаго одиночества.

Чѣмъ дальше, тѣмъ чаще живой темпераментъ и острый умъ ребенка подводилъ его подъ холодныя нравоученія Ивана Алексѣевича. Соображеніе у него было чрезвычайно быстрое, мгновенно рождалась острота, а иногда и дерзкая выходка, безъ малѣйшаго намѣренія обидѣть—просто отъ повадки дѣлать и говорить, что взбрело на умъ, не стѣсняясь. Такъ, разъ, когда Сашѣ было лѣтъ 10 или 11, Иванъ Алексѣевичъ при немъ пригласилъ отобѣдать одного хорошаго знакомаго, человѣка добраго и уважаемаго; тотъ, поблагодаривши, отказался, говоря, что теперь постъ, а онъ скоромнаго не ѣстъ. Вдругъ Саша провозгласилъ: „Привыкъословъ смиренный родъ сухоядѣніемъ питаться“; ему показалось кстати привести этотъ стихъ. Всѣ остолбенѣли отъ изумленія и досады. Кто-то изъ гостей спрашиваетъ мальчика, разсматривавшаго огромную книгу съ дворянскими гербами и родословными, что это за книга. Саша, не задумавшись, отвѣтилъ: „Зоологія“, за что все, конечно, не разъ получалъ жестокіе нагоняи (разсказы Т. Пассекъ).

Въ этихъ остротахъ и выходкахъ былъ, конечно, зародышъ будущаго не знавшаго удержу острословія Герцена, клеймившаго все, на что позднѣе направлялся его всеразлагающій анализъ. Нельзя не видѣть, что самъ Иванъ Алексѣевичъ, съ вѣчною шпилькою въ запасѣ для каждаго, могъ бы узнать себя въ сынѣ. Но, какъ это часто бываетъ,

со стороны отца стало развиваться мало-по-малу раздраженіе противъ этихъ, имъ же безсознательно воспитанныхъ и отъ него же унаслѣдованныхъ, склонностей сына. Какъ сказано, отецъ баловалъ его только лѣтъ до десяти. Чѣмъ дальше, тѣмъ строже старикъ сталъ проводить свой на досугѣ изобрѣтенный методъ воспитанія—принципъ отказа въ самыхъ невинныхъ желаніяхъ, въ самыхъ естественныхъ просьбахъ. Такъ, „изъ рѣзвости онъ развилъ непокорность". По мѣрѣ того, какъ мальчикъ проявлялъ больше сознательности, острой живости ума, между нимъ и отцомъ выростало отчужденіе. Со своей проницательностью Иванъ Алексѣевичъ, конечно, не могъ, наконецъ, не подмѣтить испытующаго взгляда ребенка, задумывавшагося надъ тайной своего происхожденія, и не чувствовать въ этомъ взглядѣ какого-то укора себѣ. Отсюда и возможность крайне тягостныхъ сценъ.

Подросткомъ Герценъ начинаетъ заступаться за разныхъ приживальщиковъ и приживалокъ, неизбѣжныхъ въ ту пору въ каждомъ барскомъ домѣ, особливо московскомъ; надъ ними безпощадно издѣвался Иванъ Алексѣевичъ. Въ отвѣтъ же на защиту убогихъ душою приживалокъ, старикъ привставалъ, снималъ съ себя за кисточку бархатную шапочку, и, держа ее на воздухѣ, язвительно благодарилъ сына за урокъ и пуще язвилъ приживалку. Нерѣдко иронія стараго брюзги, съ изысканною мстительностью за собственную неудавшуюся жизнь, направлялась на Луизу Ивановну, и тогда между отцомъ и сыномъ разыгрывались сцены еще острѣе.

Однажды Герценъ, уже на порогѣ отъ отрочества къ юности, послѣ издѣвательской рѣчи отца во время обѣда о своей сиротливости и одиночествѣ, внѣ себя, блѣдный отъ волненія, выразилъ намѣреніе вмѣстѣ съ матерью оставить домъ Ивана Алексѣевича. Старикъ былъ пораженъ и опомнился и кончилъ просьбой о прощеніи. Охая и сгорбившись противъ обыкновеннаго, увелъ сына въ кабинетъ, и послѣ объясненія сдѣлался сдержаннѣе. Но искренняя, въ сущности, привязанность его никогда не могла проявиться сполна и смягчить холодное отчужденіе, царившее въ этой странной семьѣ.

„Лѣтъ тридцати, возвратившись изъ ссылки,—вспоминаетъ Герценъ впослѣдствіи,—я понялъ, что во многомъ мой отецъ былъ правъ, что онъ, по несчастію, оскорбительно хорошо зналъ людей. Но моя ли была вина, что онъ и самую истину проповѣдывалъ такимъ возмутительнымъ образомъ для юнаго сердца?".

Такъ входилъ мальчикъ въ годы школьничества, внѣшне избалованный, втайнѣ съ надломомъ и горечью въ сердцѣ. Тѣмъ съ большею страстью онъ отдается открывавшемуся передъ нимъ широкому міру новыхъ, болѣе широкихъ интересовъ.

II.

На учебной скамьѣ.

Лѣтъ двѣнадцати Герценъ былъ переведенъ съ женскихъ рукъ на мужскія. Къ этому возрасту онъ уже болталъ понѣмецки и по-французски, шутя выучившись языкамъ на половинѣ у матери и у отца съ сенаторомъ. Книги и первые учителя, являвшіеся въ опредѣленные часы для занятій, имѣли рѣшающее значеніе въ развитіи подростка.

У Ивана Алексѣевича была довольно большая библіотека изъ французскихъ книгъ XVIII столѣтія. Книги валялись грудами въ сырой комнатѣ нижняго этажа, въ половинѣ сенатора. Мальчикъ рылся въ этихъ литературныхъ закромахъ сколько хотѣлъ, читалъ повѣсти Вольтера, романы Лафонтена, комедіи Коцебу и т. д. Сильнѣйшее вліяніе имѣла на него перечитанная двадцать разъ и при томъ въ русскомъ переводѣ „Свадьба Фигаро“. „Я былъ влюбленъ въ Херубима и графиню, и, сверхъ того, я самъ былъ Херубимъ; у меня замирало сердце при чтеніи“... и въ связи съ этимъ Герценъ вспоминалъ о своемъ первомъ ребяческомъ увлеченій какой-то молоденькой дѣвушкой, пріѣзжавшей иногда къ Яковлевымъ изъ пансіона; онъ никому не заикался объ этомъ, и „первое дыханіе любви прошло, не свѣданное никѣмъ, ни даже ею“. Гетевскій „Вертеръ“ съ его безумствомъ неудачной любви занималъ мальчика почти столько же, сколько Бомарше; половины романа онъ не понималъ и пропускалъ, торопясь скорѣе дойти до страшной развязки, и тутъ плакалъ, какъ сумасшедшій. Французское вліяніе, какъ вообще въ воспитаніи тогдашняго дворянства, рѣшительно преобладало, и французскій вольномысленный скептицизмъ XVIII вѣка чрезъ книги и отца рано оказалъ рѣшающее вліяніе на развитіе Герцена. Насмѣшка Вольтера привилась къ уму его раньше понятій о религіи, къ которой принадлежалъ по крещенію. Вообще религія считалась одною изъ тѣхъ convenances, за которыя такъ стоялъ Иванъ Алексѣе-

вичъ. Мать-лютеранка была степенью религіознѣе, брала мальчика „въ свою кирку“, гдѣ онъ выучился въ совершенствѣ передразнивать декламацію и пустословіе пасторовъ. Каждый годъ отецъ приказывалъ говѣть, что Герценъ и исполнялъ не безъ страха, наводимаго всѣмъ непонятнымъ и таинственнымъ, особенно когда ему придаютъ серьезную торжественность, но разговѣвшись послѣ заутрени на Святой недѣлѣ и объѣвшись красныхъ яицъ, пасхи и кулича, онъ цѣлый годъ не думалъ больше о религіи.

„Но Евангеліе,—вспоминаетъ Герценъ, и это воспоминаніе многое освѣщаетъ въ складѣ его ума и настроеній въ болѣе зрѣлые годы,—я читалъ много и съ любовью, по-славянски и въ лютеровскомъ переводѣ. Я читалъ безъ всякаго руководства, не все понималъ, но чувствовалъ широкое и глубокое уваженіе къ читаемому. Въ первой молодости моей я часто увлекался вольтеріанизмомъ, любилъ иронію и насмѣшку, но не помню, чтобы когда-нибудь я взялъ въ руки Евангеліе съ холоднымъ чувствомъ; это меня проводило черезъ всю жизнь; во всѣ возрасты, при разныхъ событіяхъ я возвращался къ чтенію Евангелія, и всякій разъ его содержаніе низводило миръ и кротость на душу... Когда священникъ началъ мнѣ давать уроки (это было около 15 лѣтъ Герцена.—*Авт.*), онъ былъ удивленъ не только общимъ знаніемъ Евангелія, но тѣмъ, что я приводилъ тексты буквально. „Но Господь Богъ,—говорилъ онъ,— раскрывъ умъ, не раскрылъ еще сердца“. И мой теологъ, пожимая плечами, удивлялся моей двойственности“...

„Вскорѣ религія другого рода овладѣла моей душой“—говоритъ объ этой порѣ Герценъ. Толчкомъ была смерть Александра I и гибель декабристовъ.

Герценъ росъ въ большомъ уваженіи къ Александру, герою Отечественной войны. Мрачный конецъ царствованія, мертвящее вліяніе аракчеевщины—все это было недоступно дѣтскому уму. Но смерть Царя, котораго мальчикъ видѣлъ разъ на прогулкѣ за Тверской заставой; разсказы среди старшихъ и дворни о 14-мъ декабря, о стрѣльбѣ изъ пушекъ по бунтовщикамъ, о смерти графа Милорадовича, за спиной котораго засыпалъ Герценъ ребенкомъ; эти разговоры: „того-то взяли“, „того-то привезли изъ деревни“; эта атмосфера общаго недоумѣнія, страха передъ неизвѣстнымъ и какого то затаеннаго уваженія къ жертвамъ роковой схватки самодержавія съ горстью заговорщиковъ,—все это не могло не поразить пылкое воображеніе мальчика.

„Мнѣ открывался новый міръ, который становился больше и больше средоточіемъ всего нравственнаго существованія моего; не знаю, какъ это сдѣлалось, но, мало понимая или

очень смутно въ чемъ дѣло, я чувствовалъ, что я не съ той стороны, съ которой картечь и побѣды". Мѣсяцы томительно ожидало московское высшее общество, съ которымъ тѣсно были связаны декабристы родственными связями, рѣшенія ихъ участи. „Описать или словами передать ужасъ и уныніе, которыя овладѣли всѣми,—нѣтъ возможности; словно каждый лишался своего отца или брата",—говоритъ современникъ (Записки Кошелева). Въ возможность кровавой расправы, послѣ двадцатипятилѣтія, не знавшаго серьезныхъ политическихъ гоненій, не вѣрили. Но Николай I рѣшилъ иначе. „Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческій сонъ души моей",—говоритъ Герценъ.

Непосредственно за казнью пятерыхъ декабристовъ, Москва 22 августа 1826 года торжествовала коронацію. И. А. Яковлевъ сбросилъ халатъ, чтобы представиться великому князю Константину Павловичу. Близкимъ его была полная возможность видѣть торжества вблизи. Герценъ видѣлъ всю ихъ шумиху, слышалъ непосредственно или въ семейной передачѣ благодарственное слово Филарета за казнь *), и на Кремлевской площади, подъ привѣтственные залпы, потерянный въ толпѣ, „передъ алтаремъ, оскверненнымъ кровавой молитвой, клялся отомстить за казненныхъ и обрекалъ себя на борьбу съ этимъ тираномъ, съ этимъ алтаремъ, съ этими пушками".

Расправа Николая I со своими политическими врагами, расправа уже тогда, когда они были всецѣло въ его рукахъ и не представляли опасности, этотъ его первый шагъ испуга за себя и мести навсегда, можно сказать, опредѣлили отношеніе къ новому царствованію со стороны такихъ людей, какъ Герценъ. Всегда и всюду къ отрицанію русскихъ свободомыслящихъ людей тогдашняго режима примѣшивается чувство совершенно личное.

Личное вліяніе Царя на всѣ стѣснительныя по отношенію къ свободѣ личности, къ свободѣ мысли, науки и слова мѣры придавали и отношенію Герцена и другихъ людей сороковыхъ годовъ къ правительству въ значительной мѣрѣ характеръ личныхъ отношеній, личнаго отвращенія къ суровой волѣ ограниченнаго, всевластнаго человѣка. Такъ, казнь декабристовъ была началомъ и личной, и принципіальной вражды Герцена къ русскому императорству.

Одиночество теперь тяготило Герцена больше прежняго,

*) „....Какъ настоящее торжественное пришествіе Твое намъ радость, — говорилъ Филаретъ, возведенный въ этотъ день въ санъ митрополита,—такъ и предшествующее умедленіе Твое было намъ благодѣяніе". Слово сравнивало далѣе Николая I съ Соломономъ, укрощавшимъ бунтъ по смерти Давида.

хотѣлось подѣлиться своими мыслями и мечтами „злоумышленника“, какимъ не на шутку онъ себя почувствовалъ. Первый выборъ палъ на француза Бушо и на учителя русскаго языка Ивана Евдокимовича Протопопова. Вліянію подходящихъ по настроенію людей было сказаться тѣмъ легче, что, сговорившись съ учителями о часахъ занятій и гонорарѣ, Иванъ Алексѣевичъ предоставлялъ имъ полную свободу.

Французъ изъ Меца, мужчина высокаго роста, совершенно плѣшивый, вѣчно въ синемъ фракѣ толстаго сукна, съ важными и значительными пріемами и жестами, Бушо уѣхалъ изъ Парижа въ самый разгаръ революціи и, повидимому, не былъ лишнимъ или праздными ни при взятіи Бастиліи, ни 10 августа. „О революціи онъ никогда не говорилъ почти, но какъ-то грозно улыбаясь, молчалъ о ней“. Мало-по-малу онъ сталъ отвѣчать на настойчивые и неожиданные вопросы мальчика, напримѣръ, на вопросъ, почему казнили Людовика XVI, „Бушо съ важностью сказалъ: „Parce qu'il a été traître à la Patrie“.—Если бы вы были между судьями, вы подписали бы приговоръ? — „Обѣими руками“. Этотъ урокъ стоилъ всякихъ субжонктивовъ; для меня было довольно; ясное дѣло, что подѣломъ казнили короля“.—„Старикъ Бушо не любилъ меня и считалъ пустымъ шалуномъ... Онъ часто говаривалъ: „Изъ васъ ничего не выйдетъ“, но когда замѣтилъ мою симпатію къ его идеямъ, онъ смѣнилъ гнѣвъ на милость, прощалъ ошибки и разсказывалъ эпизоды 93 года, и какъ онъ уѣхалъ изъ Франціи, когда „развратные и плуты“ взяли верхъ. Онъ съ тою же важностью, не улыбаясь, оканчивалъ урокъ, но уже снисходительно говорилъ: „Я, право, думалъ, что изъ васъ ничего не выйдетъ, но ваши благородныя чувства спасутъ васъ“.

Въ лицѣ Бушо жила предъ Герценомъ легенда французской великой революціи; въ учителѣ русскаго языка Протопоповѣ Герценъ нашелъ человѣка, который указалъ ему на освободительное движеніе въ русской литературѣ.

Студентъ медицины, воспитанникъ рязанской духовной семинаріи, Протопоповъ вносилъ въ барскій домъ Яковлевыхъ угловатые пріемы и замашки бурсака, „но благодарность студенту медицины: у него была теплая человѣческая душа, и съ нимъ съ первымъ я сталъ заниматься, хотя и не съ самаго начала“. Долго Протопоповъ встрѣчалъ въ своемъ ученикѣ упорную лѣнь и разсѣянность, пока при преподаваніи исторіи не вздумалъ замѣнить традиціонное прохожденіе предмета отъ урока до урока, „до отмѣтки ногтемъ“, свободнымъ разсказомъ о томъ, что и какъ самъ помнилъ. Мальчикъ, къ изумленію учителя, началъ заниматься исторіей чрезвычайно охотно. Обрадованный и изум-

ленный Протопоповъ отложилъ въ сторону грамматику и налегъ на исторію и словесность. Эти уроки много способствовали, по признанію Герцена, раннему развитію его умственныхъ способностей. Самое преподаваніе словесности было какое-то „отрицательное“ преподаваніе. Учитель объявлялъ реторику пустѣйшею вѣтвью изъ всѣхъ вѣтвей и сучковъ дерева познанія добра и зла и добросовѣстно толковалъ о фигурахъ, метафорахъ, хріяхъ; предписалъ денно и нощно переворачивать листы „Образцовыхъ сочиненій“, гигантской хрестоматіи, томовъ въ двѣнадцать, и прибавилъ для поощренія, что десять строкъ „Кавказскаго Плѣнника“ лучше всѣхъ образцовыхъ сочиненій Муравьева, Капниста и компаніи. Но несмотря на всю забавность отрицательнаго преподаванія, — въ совокупности всего, что говорилъ Иванъ Евдокимовичъ, проглядывалъ живой, широкій, современный взглядъ на литературу. Иванъ Евдокимовичъ (когда Герценъ обратился къ нему со своими сомнѣніями и „злоумышленіями“) былъ тронутъ и, уходя, обнялъ его со словами: „Дай Богъ, чтобъ эти чувства созрѣли въ васъ и укрѣпились“. „Его сочувствіе было для меня великой отрадой,—вспоминаетъ Герценъ.—Онъ послѣ этого сталъ носить мнѣ мелко переписанныя и очень затертыя тетрадки стиховъ Пушкина: *Ода на свободу*, *Кинжалъ*; *Думы* Рылѣева; я ихъ переписывалъ тайкомъ“... И не только переписывалъ, но и училъ наизусть, носился съ ними, пряталъ ночью подъ подушку, трагически декламировалъ ихъ кстати и не кстати (конечно, не отцу). Такимъ образомъ, Пушкинъ явился Герцену въ томъ же ореолѣ, какъ и всему поколѣнію тогдашней молодежи, интересовавшейся литературою. Пушкинъ былъ ея „властителемъ думъ“.

„Пушкинъ былъ въ ту эпоху для меня, какъ и для многихъ моихъ сверстниковъ, чѣмъ-то въ родѣ полубога,—говоритъ о томъ же въ своихъ воспоминаніяхъ Тургеневъ:—мы дѣйствительно ему поклонялись“. Значеніе Пушкина было для той эпохи гораздо шире чисто литературнаго. „Въ исторіи гражданскаго развитія нашего отечества,—мѣтко говорится въ одномъ литературномъ адресѣ,—неизгладимыми чертами внесено, какъ среди общества, печально поражавшаго чуткую совѣсть великаго народнаго поэта своимъ презрѣніемъ къ мысли и равнодушіемъ ко всякому долгу, справедливости и правдѣ, звучалъ героическій гимнъ, посвященный красотѣ и человѣческому достоинству... Стонъ (Пушкина) былъ стономъ почуявшей свою силу русской личности. Борьба, вынесенная Пушкинымъ, была борьбой личности за независимость и свободное развитіе. Великій поэтъ былъ могучимъ провозвѣстникомъ русскаго возрожденія“.

Попутно съ нелегальнымъ Пушкинымъ, подъ руководствомъ того же Протопопова, или даже раньше, Герценъ вошелъ въ курсъ и другихъ явленій литературы конца двадцатыхъ и начала тридцатыхъ годовъ XIX вѣка.—*„Горе отъ ума* надѣлало болѣе шуму въ Москвѣ, нежели всѣ книги, писанныя по-русски... *Телеграфъ* (т. е. „Московскій Телеграфъ“—журналъ Н. Полевого, горячаго защитника „романтизма“ Пушкина) начиналъ энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавалъ европеизмъ; альманахи съ прекрасными стихами, поэты сыпались со всѣхъ сторонъ; Жуковскій переводилъ Шиллера, Козловъ—Байрона, и во всемъ, у всѣхъ была бездна надеждъ, упованій, вѣрованій горячихъ и сердечныхъ. Что за восторгъ, что за восхищеніе, когда я сталъ читать только что вышедшую первую главу „Онѣгина“ (1825 г.). Я ее мѣсяца два носилъ въ карманѣ, вытвердилъ на память. Потомъ года черезъ полтора я услышалъ, что Пушкинъ въ Москвѣ (повидимому, въ пріѣздъ поэта изъ Михайловскаго послѣ коронаціи, въ 1826 г.). О, Боже мой, какъ пламенно я желалъ увидѣть поэта! Казалось, что я выросту, поумнѣю, поглядѣвши на него. И я увидѣлъ, наконецъ, и всѣ показывали, съ восхищеніемъ говоря: „Вотъ онъ, вотъ онъ“.

Параллельно съ чтеніемъ произведеній новѣйшей литературы, начались и первые литературные опыты Герцена, если считать ими „литературные обзоры“, въ которыхъ 14-лѣтній мальчикъ „уничтожалъ“ классицизмъ и отъ которыхъ добродушный Протопоповъ приходилъ въ восторгъ, поправляя ихъ и находя въ нихъ изложенными свои же мысли...

Литературное направленіе, извѣстное подъ именемъ классицизма, въ значительной мѣрѣ совпадало и отожествлялось въ тѣ годы, особенно во Франціи, съ политическимъ консерватизмомъ, какъ романтизмъ съ либерализмомъ. Такъ было, благодаря „Московскому Телеграфу“ Полевого, и въ Россіи, съ тою только разницею, что еще шире и неопредѣленнѣе былъ кругъ явленій, относимыхъ къ „романтизму“. Герценъ, переживая увлеченіе этого періода нашей литературы, и былъ ярымъ романтикомъ, въ смыслѣ протеста противъ старыхъ литературныхъ формъ, поклонникомъ „бури и натиска“. Зачитываясь шиллеровскими „Разбойниками“, онъ надолго былъ „уведенъ ватагою Карла Мора въ богемскіе лѣса романтизма“. Когда Бушо былъ замѣненъ нѣкимъ Маршалемъ, поклонникомъ Расина и Буало, мальчикъ своеобразно выразилъ свой протестъ противъ классицизма: перевелъ на французскій языкъ свои упражненія въ разрушеніи классицизма и поднесъ ихъ учителю.

РОДИТЕЛИ ГЕРЦЕНА.

ЛУИЗА ИВАНОВНА ГААГЪ.

(Съ неяснаго дагеротипа 1847 г. Мать Герцена въ правомъ углу. Въ лѣвомъ другъ дома Эрнъ, у нея на колѣняхъ младшій сынъ Герцена Коля, утонув-

Иванъ Алексѣевичъ

ЯКОВЛЕВЪ.

(Ум. въ 18[illegible] г.)

Впрочемъ, Маршаль, кроткій и добрый, оставилъ по себѣ въ Герценѣ „память яснаго лѣтняго вечера безъ малѣйшаго облака“. Впослѣдствіи Герценъ воскресилъ его образъ въ лицѣ воспитателя Жозефа въ романѣ „Кто виноватъ?“.

Упоминается въ воспоминаніяхъ Герцена еще Иванъ Ивановичъ Экъ, нѣмецкій учитель собственно старшаго брата; онъ поразилъ Герцена, повидимому, только рѣдкимъ, буквально евангельскимъ незлобіемъ: однажды подставилъ, когда ударили по щекѣ, другую щеку. Остальные учителя, готовившіе исподволь Герцена къ поступленію въ университетъ, видимо, не имѣли сколько-нибудь существеннаго для его развитія значенія.

Но здѣсь же умѣстно упомянуть о человѣкѣ, который поразилъ живое воображеніе подростка и задавалъ его мысли огромную работу.

Это былъ „Химикъ“ записокъ Герцена „Былое и Думы“, т. е. двоюродный братъ его, значительно старшій годами, узаконенный сынъ старшаго брата Ивана Алексѣевича, Александра, Алексѣй Александровичъ. Нелюдимъ, онъ ни съ кѣмъ не зналъ, вѣчно сидѣлъ одинъ, занимаясь химіей, проводилъ жизнь за микроскопомъ, читалъ даже за обѣдомъ и ненавидѣлъ женское общество (онъ упоминается въ „Горѣ отъ ума“). Послѣ смерти сильно тѣснившаго его отца, Химикъ далъ отпускную несчастнымъ его крѣпостнымъ одалискамъ, уменьшилъ на половину тяжелый оброкъ, наложенный отцомъ на крестьянъ, простилъ недоимки и т. п. Это возбудило къ нему настолько же симпатію Герцена, насколько и недоброжелательство дядей. Герценъ сталъ его навѣщать въ его уединеніи, въ крошечномъ кабинетѣ большого дома на Тверской (гдѣ родился самъ Герценъ), въ странной, тѣсной обстановкѣ, напоминавшей лабораторію алхимика. Химикъ, замѣтивъ серьезные умственные интересы въ подросткѣ, уговаривалъ его бросить „пустыя занятія литературой и опасныя, безъ всякой пользы политикой“, далъ ему Кювье и Декандоля, совѣтовалъ серьезно приняться за естественныя науки и предложилъ свои превосходныя собранія, снаряды, гербаріи и даже руководство.

„Отъ камней до орангутанга его все интересовало; далѣе онъ неохотно пускался,—особенно въ философію, которую считалъ болтовней. Онъ не былъ ни консерваторъ, ни отсталый человѣкъ, онъ просто не вѣрилъ въ людей, т. е., вѣрилъ, что эгоизмъ—исключительное начало всѣхъ дѣйствій, и находилъ, что его сдерживаетъ только безуміе однихъ и невѣжество другихъ.—Меня возмущалъ его матеріализмъ. Поверхностный и со страхомъ пополамъ вольтеріанизмъ нашихъ отцовъ нисколько не былъ похожъ на матеріализмъ

Химика. Его взглядъ былъ спокойный, послѣдовательный, оконченный; онъ напоминалъ извѣстный отвѣтъ Лаланда Наполеону: „Кантъ принимаетъ гипотезу Бога", сказалъ ему Бонапартъ.—Sire,—возразилъ астрономъ,—мнѣ въ моихъ занятіяхъ никогда не случалось нуждаться въ этой гипотезѣ.— Атеизмъ Химика шелъ дальше теологическихъ сферъ. Онъ считалъ Жоффруа Сентъ-Илера мистикомъ, а Окена просто поврежденнымъ. Онъ съ тѣмъ пренебреженіемъ, съ которымъ мой отецъ сложилъ исторію Карамзина, закрылъ сочиненія натуръ-философовъ. „Сами выдумали первыя причины, духовныя силы, да и удивляются потомъ, что ихъ ни найти, ни понять нельзя". Это былъ мой отецъ въ другомъ изданіи, въ иномъ вѣкѣ, и иначе воспитанный. Взглядъ его становился еще безотраднѣе во всѣхъ жизненныхъ вопросахъ. Онъ находилъ, что на человѣкѣ такъ же мало лежитъ отвѣтственности за добро и зло, какъ на звѣрѣ; что все дѣло организаціи, обстоятельствъ и вообще нервной системы, отъ которой больше ждутъ, нежели она въ состояніи дать... Теорій своихъ, кромѣ химическихъ, онъ никогда не проповѣдывалъ; онѣ высказывались случайно, вызывались мною. Онъ даже нехотя отвѣчалъ на мои романтическія и философскія возраженія; его отвѣты были коротки, онъ ихъ дѣлалъ улыбаясь и съ той деликатностью, съ которой большой старый мастифъ играетъ со шпицемъ, позволяя себя ему теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило". Результаты этихъ споровъ сказались на Герценѣ. Онъ привыкъ смотрѣть на естествознаніе, какъ основу образованія и науки, и подъ вліяніемъ Химика, когда дошло дѣло до выбора факультета, избралъ естественно-научный. Можетъ быть, этому трезвому вліянію надо приписать и начало того скептицизма, съ какимъ впослѣдствіи собесѣдникъ Химика встрѣчалъ на вѣру принятыя, апріорныя теоріи, построенія и ученія. Впослѣдствіи они какъ-то разошлись, но Химикъ дружески привѣтствовалъ „Письма объ изученіи природы" Герцена, пеняя ему за употребленіе таланта на пустыя занятія въ родѣ беллетристики. Кончилъ онъ, къ удивленію, обращеніемъ къ евангелію и христіанству, чуть ли не православію, но Герценъ сохранилъ о немъ серьезную и добрую память.

Таковы были годы школьничества Герцена. Не многимъ приходится на порогѣ юности переживать такое разнообразіе сильныхъ, чистыхъ, подымавшихъ отъ обыденности умственныхъ впечатлѣній.

Въ этотъ міръ возвышенныхъ мечтаній [illegible]
могли быть первыя сознательныя думы
какъ Герценъ, онъ уходилъ съ тѣмъ б[illegible]

тяжелѣе и холоднѣе бывало дома, подъ гнетомъ отца, среди взрослыхъ, занятыхъ ежедневною, однообразною сутолкою узкой и навсегда налаженной жизни. Въ головѣ и сердцѣ полуотрока-полуюноши глухо бродили противорѣчивыя вліянія и наслоенія: саркастическая улыбка отца и благодушіе матери, Маршаля, Эка; насмѣшка Вольтера и пренебрежительный скептицизмъ Химика и—Евангеліе; традиціонный патріотизмъ и—республиканизмъ съ поклоненіемъ декабристамъ; школьные уроки и—Шиллеръ и Пушкинъ; возможность карьеры и свѣтскаго блеска и—сознаніе ложности своего положенія и положенія матери...

III.

Т. П. Кучина. — Н. П. Огаревъ. — Васильевское.

„Изъ сказаннаго уже видно, что все ученіе было безсистемно, — вспоминаетъ Герценъ,—наука зато для меня не была мертвой буквой, а живою частью моего бытія... Ко времени, о которомъ рѣчь, относится самая занимательная статья моего дѣтства. Міръ книжный не удовлетворялъ меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатіи, ласки, товарища, любви, а не книгу"...

Первымъ предметомъ такой живой симпатіи явилась дальняя родственница Яковлевыхъ, молодая дѣвушка, лѣтъ на пять старше Герцена, Татьяна Петровна Кучина, впослѣдствіи жена университетскаго его товарища Вадима Пассека. Она изрѣдка пріѣзжала изъ Корчевы и гостила въ домѣ Ивана Алексѣевича, внося въ него оживленіе и поэтическое обаяніе чистаго дѣвичества. „Она со мною, тринадцатилѣтнимъ мальчикомъ, стала обходиться какъ съ большимъ; я полюбилъ ее отъ всей души за это... Ей-то передалъ я первыя мечты, мечты пестрыя, какъ райскія птицы, и чистыя, какъ дѣтскій лепетъ". Барышня усвоила модный тогда, превыспренній, сентиментальный тонъ, даже требовала, чтобъ называли ее не Танею, а Темирою. Герценъ подтрунивалъ надъ нею за это, но... „теплый элементъ взошелъ съ нею въ мое келейное отрочество, отогрѣлъ, а можетъ, и сохранилъ едва развертывавшіяся чувства, которыя очень могли быть совсѣмъ подавлены ироніей моего отца. Я научился быть внимательнымъ, огорчаться отъ одного слова, заботиться о другѣ, любить; я научился говорить о чувствѣ. Она поддержала во мнѣ мои политическія стремленія, пророчила мнѣ необыкновенную будущность, славу,—и я съ ребячьимъ самолюбіемъ вѣрилъ ей, что я будущій Брутъ или Фабрицій".

Собственно политическія мечты, волновавшія Герцена, были дѣвушкѣ, вѣроятно, мало доступны, и дѣлила она ихъ больше по сочувствію другу, чѣмъ изъ самостоятельнаго интереса къ политикѣ, и скоро мѣсто Тани въ душѣ Герцена было занято.

Шиллеръ, съ его чарующею поэзіею возвышенныхъ, чистыхъ и героическихъ настроеній, захватилъ его въ эту пору всецѣло. „Благословляю тебя, тебѣ обязанъ я святыми минутами начальной юности!—писалъ Герценъ въ Вяткѣ.—Сколько слезъ лилось изъ глазъ моихъ на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнулъ тебѣ въ душѣ моей!“ Съ героями Шиллера мальчикъ отожествляетъ себя. Идеаломъ ему казался сначала Карлъ Мооръ, потомъ маркизъ Поза. „Поза, Поза! гдѣ ты, юноша-другъ, съ которымъ мы обручимся душою, съ которымъ выйдемъ рука объ руку въ жизнь, крѣпкіе нашей любовью? Въ этомъ вопросѣ будущему было упованіе и молитва, грусть и восторгъ“. И наконецъ явился этотъ другъ,—не просто товарищъ,—пріятель въ лицѣ Огарева, братскій союзъ съ которымъ проводилъ Герценъ чрезъ всю жизнь до могилы.

Николай Платоновичъ Огаревъ родился въ 1813 году и матери своей совсѣмъ не зналъ: она умерла тотчасъ послѣ рожденія. Все дѣтство его прошло на попеченіи крѣпостной старухи—няни, потомъ крѣпостного же дядьки, человѣка, бывавшаго часто навеселѣ, но добраго, отъ котораго ребенокъ не слышалъ ни одного грознаго слова, и богобоязненнаго съ обрядовой стороны до чрезвычайности. Въ комнатѣ Ника, какъ звали мальчика обыкновенно, стоялъ огромный кіотъ съ образами въ золотыхъ и серебряныхъ ризахъ, передъ которыми отецъ приходилъ каждый вечеръ молиться. Одна изъ бабушекъ то и дѣло разъѣзжала по монастырямъ и задавала пышные обѣды архіереямъ. „Съ семилѣтняго возраста меня заставляли въ великій постъ говѣть,—вспоминалъ Огаревъ.—Я слезно каялся въ грѣхахъ, которые, разумѣется, придумывалъ, и даже плакалъ отъ раскаянія въ своихъ небывалыхъ прегрѣшеніяхъ; каждое утро и каждый вечеръ безсознательно молился, клалъ земные поклоны передъ кіотомъ и усердно читалъ указанныя молитвы по толстому молитвеннику, ничего не понимая въ нихъ“. Мальчикъ былъ душевно забитъ и женскою безтолковою заботливостью, и давленіемъ отца и дядекъ. Онъ точно никогда не могъ развернуться во всей полнотѣ и лишь гдѣ-то въ глубинѣ таилъ рѣдкое богатство чувствъ. Одинъ изъ гувернеровъ Огарева, Карлъ Ивановичъ Зонненбергъ, впослѣдствіи ставшій приживальщикомъ въ домѣ Ивана Алексѣевича Яковлева (дальняго родственника Огаревыхъ), водилъ своего питомца къ Герцену.

Полу-юноша, полу-ребенокъ, это былъ гость, „кроткій, тихій, задумчивый... Печально сидѣлъ онъ обыкновенно на стулѣ и какъ то невнимательно смотрѣлъ на окружающіе предметы своими большими сѣрыми глазами“... Первое сближеніе шло туго, рѣзвый Герценъ боялся тормошить его, вовсе не похожаго на другихъ. Какъ-то Зонненбергъ привелъ Ника съ утра и просилъ оставить его на цѣлый день: умерла бабушка Ника, и въ домѣ было не до мальчика. Герценъ, не зная, что дѣлать съ испуганнымъ и опечаленнымъ гостемъ, предложилъ наконецъ читать вмѣстѣ Шиллера, и ледъ былъ сломанъ. Оба были поражены сходствомъ вкусовъ. „Онъ зналъ на память гораздо больше, чѣмъ я, и зналъ именно тѣ мѣста, которыя мнѣ такъ нравились; мы сложили книгу и выпытывали, такъ сказать, другъ въ другѣ симпатію. Ненапечатанные стихи Пушкина и Рылѣева были и ему извѣстны; разница съ пустыми мальчиками, которыхъ я изрѣдка встрѣчалъ, была разительна. У него сердце такъ же билось, какъ у меня; онъ также отчалилъ отъ угрюмаго консервативнаго берега, стоило дружнѣе отпихиваться, и мы, чуть ли не въ первый день, рѣшились дѣйствовать въ пользу цесаревича Константина“.

Понятія друзей не отличались особою точностью, и они въ самомъ дѣлѣ воображали, что цѣлью 14 декабря было, между прочимъ, посадить на тронъ цесаревича, ограничивъ его власть. Черезъ мѣсяцъ они не могли провести двухъ дней одинъ безъ другого. „Мы оба хотѣли говорить ты, и не смѣли даже въ запискахъ употреблять слово „другъ“, придавая ему смыслъ обширный и святой“... „Передъ отъѣздомъ моимъ въ деревню, онъ приносилъ томъ Шиллера, гдѣ его „Philosophische Briefe“, и предложилъ читать вмѣстѣ... Ахъ, какъ билось сердце, слезы навертывались на глазахъ. Мы тщательно скрывали слезы. „Ты уѣхалъ, Рафаилъ, — и желтыя листья валятся съ деревьевъ, и мгла осенняго тумана, какъ гробовой покровъ, лежитъ на вымершей природѣ. Одиноко брожу я по печальнымъ окрестностямъ, зову моего Рафаила, и больно, что онъ не откликается мнѣ“. Я схватилъ Карамзина и читалъ въ отвѣтъ: „Нѣтъ Агатона, нѣтъ моего друга“. Мы явно понимали, что каждый изъ насъ адресуетъ эти слова отъ себя, но боялись прямо сказать. Такъ дѣлаютъ неопытные влюбленные, отмѣчая другъ другу мѣста въ романахъ; да мы и были à la lettre влюбленные, и влюблялись съ каждымъ днемъ больше и больше“.

Впервые Герценъ нашелъ въ Огаревѣ человѣка, съ которымъ могъ дѣлиться не только мыслями о прочитанномъ и надуманномъ, но тяготѣвшими надъ нимъ преслѣдованіями со стороны отца. „Совершенно чужой въ родительскомъ домѣ,

и на каждомъ шагу оскорбленія, да такія, которыя могли бы отправить въ сумашедшій домъ взрослаго!.. О, сколько разъ ребенкомъ почти приходилъ я, блѣдный и со слезою на глазахъ, къ Огареву и склонялъ голову, которая кипѣла отъ внутренней обиды, на его плечо. И что было бы, ежели бы не этотъ другъ... но рѣшительно кромѣ Огарева, никто не слыхалъ и жалобы" (письмо къ невѣстѣ, соч. VII, 387). Мрачный „старый домъ" (стихотвореніе Огарева подъ этимъ заглавіемъ см. въ его сочиненіяхъ) для обоихъ просвѣтлѣлъ, обновился...

Но шире личныхъ симпатій, личнаго горя были общіе духовные интересы ихъ. „Дружба, прозябнувшая подъ благословеніемъ Шиллера, подъ его благословеніемъ расцвѣтала: мы усваивали себѣ характеръ всѣхъ его героевъ. Не могу выразить всей восторженности того времени"... Она странна людямъ современнаго общественнаго воспитанія, при которомъ раннее „товарищество" замѣняетъ неминуемо и обычно болѣе интимную „дружбу", но нельзя безъ чувства невольнаго умиленія слѣдить за этою рѣдкою и великою привязанностью.

Высшимъ проявленіемъ тогдашняго настроенія друзей была клятва ихъ на Воробьевыхъ горахъ, куда они не разъ предпринимали дальнія прогулки. Въ одну изъ нихъ, далеко опередивъ старшихъ, они взбѣжали на мѣсто закладки Витбергова храма. „Запыхавшись и раскраснѣвшись, стояли мы тамъ, обтирая потъ. Садилось солнце, купола блестѣли, городъ стлался на необозримое пространство подъ горой, свѣжій вѣтерокъ подулъ на насъ; постояли мы, постояли, оперлись другъ о друга и, вдругъ обнявшись, присягнули, въ виду всей Москвы, пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу" *).

Воробьевы горы сдѣлались съ тѣхъ поръ для друзей мѣстомъ богомолья, они въ годъ разъ или два ходили туда, и всегда одни, и память объ этомъ днѣ осталась однимъ изъ лучшихъ, свѣтлыхъ воспоминаній у обоихъ на всю жизнь. Счастливы люди, у кого въ молодости были такіе могучіе

*) „Оба на зарѣ жизни смотрѣли на умирающій день и вѣрили его будущему восходу. Оба, пророки будущаго, смотрѣли, какъ гаснетъ свѣтъ проходящаго дня, и вѣрили, что земля не надолго останется во мракѣ. И сознаніе грядущаго электрической искрой пробѣжало по душамъ ихъ, и сердца ихъ забились съ одинакой силой. И они бросились въ объятія другъ друга и сказали: вмѣстѣ идемъ, вмѣстѣ идемъ. И это мгновеніе ангелы записали на небѣ, и оно радостно откликнулось въ великой душѣ міра.—Но судьба разрознила юношей и раскидала ихъ въ дальнія стороны. Но то мгновеніе въ душахъ ихъ свято росло въ безконечность" (Огаревъ, Трилогія моей жизни. „Русск. Мысль, 1902 г., № 11").

и святые порывы, не оскверненные потомъ пошлою житейскою скукою, но свѣтившіе впередъ и впередъ на жизненномъ пути.

„Герценъ — это вѣчно дѣятельный европеецъ, живущій экспансивною жизнью, который принимаетъ идеалы съ тѣмъ, чтобы ихъ уяснить, развить, разбрасывать. Никъ—квіетическая Азія, въ душѣ которой почила глубокая мысль, ей самой неясная". Это образное опредѣленіе мѣтко очерчиваетъ сущность отношеній въ этой единственной въ своемъ родѣ сердечной связанности. Въ одномъ изъ раннихъ писемъ Герцена къ другу читаемъ: „Дивна моя симпатія съ тобою, мы разны, очень разны. Въ тебѣ скрытая, неразвитая, глубокая поэзія—involuta. У меня есть поэзія нѣкоторымъ образомъ глубокая, но живая, яркая, поэзія экспансивная — evoluta. Меня разъ увидишь — и отчасти знаешь, тебя можно знать годъ и не знать. Твое бытіе болѣе созерцательное, мое— болѣе пропаганда. Я дѣятеленъ, ты—лѣнтяй, но твоя лѣнь— дѣятельность для души. И при всемъ этомъ симпатія дивная, какой нѣтъ ни съ кѣмъ рѣшительно; симпатія и не требуетъ тождества. Глубокое познаніе другъ друга, взаимное дополненіе — вотъ начала этой дружбы, сильной выше всякихъ обстоятельствъ". Это самоопредѣленіе отношеній въ этой дружбѣ тѣмъ болѣе поразительно, что сдѣлано оно такъ рано и такъ полно. Впослѣдствіи Герценъ не разъ улавливалъ въ смутныхъ настроеніяхъ и проблескахъ мысли Огарева идеи и мысли, получавшія у него полное, ясное, огненное выраженіе и осуществленіе. Какъ любимая женщина вдохновляетъ поэта, такъ иной разъ черпалъ вдохновеніе мысли и Герценъ у Огарева. И эта великая дружба оказалась, дѣйствительно, выше всѣхъ обстоятельствъ. Она выдержала годы разлуки, сначала во время ссылки друзей, потомъ во время скитаній Огарева по Европѣ и за восемь лѣтъ жизни Герцена за границей. Послѣ разлуки, послѣ такихъ поводовъ къ столкновеніямъ, какъ ненависть къ Герцену со стороны первой жены Огарева, къ которой тотъ рабски былъ долго привязанъ, оказывалось, что настроеніе и мысли друзей тождественны, что ничто не въ силахъ посѣять между ними рознь. Эта дружба выдержала наконецъ, уже въ поздніе годы обоихъ, послѣднее испытаніе: между друзьями стала женщина, страстная привязанность Огарева, и онъ тихо и покорно отошелъ въ сторону, такъ, что другъ не могъ не принять этой жертвы...

Жизнь Огарева сложилась, какъ только могла сложиться жизнь типичнаго русскаго „лишняго человѣка", натуры, барски избалованной и лишенной силы воли. Онъ бросался отъ религіи къ метафизикѣ и искусству, отъ музыки и стиховъ—къ исто-

ріи и естественнымъ наукамъ, отъ философіи—къ сельскому хозяйству и фабрикамъ, наконецъ, къ политикѣ — и увы!— къ водкѣ... Его поэтическій талантъ, какъ ни симпатиченъ въ своей меланхолической созерцательности, очень не великъ, однотоненъ, и съ годами угасъ. Какъ публицистъ, онъ оказался сухъ и холоденъ, и нисколько не оригиналенъ, развивая и обосновывая публицистическія идеи Герцена. Свое огромное состояніе онъ растратилъ, подаривъ значительную часть его крестьянамъ, какъ оказалось потомъ, крайне для массы ихъ не выгодно, и разбросавъ остальное на безплодныя скитанья, на кутежи. Но жизненнымъ дѣломъ Огарева, какъ говорилъ Герценъ, было созданіе той личности, какую онъ представлялъ изъ себя. Врожденная женственная мягкость натуры съ годами, по мѣрѣ все новыхъ и новыхъ неудачъ, перешла въ какую-то „печальную вдумчивость въ явленія жизни и ожиданіе поученій и откровеній только отъ страдающихъ умовъ, отъ болѣющихъ сердецъ, въ присутствіи которыхъ онъ всегда и оживлялся. Онъ сдѣлался по плечу каждому человѣку, какъ самому простому, такъ и самому развитому, потому что одинаково вѣрно понималъ ихъ духовныя нужды и входилъ въ цѣпь ихъ мыслей и представленій“ (Анненковъ). Эта сердечность натуры и всего обхожденія создала нѣчто въ родѣ культа среди близкихъ ему. „Главное, въ немъ не видать горизонта,—записалъ о немъ впослѣдствіи Герценъ въ дневникѣ, разумѣя подъ этимъ широту симпатій, интересовъ и возможность непрерывнаго развитія:—ничего не можетъ быть страшнѣе, когда въ человѣкѣ виденъ горизонтъ, — съ нимъ нѣтъ полной свободы, нѣтъ той безконечности симпатій“ (Дневн., 21 Іюля 1843 г.).

Эта вѣра въ непогрѣшимость сердца, въ голосъ чувства Огарева во многихъ случаяхъ опредѣляла образъ дѣйствій Герцена. Далеко не всегда, когда Герценъ сдавался на просьбу скорѣе, чѣмъ убѣжденіе друга, совѣты его оказывались удачными: приводили не рѣдко къ рѣшеніямъ и дѣйствіямъ, на которыя Герценъ одинъ—съ его разлагающимъ и далеко видящимъ умомъ—не пошелъ бы. Въ этой способности Огарева, казалось бы безвольнаго и слабаго, подчинять себѣ, управлять въ нѣкоторыхъ случаяхъ такимъ характеромъ, какъ Герценъ,—объясненіе нѣкоторыхъ неудачныхъ позднѣйшихъ шаговъ Герцена въ политической дѣятельности. Но Огареву все прощалось другомъ за неизмѣнную широту и глубину сочувствія, за женски-тихій, кроткій нравъ, за преданность, наконецъ, раба, готоваго всѣмъ пожертвовать, разъ будетъ только надобность...

Но въ тѣ годы, отъ которыхъ мы здѣсь забѣжали далеко впередъ, еще не было надобности въ испытаніяхъ этой пре-

данности, и друзья отдавались беззавѣтно своимъ порывамъ, жили одними и тѣми же мыслями и чувствами, озарявшими ихъ первые юношескіе годы сверкающимъ горячимъ блескомъ. „Жизнь раскрывалась передъ нами торжественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существованіе во благо человѣчеству; чертили себѣ будущность несбыточную, безъ малѣйшей примѣси самолюбія, личныхъ видовъ. Свѣтлые дни юношескихъ мечтаній и симпатіи"...

Мы можемъ закончить эту главу указаніемъ, наконецъ, на тотъ элементъ, который незамѣтно входилъ въ душу Герцена, на сознательно наконецъ воспринятыя впечатлѣнія русской природы, русской деревенской жизни во всей ихъ широтѣ и полнотѣ. Мы упоминали уже о впечатлѣніяхъ крѣпостного рабства, ложившихся на сердце мальчика. Но вѣдь не въ рабствѣ одномъ состояла, не изъ однихъ отношеній барина и мужика слагалась народная жизнь, а къ ней Герценъ — мальчикъ и юноша, подходилъ въ тѣ ежегодные переѣзды въ деревню, въ родовое имѣніе Яковлевыхъ Васильевское, которыхъ онъ съ поднятымъ нетерпѣніемъ ждалъ каждую весну.

„Лучшія воспоминанія дѣтства и отрочества связаны съ горами, вязами этой деревни, — вспоминаетъ Герценъ впослѣдствіи въ дневникѣ (14 іюня 1843).—Въ 1827 году я былъ пятнадцати лѣтъ, идеи древняго республиканизма бродили въ головѣ, я вѣрилъ непреложно, что „взойдетъ заря плѣнительнаго счастья". Тутъ, въ этой комнаткѣ, лежа на этомъ диванѣ, я читалъ Плутарха, и свѣжее отроческое сердце билось..." Васильевскому, одному изъ красивѣйшихъ подмосковныхъ имѣній, въ „Быломъ и Думахъ" Герценъ посвятилъ нѣсколько высоко-поэтическихъ страницъ: прелестью русскаго деревенскаго пейзажа онѣ стоятъ наравнѣ съ картинами такихъ мастеровъ его, какъ Гоголь, Тургеневъ. Здѣсь же Герценъ освобождался отъ дѣтскихъ суевѣрныхъ страховъ, воспитываемыхъ въ дѣтяхъ по традиціи, вліяніемъ прислуги. Сохранился разсказъ Герцена, какъ онъ ночью ходилъ на могилу, и т. д...

Лѣто, наканунѣ поступленія въ университетъ, послѣ клятвы на Воробьевыхъ горахъ, было завершеніемъ отроческихъ лѣтъ Герцена.

„Я въ первый разъ послѣ ребячества явился лицомъ къ лицу съ природой, и ея выразительныя черты сдѣлались понятны для меня. Это отдохновеніе отъ школьныхъ занятій было на мѣстѣ; я закрылъ учебную книгу, несмотря на то, что надобно было готовиться къ университету. Колоссальная идиллія лежала развернутая предо мной, и я не могъ наглядѣться на нее: такъ нова она была мнѣ, выросшему въ

третьемъ этажѣ... Читалъ я мало, и то одного Шиллера: на высокой горѣ, съ которой открывалось пять-шесть деревенекъ, пробѣгалъ я „Телля“ и въ мрачномъ лѣсу перечитывалъ Карла Моора, — и, казалось, молодецкій посвистъ его ватаги и топотъ конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросалъ книгу и долго, долго смотрѣлъ на окружающія поля, на рѣку, перерѣзывающую ихъ, на храмъ Божій, бѣлый, какъ лилія и какъ лилія, окруженный зеленью. Иногда мнѣ казалось, что вся эта даль—продолженіе меня, что гора со всѣмъ окружающимъ—мое тѣло, и мнѣ слышался пульсъ ея, и мы вмѣстѣ вдыхали и выдыхали воздухъ. Иногда мнѣ казалось, что я совершенно потерянъ въ этой безконечности — листокъ на огромномъ деревѣ, но безконечность эта не давила меня, мнѣ было хорошо лежать на моей горѣ; *я понималъ, что я дома, что все это родное...*“

Позднѣе это чувство непосредственной связи съ роднымъ бытомъ, съ родною природою физіологически растетъ и крѣпнетъ. Здѣсь, въ Васильевскомъ окончательно возникли ростки живой привязанности къ родинѣ, впослѣдствіи пышно расцвѣтшіе. Впечатлѣнія Васильевскаго, сплетаясь съ другими умственными и нравственными интересами, опредѣлили собою, какъ глубокій фонъ, „русскую“ и даже „руссофильскую“ окраску многихъ позднѣйшихъ воззрѣній и настроеній Герцена зрѣлыхъ лѣтъ. Тѣмъ сильнѣе были эти впечатлѣнія, что они неразрывно слились съ сильно возбужденными духовными интересами, съ настроеніями безкорыстнѣйшей и чистой, какъ хрусталь, братской любви къ товарищу.

IV.

Университетъ.

Иванъ Алексѣевичъ Яковлевъ мечталъ о дипломатической карьерѣ для сына. Чтобы облегчить ему прохожденіе чиновъ, онъ, пользуясь своими связями, зачислилъ Герцена (10 декабря 1820 года) „въ вѣдомство экспедиціи кремлевскаго строенія“, показавъ ему четырнадцать лѣтъ вмѣсто восьми. Своимъ порядкомъ Герценъ послѣдовательно сталъ получать чины коллежскаго регистратора, губернскаго секретаря, коллежскаго секретаря.

Старикъ былъ противъ поступленія Герцена въ университетъ и требовалъ, ради скорѣйшаго движенія по службѣ, ограничиться особыми „комитетскими экзаменами“ на чинъ ассессора, для чего было достаточно прослушать сокращенные курсы послѣобѣденныхъ лекцій нѣкоторыхъ профессоровъ. Жажда болѣе серьезнаго знанія влекла однако 17-лѣтняго Герцена на студенческую скамью, и онъ настоялъ на поступленіи въ университетъ, получивъ на то особое разрѣшеніе отъ своего „служебнаго“ начальства.

Послѣ 14 декабря 1825 года Москва постепенно становится центромъ извѣстнаго умственнаго подъема, незамѣтнаго въ Петербургѣ, въ непосредственной близости только что подавившаго освободительную вспышку николаевскаго самодержавія. Университетъ однако стоялъ еще не высоко. Общее состояніе университетской науки въ этотъ періодъ характеризуется, можетъ быть, лучше всего такимъ фактомъ, какъ появленіе на кафедрѣ философіи (въ Харьковѣ)... частнаго пристава, по назначенію попечителя. Въ 1832 году товарищемъ министра народнаго просвѣщенія, вскорѣ занявшимъ постъ министра, С. Уваровымъ была заявлена знаменитая программа николаевскаго царствованія. Въ отчетѣ о ревизіи московскаго университета С. Уваровъ выставляетъ, какъ одну изъ труднѣйшихъ задачъ времени, „образованіе правильное, основательное, необходимое въ

нашемъ вѣкѣ, съ глубокимъ убѣжденіемъ и теплою вѣрою въ *истинно-русскія охранительныя начала Православія, Самодержавія и Народности*, составляющія послѣдній якорь нашего спасенія и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего отечества". „Въ нынѣшнемъ положеніи вещей и умовъ нельзя не умножать, гдѣ только можно, число умственныхъ плотинъ",— вотъ практическій путь утвержденія этихъ началъ, заявленный тогда же. Къ счастью, С. Уваровъ былъ настолько непослѣдователенъ, что допустилъ и отправку за границу молодыхъ ученыхъ для совершенствованія въ наукахъ, и, благодаря счастливому стеченію обстоятельствъ и такту попечителя московскаго университета С. Г. Строганова (съ 1835 г.), храмъ науки сталъ весьма высоко въ сороковые годы.

Далеко не такъ обстояло дѣло въ студенческіе годы Герцена. По выраженію его товарища по другому факультету К. Аксакова, „солнце истины" свѣтило молодежи „тускло и холодно". „Хвала тебѣ, пріютъ лѣнтяевъ!"—такъ помянутъ московскій университетъ Лермонтовымъ.

На ректора Двигубскаго и нѣкоторыхъ профессоровъ молодежь смотрѣла „большими глазами, какъ на собраніе ископаемыхъ, какъ на послѣднихъ Абенсераговъ, представителей иного времени, не столько близкаго къ намъ, какъ къ Третьяковскому и Кострову". Герценъ поступилъ, увлеченный дядею-Химикомъ, на физико-математическое отдѣленіе философскаго факультета. Онъ встрѣтилъ здѣсь такія диковинки, какъ лекторъ механики Чумаковъ, подгонявшій формулы къ тѣмъ, которыя были въ курсѣ Пуансо, съ совершеннѣйшей свободой крѣпостного права, убавляя буквы, принимая квадраты за корни и X за извѣстное; или, какъ Рейсъ, попавшій въ русскіе химики изъ-за границы по протекціи знаменитаго дяди, которому не захотѣлось ѣхать по приглашенію въ Россію, и не читавшій химіи далѣе водорода!

Единственное имя, которое изъ профессоровъ своего факультета съ благодарностью вспоминаетъ Герценъ, это профессоръ физики и сельскаго хозяйства М. Г. Павловъ. „Павловъ преподавалъ введеніе къ философіи вмѣсто физики и сельскаго хозяйства. Физикѣ было мудрено научиться на его лекціяхъ, сельскому хозяйству невозможно; но его курсы были чрезвычайно полезны. Павловъ стоялъ въ дверяхъ физико-математическаго отдѣленія и останавливалъ студента вопросомъ: „Ты хочешь знать природу? Но что такое природа? Что такое знать?"... Отвѣтомъ на эти вопросы Павловъ излагалъ ученіе Шеллинга и Окена съ такою эластическою ясностью, которую никогда не имѣлъ ни одинъ натуръ-философъ. Если онъ не во всемъ достигнулъ прозрачности, то это не его вина, а вина мутности Шеллингова ученія"...

Изъ профессоровъ другихъ отдѣленій Герценъ упоминаетъ въ „Быломъ и Думахъ“ одного только Каченовскаго, и повидимому на сторонніхъ лекціяхъ бывалъ мало.

„Но больше лекцій и профессоровъ развивала студентовъ аудиторія юнымъ столкновеніемъ, обмѣномъ мыслей, чтеній... Московскій университетъ свое дѣло дѣлалъ; профессора, способствовавшіе своими лекціями развитію Лермонтова, Бѣлинскаго, Кавелина, Пирогова, могутъ спокойно играть въ бостонъ и еще спокойнѣе лежать подъ землей“.

„...Университетъ росъ вліяніемъ: въ него, какъ въ общій резервуаръ, вливались юныя силы Россіи со всѣхъ сторонъ, изъ всѣхъ слоевъ; въ его залахъ онѣ очищались отъ предразсудковъ, захваченныхъ у домашняго очага, приходили къ одному уровню, братались между собою и снова разливались во всѣ стороны Россіи, во всѣ слои ея.

„До 1848 года устройство нашихъ университетовъ было чисто демократическое. Двери его были открыты всякому, кто могъ выдержать экзаменъ и не былъ ни крѣпостнымъ, ни крестьяниномъ, не уволеннымъ своею общиною... Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, съ юга и съ сѣвера, быстро сплавлялась въ компактную массу товарищества... Студентъ, который бы вздумалъ у насъ хвастаться своей бѣлой костью или богатствомъ, былъ бы отлученъ „отъ воды и огня“, замученъ товарищами“.

Яковлевъ всячески старался ввести своего „воспитанника“ въ аристократическій міръ. Но у Голохвастовыхъ и другихъ знатныхъ родственниковъ вольно и невольно оскорблялось человѣческое достоинство Герцена, покровительственнымъ тономъ, явнымъ снисхожденіемъ къ „незаконнорожденному“. Герценъ остался чуждъ этой средѣ, отдавшись жизни студентовъ. „Тамъ,—вспоминалъ онъ въ Вяткѣ, — я видѣлъ товарищей равныхъ, цѣнившихъ меня. И въ наукѣ я видѣлъ какую-то мать, которая звала меня отдохнуть подъ важнымъ порталомъ своего дома“ *). „Вмѣсто одиночества въ нашей небольшой комнатѣ, вмѣсто тихихъ и полускрываемыхъ свиданій съ однимъ Огаревымъ,—шумная семья, въ семьсотъ головъ, окружила меня. Въ ней я больше акклиматился въ двѣ недѣли, чѣмъ въ родительскомъ домѣ съ самаго дня рожденія“.

„Какъ большая часть живыхъ мальчиковъ, воспитанныхъ въ одиночествѣ, я съ такою искренностью и стремительностью бросался каждому на шею, съ такой безумной неосторожностью дѣлалъ пропаганду и такъ откровенно самъ всѣхъ любилъ, что не могъ не вызвать горячій отвѣтъ со

*) Соч. Спб. 1905, VII, 389.

стороны всей аудиторіи, состоявшей изъ юношей почти одного возраста (мнѣ былъ тогда семнадцатый годъ)". Здѣсь было совершеніе неотлучной мысли друзей при поступленіи въ университетъ: „Здѣсь мы бросимъ сѣмена, положимъ основу союзу". Для этого и почва была воспріимчива. „Мы и наши товарищи говорили въ аудиторіи открыто все, что приходило въ голову; тетрадки запрещенныхъ стиховъ ходили изъ рукъ въ руки, запрещенныя книги читались съ комментаріями и, при всемъ томъ, я не помню ни одного доноса изъ аудиторіи, ни одного предательства". И живая натура Герцена стала быстро развертываться именно въ эту сторону общительности и пропаганды. Домашній кругъ и его интересы, прежняя дружба съ Таней Кучиной, къ огорченію послѣдней, все это совершенно отошло на задній планъ. „Дома онъ былъ въ студенческомъ кругу,—вспоминаетъ объ этомъ Т. Пассекъ,—предсѣдателемъ литературно-фантастическо-политическихъ преній, за полуизломанными столами, заваленными книгами, фуражками, табачной золой. Тутъ кровь кипѣла, фантазія искрилась, бросая огонь на всѣ стороны; поэзія, дружба, вино—все пѣнилось, все лилось черезъ край. „Въ женскомъ обществѣ,—говорилъ Саша,—я чувствую себя не на мѣстѣ. Мой юморъ и мои восторги—испугали бы своимъ карбонаризмомъ". Сверхъ всего голова у него была набита чистой математикой и математикой прикладной, зоологіей и географіей, да вереница студенческихъ анекдотовъ летала и протѣснялась между всѣмъ этимъ".

Подъему авторитета Герцена въ средѣ всего студенчества содѣйствовалъ скандалъ съ профессоромъ словеснаго отдѣленія Маловымъ, котораго за грубое обращеніе однажды выгнали изъ аудиторіи и проводили съ шумомъ и гамомъ по двору до воротъ на улицу, бросивъ вслѣдъ за нимъ галоши. По безыменному доносу въ III-е отдѣленіе, шефъ жандармовъ Бенкендорфъ запросилъ у попечителя кн. С. М. Голицына объясненій. Совѣтъ поторопился посадить шесть студентовъ, въ томъ числѣ и Герцена, замѣченнаго Маловымъ и дававшаго дерзкіе отвѣты ректору, въ карцеръ, Маловъ же былъ удаленъ. Герцена хотѣли выпустить раньше другихъ, но онъ пожелалъ раздѣлить судьбу товарищей по страданію до конца и добросовѣстно отсидѣлъ восемь дней. „Сперва я слылъ за хорошаго студента; послѣ маловской исторіи сдѣлался, какъ извѣстная гоголевская дама, хорошій студентъ во всѣхъ отношеніяхъ".

Несмотря на это приключеніе, Герценъ пользовался расположеніемъ профессуры, и въ 1832 году, въ посѣщеніе университета Уваровымъ, онъ, въ числѣ другихъ лучшихъ

студентовъ, былъ избранъ для прочтенія предъ аудиторіей и товарищемъ министра съ профессорами и иными чинами пробной лекціи. Герцену досталось читать по минералогіи о кристаллизаціи, что и было исполнено имъ съ полнымъ успѣхомъ.

Довольно скоро около Герцена и Огарева, поступившаго въ университетъ на годъ позже друга, образовался тѣсный товарищескій кружокъ.

Первыми къ нимъ присоединились, когда Герценъ былъ на второмъ курсѣ, Николай Ивановичъ Сазоновъ (род. въ 1813 г., ум. въ 1863 г.) и Николай Михайловичъ Сатинъ (род. въ 1814 г. ум. въ 1873 г.). „Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но несмотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и преданности, едва вышедшій изъ-подъ материнскаго крыла, съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жался къ намъ, и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ,—это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова“. Въ дружескомъ кругу онъ носилъ прозвище Ritter aus Tambow (рыцарь изъ Тамбова). „Мы подали другъ другу руку и à la lettre пошли проповѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой „вселенной“ (universitas), какъ четыре діакона, идущіе въ свѣтлый праздникъ съ четырьмя евангеліями въ рукахъ“ („Русскія тѣни“).

Такъ было положено основаніе, если не тайнаго сообщества, то крѣпко державшагося безуставнаго содружества, къ которому стали примыкать и другія лица. Примкнулъ Вадимъ Пассекъ; онъ родился въ Сибири: отецъ его былъ сосланъ при Павлѣ по какому-то политическому доносу и при Александрѣ I *забытъ* въ Сибири по проискамъ родственника, желавшаго забрать себѣ долю его наслѣдства; Вадимъ внесъ въ кружокъ разсказы о крѣпко сплоченной семьѣ, стойко боровшейся за свои права и лучшую долю. „Вадимъ былъ дичекъ въ сравненіи съ нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; но онъ много умѣлъ любить и другихъ, и отдавался имъ не скупясь“. Черезъ Пассека вошелъ въ кружокъ неотъемлемымъ членомъ Николай Христофоровичъ Кетчеръ, молодой уѣздный лекарь, типъ вѣчнаго студента, получившій въ кружкѣ прозвище „упсальскаго барона“. Переводчикъ Шил-

Н. П. ОГАРЕВЪ въ 1830-хъ годахъ.

Портретъ работы крѣпостного живописца.

студентовъ, былъ избранъ для прочтенія предъ аудиторіей и товарищемъ министра съ профессорами и иными чинами пробной лекціи. Герцену досталось читать по минералогіи о кристаллизаціи, что и было исполнено имъ съ полнымъ успѣхомъ.

Довольно скоро около Герцена и Огарева, поступившаго въ университетъ на годъ позже друга, образовался тѣсный товарищескій кружокъ.

Первыми къ нимъ присоединились, когда Герценъ былъ на второмъ курсѣ, Николай Ивановичъ Сазоновъ (род. въ 1813 г., ум. въ 1863 г.) и Николай Михайловичъ Сатинъ (род. въ 1814 г. ум. въ 1873 г.). „Сазоновъ имѣлъ рѣзкія дарованія и рѣзкое самолюбіе. Ему было лѣтъ восемнадцать, скорѣе меньше, но несмотря на то, онъ много занимался и читалъ все на свѣтѣ. Надъ товарищами онъ старался брать верхъ и никого не ставилъ на одну доску съ собой. Оттого они его больше уважали, чѣмъ любили. Другъ его, красивый собой и нѣжный, какъ дѣвушка, совсѣмъ напротивъ, искалъ къ кому бы пріютиться; полный любви и преданности, едва вышедшій изъ-подъ материнскаго крыла, съ благородными стремленіями и полудѣтскими мечтами, ему хотѣлось теплоты, нѣжности, онъ жался къ намъ, и отдавался весь и намъ и нашей идеѣ,—это была натура Владиміра Ленскаго, натура Веневитинова“. Въ дружескомъ кругу онъ носилъ прозвище Ritter aus Tambow (рыцарь изъ Тамбова). „Мы подали другъ другу руку и à la lettre пошли проповѣдывать свободу и борьбу во всѣ четыре стороны нашей молодой „вселенной“ (universitas), какъ четыре діакона, идущіе въ свѣтлый праздникъ съ четырьмя евангеліями въ рукахъ“ („Русскія тѣни“).

Такъ было положено основаніе, если не тайнаго сообщества, то крѣпко державшагося безуставнаго содружества, къ которому стали примыкать и другія лица. Примкнулъ Вадимъ Пассекъ; онъ родился въ Сибири: отецъ его былъ сосланъ при Павлѣ по какому-то политическому доносу и при Александрѣ I *забытъ* въ Сибири по происканъ родственника, желавшаго забрать себѣ долю его наслѣдства; Вадимъ внесъ въ кружокъ разсказы о крѣпко сплоченной семьѣ, стойко боровшейся за свои права и лучшую долю. „Вадимъ былъ дичекъ въ сравненіи съ нами. Его удаль была другая, не наша, богатырская, иногда заносчивая; но онъ много умѣлъ любить и другихъ, и отдавался имъ не скупясь“. Черезъ Пассека вошелъ въ кружокъ неотъемлемымъ членомъ Николай Христофоровичъ Кетчеръ, молодой уѣздный лекарь, типъ вѣчнаго студента, получившій въ кружкѣ прозвище „упсальскаго барона“. Переводчикъ Шил-

Н. П. ОГАРЕВЪ въ 1830-хъ годахъ.

Портретъ работы крѣпостного живописца.

лера и Шекспира, восторженный романтикъ, Кетчеръ сохранилъ до сѣдыхъ волосъ манеры стараго бурша; шумный и угловатый, онъ съ перваго дня знакомства заговорилъ съ Герценомъ на *ты* и впослѣдствіи оказалъ ему не мало личныхъ услугъ. Наконецъ въ разное время пристали сюда знаменитый впослѣдствіи астрономъ А. Н. Савичъ и менѣе извѣстные Масловъ, Лахтинъ, Носковъ.

Кружокъ Герцена и Огарева не былъ единственнымъ, объединявшимъ студенчество на почвѣ духовныхъ интересовъ. Огромное вліяніе на своихъ членовъ имѣлъ и вошелъ въ исторію русскаго общества и литературы, одновременно сложившійся извѣстный кружокъ, въ которомъ объединяющими центрами были Станкевичъ и Бѣлинскій; къ нимъ примыкали К. Аксаковъ, впослѣдствіе знаменитый славянофилъ, Красовъ, Клюшниковъ; позднѣе присталъ будущій знаменитый агитаторъ Бакунинъ и др. Возникнувъ на филологическомъ отдѣленіи, этотъ кружокъ отдался преимущественно философскимъ, эстетическимъ и чисто литературнымъ интересамъ. Хотя и здѣсь отношеніе къ тогдашней дѣйствительности, къ „самодержавію, православію, народности“ въ ихъ оффиціальномъ и бытовомъ выраженіи, было рѣшительно отрицательное, но собственно политическихъ вопросовъ здѣсь не возбуждалось, и не безъ отчужденія относились они къ соціально-политической пропагандѣ, которую ставилъ своей цѣлью кружокъ Герцена и Огарева. „Имъ не нравилось наше исключительное политическое направленіе, намъ не нравилось ихъ почти исключительно умозрительное,—вспоминаетъ Герценъ:—они насъ считали фрондерами и французами, мы ихъ—сентименталистами и нѣмцами“. Менѣе опредѣленную физіономію имѣлъ нѣсколько ранѣе сложившійся кружокъ Сунгурова, на глазахъ Герцена разогнанный и разосланный по Россіи, при чемъ глава его кончилъ жизнь свою въ Нерчинскѣ.

Кружокъ Станкевича и Бѣлинскаго носилъ характеръ нѣсколько болѣе демократическій, болѣе аскетическій, тогда какъ Герценъ и Огаревъ нерѣдко переплетали сходки и восторженныя рѣчи виномъ и веселой гульбой. Этюдъ Герцена: „Послѣдній праздникъ дружбы“ живо рисуетъ внѣшнюю обстановку этихъ пировъ и разгула, на которые тратилось и много денегъ и не уходившихся молодыхъ силъ. „Были и вовсе не платоническія шалости, даже такія, которыя оканчивались не драмой, а аптекой, — писалъ впослѣдствіи Герценъ, выясняя, чѣмъ въ дѣйствительности былъ нѣкоторый эпикуреизмъ молодого кружка:—Но не было пошлыхъ интригъ, губящихъ женщину и унижающихъ мужчину, не было содержанокъ (даже не было и этого подлаго слова).

Покойный, безопасный, прозаическій, мѣщанскій развратъ, развратъ по контракту, миновалъ нашъ кругъ... Общіе вопросы, гражданская экзальтація спасли насъ; и не только они, но сильно развитой научный и художественный интересъ. Они, какъ зажженая бумага, выжигали сальныя пятна".

Герценъ еще не начиналъ писать, но уже былъ пропагандистомъ восторженнымъ и неутомимымъ, и шелъ впереди другихъ членовъ спаяннаго имъ содружества.

„Мы были фанатики и юноши,—разсказываетъ Герценъ,—все было подчинено одной мысли и одной религіи: наука, искусство, связи, родительскій домъ, общественное положеніе. Тамъ, гдѣ открывалась возможность обращать, проповѣдывать, тамъ мы были со всѣмъ сердцемъ и помышленіемъ неотступно, безотвязно, не щадя ни времени, ни труда, ни кокетства даже...

„Что мы собственно проповѣдывали, трудно сказать. Идеи были смутны: мы проповѣдывали французскую революцію, потомъ проповѣдывали сенъ-симонизмъ и ту же революцію, мы проповѣдывали конституцію и республику, чтеніе политическихъ книгъ и сосредоточеніе силъ въ одномъ обществѣ. Но пуще всего проповѣдывали ненависть ко всякому насилію, ко всякому произволу".

Это было время французской революціи 1830 г. и горячаго революціоннаго настроенія въ заграничной, особенно французской литературѣ. „Романы, драмы, поэмы, все снова сдѣлалось пропагандой, борьбой". Друзья слѣдили за каждымъ шагомъ развивавшихся событій, „не только подробно знали, но горячо любили всѣхъ тогдашнихъ дѣятелей, разумѣется, радикальныхъ, и хранили у себя ихъ портреты". Оглушительное впечатлѣніе произвела вѣсть о польскомъ возстаніи. „Это ужъ недалеко, это дома—и мы смотрѣли другъ на друга со слезами на глазахъ, повторяя любимое: „Nein! es sind keine leere Träume!" *). Мы радовались каждому пораженію Дибича, не вѣрили неуспѣхамъ поляковъ, и я тотчасъ же прибавилъ въ свой иконостасъ портретъ Фаддея Костюшки".

Однако внутренняя неудача освободительнаго движенія во Франціи, выдвинувшаго только буржуазную монархію Людовика-Филиппа, торжество николаевскаго самодержавія надъ мечтавшей о конституціи Польшею—обратили интересы друзей отъ политическаго либерализма къ соціальному. „Дѣтскій либерализмъ 1826 года, сложившійся мало-помалу въ то французское воззрѣніе, которое проповѣдывали Лафайетъ и Бенжаменъ Констанъ, шелъ Беранже,—терялъ

*) „Нѣтъ, это не пустые сны"—стихъ Гете.

для насъ, послѣ гибели Польши, свою чарующую силу. Тогда-то часть молодежи, и въ ея числѣ Вадимъ, бросились на глубокое и серьезное изученіе русской исторіи. Другая— въ изученіе нѣмецкой философіи. Мы съ Огаревымъ не принадлежали ни къ тѣмъ, ни къ другимъ".

Ихъ вниманіе въ это время привлекъ процессъ сенъ-симонистовъ 1832 года, обвиненныхъ въ отступничествѣ отъ христіанства, въ безнравственности, въ потрясеніи собственности и другихъ ужасныхъ вольномысліяхъ. Сенъ-симонисты стали на время властителями думъ Герценовскаго кружка.

Сенъ-симонизмъ оказалъ огромное вліяніе на идейныя теченія нѣсколькихъ французскихъ поколѣній. Конечно, прежде всего поражала воображеніе русскихъ учениковъ Сенъ-Симона критическая часть новаго ученія, а также указанія на новую роль въ общественно-государственной жизни промышленныхъ силъ и образованія, въ противовѣсъ аристократіи и духовенства и связаннаго съ ними господства традиціи, преданія и авторитета.

Сенъ-Симономъ выдвинута идея историческаго прогресса, безпрерывнаго движенія человѣчества къ лучшему будущему. Разложеніе рабства, образованіе большихъ обществъ, развитіе наукъ являются признаками этого движенія. „Золотой вѣкъ не въ прошломъ, а въ будущемъ". Основною чертою этого развитія выдвигается едва ли не впервые непрерывное измѣненіе формы собственности. Чисто политическая точка зрѣнія на ходъ исторіи смѣняется экономической. Безусловное право собственности, „вѣчная и неприкосновенная собственность", провозглашенная учредительнымъ собраніемъ и конвентомъ, какъ догматъ, отрицается. Въ основу новаго общества будетъ положенъ принципъ ассоціаціи: „Каждый гражданинъ будетъ занимать положеніе, соотвѣтствующее его способностямъ, и будетъ вознагражденъ сообразно съ его заслугами". Впервые намѣчается новая и главная задача государства въ будущемъ: доставлять работу всѣмъ способнымъ къ труду гражданамъ, браться за крупныя предпріятія, имѣющія цѣлью улучшенія сельскаго хозяйства, ограничить роль бюрократіи, распространять пріобрѣтенныя положительныя знанія среди класса пролетаріевъ, обезпечить всѣмъ людямъ наиболѣе свободное развитіе ихъ способностей.

Основныя черты новаго міровоззрѣнія были выражены сенъ-симонистами въ манифестѣ 1830 года, вѣроятно, хорошо извѣстномъ Герцену. Онъ содержитъ по существу взглядъ сенъ-симонистовъ на собственность, равенство и производственныя отношенія:

„Сенъ-симонисты отвергаютъ равный раздѣлъ собственности, ибо они признаютъ естественное неравенство людей и смотрятъ на это неравенство, какъ на основу ассоціаціи, какъ на необходимое условіе общественнаго строя.

„Они отвергаютъ принципъ общности благъ, ибо подобная общность была бы явнымъ нарушеніемъ самаго главнаго изъ моральныхъ законовъ, который они призваны защищать, и который требуетъ, чтобы каждый занималъ мѣсто, соотвѣтствующее его заслугамъ.

„Но, на основаніи этого самаго закона, они требуютъ уничтоженія всякаго рода привилегій отъ рожденія, а слѣдовательно, и отмѣны права наслѣдства, этой самой крупной привилегіи, нынѣ включающей въ себѣ прочія, и ставящей въ зависимость отъ случая и распредѣленіе соціальныхъ привилегій.

„Они требуютъ, чтобы всѣ орудія труда, земля, капиталы, образующіе нынѣ раздробленную собственность, эксплоатировались бы ассоціаціей, основанной на іерархическихъ началахъ.

„Они хотятъ эмансипировать женщину... Религія Сенъ-Симона должна положить конецъ этому постыдному торгу, этой узаконенной проституціи, какою является современный бракъ, часто освящающій чудовищный союзъ между преданностью и эгоизмомъ, между просвѣщеніемъ и невѣжествомъ, между молодостью и дряхлостью".

Убѣжденный деистъ С.-Симонъ не былъ отрицателемъ религіозныхъ началъ: онъ высоко ставилъ христіанство и его борьбу противъ власти меча и выдвигалъ необходимость лишь освѣженія, обновленія христіанства, согласованія его съ наукой, отводя первое мѣсто морали. Смѣшеніе деизма съ позитивизмомъ было удобнымъ переходнымъ мостомъ для идеалистически и даже порою мистически настроенной молодежи, пошедшей по стопамъ декабристовъ, многіе изъ которыхъ также были людьми искренно вѣрующими. Какъ сынъ XVIII в., Сенъ-Симонъ мечталъ, наконецъ, что его идеи преобразованія общества могутъ быть проведены просвѣщеннымъ деспотизмомъ, твердою правительственною властью, которую одно время думалъ видѣть въ Наполеонѣ I. Производители, въ лицѣ бароновъ промышленности, какъ наиболѣе богатые и образованные, въ согласіи съ учеными, когда будетъ организованъ новый строй, будутъ рѣшать судьбу общества. Эта видная роль, которую отводила система „богатымъ и образованнымъ", могла быть безсознательно одною изъ привлекательныхъ въ сенъ-симонизмѣ чертъ для дворянской интеллигенціи 30-хъ годовъ.

Сенъ-Симонъ, формулируя свои взгляды на собствен-

ность, заявлялъ, между прочимъ: „Мы придаемъ слишкомъ большое значеніе образу правленія“, и можетъ быть, отсюда позднѣе у насъ выросло, въ связи съ крушеніемъ революціонной попытки декабристовъ, отношеніе къ крѣпостному праву, къ основному отживающему явленію въ области собственности, съ которымъ можно и должно расчесться и ликвидировать раньше политической реформы.

Іерархическія идеи сенъ-симонизма и странности школы мало занимали герценовскій кружокъ, главное же было—общее настроеніе новаго критическаго ученія.

Въ „Быломъ и Думахъ“ Герценъ вспоминаетъ особенно два элемента воззрѣній сенъ-симонизма, поразившіе воображеніе молодого кружка:

„Съ одной стороны, *освобожденіе женщины*, призваніе ея на общій трудъ, отданіе ея судебъ въ ея руки, союзъ съ нею, какъ съ равнымъ. Съ другой—оправданіе, *искупленіе плоти*, rehabilitation de la chair.—Великія слова, заключающія въ себѣ цѣлый міръ новыхъ отношеній между людьми—міръ здоровья, міръ духа, міръ красоты, міръ естественно-нравственный и потому нравственно чистый... Религія жизни шла на смѣну смерти, религія красоты на смѣну религіи бичеванія и худобы отъ поста и молитвы... Новый міръ толкался въ дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. *Сенъ-симонизмъ легъ въ основу нашихъ убѣжденій и неизмѣнно остался въ существенномъ*“ (Курсивъ нашъ).

Рядомъ съ этимъ стояла для нихъ и положительная соціально-экономическая сторона, указанія на основы будущаго.

„Ты правъ,—писалъ Герценъ Огареву около этого времени;—Saint-Simonisme имѣетъ право насъ занять. Міръ ждетъ обновленія, потому что революція 89 года ломала—и только, но надобно создать новое, *палингенетическое* время, надобно другія основанія положить обществамъ Европы; болѣе права, болѣе нравственности, болѣе просвѣщенія. Вотъ опытъ—это St.-Sim. Я не говорю о нынѣшнемъ упадкѣ его,—таковымъ я называю его религіозную форму (p. Enfantin etc.)“.

Можно также думать, что одною изъ привлекательныхъ чертъ сенъ-симонизма была для Герцена и высокая роль естествознанія, отводимая ему этимъ соціальнымъ ученіемъ. Въ естественныхъ наукахъ готовы были видѣть уже тогда будущую основу дѣятельности всего человѣчества, что соотвѣтствовало вполнѣ вліянію на Герцена Химика. Можетъ быть, нужно, наконецъ, отмѣтить черту этическаго характера. Мысль *о славѣ*, какъ наиболѣе побудительной причинѣ человѣческихъ дѣйствій, входила съ раннихъ лѣтъ въ міровоз-

зрѣніе самого Сенъ-Симона, и носясь въ воздухѣ сенъ-симонистскихъ идей находила себѣ живой отголосокъ въ юношеской восторженности Герценовскаго кружка.

Но въ расцвѣтъ этихъ мечтаній о новомъ мірѣ, старый міръ напомнилъ мечтателямъ-товарищамъ о себѣ. За сношенія съ однимъ изъ сосланныхъ по дѣлу Сунгурова, нѣкоторые члены Герценовскаго кружка—Огаревъ, Сатинъ, Кетчеръ, Оболенскій вызывались къ начальнику московскаго округа корпуса жандармовъ Лесовскому для внушенія „рѣшительно прекратить всякія сношенія съ Костенецкимъ и прочими его соучастниками“; Лесовскій предупредилъ своихъ невольныхъ гостей, что государь ихъ *прощаетъ*, но чтобы впредь были осторожны.

„Угроза эта была чиномъ, посвященіемъ, мощными шпорами. Совѣтъ Лесовскаго попалъ масломъ въ огонь, и мы, какъ бы облегчая будущій надзоръ, надзоръ полиціи, надѣли на себя бархатные береты à la Karl Sand *) и повязали на шею одинаковые трехцвѣтные шарфы“.

Герценъ въ роковомъ письмѣ ссыльнаго не упоминался и благополучно оканчивалъ въ это время университетскій курсъ. Въ началѣ лѣта сдалъ экзамены, а 6-го іюля 1833 г. въ торжественномъ засѣданіи университета былъ объявленъ удостоеннымъ степени кандидата и серебряной медали. Это событіе было возвѣщено на актѣ при звукахъ трубъ и литавръ торжественнымъ собраніемъ знаменитостей Москвы, въ тридцать градусовъ жары. Лично при торжествѣ Герценъ не присутствовалъ, потому что ему, вмѣсто ожидаемой имъ золотой медали за сочиненіе дали серебряную и онъ считалъ себя обиженнымъ. Перевозчиковъ, задавшій тему, нашелъ въ сочиненіи слишкомъ много философіи и слишкомъ мало формулъ. Темой было „Историческое развитіе Коперниковой системы“, что дало Герцену поводъ связать открытіе Коперника съ общимъ развитіемъ человѣчества, пуститься въ открытое море историко-философскихъ обобщеній о развитіи науки.

---

*) Карлъ Зандъ, юный нѣмецкій республиканецъ, былъ за убійство драматурга Коцебу, агента русской службы, казненъ 20 мая 1820 года. Портретъ его былъ знакомъ Герцену еще въ дѣтскіе годы.

V.

Послѣ университета.

Вмѣстѣ со сладкимъ чувствомъ воли послѣ четырехлѣтнихъ, частью насильственныхъ, занятій, Герценъ вынесъ изъ университета жажду серьезнаго самообразованія: „Хотя я и кончилъ курсъ,—писалъ онъ,—но собралъ такъ мало, что стыдно на людей смотрѣть“.

„Юноша, пришедшій въ себя и успѣвшій оглядѣться послѣ школы, находился въ тогдашней Россіи въ положеніи путника, просыпающагося въ степи,—вспоминаетъ Герценъ впослѣдствіи:—ступай, куда хочешь,—есть слѣды, есть кости погибнувшихъ, есть дикіе звѣри и пустота во всѣ стороны, грозящая тупой опасностью, въ которой погибнуть легко, а бороться невозможно. Единственная вещь, которую можно было продолжать честно и съ любовью—это ученье“. Герценъ собирается изучать Гете, переводить, намѣчая: „Histoire du droit“ par Lerminier. Въ планѣ его самообразованія исторія и политическія науки на первомъ планѣ, естественныя науки на второмъ. Въ письмахъ его къ Огареву говорится объ изученіи сенъ-симонизма, къ мистической сторонѣ котораго онъ относится довольно сдержанно. Далѣе въ письмахъ друзья обмѣниваются мнѣніями о Шеллингѣ; Герценъ совѣтуетъ слѣдовать только его методѣ, а не выводамъ. „Причина: Шеллингъ дошелъ до мистическаго католицизма, Гегель—до деспотизма“. Въ программу самообразовательнаго чтенія Герцена входятъ: Мишле, Вико, Гердеръ, Монтескье, римское право, политическая экономія. Занимаетъ его происхожденіе христіанства. Въ одномъ изъ писемъ читаемъ:

„Предметъ мой—христіанская религія. Обновленья требовалъ человѣкъ, обновленья ждалъ міръ. И вотъ въ Назаретѣ рождается сынъ плотника, Христосъ. „Всѣ люди равны“, говоритъ Христосъ. „Любите другъ друга, помогайте другъ другу“—вотъ необъятное основаніе, на которомъ зиждется христіанство. Но люди не поняли его. Его первая фаза

была мистическая (католицизмъ), но врядъ ли это? Нѣтъ (объ этомъ послѣ какъ-нибудь). Вторая фаза переходъ отъ мистицизма къ философіи (Лютеръ). Нынче начинается третья, истинная, человѣческая, фаланстерство (можетъ быть, с.-симонизмъ??)".

Во всемъ этомъ поражаетъ, какъ эти ранніе интересы проводили Герцена далеко въ жизнь и легли въ основу, какъ увидимъ въ свое время, его позднѣйшихъ идей и мыслей, проповѣди. Эти мечты о соціальной справедливости, построенной на началѣ обновленнаго христіанства, далеко опережали уже тотъ кругъ либеральныхъ идей, въ которомъ вращались представители тогдашняго передового общественнаго мнѣнія.

Герценъ уже на студенческой скамьѣ былъ знакомъ съ московской литературной средой, сблизился особенно съ передовымъ въ то время дѣятелемъ, редакторомъ-издателемъ „Московскаго Телеграфа" Н. Полевымъ, вмѣстѣ съ нимъ „философствовалъ съ безкорыстною любовью къ человѣчеству". Но „...передъ самою тюрьмой сенъ-симонизмъ поставилъ рубежъ между мной и Полевымъ... Для насъ сенъ-симонизмъ былъ откровеніемъ, для него—безуміемъ, пустой утопіей, мѣшающей гражданскому развитію". Споры кончились со стороны Герцена упрекомъ Полевому въ отсталости и пророчествомъ со стороны послѣдняго: „Придетъ время, и вамъ въ награду за цѣлую жизнь усилій и трудовъ, какой-нибудь молодой человѣкъ, улыбаясь, скажетъ: „Ступайте прочь, вы—отсталый человѣкъ".

Работа надъ самообразованіемъ, широкіе умственные интересы Герцена переплетались въ той же, что и въ университетѣ, дружеской средѣ со спорами обо всемъ познаваемомъ и обо всемъ остальномъ, съ дружескими пирушками, вродѣ празднованія четырехъ именинниковъ, описаннаго въ „Послѣднемъ праздникѣ дружбы". Въ это же время Герцену пришлось пережить первую серьезную юношескую любовь.

Раннимъ проблескомъ такого чувства была горячая симпатія Герцена къ Танѣ Кучиной, но дѣвушка серьезно остановила начавшееся увлеченіе товарища школьныхъ лѣтъ. Въ семьѣ Вадима Пассека, за котораго она вскорѣ вышла замужъ, юноша встрѣтилъ дѣвушку, привлекшую его къ себѣ, это была младшая сестра Вадима—Людмила. Исторія сближенія съ нею разсказана самимъ Герценомъ: „...Память объ этой юношеской чистой любви мнѣ мила, какъ память весенней прогулки на берегу моря, среди цвѣтовъ и пѣсенъ". „Мы вѣрили въ нашу любовь. Она мнѣ писала стихи, я писалъ ей въ прозѣ цѣлыя диссертаціи, а потомъ мы вмѣстѣ мечтали о будущемъ, о ссылкѣ, о казематахъ, она была

на все готова. Внѣшняя сторона жизни никогда не рисовалась свѣтлой въ нашихъ фантазіяхъ; обреченные на бой съ чудовищной силой, успѣхъ намъ казался почти невозможнымъ". Герценъ звалъ ее своею Гаэтаной, по имени героини забытаго романа, возлюбленной политическаго мученика. Сохранилась одна изъ такихъ „диссертацій,"—аллегорія, посвященная Гаэтанѣ. По-современному, это—„стихотвореніе въ прозѣ", изображающее союзъ огневого вулкана и тихой сосны.

На время юноша весь отдался порыву. 31-го августа 1833 г. онъ писалъ Огареву: „У меня все есть: *другъ* и друзья, есть *она*, которая любитъ меня до безумія, и я это знаю, есть сила души и воли, которая обусловливаетъ мнѣ поприще дѣятельности и славу. Чего же мнѣ? Да, я счастливъ и что-то дивное льется по душѣ. Понимаю, что за высота быть музыкантомъ. Музыка, одна музыка чѣмъ-нибудь выразила бы внутреннюю *гармонію*... а не нашъ языкъ, языкъ прозы, языкъ земли и праха".

Очень скоро, однако, вспышка увлеченія, въ которомъ, со стороны Герцена, была доля самолюбиваго чувства стать центромъ думъ и чувствъ дѣвушки (она только что разошлась съ другимъ), угасла. Кажется, безпокойный умъ Герцена скоро разглядѣлъ, что дѣвушка, при всей своей искренности, не по немъ: стихи Гаэтаны, при всей снисходительности къ интимной поэзіи этого рода, блѣдный отголосокъ чего-то чужого. Сохранившееся письмо Людмилы дышитъ простодушіемъ, граничащимъ съ малою умственною развитостью. Къ половинѣ 1834 года отъ любви ничего не осталось,—кромѣ раскаянія развѣ: Огаревъ помогъ Герцену разобраться въ его угасавшей страсти...

Характерно для Герцена въ этомъ романѣ предчувствіе трагической развязки, политическаго мученичества, которое и не замедлило.

Почти наканунѣ „мученичества" друзья чертили планы возможной для нихъ общественной дѣятельности. Останавливались, конечно, прежде всего на литературѣ, не удовлетворяясь существовавшими тогда въ Москвѣ „Московскимъ Телеграфомъ" и „Телескопомъ", и „Библіотекой для чтенія", безпринципнымъ ежемѣсячникомъ Сенковскаго, начавшимъ съ этого года выходить въ Петербургѣ. Такъ, 17 февраля 1834 г. Герценъ, Сазоновъ, Сатинъ подписали программу новаго энциклопедическаго журнала. Цѣлью журнала было: „Слѣдить за человѣчествомъ въ главнѣйшихъ фазахъ его развитія, для сего возвращаться иногда къ былому, объяснить нѣкоторыя мгновенія дивной біографіи рода человѣческаго и изъ нея вывести свое собственное положеніе,

обратить вниманіе на свои надежды". Планъ изданія, весьма продуманный и детальный, долженъ былъ охватить науки историческія (литература и соціальные вопросы) и естествознаніе. Послѣ долгихъ обсужденій друзья распредѣлили будущую литературную работу такимъ способомъ: философія исторіи—Огаревъ, Сазоновъ и Герценъ, историческіе отрывки (оригинальные и переводные)—Лахтинъ, Сатинъ, Кетчеръ и Герценъ, статистическое отдѣленіе — Лахтинъ, Герценъ и Сазоновъ, теорія литературы—Огаревъ, переводная беллетристика — Сатинъ и Кетчеръ, критика литературная — всѣ, поэзія—Огаревъ и Сатинъ. Остальные отдѣлы рѣшено было предоставить не постояннымъ сотрудникамъ. Все должно было быть охвачено единствомъ воззрѣній, какимъ, конечно, былъ бы сенъ-симонизмъ.

Надо думать, этотъ проектъ не получилъ бы разрѣшенія, если бы друзья и подали прошеніе о журналѣ. Вскорѣ имъ властно дано было понять, что „съ ними не шутятъ", что отъ нихъ требуютъ „безмолвія и бездѣйствія", что „талантъ и умъ осуждены цѣпенѣть и гноиться на днѣ души, обратившейся для нихъ въ тюрьму"; что „всякая свѣтлая мысль является преступленіемъ противъ общественнаго порядка"; что русское государство „пріемлетъ въ свои нѣдра одну бездушную покорность" (Никитенко, Дневникъ, 15 апр. 1834 г.).

Напоминаніемъ была судьба Полежаева, съ которымъ въ 1833 г. познакомился Герценъ, когда поэта, отданнаго за полу-политическіе, полу-фривольные стихи въ солдаты, съ Кавказа перевели въ полкъ, стоявшій въ Москвѣ.

VI.

Тюрьма.

1834 годъ, годъ крутого перелома въ жизни Герцена и Огарева и ихъ друзей, былъ для Москвы также очень тревожнымъ. Былъ рядъ опустошительныхъ пожаровъ, которымъ не могли доискаться причины. Власти были поставлены на ноги. Въ это время тайная полиція наткнулась, по доносу, на кружокъ молодежи, въ которомъ при кутежахъ пѣлись пѣсни, „наполненныя гнусными и злоумышленными выраженіями противъ вѣрноподданнической присяги“*). Полиція, съ помощью провокатора, накрыла кружокъ на мѣстѣ преступленія, и началось „дѣло“, къ которому сначала привлекли Огарева, заарестовавъ его, а потомъ и Герцена. За ними найдены были вины болѣе тяжкія, нежели пѣніе.

Огаревъ былъ арестованъ 9 іюля. Герценъ узналъ объ этомъ на другой день и въ смятеніи бросился по болѣе виднымъ знакомымъ узнавать чрезъ нихъ о другѣ; обращался даже къ оберъ-полицейместеру, но ничего, конечно, не могъ добиться, кромѣ того, что еще болѣе обратилъ на себя вни-

---

*) Приводимъ одну изъ этихъ пѣсенъ, составленную В. И. Соколовскимъ, товарищемъ Герцена и Огарева по университету, совершенно чуждымъ какихъ бы то ни было политическихъ замысловъ.

Русскій . . . . .
Богу духъ вручилъ,
Ему операторъ
Брюхо начинилъ.

Но царю вселенной,
Богу вышнихъ силъ,
Царь Благословенный
Грамоту вручилъ.

Плачетъ государство,
Плачетъ весь народъ,
Ѣдетъ къ намъ на царство
. . . . . .

Манифестъ читая,
Сжалился Творецъ,
Далъ намъ Николая
Всевышній Отецъ.

За это „преступное противъ вѣрноподданнической присяги“ стихотворчество Соколовскій поплатился заключеніемъ въ Шлиссельбургѣ, какъ сказано ниже.

маніе. „...Неизвѣстность и бездѣйствіе убивали меня. Почти никого изъ друзей не было въ городѣ, узнать рѣшительно нельзя было ничего. Казалось, полиція забыла или обошла меня. Очень, очень было скучно. Но когда все небо заволокло сѣрыми тучами и длинная ночь ссылки и тюрьмы приближалась, свѣтлый лучъ сошелъ на меня. Нѣсколько словъ глубокой симпатіи, сказанныя семнадцатилѣтней дѣвушкой, которую я считалъ ребенкомъ, воскресили меня".

То была Наталія Александровна Захарьина, родная младшая сестра „Химика", воспитанница княгини Хованской, сестры Ивана Алексѣевича Яковлева.

Герценъ подробно нарисовалъ картину развитія ея во второй части „Былого и Думъ". Восьми лѣтъ она была взята изъ милости въ домъ старой праздной старухи, какъ принимаютъ отъ скуки собаченокъ. „Ни одного теплаго слова, ни одного нѣжнаго взгляда, ни одной ласки; возлѣ, около—посторонніе, морщины, пожелтѣлыя щеки, существа потухающія, хилыя". Княгиня была постоянно взыскательна, строга, нетерпѣлива и ничѣмъ не могла отогрѣть сердца дѣвочки, росшей замкнутымъ въ себѣ, всегда печальнымъ, тихимъ дичкомъ. Въ домѣ велся обиходъ стариннаго московскаго дома, соблюдали посты, ходили къ заутренѣ, ставили наканунѣ крещенья крестъ на дверяхъ, дѣлали удивительные блины на масляницѣ, ѣли буженину съ хрѣномъ, обѣдали ровно въ два и ужинали въ девятомъ часу. День наполнялся пересудами съ толпой вѣчныхъ старухъ-приживалокъ, и на ребенка никто не обращалъ вниманія. „...Мое ребячество было самое печальное, горькое,—вспоминаетъ она сама:—сколько слезъ пролито, невидимыхъ никѣмъ, сколько разъ бывало ночью, не понимая еще, что такое молитва, я вставала украдкой (не смѣя и молиться не въ назначенное время) и просила Бога, чтобъ меня кто-нибудь любилъ, ласкалъ. У меня не было той забавы или игрушки, которая бы заняла меня и утѣшила, потому что, ежели и давали что-нибудь, то съ упрекомъ и съ непремѣннымъ добавленіемъ: „Ты этого не стоишь". Каждый лоскутъ, получаемый отъ нихъ, былъ мною оплаканъ; потомъ я становилась выше этого; стремленіе къ наукѣ душило мени, я ничему больше ни завидовала въ другихъ дѣтяхъ, какъ ученью. Многіе меня хвалили, находили во мнѣ способности и съ состраданіемъ говорили: „Если-бъ приложить руки къ этому ребенку!"—Онъ дивилъ бы свѣтъ,—договаривала я мысленно, и щеки мои горѣли, я спѣшила идти куда-то, мнѣ виднѣлись мои картины, мои ученики, а мнѣ не давали клочка бумаги, карандаша... Стремленіе выйти въ другой міръ становилось все сильнѣе и сильнѣе, и вмѣстѣ съ тѣмъ росло

презрѣніе къ моей темницѣ и къ ея жестокимъ часовымъ". Особый оттѣнокъ на развитіе талантливаго ребенка наложило вліяніе одного изъ ея учителей, стараго діакона приходской церкви, восторженно, фанатически вѣрующаго человѣка. Евангеліе было ея первою книгою. Долго подругою Наташи была только горничная дѣвушка Саша, нѣсколько старше ея годами. Онѣ вставали рано по утрамъ, когда все въ домѣ еще спало, читали Евангеліе и молились, выходя во дворъ, подъ чистымъ небомъ, молились о княгинѣ, о ея компаньонкѣ, просили Бога раскрыть ихъ души; выдумывали себѣ испытанія, не ѣли цѣлыя недѣли мяса, мечтали о монастырѣ и о жизни за гробомъ. Никѣмъ не оцѣненная въ безсмысленномъ домѣ княгини, Наташа незамѣтно завоевала горячее поклоненіе всей дворни. „Простые люди эти видѣли въ ней больше, чѣмъ добрую, ласковую барышню: они въ ней угадали что-то высшее, передъ чѣмъ они склонялись, они вѣровали въ нее". Невѣсты изъ княгининаго дома просили ее приколоть какую-нибудь ленту, когда шли къ вѣнцу. Умирающая крѣпостная дѣвушка проситъ привести барышню и испускаетъ послѣдній вздохъ подъ ея молитву.

У княгини иногда гостила Таня Кучина. Разглядѣвъ въ Наташѣ, съ изумленіемъ и восторгомъ, что-то выдающееся, она принимается со страстью за ея развитіе, сообщаетъ разомъ своей ставленницѣ „все, бродившее въ ея собственной душѣ, шиллеровскія идеи и идеи Руссо, революціонныя мысли, взятыя у меня (Герцена), и мечты влюбленной дѣвушки, взятыя у себя самой", надавала ей тайкомъ книгъ, французскихъ романовъ, стиховъ, поэмъ. Это были большею частью книги, въ которыхъ „сильно билась соціальная артерія, вездѣ обличались общественныя раны, вездѣ слышался стонъ сгнетенныхъ голодомъ, невинныхъ каторжниковъ работы". Это чтеніе, безъ всякой системы, тѣмъ не менѣе, сильно возбуждало мысль и работу фантазіи. Молодая дѣвушка, гувернантка Эмилія Аксбергъ, вошедшая въ домъ княгини, съ своей стороны внесла въ жизнь Наташи оживленіе своею веселостью, не исключавшей симпатіи ко всему мечтательному и романтическому, но кончила тѣмъ, что совершенно подпала вліянію своей ученицы. Но обѣ подруги имѣли для Наташи еще то важное значеніе, что обѣ онѣ восторженно относились къ юному Герцену, и незамѣтно для самихъ себя и для самой Наташи сосредоточили на немъ всѣ ея мысли, мечты и интересы.

Увлеченный политическими мечтами, науками, товариществомъ, Герценъ, изрѣдка бывая въ домѣ княгини, и не подозрѣвалъ, какъ внимательно слѣдитъ дѣвушка за каждымъ его шагомъ, за его жизнью и интересами. Случайная

встрѣча, въ эти тяжелые дни неизвѣстности и тревоги за друга, показала Герцену, сколько теплой симпатіи къ нему таится въ ея душѣ. Были скачки и гулянье на Ходынскомъ полѣ, куда въ сопровожденіи компаньонки княгиня отпустила и Наташу. Здѣсь они встрѣтились, Наташа спросила объ Огаревѣ, и во время прогулки они разговорились.

„Скачка кончилась. Они шли пѣшкомъ къ кладбищу. Первое, что открылось, былъ позлащенный шпицъ высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Саши вылилась чернымъ словомъ.

„—И эта колокольня ничего больше не говоритъ вашему сердцу? посмотрите, куда она указываетъ,—сказала Наташа:—тамъ утѣшатся всѣ скорби". Въ этомъ духѣ разговоръ продолжался и дальше. На жалобу, что другъ за любовь къ людямъ гибнетъ неоцѣненный, неузнанный, Наташа возразила:—„Неужели вы это говорите о рукоплесканіяхъ? Сейчасъ мы видѣли, какъ ихъ расточаютъ лошадямъ. Одни поденщики требуютъ награды". Они зашли на кладбище, и весь разговоръ, эта столь чуждая недавнему студенту религіозная настроенность дѣвушки глубоко врѣзались въ намять юноши, особенно потому, что въ ту же ночь онъ былъ оторванъ отъ прежней жизни арестомъ. (Разсказъ Т. Пассекъ).

Это было въ ночь съ 20 на 21 іюля. Полиціймейстеръ Миллеръ съ сонмомъ полиціи произвелъ обыскъ въ книгахъ и бумагахъ Герцена и понятный переполохъ въ домѣ. Потрясенный старикъ Яковлевъ принесъ маленькій образъ, надѣлъ сыну на шею и сказалъ, что имъ благословилъ его отецъ умирая. „Я былъ тронутъ,—вспоминаетъ Герценъ:—этотъ *религіозный* подарокъ показалъ мнѣ мѣру страха и потрясенія въ душѣ старика. Я сталъ на колѣни, когда онъ надѣвалъ его; онъ поднялъ меня, обнялъ и благословилъ. Образъ представлялъ на финифти отсѣченную голову Іоанна Предтечи на блюдѣ. Что это было—примѣръ, совѣтъ или пророчество?—не знаю, но смыслъ образа поразилъ меня".

Герценъ былъ отвезенъ въ пречистенскую часть, гдѣ на утро онъ имѣлъ случай впервые спуститься отъ міра идей и товарищества какъ бы въ Дантовъ адъ россійскаго полицейскаго правосудія и наблюдать сцены отеческой расправы. Въ частномъ домѣ происходили допросы подозрѣваемыхъ въ поджогахъ. „Иногда допрашиваемыхъ сѣкли или били; тогда ихъ вопль, крикъ, просьбы, визгъ, женскій стонъ, вмѣстѣ съ рѣзкимъ голосомъ полицмейстера и однообразнымъ чтеніемъ письмоводителя доходили до меня. Это было ужасно, невыносимо. Мнѣ по ночамъ грезились эти звуки, и я про-

сыпался въ изступленіи, думая, что страдальцы эти въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня лежатъ на соломѣ, въ цѣпяхъ, съ изодранной, съ избитой спиной, и навѣрное безъ всякой вины"...

Между тѣмъ власти вели дѣло Герцена и товарищей своимъ чередомъ. 24 іюля былъ первый допросъ Герцену и всѣмъ остальнымъ. Всѣ не отличались болтливостью и показывали очень мало, ничего не говоря о своихъ политическихъ вѣрованіяхъ. Въ это время была образована для этого дѣла новая комиссія съ кн. С. М. Голицынымъ, попечителемъ московскаго университета во главѣ, главнымъ же ея дѣятелемъ былъ другой кн. Голицынъ А. Ѳ., „отборнѣйшій инквизиторъ", по выраженію Герцена. Начались новые допросы и выпытыванія. Дознаніе имѣло въ виду болѣе всего раскрыть образъ мыслей заподозрѣнныхъ, мыслей, „несвойственныхъ духу правительства, мнѣнія революціонныя и проникнутыя пагубнымъ ученіемъ Сенъ-Симона". Правда, самъ предсѣдатель комиссіи смѣшивалъ соціалиста Сенъ-Симона съ герцогомъ времени Людовика XIV, но такая малость не могла помѣшать округленію дѣла въ нужномъ власти смыслѣ, несмотря даже на то, что московскій комендантъ Стааль, также назначенный въ члены слѣдственной комиссіи, возмущенный насиліемъ надъ людьми за какія-то полувысказанныя мнѣнія, отказался отъ участія въ ней. Комиссія раздѣлила привлеченныхъ на три разряда, причемъ Герценъ и Огаревъ, вмѣстѣ съ авторомъ одной изъ пѣсенъ и другими, попалъ въ первый разрядъ. Вотъ характеристики друзей, данныя комиссіею въ ея предварительной запискѣ:

Герценъ—„молодой человѣкъ пылкаго ума и хотя въ пѣніи пѣсенъ не обнаруживается, но изъ переписки его съ Огаревымъ видно, что онъ смѣлый вольнодумецъ, весьма опасный для общества".

Огаревъ—„сознался въ пѣніи дерзкихъ пѣсенъ, будучи въ пьяномъ образѣ, былъ знакомъ съ Соколовскимъ и со всѣми, пѣвшими дерзкіе стихи, велъ съ титулярнымъ совѣтникомъ Герценомъ переписку, наполненную свободомысліемъ, въ показаніяхъ своихъ замѣченъ упорнымъ и скрытымъ фанатикомъ".

Естественно, что послѣ такихъ характеристикъ нельзя было ожидать благополучнаго исхода, тѣмъ болѣе, что на друзей падало подозрѣніе въ пропагандѣ. Такъ, Оболенскій изобличался, какъ „грубый подражатель Огареву и Герцену въ свободомысліи" и т. п.

Въ концѣ августа Герцена перевели въ Крутицкій монастырь, превращенный въ жандармскую тюрьму. Для на-

чала, въ первый день заключенія въ монастырской кельѣ, онъ угорѣлъ до полусмерти. Обстановка была для молодого человѣка все-таки терпима: здѣсь онъ былъ избавленъ отъ отвратительнаго зрѣлища допросовъ поджигателей, да и надзоръ смягчался чисто россійскимъ благодушіемъ отношеній, которыя подъ конецъ установились между арестантомъ и надзиравшими надъ нимъ жандармскимъ солдатомъ и офицерами; послѣдніе не вошли еще во вкусъ притѣсненія политически заподозрѣнныхъ. Изрѣдка дозволялись свиданія съ родителями и родственниками. Наташу къ свиданіямъ не допустили, но, благодаря постоянно бывшимъ у Герцена деньгамъ, онъ могъ писать ей. Занятіями его въ тюрьмѣ были изученіе итальянскаго языка, чтеніе Четьи-Минеи...

Допросы кончились попыткой со стороны младшаго Голицына вызвать Герцена на оговоръ товарищей: Голицынъ уговаривалъ пожалѣть отца, угрожалъ солдатчиною, увѣрялъ, что товарищи Герцена не были такъ скромны въ своихъ показаніяхъ, какъ онъ. Герценъ отказался что-либо прибавить къ своимъ показаніямъ.

21 января (1835 г.) Голицынъ старшій отправилъ свой всеподданнѣйшій рапортъ съ приложеніемъ доклада объ исполненіи возложеннаго на комиссію порученія. Участвовавшія въ пѣніи пасквильныхъ пѣсенъ лица въ составленіи сообщества не винились, а лишь въ дерзкихъ отзывахъ о Государѣ и правительствѣ. Въ первый разрядъ по преступности попали сочинители дерзостныхъ стиховъ Соколовскій и Уткинъ. Огаревъ и Герценъ, а также присоединенные къ нимъ позднѣе Сатинъ и Лахтинъ, составили особый разрядъ „обращающихъ на себя вниманіе образомъ мыслей своихъ". Одновременно съ этимъ Голицынъ писалъ шефу жандармовъ Бенкендорфу объ этихъ внѣразрядныхъ: „Хотя не видно въ нихъ настоящаго замысла къ измѣненію государственнаго порядка, и сужденія ихъ, не имѣющія еще существенно никакихъ вредныхъ послѣдствій, въ прямомъ значеніи не что иное суть, какъ однѣ мечты пылкаго воображенія, возбужденныя при незрѣлости разсудка чтеніемъ новѣйшихъ книгъ, которыми молодые люди нерѣдко завлекаются въ заблужденія, но за всѣмъ тѣмъ имѣютъ видъ умствованій не позволительныхъ какъ потому, что, укоренясь временемъ, могутъ образовать расположеніе ума, готоваго къ противнымъ порядку мѣропріятіямъ, такъ и потому, что люди съ такими способностями и образованіемъ, какія имѣютъ означенныя въ семъ разрядѣ лица, удобно могутъ обольщать ими другихъ".

На основаніи этихъ соображеній, столь типичныхъ для русскаго политическаго процесса, особенно процесса нико-

лаевскихъ временъ, слѣдственная комиссія и предлагала, для предотвращенія будущихъ возможныхъ „расположеній ума къ противнымъ порядку мѣропріятіямъ“, болѣе или менѣе суровыя „кары“ за „мечты пылкаго воображенія“. Взойдя до Государя, дѣло въ отношеніи главныхъ преступниковъ Соколовскаго, Уткина и Ибаева было разрѣшено отправленіемъ ихъ въ Шлиссельбургскую крѣпость *). Для нашихъ друзей оно разрѣшилось ссылкою ихъ на службу въ болѣе или менѣе отдаленныя губерніи. Герценъ былъ назначенъ въ Пермскую губернію, Огаревъ—въ Пензенскую, Лахтинъ—въ Саратовскую и Сатинъ, схватившій во время заключенія жестокую болѣзнь на всю жизнь,—въ Симбирскую **).

31 марта приговоръ былъ объявленъ имъ всѣмъ въ присутствіи комиссіи, причемъ предварительно былъ прочитанъ „законъ по первому пункту“ и сообщено, что по милости Государя они освобождаются отъ строгости суда, грозившей смертною казнью, и подвергаются наказанію исправительному. Тутъ друзья увидѣли другъ друга впервые послѣ іюля 1834 года, чтобы разстаться надолго.

Такова въ общихъ чертахъ вся внѣшняя исторія процесса Герцена и его заключенія. Послѣднее имѣло не малое значеніе для всего склада его мыслей и настроенія. Онъ былъ настолько молодъ и крѣпокъ, что легко переносилъ самое заключеніе, какъ ни тягостно оно было по существу; мысль о несправедливости гоненія, къ которому онъ готовился уже въ полудѣтскихъ мечтахъ съ Огаревымъ, поддерживала и укрѣпляла душу. Онъ чувствовалъ себя политическимъ мученикомъ. Самъ онъ (въ письмахъ изъ Вятки) вспоминаетъ тюрьму нѣсколько разъ добрымъ словомъ. „Я смотрю, какъ на блаженное время, на прошлые 9 мѣсяцевъ тюрьмы. Тамъ возвышалась душа моя, тамъ прахъ земной слеталъ съ нея, тамъ я, ежели не видалъ друзей, то слышалъ, какъ

*) Судьба ихъ была болѣе или менѣе печальна. Художникъ Уткинъ, раздражившій комиссію рѣзкостью, человѣкъ лѣтъ сорока, никогда не участвовавшій ни въ какомъ политическомъ дѣлѣ, попалъ въ сырой казематъ, гдѣ чрезъ два года и умеръ. По словамъ Герцена, его *уморили*. Соколовскій былъ выпущенъ полумертвый на Кавказъ, гдѣ вскорѣ и умеръ; его поэтическій талантъ не могъ получить въ тюрьмѣ развитія. Офицеръ Ибаевъ, виновный нисколько не болѣе другихъ пѣвцовъ, нѣкоторые изъ которыхъ были прощены, пострадалъ за свои эполеты и кончилъ мистицизмомъ.

**) Лахтинъ, который вовсе не былъ даже арестованъ, когда его позвали въ комиссію, думалъ, что это для страха, для того, чтобы онъ казнился, глядя, какъ другихъ наказываютъ. Разсказывали, что ему удружилъ кто-то изъ близкихъ князя Голицына, сердясь на жену Лахтина. Слабый здоровьемъ, онъ года черезъ три умеръ въ ссылкѣ.

билось ихъ сердце...“—такъ читаемъ въ одномъ письмѣ къ Наташѣ (25 іюня 1835 г.). Въ другомъ: —„Прелестное время для души! Тамъ я былъ высокъ и благороденъ, тамъ я былъ поэтъ, великій человѣкъ. Какъ презиралъ я угнетеніе, какъ твердо переносилъ все и какъ твердо выдержалъ искушенія инквизиторовъ!.. Это лучшая эпоха моей жизни: она была горька для моихъ родителей, для моихъ друзей, но я былъ счастливъ“ (5 дек. 1835 г.). „Въ тюрьмѣ я выросъ“,—говоритъ онъ, наконецъ (13 ноября 1837 г.), видя начало новой полосы жизни именно здѣсь.

Нѣсколько строкъ изъ писемъ Герцена изъ тюрьмы къ Наташѣ могутъ хорошо освѣтить происходившій въ немъ поворотъ отъ прежнихъ настроеній, поворотъ, вызванный какъ раздумьями въ той же тюрьмѣ, такъ и вліяніемъ восторженно-религіознаго настроенія Наташи. Черезъ полгода послѣ ареста онъ писалъ ей: „О себѣ много нечего говорить: я обжился, привыкъ быть колодникомъ, выброшеннымъ изъ общества, государственнымъ преступникомъ, на будущее я не смотрю,—что будетъ, то будетъ. Самое грозное для меня—это разлука съ Огаревымъ: этотъ человѣкъ мнѣ нуженъ, необходимъ, я безъ него—одинъ томъ неоконченной поэмы, отрывокъ. И какъ онъ твердъ въ своемъ несчастіи! Но его ли душѣ потрясаться отъ этихъ земныхъ толчковъ?“... Разсказавъ, какъ онъ видѣлъ друга въ окно, Герценъ восклицаетъ: „Неужели намъ суждена гибель, и какая гибель, нѣмая, глухая, о которой никто не узнаетъ! Зачѣмъ же природа дала намъ эти огненныя души, стремящіяся къ дѣятельности и къ славѣ, неужели это насмѣшка!?.. Но, нѣтъ, здѣсь, въ груди горитъ вѣра сильная, живая, есть Провидѣніе! Я читаю съ восторгомъ Четьи-Минеи, вотъ гдѣ божественные примѣры самоотверженія, вотъ были люди!“ (10 дек. 1834 г.).

Онъ погружается въ этотъ новый для него міръ религіознаго мученичества, чтобы создать одно изъ первыхъ своихъ литературныхъ произведеній, легенду о св. Ѳеодорѣ; рукопись онъ умудрился передать Наташѣ. Въ тюрьмѣ же Герценомъ былъ набросанъ „Германскій путешественникъ“, разсказъ о мнимой встрѣчѣ съ Гете, составившій позднѣе часть „Записокъ одного молодого человѣка“. Это—полная противоположность „Легендѣ“, какъ бы отраженіе другой полосы настроеній Герцена, его художественнаго призванія и взгляда на общественный долгъ, лежащій на каждомъ: геній, „олимпіецъ“ Гете, съ холоднымъ пренебреженіемъ глядитъ на общественно-политическіе раздоры своего времени, и Герценъ не усомнился поставить его въ нравственномъ смыслѣ ниже рядового офицера, но проникнутаго сознаніемъ гражданскаго долга.

Какъ видно и изъ этихъ произведеній и изъ писемъ, въ немъ борются старое стремленіе къ широкой дѣятельности, къ борьбѣ за свободу, къ славѣ—съ новымъ настроеніемъ, сводившимся къ тихой покорности Провидѣнію, о чемъ твердила Наташа. „...Гдѣ же *нашъ* Христосъ? Кому *мы* склонимъ на грудь опечаленную голову? Неужели мы—ученики безъ учителя, апостолы безъ Мессіи? Я готовъ переносить страданія и не такія, какъ теперь; но я не могу снести холода, съ какимъ смотритъ свѣтъ на насъ оловянными глазами, пусть бы ненавидѣли, это все лучше. Вотъ колодникъ Петръ въ цѣпяхъ приближается къ Риму, и весь народъ бѣжитъ встрѣтить его, насъ кто встрѣтитъ и проводитъ? Можетъ, одинъ смѣхъ. Меня въ комиссіи обвиняли въ сенъ-симонизмѣ, я не сенъ-симонистъ, но вполнѣ чувствую многое съ ними заодно. Нѣтъ жизни истинной безъ вѣры“... (21 февр. 1835 г.).

„Помнишь, что я писалъ тебѣ въ прошлый разъ: наша жизнь рѣшена, жребій брошенъ, буря увлекла, *куда?*—не знаю. Но знаю, что *тамъ* будетъ хорошо, тамъ отдыхъ и награда. Человѣчество! Для него все, для него родятся *люди*, ему обязаны мы; но что мы можемъ? Малое, но и малое есть нѣчто. *Послушайте, братія, не нищихъ ли міра сего Богъ избралъ быть богатыми вѣрою*“ (посл. Іакова). Да и кто были апостолы? Нѣтъ, наша будущность въ нашихъ рукахъ. Да будемъ мы забыты и презрѣнны, ежели схоронимъ въ землю тѣ малые таланты, которые намъ далъ Богъ“ (2-е апрѣля).

Этому мистическому настроенію еще было суждено крѣпнуть и развиваться въ будущемъ. Сама тюрьма, развивая понятную мечтательность, содѣйствовала этому. „Знаешь, какъ я теперь фантазирую,—пишетъ онъ изъ тюрьмы:—читаю долго, долго, что-нибудь хорошее и, бросивъ книгу, переношусь туда, въ міръ этой книги; и я могу нѣсколько часовъ совершенно жить въ другомъ вѣкѣ, съ его понятіями и пр.“ (мартъ, 1835). Несомнѣнно была въ этомъ и доля той склонности къ работѣ фантазіи, безъ которой немыслима и литературная дѣятельность...

Не смотря на объявленіе резолюціи, друзья не были освобождены изъ тюремнаго заключенія до самаго выѣзда изъ Москвы. Наканунѣ его, 9 апрѣля 1835 года, Герценъ на нѣсколько минутъ увидѣлся съ Наташей въ тюрьмѣ. „Долго святилъ я этотъ день въ моей памяти,—вспоминаетъ Герценъ,—это одно изъ счастливѣйшихъ мгновеній въ моей жизни“. Слова „любовь“ сказано не было, но предчувствіе ея жило въ обоихъ и налагало на ихъ дружбу особый отпечатокъ сердечной связанности. На другой день, простившись съ родителями и родней, Герценъ скакалъ уже въ сопровожденіи жандарма въ Пермь.

VII.

Вятка.

28 апрѣля Герценъ былъ уже въ Перми, едва не утонувъ при переправѣ черезъ Волгу подъ Казанью. „Преддверіе Сибири“ поразило его своею угрюмостью; уже здѣсь онъ почувствовалъ, когда при наймѣ квартиры услышалъ вопросъ, не будетъ ли держать корову,—что попалъ на самое дно русскаго провинціальнаго затишья. Въ Перми онъ пробылъ, однако, очень не долго. Сосланный въ Вятку Оболенскій, по просьбѣ отца, вдругъ былъ переведенъ въ Пермь, и Герценъ долженъ былъ занять его мѣсто. Памятной осталась Герцену здѣсь только встрѣча съ ссыльнымъ полякомъ Цихановичемъ, о которой онъ вспоминаетъ въ „Быломъ и Думахъ“...

Въ Вятку Герценъ прибылъ 19-го мая 1835 года съ самымъ мрачнымъ чувствомъ. „Вотъ входъ въ чужой городъ, который запрется для меня, — писалъ онъ Наташѣ. — Это испытываетъ звѣрь, попавшійся въ тенета“.

Онъ былъ присланъ для службы, и вятскій губернаторъ, прославленный Герценомъ Тюфяевъ встрѣтилъ его крайне враждебно. 1-го іюня Герценъ былъ назначенъ переводчикомъ губернскаго правленія. Хотя служба его состояла изъ обязательной праздности, но она была тягостна и полною зависимостью отъ Тюфяева, и самою безсодержательностью. Тюфяевъ, старый аракчеевскій служака, прошелъ сквозь огонь, воду и мѣдныя трубы, прежде чѣмъ доползъ до губернаторства. Это былъ типъ настоящаго сатрапа, во все вмѣшивающагося; развратный, грубый по натурѣ, жестокій, онъ тяготѣлъ надъ губерніей невѣроятнымъ произволомъ, и Герценъ въ интимныхъ письмахъ клеймитъ его именемъ Калибана, паука, гіены. Онъ могъ, по капризу, совершенно спокойно сослать Герцена въ любой безлюдный городишко пространнаго вятскаго края, что и сдѣлалъ однажды съ молодымъ ссыльнымъ полякомъ, которому на какомъ-то балу отдали

дамы предпочтеніе за мазурку. И тогда, и послѣ канцелярская служба у Тюфяева казалась Герцену гораздо хуже тюрьмы. „Не матеріальная работа была велика, а удушающій, какъ въ собачьемъ гротѣ, воздухъ этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени, вотъ что дѣлало канцелярію невыносимой“. Непосредственный начальникъ Герцена Аленицынъ (начальникъ канцеляріи), его не тѣснилъ, но высиживать отъ 9 до 2 утра и отъ 5 до 8 вечера въ обществѣ полуграмотныхъ писцовъ, мелкихъ взяточниковъ, торопившихся сорвать что-нибудь съ каждаго приходящаго крестьянина, въ этой компаніи плутовъ, которыхъ слуга Герцена не билъ за плутовство на бильярдѣ въ трактирѣ только потому, что на нихъ былъ „чинъ“,—это было само по себѣ настоящею пыткою для такого человѣка, какъ Герценъ. Онъ съ ужасомъ вспоминалъ впослѣдствіи, какъ, „просидѣвши цѣлый день въ этой галерѣ, приходилъ домой въ какомъ-то отупѣніи всѣхъ способностей и бросался на диванъ, изнуренный, униженный и неспособный ни на какую работу, ни на какое занятіе... И когда мнѣ приходило въ голову, что послѣ обѣда опять слѣдуетъ идти и завтра опять, мною тотчасъ овладѣвало бѣшенство и отчаяніе, и я пилъ вино и водку для утѣшенія“...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, однако, служба сдѣлалась нѣсколько полегче. Въ это время учреждены были статистическіе комитеты, и у Тюфяева не нашлось никого, кромѣ Герцена, кому бы поручить неслыханное новое дѣло. Онъ съ жаромъ принялся за осмысленную работу, какъ ни иронически отнесся впослѣдствіи къ своимъ статистическимъ проектамъ и планамъ. Новое занятіе, однако, имѣло для Герцена то непріятное послѣдствіе, что повлекло за собою личныя сношенія съ Тюфяевымъ, который даже сталъ приглашать нужнаго чиновника къ своему столу, но дѣло кончилось тѣмъ, что губернаторъ возненавидѣлъ его, и только случай и паденіе самого Тюфяева вскорѣ избавили Герцена отъ очень крупныхъ гоненій.

Въ общемъ, все же служба не давала Герцену почти ничего, кромѣ сношеній съ непріятными и грязными людьми, какъ видно изъ его переписки: „Или будь честный человѣкъ и и жди грому на голову, или поддайся самымъ безнравственнымъ, самымъ отвратительнымъ дѣламъ, самымъ гнуснымъ униженіямъ“,—такую дилемму ставила ему эта служба. „Въ сотый разъ повторяю, что такое за гадкая жизнь въ маленькомъ городѣ, вдали отъ столицъ, гдѣ всѣ трепещутъ одного, гдѣ этотъ одинъ распоряжается, какъ турецкій паша. Нигдѣ нельзя видѣть ниже человѣка, какъ въ какомъ-нибудь захолустьи à la Wiatka... Тамъ, въ столицѣ, хоть наружность

приличная, а здѣсь все открыто, тамъ метутъ грязь, а здѣсь она по колѣно". „Гнусные люди живутъ здѣсь, отсюда ближе къ аду, нежели изъ Москвы". Такими отзывами пестрятъ письма Герцена къ Наташѣ.

Въ небольшомъ вятскомъ обществѣ пріѣздъ молодого богатаго чиновника изъ Москвы не могъ пройти незамѣченнымъ. И самъ Герценъ поддался простительному побужденію въ возмѣщеніе ссылки занять въ обществѣ льстившее его самолюбію положеніе столичнаго человѣка, за которымъ ухаживаютъ, которымъ интересуются. Онъ вездѣ „принятъ", бываетъ даже у архіерея для бесѣдъ о православіи и католицизмѣ, появляется почетнымъ гостемъ на экзаменѣ въ училищѣ, и конечно, блещетъ въ гостиныхъ, участвуетъ въ любительскомъ спектаклѣ, и т. п.

„Я все еще не совсѣмъ устоялся,—пишетъ онъ Наташѣ (1 окт. 1835):—теряю пропасть времени, играю въ карты—очень неудачно, куртизирую кое-кому гораздо удачнѣе. Здѣсь мнѣ большой шагъ надъ всѣми кавалерами, кто же не воспользуется такимъ случаемъ?"... „Въ Перми я не успѣлъ оглядѣться, но здѣсь, пришедши въ обыкновенную жизнь, окруженный мелочами смѣшными и подлыми, притѣсненіями маленькими, душа моя упала съ высоты и вмѣстѣ съ потребностью faire niente, нѣги, чувственныя наслажденія и опять развратъ, слѣдственно. Такъ провелъ я нѣсколько мѣсяцевъ — это ужасно!.. Я не занимался и теперь ничего не дѣлаю, ибо занятія по службѣ отнимаютъ бездну времени, я привыкалъ къ вздорной жизни гостиныхъ (и провинціальныхъ); скажу прямо, мнѣ нравилось играть первую роль въ обществѣ, забывая, что это общество въ Вяткѣ" (5 дек.).

Но это не могло продолжаться долго. Вскорѣ по пріѣздѣ онъ познакомился съ кружкомъ ссыльныхъ поляковъ, пренебрегая тѣмъ, какъ посмотрятъ на это власти. Онъ былъ радъ, по его словамъ, сказать имъ, что онъ—ссыльный, какъ будто это обстоятельство снимало съ него круговую поруку съ тѣмъ, кто и ихъ сослалъ. Но настоящей близости съ ихъ замкнутымъ кружкомъ, гордо несшимъ національное несчастье, не могло образоваться, и Герценъ, дружелюбно ими встрѣчаемый, самъ понялъ это, когда однажды услышалъ отъ одного изъ поляковъ сожалѣніе: „Да зачѣмъ же вы русскій!"

Около Герцена скоро образуется иной тѣсный кружокъ симпатичныхъ ему людей, куда онъ могъ уходить съ увѣренностью, что въ немъ цѣнятъ его не со стороны свѣтскихъ талантовъ и состоянія. Восторженно привязавшійся къ Герцену, молодой учитель гимназіи Скворцовъ и его невѣста, нѣмка Полина Тромпетеръ, которой Герценъ первой довѣрилъ свою, здѣсь созрѣвшую, любовь къ Наташѣ; молодой чи-

новникъ канцеляріи губернатора Эрнъ, младшая сестра котораго позднѣе жила въ домѣ Яковлева въ Москвѣ и вошла какъ бы членомъ семьи въ жизнь Герцена; еще нѣсколько человѣкъ молодежи изъ купцовъ,—для всѣхъ нихъ Герценъ былъ источникомъ новыхъ мыслей, чувствъ, настроенія, и двадцать лѣтъ спустя Герценъ съ чувствомъ вспоминаетъ о своихъ съ ними „смѣлыхъ бесѣдахъ", „тѣ струны, которыя такъ сильно сотрясались любовью и *негодованіемъ*". „Я тебя благословляю,— писалъ ему одинъ изъ этихъ друзей послѣ его отъѣзда изъ Вятки,—какъ земледѣлецъ благословляетъ дождь, оживотворившій его неудобренную почву". „За эти юношескіе призывы и юношескую любовь, за эту возбужденную въ нихъ *тоску*, можно было примириться съ девятимѣсячной тюрьмой и трехлѣтней жизнью въ Вяткѣ".

Но и для себя Герценъ нашелъ въ Вяткѣ человѣка, которому въ свою очередь считалъ себя много и серьезно обязаннымъ.

Это былъ ссыльный архитекторъ-художникъ Александръ Лаврентьевичъ Витбергъ, создатель грандіознаго проекта храма Христа-Спасителя на Воробьевыхъ горахъ въ память изгнанія французовъ. Проектъ былъ одобренъ Александромъ I; Витбергъ принялъ на себя не только дѣло архитектора, но и завѣдываніе всѣми работами, встрѣтился здѣсь съ неизбѣжными злоупотребленіями со стороны окружившихъ его, какъ воронье, массы плутовъ, искавшихъ поживы около многомилліонной постройки, былъ оклеветанъ, работы остановлены, и послѣ десятилѣтняго процесса онъ сосланъ въ 1835 году въ Вятку. Въ лицѣ Витберга Герценъ встрѣтилъ восторженно, мистически настроеннаго художника, человѣка, гордо несущаго несправедливое гоненіе, до конца готоваго добиваться возстановленія справедливости... Онъ былъ много старше годами, товарищескихъ отношеній между ними не могло установиться. Тѣмъ не менѣе, „близость къ Витбергу,—вспоминалъ Герценъ впослѣдствіи,—была мнѣ большимъ облегченіемъ въ Вяткѣ. Серьезная ясность и нѣкоторая торжественность въ манерахъ придавали ему что-то духовное. Онъ былъ очень чистыхъ нравовъ и болѣе склонялся къ аскетизму, чѣмъ къ наслажденіямъ, но его строгость ничего не отнимала отъ роскоши и богатства его артистической натуры. Онъ умѣлъ своему аскетизму придавать такую пластичность и такой изящный колоритъ, что возраженіе замирало на губахъ"... Въ Вяткѣ онъ представлялся Герцену со своею артистическою мечтою, какъ „великій человѣкъ средя мелочнаго времени". „Теперь есть у меня человѣкъ, — писалъ Герценъ Наташѣ,—который понимаетъ всякій восторгъ, поэтъ и несчастный — Витбергъ... Онъ посланникомъ неба

явился ко мнѣ... и такъ судьба умѣетъ и гнать, и лечить раны" (25 дек. 1835). „Вятка скучна, но благословляю судьбу, бросившую меня сюда. Встрѣча съ Витбергомъ выкупаетъ половину непріятностей разлуки" (26 марта 1836). „Твой голосъ, какъ голосъ Бога къ избранному народу, воскресилъ меня; но мнѣ нужна была опора твердая, крѣпкая. Душа вырвалась уже отъ пыли земной, но тѣло еще лежало, и, дивись Провидѣнію, въ самое это время явился Витбергъ. Наша жизнь встрѣтилась, наши несчастія насъ сблизили"... (1-е авг. 1836).

Подъ вліяніемъ Витберга Герценъ заинтересовался архитектурой. Въ честь Витберга въ день его рожденія, Герценъ устраиваетъ сюрпризомъ для него аллегорическія живыя картины на сюжетъ отношеній Данта и Беатриче. Въ немъ онъ нашелъ „опору твердую, крѣпкую" тому настроенію мистической восторженности, которое имъ незамѣтно болѣе и болѣе овладѣло въ Вяткѣ. Только Витбергу Герценъ, наконецъ, довѣрилъ свои отношенія къ одной женщинѣ, составившія въ концѣ концовъ темную для него страницу вятской жизни.

Это—отношенія его къ дамѣ, названной въ „Былымъ и Думахъ" буквою Р. Это была нѣкто Медвѣдева, жена вятскаго чиновника, человѣка годами много старѣе ея и вдобавокъ крайне грубаго и тяжелаго. Герценъ, послѣ случайнаго—по сосѣдству домами—знакомства, быстро увлекся, но столь же быстро и охладѣлъ къ этой женщинѣ, глубоко несчастной и видимо искренне къ нему привязавшейся. Смерть мужа вскорѣ сдѣлала ее свободною, но... со стороны Герцена были уже одни угрызенія совѣсти за легкое отношеніе къ своему увлеченію. Въ это время онъ былъ уже вполнѣ поглощенъ своимъ чувствомъ къ Наташѣ.

Уже въ октябрѣ 1835 года, послѣ обмѣна съ Наташею рядомъ теплыхъ дружескихъ писемъ, онъ ее спрашивалъ, подчеркивая свой вопросъ: „Вѣришь ли ты, что чувство, которое ты имѣешь ко мнѣ, одна дружба? Я не вѣрю" (12 окт.). Потомъ на время онъ, точно испугавшись нечаяннаго признанія (очевидно, подъ вліяніемъ увлеченія Медвѣдевою), спѣшитъ оговориться, что все дѣло только въ дружбѣ. Но для Наташи давно не было вопроса о названіи ея чувству: она вся въ одномъ экстазѣ порыва къ нему, и онъ наконецъ признаетъ, что и для него нѣтъ чувства къ женщинѣ, кромѣ Наташи. Переписка ихъ становится непрерывною цѣпью сердечныхъ изліяній, которыя такъ восторжены, такъ искренне чисты, особенно съ ея стороны, что и на разстояніи десятилѣтій эта интимная переписка глубоко трогаетъ читателя.

Наташа вся—экстазъ разомъ религіознаго и любовнаго

чувства, и подъ вліяніемъ страсти многія страницы ея писемъ—настоящія стихотворенія въ прозѣ. Беремъ, почти на удачу, рядъ выдержекъ изъ этихъ единственныхъ въ своемъ родѣ человѣческихъ документовъ.

„...Ты... солнце, и это солнце играетъ и свѣтится въ душѣ моей, какъ въ чистыхъ водахъ ручья; о, посмотри въ этотъ ручей, какъ прекрасенъ, какъ дивенъ ты въ струяхъ его! И этому солнцу нѣтъ заката, ручей не знаетъ ночи, не знакомъ ни съ луной, ни со звѣздами, онъ любитъ одно солнце, видитъ одно солнце и спокойно катитъ свѣтлыя воды, гдѣ отражается одно солнце. Любовь... я не знаю ея, я не могу любить, душа полна однимъ тобою, нѣтъ мѣста въ ней другому существу, другому чувству, кромѣ любви, къ Нему, дружбы къ тебѣ“... (16 дек. 1835 г.).

„Теперь я вся гимнъ любви, слушай эту музыку: она небесная, она отъ Бога, она твоя! Самъ Богъ обручилъ наши души, Онъ создалъ насъ другъ для друга, и если здѣсь намъ суждена разлука, *тамъ*, мой другъ, намъ вѣчное соединеніе,—тамъ, въ отчизнѣ! Какъ обширна, какъ прекрасна моя душа теперь, мой Александръ: она обняла, отразила твою душу!..... Богъ создалъ меня съ любовью къ тебѣ“... (2 янв. 1836).

„.....Теперь нравственное начало моей жизни будетъ любовь къ тебѣ. Я все читаю съ восторгомъ въ твоихъ письмахъ а тутъ слезы градомъ полились отъ умиленія, я невольно упала на колѣни передъ Тѣмъ, Кто соединилъ жизнь мою, маленькую пылинку, съ твоею жизнью—бурнымъ и обширнымъ моремъ“...

„Цѣлые часы я бываю въ какомъ-то дивномъ состояніи, по цѣлымъ часамъ въ какомъ то забвеніи всего, что окружаетъ меня, въ забвеніи всего земного, ангелъ мой, кромѣ тебя. Нѣтъ, не обыкновенная это радость, не обыкновенное желаніе,—мысль, что, можетъ быть, я скоро увижу *тебя*, услышу *твой* голосъ, буду съ тобою, *съ тобою*!... Одна эта мысль отстраняетъ все отъ души и одна владычествуетъ въ ней и, сильная, уноситъ ее высоко, высоко, показываетъ небо, рай, гдѣ мы будемъ съ тобою вмѣстѣ, и небесною нѣснью, небеснымъ благоуханіемъ обливаетъ все существо мое. Сойдя на землю, я сношу на себѣ остатки музыки небесной, и будто отъ меня ужъ льется ароматъ... и долго не слышу, и не понимаю языка людей“.... (2 іюля 1836).

„...Ты солнце, я звѣздочка, и мой свѣтъ угасъ при появленіи одного луча твоего....

„...Мое небо тамъ, гдѣ ты. Я не помѣняюсь съ жителями неба, не отдамъ земного странствованія на райскую жизнь....

Тобою я свята, ты—мой ангелъ, ты—мое небо, ты—мой рай, моя свѣтлая жизнь; гробъ не разлучитъ насъ..."

„Если ты перестанешь любить меня,—можетъ, это убьетъ меня, я тогда умру, но несчастной не назовусь. Дунулъ вѣтеръ и навѣялъ пылинку на твое лицо, дунулъ въ другой разъ,—и ея ужъ нѣтъ; а лицо твое все также ясно, чисто, все такъ же благородно, прекрасно и величественно, а пыль *исчезла*; коснувшись лица твоего, она не падетъ ужъ ни на что, она стала освященною. Можетъ быть, Провидѣніе такъ же и меня навѣяло на твою душу, какъ пылинку; можетъ, Его же рука сотретъ меня, и ты все такъ же чистъ, высокъ святъ и божественъ, и буду-ль смѣть я роптать на *Него*, на *тебя* (23 авг. 1836).

„Теперь со мною нѣтъ людей, никто не смотритъ, никто не слушаетъ, все далеко, все исчезло, и со мной твой образъ.... *) И съ той минуты, божественный Александръ, твоя Наташа, какъ роза, полуувядшая отъ непогоды, но оживленная солнцемъ и росою, какъ соловей, выпущенный изъ клѣтки, которая была оклеена бумагою, и увидавшій впервые свой лѣсъ, свою зорю, какъ звѣздочка, которая была задернута черною тучей, которую прогналъ вѣтеръ, и звѣзда свѣтло, ярко, радостно, играетъ на небѣ,—да и это все не полно, не такъ выражаетъ, ты вообрази самъ..." (23 окт. 1836).

„...То цѣлый день мнѣ кажется минутой, то минута вѣкомъ. То, кажется, и самое солнце мрачно, то ночью такой озаряетъ свѣтъ меня, будто небеса разверзлись, и даже эфиръ не заграждаетъ славы Его!"...

„Широкое поле! Какъ залубенѣло ты, какою дичью поросло! и какъ уныло ты, мрачно, сиротливо... И стада птицъ не вьются надъ тобою, на тебѣ нѣтъ для нихъ ни зернышка, и звонкихъ пѣсенъ ихъ не слыхать, онѣ летятъ далеко отъ мѣстъ, гдѣ ждетъ ихъ смерть голодная, и слѣда людского не видно на тебѣ, люди боятся трудовъ, которыми ты грозишься имъ (боятся, быть можетъ, и плодовъ), но, не тоскуй ты, поле широкое, не грусти,—не долга твоя кручина, сиротство твое и безжизненность: соха *его* вспашетъ, разобьетъ твою окаменѣвшую землю, и камень разсыплется въ рукахъ его, и посѣянное имъ окропитъ Господь дождемъ, и изъ далекихъ странъ придутъ за хлѣбомъ. Александръ! не ищи славы земной, ищи службы Богу, и я омою ноги твои

*) Это—портретъ Герцена, рисованный Витбергомъ и посланный Наташѣ. Художникъ далъ обаятельно-прекрасный образъ, полный молодой силы, страсти, одухотворенный мыслью и порывомъ, образъ, достойный стать въ ряду знаменитыхъ идеально прекрасныхъ лицъ, молодого Гете, Байрона и другихъ.

слезами и оботру волосами головы моей. Ты видишь это поле, ты знаешь его болѣе меня, болѣзнуешь болѣе,—тебѣ, тебѣ предназначено превратить камень смерти въ хлѣбъ жизни и напитать тысячи; изломится желѣзо сохи,—остануться руки; утомишься, изнеможешь,—тебя ждетъ твоя Наташа, приди къ ней и найдешь покой и отдохновеніе и почерпнешь новыхъ силъ и довершишь начатое!" (3 апр. 1837)

„...Я положила перо, черты твои (на портретѣ) слились съ небомъ, съ солнцемъ... Забудь, забудь хоть на минуту все, и представь себѣ, вообрази... но какъ же назвать это, я не умѣю выразить, Александръ, и слова такого нѣтъ... но все равно, какъ ни скажу, ты поймешь меня. Итакъ, все забудь, никуда не смотри, кромѣ вотъ на это небо, на солнце. Что прекраснѣе ихъ природѣ! Вообрази теперь, какъ черты твои, изображенныя карандашемъ на бумагѣ, отдѣляются, свѣтлѣютъ... горятъ — горятъ огнемъ святой любви, о, какъ горятъ... сливаются съ голубымъ свѣтомъ съ огненными лучами... и вотъ, ты — небо, ты—солнце, солнце и небо—твой образъ!..... Вся природа—твой ликъ, огненный, лучезарный. Не видно, ни растеній, ни горъ, ни морей, ни людей,—все ты, твое око. Я не могла сносить свѣта, закрыла глаза, не могла выносить своего ничтожества, заплакала, и эти капли слезъ еще не высохли—вотъ онѣ на полу..." (8 апр. 1837).

„Иногда я собираю тебѣ лавры со всего свѣта, ставлю всѣхъ на колѣни предъ тобою, повергаю на землю, сажаю тебя на тронъ, вѣнчаю царемъ всей земли, и всю эту славу, все это величіе освящаю любовью... Да, тогда-бъ и я стала на колѣни, хоть съ послѣднимъ, хоть позади всѣхъ, если-бъ умаленіе мое увеличило тебя еще! Иногда... о! это лучше, бѣгу съ тобою въ даль, степь иль глушь, въ пустыню... Тамъ престолъ, корона, слава и весь міръ кажутся ничтожествомъ, тамъ я обвиваю тебя любовью, и она идетъ къ тебѣ лучше порфиры; короною любовью, и на твоей головѣ она величественнѣе тіары; всю необъемлемую пустыню населяю любовью, и она замѣняетъ милліоны людей, преклоненіе колѣна ея выражаетъ болѣе преклоненія колѣнъ неисчислимой толпы, и подножіе твое любовь, и все любовь"... (7 мая 1837).

Предъ этими письмами, неподражаемыми по искренности и красотѣ и силѣ выраженія чувства, и мѣстами напоминающими восторженную „Пѣснь пѣсней", но безъ тѣни чувственности, отвѣтныя письма самого Герцена кажутся блѣдными. Но Наташа вѣрно угадывала исключительную, неувядающую красоту ихъ переписки, когда писала:

„...Толпы поклонятся той, которой дано понять и оцѣнить Александра, небеса позавидуютъ пространству души, обнявшей столько любви" (22 дек. 1836), или: „Когда перей-

демъ въ вѣчность, мы не умремъ на землѣ, эти письма будутъ громче и полезнѣе всякаго памятника" (4 дек. 1837).

Понятно, какъ эта экстатическая любовь, сочетаніе религіознаго чувства и личнаго трогали и волновали Герцена. „Въ ту эпоху, когда я жилъ съ Витбергомъ, я болѣе чѣмъ когда-нибудь былъ расположенъ къ мистицизму. Разлука, ссылка, религіозная экзальтація писемъ, получаемыхъ мною, любовь, сильнѣе и сильнѣе обнимавшая всю душу, и вмѣстѣ гнетущее чувство раскаянія, все это помогало Витбергу... Два раза въ недѣлю приходила въ Вятку московская почта; съ какимъ волненіемъ дожидался я возлѣ почтовой конторы, пока разберутъ письма, съ какимъ трепетомъ ломалъ я печать и искалъ въ письмѣ изъ дома, нѣтъ ли маленькой записочки, на тонкой бумагѣ, писанной удивительно мелкимъ и изящнымъ шрифтомъ. И я не читалъ ея въ почтовой конторѣ, а тихо шелъ домой, отдаляя минуту чтенія, наслаждаясь одной мыслью, что письмо есть"...

Понятно становится и то, какъ мало-по-малу Герценъ все болѣе поддавался вліянію молоденькой дѣвушки, увидя въ ней, наконецъ, непогрѣшимую руководительницу на новомъ пути нравственнаго перерожденія, свою Беатриче, которой онъ станетъ достоинъ лишь послѣ упорной борьбы съ темными сторонами своей натуры.

Сравненіе себя съ Дантомъ, а Наташи съ Беатриче часто встрѣчается въ письмахъ Герцена. „Твой образъ, какъ образъ Дантовой Беатриче, заставляетъ меня стыдиться моей ничтожности",—читаемъ въ одномъ изъ первыхъ писемъ Герцена изъ Вятки. „Увѣряю тебя, что только въ твоей небесной божественной душѣ отразился я такимъ совершеннымъ. Во многихъ мѣстахъ запятнана душа моя, во многихъ мѣстахъ испорченъ и сломанъ характеръ..... Самыя эти огненныя страсти, которыя такъ жгутъ мою грудь, такъ направляютъ ее къ изящному и великому, часто, часто влекутъ меня въ пороки и... послѣ я раскаиваюсь, но не имѣю силы прямо стать противъ нихъ. Теперь нравственное начало моей жизни будетъ любовь къ тебѣ. Такъ слетала къ Данте его Беатриче изъ рая въ видѣ ангела, чтобы вывести ее изъ обители скорби безконечной туда, въ обитель радости" (12 февр. 1836). Вотъ одно изъ наиболѣе характерныхъ писемъ Герцена, въ которомъ полно отразилось это новое міропониманіе, постепенно завладѣвшее имъ, на первый планъ выдвигавшее личное нравственное самосовершенствованіе, окрашенное въ христіанскій мистицизмъ, совершенствованіе для небесной обители. „Я долго читалъ духовныя книги, размышлялъ о христіанствѣ, сочиняя статью *о религіи и философіи*. Усталъ; пора было спать. Я многое рас-

крылъ, написалъ мысли совершенно новыя и радовался. Безъ всякихъ мыслей раскрываю Эккартсгаузена и попалъ на слѣдующее мѣсто св. писанія: „И бѣси вѣруютъ и трепещутъ“. Я содрогнулся! Да, вѣра безъ дѣлъ мертва. Не мышленіе, не изученіе надобно; дѣйствованіе, любовь—вотъ главнѣйшее. Любовь Бога создала слово воплощенное, т. е. весь міръ. Любовь построила весь Христову. И почему мнѣ именно открылось это мѣсто? Случай,—вздоръ! Нѣтъ случая! Это нелѣпость, выдуманная безвѣріемъ. Этотъ текстъ раскрываетъ или лучше указываетъ на многое. Я падшій ангелъ, но всему падшему обѣщано искупленіе; ты—путь, черезъ который я долженъ подняться. Судьба тебѣ предназначила великое, и одну погибшую овцу кто воротитъ, заслуживаетъ царство небесное. И какое счастье исполнитъ тебя, когда, остановивъ на мнѣ твой взоръ, ты скажешь: онъ гибнулъ, и я спасла его любовью, собою; онъ сгорѣлъ бы, и я его огонь обратила къ небу“ (10 ноября 1836 г.). На возраженія Наташи, что онъ возвеличиваетъ ее, онъ пишетъ: „Что страннаго находишь ты въ томъ, что я образовалъ твою душу, а теперь ты ведешь меня—эта мысль такъ проста, такъ ясна... Какъ будто ученики всегда ниже учителя! Рафаэля училъ же живописи кто-нибудь. Іоаннъ крестилъ Іисуса и сказалъ, что недостоинъ перевязать ремень его сандаліи...“ „Я тебѣ говорю: веди меня, и повторяю еще сто разъ; веди—не къ славѣ, не къ дѣятельности, не къ поприщу, туда найду я самъ дорогу, ежели она только проложена для меня; нѣтъ, дѣло о небѣ, дѣло о той святой обители чистыхъ душъ, куда я самъ не попаду безъ тебя, на которую я даже не обращалъ вниманія прежде любви къ тебѣ.... не будь тебя, никогда свѣтлыя высокія мысли нравственности не посѣтили бы моей души.... самолюбіе и гордость вотъ были основы моей жизни до любви, а отъ этихъ мертвыхъ земныхъ началъ мудрено было дойти до идеи нравственной. Ты, ты, ангелъ, причиною тому, что я не могу выносить пятна на душѣ“ (10 дек. 1836).

Такъ подъ совмѣстнымъ вліяніемъ Наташи и Витберга создалась въ Герценѣ мистическая настроенность, съ преобладаніемъ чисто моральной личной точки зрѣнія на всѣ явленія окружающей жизни. Собственно, отъ преданности внѣшней, обрядовой сторонѣ религіи онъ остается далекъ. Но идеи о значеніи потусторонней жизни, о жизни „тамъ“ становятся порою впереди всего, и вотъ, на этомъ фонѣ, въ перепискѣ развертывается крайне любопытная картина борьбы Герцена съ самимъ собою, относительно прежнихъ его мечтаній о славѣ и широкой дѣятельности: это—продолженіе душевной борьбы, возникшей еще въ тюрьмѣ.

Въ его душѣ проходитъ надолго цѣлая полоса отрицанія этихъ мечтаній, во имя подвига самоотреченія и личной любви, разсматриваемой сама по себѣ, какъ исполненіе нѣкоего высшаго велѣнія. Онъ готовъ торжественно отречься и отъ подвиговъ, и отъ славы; ему теперь ничего не нужно, кромѣ неба и любви, даже людей на время не надо. 7 іюня 1837 года онъ, напр., предлагаетъ Наташѣ: „Уѣдемъ въ Италію, не въ большой городъ, нѣтъ, въ какой-нибудь самый незначительный, въ Ниццу или гдѣ-нибудь въ Сицилію, хоть въ деревеньку, лишь бы на берегу моря; море мнѣ необходимо, море—это торжество природы, auguste fanfare. Тамъ проживемъ мы годъ или два безъ людей, тамъ, убаюканные волнами моря и теплымъ воздухомъ, мы отдохнемъ, мы будемъ счастливы.... Тутъ наберемъ мы запасъ силъ и чувствъ на всю жизнь.... А послѣ что?... Тогда я съ вѣрою отдамся Провидѣнію и человѣчеству, тогда я уже кончу все земное, тогда, если моя жизнь не нужна, я могу умереть, ибо что можетъ собственно *мнѣ* дать жизнь лучшаго.... Теперь пройдемъ черезъ это болото, настанетъ день, мы его минуемъ,— и жизнь наша сольется въ одинъ потокъ, котораго путь къ небу". Здѣсь, такимъ образомъ, впереди, „послѣ отдыха" рисуется еще предъ нимъ, что онъ отдаетъ себя *„человѣчеству"*, подвигу самопожертвованія. Скоро онъ пишетъ: „Въ сторону всѣ прочія мечты подъ клеймомъ самолюбія и эгоизма. Ты мнѣ нужна—больше ничего не нужно. Скажи, чѣмъ ты хочешь меня,—и я тѣмъ сдѣлаюсь; хочешь ли славы,—я пріобрѣту ее и брошу къ ногамъ твоимъ; хочешь ли, чтобъ весь родъ человѣческій не зналъ, что я существую, чтобъ мое существованіе было все для одной тебя,—возьми его, оно твое, и все будетъ мало, чтобъ вознаградить блаженство, которое ты дала мнѣ"... (16 іюля 1837), и въ этомъ же письмѣ говоритъ о „сладости въ страданіяхъ", о „блаженствѣ святомъ" въ несчастіи.

Но проходитъ мѣсяцъ, въ его судьбѣ является надежда на освобожденіе (послѣ пребыванія въ Вяткѣ наслѣдника, о чемъ скажемъ ниже), и снова въ душѣ его властно протестуетъ, противъ самоограниченія и слѣпой резигнаціи Провидѣнію, неумолчный голосъ стремленія къ широкой и энергичной дѣятельности, хотя онъ еще готовъ смотрѣть на этотъ голосъ какъ на что-то въ родѣ паденія съ высоты, куда возвела его любовь къ Наташѣ.

„Одинъ элементъ моей души требуетъ поэзіи, гармоніи, т. е. тебя, и больше ничего не требуетъ, и голосъ его сладокъ, чистъ, и душа становится вдвое лучше, когда одинъ этотъ голосъ раздается въ ней, и ему хотѣлъ бы я отдать побѣду, пусть бы онъ царилъ. И я былъ бы тогда хорошъ,

изященъ, исполненъ поэзіи, былъ бы вполнѣ тѣмъ Александромъ, котораго любитъ Наташа. Но рядомъ съ этимъ голосомъ другой, отъ котораго, сколько я самъ себя ни увѣряю (умѣряю?), не могу отдѣлаться, и который силенъ,—это голосъ, сходный съ звукомъ трубъ и литавръ, въ немъ одна поэзія славы, какъ въ томъ—одна поэзія любви, онъ требуетъ власти, силы, обширный кругъ дѣйствія. Бѣда, кто въ ранней юности былъ такъ неосторожень, что пустилъ этотъ голосъ въ свою душу, когда онъ, привѣтно, похвалами товарищей, школьными успѣхами прокрадывался въ нее. Бѣда, потому что онъ растетъ, мужаетъ, и трудно изгнать его... Но не бойся, ежели этотъ голосъ не всегда созвученъ тому голосу, то никогда онъ не побѣдитъ его".

Но чрезъ день онъ снова пишетъ о томъ же безпокойномъ голосѣ. „Откуда онъ? Неужели это одно броженіе буйной, неугомонной гордости? Нѣтъ ли чего-нибудь высшаго, не есть ли это сознаніе силы, не есть ли и это голосъ Провидѣнія, повелѣвающій быть дѣятельнымъ звеномъ? Горе зарывающему талантъ свой! Вѣдь, есть же люди, которыхъ не манитъ обширная дѣятельность, оттого что они не могутъ отпечатать свою физіономію на обстоятельствахъ, оттого что и физіономіи у нихъ своей нѣтъ... Есть люди высокіе, можетъ, самые высочайшіе изъ людей, которые внутри своей души находятъ міръ жизни и дѣятельности, въ созерцаніи проводятъ жизнь, и эти-то созерцанія развиваются теоріями, пересоздающими понятія человѣчества, ежели же и не развиваются, то они довлѣютъ человѣку. Къ этимъ людямъ принадлежитъ Огаревъ, но не я. Во мнѣ съ ребячества поселилась огненная дѣятельность, дѣятельность внѣ себя. Отвлеченной мыслью я не достигну высоты, я это чувствую, но могу представить себѣ возможность большаго круга дѣятельности, которому бы я могъ сообщить огонь души *). Ка-

*) Отмѣтимъ, между прочимъ, что въ одномъ изъ вятскихъ писемъ, именно отъ 28 апрѣля 1837 г., мы находимъ ту сказку, которую онъ впослѣдствіи вставилъ въ письмо къ Мишле, и въ которой выражено то же стремленіе широты и простора: „Толпа, иди своей дорогой, счастливый путь, но ежели ты идешь направо, то я съ Наташей пойду налѣво; иди съ своими получувствами, полумыслями, полусуществованіями; намъ надобенъ просторъ и просторъ, обширнѣе всего шара земного, намъ надобно небо. Часто, смотря на толпу, мнѣ приходитъ въ голову та простонародная сказка, гдѣ царевичъ былъ засмоленъ въ бочку и брошенъ въ *Море-Окіанъ*. Царевичъ сталъ расти, тѣсно ему въ бочкѣ, онъ и проситъ дозволенія ноги протянуть.—„Да, вѣдь, ты потонешь, добрый молодецъ".—„Нужды нѣтъ,—отвѣчалъ онъ,—лишь бы протянуться: лучше тонуть въ океанѣ, нежели, скорчившись, жить въ бочкѣ". Я совершенно согласенъ съ этимъ царевичемъ".

кой это кругъ,—все равно, лишь бы не ученый: мертвая буква и живое слово раздѣлены цѣлымъ моремъ. Разумѣется, я подъ ученымъ занятіемъ не понимаю литературу. Однако, и въ самой литературной дѣятельности нѣтъ той полноты, которая есть въ практической дѣятельности" (17 и 18-е августа 1837 г.).

Въ этихъ словахъ ярко сказалось предчувствіе, въ чемъ должно было состоять жизненное дѣло Герцена. Но онъ на время совершенно подавилъ въ себѣ этотъ голосъ: поучительная аберрація геніальной натуры, которая „и въ смутномъ стремленіи сознаньемъ истины полна" (Фаустъ, Гете), ибо и въ этомъ увлеченіи сказалась страстная способность къ безрасчетной отдачѣ себя разъ признанному за справедливое.

Но вопросъ о томъ, что дѣлать въ этой земной жизни, все-таки не рѣшался упованіями на жизнь потустороннюю. Герценъ еще колеблется, служить ли ему или писать. „Литературное поприще неудовлетворительно, тамъ нѣтъ этой жизни въ самомъ дѣлѣ; служить—сколько униженія, сколько лѣтъ, до тѣхъ поръ, пока моя служба можетъ быть полезна" (Наташѣ отъ 14 февр. 1837 г.). Вопросъ, самъ по себѣ показывающій, что Герценъ еще очень далекъ былъ отъ радикальнаго отрицанія службы русскому правительству. Одно изъ его писемъ къ друзьямъ краснорѣчиво говоритъ, что онъ принципіальную возможность службы не только не исключаетъ, но полагаетъ, что и бѣды-то Россіи отъ того, что нѣтъ настоящихъ чиновниковъ. По пріѣздѣ онъ пишетъ, правда, что служба невыносима, „повиновеніе, покорность, исполненіе—болѣе ничего... Несчастія, горести, весь этотъ гнетъ—ничего передъ службой". Но нѣсколько позднѣе онъ Огареву пишетъ такіе выводы о своихъ впечатлѣніяхъ и познаніяхъ дѣйствительнаго міра, пріобрѣтенныхъ на службѣ въ провинціи: „Теперь я увидѣлъ хоть часть Россіи. Что же я замѣтилъ? Во-первыхъ, что управленіе губернское въ интегралѣ идетъ несравненно лучше, нежели я думалъ, и, находясь теперь въ центрѣ онаго, я могу судить о необъятныхъ трудахъ министерства внутреннихъ дѣлъ для матеріальнаго благосостоянія, и болѣе, прогрессивное начало, сообщаемое министерствомъ, гораздо выше понятій и требованій". Герценъ удивляется обилію присылаемыхъ изъ Петербурга журналовъ, настойчивымъ требованіямъ заводить библіотеки, находитъ успѣшную просвѣтительную дѣятельность въ духовныхъ заведеніяхъ. „Заведеніе статистическихъ комитетовъ имѣетъ цѣль высокую и пользу существенную" и т. д. (Анненковъ, „Идеалисты 30-хъ годовъ"). Подобное же, чисто консервативное пониманіе государства, какъ

необходимой формы просвѣщеннаго абсолютизма, выражено Герценомъ еще опредѣленнѣе въ его тогдашнихъ „Замѣчаніяхъ о русскомъ законодательствѣ“. „Въ гражданскомъ обществѣ прогрессивное начало есть правительство, а не народъ. Правительство есть формула движенія (du progrés), выраженіе идеи общества, форма его историческая, фактъ непреложный. Нигдѣ правительство не становилось столько предъ народомъ (т. е. впереди его,—*Авт.*), какъ въ Россіи“... „труды индивидуальные должны теперь облегчить труды правительства“. „Въ законахъ императора Николая виденъ характеръ положительности, котораго недоставало прежде, характеръ внутренней силы государства, чувствующаго всю мощность свою“. Далѣе Герценъ восхищенъ началомъ коллегіальности и выборности, проведенныхъ въ русскомъ управленіи, съ рѣдкою наивностью отмѣчая, напр., что „устройство муниципальное само въ себѣ весьма хорошо: не говоря уже о купцахъ,—мѣщане и цеховые имѣютъ всѣ нужныя гарантіи(!)“. „Основанія муниципальнаго права, и коллегіальныя учрежденія такъ обширны, что другія страны долгой юридической жизнью своей не достигли ихъ“. „Россія и Америка—двѣ страны, которыя поведутъ далѣе юридическую жизнь человѣчества. Россія—какъ высшее развитіе самодержавія на народныхъ основаніяхъ, и Америка—какъ высшее развитіе демократіи на монархическихъ основаніяхъ“. Болѣе правильное развитіе законодательства задерживается вопервыхъ тѣмъ, что „массы не умѣютъ понять своихъ правъ“, „а причина этому—недостатокъ просвѣщенія, недостатокъ гражданственности, эгоистическая лѣнь, но болѣе всего недостатокъ просвѣщенія. 2) Нѣкоторыя учрежденія основаны совсѣмъ на другихъ началахъ и часто противоположныхъ—они останавливаютъ другъ друга. 3) Перевѣсъ, данный дворянству. 4) Помѣщичье право, исключающее изъ общаго круга людей крѣпостныхъ“. Такъ соединены здѣсь мысли по существу ясныя и свѣтлыя (о крѣпостномъ правѣ, напримѣръ) съ немалыми наивностями, въ родѣ „гарантій“, которыми будто бы пользовались мѣщане, и главное — съ общимъ представленіемъ, весьма консервативнымъ, высоко ставящимъ именно русскую государственность, въ ея тогдашнемъ рѣзкомъ бюрократически-самодержавномъ выраженіи, а недостатки и темныя стороны русской жизни сведены къ моральному понятію, недостатку „просвѣщенія“ и „эгоистической лѣни“. Сколько можно судить по современнымъ письмамъ Герцена, онъ даже къ такому явленію, какъ самъ Тюфяевъ, относился также съ чисто моральной стороны, видя въ немъ лично „Калибана, паука, гіену“, еще не связывая это явленіе вполнѣ ясно съ общимъ

строемъ русскаго самодержавія, котораго тотъ былъ, конечно, порожденіемъ...

Итакъ, писать или служить,—вопросъ этотъ оставался нерѣшеннымъ. Рѣшеніе въ тогдашнихъ условіяхъ русской жизни было дѣйствительно труднымъ, такъ какъ по существу и то, и другое одинаково не могло удовлетворить сколько-нибудь требовательнаго человѣка съ болѣе широкими запросами. Все-таки Наташа вѣрно угадала, что въ условіяхъ русской жизни служба не для Герцена. Она писала ему въ отвѣтъ на его сомнѣнія: „*Служить*—первая *неволя*, прости, очаровательная мечта о путешествіи! Можетъ, ты скажешь—эгоизмъ! Хорошо, оставимъ мысль объ Италіи, о ея небѣ, о ея природѣ, о ея жизни, исполненной огня и поэзіи; забудемъ, забудемъ, эту страну, любимицу солнца, пожертвуемъ всѣми мечтами *пользѣ отечества*! Но, мнѣ кажется, *польза отъ службы*, какъ бы она ни была велика,—все будетъ *обыкновенною* и, сколько бы ты ни сдѣлалъ *службой*, все будешь обыкновенный служивецъ, какихъ *много*, потому что тебѣ указанъ путь, поставлены границы, предъ тобою и за тобою также идутъ, также служатъ; и напередъ можно опредѣлить, чего достигнешь ты послѣ многихъ лѣтъ, многихъ усилій, пожертвованій; итакъ, ты будешь служить, какъ *обыкновенно* служатъ, сдѣлаешь пользу обыкновенную! А *писать*... о! тутъ не проложенная *уже* дорога, не *истоптанная* уже, нѣтъ, ты можешь открыть тутъ себѣ цѣлое поле и только самъ проложишь себѣ дорогу, и только самъ пойдешь по ней! И можешь тогда быть несравненно полезнѣе себѣ и другимъ. Первая дорога не вѣрна, не въ твоей власти: зависимость, слѣдственно, и всѣ сопряженныя съ нею низости, непріятности, вся чернота, или неокончаніе, неуспѣхъ начатаго, безполезные труды, стало. Вторая дорога твоя, собственно твоя, ты можешь ее сдѣлать шире, уже, длиннѣе, короче, здѣсь труды необыкновенные и польза необыкновенная! И тутъ (прости молодости) Италія, Италія! Свобода! Воля! Море!—Жизнь необыкновенная!!!“ (2 марта 1837 г.).

Но, задаваясь вопросомъ, служить или писать, Герценъ въ Вяткѣ писать не переставалъ. Большая часть написаннаго имъ *не сохранилась* и извѣстна преимущественно по письмамъ и отчасти по разсказамъ и отрывкамъ.

Въ № 10 „Телескопа“ за 1836 годъ появилась статья Герцена „Гофманъ“, его первая журнальная статья, написанная еще до ареста и законченная въ Вяткѣ. Въ тюрьмѣ, какъ упомянуто, написанъ „Германскій путешественникъ“, переписанный затѣмъ въ „Первую встрѣчу“ и передѣланный снова въ Вяткѣ. Тамъ же перерабатывалась снова

„Легенда“ (о св. Ѳеодорѣ), написана „Вторая встрѣча“ или „Человѣкъ въ венгеркѣ“ (Цихановичъ). Не дошли до насъ повѣсть „Тамъ“, „Третья встрѣча“ или „Шведъ“, впечатлѣнія отъ встрѣчи съ Витбергомъ, различные наброски, мотивы, только слегка, намѣченные и потомъ заброшенные: „Письма о Казани, Перми и Вяткѣ“, архитектурная статья, „I Maestri“, гдѣ фигурировали Дмитріевъ, Витбергъ и Жуковскій.

О мистической повѣсти „Тамъ“ даетъ понятіе отрывокъ изъ герценовскаго письма къ друзьямъ: „Основная мысль этой повѣсти—мысль религіозная, та самая, которая начинаетъ просвѣчивать въ статьѣ „Шведъ“, даже лицо самого шведа должно явиться въ повѣсти. Но дѣло вотъ въ чемъ: можно ли въ этой повѣсти перемѣшать науку, карикатуру, философію, религію, жизнь реальную, мистицизмъ? Можно ли середь пошлыхъ фигуръ des Alltagslebens поставить формулу алхимическую, середь страстей теллурическихъ—простите выраженіе—показать путь *туда*? Какъ вы думаете? Примѣръ хотя не нуженъ, но приведу Вил. Мейстера „Lehrjahre“ и „Wanderjahre“: тамъ даже технологія. А чего нѣтъ у Данта?..“. Для этихъ плановъ Герценъ требовалъ отъ друзей присылки (въ дополненіе къ тому, что читалъ въ Вяткѣ, вѣроятно, получая отъ Витберга, напр., Эккартсгаузена):—1) Шведенборга—духовидѣнія; 2) Ешемазера о магнетизмѣ, и все, что можете, объ алхиміи, адептахъ, Парацельсѣ, неоплатоникахъ временъ Аполлонія Тіанскаго“. (Анненковъ, „Идеалисты“).

Кажется, можно предположить въ этомъ интересѣ къ міру мистики, алхиміи и тайныхъ наукъ, помимо Витберга, нѣкоторое вліяніе и Гофмана и, пожалуй, его русскаго подражателя—кн. Одоевскаго.

Необходимо отмѣтить здѣсь, однако, значительную самостоятельность путей, по которымъ шелъ Герценъ въ литературномъ отношеніи. Въ его перепискѣ вятско-владимирскаго періода упоминается сравнительно весьма мало сочиненій, о которыхъ онъ говорилъ бы, какъ о поразившихъ, его и которыя въ то же время были бы предметомъ интересовъ широкихъ круговъ русскихъ читателей. Похоже, что русскими журналами онъ интересовался не слишкомъ сильно. Какъ въ университетѣ онъ не былъ близокъ съ Бѣлинскимъ, такъ и въ ссылкѣ нѣтъ заявленій интереса къ тому, что писалъ въ это время будущій его другъ и соратникъ, обратившій на себя вниманіе знаменитыми по лиризму „Литературными мечтаніями“ (1834 г.). Однимъ изъ самыхъ крупныхъ явленій литературы въ 1836 году было „философическое письмо“ Чаадаева, горестная рѣчь объ отчаян-

номъ одиночествѣ русскихъ людей. Въ „Быломъ и Думахъ“ Герценъ довольно подробно говоритъ о впечатлѣніи, произведенномъ на него письмомъ Чаадаева. „Я боялся, не сошелъ ли я съ ума. Потомъ я перечитывалъ „письмо“ Витбергу, потомъ С., молодому учителю гимназіи, потомъ опять себѣ“. Но очевидно, въ тогдашнемъ настроеніи Герцена этотъ мрачный вопль отчаянія извѣрившагося человѣка не нашелъ надолго отклика себѣ, въ письмахъ его нѣтъ упоминанія о „письмѣ“, и лишь впослѣдствіи, послѣ личнаго знакомства съ Чаадаевымъ, впечатлѣніе было провѣрено и освѣщено сильнѣе въ дальнихъ воспоминаніяхъ, чѣмъ, можетъ, было въ дѣйствительности. Нѣтъ, наконецъ, въ его письмахъ рѣчи о Гоголѣ, а въ 1836 г. былъ напечатанъ „Ревизоръ“, и, кажется, можно предположить, что энтузіазмъ Герцена къ родной литературѣ, хотя зародился давно, съ увлеченія запретнымъ Пушкинымъ, но сознательно сложился и развился позднѣе, подъ непосредственнымъ, можетъ быть, заражающимъ энтузіазмомъ Бѣлинскаго.

Такъ, Герценъ шелъ самъ по себѣ, хотя бы забираясь въ дебри, откуда выходъ на свѣтъ Божій былъ не такъ-то легокъ. И Герценъ, обращаясь къ вопросамъ человѣческой жизни, путался въ отвлеченностяхъ и произвольныхъ мистическихъ построеніяхъ. „Да, всѣ теоріи о человѣчествѣ вздоръ,—пишетъ онъ въ одномъ изъ писемъ друзьямъ.— Человѣчество есть падшій ангелъ. Откровеніе намъ высказало это, а мы хотѣли сами собой дойти до формулы бытія его и дошли до нелѣпости (эклектизмъ). Всѣ понимавшіе вѣрили въ потерянный рай: Вико, Паскаль“... Послѣднее, какъ мы видимъ, есть протестъ противъ сенсимонистическаго заявленія о золотомъ вѣкѣ человѣчества, лежащемъ впереди его пути. Герценъ развиваетъ туманную теорію, по которой міръ отданъ двумъ теченіямъ, отравляющимъ нашу жизнь своею борьбою: „Эгоизмъ—это тяготѣніе, это мракъ, контрактивность, прямое наслѣдіе Люцифера; любовь— это свѣтъ, расширеніе, прямое наслѣдіе Бога“... Любовь и ея видоизмѣненіе, дружба, стремятся выступить изъ земной сферы по направленію къ Божеству, тогда какъ эгоизмъ тяготѣетъ къ преисподней, къ центру нашего шара, гдѣ и Дантъ помѣщаетъ свой адъ и жилище пороковъ. „Дружба“ является ему въ образѣ Огарева, „любовь“ въ образѣ Беатриче-Наташи. (Анненковъ, „Идеалисты“).

Но двойственность въ его литературныхъ проектахъ и опытахъ бросается въ глаза. „Гофманъ“ поражаетъ живостью и увѣренностью формы, вполнѣ реалистической, это — живой литературный портретъ, въ которомъ только лирическія отступленія самого автора говорятъ о со-

чувствіи, съ какимъ онъ относится къ мистико-романтическому понятію о задачахъ и цѣли художественнаго творчества. Много реалистическаго и въ „Встрѣчахъ“, хотя порою наносный приподнятый тонъ рѣжетъ ухо. И самъ Герценъ отмѣчалъ эту двойственность: „Однѣ статьи выходятъ постоянно съ печатью любви и вѣры—это „Встрѣчи“, I Maestri, „Симпатія“ (о Полинѣ, „маленькая статья, какъ Полина, но и хороша, какъ Полина“), „Мысль и откровеніе“, другія съ клеймомъ самой злой, ядовитой ироніи—это путевыя письма. Наконецъ, въ двухъ статьяхъ то и другое: отрывокъ изъ повѣсти „Тамъ“ и „Моя Жизнь“ (повидимому, первоначальный набросокъ автобіографическихъ „Записокъ одного молодого человѣка“). Виньеткой къ первымъ статьямъ Озирисъ, ко вторымъ Тифонъ, а къ третьимъ—стаканъ шампанскаго (пѣна и вино)“ (письмо къ Наташѣ, 13 января 1838 г.).

Остается упомянуть еще о литературныхъ работахъ Герцена этнографическаго характера. Онъ началъ, а, можетъ, и закончилъ, цѣлую монографію объ инородцахъ, часть которой „Вотяки и черемисы“ и „Вотяцкія молитвы“ появилась въ „Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“. Герцену приписываютъ и другія статьи по этнографіи, появившіяся въ „Вѣд.“ уже по отъѣздѣ его изъ Вятки. Въ нихъ отмѣчаютъ серьезную научную подготовку автора или ихъ вдохновителя, какимъ могъ быть и Герценъ. Поѣздки Герцена по губерніи, напр., разсказанная имъ въ „Быломъ и Думахъ“ поѣздка на живописное богомолье на Великой Рѣкѣ, ставили его лицомъ съ лицомъ съ жизнью широкой народной массы. Несомнѣнно, близкое соприкосновеніе съ народной жизнью, въ вятской губерніи сохраняющей до сихъ поръ много старо-великорусскихъ бытовыхъ особенностей, было молодому писателю очень полезно въ отношеніи изученія народной жизни. Отсюда, изъ этихъ встрѣчъ и поѣздокъ по пространной губерніи вынесены были Герценомъ безъ всякаго сомнѣнія многія впечатлѣнія, опредѣлившія для него отношеніе къ народу. Жадно впитывая новыя для него впечатлѣнія, Герценъ, можетъ быть, именно въ Вятской губерніи особенно сильно воспринималъ – говоря его словами—„сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство... безграничной, обхватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, русскому быту, русскому складу ума“, узнавалъ въ „загнанной крестьянкѣ“ мать...

Какъ бы то ни было, изъ Вятки Герценъ рвался всѣми силами. Хлопоты объ освобожденіи, какъ съ его стороны, такъ и со стороны Яковлева, начались уже въ 1836 году, и Тюфяевъ, довольный статистическими проектами Герцена, даже далъ о немъ лестный отзывъ. Избавленіе, послѣ первыхъ,

неудачныхъ хлопотъ, явилось неожиданно. Въ своемъ путешествіи по Россіи наслѣдникъ, впослѣдствіи Александръ II, долженъ былъ посѣтить лѣтомъ 1837 г. и Вятку. Въ маѣ мѣсяцѣ Герценъ получилъ отъ Тюфяева предложеніе заняться устройствомъ выставки, чтобы всесторонне представить флору, фауну, земледѣліе и промышленность губерніи. Герценъ горячо занялся этимъ дѣломъ, къ которому никто не умѣлъ приступить, и достигъ хорошихъ результатовъ. 18 мая наслѣдникъ осматривалъ выставку и остался очень доволенъ. Сопровождавшіе наслѣдника воспитатели поэтъ Жуковскій и К. И. Арсеньевъ обратили вниманіе на молодого ссыльнаго чиновника, обѣщали свое содѣйствіе къ его освобожденію, и дѣйствительно министру внутреннихъ дѣлъ было сообщено объ его отличіи. Самъ онъ сообщалъ объ этомъ Наташѣ: „Поздравь меня, князь былъ очень доволенъ выставкой, и вся свита его наговорила мнѣ тьму комплиментовъ, особенно знаменитый Жуковскій, съ которымъ я часъ цѣлый говорилъ. Завтра въ 7 часовъ утра я ѣду къ нему“... „Провидѣніе бережетъ чистоту моей біографіи,—съ удовольствіемъ писалъ онъ чрезъ нѣсколько дней.—Слушай, на какомъ правѣ могъ я надѣяться, чтобъ меня простили прежде другихъ? Развѣ это было бы справедливо, развѣ вкусенъ былъ бы мнѣ плодъ, данный по *протекціи*? Теперь совсѣмъ не то. Теперь, съ поднятымъ челомъ я могу принять освобожденіе. Меня видѣли—одинокимъ, безъ опоры, съ названіемъ сосланнаго; увидѣли меня и оцѣнили; тутъ не было просьбы, сперва узнали меня, потомъ кто я, такъ теперь я возьму премію за талантъ,—есть ли тутъ хоть пятнышко“?

Однако, Герцену пришлось еще болѣе полугода жить въ Вяткѣ. Но положеніе его существенно перемѣнилось. Губернаторъ Тюфяевъ вздумалъ преслѣдовать Медвѣдеву по смерти ея мужа и едва не заслалъ Герцена за заступничество въ уѣздный городишко (отъ чего Герценъ былъ избавленъ вмѣшательствомъ жандармскаго полковника). Но ожидая наслѣдника, Тюфяевъ со страху надѣлалъ множество непроходимыхъ глупостей, еще больше запутался въ поднятыхъ противъ него жалобахъ населенія и недѣли чрезъ три послѣ проѣзда наслѣдника былъ уволенъ. Новый губернаторъ Корниловъ былъ человѣкъ съ образованіемъ, товарищъ Пушкина по лицею, цѣнитель литературы. О Герценѣ онъ былъ предупрежденъ, „ужасно занялся“ имъ и на другой же день послѣ пріѣзда далъ Герцену книгу Токвиля о демократіи въ Америкѣ. Корниловъ задалъ Герцену новую работу по ревизіи уѣздныхъ учрежденій, для чего ему пришлось снова поѣздить по губерніи. На него же возложена

была обязанность поставить на ноги „Вятскія Губернскія Вѣдомости“, которыя предписано было завести съ 1838 года по всей Россіи, и для которыхъ пригодились этнографическія наблюденія Герцена. По настоянію Корнилова же, Герценъ произнесъ рѣчь при открытіи въ Вяткѣ публичной библіотеки (рѣчь послужила потомъ, вслѣдствіе нѣсколькихъ выраженій о просвѣтительной дѣятельности правительства и великаго царя, поводомъ для немалыхъ укоровъ Герцену). Въ самомъ устройствѣ библіотеки, Герценъ, надо полагать, также не могъ не принять участія.

14 ноября 1837 г. шефъ жандармовъ вошелъ съ всеподданнѣйшимъ представленіемъ, въ которомъ находилъ возможнымъ перевести Герцена въ Москву, „для сближенія съ его родственниками“. Черезъ день Николай положилъ, неизвѣстно почему, резолюцію о переводѣ Герцена во Владиміръ.

Герценъ узналъ объ этомъ неоффиціально въ концѣ того же мѣсяца. Онъ восторженно собирался отбыть во Владимірѣ продолженіе ссылки, какъ „40 дней въ пустынѣ“. „Вся жизнь моя во Владимірѣ... будетъ посвящена одному поклоненію Наташѣ, тамъ издали я помолюсь ангелу, тамъ буду очищать душу, ибо буду одинъ. Такъ пилигримъ останавливается, не доходя Іерусалима, гдѣ-нибудь въ Емаусѣ и проситъ Господа прощенія прошедшаго и милости коснуться гроба Христова, такъ омываетъ онъ пыльное тѣло въ водѣ Іордана и съ пылью сливаются съ него пятна“.

Въ радостномъ оживленіи предъ разлукою съ Вяткой онъ готовъ благословлять ее. „Ну, прощай же, прощай городъ, въ которомъ прошли почти три года моей жизни. Вѣроятно, мы съ тобой не увидимся. О, съ какимъ чувствомъ ненависти я смотрѣлъ иногда на твои стѣны, разстанемся en bons amis. Здѣсь я узналъ, что такое униженіе, здѣсь я долженъ былъ поклониться чудовищному Калибану, паукъ и гіена вмѣстѣ. У меня въ головѣ кружилось, и грудь стонала,—а выбора не было; здѣсь встрѣтилъ я дѣвочку съ ребячьей душою и съ огненными глазами; я взлелѣялъ ее, бросилъ огонь въ ея душу и ходилъ за ея душою, какъ за цвѣткомъ, и здѣсь же я встрѣтилъ юношу, не знавшаго ни силы своей, ни цѣны,—и ему огненное крещеніе, и тогда я подвелъ юношу къ этой дѣвочкѣ (Полина и Скворцовъ,—*Авт.*). И они будутъ счастливы цѣлую жизнь. Здѣсь—стоялъ я у изголовья несчастнаго Витберга, здѣсь видѣлъ поэта во всей славѣ—Жуковскаго. Здѣсь, наконецъ, я встрѣтилъ лилію, выростающую на гробу, и сорвалъ ее для того, чтобъ насладиться запахомъ, и задушилъ ее (Медвѣдева,—*Авт.*)... Отсюда понесу я воспоминанья, переплетенныя дружбой, на

черномъ фонѣ сукна, которымъ покрываютъ плаху.... Многіе горячими слезами оплачутъ мой отъѣздъ. Друзья, въ сущности, я вамъ совсѣмъ ненуженъ. Моя жизнь совершилась, она кончена“ (14 декабря 1837 г.).

Въ сущности, жизнь сознательная, дѣятельной мысли и самостоятельнаго труда еще и не начиналась.

VIII.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Жизнь во Владимірѣ на Клязьмѣ, куда Герценъ прибылъ въ самомъ началѣ 1838 г., была для него во многихъ отношеніяхъ продолженіемъ жизни въ Вяткѣ: та же служба и положеніе виднаго, пользующагося расположеніемъ начальства, чиновника (близкія отношенія съ губернаторомъ и его семьею); то же, что въ Вяткѣ, почти до отъѣзда изъ Владиміра религіозно-мистическое направленіе мыслей и интересовъ; съ интимной стороны—полное исполненіе желаній, годъ скрытаго отъ посторонннихъ, глубокаго, полнаго личнаго счастья.

Губернаторъ Курута, по отзыву Герцена, „умный грекъ, хорошо зналъ людей и давно успѣлъ охладѣть къ добру и злу"; положеніе новаго чиновника онъ понялъ тотчасъ и не дѣлалъ ни малѣйшаго опыта притѣсненія; о канцеляріи не было и помину.

Герцену поручили совмѣстно съ учителемъ Небабою, несчастнымъ въ семейной жизни человѣкомъ, вскорѣ покончившимъ съ собою, завѣдываніе „Губернскими Вѣдомостями", работу, знакомую уже по Вяткѣ. Служебныя занятія, повидимому, носили характеръ болѣе кабинетный, чѣмъ въ Вяткѣ, гдѣ у Герцена были разъѣзды по губерніи. Неоффиціальная часть „Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостей" состояла преимущественно изъ историко-статистическихъ статей. Общество вяло откликалось на убѣдительные призывы редакціи къ сотрудничеству. Газета давала описаніе мѣстныхъ историческихъ достопримѣчательностей, монастырей, соборовъ, церквей съ извлеченіями изъ исторіи Карамзина и Дмитревскаго, изъ лѣтописей и житій. Можетъ быть, перу Герцена принадлежитъ „описаніе Владимірскаго Успенскаго собора", показывающее въ авторѣ цѣнителя архитектуры. Въ 1839 году рамки газеты расширяются: „Въ нынѣшнемъ году начала редакція помѣщать выписки изъ вѣдомостей о чрезвычайныхъ происше-

ствіяхъ, это важное дополненіе къ статистическимъ свѣдѣніямъ; эти частные случаи, кажется, не имѣющіе никакой связи между собой, приведенные къ единству, дадутъ важные выводы, относительно климатологіи, общественнаго здоровья и, что всего важнѣе, *нравственности* жителей Владимірской губ." — Выводовъ, однако, никакихъ не полагалось по тому времени, все это отдѣльные несчастные случаи, гдѣ былъ градъ, гдѣ пожаръ... Редакторъ пользуется малѣйшимъ поводомъ для обращенія къ обществу за содѣйствіемъ. Происходятъ дворянскіе выборы — „важный моментъ публичной жизни въ губерніи", — онъ напоминаетъ дворянству о его культурной роли, прося помѣщиковъ прійти на помощь редакціи; при этомъ, сообщая о полученіи женщинами права выборовъ, говоритъ: „Не первый ли это примѣръ равенства правъ мужчинъ и женщинъ? Россія даетъ его Европѣ, до сихъ поръ толкующей о салическомъ законѣ". Подводя итоги дѣятельности газеты за 1838 г., редакторъ не чувствуетъ удовлетворенія, общество, повидимому плохо понимало „прекрасную цѣль правительства, съ которой оно дало оффиціальный голосъ и публичность каждому краю, каждой частицѣ нашего отечества, этой великой страны, которую столько же великій Петръ называлъ частью свѣта".

Вѣроятно, вся эта, совершенно сухая и безполезная въ смыслѣ сколько-нибудь живого вліянія, работа и отбывалась Герценомъ, какъ неизбѣжная повинность. Всѣ его мысли и чувства заняты Москвой и Наташей. „Теперь я весь твой,— пишетъ онъ по пріѣздѣ:—нѣтъ людей, а они мнѣ не нужны. Я всѣмъ друзьямъ сказалъ—прощайте. Такъ, какъ сказалъ мечтамъ о славѣ, о поприщѣ, о дѣятельности — прощайте. Вся моя жизнь въ тебѣ. Кончено. Я искалъ великаго и нашелъ въ тебѣ, я искалъ святого, идейнаго и нашелъ въ тебѣ. И такъ прощай весь міръ" (5 января 1838 г.).

Перемѣна эта казалась ему безповоротной. Онъ говоритъ о непонятномъ и недоступномъ другимъ trio: Огаревъ, Наташа и онъ. Въ это святая святыхъ онъ не допускаетъ въ эту пору и Кетчера, прискакавшаго для свиданія съ нимъ во Владиміръ. „Люблю его, онъ чистъ и благороденъ до невозможности, онъ пойдетъ въ пекло за меня, но кого онъ любитъ? Твоего Александра, или Александра, который сильной мыслью опередилъ многихъ, который съ малыхъ лѣтъ пренебрегъ для науки и идеи всѣмъ, который страдалъ за нихъ и страдаетъ? Кетчеръ такъ былъ исполненъ любви къ тому Александру, что твой Александръ, не желая огорчить его, не смѣлъ сказать нашу мысль полнаго пренебреженія славы, полнаго погруженія въ море любви. Хотя они на словахъ и ставятъ чувство выше мысли, но на дѣлѣ не то".

„Я понемногу начинаю привыкать къ совершенно одинокой жизни,—пишетъ онъ Витбергу въ томъ же тонѣ, что и Наташѣ.—Довольно, мнѣ люди послѣдовательно передали все, что у нихъ есть. Сначала матеріальное существованіе, потомъ одною рукою симпатію и дружбу, другой — гнетъ и ненависть; одной рукой подали Библію, а другой Фоблаза; больше нечего мнѣ получить. Мысль славы, и тобою я жертвую... мысль дѣятельности, прощай, и ты. И мнѣ жаль ихъ, такъ, какъ жаль вятскихъ друзей и друзей московскихъ; но дѣлать нечего,—я не вашъ, такъ, какъ монахъ, не принадлежу свѣту, а принадлежу вселенной. Недавно слезно и изящно мечталъ я о смерти, она мнѣ являлась съ чертами ангела и, скрестивъ руки на груди, я смотрѣлъ вверхъ... Святого искалъ я и нашелъ наконецъ святое, а въ немъ, какъ въ бѣломъ лучѣ солнца, соединено и изящное, и великое. Моя владимірская жизнь, повторяю, это сорокъ дней въ пустынѣ, это крестъ на паперти.—Вы не узнали бы меня, нѣтъ. Вы то бы, кажется, узнали, а многіе, любившіе во мнѣ не мое—разгулъ, не узнали бы теперь. Дай Богъ довершить начатое; но Онъ и даетъ силъ, Онъ самъ своей десницей подноситъ къ устамъ моимъ чашу небеснаго, святого питья“.

Переписка Герцена съ Наташей, по переѣздѣ его во Владиміръ, становится чаще, письма приходятъ на другой день, экстазы чувства сильнѣе. Въ то же время опекуны Наташи, встревоженные близостью „несчастнаго сына брата Ивана“, энергичнѣе преслѣдуютъ Наташу, настойчивѣе пытаются сосватать ее. Возмущенный этими преслѣдованіями, Герценъ тщетно пытался привлечь на свою сторону отца. Наконецъ, онъ тайкомъ, съ паспортомъ слуги (для пропуска чрезъ заставу), прискакалъ 2 го марта въ Москву, проникъ на полчаса въ домъ княгини Хованской и видѣлся съ Наташей; еще разъ тайкомъ побывалъ въ Москвѣ черезъ мѣсяцъ, и наконецъ увезъ ее въ первыхъ числахъ мая, одолѣвъ всѣ денежныя и формальныя препятствія.

Читатель найдетъ въ „Былomъ и Думахъ“ лихорадочный, захватывающій разсказъ о романической женитьбѣ Герцена, съ ея тревогами и комическими эпизодами, въ родѣ участія архіерея въ интригѣ противъ княгини Хованской. Брачный обрядъ—дѣйствительное священнодѣйствіе для обоихъ,—состоялся въ день пріѣзда ихъ во Владиміръ 10 мая 1838 года. Въ тотъ же вечеръ Герценъ написалъ отцу. Старикъ, аккуратно писавшій нѣсколько строкъ въ недѣлю, въ обычный день отвѣтилъ короткимъ письмомъ, въ которомъ онъ весь: „Письмо твое, отъ 10 мая, я третьяго дня въ пять часовъ съ половиной получилъ, и изъ него не безъ огорченія узналъ, что Богъ тебя соединилъ съ Наташей. Я волѣ Божіей ни

въ чемъ не перечу и слѣпо покоряюсь искушеніямъ, которыя онъ ниспосылаетъ на меня. Но такъ какъ деньги мои, а ты не счелъ нужнымъ сообразоваться съ моей волей, то и объявляю тебѣ, что я къ твоему прежнему окладу, тысячѣ рублей серебромъ въ годъ, не прибавлю ни копейки". Съ теченіемъ времени старикъ перемѣнилъ гнѣвъ на милость, но молодымъ пришлось не мало побиться. Впрочемъ, любовь и молодость все скрашивали.

Нѣтъ надобности подробно слѣдить по воспоминаніямъ и письмамъ Герцена этого времени за безмятежною жизнью новобрачныхъ. Вся она въ такихъ, напр., строкахъ писемъ къ Витбергу:

„Ну, что я вамъ скажу о себѣ? Счастливъ, сколько можетъ человѣкъ быть счастливъ на землѣ (14 іюля 1838).

„Мнѣ такъ страшна эта жизнь постояннаго, безумнаго счастія, этой полной симпатіи между мной и Наташей. Нѣтъ мысли, нѣтъ мечты, которая не находила бы больше, нежели отзывъ въ ея душѣ: развитіе поэтическое, высокое" (8 декабря).

„Счастіе мое такъ безпредѣльно, что подчасъ кружится голова отъ мысли: заслужилъ ли я хоть долю того, что имѣю, или не есть ли и это испытаніе? Преданность Провидѣнію безгранична тоже. Я чувствую огромную перемѣну, душа становится шире; чистота первобытная и утраченная юношескимъ разгуломъ возникаетъ, хотя и налетаютъ минуты горькаго сомнѣнія въ себѣ, минуты, въ которыя я кажусь себѣ ничтожнымъ карлой..." (23 марта 1839).

„Сбылась мечта,—читаемъ въ дневникѣ Герцена (11 января 1839 г.),—и сбылась съ необыкновенной полнотой. Мы хотѣли быть вмѣстѣ. Провидѣніе соединило насъ и оставило *однихъ*,—да, по сю сторону—мы, по ту — люди. Мы—точно забытые всѣми въ нашемъ уголку, гдѣ обитаетъ любовь. Мы даны другъ другу, и за это обведены цѣпью, за которую никто не ходитъ, даже письма отъ друзей долетаютъ рѣдко, рѣдко, едва отвѣтъ на два нашихъ... И между тѣмъ мы такъ счастливы... Я забылъ сердцемъ все постигавшее меня съ чернаго 20 іюля 1834 г. (день ареста), а свѣтлое свѣтитъ".

„Но въ этомъ одиночествѣ, — вспоминаетъ Герценъ въ „Быломъ и Думахъ", — грудь наша не была замкнута счастіемъ, а, напротивъ, была больше, чѣмъ когда-либо, раскрыта всѣмъ интересамъ: мы много жили тогда, и во всѣ стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви; мы свѣряли наши думы и мечты и съ удивленіемъ видѣли, какъ безконечно шло наше сочувствіе, какъ во всѣхъ тончайшихъ, пропадающихъ изгибахъ и развѣтвленіяхъ чувствъ и мыслей, вкусовъ и антипатій,

все было родное, созвучное. Только въ томъ и была разница, что Natalie вносила въ нашъ союзъ элементъ тихій, кроткій, граціозный, элементъ молодой дѣвушки со всей поэзіей любящей женщины, а я—живую дѣятельность, мое semper in motu, безпредѣльную любовь, да сверхъ того путаницу серьезныхъ идей, смѣха, *опасныхъ* мыслей и кучу несбыточныхъ проектовъ... Мои желанія остановились. Мнѣ было довольно, я жилъ въ настоящемъ, ничего не ждалъ отъ завтрашняго дня, беззаботно вѣрилъ, что онъ не возьметъ ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это былъ предѣлъ".

Въ довершеніе личнаго счастья 13 іюня 1839 года родился сынъ Саша...

Куда же дѣлась, спрашивается, та неистощимая жажда пропаганды, которою еще такъ недавно отличался Герценъ? Въ сущности, заслоненная любовью и видоизмѣненная мистико-религіозными созерцаніями, она жила въ немъ попрежнему и принимала только иное содержаніе, вспыхивая при случаѣ.

„Ко мнѣ ходилъ съ почтеніемъ молодой гимназистъ лѣтъ 15—16,—писалъ Герценъ невѣстѣ въ апрѣлѣ 1838 года:—есть способности, таланты, но дурное направленіе, искательное, узкое и бѣдность. Сегодня утромъ онъ началъ спрашивать смиренно и униженно моихъ совѣтовъ насчетъ занятій. Я былъ въ духѣ, и вдругъ съ огнемъ, жаромъ, поэзіей представилъ ему все высокое призваніе человѣка, науки,—я чувствовалъ, что моя рѣчь сильна. Потомъ я пошелъ одѣваться въ другую комнату; возвратившись, засталъ юношу на томъ же самомъ мѣстѣ, щеки горятъ. „Боже мой,—сказалъ онъ,—вы въ нѣсколько минутъ дали другое направленіе моей жизни; бѣдно, бѣдно прошедшее, о, я вамъ буду благодаренъ. Вы счастливы, потому что ваша жизнь какъ то необыкновенна и вашъ взоръ высокъ, силенъ. Завидую вамъ... Что мнѣ дѣлать?"—Извольте,—сказалъ я,—вотъ мой совѣтъ: во-первыхъ, берегите, какъ высочайшую святость, нравственность и чистоту,—это главное; жертвуйте наукой—философіи, а философіей—религіи, читайте природу больше книгъ. Тотъ ли бы совѣтъ далъ я ему два года назадъ? Это ужъ твой Александръ дѣйствуетъ. Что бы ни было съ этимъ юношей, онъ не забудетъ моего урока". Тутъ же Герценъ вспоминаетъ и о другомъ не менѣе характерномъ для него порывѣ: „Вчера послѣ обѣда у губернатора заговорили о Витбергѣ и начали его бранить. Я всталъ и разгромилъ ихъ, но съ такой силой, что никто не дерзнулъ прямо возражать" (3 апрѣля 1838 г.).

Верхомъ владѣвшаго ими настроенія своеобразнаго жи-

знерадостнаго и прекраснаго мистическаго созерцанія—было свиданіе съ Огаревымъ. Послѣдній явился во Владиміръ не одинъ, а съ женою Марьей Львовной, въ то время дѣлившею идеалистическія и мистическія стремленія и порывы мужа. Свиданіе состоялось 15—18 марта 1839 г.

„Ну, братъ,—писалъ Герценъ въ Москву одному изъ друзей,—ежели бы жизнь моя не имѣла никакой цѣли, кромѣ индивидуальной, знаешь ли, что бы я сдѣлалъ 18 марта? Принялъ бы ложку синильной кислоты... Относительно къ себѣ: „Я все земное совершилъ“. Только еще и оставалось мнѣ, послѣ Наташи, желать, и оно сбылось, и какъ сбылось? Четырехдневное, свѣтлое, ясное, святое свиданіе. Мы инстинктуально всѣ четверо бросились передъ распятіемъ, и горячія молитвы лились изъ устъ. Что за дивный, что за высокій Огаревъ! . Зачѣмъ ты не могъ взглянуть на эту группу, которая обратилась къ небу не съ упрекомъ, не съ просьбой, а съ гимномъ, съ осанной“.

„Больше счастія не можетъ помѣститься въ груди,—писалъ Герценъ послѣ этого свиданія Витбергу.—Теперь въ путь—трудиться... чтобы заработать сполна блаженства, даннаго Богомъ“.

Трудъ представляется въ это время ему уже не въ службѣ, отступавшей все болѣе на задній планъ, а въ подготовкѣ къ литературной дѣятельности, въ продолженіи самообразованія для нея. „Я занимаюсь, иду съ человѣчествомъ сколько могу и понимаю,—пишетъ онъ Витбергу (24 ноября 1838 г.):—нынѣшняя нѣмецкая философія (Гегель) утѣшительная, это слитіе мысли и откровенія, воззрѣнія идеализма и воззрѣнія теологическаго“. Гегель впервые названъ въ этомъ письмѣ Герцена, и при томъ со стороны, противоположной послѣдующему пониманію его.

Черезъ полгода онъ пишетъ о своихъ занятіяхъ Витбергу же: „Все время послѣ нашей разлуки я очень много занимался, особенно исторіей и философіей; между прочимъ, я принялся за диссертацію, которой тема: „Какое звено между прошедшимъ и будущимъ нашъ вѣкъ?“. Вопросъ важный, я обработалъ очень много. Вдругъ вижу, что-то подобное напечатано въ Берлинѣ, Prolegomena zur Historiographie, выписываю, и представьте мою радость, что во всемъ главномъ я сошелся съ авторомъ до удивительной степени. Значитъ, мои положенія вѣрны, и я еще больше примусь за обработку ея. Поэма Вильямъ Пеннъ почти окончена. Видите ли, что и я не поджавъ руки сижу“.

Значительная часть литературныхъ набросковъ этого времени, какъ и вятскихъ, не сохранилась. Такъ, безслѣдно, повидимому, исчезла повѣсть „Его Превосходительство“

(исторія Тюфяева и Медвѣдевой) и другія произведенія, упоминаемыя въ перепискѣ. Отъ „Лициніи“ и „Вилльяма Пенна“ сохранились лишь сценаріи, а самыя произведенія убилъ, по словамъ Герцена, Бѣлинскій, посовѣтовавшій переписать бѣлые стихи въ строчку для большей понятности.

Трудно, конечно, говорить, какъ сложились бы общественно-политическія идеи и литературная дѣятельность Герцена, если бы удержался охватывавшій его тогда мистическій идеализмъ. Можетъ быть, это былъ бы бурный христіанскій соціализмъ въ духѣ Ламеннэ, преобразованіе занимавшихъ его сенъ-симонистскихъ идей обновленія христіанства. Самъ Герценъ вспоминаетъ въ „Был. и Дум.“, какъ онъ года два послѣ Вятки „былъ подъ вліяніемъ идей мистически соціальныхъ, взятыхъ изъ Евангелія и Жанъ-Жака, на манеръ французскихъ мыслителей, въ родѣ Пьера Леру“ (глава XVI). Намекъ на то же самое можно видѣть въ „Лициніи“ и „Пеннѣ“, основной мотивъ которыхъ, по Герцену, „разрывъ двухъ міровъ, отходящее старое тѣснитъ возникающее юное, двѣ нравственности съ ненавистью глядятъ другъ на друга“.

Это было какъ бы зарожденіемъ своего рода неохристіанской морали, новаго, высшаго критерія, противуположнаго по самой своей независимости, оффиціально утвержденнымъ началамъ личнаго и общественнаго поведенія.

Во всякомъ случаѣ, все это, не смотря на временныя уступки и даже признанія за русскимъ правительствомъ правъ на сочувствіе въ области заботъ о культурѣ и просвѣщеніи, какъ было выражено въ упомянутыхъ вятскихъ мысляхъ о русскомъ законодательствѣ, мало общаго имѣло съ политическимъ застоемъ и консерватизмомъ, какъ принципомъ, съ идеализаціей „православія, самодержавія и народности“, оффиціально провозглашенныхъ въ это время высшихъ устоевъ русской жизни.

Это необходимо имѣть въ виду для того, чтобы понять почему Герценъ, оставаясь еще мистикомъ—идеалистомъ и христіаниномъ, могъ, какъ мы вскорѣ увидимъ, съ перваго разу встрѣтить враждебно, какъ московское зарождавшееся славянофильство, такъ и консервативный фатализмъ, къ которому пришелъ въ это время Бѣлинскій.

16 іюля 1839 года съ Герцена былъ снятъ полицейскій надзоръ.

Въ короткія поѣздки въ Москву для свиданія съ невѣстой и для побѣга съ нею, Герцену, конечно, было не до настроенія и интересовъ общественно-литературныхъ. Въ наѣзды въ Москву, которые начались послѣ снятія полицейскаго надзора, у Герцена явились и досугъ, и возможность

войти въ общественную жизнь Москвы. Здѣсь возвращенія его ожидали не одни родные.

Не подозрѣвая того, Герценъ, еще до появленія въ печати его произведеній, уже пользовался нѣкоторою популярностью. Наѣзжавшіе во Владиміръ мать, братъ, Кетчеръ и др. разсказывали о заявленіяхъ симпатіи къ изгнаннику со стороны лицъ, вовсе посторонніхъ: добивались увидѣть и даже отлитографировать его портретъ, прочесть статьи, вымаливали экземпляръ „Рѣчи"; на одномъ вечерѣ читали Жуковскому вятскій очеркъ „I Maestri", причемъ Кетчеръ объяснилъ, что подъ являющимся здѣсь ангеломъ разумѣлась „Наташа". „Право, я удивился,—писалъ объ этихъ разсказахъ Герценъ:—это награда за теплую вѣру въ человѣчество, за открытое объятіе всякой симпатіи".

Первыя впечатлѣнія Герцена отъ московской общественной жизни были, однако, не очень благопріятны.

„Москва похожа на тѣхъ добрыхъ людей, о которыхъ часто помнишь въ разлукѣ, до которыхъ дѣла нѣтъ, когда они налицо,—писалъ Герценъ Витбергу 13 сентября 1839 г. о своемъ продолжительномъ свиданіи съ Москвой.—Москва скучна, несмотря на то, что тутъ бѣготня и трескъ". И онъ вернулся во Владиміръ, чтобы снова отдаться Наташѣ, прежнему, не потрясенному жизнью, настроенію.

Это отчужденное отъ московскихъ интересовъ впечатлѣніе могло быть вынесено Герценомъ и потому, что прежняго сенъ-симонистскаго кружка уже не существовало. Отъ прежнихъ уцѣлѣли Огаревъ, нѣсколько ранѣе Герцена добившійся права жительства въ Москвѣ, да Кетчеръ и Сатинъ. Около Огарева были уже новыя лица: Бѣлинскій, Боткинъ, Бакунинъ, Катковъ и весь бывшій кружокъ Станкевича. Съ осени 1839 г. здѣсь является и будущая звѣзда московскаго университета—Грановскій. Послѣдній открываетъ дебаты со слагавшимся, между тѣмъ, міровоззрѣніемъ, получившимъ названіе славянофильства, съ Хомяковымъ и братьями Кирѣевскими, а съ другой стороны, съ фаталистическими выводами изъ гегелевской философіи—Бѣлинскаго и Бакунина, но подробнѣе объ этомъ—далѣе.

Въ самомъ концѣ 1839 г., когда Бѣлинскій уже переѣхалъ въ Петербургъ, Герценъ снова былъ въ Москвѣ и затѣмъ въ Петербургѣ, для хлопотъ въ департаментѣ герольдіи о чинѣ, дававшемъ права дворянства, чего особенно желалъ старикъ Яковлевъ. Въ Москвѣ въ этотъ пріѣздъ Герценъ знакомится съ знаменитымъ актеромъ М. С. Щепкинымъ, первымъ представителемъ реалистическаго искусства на сценѣ, лично вращавшимся въ кругу лучшихъ представителей московской интеллигенціи. Около этого времени

Герценъ во Владимірѣ.
(1838).

Герценъ въ Вяткѣ.
Съ портрета работы Витберга.

состоялось знакомство и съ Грановскимъ, произведшимъ своею изящною молодостью и убѣжденіями чарующее впечатлѣніе на Герцена. Вмѣстѣ съ Грановскимъ, онъ уже „ратовалъ противъ славянобѣсія“ (письмо 1841 г.).

Въ Петербургѣ поглощенный дѣловыми хлопотами Герценъ не могъ еще войти въ литературную жизнь столицы. Свиданіе съ Бѣлинскимъ проходитъ весьма холодно. Вообще Петербургъ крайне непріятно поразилъ его, между прочимъ, особою подозрительностью насчетъ всего, что касалось политической благонадежности, и обновилъ тѣмъ старую симпатію къ Москвѣ. Хлопоты Герцена, благодаря щедрой подмазкѣ съ его стороны чиновниковъ герольдіи (за то, что не въ очередь двинули производство владимірскаго чиновника), благодаря связямъ отца, личной извѣстности Жуковскому и Арсеньеву и благопріятнымъ отзывамъ Куруты, шли на ладъ. При посредствѣ А. Г. Строганова, министра внутреннихъ дѣлъ (брата московскаго попечителя), ему обѣщано мѣсто въ Петербургѣ. Едва осмотрѣвшись въ немъ, побывавъ разъ въ Эрмитажѣ и нѣсколько разъ въ театрѣ, сдѣлавъ обязательные родственные визиты, Герценъ поспѣшилъ къ новому 1840 году во Владиміръ.

29 февраля 1840 года онъ причисленъ съ чиномъ коллежскаго ассесора къ канцеляріи министерства внутреннихъ дѣлъ (нынѣ департаментъ общихъ дѣлъ), и этимъ самымъ получалъ право повсемѣстнаго жительства (5 апрѣля Курута выдалъ ему лестный аттестатъ о службѣ). Въ половинѣ марта Герцены навсегда покинули Владиміръ, онъ—для болѣе широкой, возмужалой жизни, она—для многихъ разочарованій, оба для тяжелыхъ испытаній и борьбы.

„Это былъ періодъ романтизма въ моей жизни: мистическій идеализмъ, полный поэзіи, любовь, все поглощающее и все направляющее чувство...—такъ резюмировалъ нѣсколько позднѣе Герценъ вятско-владимірскій періодъ своей жизни („Дневникъ“, 22 окт. 1842 г.).—Въ 1838 г. жизнь достигла той высшей степени развитія, далѣе которой идти нельзя. Для меня, какъ для лица, лучшаго, полнѣйшаго періода жизни не можетъ быть, какъ половина 1838 г. до половины 1839“.

Тюрьма, Вятка и Владиміръ составляютъ особый, внутренно законченный періодъ въ развитіи настроеній и идей Герцена, и прослѣженъ нами довольно подробно.

При самостоятельности развитія Герцена, его настроенія не представляютъ, однако, въ это время чего-либо исключительнаго. Жуковскій, Гоголь, кн. Одоевскій—вотъ литературные дѣятели болѣе старшаго поколѣнія, у которыхъ мы

встрѣчаемъ аналогичныя идеи, подобныя же мистико-романтическія настроенія. Изъ сверстниковъ Герцена приходится указать, напр., на Бѣлинскаго: у него найдемъ еще болѣе близкія выраженія той же настроенности, таковы „Литературныя мечтанія“, съ ихъ представленіемъ о задачахъ жизни и дѣятельности чисто моральнаго порядка. Герценъ, конечно, могъ бы подписаться подъ лирическими изліяніями о единой вѣчной идеѣ (мысли единаго, вѣчнаго Бога), о ея мудрости и любви: „Гордись, гордись, человѣкъ, своимъ высшимъ назначеніемъ; но не забывай, что божественная идея, тебя родившая, справедлива и правосудна, что она дала тебѣ умъ и волю, которые ставятъ тебя выше всего творенія, что она въ тебѣ живетъ, а жизнь есть дѣйствованіе, а дѣйствованіе есть борьба: не забывай, что твое безконечное высочайшее блаженство состоитъ въ уничтоженіи твоего *я*, въ чувствѣ любви. Итакъ, вотъ тебѣ двѣ дороги, два неизбѣжные пути: отрекись отъ себя, подави свой эгоизмъ, попри ногами твое своекорыстное *я*, дыши для счастія другихъ, жертвуй всѣмъ для блага ближняго, родины, для пользы человѣчества, люби истину и благо не для награды, но для истины и блага, и тяжкимъ крестомъ выстрадай твое соединеніе съ Богомъ, твое безсмертіе, которое должно состоять въ уничтоженіи твоего *я*, въ чувствѣ безпредѣльнаго блаженства“, и т. д.

Съ исторической и общественно-психологической точки зрѣнія вполнѣ понятно это исключительное сосредоточеніе вниманія передовой молодежи на чисто этическихъ вопросахъ, а окраска мистицизма была отраженіемъ широкаго теченія, сильнаго и въ западно-европейской умственной жизни. Такъ бывало и позднѣе въ русскомъ обществѣ при торжествѣ реакціи, напримѣръ, въ восьмидесятые годы прошлаго вѣка. Но искавшій здѣсь выхода жаръ души, особенно въ такихъ людяхъ, какъ Герценъ и Бѣлинскій, конечно, долженъ былъ рано или поздно встрѣтиться и съ вопросами чисто общественными и политическими и толкать къ наиболѣе радикальному разрѣшенію ихъ. Подъ пепломъ наноснаго настроенія тлѣли и не гасли въ Герценѣ жаркіе огоньки болѣе раннихъ мечтаній. Ссылка рано или поздно должна отозваться въ немъ рѣзкимъ отрицаніемъ политическаго насилія и произвола... Да и среди оторванныхъ отъ жизни мечтаній и порывовъ *туда*, среди фантастическихъ построеній отвлеченнаго міра, все время у молодежи тридцатыхъ годовъ мелькаютъ проблески чувствъ и мыслей, которыя составятъ проповѣдь и смыслъ жизни ихъ въ сороковые годы.

Такъ, среди общаго довольно консервативнаго предста-

вленія о русскомъ государствѣ мы встрѣтили у Герцена протестъ противъ крѣпостного права. Такъ, у Огарева, носившагося въ ссылкѣ съ созданіемъ новой философской системы, среди непроходимой мистики и отвлеченностей, встрѣчаемъ ясныя, почти лучезарныя по сравненію съ остальнымъ, прозрѣнія въ дѣйствительныя проблемы жизни человѣчества. Одно изъ нихъ необходимо подчеркнуть, такъ какъ эта мысль впослѣдствіи и въ идеяхъ Герцена заняла видное мѣсто. Какъ отголосокъ сенъ-симонистскихъ идей Огаревъ ставитъ задачею общественной организаціи: „Сохранить при высочайшемъ развитіи общественности полную свободу индивидуальную. Да, это задача для рода человѣческаго—чѣмъ ближе къ разрѣшенію, тѣмъ ближе къ совершенству. Эту задачу пусть разрѣшаетъ человѣчество, какъ скоро сброситъ ветхую епанчу свою. Да, человѣкъ долженъ по своей волѣ двигаться въ кругу братій. До тѣхъ поръ, пока есть преграда развитію моей индивидуальной воли, до тѣхъ поръ у меня нѣтъ братьевъ—есть враги,—до тѣхъ поръ нѣтъ гармоніи и любви, но борьба моего эгоизма съ эгоизмомъ другихъ. Сочетать эгоизмъ съ самопожертвованіемъ—вотъ въ чемъ дѣло, вотъ къ чему должно стремиться общественное устройство“ (Анненковъ, „Идеалисты 30-хъ гг.“).

Итакъ, каковы бы ни были аберраціи мысли Герцена въ это время, этотъ періодъ его жизни многозначителенъ не только для личной его біографіи. Какъ „центральная натура“, онъ и здѣсь отразилъ въ своихъ мистическихъ настроеніяхъ то, чѣмъ жили лучшіе его эпохи сверстники. Огромный запасъ непосредственныхъ, жизненныхъ впечатлѣній былъ за это время незамѣтно воспринятъ имъ, чтобъ потомъ быть переработаннымъ для литературной дѣятельности. Жизнь его не прошла безслѣдно даже для убогихъ Вятки и Владиміра, гдѣ онъ давалъ примѣръ, правда, очень скромной, но все же нужной, особенно въ то время, культурной работы. Наконецъ, онъ просто жилъ, не прозябая, и свѣтъ и жаръ того горѣнія, какимъ была его молодость, долго не угаснутъ, живя въ его письмахъ и неподражаемыхъ воспоминаніяхъ „Былого и Думъ“.

„Блаженъ, кто смолоду былъ молодъ“. Молодость Герцена, прошедшая частью въ тяжелыхъ испытаніяхъ, рѣдкій примѣръ, какъ прекрасна и плодотворна можетъ быть она, когда одухотворена сильно возбужденными умственными и нравственными интересами, согрѣта чувствомъ братской дружбы, просвѣтлена чистою любовью. И съ этой стороны молодость Герцена незабвенна.

IX.

Москва и Петербургъ.

Въ Петербургъ Герценъ прибылъ въ половинѣ мая 1840 г.

Служба въ Петербургѣ для Герцена, достаточно уже испытавшаго ее въ провинціи, не имѣла и тѣни прежняго легкаго увлеченія стройнымъ механизмомъ бюрократическаго управленія. По собственному признанію Герцена, онъ „всячески лынялъ отъ дѣла". „Что-то мнѣ казалось, что подъ этими плотно пригнанными фраками и тщательно вычесанными волосами живетъ такая дрянная, черная, мелкая, завистливая и трусливая душонка, что мой столоначальникъ въ Вяткѣ казался мнѣ больше человѣкомъ, чѣмъ они. Всякій разъ дѣлалъ я надъ собою усиліе, входя въ министерство. Начальникъ канцеляріи К. К. Фонъ-Поль, гернгутеръ, добродѣтельный и лимфатическій уроженецъ съ острова Даго, наводилъ какую-то благочестивую скуку на все его окружающее"... Упражненіе въ „стилѣ" и тутъ доставило Герцену льготу. Испытавъ неспособность новаго подчиненнаго ни къ чему другому, начальникъ отдѣленія поручилъ ему составленіе на Высочайшее имя общаго отчета по министерству изъ частныхъ губернскихъ, причемъ въ отчетѣ напередъ были предусмотрѣны „успѣхи народной нравственности" и т. п.

„Судьба и графъ Бенкендорфъ спасли меня отъ участья въ подложномъ отчетѣ".

Такова была служба. Она давала много времени прежде всего для наблюденій, а слѣдовательно, и для провѣрки оптимистическихъ представленій о николаевскомъ абсолютизмѣ, проскальзывавшихъ въ настроеніи Герцена за время жизни въ Вяткѣ. „Петербургъ—городъ шестиэтажныхъ домовъ, шестимачтовыхъ кораблей, мельница, въ которой толкутъ страсти, деньги, подчасъ воду, но, главное, безпрестанно толкутъ, съ шумомъ, трескомъ",—писалъ Герценъ во Влади-

міръ. Онъ воочію видѣлъ „вычищенную и выбѣленную лейбъ-гвардію, безмолвную бюрократію, казаковъ съ нагайками, полицейскихъ съ кулаками, полгорода въ мундирахъ, полгорода дѣлающій фрунтъ, и цѣлый городъ, торопливо снимающій шляпу". Онъ увидѣлъ, что „все это лишено всякой самобытности и служитъ пальцами, хвостомъ, ногтями и когтями одного человѣка, совмѣщающаго въ себѣ всѣ виды власти—помѣщика, папы, палача, родной матери и сержанта". Онъ на себѣ понялъ, что здѣсь у всякаго свѣжаго человѣка „можетъ закружиться въ головѣ, сдѣлаться страшно, можетъ прійти желаніе самому снять шляпу и поклониться, пока голова цѣла, и вдвое того можетъ захотѣться сѣсть опять на пароходъ и плыть куда-нибудь" (Изъ статьи „Кн. Е. Р. Дашкова").

Герценъ начинаетъ опять мечтать о заграничномъ путешествіи. „Вотъ оно, море: манитъ, зоветъ, пароходъ ждетъ, кажется, только насъ"...—пишетъ онъ во Владиміръ, боясь какъ бы не запроситься отъ „хорошихъ троттуаровъ, хотя въ Судогду", уѣздный глухой городишко Владимірской губерніи.

Еще въ первый пріѣздъ Герценъ искалъ было въ общественной жизни Петербурга слѣдовъ прошлаго, вліянія, памяти декабристовъ, но наткнулся на предостереженія отъ шпіоновъ, и живыхъ людей встрѣтилъ лишь въ обломкахъ почти прошлаго вѣка, въ родѣ О. А. Жеребцовой, да въ средѣ литературы, межъ бывшими москвичами. Одно это способно было поселить въ душѣ уныніе.

„Нигдѣ я не предавался такъ часто, такъ много скорбнымъ мыслямъ, какъ въ Петербургѣ,—писалъ Герценъ черезъ годъ.—Задавленный тяжкими сомнѣніями, бродилъ я, бывало, по граниту его и былъ близокъ къ отчаянію. Этими минутами я обязанъ Петербургу, и за нихъ я полюбилъ его"....

„Петербургъ любить нельзя, а я чувствую, что не сталъ бы жить ни въ какомъ другомъ городѣ Россіи",—таково было заключеніе Герцена. Петербургъ сталъ ему дорогъ, какъ мѣсто умственнаго перерожденія отъ вятско-владимірскаго романтизма, какъ центръ мучительныхъ сомнѣній о настоящемъ мѣстѣ своемъ въ этомъ „разно-начальномъ хаосѣ взаимно гложущихъ силъ". Такъ, на почвѣ отталкивающихъ впечатлѣній торжествующаго абсолютизма, начался тотъ внутренній кризисъ Герцена, который окончился чрезъ два года и поставилъ его въ центрѣ движенія въ русскомъ обществѣ, рядомъ съ Бѣлинскимъ и Грановскимъ.

Въ эту пору у всѣхъ образованныхъ людей на устахъ было имя Гегеля. Значеніе философской системы Гегеля, установившей и распространившей идею непрерывнаго *раз-*

витія всѣхъ возможныхъ жизненныхъ явленій, было для русской общественной мысли особенно велико. Ея высокій идеалистическій порывъ—стремленіе одною идеею, однимъ принципомъ охватить и объяснить всѣ области вѣдѣнія—самъ по себѣ былъ громаднымъ возбужденіемъ аналитической мысли въ обществѣ. Мысль тогдашнихъ людей съ возбужденнымъ умственнымъ интересомъ тѣмъ охотнѣе уходила въ это царство абстракцій, чѣмъ меньше дѣйствительная жизнь представляла прямой возможности для приложенія къ ней критическаго и практическаго разума. Недаромъ же въ эту пору одни „спасались“ въ католицизмъ, какъ товарищъ Герцена по университету Печеринъ, другіе—въ православіе и въ обожествленіе самодержавія, въ лучшемъ случаѣ—въ славянофильство; такъ точно третьи погружались на время въ гегелевскую философію, какъ въ нѣкій океанъ, безбрежный и всеохватывающій, чистой мысли. Это увлеченіе было столько же дѣломъ отвлеченнаго стремленія къ познанію, сколько и явленіемъ чисто моральнаго, общественнаго порядка. Огаревъ очень удачно выразилъ общее настроеніе людей, погружавшихся въ міръ отвлеченностей въ поискахъ выхода изъ тогдашняго общественнаго положенія. „Обнять весь этотъ міръ знанія, провидѣть начало и результаты идей и потомъ съ твердостію и силою вступить на поприще практической дѣятельности — вотъ цѣль моя“. Отвлеченное теоретическое всеобъемлющее знаніе, воплощенное въ одномъ ученіи, такимъ образомъ, казалось необходимою ступенью выхода въ практическую жизнь. Такъ было съ гегеліанствомъ, такъ было и позднѣе. Подобно этому естественно-научный матеріализмъ Бюхнера и Фохта, еще позднѣе увлеченіе чистаго народничества семидесятыхъ годовъ, марксизма 90-хъ годовъ прошлаго вѣка поочередно въ той или иной мѣрѣ захватывали молодыя живыя силы русскаго общества.

Философія Гегеля, на порогѣ сороковыхъ годовъ, культивировалась и пропагандировалась у насъ въ кружкахъ московской интеллигенціи Станкевичемъ и Бакунинымъ. Ее восприняли Грановскій за границею чрезъ учениковъ самого Гегеля. Бѣлинскій усвоилъ ея идеи чрезъ Станкевича и Бакунина, и т. д. Герценъ, по возвращеніи изъ ссылки, нашелъ въ Москвѣ культъ Гегеля въ полномъ разгарѣ.

„Новые знакомые,—вспоминаетъ Герценъ, и къ разсказамъ его почти нечего добавить,—приняли меня такъ, какъ принимаютъ эмигрантовъ и старыхъ бойцовъ, людей, выходящихъ изъ тюремъ, возвращающихся изъ плѣна или ссылки, съ почетнымъ снисхожденіемъ, съ готовностью принять въ свой союзъ, но съ тѣмъ вмѣстѣ не уступая ничего, а на-

мекая на то что они—*сегодня, а мы—уже вчера*, и требуя безусловнаго принятія феноменологіи и логики Гегеля и притомъ по ихъ толкованію".

„Толковали же они объ нихъ безпрестанно, нѣтъ параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ логики, въ двухъ эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не былъ взятъ отчаянными спорами нѣсколькихъ ночей. Люди, любившіе другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа", принимали за обиды мнѣнія объ „абсолютной личности" и о ея „по себѣ бытіи". Всѣ ничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегелѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятенъ, до паденія листовъ въ нѣсколько дней".

„Молодые философы приняли какой-то условный языкъ, они не переводили на русское, а перекладывали цѣликомъ, да еще для большей легкости оставляя всѣ латинскія слова in crudo, давая имъ православныя окончанія и семь русскихъ падежей".

„ . . . Увлеченный тогдашнимъ потокомъ, я самъ писалъ точно такъ же да еще удивлялся, что извѣстный астрономъ Перевощиковъ называлъ это „птичьимъ языкомъ". Никто въ тѣ времена не отрекся бы отъ подобной фразы: „Конкресцированіе абстрактныхъ идей въ сферѣ пластики представляетъ ту фазу самоищущаго духа, въ которой онъ, опредѣляясь для себя, потенцируется въ гармоническую сферу образнаго сознанія въ красотѣ".

„Рядомъ съ испорченнымъ языкомъ шла другая ошибка, болѣе глубокая. Молодые философы наши испортили себѣ не однѣ фразы, но и пониманіе, отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣлалось школьное, книжное, это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которымъ такъ геніально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все—*въ самомъ дѣлѣ* непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категоріи и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своего рода наивность, потому что все это было совершенно искренно.

„Человѣкъ, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобъ отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; если ему по дорогѣ попадался какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлялъ субстанцію народную въ ея непосредственномъ и случайномъ явленіи. Самая слеза, навертывавшаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ „гемюту" или къ „трагическому въ сердцѣ"...

Передряга эта свалилась на Герцена, какъ кирпичъ на голову, въ началѣ декабря 1840 г. Послѣ долгихъ хлопотъ, пустивъ въ ходъ всѣ связи и пружины, Герцену удалось добиться того, что его не стали отправлять съ жандармомъ и торопить выѣздомъ, позволили выбрать между Тверью и Новгородомъ, а министръ внутреннихъ дѣлъ Строгановъ даже назначилъ его совѣтникомъ губернскаго правленія въ Новгородъ, предоставивъ высшее мѣсто, какое онъ могъ занять по чину. Даже въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ ему намекали на надежду въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ получить вице-губернаторство. Но позолота пилюли, конечно, не могла смягчить нелѣпости и произвольности новаго гоненія.

Принялъ его Герценъ совсѣмъ не такъ, какъ первое; хотя по формѣ оно было много мягче, но по существу казалось гораздо возмутительнѣе и оскорбительнѣе полнымъ своимъ нелѣпымъ произволомъ. „Разъѣдающая злоба кипѣла въ моемъ сердцѣ: это чувство безправія, безсилія, это положеніе пойманнаго звѣря, надъ которымъ презрительный уличный мальчишка издѣвается, понимая, что всей силы тигра не достаточно, чтобъ сломить рѣшетку“. Вдобавокъ, появленіе полицій и жандармовъ въ квартирѣ Герцена напугало его жену: она была въ послѣднемъ періодѣ беременности, вскорѣ преждевременно родила, ребенокъ умеръ черезъ день, а здоровье Наталіи Александровны было подорвано на долгіе годы.

„Ты, Огаревъ, проповѣдуешь резигнацію,—гнѣвно писалъ Герценъ другу: — но въ томъ случаѣ, въ которомъ ты ее проповѣдуешь мнѣ, она не идетъ, даже я думаю, что именно бѣда то вся, что ея — *слишкомъ много*... Резигнаціи, когда бьютъ въ рожу, я не понимаю, и люблю свой гнѣвъ столько же, сколько ты свой покой. „Частный случай!“ Конечно, все, что случается не съ цѣлымъ племенемъ, можно назвать частнымъ случаемъ, но я думаю, есть повыше точка зрѣнія... Ежели ты написалъ, что это — „частный случай“, мнѣ въ утѣшеніе, то спасибо; ежели ты не шутя такъ думаешь, то это—одно изъ проявленій той ложной монашеской пассивности, которая, по моему мнѣнію, твой Тиранъ, твой злойдухъ“...

Убѣждая друга ѣхать за границу, Герценъ условливался съ нимъ 1-го января 1845 г. встрѣтиться въ Женевѣ. „Ты любишь „эту землю“. Понятно. И я любилъ Москву, а жилъ въ Перми, Вяткѣ, не переставая ее любить, и жилъ годъ въ Петербургѣ, да ѣду въ Новгородъ! Попробуемъ полюбить земной шаръ—оно лучше. Куда ни поѣзжай тогда, все будешь на любимомъ мѣстѣ“.

Видимо, здѣсь не было обреченія себя на бездѣйствіе

эмигранта, а представлялась, впервые, смутно мысль, что тамъ легче будетъ найти точку опоры для широкой практической дѣятельности. Тяготѣніе къ общественной работѣ все сильнѣе захватываетъ его. „Я начинаю ощущать пользу контузіи № 2,—писалъ онъ друзьямъ.—Я было затерялся (по примѣру XIX вѣка) въ сферѣ мышленія, а теперь снова сталъ дѣйствующимъ и живымъ до ногтей. Самая злоба возстановила меня во всей практической доблести, и—что забавно—на самой этой точкѣ мы встрѣтились съ Виссаріономъ (Бѣлинскимъ) и сдѣлались партизанами другъ друга. Никогда я живѣе не чувствовалъ необходимости перехода—нѣтъ!—развитія въ жизнь философіи. И ни малѣйшей апатіи отъ удара (который неизмѣримо силенъ и только самою безвыходностью даетъ выходъ)".

Но пока дѣйствительный выходъ былъ и рисовался ему далеко впереди. Затаивъ въ груди эти чувства и мысли, онъ собирался въ Новгородѣ все переждать и перетерпѣть. „*Не бойся сердце—погоди,*—повторяетъ онъ слова поэта:—Все заключено да будетъ внутри". А *пока* намѣчаетъ только весьма скромныя ближайшія задачи: продолжать изучать Гегеля и нѣмцевъ, написать диссертацію о петровскомъ переворотѣ и приготовительную дѣтскую книжку къ изученію всеобщей исторіи.

Не тревожимый начальствомъ, Герценъ, приговоренный къ Новгороду, еще цѣлые полгода провелъ въ Петербургѣ. Въ это время онъ окончательно сошелся съ Бѣлинскимъ, и они стали не только единомышленниками, но и близкими друзьями. И въ свою очередь Бѣлинскій, чѣмъ дальше тѣмъ выше ставилъ Герцена, его „живую, дѣятельную и практическую натуру". Она, по словамъ критика, всѣ его убѣжденія вызываетъ наружу. „Я съ нимъ спорю и даже, когда онъ явно вретъ, вижу все-таки самостоятельный образъ мыслей"...— „Для меня это—человѣкъ одинъ изъ тѣхъ, какихъ у насъ, къ несчастію, мало", — писалъ онъ. Позднѣе, какъ увидимъ, онъ уже прямо пророчески предугадываетъ „историческое" значеніе и роль друга.

Въ Петербургѣ Герценъ дождался пріѣзда Огарева съ его женою, показалъ имъ море и проводилъ ихъ за границу. Само разставаніе ихъ носило, по разсказу Анненкова, особенный, чуть не стоическій характеръ: они вышли на Неву, миновали дворецъ, обнялись на набережной *въ виду крѣпости*, и затѣмъ каждый пошелъ своею дорогой. Наконецъ, около 1 іюля 1841 г., Герценъ явился „въ Богомъ и св. Софіей хранимый градъ Новгородъ и поселился на берегу Волхова, противъ самаго того кургана, откуда волтеріанцы XII столѣтія бросили въ рѣку статую Перуна".

X.

Новгородъ.

Новгородъ послѣ столицъ поразилъ Герцена. Въ первую ссылку онъ съ жаднымъ любопытствомъ впитывалъ впечатлѣнія провинціальной жизни. Ея узостью и бѣднотою интересовъ онъ поражался, доброю долею, со стороны комической, но были и новыя впечатлѣнія, серьезнаго значенія и общественнаго интереса, глубоко захватывавшія его. Теперь для него новаго въ провинціальной жизни не могло быть, охоты смѣяться не было...

Новгородъ былъ въ центрѣ петербургскаго давленія и съ своей стороны ничего не могъ противопоставить столицѣ.

„Болотами и грязью защищались новгородцы нѣкогда отъ велико-княжескаго и велико-ханскаго ига, теперь защищаются отъ велико-полицейскаго“ (изъ статьи „Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ“). Въ Новгородѣ Герценъ засталъ еще живые разсказы о военныхъ поселеніяхъ, этой жестокой Аракчеевской затѣѣ превратить крестьянъ въ солдатъ и машины, и преданія о чудовищномъ по звѣрству усмиреніи бунта въ этихъ поселеніяхъ. „Старая Русса, военныя поселенія,—страшныя имена!—писалъ Герценъ впослѣдствіи.—Неужели исторія... никогда не отдернетъ саванъ, подъ которымъ правительство спрятало рядъ злодѣйствъ, холодно, систематически совершенныхъ при введеніи поселеній. Мало ли ужасовъ было вездѣ, но тутъ прибавился особый характеръ петербургско-гатчинскій, нѣмецко-татарскій. Мѣсяцы цѣлые продолжалось забиваніе палками и засѣканіе розгами непокорныхъ... полъ не просыхалъ отъ крови въ земскихъ избахъ и канцеляріяхъ... Всѣ преступленія, могущія случиться на этомъ клочкѣ земли, со стороны народа, противъ палачей, оправданы впередъ“.

Если бѣдна и убога была народная новгородская жизнь, задавленная такими „мѣропріятіями“, то еще плачевнѣе сложилась жизнь самого города.

„Память (о временахъ республики) вышибъ своею долбнею царь Иванъ Васильевичъ изъ новгородцевъ, а долбня эта осталась и хранится въ соборѣ; Вельтманъ писалъ книгу о „Господинѣ нашемъ Новгородѣ Великомъ“ *) и плакалъ отъ умиленія, встрѣтившись нечаянно на улицѣ съ Ярославовой башней. Я не плакалъ о господинѣ-слугѣ, а не разъ содрогался. Зданія, пережившія смыслъ свой, наводятъ ужасъ, когда вы спросите объ нихъ новгородца, выросшаго и состарѣвшаго здѣсь, и онъ вамъ отвѣтитъ: „Говорятъ, еще до Петра строено“... „Въ немъ (Новгородѣ) не осталось ничего стариннаго русскаго, и не привилось ни одной капли европейскаго; нравы Новгорода представляютъ уродливую и отвратительную пародію на петербургскіе“...

„... Въ Новгородѣ каждое неосторожное слово можетъ навлечь бѣдствія. Петербургъ научилъ ci-devant республику наушничать. Въ губерніяхъ подмосковныхъ говорите что хотите: разумѣется, не поймутъ, коли дѣло скажете, но и не донесутъ: мы-де дворяне“. Въ Новгородѣ былъ при Герценѣ случай доноса въ политической неблагонадежности на человѣка, вздумавшаго на глазахъ кого-то изъ начальства подразнить индюковъ привѣтствіемъ: „Здравія желаю, ваше высокоблагородіе!“ (А. Милюковъ).

Здѣсь-то пришлось служить Герцену совѣтникомъ губернскаго правленія.

Новгородскій военный губернаторъ Эльпидифоръ Антіоховичъ Зуровъ, въ Петербургѣ встрѣтившій Герцена просто, привѣтливо и добродушно, въ Новгородѣ оказался даже ростомъ побольше. Герцену для начала онъ счелъ нужнымъ сказать, что не терпитъ, чтобъ совѣтники подавали голосъ и оставались бы письменно при особомъ мнѣніи, что это задерживаетъ дѣла, что если что не такъ, то можно переговорить, а какъ на мнѣнія пойдетъ, то тотъ или другой долженъ выйти въ отставку. Герценъ, улыбаясь, замѣтилъ ему, что его трудно испугать отставкой, что отставка—единственная цѣль его службы. И разговора этого было совершенно достаточно для обоихъ... „Мы настолько терпѣть не могли другъ друга, насколько это возможно при поверхностномъ знакомствѣ“.

Присмотрѣвшись къ дѣламъ губернскаго правленія, Герценъ увидѣлъ, что его положеніе не только очень непріятно, чрезвычайно опасно. Каждый совѣтникъ отвѣчалъ за свое отдѣленіе и дѣлилъ отвѣтственность за всѣ остальныя. Совѣтники, товарищи Герцена, были закаленные, старые писцы,

*) А. Ѳ. Вельтманъ, забытый, но въ тридцатые и сороковые годы популярный романистъ. Брошюра „О господинѣ Новгородѣ Великомъ“ напечатана въ 1834 г.

дослужившіеся десятками лѣтъ до совѣтничества, жили они одной службой, т.-е.—однѣми взятками. Когда они поняли, что новый совѣтникъ не будетъ участвовать ни въ дѣлежѣ общихъ добычъ, ни самъ грабить, и разглядѣли, что между нимъ и губернаторомъ дружба была умѣренная, они сами стали сторониться отъ непрошеннаго гостя и опаснаго свидѣтеля.

Второе отдѣленіе губернскаго правленія, которымъ завѣдывалъ Герценъ, вѣдало паспорты, дѣла о злоупотребленіяхъ помѣщичьей власти, о раскольникахъ, фальшивыхъ монетчикахъ и людяхъ, находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ.

„Нелѣпѣе, глупѣе ничего себѣ нельзя представить,— вспоминалъ Герценъ позднѣе:—я увѣренъ, что три четверти людей, которые прочтутъ это, не повѣрятъ, а между тѣмъ эта сущая правда, что я, какъ совѣтникъ губернскаго правленія, управляющій вторымъ отдѣленіемъ, свидѣтельствовалъ каждые три мѣсяца рапортъ полицмейстера о *самомъ себѣ*, какъ о человѣкѣ, находящемся подъ полицейскимъ надзоромъ. Полицмейстеръ, изъ учтивости, въ графѣ поведенія ничего не писалъ, а въ графѣ занятій ставилъ: „Занимается государственной службой“. Вотъ до какихъ геркулесовыхъ столбовъ безумія можно доправиться, имѣя двѣ-три полиціи, враждебныя другъ другу, канцелярскія формы вмѣсто законовъ и фельдфебельскія понятія вмѣсто правительственнаго ума“.

„Съ полгода вытянулъ я лямку въ губернскомъ правленіи, тяжело было и крайне скучно. Всякій день въ 11 часовъ утра надѣвалъ я мундиръ, прицѣплялъ статскую шпаженку и являлся въ присутствіе. Въ 12 приходилъ военный губернаторъ; не обращая никакого вниманія на совѣтниковъ, онъ шелъ прямо въ уголъ и тамъ ставилъ свою саблю, потомъ, посмотрѣвши въ окно и поправивъ волосы, онъ подходилъ къ своимъ кресламъ и кланялся присутствующимъ. Едва вахмистръ со страшными сѣдыми усами, стоявшими перпендикулярно къ губамъ, торжественно отворялъ дверь и брянчанье сабли становилось слышно въ канцеляріи, совѣтники вставали и оставались въ согбенномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока губернаторъ кланялся. Одно изъ первыхъ дѣйствій оппозиціи съ моей стороны состояло въ томъ, что я не принималъ участія въ этомъ соборномъ возстаніи и благочестивомъ ожиданіи, а спокойно сидѣлъ и кланялся ему тогда, когда онъ кланялся намъ“.

Занимаясь дѣлами насколько было нужно, чтобъ не получить замѣчанія или не попасть въ бѣду, Герценъ по своему отдѣленію обратилъ вниманіе на дѣла о раскольникахъ и о злоупотребленіи помѣщичьей властью.

ГЕРЦЕНЪ въ 1842 г.

Карандашный снимокъ съ портрета Рейхеля.

„Дѣла о раскольникахъ были такого рода, что всего лучше было ихъ совсѣмъ не подымать вновь,—я ихъ просмотрѣлъ и оставилъ въ покоѣ. Напротивъ, дѣла о злоупотребленіи помѣщичьей властью слѣдовало сильно перетряхнуть; я сдѣлалъ все, что могъ, и одержалъ нѣсколько побѣдъ на этомъ вязкомъ поприщѣ, освободилъ отъ преслѣдованій одну молодую дѣвушку и отдалъ подъ опеку одного морского офицера. Это, кажется, единственная заслуга моя по служебной части. Яростный офицеръ собирался напасть на меня изъ-за угла, подкупить бурлаковъ и сдѣлать засаду, но, непривычный къ сухопутнымъ кампаніямъ, мирно скрылся въ какой-то уѣздный городъ".

Эта служба, противорѣчившая всѣмъ стремленіямъ Герцена, уже отказавшагося отъ мысли „служить", рано или поздно была бы брошена. Въ декабрѣ 1841 г. Герценъ пишетъ письма о прощеніи Дубельту и Бенкендорфу. Николай I положилъ резолюцію: „Онъ два раза уже наказанъ и не заслуживаетъ сего снисхожденія".

Разъ, въ началѣ 1842 г., когда Герценъ пріѣхалъ въ правленіе, въ передней женщина-крестьянка, увидавши его въ мундирѣ, бросилась предъ нимъ на колѣни, умоляя заступиться. Помѣщикъ ссылалъ ее съ мужемъ на поселеніе, ихъ сынъ, лѣтъ 10, по жестокому закону, оставался у помѣщика; она умоляла дозволить ей взять съ собой дитя. „Пока она мнѣ разсказывала дѣло, взошелъ военный губернаторъ, я указалъ ей на него и передалъ ея просьбу. Губернаторъ объяснилъ, что дѣти старше десяти лѣтъ оставляются у помѣщика. Мать, не понимая глупаго закона, продолжала просить; ему было скучно, женщина, рыдая, цѣплялась за его ноги, и онъ сказалъ, грубо отталкивая ее отъ себя: „Да что ты за дура такая, вѣдь по-русски тебѣ говорю, что я ничего не могу сдѣлать, что же ты пристаешь?". Послѣ этого онъ пошелъ твердымъ и рѣшительнымъ шагомъ въ уголъ, гдѣ поставилъ саблю.—И я пошелъ... Съ меня было довольно... Развѣ эта женщина не приняла меня *за одного изъ нихъ?* Пора кончить комедію!

„Вы нездоровы? — спросилъ меня совѣтникъ Хлопинъ, переведенный изъ Сибири за какіе-то грѣхи.

„Боленъ,—отвѣчалъ я, вставъ, раскланялся и уѣхалъ. Въ тотъ же день написалъ я рапортъ о моей болѣзни и съ тѣхъ поръ нога моя не была въ губернскомъ правленіи. Потомъ я подалъ въ отставку „за болѣзнію" *). Отставку мнѣ сенатъ далъ, присовокупивъ къ ней чинъ надворнаго совѣтника, но Бенкендорфъ съ тѣмъ вмѣстѣ сообщилъ гу-

*) 3 апрѣля 1842 г.

бернатору, что мнѣ запрещенъ въѣздъ въ столицы и велѣно жить въ Новгородѣ".

Такъ навсегда окончилась подневольная служба Герцена. Она наградила его всесторонними свѣдѣніями о закулисной сторонѣ русскаго самодержавія съ ея произволомъ, жестокостью, подкупностью... Правда, она дала также богатый матеріалъ для наблюденій его въ качествѣ писателя, и впослѣдствіи онъ этими наблюденіями и воспользовался, но зато же она отняла у него не мало времени и навсегда вселила въ него глубочайшее отвращеніе къ русскому чиновничеству. „Мысль, что тамъ русскіе... чиновники,—писалъ онъ какъ-то за границей о русскомъ посольствѣ,—дѣлаетъ на меня нервное вліяніе, которое на многихъ производятъ тараканы и мыши... Я изъ Россіи выѣхалъ затѣмъ, чтобъ не видать офицерства и чиновничества, чтобы не видать всѣхъ этихъ Ноздревыхъ и Хлестаковыхъ"...

Подавая въ отставку, Герценъ счелъ нужнымъ извѣстить объ этомъ Л. В. Дубельта (начальника III отдѣленія). Съ отвращеніемъ, съ укоромъ самому себѣ записалъ онъ объ этомъ поступкѣ въ дневникѣ (послѣдній онъ ведетъ съ Новгорода довольно правильно въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ): „Я далъ себѣ слово многое сдѣлать, во многомъ уступать, чтобы добраться до свободы...—читаемъ въ дневникѣ (8 апр. 1842 г.).—Написавши такое письмо, я всякій разъ дѣлался боленъ: усталь, дрожь, безсиліе и волненіе. Вѣроятно, это то самое чувство, которое испытываютъ публичныя женщины, первый разъ продавая себя за деньги, хотя и защищаемыя нуждой. Полнаго отпущенія сознательному грѣху нѣтъ. L'homme se sent flétri *)". Эти письма Герцена къ властямъ, дѣйствительно, написаны въ условномъ почтительномъ и просительномъ тонѣ оффиціальнаго вѣрноподданичества; писать ихъ было, въ самомъ дѣлѣ, пыткою.

Какъ бы то ни было, отставка окрыляла Герцена: „Явились свѣжія силы и туманъ нѣсколько разсѣялся. Изъ двухъ чудовищъ, стоящихъ подлѣ меня съ вѣчно поднятою дубиною, одно исчезло **). И какъ будто съ выходомъ въ отставку я обязанъ работать, ибо досугъ мой, время мое. И я буду работать".

Изъ плановъ работъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Новгородъ, ни диссертація о петровскомъ переворотѣ, и введеніе въ изученіе всеобщей исторіи не осуществились уже потому, что въ Новгородѣ съ трудомъ можно было находить необходимыя книги. Но тѣмъ внимательнѣе и на-

*) Чувствуешь себя заклейменнымъ.
**) Другое чудовище—постоянный страхъ за здоровье жены.

стойчивѣе продолжалъ онъ изучать „Гегеля и нѣмцевъ“, связывая съ этимъ изученіемъ всѣ свои умственныя и нравственныя убѣжденія и взгляды, выношенные въ годахъ испытаній и борьбы.

Извѣстенъ разсказъ Тургенева о Бѣлинскомъ: однажды въ жару спора у критика сорвался упрекъ молодому пріятелю, какъ онъ можетъ думать объ обѣдѣ, когда въ ихъ спорѣ еще остался нерѣшеннымъ вопросъ о бытіи Божіемъ. За этой комическою черточкою крылось, конечно, самое глубокое и серьезное настроеніе. Съ неменьшею страстью и болью переживалъ и Герценъ свой кризисъ традиціонныхъ представленій о міроустройствѣ и мистико-религіознаго настроенія. Герценъ, вспомнимъ, былъ уже не юношею. Съ религіозными вѣрованіями у него, вдобавокъ, было связано глубокое личное чувство: привязанность къ женѣ. Но сомнѣнія, разъ возникшія въ такомъ умѣ, какъ у Герцена, не могли заглохнуть, а день за днемъ, шагъ за шагомъ подрывали ту вѣру, къ которой, казалось, такъ крѣпко привлекла его Наташа. Въ „Гегелѣ и нѣмцахъ“ онъ встрѣчалъ тѣ же вѣчные, „проклятые“ вопросы въ философской ихъ оболочкѣ. Безсмысленныя и безцѣльныя страданія и смерть дѣтей (24 декабря 1841 г. умерла дѣвочка, прожившая только два дня), между прочимъ, особенно потрясли его. Такъ цѣлая цѣпь впечатлѣній и тяжелаго раздумья приводила къ полному разрыву съ традиціей. Не съ легкимъ сердцемъ принимались холодные выводы разсудка. Религіозныя вѣрованія, которымъ отдано было такъ много, уступали свое мѣсто новымъ взглядамъ, унося съ собою самыя дорогія воспоминанія, отрывались отъ сердца... Но такъ или иначе, жребій былъ брошенъ, и Рубиконъ традиціи перейденъ.

По разсказу самого Герцена, одинъ изъ самыхъ сильныхъ толчковъ въ этомъ направленіи онъ испыталъ въ бесѣдахъ съ человѣкомъ, свято и глубоко вѣровавшимъ.

Среди немногочисленныхъ близкихъ знакомыхъ Герцена въ Новгородѣ, была пожилая чета супруговъ Филипповичей, потерявшихъ троихъ дѣтей одного за другимъ. „Осиротѣвшая мать,—разсказываетъ Герценъ,—совершенно предалась мистицизму; она нашла спасеніе отъ тоски въ мірѣ таинственныхъ примиреній. Для нея мистицизмъ былъ не шутка, не мечтательность, а опять-таки дѣти, и она защищала ихъ, защищая свою религію. Но, какъ умъ чрезвычайно дѣятельный, она вызывала на споръ и знала свою силу“. Въ противоположность множеству мистиковъ, Л. Д. не играла на нервахъ и не мѣшала чувства и сердца съ логикой, а стояла твердо на почвѣ непознаваемости умомъ Божества и на требованіи „вѣры“ во все, что такъ ясно дано религіей.

„Тутъ не было сомнѣній, шаткости, теоретической слабости... Нападки ея на мою философію были оригинальны. Она иронически увѣряла, что всѣ діалектическія подмостки и тонкости — барабанный бой, шумъ, которымъ трусы заглушаютъ страхъ своей совѣсти.

„Вы никогда не дойдете,—говорила она,—ни до личнаго Бога, ни до безсмертія души, никакой философіей, а храбрости быть атеистомъ и отвергнуть жизнь за гробомъ у васъ у всѣхъ нѣтъ. Вы слишкомъ люди, чтобы не ужаснуться этихъ послѣдствій, внутреннее отвращеніе отталкиваетъ ихъ; вотъ вы и выдумываете ваши логическія чудеса, чтобъ отвести глаза, чтобъ дойти до того, что просто и дѣтски дано религіей.

„Я возражалъ, я спорилъ, но внутри чувствовалъ, что полныхъ доказательствъ у меня нѣтъ, и что она тверже стоитъ на своей почвѣ, чѣмъ я на своей"...

„Споры эти занимали меня до того, что я съ новымъ ожесточеніемъ принялся за Гегеля. Мученье моей неувѣренности недолго продолжалось, истина мелькнула передъ глазами и стала становиться яснѣе и яснѣе; я склонился на сторону моей противницы, но не такъ, какъ она хотѣла.

„Вы совершенно правы,— сказалъ я ей,—и мнѣ совѣстно, что я съ вами спорилъ; разумѣется, что нѣтъ ни личнаго духа, ни безсмертія души—оттого-то и было такъ трудно доказать, что они есть. Посмотрите, какъ все становится просто, естественно—безъ этихъ впередъ идущихъ предположеній.

„Ее смутили мои слова, но она скоро оправилась и сказала:

„Жаль мнѣ васъ, а, можетъ, оно и къ лучшему, вы въ этомъ направленіи долго не останетесь, въ немъ слишкомъ пусто и тяжело....

„Однако, ея лицо было блѣднѣе обыкновеннаго".

Такъ, деизмъ, за который одно время, какъ видно изъ этого разсказа, еще держался Герценъ послѣ мистической восторженности вятско-владимірскаго періода,—уступилъ въ Новгородѣ мѣсто чисто раціоналистическому міровоззрѣнію, полному разрыву съ міромъ преданій, авторитета, и въ новомъ міропониманіи, окрашенномъ взглядами такъ называемаго лѣваго гегеліанства, на первый планъ выступаетъ представленіе о главенствующемъ значеніи личности.

О своихъ впечатлѣніяхъ и выводахъ изъ изученія Гегеля, Герценъ пишетъ въ это время (3 февраля 1842 года): „...Скажите Бѣлинскому, что я прочиталъ и *хорошо* Феноменологію, чтобъ онъ ругалъ однихъ послѣдователей.... а великую тѣнь (Гегеля) не трогалъ бы. Къ концу книги

точно въѣзжаешь въ море: глубина, прозрачность, вѣяніе духа несетъ—lasciate ogni speranza *)—берега исчезаютъ, одно спасеніе внутри груди, но тутъ-то и раздается: Quid timeas? Caesarem vehis **)—страхъ разсѣевается, берегъ вотъ, прекрасные листки фантазіи ощипаны, сочные плоды дѣйствительности тутъ. Исчезли ундины, но полногрудая дѣва ждетъ. Извините, я что-то заврался, но таково было впечатлѣніе. Я дочиталъ съ біеніемъ сердца, съ какою-то торжественностью, Гегель—Шекспиръ и Гомеръ вмѣстѣ. Оттого добрымъ людямъ и кажется непонятно греко-англійское нарѣчіе его" (письмо къ Краевскому).

Образныя выраженія этого письма вошли въ одну изъ статей Герцена о „Дилетантизмѣ въ наукѣ"; статьи начаты были имъ немедленно послѣ подачи въ отставку, въ качествѣ „пропедевтическаго слова желающимъ приняться за философію, но сбивающимся въ цѣли, правѣ, средствѣ науки" (дневникъ, 12 апрѣля). Кратко, смыслъ этихъ образовъ сводится къ признанію высшимъ критеріемъ, мѣриломъ познанія,—правъ, запросовъ, разумѣнія человѣческой личности. „Оставьте надежду навсегда", нуждающіеся въ опорахъ на внѣшній, внѣміровой авторитетъ, строящіе на представленіи о выше человѣка стоящихъ силахъ сознанія. Единственный руководитель человѣку въ міровой пустынѣ—онъ самъ, его сознаніе, единственный, безстрашный, достойный возвеличенія Цезарь—самъ духъ человѣческій. Отъ несуществующаго въ реальности потусторонняго міра сущностей, отъ логическихъ фантазій—скорѣе въ міръ живой дѣйствительности, ибо только въ немъ находитъ себѣ полное удовлетвореніе, вполнѣ проявляетъ себя человѣкъ!

Окончательную окраску этимъ взглядамъ дала книга, гремѣвшая въ то время: „Сущность христіанства" Л. Фейербаха (первое изданіе—1841 года).

Въ началѣ іюня 1842 года къ Герцену пріѣхалъ изъ-за границы Огаревъ и пробылъ въ Новгородѣ 11 дней. Это были „прекрасно проведенные дни, дни жизни, т. е., когда человѣкъ живетъ въ настоящемъ; хотя не со всѣхъ сторонъ свѣтло, но мы давно не встрѣчались такъ спокойны и веселы". Другъ привезъ въ новгородскую глушь двѣ крупныхъ новинки: „Мертвыя души" и Фейербаха. Много горькихъ думъ навѣяли „Мертвыя души" на изгнанника, но онъ увидѣлъ въ нихъ хотя и „горькій упрекъ современной Россіи, но не безнадежный". Зато книга Фейербаха своею прямо-

*) „Оставьте навсегда надежду",—изъ стиха Данта, надпись надъ вратами ада.

**) „Чего боишься? Ты везешь Цезаря!"—слова Цезаря лодочнику при переправѣ чрезъ бурное море.

тою поразила и подняла его: „Прочитавъ первыя страницы, я вспрыгнулъ отъ радости,—вспоминаетъ Герценъ въ „Былomъ и Думахъ“:—Долой маскарадное платье, прочь косноязычье и иносказанія, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа *), не нужно намъ облекать истину въ миѳы!“ Но въ сущности не Фейербахъ вывелъ его на новую дорогу, а самостоятельная мысль, собственная душевная борьба. Онъ читалъ Фейербаха чрезъ полгода послѣ выше цитированнаго письма—3 февраля 1842 г.

Такъ, еще до освобожденія Герцена отъ новгородской ссылки совершилось въ немъ полное освобожденіе отъ какихъ бы то ни было догматическихъ узъ, и онъ новымъ человѣкомъ, свободнымъ мыслителемъ возвращается, наконецъ, снова въ Москву.

Однимъ изъ пріобрѣтеній новгородской ссылки для Герцена надо считать также большее вниманіе его къ крѣпостному вопросу, возбужденное самою службою, въ которой ему пришлось имѣть дѣло съ помѣщичьими злоупотребленіями, а также новое укрѣпленіе симпатій къ крестьянству, къ народу; для изученія народа, для возбужденія любви къ нему, какъ видно, далъ немало и Новгородъ. Въ „дневникѣ“ за новгородское время, напр., скептически и очень мѣтко оцѣнена мертворожденность указа о свободныхъ хлѣбопашцахъ (2 апрѣля 1842 г.). „Мертвыя Души“ вызываютъ его на восхищеніе разгульною силою русскаго простонародья: „Кровь какъ-то хорошо обращается у русскаго въ груди“. (11 іюня). Разсказы какого-то инженера о боровицкихъ лоцманахъ даютъ поводъ къ такому восклицанію: „Что за удаль, что за безконечный stimulus, который развертываетъ въ нихъ эту потребность пѣсней, вина и удали!“ (27 іюня), и т. п.

И самъ онъ полонъ давно не испытаннаго прилива энергіи. Душевный переломъ отразился на немъ небывалымъ подъемомъ жажды жизни и дѣятельности. Въ приподнятомъ, жизнерадостномъ настроеніи онъ, напр., записываетъ въ дневникѣ слѣдующее: „Если глубоко всмотрѣться въ жизнь, конечно, высшее благо есть само существованіе.... Каждую минуту, каждое наслажденіе слѣдуетъ ловить, душа безпрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать въ него свое. Цѣль жизни—жизнь, жизнь въ этой формѣ, въ томъ развитіи, въ которомъ поставлено существо, т. е., цѣль человѣка—жизнь человѣческая“.

Кромѣ философскихъ статей, въ Новгородѣ начатъ Герценомъ романъ „Кто виноватъ?“.

*) Рабомъ Ксанфа былъ баснописецъ Эзопъ.

Но въ условіяхъ новгородской жизни должны были глохнуть всякія силы. Рядомъ съ лирическимъ подъемомъ въ дневникѣ встрѣчаемъ все болѣе нетерпѣливыя изліянія глухой злобы и досады на глупую ссылку. „Моя натура по превосходству соціабельная. Я назначенъ собственно для трибуны, форума, такъ, какъ рыба для воды. Тихій уголокъ, полный гармоніи и счастья семейной жизни не наполняетъ всего и именно въ ненаполненной долѣ души, за неимѣніемъ другого, бродитъ цѣлый міръ—безплодно и какъ-то судорожно“ (10 іюня 1842 г.).

Вдобавокъ, въ семейныхъ отношеніяхъ Герцена было не совсѣмъ благополучно. Здоровье Натальи Александровны было серьезно потрясено, особенно послѣ смерти двоихъ новорожденныхъ дѣтей. Да и восторженное ея представленіе о вѣчной взаимной любви и полномъ тожествѣ въ ихъ союзѣ мысли и чувства обоихъ должно было сильно пострадать, когда Герценъ послѣ Владиміра все болѣе отдается литературно-общественнымъ интересамъ, меньше удѣляя времени семьѣ. Наконецъ, ея кумиръ, ея идеалъ, которому прощенъ, но не забытъ былъ его вятскій романъ съ Медвѣдевой, при новгородской скукѣ оказался способенъ къ самому прозаическому увлеченію и легкомыслію, былъ обличенъ предъ женою самою виновницей, горничною...

Послѣ многихъ бурныхъ сценъ и объясненій, Наталья Александровна таитъ въ душѣ и скорбно перебираетъ горькія мысли о томъ, что они съ мужемъ не пара, и жестоко терзаетъ и себя, и его часто возобновляемыми жалобами и сомнѣніями на этотъ счетъ. Эти „Grübeleien“ занимаютъ довольно много мѣста въ дневникѣ Герцена.

Герценъ снова пускаетъ въ ходъ всѣ усилія и связи, чтобы вырваться изъ опостылѣвшаго Новгорода, пишетъ въ рабскомъ стилѣ жандармамъ и т. д. Наконецъ, благодаря хлопотамъ предъ императрицей отъ имени Наталіи Александровны, какъ нуждавшейся въ спеціальной помощи врачей,—въ этихъ хлопотахъ приняли участіе графъ Соллогубъ, авторъ „Тарантаса“, и его родственникъ графъ Віельгорскій,—пришло 9 іюля 1842 г. разрѣшеніе Герцену переѣхать въ Москву, но безъ права въѣзда въ Петербургъ. Онъ поторопился воспользоваться разрѣшеніемъ. На прощанье Новгородъ порадовалъ его неожиданнымъ знакомъ пріязни со стороны простого человѣка, мѣстнаго купца: отличивъ въ службѣ Герцена незауряднаго чиновника, онъ при отъѣздѣ предложилъ взаймы ему на дорогу порядочный кушъ денегъ и не взялъ ни расписки, ни процентовъ...

„Пора кончить комедію“,—эти слова, съ которыми Гер-

ценъ покончилъ со службою, провожаютъ его на новую дорогу, открывшуюся теперь передъ нимъ.

„Я нахожу,—писалъ онъ около этого времени друзьямъ,—одно примиреніе—полнѣйшую вражду (кристаллизація—не кристаллизируется, употребленіе—не употребляется)*). Много мечтаній утратилось: я не жалѣю ихъ... Не скажу, чтобъ вмѣстѣ съ мечтаніями отлетѣли и надежды:—о, нѣтъ, нѣтъ, и 1000 разъ нѣтъ! Напротивъ, въ жизнь мою я не чувствовалъ яснѣе Галилеевскаго: Eppur se muove!“.

*) Фраза изъ минералогическихъ лекцій проф. Ловецкаго, котораго Герценъ слушалъ въ университетѣ.

XI.

Герценъ въ Москвѣ.

Въ Москву Герценъ прибылъ въ августѣ 1842 г. Первое время было занято, конечно, хлопотами по устройству всякихъ домашнихъ дѣлъ. Отца онъ нашелъ въ старческой апатіи, приближающимся къ смерти, а „старый домъ“ напомнилъ все его жуткое дѣтство. Давила мысль о продолжающемся полицейскомъ надзорѣ, о необходимости быть постоянно насторожѣ.

Въ концѣ осени снова тревоги о здоровьи Натальи Александровны. 29 ноября у нихъ родился ребенокъ, чрезъ нѣсколько дней умершій въ страшныхъ мукахъ отъ головной водянки. 13 декабря въ дневникѣ читаемъ: „Иногда такая злоба наполняетъ всю душу мою, что я готовъ кусать себя. И частное, и общее все такъ глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бѣдное дитя, теперь хотѣлъ бы еще слышать этотъ стонъ. Стонъ все же бытіе. А это тупое, нѣмое молчаніе трупа, могилы... Я мучился, что не имѣю права ѣздить въ Москву,—а теперь тѣмъ, что я въ Москвѣ. Этотъ городъ мнѣ противенъ. Я въ послѣднее время не могъ ни разу взойти въ старый домъ безъ судорожнаго щемленія. Видъ, жизнь отца приводятъ меня въ ужасъ... Да зачѣмъ я-то поставленъ зрителемъ судьбою? О, жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нѣтъ. Впередъ!“

Такъ начался пятилѣтній періодъ жизни Герцена въ Москвѣ, богатый и умственной работою, и спорами, и дружескимъ участіемъ. Это время тѣсно связано и со всѣмъ ходомъ умственной жизни русскаго общества сороковыхъ годовъ.

Въ Москвѣ центромъ этой жизни былъ, конечно, университетъ. Въ попечительство С. Г. Строганова (1835—1847) въ университетъ вошли новыя силы, профессора, получившіе образованіе за границей; въ лицѣ ихъ русская наука, дѣйствительно, пріобщилась къ западно-европейской и становится едва ли не впервые настоящею общественно-двигательной силой. „Наши профессора привезли съ собою эти

завѣтныя мечты, горячую вѣру въ науку и людей,—вспоминаетъ Герценъ:—они сохранили весь пылъ юности, и кафедры для нихъ были свѣтлыми налоями, съ которыхъ они были призваны благовѣстить истину; они являлись въ аудиторію не цеховыми учеными, а миссіонерами человѣческой религіи". Замѣчательнѣйшими между ними были юристы П. Г. Рѣдкинъ, Н. И. Крыловъ, историкъ Д. Л. Крюковъ. Но центральное мѣсто, силою исключительнаго лекторскаго таланта и обаяніемъ художественно-прекрасной личности, занялъ въ средѣ представителей новаго университета знаменитый профессоръ всеобщей исторіи, Тимофей Николаевичъ Грановскій. Его лекціи, университетскія и публичныя, его живое слово въ средѣ студентовъ и въ обществѣ,—довольно скоро получили важное общественное значеніе, какъ выраженіе цѣлаго гуманистическаго міровоззрѣнія, такъ называемаго западническаго.

Какъ Герценъ, Грановскій во многихъ подробностяхъ и существенныхъ чертахъ своего міровоззрѣнія былъ послѣдователемъ Гегеля, котораго онъ изучалъ въ Берлинѣ, вмѣстѣ со Станкевичемъ. На первомъ планѣ въ его взглядахъ, какъ въ это же время у Герцена и Бѣлинскаго, выдвигалась убѣжденная вѣра въ поступательное развитіе человѣчества, въ прогрессъ, не фаталистическій, но дающій широкій просторъ для индивидуальныхъ усилій. Живая человѣческая личность, ея судьба и значеніе,—впереди всего. „Нравственная, просвѣщенная личность", и „сообразное требованіямъ такой личности общество",—такъ опредѣлялъ самъ Грановскій сущность своего историко-общественнаго идеала. „Онъ думалъ исторіей, учился исторіей, и исторіей впослѣдствіи дѣлалъ пропаганду" (Герценъ). Исторія приводила его къ рѣзко-отрицательному отношенію ко всему строю русской общественно-политической жизни, и ей онъ противопоставлялъ свой гуманистическій идеалъ, вѣявшій, обаятельно-захватывавшій слушателей въ его тихой задушевной рѣчи. Правда, Герценъ рано подмѣтилъ въ взглядахъ Грановскаго кое-какія существенныя непослѣдовательности: остававшійся всегда деистомъ, Грановскій сохраняетъ вѣру въ нѣкій „божественный законъ", руководящій прогрессомъ человѣчества, и т. п. Тѣмъ не менѣе общія представленія обоихъ о добрѣ и злѣ сходились совершенно. Оба одинаково относились, какъ вся передовая интеллигенція, къ ненавистному режиму самодержавія Бенкендорфовъ и Дубельтовъ. Оба переносили центръ тяжести своихъ воззрѣній на задавленную при этомъ режимѣ человѣческую личность. Другъ съ другомъ, а также и съ Бѣлинскимъ, ихъ объединила, кромѣ того, и личная глубокая привязанность.

Для Герцена Грановскій на нѣсколько лѣтъ замѣнилъ Огарева, жившаго подолгу за границей. Грановскій и лично во многомъ напоминалъ Огарева: „И грусть, и свѣтъ его души“, и „женски-тихій, кроткій нравъ“ (стихи Огарева). Памятникомъ, тѣснаго, гармоническаго сближенія ихъ остались многія трогательныя страницы „Былого и думъ“.

Какъ упомянуто, первое ихъ знакомство состоялось въ мимолетные пріѣзды Герцена изъ Владиміра въ Москву. Грановскій тогда только что возвратился изъ чужихъ краевъ. Столько изящества и граціи было въ его личности, стоявшей на предѣлѣ ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и не увлекающемуся человѣку нельзя было остаться равнодушнымъ къ нему. Герценъ же— „всегда уважалъ красоту и считалъ ее талантомъ, силой“. По пріѣздѣ изъ Новгорода, Герценъ сразу вошелъ въ бывшій кружокъ Станкевича, почти цѣликомъ примкнувшій къ Грановскому. Образовался новый тѣсный кружокъ, получившій кличку „западниковъ“. Болѣе тѣсное ядро кружка составили, кромѣ Герцена и Грановскаго, авторъ писемъ объ Испаніи В. П. Боткинъ, тонкій цѣнитель искусства, интимный другъ Бѣлинскаго, въ это время жаркій поклонникъ лѣваго гегеліанства; неизмѣнный другъ Герценовъ Н. Х. Кетчеръ; Е. Ѳ. Коршъ, товарищъ Грановскаго по петербургскому университету; молодые профессора университета; позднѣе Кавелинъ, Тургеневъ и нѣкоторые другіе. Частымъ гостемъ былъ здѣсь и знаменитый актеръ того времени М. С. Щепкинъ, создатель реалистической школы на русской сценѣ, неистощимый разсказчикъ-юмористъ. Однимъ изъ разсказовъ его вскорѣ воспользовался Герценъ для „Сороки-Воровки“. Изъ Петербурга въ этотъ кружокъ время отъ времени наѣзжали Бѣлинскій, П. В. Анненковъ, извѣстный тогда въ литературныхъ кругахъ довольно живыми письмами изъ-за границы, особенно изъ Парижа; беллетристъ И. Панаевъ, близкій къ Бѣлинскому, и др. Въ совокупности они, по мѣткому выраженію того же Анненкова, составляли какъ бы „воюющій орденъ, который не имѣлъ никакого письменнаго устава, но зналъ всѣхъ своихъ членовъ, разсѣянныхъ по лицу пространной земли нашей, и который все-таки стоялъ по какому-то соглашенію, никѣмъ въ сущности не возбужденному, поперекъ всего теченія современной ему жизни, мѣшая ей вполнѣ разгуляться, ненавидимый одними и страстно любимый другими“.

Рядомъ съ этимъ кружкомъ сложился, какъ извѣстно, другой кружокъ, *славянофильскій*. Члены того и другого долго поддерживали довольно близкія личныя отношенія, пока идейная рознь не развела nos ennemis les amis (вы-

раженіе Герцена). Объ этомъ подробнѣе далѣе, теперь же замѣтимъ, что внѣ обоихъ кружковъ стоялъ человѣкъ болѣе старшаго поколѣнія, производившій не малое впечатлѣніе на Герцена.

Это былъ Чаадаевъ, оффиціально объявленный сумасшедшимъ, но пользовавшійся въ московскомъ обществѣ значительнымъ уваженіемъ, какъ крупная умственная и независимая сила. Герценъ побывалъ у него немедленно по переѣздѣ въ Москву и былъ потомъ все время постояннымъ его гостемъ и участникомъ его бесѣдъ. „Mon école", моя школа,— не безъ гордости говорилъ Чаадаевъ о Герценѣ и Грановскомъ. Герценъ съ своей стороны высоко цѣнилъ выдающійся умъ Чаадаева и его роль скептическаго наблюдателя русской общественности и критика узко-національныхъ склонностей москвичей. Однако, мистическое міровоззрѣніе Чаадаева далеко не могло находить въ немъ сочувствія, и онъ еще въ дневникѣ протестовалъ противъ Чаадаевскаго пониманія всемірно-человѣческаго развитія въ духѣ католической вселенской идеи. „Споръ съ Чаадаевымъ о католицизмѣ и современности,—отмѣчено, напр. у Герцена 10 сент. 1842 г.— При всемъ большомъ умѣ, при всей начитанности и ловкости въ изложеніи и развитіи своей мысли, онъ ужасно отсталъ. Даже мнѣ было жаль употреблять всѣ средства; въ немъ какъ-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Онъ въ ней нашелъ примиреніе и отвѣтъ, и при томъ не путемъ мистика и піэтиста, а соціально-политическимъ воззрѣніемъ. Но, тѣмъ не менѣе, и это голосъ изъ гроба, голосъ изъ страны смерти и уничтоженія. Намъ странно этотъ голосъ" *).

---

*) Едва-ли безусловно правъ, поэтому, г. Гершензонъ (П. Я. Чаадаевъ. Жизнь и мышленіе. Спб. 1908), когда высказывается, что въ міровоззрѣніе Герцена непосредственно перешла часть ученія Чаадаева: „Герценъ усвоилъ мысль Чаадаева о своеобразномъ характерѣ русской исторіи и о свойствахъ русскаго народа, устранивъ ея религіозное истолкованіе и переведя ее на позитивный, соціологическій языкъ. Слѣдуя Чаадаеву, онъ призналъ за русскимъ народомъ два великихъ преимущества передъ западными: незасоренность психики („русскій человѣкъ — самый свободный человѣкъ въ мірѣ") и возможность сразу использовать все культурное богатство, накопленное Западомъ. И далѣе онъ совершенно повторяетъ ходъ мысли Чаадаева объ исключительномъ призваніи русскаго народа и объ особенномъ всемірно-историческомъ началѣ, котораго этотъ народъ служитъ хранителемъ, съ той разницей, что этимъ палладіумомъ является у него не чистота христіанской идеи (православіе), какъ у Чаадаева, а безсознательный соціализмъ (община); община и есть то сокровище, которое вынесъ изъ своего печальнаго прошлаго русскій народъ и которымъ будетъ спасено человѣчество" (стр. 169—170). Указанныя здѣсь идеи Герцена могутъ быть съ такимъ же пра-

XI.

Герценъ въ Москвѣ.

Въ Москву Герценъ прибылъ въ августѣ 1842 г. Первое время было занято, конечно, хлопотами по устройству всякихъ домашнихъ дѣлъ. Отца онъ нашелъ въ старческой апатіи, приближающимся къ смерти, а „старый домъ“ напомнилъ все его жуткое дѣтство. Давила мысль о продолжающемся полицейскомъ надзорѣ, о необходимости быть постоянно насторожѣ.

Въ концѣ осени снова тревоги о здоровьи Натальи Александровны. 29 ноября у нихъ родился ребенокъ, чрезъ нѣсколько дней умершій въ страшныхъ мукахъ отъ головной водянки. 13 декабря въ дневникѣ читаемъ: „Иногда такая злоба наполняетъ всю душу мою, что я готовъ кусать себя. И частное, и общее все такъ глупо, досадно. Я мучился, когда стонало бѣдное дитя, теперь хотѣлъ бы еще слышать этотъ стонъ. Стонъ все же бытіе. А это тупое, нѣмое молчаніе трупа, могилы... Я мучился, что не имѣю права ѣздить въ Москву,—а теперь тѣмъ, что я въ Москвѣ. Этотъ городъ мнѣ противенъ. Я въ послѣднее время не могъ ни разу взойти въ старый домъ безъ судорожнаго щемленія. Видъ, жизнь отца приводятъ меня въ ужасъ... Да зачѣмъ я-то поставленъ зрителемъ судьбою? О, жизнь, жизнь, какая гиря! Но выбора нѣтъ. Впередъ!“

Такъ начался пятилѣтній періодъ жизни Герцена въ Москвѣ, богатый и умственной работою, и спорами, и дружескимъ участіемъ. Это время тѣсно связано и со всѣмъ ходомъ умственной жизни русскаго общества сороковыхъ годовъ.

Въ Москвѣ центромъ этой жизни былъ, конечно, университетъ. Въ попечительство С. Г. Строганова (1835—1847) въ университетъ вошли новыя силы, профессора, получившіе образованіе за границей; въ лицѣ ихъ русская наука, дѣйствительно, пріобщилась къ западно-европейской и становится едва ли не впервые настоящею общественно-двигательной силой. „Наши профессора привезли съ собою эти

раженіе Герцена). Объ этомъ подробнѣе далѣе, теперь же замѣтимъ, что внѣ обоихъ кружковъ стоялъ человѣкъ болѣе старшаго поколѣнія, производившій не малое впечатлѣніе на Герцена.

Это былъ Чаадаевъ, оффиціально объявленный сумасшедшимъ, но пользовавшійся въ московскомъ обществѣ значительнымъ уваженіемъ, какъ крупная умственная и независимая сила. Герценъ побывалъ у него немедленно по переѣздѣ въ Москву и былъ потомъ все время постояннымъ его гостемъ и участникомъ его бесѣдъ. „Mon école", моя школа,— не безъ гордости говорилъ Чаадаевъ о Герценѣ и Грановскомъ. Герценъ съ своей стороны высоко цѣнилъ выдающійся умъ Чаадаева и его роль скептическаго наблюдателя русской общественности и критика узко-національныхъ склонностей москвичей. Однако, мистическое міровоззрѣніе Чаадаева далеко не могло находить въ немъ сочувствія, и онъ еще въ дневникѣ протестовалъ противъ Чаадаевскаго пониманія всемірно-человѣческаго развитія въ духѣ католической вселенской идеи. „Споръ съ Чаадаевымъ о католицизмѣ и современности,—отмѣчено, напр. у Герцена 10 сент. 1842 г.— При всемъ большомъ умѣ, при всей начитанности и ловкости въ изложеніи и развитіи своей мысли, онъ ужасно отсталъ. Даже мнѣ было жаль употреблять всѣ средства; въ немъ какъ-то благородно воплотилась разумная сторона католицизма. Онъ въ ней нашелъ примиреніе и отвѣтъ, и при томъ не путемъ мистика и піэтиста, а соціально-политическимъ воззрѣніемъ. Но, тѣмъ не менѣе, и это голосъ изъ гроба, голосъ изъ страны смерти и уничтоженія. Намъ страненъ этотъ голосъ" *).

---

*) Едва-ли безусловно правъ, поэтому, г. Гершензонъ (П. Я. Чаадаевъ. Жизнь и мышленіе. Спб. 1908), когда высказывается, что въ міровоззрѣніе Герцена непосредственно перешла часть ученія Чаадаева: „Герценъ усвоилъ мысль Чаадаева о своеобразномъ характерѣ русской исторіи и о свойствахъ русскаго народа, устранивъ ея религіозное истолкованіе и переведя ее на позитивный, соціологическій языкъ. Слѣдуя Чаадаеву, онъ призналъ за русскимъ народомъ два великихъ преимущества передъ западными: незасоренность психики („русскій человѣкъ — самый свободный человѣкъ въ мірѣ") и возможность сразу использовать все культурное богатство, накопленное Западомъ. И далѣе онъ совершенно повторяетъ ходъ мысли Чаадаева объ исключительномъ призваніи русскаго народа и объ особенномъ всемірно-историческомъ началѣ, котораго этотъ народъ служитъ хранителемъ, съ той разницей, что этимъ палладіумомъ является у него не чистота христіанской идеи (православіе), какъ у Чаадаева, а безсознательный соціализмъ (община); община и есть то сокровище, которое вынесъ изъ своего печальнаго прошлаго русскій народъ и которымъ будетъ спасено человѣчество" (стр. 169—170). Указанныя здѣсь идеи Герцена могутъ быть съ такимъ же пра-

Со многими Герценъ былъ согласнѣе во мнѣніяхъ, но съ Грановскимъ, признаннымъ въ Москвѣ главою кружка, „былъ ближе тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души".

„Грановскій и всѣ мы были сильно заняты, всѣ работали и трудились, кто занимая кафедры въ университетѣ, кто участвуя въ обозрѣніяхъ и журналахъ, кто изучая русскую исторію; къ этому времени относятся начала всего сдѣланнаго потомъ.

„Мы были уже очень не дѣти; въ 1842 г. мнѣ стукнуло 30 лѣтъ; мы слишкомъ хорошо знали, куда насъ вела наша дѣятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы нашъ путь съ тѣмъ успокоеннымъ, ровнымъ шагомъ, къ которому пріучилъ насъ опытъ и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарѣлись, нѣтъ, мы были въ то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другіе, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставкѣ, ссылкѣ.

„Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ и чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ: ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ; революціей меня прибило къ тѣмъ краямъ развитія, далѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.

„Наши теоретическія несогласія... вносили болѣе жизненный интересъ, потребность дѣятельнаго обмѣна, держали умъ бодрѣе, двигали впередъ; мы росли въ этомъ треніи другъ объ друга, и въ самомъ дѣлѣ были сильнѣе тою compositè артели, которую такъ превосходно опредѣлилъ Прудонъ въ механическомъ трудѣ.

„Съ любовью останавливаюсь я на этомъ времени дружнаго труда, полнаго поднятаго пульса, согласнаго строя и мужественной борьбы; на этихъ годахъ, въ которые мы были юны въ послѣдній разъ!..

„Нашъ небольшой кружокъ собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ и виномъ, шелъ самый дѣятельный, самый быстрый обмѣнъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное и узнанное, споры обобщали взглядъ, и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ

вомъ поставлены на счетъ не одного Чаадаева, но и слагавшагося тогда же славянофильства. Въ „Дневникѣ" не мало набросковъ и соображеній о будущности русскаго народа, но все это примыкаетъ къ преніямъ со славянофилами и внѣ мыслей, которыя навѣваемы были бы Чаадаевымъ.

одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попалось бы кому-нибудь изъ насъ, и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ"... („Был. и Д.", гл. XXIX, I).

„Грановскій и Бѣлинскій, вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали къ самымъ свѣтлымъ и замѣчательнымъ личностямъ нашего круга.

„Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидѣли мы до разсвѣта, болтая обо всякой всячинѣ... Въ эти-то потерянные часы и ими люди срастаются такъ неразрывно и безвозвратно"...

Герценъ не только въ воспоминаніи, но и въ то самое время любовался поэтическими сторонами жизни этого кружка, дѣйствительно, исключительнаго. Но вездѣ въ „Дневникѣ" чувствуется внутренній глубокій трагизмъ этой жизни, спрятавшейся отъ внѣшняго политическаго гнета.

10 апрѣля 1843 г. въ дневникѣ записано:

„Будто бы въ пристани, но это не такъ, это станція, une halte. Вчера такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеръ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ. Какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и всѣмъ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значитъ жить. Впередъ смотрѣть отрадно и страшно: тучи, вулканическія гибели и хорошая погода послѣ тучъ... Да, можетъ, солнце этихъ ведренныхъ дней посвѣтитъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобъ отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываешься ни отъ какого труда. И часто то грядущее и отрадно, и страшно".

Собственно, полицейскій надзоръ съ внѣшней стороны тѣснилъ Герцена и друзей не особенно сильно: онъ давалъ знать о себѣ въ такихъ случаяхъ, какъ хлопоты о разрѣшеніи журнала, чего не одинъ разъ напрасно добивался Грановскій, или при попыткахъ вырваться за границу, на что слѣдовали оскорбительныя резолюціи Николая: „Не надо", „рано" и т. п. Но эта полная невозможность производительной и сколько-нибудь широкой культурной работы опустошительно дѣйствовала на нравственное сознаніе людей, и отсюда эти горькія нотки въ беззаботномъ, на первый взглядъ, „пирѣ" идей и дружбы.

Страстная натура Герцена особенно протестовала противъ принужденной бездѣятельности. Въ дневникѣ его поэтому мы находимъ особенно яркое отраженіе несказанной горечи, накипавшей въ живыхъ душахъ тогдашняго общества.

11 сентября 1842 г.—„Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе

Со многими Герценъ былъ согласнѣе во мнѣніяхъ, но съ Грановскимъ, признаннымъ въ Москвѣ главою кружка, „былъ ближе тамъ гдѣ-то, въ глубинѣ души".

„Грановскій и всѣ мы были сильно заняты, всѣ работали и трудились, кто занимая кафедры въ университетѣ, кто участвуя въ обозрѣніяхъ и журналахъ, кто изучая русскую исторію; къ этому времени относятся начала всего сдѣланнаго потомъ.

„Мы были уже очень не дѣти; въ 1842 г. мнѣ стукнуло 30 лѣтъ; мы слишкомъ хорошо знали, куда насъ вела наша дѣятельность, но шли. Не опрометчиво, но обдуманно продолжали мы нашъ путь съ тѣмъ успокоеннымъ, ровнымъ шагомъ, къ которому пріучилъ насъ опытъ и семейная жизнь. Это не значило, что мы состарѣлись, нѣтъ, мы были въ то же время юны, и оттого одни, выходя на университетскую кафедру, другіе, печатая статьи или издавая газету, каждый день подвергались аресту, отставкѣ, ссылкѣ.

„Такого круга людей талантливыхъ, развитыхъ и чистыхъ, я не встрѣчалъ потомъ нигдѣ: ни на высшихъ вершинахъ политическаго міра, ни на послѣднихъ маковкахъ литературнаго и аристократическаго. А я много ѣздилъ, вездѣ жилъ и со всѣми жилъ; революціей меня прибило къ тѣмъ краямъ развитія, далѣе которыхъ ничего нѣтъ, и я по совѣсти долженъ повторить то же самое.

„Наши теоретическія несогласія... вносили болѣе жизненный интересъ, потребность дѣятельнаго обмѣна, держали умъ бодрѣе, двигали впередъ; мы росли въ этомъ трени другъ объ друга, и въ самомъ дѣлѣ были сильнѣе тою composité артели, которую такъ превосходно опредѣлилъ Прудонъ въ механическомъ трудѣ.

„Съ любовью останавливаюсь я на этомъ времени дружнаго труда, полнаго поднятаго пульса, согласнаго строя и мужественной борьбы; на этихъ годахъ, въ которые мы были юны въ послѣдній разъ!..

„Нашъ небольшой кружокъ собирался часто то у того, то у другого, всего чаще у меня. Рядомъ съ болтовней, шуткой, ужиномъ и виномъ, шелъ самый дѣятельный, самый быстрый обмѣнъ мыслей, новостей и знаній; каждый передавалъ прочтенное и узнанное, споры обобщали взглядъ, и выработанное каждымъ дѣлалось достояніемъ всѣхъ. Ни въ одной области вѣдѣнія, ни въ одной литературѣ, ни въ

вомъ поставлены на счетъ не одного Чаадаева, но и слагавшагося тогда же славянофильства. Въ „Дневникѣ" не мало набросковъ и соображеній о будущности русскаго народа, но все это примыкаетъ къ преніямъ со славянофилами и внѣ мыслей, которыя навѣваемы были бы Чаадаевымъ.

одномъ искусствѣ не было значительнаго явленія, которое не попалось бы кому-нибудь изъ насъ, и не было бы тотчасъ сообщено всѣмъ"... („Был. и Д.", гл. XXIX, 1).

„Грановскій и Бѣлинскій, вовсе не похожіе другъ на друга, принадлежали къ самымъ свѣтлымъ и замѣчательнымъ личностямъ нашего круга.

„Мы быстро сблизились и видались почти каждый день; ночи сидѣли мы до разсвѣта, болтая обо всякой всячинѣ... Въ эти-то потерянные часы и ими люди срастаются такъ неразрывно и безвозвратно"...

Герценъ не только въ воспоминаніи, но и въ то самое время любовался поэтическими сторонами жизни этого кружка, дѣйствительно, исключительнаго. Но вездѣ въ „Дневникѣ" чувствуется внутренній глубокій трагизмъ этой жизни, спрятавшейся отъ внѣшняго политическаго гнета.

10 апрѣля 1843 г. въ дневникѣ записано:

„Будто бы въ пристани, но это не такъ, это станція, une halte. Вчера такъ тихо, мирно сидѣли мы вечеръ у Грановскаго, мы, они, Кетчеръ и Боткинъ. Какая благородная кучка людей, какой любовью перевязанная! Въ настоящемъ много прекраснаго, ловить, ловить, все ловить и всѣмъ упиваться: дружбой, виномъ, любовью, искусствомъ. Это значитъ жить. Впередъ смотрѣть отрадно и страшно: тучи, вулканическія гибели и хорошая погода послѣ тучъ... Да, можетъ, солнце этихъ ведренныхъ дней посвѣтитъ на могилы наши. А это скверно. Нѣтъ столько самоотверженія, чтобъ отказаться отъ участія въ наградѣ, когда не отказываешься ни отъ какого труда. И часто то грядущее и отрадно, и страшно".

Собственно, полицейскій надзоръ съ внѣшней стороны тѣснилъ Герцена и друзей не особенно сильно: онъ давалъ знать о себѣ въ такихъ случаяхъ, какъ хлопоты о разрѣшеніи журнала, чего не одинъ разъ напрасно добивался Грановскій, или при попыткахъ вырваться за границу, на что слѣдовали оскорбительныя резолюціи Николая: „Не надо". „рано" и т. п. Но эта полная невозможность производительной и сколько-нибудь широкой культурной работы опустошительно дѣйствовала на нравственное сознаніе людей, и отсюда эти горькія нотки въ беззаботномъ, на первый взглядъ, „пирѣ" идей и дружбы.

Страстная натура Герцена особенно протестовала противъ принужденной бездѣятельности. Въ дневникѣ его поэтому мы находимъ особенно яркое отраженіе несказанной горечи, накипавшей въ живыхъ душахъ тогдашняго общества.

11 сентября 1842 г.—„Поймутъ ли, оцѣнятъ ли грядущіе

ГЕРЦЕНЪ въ 1842 г.

Незаконченный портретъ Рейхеля.

Литературный успѣхъ, восторженные отзывы о „дилетантизмѣ и романтизмѣ въ наукѣ“ окрыляютъ его. Подъ 4 февр. 1843 г. читаемъ: „Боткинъ назвалъ начало статьи о философіи—symphonia eroica. Я принимаю эту хвалу,—она написалась въ самомъ дѣлѣ съ огнемъ и вдохновеніемъ. Тутъ моя поэзія, у меня вопросъ науки сочлененъ со всѣми соціальными вопросами. Я иными словами могу высказать тутъ, чѣмъ грудь полна“. Были опасенія, что эта литературная дѣятельность повлечетъ новыя гоненія, но—„но выбора нѣтъ,—впередъ!“ 28 февр. того же года записано: „Завтра выйдетъ въ Петербургѣ 3-й номеръ „О. З.“, въ которомъ моя статья о романтизмѣ. Я продолжалъ ее. Или цензура ее изуродуетъ, или эта статья можетъ принести послѣдствія. Можетъ, третью ссылку. Горько будетъ, но я готовъ. Я окрѣпъ и возмужалъ въ послѣднее время, мнѣ нуженъ досугъ, и я теперь болѣе, чѣмъ когда-либо, надѣюсь на огромную силу души Natalie. Странная жизнь! Но жребій брошенъ, и не могу жить иначе, нѣчто похожее на призваніе заставляетъ меня подымать голосъ, а *они* (т. е. правительство,—*Авт.*) не могутъ вынести человѣческаго голоса. Вліяніе, которое дѣлаетъ мой голосъ, убѣждаетъ всѣмъ жертвовать, ибо кромѣ его я ни къ чему не призванъ“.

За кулисами литературнаго успѣха Герцена было всеоружіе огромной и серьезной научной подготовки. Какъ видно изъ дневника, онъ, кромѣ массы философскихъ книгъ, необходимыхъ для статей непосредственно, съ рѣдкимъ терпѣніемъ, выдержкою и упорствомъ слѣдитъ въ Москвѣ за новѣйшими общественно-экономическими книгами, изучаетъ новую соціалистическую литературу, между прочимъ—Фурье, Консидерана, Прудона, Луи Блана и т. д., изъ которой въ то время для части молодежи (петербургской), какъ извѣстно изъ воспоминаній Салтыкова, дѣла петрашевцевъ и пр., „возсіяла“ увѣренность, что золотой вѣкъ впереди.

Въ общемъ для Герцена это время, не смотря ни на что, было, повидимому, порою великихъ надеждъ и упованій, поэтически прекраснымъ временемъ окрыленнаго ими труда и одушевленной мысли.

И въ московскомъ обществѣ онъ надолго оставилъ по себѣ лично свѣтлую память, память о поэтическомъ образѣ живого, страстнаго человѣка мысли и сердца. Ограничимся немногими замѣчаніями о томъ, какимъ знала Герцена интеллигентная Москва 1842—46 гг.

Эта разносторонняя сложная натура поражала и увлекала, отталкивала и привлекала. Многимъ Герценъ казался неустойчивымъ, капризнымъ, непослѣдовательнымъ, противорѣчивымъ. Грановскому даже не разъ приходилось брать на

себя защиту друга отъ обвиненій въ странностяхъ и легкомысліи, маску котораго онъ иногда, повидимому, охотно надѣвалъ на себя, подобно многимъ замѣчательнымъ русскимъ людямъ отъ Петра I и Суворова до Тургенева. Неистощимое остроуміе, то и дѣло разсыпавшееся градомъ остротъ, страсть къ діалектическимъ спорамъ до разсѣкающей волосъ тонкости ихъ, вѣчная неустанная работа скептическаго ума надъ всѣмъ окружающимъ, пугающая многихъ безпощадность выводовъ и прямота мысли, безстрашіе знанія (это тогда уже гордо поднятое имъ знамя, которому онъ остается вѣренъ всю жизнь),—все это многихъ отталкивало *) и во всякомъ случаѣ не могло покорять людей съ перваго раза, какъ покоряло ихъ мягкое обаяніе Грановскаго. Но въ концѣ концовъ правда брала свое. Многіе и тогда уже ненавидѣли въ немъ отрицателя и подрывателя „основъ", но лишь мало сознательный человѣкъ не могъ бы оцѣнить въ немъ огромную умственную силу. А за нею открывались и другія стороны его богато одаренной натуры.

„Признаться сказать,—вспоминаетъ объ этомъ періодѣ жизни Герцена П. В. Анненковъ,—меня ошеломилъ и озадачилъ, на первыхъ порахъ знакомства, этотъ необычайно подвижной умъ, переходившій съ неистощимымъ остроуміемъ, блескомъ и непонятной быстротой отъ предмета къ предмету, умѣвшій схватить и въ складѣ чужой рѣчи, и въ простомъ случаѣ изъ текущей жизни, и въ любой отвлеченной идеѣ ту яркую черту, которая даетъ имъ физіономію и живое выраженіе. Способность къ поминутнымъ неожиданнымъ сближеніямъ разнородныхъ предметовъ, которая питалась, во-первыхъ, тонкой наблюдательностью, а во-вторыхъ, и весьма значительнымъ капиталомъ энциклопедическихъ свѣдѣній, была развита у Герцена въ необычайной степени, такъ развита, что подъ конецъ даже утомляла слушателя. Неугасающій фейерверкъ его рѣчи, неистощимость фантазіи и изобрѣтенія, какая-то безоглядная расточительность ума—приводили постоянно въ изумленіе его собесѣдниковъ. Послѣ всегда горячей, но и всегда строгой, послѣдовательной рѣчи Бѣлинскаго, скользящее, безпрестанно перерождающееся, часто парадоксальное, раздражающее, но постоянно умное слово

*) Отсюда такіе отзывы о Герценѣ, будто бы преобладавшіе въ тогдашнемъ общественномъ мнѣніи: „Всѣ отдавали справедливость таланту г. Герцена, его горячему сердцу, искренности его характера, но въ то же время всѣ повторяли въ одинъ голосъ, что онъ съ практической стороной жизни незнакомъ, что онъ лишенъ здраваго пониманія исторіи, что у него нѣтъ никакого политическаго смысла" („Наше Время", 2 авг. 1862, въ статьѣ: „Русская литература за границей. Г. Герценъ и Г. Огаревъ").

Герцена требовало уже отъ собесѣдниковъ, кромѣ напряженнаго вниманія, еще и необходимости быть всегда наготовѣ и вооруженнымъ для отвѣта. Зато уже никакая пошлость или вялость мысли не могли выдержать и полчаса сношеній съ Герценомъ, а претензія, напыщенность, педантическая важность просто бѣжали отъ него или таяли передъ нимъ, какъ воскъ передъ огнемъ. Я знавалъ людей, преимущественно изъ такъ называемыхъ серьезныхъ и дѣльныхъ, которые не выносили присутствія Герцена. Зато были и люди, даже между иностранцами, въ эпоху его заграничной жизни, для которыхъ онъ скоро дѣлался не только предметомъ удивленія, но страстныхъ и слѣпыхъ привязанностей...

„Герценъ какъ будто родился съ критическими наклонностями ума, съ качествами обличителя и преслѣдователя темныхъ сторонъ существованія... Онъ жилъ въ Москвѣ на Сивцевомъ-Вражкѣ еще невѣдомымъ для публики лицомъ, но уже пріобрѣлъ извѣстность въ кругу своемъ, какъ остроумный и опасный наблюдатель окружающей его среды...

„Какъ бы для возстановленія равновѣсія въ его нравственной организаціи, природа позаботилась, однако же, вложить въ его душу одно неодолимое вѣрованіе, одну непобѣдимую наклонность: Герценъ вѣровалъ въ благородные инстинкты человѣческаго сердца, анализъ его умолкалъ и благоговѣлъ передъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ передъ единственной, несомнѣнной истиной существованія.

„При стойкомъ, гордомъ, энергическомъ умѣ, это былъ совершенно мягкій, добродушный, почти женственный характеръ. Подъ суровой наружностью скептика и эпиграмматиста, подъ прикрытіемъ очень мало церемоннаго и нисколько не застѣнчиваго юмора, жило въ немъ дѣтское сердце. Онъ умѣлъ быть какъ-то угловато нѣженъ и деликатенъ, а при случаѣ, когда наносилъ слишкомъ сильный ударъ противнику, умѣлъ тотчасъ же принести ясное, хотя и подразумѣваемое покаяніе. Особенно начинающіе, ищущіе, пробующіе себя люди находили источники бодрости и силы въ его совѣтахъ: онъ прямо принималъ ихъ въ полное общеніе съ собой, съ своей мыслью, что не мѣшало его разлагающему анализу производить подчасъ надъ ними очень мучительные психологическіе эксперименты и операціи. Говорить ли о странной аномаліи? Онъ самъ чувствовалъ эту струну добродушія въ себѣ и принималъ мѣры, чтобъ она звучала не слишкомъ явственно. Самолюбіе его словно было оскорблено при мысли, что, кромѣ ума и способностей, у него могутъ подмѣтить еще и доброту сердца. Ему случа-

лось насильственно ломать природный свой характеръ, чтобы на нѣкоторое время казаться не тѣмъ, чѣмъ онъ созданъ, а человѣкомъ свирѣпаго закала; но капризы эти длились недолго".

Такова же по существу и слѣдующая, менѣе пространная характеристика нравственной личности Герцена, также подчеркивающая въ немъ это рѣдкое, гармоническое сочетаніе ума и сердца; характеристика принадлежитъ извѣстному въ свое время переводчику на нѣмецкій языкъ русскихъ повѣстей Вольфсону.

„Я знавалъ Герцена въ Москвѣ въ 1845 г.,—говоритъ Вольфсонъ:—высокое идейное и нравственное содержаніе его произведеній выступало въ его личности еще поразительнѣе. Человѣкъ, видывавшій его въ различныхъ житейскихъ обстоятельствахъ, отозвался мнѣ о немъ: C'est un homme à toute épreuve! Искренность и правдивость—основная черта его характера. У него нѣтъ тайнъ. Какъ передъ друзьями, такъ и предъ всѣмъ міромъ, у него что на сердцѣ, то и на языкѣ; это не только ясный умъ, это—прозрачная душа. Потому-то лицемѣріе, въ какой бы то ни было формѣ, ему совершенно чуждо; потому-то онъ высказывается обо всемъ рѣшительно, иногда даже слишкомъ рѣзко. Человѣкъ пламеннаго, сангвиническаго темперамента, онъ нерѣдко впадаетъ въ крайность, но никогда онъ не измѣняетъ глубокой сущности своей натуры. Все, что граничитъ съ фальшивою чувствительностью, ему ненавистно, но не можетъ быть сердца болѣе мягкаго, болѣе впечатлительнаго, чѣмъ сердце Герцена. Какъ онъ воспринимаетъ каждое впечатлѣніе съ величайшею отзывчивостью, такъ хранитъ его вѣрно и прочно".

Въ Новгородѣ Герценъ мечталъ не о многомъ. „Какую свѣтлую, прекрасную жизнь мы могли бы вести!—писалъ онъ въ дневникѣ.—Нѣтъ желанія роскоши, нѣтъ желанія знатности; симпатическій кругъ людей, умственная артистическая дѣятельность и свобода. Давно отказался я отъ другихъ мечтаній" (9 мая 1842 г.). Все это дано было ему въ Москвѣ, лишь свобода дана была въ очень ограниченномъ смыслѣ... Но и тѣмъ, что было, онъ воспользовался со всею полнотою, и его московская жизнь вводитъ насъ въ крайне увлекательную, имъ же ярко, художественно и тепло представленную борьбу тогдашнихъ умственныхъ теченій и духовныхъ интересовъ въ русскомъ обществѣ.

XII.

Москва.—Славянофилы и Западники.

4 декабря 1832 г. товарищъ министра народнаго просвѣщенія С. Уваровъ представилъ Николаю I докладъ, въ которомъ излагалъ задачи высшаго и средняго образованія и цензуры; цѣлію правительства онъ ставилъ, какъ уже упомянуто, „образованіе правильное, основательное, необходимое въ нашемъ вѣкѣ, съ глубокимъ убѣжденіемъ и теплою вѣрою въ истинно-русскія охранительныя начала *Православія, Самодержавія и Народности*, составляющія послѣдній якорь нашего спасенія и вѣрнѣйшій залогъ силы и величія нашего Отечества".

Эта тріединая формула казеннаго патріотизма въ теченіе ряда десятилѣтій, какъ извѣстно, противопоставлялась всякому свободомыслію въ средѣ общества и стремленію его къ болѣе культурнымъ формамъ общественно-политической жизни. Ко времени выступленія въ литературѣ Герцена и его друзей, и среди людей науки, и въ журналистикѣ эта формула имѣла не мало защитниковъ, съ которыми полемизировать бывало довольно затруднительно. Это—такъ называемая литературная школа „оффиціальной народности". Подъ понятіе „народности" подводились, по желанію, всѣ особенности тогдашняго государственнаго быта, не исключая и крѣпостного права, а не одинъ только какія-либо особыя черты народнаго уклада и быта. Изъ основъ „народности" не исключалось и крѣпостное право помѣщиковъ, идеализируемое въ качествѣ патріархальной любовной власти благороженнаго сословія и его заботливой опеки надъ низшею породою людей. Тотъ же Уваровъ считалъ крѣпостное право неразрывно соединеннымъ съ самодержавіемъ—мысль, конечно, довольно послѣдовательная.

Теоретическимъ защитникомъ и панегиристомъ оффиціальной народности въ Москвѣ въ сороковые годы былъ, между прочимъ, журналъ „Москвитянинъ", издававшійся историкомъ М. Погодинымъ при ближайшемъ участіи и вдохно-

вительствѣ профессора словесности С. П. Шевырева. Въ первой руководящей статьѣ послѣдняго: „Взглядъ Русскаго на образованіе Европы“ и было произнесено въ 1841 г. пресловутое крылатое слово о „гніеніи Европы“: она разлагается, подобно гніющему трупу, ея силы подорваны и отравлены реформаціей и революціей; полное отграниченіе отъ нея и провозглашалось для Россіи идеаломъ.

Въ Петербургѣ тѣ же взгляды высказывалъ въ самой нелѣпой формѣ „Маякъ“ Бурачка, и холопски отражала ихъ газета „Сѣверная Пчела“ Булгарина, презираемаго, продажнаго журналиста, вдобавокъ прикосновеннаго къ III-му Отдѣленію. Съ „Сѣверною Пчелою“ въ литературныхъ кругахъ не считались, слѣдуя предостереженію Пушкина не „наступать въ Булгарина“. отъ наивнаго Бурачка можно было отдѣлываться шуткой, какъ и отъ грубоватыхъ превознесеній Погодинымъ мощи, величія и славы Россіи и ея исторіи. Съ Шевыревымъ, хорошо знакомымъ и съ исторіею Запада, и его искусствомъ, приходилось уже считаться серьезно. Бѣлинскій отвелъ въ своихъ статьяхъ полемикѣ съ нимъ немало мѣста.

Гораздо больше вниманія *западникамъ* сороковыхъ годовъ пришлось удѣлить полемикѣ съ *славянофилами*.

И то и другое прозвище не соотвѣтствовало вполнѣ дѣйствительному содержанію понятій въ сложившихся тогда группахъ интеллигенціи.

Широкому либерализму круга Бѣлинскаго, Герцена и Грановскаго гораздо въ большей мѣрѣ соотвѣтствуетъ названіе „русскаго гуманизма“ (предложенное г. Герье), чѣмъ просто „западничество“.—„Въ европейскій гуманизмъ стали входить тогда двѣ новыя живительныя струи—идеалистическая философія, которая внесла въ духовный міръ человѣка и въ пониманіе исторіи, идею законнаго, мирнаго, органическаго развитія, идею прогресса и политическій либерализмъ, которому положилъ прочное основаніе переворотъ 1789 г. Этотъ обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX вѣка, гуманизмъ—продуктъ европейской общечеловѣческой цивилизаціи,—вотъ что пытались провести въ наше общество русскіе гуманисты, такъ называемые западники сороковыхъ годовъ. Не замѣну національнаго западнымъ ставили они себѣ цѣлью, а воспитаніе русскаго общества на европейской универсальной культурѣ, чтобы поднять національное развитіе на степень общечеловѣческаго, дать ему міровое значеніе“ (Цит. по П. В. Безобразову „С. М. Соловьевъ. Его жизнь и уч.-лит. дѣят.“ Спб. 1894, стр. 73).

Славянофилами была прозвана группа, во многомъ стоявшая рядомъ съ защитниками оффиціальной народности;

видн'ѣйшими ея представителями были поэтъ А. С. Хомяковъ, братья Иванъ и Петръ Кирѣевскіе, Константинъ Аксаковъ и др.

Славянофилы, подобно защитникамъ оффиціальной народности, противополагали міру Запада славянство, но въ своихъ построеніяхъ, не лишенныхъ туманной и величественной поэзіи, имѣли въ виду не вообще славянство, а по преимуществу Россію, и даже одну Великороссію. Формально они сходились во многомъ съ уваровскимъ „петербургскимъ славянофильствомъ" (по терминологіи Герцена); девизомъ и у нихъ были тѣ же самодержавіе, православіе, народность, но въ дѣйствительности въ эти лозунги вложено было совершенно своеобразное содержаніе. Это были не національисты-охранители всего тогдашняго режима, а національисты-прогрессисты, хотя имъ казалось, что идеалы ихъ гдѣ-то позади. Съ петербургскимъ періодомъ русской исторіи они не мирились ни въ чемъ, вплоть до одежды европейскаго образца (Хомяковъ и К. Аксаковъ первые начали носить въ обществѣ русскую рубаху). Они не мирились съ порабощеніемъ Россіи всесильною бюрократіею, съ рабствомъ государству Церкви, съ рабствомъ слова и мысли, наконецъ особенно съ крѣпостнымъ рабствомъ, не мирились во имя высокихъ, идеальныхъ представленій о русскомъ народѣ и о началахъ его быта, выработанныхъ имъ въ своей исторіи. Это былъ настоящій русскій мессіанизмъ, выросшая на глубокомъ чувствѣ любви къ народу идея высшаго призванія, которое должны осуществить этотъ народъ и вся страна.

Православіе разсматривалось этими искренно вѣрующими людьми, какъ не оцѣненная Западомъ наивысшая форма религіознаго сознанія. Имъ, конечно, чужды были тѣ жестокіе пріемы, какими православіе внѣдрялось въ николаевское время среди старообрядцевъ и сектантовъ. Свобода вѣрующей совѣсти въ ихъ глазахъ была первымъ условіемъ желаннаго имъ возрожденія церковно-общественной жизни, для которой они желали соборнаго и выборнаго началъ и т. д. Самодержавіе въ пониманіи славянофиловъ точно также являлось вовсе не апологіей, защитою николаевскаго режима, какъ то сплошь и рядомъ было у представителей казеннаго патріотизма, а своеобразною утопическою мечтою о возвышенномъ, сердечномъ союзѣ верховной власти и народа, мирно подѣлившихъ области государственной жизни: Царю—вся полнота власти, народу—сила мнѣнія, свободно выражаемаго въ печати и въ собраніяхъ, въ народной сходкѣ, и сполна—въ земскихъ всенародныхъ соборахъ. Этотъ любовный союзъ власти и народа противополагался политическому

вительствѣ профессора словесности С. П. Шевырева. Въ первой руководящей статьѣ послѣдняго: „Взглядъ Русскаго на образованіе Европы“ и было произнесено въ 1841 г. пресловутое крылатое слово о „гніеніи Европы“: она разлагается, подобно гніющему трупу, ея силы подорваны и отравлены реформаціей и революціей; полное отграниченіе отъ нея и провозглашалось для Россіи идеаломъ.

Въ Петербургѣ тѣ же взгляды высказывалъ въ самой нелѣпой формѣ „Маякъ“ Бурачка, и холопски отражала ихъ газета „Сѣверная Пчела“ Булгарина, презираемаго, продажнаго журналиста, вдобавокъ прикосновеннаго къ III-му Отдѣленію. Съ „Сѣверною Пчелою“ въ литературныхъ кругахъ не считались, слѣдуя предостереженію Пушкина не „наступать въ Булгарина“, отъ наивнаго Бурачка можно было отдѣлываться шуткой, какъ и отъ грубоватыхъ превознесеній Погодинымъ мощи, величія и славы Россіи и ея исторіи. Съ Шевыревымъ, хорошо знакомымъ и съ исторіею Запада, и его искусствомъ, приходилось уже считаться серьезно. Бѣлинскій отвелъ въ своихъ статьяхъ полемикѣ съ нимъ немало мѣста.

Гораздо больше вниманія *западникамъ* сороковыхъ годовъ пришлось удѣлить полемикѣ съ *славянофилами*.

И то и другое прозвище не соотвѣтствовало вполнѣ дѣйствительному содержанію понятій въ сложившихся тогда группахъ интеллигенціи.

Широкому либерализму круга Бѣлинскаго, Герцена и Грановскаго гораздо въ большей мѣрѣ соотвѣтствуетъ названіе „русскаго гуманизма“ (предложенное г. Герье), чѣмъ просто „западничество“.—„Въ европейскій гуманизмъ стали входить тогда двѣ новыя живительныя струи—идеалистическая философія, которая внесла въ духовный міръ человѣка и въ пониманіе исторіи, идею законнаго, мирнаго, органическаго развитія, идею прогресса и политическій либерализмъ, которому положилъ прочное основаніе переворотъ 1789 г. Этотъ обогащенный, облагороженный новыми идеями XIX вѣка, гуманизмъ—продуктъ европейской общечеловѣческой цивилизаціи,—вотъ что пытались провести въ наше общество русскіе гуманисты, такъ называемые западники сороковыхъ годовъ. Не замѣну національнаго западнымъ ставили они себѣ цѣлью, а воспитаніе русскаго общества на европейской универсальной культурѣ, чтобы поднять національное развитіе на степень общечеловѣческаго, дать ему міровое значеніе“ (Цит. по П. В. Безобразову „С. М. Соловьевъ. Его жизнь и уч.-лит. дѣят.“ Спб. 1894, стр. 73).

Славянофилами была прозвана группа, во многомъ стоявшая рядомъ съ защитниками оффиціальной народности;

виднѣйшими ея представителями были поэтъ А. С. Хомяковъ, братья Иванъ и Петръ Кирѣевскіе, Константинъ Аксаковъ и др.

Славянофилы, подобно защитникамъ оффиціальной народности, противополагали міру Запада славянство, но въ своихъ построеніяхъ, не лишенныхъ туманной и величественной поэзіи, имѣли въ виду не вообще славянство, а по преимуществу Россію, и даже одну Великороссію. Формально они сходились во многомъ съ уваровскимъ „петербургскимъ славянофильствомъ“ (по терминологіи Герцена); девизомъ и у нихъ были тѣ же самодержавіе, православіе, народность, но въ дѣйствительности въ эти лозунги вложено было совершенно своеобразное содержаніе. Это были не національности-охранители всего тогдашняго режима, а національности-прогрессисты, хотя имъ казалось, что идеалы ихъ гдѣ-то позади. Съ петербургскимъ періодомъ русской исторіи они не мирились ни въ чемъ, вплоть до одежды европейскаго образца (Хомяковъ и К. Аксаковъ первые начали носить въ обществѣ русскую рубаху). Они не мирились съ порабощеніемъ Россіи всесильною бюрократіею, съ рабствомъ государству Церкви, съ рабствомъ слова и мысли, наконецъ особенно съ крѣпостнымъ рабствомъ, не мирились во имя высокихъ, идеальныхъ представленій о русскомъ народѣ и о началахъ его быта, выработанныхъ имъ въ своей исторіи. Это былъ настоящій русскій мессіанизмъ, выросшая на глубокомъ чувствѣ любви къ народу идея высшаго призванія, которое должны осуществить этотъ народъ и вся страна.

Православіе разсматривалось этими искренно вѣрующими людьми, какъ не оцѣненная Западомъ наивысшая форма религіознаго сознанія. Имъ, конечно, чужды были тѣ жестокіе пріемы, какими православіе внѣдрялось въ николаевское время среди старообрядцевъ и сектантовъ. Свобода вѣрующей совѣсти въ ихъ глазахъ была первымъ условіемъ желаннаго имъ возрожденія церковно-общественной жизни, для которой они желали соборнаго и выборнаго началъ и т. д. Самодержавіе въ пониманіи славянофиловъ точно также являлось вовсе не апологіей, защитою николаевскаго режима, какъ то сплошь и рядомъ было у представителей казеннаго патріотизма, а своеобразною утопическою мечтою о возвышенномъ, сердечномъ союзѣ верховной власти и народа, мирно подѣлившихъ области государственной жизни: Царю—вся полнота власти, народу—сила мнѣнія, свободно выражаемаго въ печати и въ собраніяхъ, въ народной сходкѣ, и сполна—въ земскихъ всенародныхъ соборахъ. Этотъ любовный союзъ власти и народа противополагался политическому

конституціонному либерализму, основанному-де на договорномъ эгоизмѣ, этой чертѣ западно-европейскаго развитія, съ борьбою узко-сословныхъ и классовыхъ интересовъ. Въ Россіи и ея исторіи, — въ частности въ періодѣ московскихъ царей, до Петра I,—славянофилы думали видѣть проявленіе противоположнаго принципа — любви, — который особливо осуществляется въ общинномъ началѣ, основной стихіи русскаго народа. Славянофилы, такимъ образомъ, смотрѣли на народныя или точнѣе крестьянскія массы, не съ одною жалостью о безправномъ ихъ положеніи, но съ уваженіемъ, какъ на хранителя началъ высшей цѣнности, имѣющихъ переродить міръ. Вотъ почему и понятно, что такъ высоко ставилась „народность“: эта народность, какъ своеобразіе въ жизни, литературѣ, искусствѣ была порукою особыхъ правъ русскаго народа на признаніе и уваженіе. Этнографическія изученія русской народности (какъ племени со своеобычной, старой и очень оригинальной культурой), начавшіяся серьезно въ это же время, подкрѣпляли своими богатѣйшими открытіями это увлеченіе народностью. Во всемъ этомъ находило обильную пищу безсознательное, но тѣмъ не менѣе искреннее демократическое чувство. Общая постановка вопроса о народности, какъ вопроса о жизни и судьбѣ массъ, была одною изъ видныхъ историческихъ заслугъ стараго славянофильства сороковыхъ годовъ. Позднѣе, въ началѣ слѣдующаго царствованія, славянофилы приняли и прямое участіе въ реформахъ крестьянской и др., наравнѣ съ западниками, доказавъ на дѣлѣ свою искреннюю симпатію къ крестьянству.

Герценъ былъ однимъ изъ первыхъ, оцѣнившихъ эту демократическую сторону славянофильства, въ то время устныхъ споровъ и полемики, для многихъ совершенно не ясную.

Исторіею литературъ выяснено, что славянофильство въ литературно-общественной жизни Европы не представляло явленія, совершенно исключительнаго. Напротивъ, въ разное время у чеховъ, нѣмцевъ, датчанъ и пр. возникали литературно-общественныя направленія съ одинаковою, идеализировавшей національность, программою, измѣняемою лишь сообразно національнымъ различіямъ и оттѣнкамъ. „Русская школа,—говоритъ авторъ „Западнаго вліянія въ новой русской литературѣ“,—найдетъ легко свое мѣсто въ ряду этой цѣпи обще-европейскихъ явленій,—тѣмъ болѣе, что она имѣетъ и непосредственныя связи съ двумя изъ своихъ западныхъ сверстницъ, съ чешскою національною реставраціею, и съ нѣмецкимъ романтизмомъ и его спутницей—философіей“.

Не вдаваясь подробно въ этотъ генезисъ славянофильства, отмѣтимъ только, что подобную же мысль о его происхожденіи Герценъ высказалъ уже въ своемъ дневникѣ. Онъ сопоставляетъ съ славянофильствомъ происхожденіе нѣмецкаго романтизма и польскаго мессіанизма Мицкевича (дневникъ, 24 янв. 1844 г.), для чего въ то время требовалась, конечно, не малая проницательность. Въ дневникѣ, вообще богатомъ подобными брошенными мимоходомъ мыслями, указано также, что славянофилы „никакихъ корней не имѣютъ въ народѣ, они западной наукой дошли до своихъ національныхъ теорій; это болѣзнь литературная и больше никакого значенія не имѣющая. Они вспоминаютъ то, что народъ забываетъ, и даже о настоящемъ имѣютъ вовсе не сходное мнѣніе съ народнымъ“ (днев., 10-е дек. 1844 г.). Что славянофилы никакого значенія, кромѣ явленія болѣзненнаго, не имѣютъ,—эта фраза, очевидно, просто оговорка, ибо очень скоро Герценъ оцѣниваетъ ихъ гораздо глубже.

„Москва входила тогда,—вспоминаетъ онъ,—въ ту эпоху возбужденности умственныхъ интересовъ, когда литературные вопросы, за невозможностью политическихъ, становились вопросами жизни. Появленіе замѣчательной книги, напр., „Мертвыхъ Душъ“, составляло событіе, критики и антикритики читались и комментировались съ тѣмъ вниманіемъ, съ которымъ бывало въ Англіи или во Франціи слѣдили за парламентскими преніями. Подавленность всѣхъ другихъ сферъ человѣческой дѣятельности бросала образованную часть общества въ книжный міръ и въ немъ одномъ, дѣйствительно, совершался, глухо и полусловами, протестъ противъ гнета.

„Въ лицѣ Грановскаго, московское общество привѣтствовало рвущуюся къ свободѣ мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее. Въ лицѣ славянофиловъ оно протестовало противъ оскорбленнаго чувства народности.

„Говоря о московскихъ гостиныхъ и салонахъ, я говорю о тѣхъ, въ которыхъ нѣкогда царилъ А. С. Пушкинъ, гдѣ до насъ декабристы давали тонъ, гдѣ смѣялся Грибоѣдовъ, гдѣ М. Ѳ. Орловъ и А. П. Ермоловъ встрѣчали дружескій привѣтъ, потому что они были въ опалѣ; гдѣ, наконецъ, А. С. Хомяковъ спорилъ до четырехъ часовъ утра, начавши въ девять; гдѣ К. Аксаковъ съ мурмолкой въ рукѣ свирѣпствовалъ за Москву, на которую никто не нападалъ, и никогда не бралъ въ руки бокала шампанскаго, чтобы не сотворить тайно моленіе и тостъ, который всѣ знали; гдѣ Рѣдкинъ выводилъ логически личнаго бога, ad majorem

Hegelij gloriam; гдѣ Грановскій являлся съ своей тихой, но твердой рѣчью; гдѣ всѣ помнили Бакунина и Станкевича; гдѣ Чаадаевъ, тщательно одѣтый, съ нѣжнымъ, какъ изъ воску лицомъ, сердилъ оторопѣвшихъ аристократовъ и православныхъ славянъ колкими замѣчаніями, всегда отлитыми въ оригинальную форму и намѣренно замороженными: гдѣ молодой старикъ А. И Тургеневъ мило сплетничалъ обо всѣхъ знаменитостяхъ Европы..., гдѣ Боткинъ и Крюковъ пантеистически наслаждались разсказами М. С. Щепкина, и куда, наконецъ, иногда падалъ, какъ конгревова ракета, Бѣлинскій, выжигая кругомъ все, что попадало...

„Споры возобновлялись во всѣхъ литературныхъ и не литературныхъ вечерахъ, на которыхъ мы встрѣчались,—а это было раза два или три въ недѣлю. Въ понедѣльникъ собирались у Чаадаева, въ пятницу у Свербѣева, въ воскресенье у А. П. Елагиной...

„Сверхъ участниковъ въ спорахъ, сверхъ людей, имѣвшихъ мнѣнія, на эти вечера пріѣзжали охотники, даже охотницы, и сидѣли до двухъ часовъ ночи, чтобъ посмотрѣть, кто изъ матадоровъ кого отдѣлаетъ и какъ отдѣлаютъ его самого; пріѣзжали въ томъ родѣ, какъ встарь ѣздили на кулачные бои и въ амфитеатръ, что за Рогожской заставой“ („Был. и Д.“, гл. XXX, II).

Герценъ въ этихъ дебатахъ принималъ живѣйшее участіе. Это онъ велъ нескончаемые споры съ Хомяковымъ, найдя въ немъ равнаго по силамъ діалектики бойца, и въ спорахъ чередовались Гоголь и Гегель, Бѣлинскій и православіе и Византія, Петръ I и крѣпостное право, община и земскіе соборы, и т. д.

Стоя на совершенно другой почвѣ, нежели православно вѣрующіе славянофилы, Герценъ не могъ относиться ко многому въ этихъ дебатахъ безъ ироніи. Такъ, по поводу споровъ о преимуществахъ православія надъ католичествомъ (послѣднее защищалось Чаадаевымъ и княземъ Гагаринымъ: въ католичество за границею перешелъ и товарищъ Герцена Печеринъ), Герценъ ѣдко иронизировалъ въ дневникѣ: „Типъ этихъ споровъ одинъ: откуда вѣдьмы,—„изъ Кіева или изъ Чернигова?“ Для не вѣрящихъ въ вѣдьмъ остается лѣвать и жалѣть расточенія силъ. Есть и протестанты, улыбающіеся надъ тѣми и другими, какъ надъ отсталыми, смѣющіеся надъ невѣждами, утверждающими, что вѣдьмы изъ Кіева или Чернигова, сами они знаютъ навѣрное, что вѣдьмы идутъ изъ Житомира“ (дн., 8 янв. 1843). Однако, съ Хомяковымъ [illegible]ватывался и въ этой религіозной сферѣ, даже наук[illegible] Византію, чтобы побивать его его же оружіемъ [illegible] спорахъ оставался побѣдителемъ, смѣло

принимая тѣ логическіе выводы „свирѣпой имманенціи“ (т. е. атеизма), предъ которыми съ ужасомъ отпрядывалъ Хомяковъ.

Основательное знакомство Герцена съ подлинною провинціальною захолустною и простонародною жизнью, вынесенное изъ двухъ ссылокъ и провинціальной службы, сослужило ему въ дебатахъ со славянофилами хорошую услугу. Онъ могъ разбивать всѣ идеализаціи патріархальнаго строя народной жизни, какія допускались славянофилами, и въ то-же время оцѣнить въ этихъ идеализаціяхъ и отвлеченныхъ построеніяхъ здоровое ядро истины и глубокое руководившее соперниками чувство.

Въ рѣчахъ и фантазіяхъ славянофиловъ ему много говорило ихъ общее настроеніе, ихъ непосредственное тяготѣніе къ чему-то родному въ жизни народныхъ массъ, ихъ инстинктивное сознаніе обще-народнаго единства, живой источникъ здороваго національнаго чувства. Это—та струя, которая все время живо пробивается въ думахъ и писаніяхъ Герцена, это—основа его позднѣйшаго „народничества“. Герценъ, несомнѣнно, чувствовалъ и сердцемъ дѣлилъ ту „русскую печаль“, которая съ такою болью и такъ поэтически вылилась позднѣе у Некрасова („Тишина“). „Дай Богъ Віардо и Рубини,—читаемъ у него въ одномъ мѣстѣ романа „Кто виноватъ“,—чтобы ихъ слушали всегда съ такимъ біеніемъ сердца, съ какимъ я много разъ слушалъ какую-нибудь протяжную и безконечную пѣсню бурлака, сторожащаго ночью барки,—пѣсню унылую, перерываемую плескомъ воды и вѣтромъ, шумящимъ между прибрежнымъ ивнякомъ“ *). Дневникъ Герцена изобилуетъ записями, въ которыхъ бьется то же безпокойное чувство глубокой симпатіи къ народной массѣ, сознаніе непосредственной съ нею кровной связи, и отвращеніе къ ужасному ея положенію. „Глядя на ихъ (крестьянъ) жизнь, кажется чѣмъ-то чудовищно преступнымъ жить въ роскоши... Мы дивимся гладіаторамъ, а развѣ черезъ вѣкъ не будутъ дивиться намъ, нашей свирѣпой жестокости, отсутствію человѣколюбія въ насъ?... Кротко, грустно несутъ они тяжелый крестъ жизни, черно проводятъ ее, имѣя въ перспективѣ розги, голодъ и барщину, если оброчный—рекрутство, взятіе въ дворъ. Наши славянофилы толкуютъ объ общинномъ началѣ, о томъ, что у насъ нѣтъ пролетаріевъ, о раздѣлѣ полей; все это хорошіе зародыши и долею они основаны на неразвитости... Какая собственность у раба? Онъ хуже пролетарія—онъ res, орудіе

*) Это мѣсто и другія аналогичныя живо напоминаютъ восклицаніе Гоголя, что не русскій тотъ, кто не переживалъ страннаго волненія и *упрека себѣ* при звукахъ заунывной народной пѣсни.

для обработыванія полей. Баринъ не можетъ убить его такъ же, какъ не могъ при Петрѣ въ извѣстныхъ мѣстахъ срубить дубъ; дайте ему право суда, только тогда онъ будетъ человѣкомъ. Двѣнадцать милліоновъ людей hors la loi. Carmen horrendum"! (дн., 26 іюн. 1843).

Возмущаясь такъ крѣпостнымъ рабствомъ, Герценъ страдаетъ отъ боли сознанія разрыва съ этою массою, того разрыва, который многими сторонами своими тяжелъ былъ сознательнымъ славянофиламъ и былъ однимъ изъ обвиненій съ ихъ стороны противъ петербургскаго періода русской исторіи. „Взглянулъ бы на тебя, дитя (народъ), юношей,— пишетъ Герценъ въ дневникѣ,—но мнѣ не дождаться, благословляю же тебя хоть изъ могилы. Но все это ни одной нотой не уменьшаетъ горечи жизни. Сверхъ всего, повтореннаго много разъ, отдѣльность, несимпатія со всѣхъ сторонъ тягостны. Барству, чиновничеству мы не хотимъ протянуть руки, да и они на нашего брата смотрятъ, какъ на безумнаго, а православный народъ, которому, для котораго, за который всякій благородный человѣкъ готовъ Богъ знаетъ что сдѣлать,—если не въ открытой войнѣ, въ которой онъ насъ опутываетъ сѣтью мошенничества, то онъ молчитъ и не довѣряетъ" (дн., 11 іюня 1842). Какъ чувствовалъ Герценъ этотъ разрывъ съ народомъ, хорошо вылилось и въ разсказѣ его объ Иванѣ Кирѣевскомъ: послѣдняго при созерцаніи чудотворной иконы, окруженной жаркимъ благоговѣніемъ молящагося простонародья, поразила мысль, что икона должна была впитать въ себя всю скорбь и жажду правды, годами и вѣками ежедневно изливаемыя предъ нею, и онъ самъ упалъ на колѣни и жарко молился со всѣми. Герценомъ такъ переданъ этотъ трогательный разсказъ, какъ могъ передать его только самъ пережившій нѣчто подобное, самъ способный къ порыву подобнаго сліянія съ народомъ, лишьбы сліянія.

Такъ нѣчто общее въ настроеніяхъ славянофиловъ и самого Герцена способствовало тому, что онъ раньше другихъ оцѣнилъ дѣйственныя стороны во взглядахъ своихъ противниковъ. И онъ приходитъ къ мысли,—по тому времени замѣчательной,—что западники должны овладѣть темами славянофиловъ.

Онъ, дѣйствительно, даетъ въ своемъ кружкѣ уроки болѣе серьезнаго отношенія къ славянофильскимъ упрекамъ западничеству. Мелкій, но очень характерный эпизодъ разсказанъ Анненковымъ. „Въ одно изъ утреннихъ моихъ посѣщеній Герцена, въ мезонинѣ его дома на Сивцовомъ-Вражкѣ, гдѣ помѣщался его кабинетъ, онъ заговорилъ о презрѣніи, которое выражено было Бѣлинскимъ къ мужик-

кому быту вообще, названному имъ *„лапотною и сермяжною дѣйствительностью“*. Фраза находилась въ разборѣ какой-то пустой книжонки съ разсказами изъ народной жизни, грубо и комически идеализированной авторомъ. „Книжка книжкой,—говорилъ Герценъ,—но отзывъ неосторожень и самъ по себѣ, и тѣмъ, что даетъ потачку журналу считать себя большимъ бариномъ передъ народомъ... такіе эпитеты стали распложаться въ журналѣ. Мнѣ иногда бываетъ очень трудно защищать его. Я, напр., ничего не нашелъ отвѣтить Хомякову, когда онъ, подобравъ эти фальшивыя ноты, замѣтилъ: „Хоть-бы вы растолковали редактору“...

Въ 1843 г. въ Москву пріѣзжаетъ нѣмецкій путешественникъ баронъ Гакстгаузенъ, между прочимъ очень заинтересовавшійся, по указаніямъ славянофиловъ, русскою крестьянскою общиной и позднѣе впервые познакомившій съ нею европейскихъ читателей. Встрѣча Герцена съ барономъ Гакстгаузеномъ отмѣчена въ его дневникѣ подъ 13 мая. Герцена удивилъ „ясный взглядъ“ иностранца на бытъ мужиковъ, помѣщичью власть, земскую полицію и управленіе въ Россіи вообще. Въ бесѣдахъ съ Гакстгаузеномъ и въ разговорахъ по поводу его взглядовъ, очевидно, для Герцена уяснилось кое-что и изъ взглядовъ славянофиловъ. Онъ все чаще оговаривается въ дневникѣ, въ чемъ сходится съ ними. Въ январѣ 1844 г. онъ отмѣчаетъ: „Добросовѣстность съ обѣихъ сторонъ сдѣлала большія уступки, образовавшія мнѣніе, болѣе основательное, чѣмъ чистая мечтательность славянъ и гордое презрѣніе ультра-оксидентныхъ“. За это признаніе нѣкоторыхъ положительныхъ сторонъ въ славянофильствѣ Герценъ дождался наконецъ гнѣвнаго письма отъ Бѣлинскаго.—„Я—жилъ по натурѣ,—писалъ критикъ, страстно ратовавшій противъ реакціонныхъ вліяній славянофильства и оффиціальной народности, еще мало отмежеванной,—и съ филистимлянами за однимъ столомъ ѣсть не могу“. „Филистимляне для него славянофилы,—замѣчаетъ на это Герценъ: — я самъ не согласенъ съ ними, но Бѣлинскій не хочетъ понять истину въ fatras ихъ нелѣпостей. Онъ не понимаетъ славянскій міръ; онъ смотритъ на него съ отчаяніемъ, и не правъ: онъ не умѣетъ *чаять жизни будущаго вѣка*, а это чаяніе есть начало возникновенія будущаго... Странное положеніе мое, какое-то невольное juste milieu въ славянскомъ вопросѣ: передъ ними я человѣкъ Запада, передъ ихъ врагами человѣкъ Востока. Изъ этого слѣдуетъ, что для нашего времени эти односторонніе опредѣленія не годятся“. Мѣткая и вѣрная мысль, показывающая, какъ самостоятельно и далеко впередъ смотрѣлъ Герценъ.

Первоначально отношенія обѣихъ сторонъ были довольно мирныя. Но мало-по-малу къ теоретическимъ разногласіямъ примѣшалось личное раздраженіе, питаемое то нетерпимостью отдѣльныхъ лицъ, то другими поводами. Подливали масла въ огонь и статьи Бѣлинскаго, который съ ненавистью относился къ оффиціальной народности. Такъ, бурю вызвалъ рѣзкій памфлетъ его противъ Шевырева: „Педантъ". Герценъ въ спорахъ рѣзко заявлялъ себя сторонникомъ Бѣлинскаго, гости смолкали и мѣняли разговоръ (днев., 23 ноября 1842 г.), и такъ Герценъ расходился понемногу съ врагами-друзьями.

Нѣкоторое время звеномъ между противниками оставалась гармоническая, смягчавшая рѣзкости, личность Грановскаго. Его публичныя лекціи въ концѣ 1843 г. и началѣ 1844 г. были, по своему успѣху и содержанію, какъ заявленіе съ кафедры западническаго воззрѣнія, какъ своего рода манифестація (въ тихой рѣчи лектора публика ясно улавливала сочувствіе политическому либерализму, даже декабристамъ),—однимъ изъ крупныхъ событій въ исторіи русскаго общества. Герценъ встрѣтилъ лекціи друга восторженно, носился съ его успѣхомъ, какъ съ радостнымъ событіемъ, посвятилъ этому предмету двѣ горячихъ статьи (въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" и „Москвитянинѣ"), хотя въ то же самое время въ „дневникѣ" для себя отмѣтилъ кое-какія непослѣдовательности философской мысли друга. Лучшіе изъ славянофиловъ съ полнымъ сочувствіемъ отнеслись къ успѣху Грановскаго, но его рѣчь была камнемъ въ голову узкимъ національнстамъ. Шевыревы узнавали себя въ историческихъ портретахъ гнусныхъ риторовъ-доносчиковъ временъ Рима. Въ отместку пускались въ ходъ глухіе толки о неблагонадежности проникнутыхъ гегелизмомъ ученій Грановскаго и его друзей, и дѣло доходило до необходимости профессору объясняться съ попечителемъ округа.

„Неблагородство славянофиловъ „Москвитянина" велико,—съ негодованіемъ записывалъ Герценъ въ дневникъ:—они добровольные помощники жандармовъ",—и эти жалобы на грубую безтактность противниковъ повторяются въ дневникѣ неоднократно. Грановскому даже съ кафедры приходилось давать отпоръ этимъ рѣчамъ. Къ радости Герцена, публика встрѣчала эти отступленія восторженно. „....И какая плюха доносчикамъ! Такія проявленія, сколько они ни бѣдны, какъ они ни рѣдки,— радуютъ... Глядя на гамъ и шумъ, у меня сердце билось и кровь стучала въ голову,— есть-таки симпатія". Въ заключеніе лекцій устроенъ былъ въ честь Грановскаго обѣдъ, на которомъ Герценъ былъ распорядителемъ со стороны западниковъ и на которомъ противники за бо-

каломъ шампанскаго въ послѣдній разъ братались. Ив. Кирѣевскій просилъ у Герцена одного, чтобъ онъ вставилъ въ свою фамилію „ы“ вмѣсто второго „е“, и этимъ обрусилъ бы ее, но Шевыревъ и этого не требовалъ, а обнимая Герцена увѣрялъ, что онъ и съ *е* хорошъ, и съ *е* русскій. Вскорѣ, конечно, Герцену пришлось записать въ дневникѣ: „Бѣлинскій правъ! Нѣтъ мира и свѣта съ людьми до того разными!“

Однимъ изъ яблокъ раздора явилась магистерская диссертація того же Грановскаго, по существу — невинное изслѣдованіе о частномъ вопросѣ, о легендарной норманской Винетѣ, показавшееся, однако, какимъ-то дерзкимъ покушеніемъ на высочайшіе авторитеты науки. Тутъ же появились всѣхъ перессорившіе стихи извѣстнаго поэта Языкова, который ввязался въ эту распрю, обличая западниковъ въ самой явной неблагонадежности:

...ихъ умъ развратенъ
И совѣсть ихъ прокажена.

Въ стихотвореніи: „Не нашимъ“ призывались къ отвѣту, подъ прозрачными намеками, Чаадаевъ, Грановскій, Герценъ

...невинный и любезный
Поклонникъ темныхъ книгъ и словъ,
Воспріимчатель достослезный
Чужихъ сужденій и грѣховъ.

Всѣхъ „не нашихъ“ поэтъ объявлялъ не русскими, винилъ въ отсутствіи у нихъ любви къ родинѣ и стремленія къ любви, истинѣ и благу, въ неуваженіи къ преданіямъ старины, и грозилъ имъ:

Умолкнетъ наша злость пустая,
Замретъ проклятый вашъ языкъ:
Крѣпка, надежна Русь святая,
И Русскій Богъ еще великъ.

Въ стихотвореніи, посвященномъ К. Аксакову, Языковъ, наконецъ, выражалъ ему свое порицаніе за то, что онъ дружелюбно подаетъ руку Герцену,—

Тому, кто гордую науку
И торжествующую ложь
Глубокомысленно становитъ
Превыше Истины Святой;
Тому, кто нашу Русь злословитъ
И ненавидитъ всей душой,
И кто Нѣметчинѣ лукавой
Передался и вслѣдъ за ней,
За госпожою величавой,
Идетъ, блистательный лакей...
А православную столицу,
А матерь русскихъ городовъ
Смѣнить на пышную блудницу,
На Вавилонскую готовъ!

Толки, вызванные этими стихами, привели, наконецъ, къ полному разрыву личныхъ отношеній между западниками и славянофилами. Трогательны нѣкоторыя подробности: здѣсь, изъ-за разности міровоззрѣній расходились люди, связанные множествомъ общихъ личныхъ симпатій, взаимною личною пріязнью. Вотъ разсказъ самаго Герцена о разлукѣ съ Аксаковымъ: „Я какъ-то шелъ по улицѣ, К. Аксаковъ ѣхалъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхалъ, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ было слишкомъ больно, — сказалъ онъ, — проѣхать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѣздить; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься". Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту ссоры!.."

Это все, съ подробностями, на которыхъ мы не имѣемъ возможности остановиться въ настоящей книгѣ *), происходило въ началѣ 1845 г. Но именно въ это время разрыва личного положительныя стороны славянофильства, которыя, какъ выше [illegible]ано, все чаще отмѣчалъ въ своемъ дневникѣ Герценъ, обратили на себя вниманіе и всего круга западниковъ. При единствѣ взглядовъ въ кружкѣ, невозможно устанавливать съ полною точностью кто больше, кто меньше содѣйствовалъ этому повороту. Но достовѣрно, что именно съ этого момента вниманіе круга западниковъ въ его цѣломъ, дѣйствительно, обращается на темы, ранѣе поднятыя славянофилами, и въ частности — на капитальный вопросъ о положеніи народныхъ массъ и на крѣпостное право.

Выяснился этотъ поворотъ и новый важный общій умственный интересъ вполнѣ опредѣленно во время пребыванія Герцена въ 1845 г. на дачѣ въ подмосковномъ селѣ Соколовѣ, гдѣ одновременно съ нимъ жили Кетчеръ, семья Щепкиныхъ, постоянно наѣзжали Грановскіе, Боткинъ, Коршъ, и смѣняли другъ друга Тургеневъ, Кавелинъ, Анненковъ, Рѣдкинъ, Панаевъ, Некрасовъ и др. Сохранились восторженныя воспоминанія нѣкоторыхъ изъ этихъ лицъ объ этой порѣ, какъ полной, рѣдкой, захватывающей поэзіи. „Чудные дни, великолѣпные вечера, этотъ паркъ при закатѣ солнца и въ лунныя ночи, наши прогулки, наши

*) См. „Грановскій и его время" (Спб., 1905 г., 2-е изд., гл. VIII—X.

обѣды на широкой лужайкѣ передъ домомъ, послѣобѣденное far niente на верхнемъ балконѣ, встрѣча утреннихъ зорь, всегда оживленная бесѣда, иногда горячіе споры, никогда не доходившіе до непріятнаго раздраженія, увлекательная рѣчь Грановскаго, блестящее остроуміе Герцена, колкія замѣтки Корша, — все это вмѣстѣ было такъ хорошо, такъ полно жизни, поэзіи! Въ этомъ поэтическомъ чаду, вѣроятно, никому не приходило въ голову, что это послѣдніе пиры молодости, проводы лучшей половины жизни" (Панаевъ).

Какъ подробно разсказываетъ Анненковъ, въ происходившихъ въ Соколовѣ дебатахъ особенно страстно обсуждался вопросъ о принципахъ личнаго поведенія по отношенію къ безправной народной массѣ и о томъ, что здѣсь можетъ сдѣлать литература и общество. Задача прямой защиты интересовъ низшихъ сословій выдвигалась впередъ и опредѣленно формулировалась.

„Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная,— ратовалъ здѣсь вмѣстѣ съ Грановскомъ Герценъ, — похожа на оскорбленіе ребенка. Кто-же будетъ за нихъ говорить, если не мы же сами? Оффиціальныхъ адвокатовъ у нихъ нѣтъ,—...мы всѣ тогда должны сдѣлаться ихъ адвокатами".

Брошенныя въ этихъ спорахъ мысли не прошлини для кого безслѣдно. Онѣ отвѣчали давно назрѣвавшему [illegible] нію и потребности всего общества. Тѣ же взг[illegible] были разнесены во всѣ концы интеллигентной Руси. „Записки Охотника" Тургенева, первые разсказы и повѣсти Григоровича, и вся полоса литературныхъ воспроизведеній народной жизни и обличеній крѣпостнаго права явились выраженіемъ формулированной Герценомъ обязанности для интеллигенціи стать адвокатомъ и заступникомъ за молчаливый народъ, не считаясь съ тѣмъ, кто первый „вспомнилъ о народѣ".

Герценъ не только въ этихъ бесѣдахъ явился однимъ изъ первыхъ, кто въ средѣ западниковъ правильно оцѣнилъ значеніе подымаемыхъ славянофильствомъ темъ. Ему же принадлежитъ одно изъ самыхъ первыхъ по времени наглядныхъ воспроизведеній крѣпостнаго права, именно какъ разъ въ эту пору написанъ разсказъ „Сорока-воровка".

Закончимъ эту главу строками, въ которыхъ самъ Герценъ подвелъ итогъ историческимъ заслугамъ стараго славянофильства. Эти строки написаны имъ за границей въ 1861 г. Въ нихъ прямое признаніе не столько зависимости Герцена отъ славянофильства, сколько близости къ нему на основѣ національной симпатіи, общности интереса и чувства къ положенію народной массы. Это, вмѣстѣ съ тѣмъ, и искреннія имъ благодарная память, какъ людямъ, умственное общеніе съ которыми прояснило его взгляды.

„Кирѣевскіе, Хомяковъ и Аксаковъ,—говоритъ Герценъ,—*сдѣлали свое дѣло*; долго ли, коротко ли они жили, но, закрывая глаза, они могли сказать себѣ съ полнымъ сознаніемъ, что они сдѣлали то, что хотѣли сдѣлать, и если они не могли остановить фельдъегерской тройки, посланной Петромъ, и въ которой сидитъ Биронъ и колотитъ ямщика, чтобъ тотъ скакалъ по нивамъ и давилъ людей, — то они остановили увлеченное общественное мнѣніе и заставили призадуматься всѣхъ серьзныхъ людей.

„Съ нихъ начинается *переломъ русской мысли*. И когда *мы* это говоримъ, кажется, насъ нельзя заподозрить въ пристрастіи.

„Да, мы были противниками ихъ, но очень странными. У насъ была *одна* любовь, но *неодинаковая*.

„У нихъ и у насъ запало съ раннихъ лѣтъ одно сильное, безотчетное, физіологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминаніе, а мы за пророчество,—чувство безграничной, обхватывающей все существованіе, любви къ русскому народу, русскому быту, русскому складу ума. И мы, какъ Янусъ, или какъ двуглавый орелъ, смотрѣли въ разныя стороны, въ то время, какъ *сердце билось одно*.

„Они всю любовь, всю нѣжность перенесли на угнетенную мать. У насъ, воспитанныхъ внѣ дома, эта связь ослабла. Мы были на рукахъ у французской гувернантки, поздно узнали, что мать наша не она, а загнанная крестьянка, и то мы сами догадались по сходству въ чертахъ, да по тому, что ея пѣсни были намъ роднѣй водевилей; мы сильно полюбили ее, но жизнь ея была слишкомъ тѣсна. Въ ея комнаткѣ было намъ душно; все почернѣлыя лица изъ-за серебряныхъ окладовъ, все попы съ причтомъ, пугавшіе несчастную, забитую солдатами да писарями женщину; даже ея вѣчный плачъ объ утраченномъ счастьи раздиралъ наше сердце; мы знали, что у нея нѣтъ свѣтлыхъ воспоминаній, мы знали и другое, что ея счастье впереди, что подъ ея сердцемъ бьется зародышъ,—это нашъ меньшій братъ, которому мы безъ чечевицы уступимъ старшинство. А пока

Mutter, Mutter, lass mich gehen
Schweifen auf die wilden Höhen! *)

„Такова наша семейная разладица, лѣтъ пятнадцать тому назадъ. Много воды утекло съ тѣхъ поръ, и мы встрѣ-

*) Двустишіе изъ баллады Шиллера „Der Alpenjäger“ (Альпійскій стрѣлокъ): юноша рвется отъ матери въ горныя высоты на охоту; его останавливаетъ горный духъ.

тили *горный духъ*, остановившій нашъ бѣгъ, и они вмѣсто міра мощей натолкнулись на живые вопросы. Считаться намъ странно, патентовъ на пониманіе нѣтъ; время, исторія, опытъ сблизили насъ, не потому, чтобъ они насъ перетянули къ себѣ, или мы ихъ, а потому, что и они, и мы ближе къ истинному воззрѣнію теперь, чѣмъ были тогда, когда безпощадно терзали другъ друга въ журнальныхъ статьяхъ, хотя и тогда я не помню, чтобы мы сомнѣвались въ ихъ горячей любви къ Россіи или они въ нашей.

„На этой вѣрѣ другъ въ друга, на этой общей любви имѣемъ право и мы поклониться ихъ гробамъ, и бросить нашу горсть земли на ихъ покойниковъ, съ святымъ желаніемъ, чтобъ на могилахъ расцвѣла сильно и широко молодая Русь“.

XIII.

Литературная дѣятельность.

Четыре съ половиною года, проведенные Герценомъ послѣ Новгорода въ Москвѣ, были у него въ литературномъ отношеніи весьма плодовиты. Его постоянный псевдонимъ—Искандеръ—становится въ эту пору у русскихъ читателей почти столь же популярнымъ, какъ имя Бѣлинскаго. За исключеніемъ немногихъ мелкихъ замѣтокъ, его писанія появлялись сначала въ „Отечественныхъ Запискахъ“, пока тамъ работалъ Бѣлинскій, а съ 1847 г., когда критикъ перешелъ въ „Современникъ“, въ этомъ послѣднемъ журналѣ.

Мы не будемъ говорить о мелкихъ замѣткахъ Герцена, объ остроумныхъ его полемическихъ противъ славянофиловъ съ братіею выпадахъ. Наиболѣе значенія имѣли въ свое время и до сихъ поръ не утратили интереса въ томъ или иномъ отношеніи всѣ его болѣе крупныя по объему статьи, наброски и повѣсти.

Всѣ произведенія Герцена сороковыхъ годовъ могутъ быть распредѣлены на три группы. На первомъ мѣстѣ назовемъ рядъ философскихъ статей подъ общимъ заглавіемъ: „Дилетантизмъ въ наукѣ“ (1842—1843) и очерки по исторіи философіи: „Письма объ изученіи природы“ (1844—1846). Въ перемежку съ философскими статьями написано нѣсколько статей, затрогивающихъ въ капризной и блестящей формѣ непринужденной бесѣды очень разнообразные вопросы моральнаго характера,—таковы статьи: „По поводу одной драмы“, „Капризы и раздумье“, „Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести“. Замѣчательная полубеллетристическая сатира: „Докторъ Круповъ“ стоитъ посрединѣ между этою второю группою и чисто беллетристическими произведеніями, каковы: разсказъ „Сорока-воровка“ и романъ „Кто виноватъ?“.

1.

Для современнаго читателя, чуждаго пріемовъ мысли и способа выраженій гегеліанской школы, философскія статьи Герцена представляютъ не мало трудностей, которыя нужно преодолѣть, къ которымъ надо привыкнуть, чтобы мысли его предстали во всей ясности и прозрачности. Во время печатанія этихъ статей въ журналѣ, Герцена не разъ и не всегда несправедливо упрекали въ темнотѣ, говорили о вводимыхъ имъ „искандеризмахъ“, даже о „птичьемъ языкѣ“ его статей. Самъ Бѣлинскій высказывалъ другу упрекъ въ излишней отвлеченности его изложенія, даже въ оторванности отъ жизни самаго содержанія. Но и темнота, и отвлеченность были въ значительной части невольныя. Это была скорлупа, прикрывавшая мысли, которыя иначе, конечно, не увидѣли бы свѣта на страницахъ журнала. На эти упреки самъ Герценъ отвѣчалъ въ дневникѣ, что статьи его затемнены намѣренно (29 ноября 1844 г.). Какъ примѣръ подобнаго поневолѣ темнаго языка, укажемъ отвѣты Герцена „на одинъ вопросъ, чрезвычайно часто предлагаемый дилетантами: „Какъ безвидное внутреннее превратилось въ видимое, внѣшнее, и что оно было прежде существованія внѣшняго?“. Рѣчь идетъ объ отношеніяхъ сознанія и матеріальнаго бытія, о душѣ и тѣлѣ. Для отвѣта на этотъ вопросъ, который и формулировать приходилось столь замысловато, для того, чтобы провести нецензурную мысль о тождествѣ бытія и сознанія, о томъ, что нѣтъ сознанія внѣ матеріальнаго бытія, т. е, что не можетъ быть рѣчи о душѣ, какъ о чемъ-то отъ тѣла отдѣльномъ,—для этого Герцену приходилось пускаться въ настоящія дебри отвлеченности и объясняться въ такомъ родѣ: „Внѣшнее есть обнаруженное внутреннее, и внутреннее потому внутреннее, что имѣетъ свое внѣшнее. Внутреннее безъ внѣшняго какая-то дурная возможность, потому что нѣтъ ему проявленія; внѣшнее безъ внутренняго—безсмысленная форма, не имѣющая содержанія, и т. д.“. Можно себѣ представить, какъ хлопали глазами, читая это, цензора,—зато и читатели часто понимали немного. И не смотря на эти затемненія, все-таки далеко не все, о чемъ хотѣлось писать Герцену, укладывалось въ цензурныя рамки. Такъ въ письмахъ объ изученіи природы онъ долженъ былъ отказаться отъ изложенія системы Спинозы, на что комически жаловался въ письмѣ, восхищаясь прямотою и силою мысли и языка великаго философа: „Такой, право, былъ жидъ, хоть брось!“ (Письмо къ Краевскому).

Мы говорили о впечатлѣніи, произведенномъ книгою

Фейербаха на Герцена. Оно не было единичнымъ: это была самая боевая, ошеломившая многихъ, книга того времени, поразившая глубоко и Бѣлинскаго, и другихъ членовъ того же кружка. Теперь многое изъ ослѣпительныхъ афоризмовъ Фейербаха поблѣднѣло, и недавно вышедшій первый переводъ въ Россіи „Сущности христіанства“ не можетъ дать безъ комментарія понятія, въ чемъ была сила этой книги. Не лишне поэтому сгруппировать здѣсь наиболѣе яркія положенія Фейербаха, какъ ключъ къ философскимъ статьямъ Герцена, какъ фонъ, на которомъ развертывались его взгляды.

Безспорное значеніе Фейербаха въ наукѣ въ настоящее время ограничиваютъ тѣмъ, что съ него начинается дѣйствительное историко-критическое ученіе религій, какъ созданія человѣческихъ мысли и чувства. Эта идея, вошедшая нынѣ въ общее научное сознаніе, въ то время казалась столь огромною, что самъ Фейербахъ видѣлъ поворотный пунктъ всей исторіи въ открытомъ признаніи и исповѣданіи, что сознаніе бога есть сознаніе рода, что человѣкъ можетъ и долженъ возвыситься надъ гранями своей индивидуальности или личности, но не надъ законами и существенными опредѣленіями своего рода, что человѣкъ можетъ мыслить, представлять, чувствовать, считать, любить и почитать, какъ абсолютное божественное существо,— только человѣческое существо. Не богъ творитъ человѣка по своему образу и подобію, но, наоборотъ, человѣкъ творитъ свое божество, и оно является лишь проектированнымъ внѣ міра представленіемъ о высшемъ идеалѣ человѣческаго рода, и идеалъ этотъ, слѣдовательно, въ исторіи человѣчества подвергается непрерывному измѣненію и развитію, а не представляетъ какую бы то ни было внѣ людского сознанія пребывающую сущность. Прежній разсудочный атеизмъ, сводившій всякую религію на сознательный обманъ и выдумку жрецовъ, являлся въ новомъ философски обоснованномъ видѣ, на основѣ полнаго тожества доступнаго намъ міра явленій съ понятіями о мірѣ недоступныхъ сущностей. Истина, дѣйствительность, чувственность, для Фейербаха, а съ нимъ и для Герцена, тожественны. Очевидно только чувственное. Только тамъ, гдѣ начинается чувственность—исчезаетъ всякое сомнѣніе и споръ. Чувства наши—единственные органы познанія. Это казалось столь понятно и просто, что собственно теорія познанія остается у Фейербаха мало разработанной, а Герцена и вовсе не занимаетъ. Для обоихъ на первомъ планѣ стоитъ религіозная проблема и этика.

Знамениты нѣкоторые афоризмы Фейербаха, въ которыхъ рѣзко выражены и пониманіе имъ религіозной проблемы и

какъ слѣдствія его и этики. „Богъ—зеркало человѣка“.—„Homo homini Deus est“, т. е. человѣкъ человѣку богъ. Религія является „представленіемъ о сущности міра и человѣка, тождественнымъ съ самою сущностью человѣка“. Какъ непрерывно развитіе человѣка, такъ непрерывно и развитіе религій. Совершенно непрерывно и міровое развитіе въ цѣломъ, что исключаетъ и всякую возможность вмѣшательства въ міръ „извнѣ“, понятія о чудѣ. Такъ разлетаются предъ этой мыслію о цѣльности мірозданія и всѣ построенія деистической философіи, о Богѣ, какъ и о безсмертіи души, и прочія утвержденія положительныхъ религій, содержаніе которыхъ, въ частности и христіанства, распускается въ миѳахъ и аллегоріяхъ. Остается высоко вознесеннымъ лишь человѣческій разумъ, духовное творчество всего человѣчества въ цѣломъ, а мѣрою, критеріемъ вещей является самъ человѣкъ, и предметъ религіи—самъ человѣкъ, она—наука о человѣкѣ—„антропологія“.

Какъ мы говорили уже выше (гл. X), въ своихъ философскихъ построеніяхъ Герценъ шелъ въ значительной мѣрѣ собственнымъ, независимымъ путемъ. Интересно, что Герценъ обратилъ мало вниманія на ученіе Фейербаха о человѣческомъ родѣ въ цѣломъ, какъ единственномъ носителѣ полнаго міропознанія, а позднѣе—въ книгѣ „Съ того берега“ и др.—и рѣзко критически отнесся къ подобнымъ построеніямъ. Но въ общемъ онъ призналъ себя ученикомъ Фейербаха, и насколько высоко ставилъ этого мыслителя, видно, между прочимъ, изъ слѣдующихъ строкъ, которыя были набросаны на экземплярѣ книги Фейербаха, поднесенномъ кому-то изъ друзей: „Когда вы будете брать въ руки эту книгу Истины и Любви, вспоминайте иногда съ любовью того, кто съ любовью ее вамъ вручаетъ, бѣднаго странника, ищущаго истины и жаждущаго любви, но которому Истина еще не открылась, котораго Любовь еще не оживила своимъ теплымъ дыханіемъ—и наврядъ ли когда-нибудь откроется и когда-нибудь оживитъ“. Эти строки, помѣченныя: „Май 1846“, можетъ быть, говорятъ, о внутреннемъ недовольствѣ въ смыслѣ конечныхъ результатовъ душевнаго процесса, и это недовольство было, конечно, одною изъ всегдашнихъ основныхъ чертъ духовной физіономіи Герцена. Но Фейербахъ все же для него „книга Истины и Любви“, верховный руководитель.

Герценъ, конечно, не могъ въ печати говорить о религіозной проблемѣ во всей ея широтѣ, и отчасти поневолѣ все свое вниманіе сосредоточилъ на личности, какъ на единомъ, что остается прочнымъ и достовѣрнымъ, и на одушевленной защитѣ правъ человѣческаго разума.

Изъ каждой написанной имъ строчки сквозила несокрушимая вѣра въ силы всепостигающаго разума, вѣяло бодрымъ, яснымъ настроеніемъ. „Хвала дерзкому языку, которымъ съ нѣкотораго времени заговорила наука нашего времени,— восклицаетъ онъ въ одномъ мѣстѣ: это кончитъ поскорѣе всѣ недоразумѣнія. (Подъ наукой по преимуществу — разумѣется Герценомъ, конечно, философія, какъ вѣнецъ отдѣльныхъ наукъ). Ей не нужно скрываться, у нея совѣсть чиста; пора говорить просто, ясно; пора все говорить, насколько это возможно. Половина поклонниковъ современной мысли непремѣнно отойдетъ—что за бѣда? Кто отойдетъ, тотъ былъ чужой, тотъ былъ обманутъ. Оставлять что-либо недоговореннымъ—значитъ оставлять возможность ложнаго непониманія; надобно, напротивъ, предупреждать всякое двусмысленное выраженіе — этого требуетъ честность въ наукѣ. Таковъ языкъ Спинозы. Можно съ нимъ ни въ чемъ не соглашаться, но нельзя не остановиться съ уваженіемъ предъ этою мужественною и открытою рѣчью, и вотъ разгадка, почему его вдесятеро болѣе ненавидѣли, нежели другихъ мыслителей, говорившихъ то же, что и онъ“.

Это новое (для тогдашнихъ русскихъ читателей) требованіе простоты, ясности и трезвости философской мысли ставило Герцена въ оппозицію, конечно, не одной только „оффиціальной народности“, а и тѣмъ мнимымъ друзьямъ науки, которыхъ онъ называетъ дилетантами науки, буддистами ея и цеховыми учеными. Дилетанты—это платоническіе поклонники науки, недовольные ею, когда она подрываетъ ихъ предубѣжденія и тревожитъ дешево доставшееся нравственное спокойствіе; буддисты—успокоившіеся на разсудочномъ отвлеченномъ пониманіи, не претворенномъ въ жизнь; цеховые—формалисты, за формою забывшіе содержаніе, метафизики, затерявшіеся въ частностяхъ спеціальныхъ наукъ Вагнеры.

Для Герцена философія осмысливала жизнь, указывая въ хаотическомъ броженіи ея нѣчто несомнѣнное, именно живое человѣческое сознаніе, живую личность человѣка.

„Науку надобно прожить, чтобы не формально усвоить ее себѣ,—со всею силою выстраданнаго убѣжденія пишетъ въ одномъ мѣстѣ Герценъ, выясняя читателямъ эту идею индивидуализма, въ общемъ лежавшую въ основѣ воззрѣній людей сороковыхъ годовъ. — Переломившій ногу полнѣе и тверже всякаго врача знаетъ, какая именно боль при переломѣ. Пострадать феноменологію духа, исходить горячею кровью сердца, горькими слезами очей, худѣть отъ скептицизма, жалѣть, любить многое, много любить и все отдать и[illegible]-такова лирическая поэма воспитанія въ науку. На-

ука дѣлается страшнымъ вампиромъ, духомъ, котораго нельзя прогнать никакимъ заклинаніемъ, потому что человѣкъ вызвалъ его изъ собственной груди и ему *некуда* скрыться. Тутъ надобно оставить пріятную мысль благоразумно заниматься въ извѣстный часъ дня бесѣдой съ философами для образованія ума и украшенія памяти. Вопросы страшные безотходны: куда ни отвернется несчастный, они передъ нимъ, писанные огненными буквами Даніила, и тянутъ куда-то въ глубь, и силъ нѣтъ противостоять чарующей силѣ пропасти, которая влечетъ къ себѣ человѣка загадочною опасностью своей. Змѣя мечетъ банкъ; игра, холодно начинающаяся съ логическихъ общихъ мѣстъ, быстро развертывается въ отчаянное состязаніе; всѣ заповѣдныя мечты, святыя, нѣжныя упованія, Олимпъ и Аидъ, надежда на будущее, довѣріе настоящему, благословеніе прошедшему — все послѣдовательно является на картѣ, и она, медленно вскрывая, безъ улыбки, безъ ироніи и участія, повторяетъ холодными устами: „Убита“. Что еще поставить? все проиграно; остается поставить себя; понтеръ ставитъ, и съ той минуты игра мѣняется. Горе тому, кто не доигрался до послѣдней таліи, кто остановился на проигрышѣ: или онъ падаетъ подъ тяжестью мучительнаго сомнѣнія, снѣдаемый алканіемъ горячей вѣры, или приметъ проигрышъ за выигрышъ и самодовольно примирится со своимъ увѣчьемъ: первое—путь къ нравственному самоубійству, второе—къ бездушному атеизму. Личность, имѣвшая энергію себя поставить на карту, отдается наукѣ безусловно; но наука не можетъ уже поглотить такой личности, да и она сама по себѣ не можетъ уничтожиться во всеобщемъ—слишкомъ просторно. Погубящій душу *найдетъ ее*. Кто такъ дострадался до науки, тотъ усвоилъ ее себѣ не токмо какъ остовъ истины, но какъ живую истину, раскрывающуюся въ живомъ организмѣ своемъ; онъ дома въ ней, не дивится болѣе ни своей свободѣ, ни ея свѣту; но ему становится мало ея примиренія; ему мало блаженства спокойнаго созерцанія и видѣнія; ему хочется полноты упоенія и страданій жизни; ему хочется *дѣйствованія*, ибо одно дѣйствованіе можетъ вполнѣ удовлетворить человѣка. Дѣйствованіе — сама личность“... „Въ разумномъ, нравственно-свободномъ и страстно-энергическомъ дѣяніи,— добавляетъ Герценъ далѣе,—человѣкъ достигаетъ дѣйствительности своей личности и увѣковѣчиваетъ себя въ мірѣ событій. Въ такомъ дѣяніи, человѣкъ вѣченъ во временности, безконеченъ въ конечности, представитель рода и самого себя, живой и сознательный органъ своей эпохи“.

Этотъ широкій индивидуализмъ, вѣра въ творческую роль личности вызываетъ у Искандера въ концѣ статьи воодуше-

вленныя строки о будущемъ, которое, созрѣвая изъ настоящаго, изъ распространенія и сознанія неопровержимой научной истины, принесетъ съ собою осуществленіе требованій ея въ дѣйствительной жизни. „Изъ вратъ храма науки человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ, вдохновенное сознаніемъ: omnia sua secum portans—на творческое созданіе вещи Божіей... Но *какъ* будетъ это? *Какъ*—именно принадлежитъ будущему. Мы можемъ предузнавать будущее, потому что мы посылки, на которыхъ основется его силлогизмъ—но только общимъ, отвлеченнымъ образомъ. Когда настанетъ время, молнія событій разорветъ тучи, сожжетъ препятствія и будущее, какъ Паллада, родится въ полномъ вооруженіи. Но вѣра въ будущее — наше благороднѣйшее право, наше неотъемлемое благо; вѣруя въ него, мы полны любви къ настоящему. И эта вѣра въ будущее спасетъ насъ въ тяжкія минуты отъ отчаянія; и эта любовь къ настоящему будетъ жива благими дѣяніями".

Приведенныя выдержки даютъ понятіе и объ условномъ образномъ языкѣ Герцена, и способѣ его изложенія, и о томъ, какъ общо приходилось ему ставить вопросы. Но этотъ возвышенный и благородный лиризмъ, давшій Боткину поводъ назвать статью Герцена героическою симфоніею, молодое, бодрое, боевое настроеніе, эта безграничная вѣра во всемогущество науки — всеохватывающей руководительницы жизни, философіи — не могли не привлекать молодые умы, даже тогда, когда содержаніе оставалось долею туманно, а захватывали лишь ясныя и свѣтлыя перспективы, открывающіяся освобожденному отъ оковъ традиціи разуму.

„Письма объ изученіи природы", съ ихъ долею столь же отвлеченныхъ построеній новаго міросозерцанія, въ свое время имѣли для русской публики не меньше „воспитывающаго въ науку" значенія. Собственно это есть очеркъ исторіи философіи, предмета, вскорѣ ставшаго вовсе запретнымъ русской публикѣ. Въ изложеніи Герцена смѣна міропониманій во многихъ мѣстахъ вставлена въ рамки культурнаго развитія и борьбы человѣчества и переплетена съ живыми и образными картинами борьбы за свободу мысли и знанія. Въ „письмахъ" кромѣ того настойчиво проводилось значеніе естествознанія, какъ необходимѣйшаго элемента не только практическаго интереса, но какъ основного матеріала для выработки міровоззрѣнія и въ качествѣ воспитательнаго предмета.

Въ это самое время Герценъ и на дѣлѣ занимался естествознаніемъ, снова усердно посѣщая въ университетѣ нѣкоторыя лекціи, какъ вольнослушатель. Въ его „письмахъ" находимъ отголосокъ серьезной вдумчивости въ теоретиче-

скіе вопросы естествознанія. Такъ онъ рѣзко критикуетъ господствовавшія тогда въ физикѣ метафизическія теоріи въ родѣ невѣсомыхъ жидкостей и т. п. Въ своей критикѣ онъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ писавшихъ о Герценѣ, сходится съ Контомъ и является, такимъ образомъ, какъ бы предтечею позднѣйшаго русскаго увлеченія естествознаніемъ и позитивизма.

Мысли, брошенныя здѣсь Герценомъ, какъ и многое другое въ его писаніяхъ, до сихъ поръ живы и не изжиты. „Надобно втолкнуть ихъ (естественныя науки), — пишетъ онъ съ одушевленіемъ въ одной замѣткѣ,—въ потокъ общественнаго сознанія, надобно ихъ сдѣлать доступными, надобно имъ дать форму живую, какъ жива природа, надобно дать имъ языкъ откровенный, простой, какъ ея собственный языкъ, которымъ она развертываетъ безконечное богатство своей сущности въ величественной и стройной простотѣ. Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествознанія воспитать дѣйствительное, мощное умственное развитіе; никакая отрасль знаній не пріучаетъ такъ ума къ твердому положительному шагу, къ смиренію передъ истиной, къ добросовѣстному труду и что еще важнѣе, къ добросовѣстному принятію послѣдствій такими, какими они выйдутъ,—какъ изученіе природы. (Сколько разъ впослѣдствіи повторитъ Герценъ эти слова о „смиреніи предъ истиной!“ — *Авт.*). Имъ бы мы начинали воспитаніе для того, чтобъ очистить отроческій умъ отъ предразсудковъ, дать ему возмужать на этой здоровой пищѣ и потомъ уже раскрыть для него, окрѣпнувшаго и вооруженнаго, міръ человѣческій, міръ исторіи, изъ котораго двери отворяются прямо въ дѣятельность, въ собственное участіе въ современныхъ вопросахъ“.

Такъ теоретическая мысль Герцена далеко опережала свое время, и онъ являлся однимъ изъ необычайно энергичныхъ возбудителей мысли въ новыхъ направленіяхъ. И въ то же время это была мысль, не оторванная отъ жизни, а опредѣленно указывавшая своимъ адептамъ на необходимость именно дѣятельнаго творческаго вмѣшательства въ жизнь.

„Молодежь не только въ университетѣ и лицеѣ сильно читала мои статьи о „Дилетантизмѣ въ наукѣ“ и „Письма объ изученіи природы“,—съ удовольствіемъ вспоминалъ Герценъ черезъ много лѣтъ, — но и въ духовныхъ учебныхъ заведеніяхъ. О послѣднемъ я узналъ отъ графа С. Строганова, которому жаловался на это Филаретъ *), грозившій

*) Московскій митрополитъ, чрезвычайно вліятельный, дѣятельный охранитель тріединыхъ основъ тогдашнихъ.

принять душеоборонительныя мѣры противъ такой вредоносной яствы".

Въ общемъ, конечно, ни въ литературѣ, ни тѣмъ болѣе въ наукѣ того времени у насъ не выступало никого, кто могъ бы хотя сколько-нибудь стать наравнѣ съ Герценомъ въ этой области общихъ философскихъ вопросовъ по широтѣ кругозора, прямотѣ и безстрашію выводовъ. Среди крупныхъ литературныхъ силъ, выдвинувшихся въ сороковые годы прошлаго вѣка, Герценъ, какъ мыслитель, безспорно стоитъ впереди всѣхъ. Въ его теоретическихъ взглядахъ ключъ къ объясненію строя идей не только тѣснаго западническаго кружка. Въ нихъ же первое серьезное обоснованіе міровоззрѣнія, надолго ставшаго въ русской интеллигенціи господствующимъ, имѣющаго въ основѣ представленіе о живой человѣческой личности, какъ единственномъ мѣрилѣ вещей, и отрицающаго традиціонныя основы религіознаго міропостроенія и міропониманія.

2.

Рядомъ съ общефилософскими статьями Герцена стоятъ болѣе доступныя по формѣ и изложенію, да и по предмету, статьи по вопросамъ этики, примыкающія и къ такому полубеллетристическому произведенію, какъ неподражаемая сатира „Докторъ Круповъ".

Въ высшей степени характерно для Герцена, какъ его безпокойный анализъ направляется на явленія обыденной жизни. Это какъ бы предвѣстникъ будущаго отрицанія всего общественно-экономическаго и нравственнаго склада современной жизни въ книгѣ, написанной внѣ стѣсненій николаевской цензуры: „Съ того берега". Пока—за полной невозможностью говорить объ учрежденіяхъ, опредѣляющихъ бытъ, онъ говоритъ о самыхъ бытовыхъ явленіяхъ въ ихъ всѣмъ знакомой, но не останавливающей вниманія повседневности. Его влечетъ то, что уже примелькалось, но при внимательномъ взглядѣ со стороны поражаетъ своею ненормальностью, уродствомъ и неразумiемъ. Въ цѣломъ рядѣ своихъ „капризовъ" Герценъ настаиваетъ предъ читателемъ именно на необходимости анализа обыденнаго, и въ этомъ отношеніи къ обыденному у него мы наблюдаемъ уже въ это время любопытную близость съ такимъ же революціоннымъ въ существѣ своемъ умомъ, какъ у Льва Толстого.

Онъ постоянно „grübelte" надъ этими явленіями обыденности, подобно тому чудаку, которому приписывалъ свои „Капризы и раздумье", эти небрежные по формѣ и удивительные по силѣ и глубинѣ чувства наброски, откуда можно

было бы почерпнуть цѣлые ряды яркихъ афоризмовъ, полныхъ глубокаго знанія человѣческой психологіи.

„Не истины науки трудны,—твердилъ Герценъ,—а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшаго ила, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное... Дѣйствительно трудное для пониманія не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его: частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это; кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ о ней, тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или расплачется до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ: привычка—великое дѣло; это самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ; она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума“.

„Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное, гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого ни сдѣлалась ни менѣе достойна изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточилось подъ крышей каждаго дома, и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, дозволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй, оттого что онѣ подъ самымъ жерломъ“.

Эти мысли, такія глубокія въ ихъ простотѣ, высказаны точно вчера, и, конечно, всегда живо будетъ въ нихъ вызвавшее ихъ чувство. Совпаденіе съ мыслителемъ нашихъ дней тутъ до того полно, точно Л. Толстой только развиваетъ мысль, брошенную Герценомъ. „Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопочутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ

пройдетъ на Невѣ,—но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ и пр., и пр., — объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: онѣ готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобы не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобы не дать развиться угрызеніямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ"...

Мало приносила ему отрады эта безпокойная мысль, направленная на обыденную и безсознательную нелѣпицу и жестокость людскихъ отношеній.

„Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча, — на меня находитъ ужасъ; за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы,—слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь.—Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсненная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непремѣнно кому-нибудь да солоно жить".

Отчего все это? — спрашиваетъ Герценъ въ раздумьи и бросаетъ капризную мысль, позднѣе въ нѣсколько измѣненномъ видѣ блестяще развитую въ „Запискахъ Крупова".— „Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ продолженіе шести тысячъ лѣтъ; оно еще не готово; оттого люди не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой"...

Въ принципахъ личнаго поведенія Герценъ и въ теоріи, и въ жизни чуждъ былъ духа подвижничества и аскетизма. Содержаніе, полнота жизни для него въ томъ, чтобы „ловить настоящее, одѣйствотворить въ себѣ всѣ возможности блаженства". „Подъ нимъ я разумѣю, — говоритъ онъ въ дневникѣ (16 дек. 1844 г.),—и общую дѣятельность, и блаженство знанія, такъ же, какъ блаженство дружбы, любви, семейныхъ чувствъ,—а тамъ что будетъ, то будетъ; на мнѣ отвѣтственность не лежитъ; тотъ отвѣтитъ, кто скрылъ талантъ въ землю, чтобъ его не украли... Развѣ не глупый поступокъ сдѣлаетъ тотъ, который, страстно любя музыку, не пойдетъ ея слушать, имѣя на то возможность. Мнѣ всегда

казались противны и смѣшны люди, изъ какой-то экономіи ощущеній отказывающіеся отъ лучшихъ даровъ жизни; на это имѣютъ право одни безумные религіозники"...

Въ соотвѣтствіи съ этимъ взглядомъ, вызывавшимъ даже упреки Герцену въ избалованности и барской приверженности къ самоуслажденіямъ, построена и вся этика Герцена, совершенно въ духѣ Фейербаха, основанная всецѣло на принципѣ эвдемонизма, личнаго стремленія человѣка къ счастью. Здѣсь Герценъ былъ конечно предшественникомъ ряда русскихъ публицистовъ, болѣе или менѣе послѣдовательно строившихъ свои этическія ученія на томъ же принципѣ. Добролюбовъ, Чернышевскій, Писаревъ, Михайловскій—такова непосредственная преемственность въ этой сферѣ, и конечно, Герценъ былъ здѣсь впереди ихъ по самостоятельности и оригинальности мысли.

„Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія, цѣль жизни,—пишетъ Герценъ въ четвертомъ изъ „писемъ объ изученіи природы" по поводу воззрѣній Эпикура:—все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнью; но вопросъ: въ чемъ состоитъ блаженство человѣка? Для звѣря оно въ сытости и въ слѣдованіи естественнымъ побужденіямъ: для звѣря-человѣка точно также; но не надобно забывать, что человѣкъ-звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства; потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ непремѣнно хочется понуждать человѣка къ добру, заставлять его поступать нравственно, такъ, какъ врачъ заставляетъ принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности: имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? Не приходитъ въ голову требованіе примирить сердце и разумъ такъ, чтобы человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую ношу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія наиболѣе естественномъ ему и признанномъ его разумомъ... Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его, угрызеніе совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ, какъ рабъ, какъ животное, и нѣтъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ"...

Въ духѣ этой эвдемонистической морали всѣ построенія

Герцена о возможныхъ выходахъ изъ той бездны безсознательности и неразумія, въ которой безпомощно бьются люди, принимая готовыя, безсознательно усвоенныя, формы личнаго поведенія и не подозрѣвая, что отъ нихъ-то и происходитъ вся бездна ихъ несчастій и отчаянія. Подчиняясь этимъ готовымъ, другими выдуманными формамъ жизни, мы идемъ въ добровольное рабство въ то время, какъ насъ могъ бы поднять и оживить цѣлый міръ новыхъ отношеній съ людьми, если мы только не замкнемся въ тѣсный міръ именно этихъ готовыхъ формъ. Личная жизнь должна быть полна, нужно чтобы легко и полно дышалось груди, чтобъ сполна опредѣлялись и находили себѣ исходъ и выраженіе всѣ склонности и стремленія человѣка. Но въ мірѣ готовыхъ, извнѣ навязанныхъ формъ нравственности это немыслимо, и только въ непрерывномъ общеніи съ другими личностями, въ единеніи съ ихъ жизнью—нѣкоторый залогъ прочности возможнаго человѣческаго счастья.

Эта проблема личнаго и общаго поставлена Герценомъ въ замѣчательныхъ мысляхъ „По поводу одной драмы". Статья эта навѣяна отчасти личнымъ раздумьемъ Герцена надъ собственными семейными дѣлами, тяжелою подчасъ разладицею съ женою, всѣ интересы которой сосредоточивались около семьи, около личной страстной привязанности. Его всеразлагающій анализъ приходитъ къ мысли, до чего можетъ стать страшна тѣсная сфера исключительно личныхъ семейныхъ отношеній, страшна полною необезпеченностью отъ случайностей, навсегда портящихъ людямъ жизнь. Этихъ случайностей въ жизни такъ много, что строить *все* свое счастіе на одной изъ нихъ, на случайностяхъ чисто личнаго чувства, по меньшей мѣрѣ неразумно. Нужно одно —„не отвергнуться влеченій сердца, не отречься отъ своей индивидуальности и всего частнаго, не предать семейство—всеобщему, но раскрыть свою душу всему человѣческому, страдать и наслаждаться страданіями и наслажденіями современности; работать столько же для рода, сколько для себя,— словомъ, развить эгоистическое сердце во всѣхъ скорбящее, обобщить его разумомъ и въ свою очередь оживить имъ разумъ... По мѣрѣ расширенія интересовъ, уменьшается сосредоточенность около своей личности, а съ нею и ядовитая жгучесть страстей". Нѣтъ этой широты интересовъ, и случайность нераздѣленнаго или утраченнаго чувства навсегда дѣлаетъ человѣка несчастнымъ и безполезнымъ.

Все это представляется Герцену, въ сущности, очень простымъ и яснымъ, но простое-то и трудно для пониманія и усвоенія, и труднѣе всего на самомъ дѣлѣ, а не на словахъ только, проводится въ жизни.

Задумываясь именно надъ этою трудностью претворенія въ жизнь признаннаго разумомъ единственно правильнымъ и желательнымъ, Герценъ нѣсколько разъ наталкивается на парадоксъ о повальномъ безуміи рода человѣческаго, самъ по себѣ не оригинальный, но блестяще развитый въ „Докторѣ Круповѣ“. Это какъ бы вверхъ ногами поставленная мысль Фейербаха о родовомъ познаніи человѣчества, составляющемъ науку въ ея совокупности методовъ и результатовъ знанія.

Съ фигурою доктора Крупова мы встрѣчаемся не только въ „Запискахъ“, но и въ романѣ „Кто виноватъ?“ и не можетъ быть сомнѣнія, что это одно и то же лицо, хотя въ романѣ не упоминается объ его теоріи повальнаго сумасшествія рода человѣческаго, если не считать намекомъ кое-какихъ замѣчаній Крупова о моральныхъ эпидеміяхъ нашего времени.

Круповъ, какъ онъ рисуется въ романѣ,—своеобразная фигура облѣнившагося въ провинціальной жизни человѣка, „но однако человѣка“. „Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что всѣ прекрасныя мечты, великія слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ поселился на вѣки вѣковъ въ NN, и мало-по-малу научился говорить съ разстановкой, носить два платка въ карманѣ: одинъ красный, другой бѣлый. Ничто въ мірѣ такъ не портитъ человѣка, какъ жизнь въ провинціи. Но онъ не совсѣмъ еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки“. Эти огоньки—остатокъ того пыла, съ которымъ онъ когда-то мечталъ о преобразованіи всей науки и погружался въ нее, и они въ провинціи дѣлаютъ его однимъ изъ тѣхъ праведниковъ, которыми городъ стоитъ. „Старый безбожникъ“, убійственной ироніи котораго боятся обыватели до смерти, онъ является въ романѣ типомъ гуманнаго врача, знающаго только больного человѣка, а не больного помѣщика или больную кухарку. Природное благодушіе его покрыто маскою стараго ворчуна. Это проповѣдникъ эгоизма, который въ устахъ его и поведеніи выше многихъ елейныхъ проповѣдей альтруизма.

Отрывокъ—„Изъ сочиненія доктора Крупова: о душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности“—начинается разсказомъ д-ра Крупова о своемъ дѣтствѣ и о томъ, какъ дружба съ деревенскимъ дурачкомъ Лёвкою натолкнула его на желаніе изучать медицину и въ частности психіатрію, вслѣдствіе чего онъ и вышелъ изъ духовнаго званія. Эпизодъ съ Лёвкою принадлежитъ безспорно къ лучшимъ произведеніямъ русской литературы: только у Тургенева, Достоевскаго и Льва Тол-

стого можно найти столь же трогательные дѣтскіе образы. Лёвка натолкнулъ Крупова, въ то время еще скромнаго семинариста, на мысли, преслѣдовавшія его всю жизнь и мало-по-малу сложившіяся въ цѣлую стройную теорію. Герценъ превосходно выдержалъ какъ послѣдовательное развитіе этой теоріи, такъ и оттѣнокъ комическаго семинарскаго педантизма, съ которымъ Круповъ подтверждаетъ свою идею на частныхъ примѣрахъ.

„Съ чего люди, окружающіе его (Лёвку),—спрашивалъ себя Круповъ,—воображаютъ, что они лучше его? Съ чего считаютъ себя въ правѣ презирать, гнать это существо, тихое, доброе, никогда никому не сдѣлавшее вреда?—и какой-то таинственный голосъ шепталъ мнѣ: оттого, что и всѣ остальные—юродивые, только на свой ладъ, и сердятся, что Лёвка глупъ по-своему... И я постоянно возвращался къ основной мысли, что причина всѣхъ гоненій на Лёвку состоитъ въ томъ, что Лёвка глупъ на свой особенный салтыкъ, а другіе повально глупы; и такъ, какъ картежники не любятъ неиграющихъ, и пьяницы непьющихъ, такъ и они не любятъ бѣднаго Лёвку".

Беретъ ли онъ необразованную мѣщанку-кухарку, или якобы образованную чиновную среду, касается ли русскихъ обыденныхъ общественныхъ, гражданскихъ или семейныхъ отношеній—вездѣ Герцену, анализирующему въ нихъ отсутствіе сознанія, не трудно найти богатѣйшій матеріалъ для иронiи и раздумье надъ глубиною человѣческаго неразумія. Въ устахъ Крупова эта, казалось бы банальная, мысль приняла форму яркаго парадокса, и вотъ неожиданно все то, что, казалось, было уже извѣстно, пересказано и переизвѣстно, бьетъ читателю въ глаза, какъ нѣчто совершенно новое, захватываетъ его мысль и чувство, и онъ, смѣясь и негодуя, не можетъ оторваться отъ картинъ, давно повидимому, знакомыхъ, но показанныхъ теперь въ неожиданномъ освѣщеніи подъ новымъ угломъ зрѣнія.

„Записки д-ра Крупова" послужили, между прочимъ, Страхову однимъ изъ поводовъ признать Герцена неисправимымъ пессимистомъ. Но это, очевидно, одна изъ тѣхъ ошибокъ, въ которыя люди впадаютъ при сужденіи о другихъ въ тѣхъ случаяхъ, когда слишкомъ ужъ различны и исходныя точки, и весь складъ міровоззрѣній. Въ теоріи Крупова, какъ развилъ ее Герценъ, мы не встрѣчаемся и съ тѣнью того человѣконенавистничества, которымъ дышитъ, напр., жестокая иронія Свифта, сравнявшаго людей съ презрѣнными ягу и выше ихъ поставившаго лошадей. Нигдѣ у Герцена иронія и добродушная шутка надъ россійскими нравами, надъ слабостями человѣческими, тоскливое порой

раздумье надъ человѣческимъ неразумiемъ и вытекающею изъ него безсознательною жестокостью не переходятъ въ ненависть къ человѣку; во всемъ чувствуется идеальный порывъ къ тому, чѣмъ бы могъ быть человѣкъ; всюду вѣетъ „чаяніемъ будущаго вѣка“; исторія для Крупова не только „связный разсказъ родового, хроническаго безумія“, но и „его медленнаго излеченія“.

Но тотъ бодрый и полный сердечной теплоты тонъ „Записокъ“, который такъ чаруетъ насъ въ этомъ удивительномъ произведеніи, переплетаясь съ ѣдкою ироніей надъ искаженіями идеала человѣка, лучше всего высказывается въ тѣхъ строкахъ, гдѣ Круповъ-Герценъ говоритъ о настроеніи, вызванномъ въ немъ его открытіемъ повальнаго помѣшательства. Истина, что всѣ нелѣпости и несообразности исторіи и современной жизни не что иное, какъ слѣдствіе эпидемическаго разстройства умственныхъ способностей, — эта истина кажется ему несчастною только на первый взглядъ и полною утѣшенія на второй, и она вызываетъ у него слѣдующія задушевныя строки, достойныя истиннаго мудреца, который все постигъ, все простилъ и все готовъ отдать не вѣдающимъ, что творятъ: „Совѣсть моя чиста!— говоритъ Круповъ, предупреждая обвиненія въ желаніи блеснуть новизною, въ гордости и пренебреженіи къ больнымъ,—совѣсть моя чиста! Не гордость и пренебреженіе, а любовь привела меня къ моей теоріи, и когда я совершенно убѣдился въ истинности ея, весь нравственный бытъ мой перемѣнился, мнѣ стало легко, упованія и надежды расцвѣли, какъ въ молодости. Прежняя нетерпимость, готовность порицанія и осужденія замѣнились теплымъ чувствомъ состраданія къ больнымъ, и вмѣсто желанія отвратительной мести за дѣйствія, явнымъ образомъ сдѣланныя подъ вліяніемъ болѣзни, явилось кроткое снисхожденіе и сильное желаніе помочь больному“.

Веселая шутка, которою оканчиваются „Записки“ (съ цѣлью испытать дѣйствіе медикаментовъ на душу и тѣло, въ видахъ исцѣленія человѣчества отъ помѣшательства, докторъ Круповъ испытываетъ на себѣ лѣтъ десять уже дѣйствіе шампанскаго, бургонскаго и проч.), еще разъ подчеркиваетъ то бодрое настроеніе, которымъ проникнуто все это произведеніе. Правда, позднѣе Герценъ устами ученика Крупова, „прозектора Тита Левіаѳанскаго“ подвергъ сомнѣнію благодушныя надежды Крупова, но это относится къ иной уже полосѣ жизни писателя. Въ „Запискахъ“ же Крупова Искандеръ рисуется во весь ростъ, какъ смѣлый, трезвый и благородный мыслитель, бодро смотрящій въ будущее; ѣдкая иронія срывается то и дѣло съ устъ его,—

иронія надо всѣмъ самодовольнымъ и не по праву занимающимъ первенствующее мѣсто въ жизни, но его сердце полно глубокой все постигшей терпимости къ глубинѣ человѣческаго неразумія, это поистинѣ — „всескорбящее сердце“ въ сочетаніи съ огромнымъ разлагающимъ и смѣлымъ умомъ.

Вообще „Докторъ Круповъ“ долженъ быть признанъ изъ всего написаннаго Герценомъ въ Россіи произведеніемъ, наиболѣе полно отразившимъ всѣ лучшія черты таланта его, какъ публициста-художника. Бѣлинскій и Грановскій равно считали эту вещь высшимъ изъ всего написаннаго ихъ другомъ, произведеніемъ, наиболѣе задушевно и полно отразившимъ личность Герцена. Послѣ размолвки съ Герценомъ изъ-за отвлеченнаго философскаго вопроса о личномъ безсмертіи, о чемъ ниже, Грановскій заочно примирился съ нимъ, вчитавшись въ „Крупова“. „Я его слышалъ отъ тебя прежде,—писалъ Грановскій,—но онъ мало произвелъ на меня впечатлѣнія, не знаю почему. Въ „Современникѣ“ онъ напечатанъ съ большими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это просто геніальная вещь! Давно я не испытывалъ такого наслажденія, какое онъ мнѣ далъ. Такъ шутилъ Вольтеръ во время оно, и сколько теплоты и поэзіи; мнѣ отъ него повѣяло тобою, днями, проведенными въ Покровскомъ въ деревянномъ домѣ *). „Круповъ“ снялъ у меня съ души что-то ее сжимавшее, отъ чего ей было неловко съ тобою. Мнѣ кажется, что я опять вижу тебя во всей красотѣ и молодости твоей природы... Дай же руку, carissime! Да здравствуютъ „Записки доктора Крупова“: онѣ были для меня и художественнымъ произведеніемъ, и письмомъ отъ тебя. Изъ нихъ я опять услышалъ твой голосъ, увидѣлъ твое лицо“...

Но не одни близкіе друзья испытывали захватывающую прелесть многихъ страницъ Герцена, это странное и капризное сочетаніе неподдѣльнаго искренняго лиризма, горячаго чувства, ироніи, острой разлагающей мысли, разъѣдающей скептической грусти и рядомъ легкой жизнерадостной остроты. Не меньше, чѣмъ философскія статьи, а вѣроятно, и гораздо больше, читались и всѣ эти „Капризы и раздумье“ съ ихъ обиліемъ легко укладывающихся въ памяти, мѣткихъ, образно выраженныхъ, во все вторгающихся мыслей и афоризмовъ.

„Статьи съ подписью И—ръ,—говоритъ одинъ современникъ,—вырѣзались, покупались на вѣсъ золота, переплета-

*) Покровское — подмосковное имѣніе Яковлева, гдѣ Герценъ прожилъ лѣто 1843 и 1844 гг.

лись въ драгоцѣнный переплетъ, читались съ чувствомъ чуть не религіознымъ, переписывались друзьями счастливыхъ обладателей этого „священнаго преданія“, цитировались при случаѣ и безъ особеннаго повода, до самаго появленія „Полярной Звѣзды“ и „Колокола“. (А. И. Герценъ. Нѣсколько словъ отъ русскаго къ русскимъ. Парижъ, 1870, стран. 5).

Въ „Быломъ и Думахъ“ разсказанъ живо случай, какъ одна изъ этихъ статей Герцена захватила страдавшаго человѣка.

Это былъ нѣкто Энгельсонъ, впослѣдствіи одинъ изъ заграничныхъ друзей Герцена. Юношею, исключенный изъ лицея за какой-то вздоръ, онъ въ Петербургѣ пропадалъ отъ тоски, гнушаясь службою, которую долженъ былъ принять. Не видя никакого выхода для себя, онъ рѣшился отравиться и, за нѣсколько часовъ до исполненія своего намѣренія, пошелъ бродить безъ опредѣленной цѣли по улицамъ, зашелъ къ Излеру (кондитерская) и взялъ книжку „Отечественныхъ Записокъ“. Въ ней была статья „По поводу одной драмы“. Чтеніе мало-по-малу захватило его вниманіе, ему стало легче, ему стало стыдно, что онъ такъ подчиняется горю и отчаянію, когда общіе интересы растутъ со всѣхъ сторонъ и зовутъ все молодое, все имѣющее силы, и Энгельсонъ вмѣсто яда взялъ полбутылки мадеры, еще разъ перечиталъ статью и съ тѣхъ поръ сдѣлался горячимъ поклонникомъ Герцена.

Нѣсколько позднѣе молодежь въ провинціи, по свидѣтельству И. С. Аксакова, всюду говорила о Бѣлинскомъ, какъ о спасителѣ своемъ отъ бездны россійской пошлости. Какъ мы видимъ, такіе „спасенные“ были и у Герцена. О другомъ такомъ спасенномъ, семинаристѣ, который хотѣлъ безъ вѣры и призванія идти по проторенной духовенству дорожкѣ, но котораго Герценъ отговорилъ отъ этого, также разсказано въ „Быломъ и Думахъ“. Такъ, чисто литературное вліяніе Герцена сливалось съ жизненнымъ, ширилось и росло вглубь. Черезъ десять лѣтъ лондонскія изданія Герцена были прежде всего радостно встрѣчены въ Россіи тѣми, кто наизусть зналъ знаменитое письмо Бѣлинскаго къ Гоголю, кто зналъ и цѣнилъ Искандера по „Отечественнымъ Запискамъ“ и „Современнику“.

3.

Чрезвычайное разнообразіе духовныхъ интересовъ неслыханно богатой геніальной натуры Герцена влекло его въ столь различныя сферы, что собственно беллетристическій талантъ его не получилъ полнаго развитія. Онъ и самъ смот-

рѣлъ на свои способности по этой части очень скромно. „Для меня повѣсть—рама для разныхъ сценъ и красокъ",—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ (Кревскому, 23 іюня 1845 г.).

Ему чрезвычайно удавались жанровыя, бытовыя сцены русской жизни, и до сихъ поръ невозможно читать безъ улыбки множества этихъ картинокъ стараго русскаго быта, разсѣянныхъ въ „Докторѣ Круповѣ", романѣ „Кто виноватъ?" и пр. Бѣлинскій справедливо отмѣтилъ, что выводимыя Искандеромъ лица „не суть чистыя созданія фантазіи, это скорѣе мастерски обдѣланные, а иногда и вовсе передѣланные матеріалы, цѣликомъ взятые изъ дѣйствительности", „образы, поразившіе его еще въ дѣтствѣ". Зато гораздо менѣе удавалась Герцену собственно романическая часть, построеніе повѣсти и развитіе въ дѣйствіи и діалогѣ занимавшей его мысли. Въ этомъ отношеніи единственный его романъ: „Кто виноватъ?", конечно, достаточно нестроенъ и слабъ. Тѣмъ не менѣе, бллетристика Герцена представляетъ въ литературномъ развитіи сороковыхъ годовъ прошлаго вѣка—фактъ, чрезвычайно выдающійся. Романъ Тургенева, Гончарова, и др. корифеевъ литературной школы 40-хъ и 50-хъ годовъ затмилъ вскорѣ Герцена, но въ свое время Герценъ стоялъ впереди многихъ по глубинѣ захвата жизни и долею не утратилъ живого значенія для русскаго читателя и по сіе время.

Бѣлинскій въ свое время горячо привѣтствовалъ бллетристику Герцена какъ въ печати, такъ и въ письмахъ. Въ одномъ изъ послѣднихъ находимъ нѣсколько яркихъ мыслей, ключъ къ пониманію особенностей таланта Герцена.

„...Спасибо тебѣ за интермеццо къ „Кто виноватъ?",—писалъ Бѣлинскій 6 апр. 1846 г.:—Я изъ нея окончательно убѣдился, что ты большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Ты не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать; но, вѣдь, и Вольтеръ не былъ поэтъ, не только въ „Генріадѣ", но и въ „Кандидѣ", однако его „Кандидъ" потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями... У тебя, какъ у натуры, но преимущественно мыслящей и сознательной...—талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный и согрѣтый, такъ сказать, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ твоей натурѣ. У тебя страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у тебя много и таланта и фантазіи, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ подчиненнымъ ему началомъ,—нѣтъ, твой талантъ—чортъ его знаетъ—та-

кой же бастардъ или пасынокъ, въ отношеніи къ твоей натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ... Если ты лѣтъ въ десять напишешь три-четыре томика, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, ты—большое имя въ литературѣ, и попадешь не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодѣтельное вліяніе на современность. У тебя свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться также опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго художества. Какъ Носъ въ гоголевской повѣсти того же имени, ты можешь сказать о себѣ: „Я самъ по себѣ“. Дѣятельныя идеи и талантливое ихъ воплощеніе — великое дѣло, но только тогда, когда все это неразрывно связано съ личностью автора и относится къ ней, какъ изображеніе на сургучѣ относится къ выдавившей его печати. Этимъ-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое—даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются въ достоинства. Такъ, напр., къ числу твоихъ недостатковъ принадлежитъ страстишка безпрестанно острить, но въ твоихъ повѣстяхъ такого рода выходки бываютъ удивительно хороши. Пиши, братъ, пиши, какъ можно больше пиши, не для себя, а для дѣла: у тебя такой талантъ, за скрытіе котораго ты вполнѣ заслужилъ бы проклятіе“.

Въ этомъ письмѣ невольно останавливаетъ вниманіе не одно опредѣленіе основныхъ чертъ писательской личности Герцена: преобладаніе надъ всѣмъ остальнымъ огромнаго ума и всепроникающій личный элементъ, отраженіе личности автора, живущей ярко и опредѣленно во всемъ имъ написанномъ болѣе, чѣмъ это можно указать въ творчествѣ другихъ писателей. Еще болѣе поражаетъ въ этомъ письмѣ геніальная угадка будущей роли Герцена, которому критикъ пророчитъ имя не только въ литературѣ, „но и въ исторіи Карамзина“.

Послѣднее было, однако, еще далеко впереди. Какъ ни глубоко сравнительно старался захватить Герценъ русскую жизнь—все таки его рѣчь была рѣчь полунамеками и обиняками.

Ближайшимъ образомъ беллетристика Герцена захватывала двѣ группы явленій: крѣпостной бытъ и семейныя отношенія.

Извѣстно историческое и общественное значеніе литературной дѣятельности Гоголя, особенно двухъ его произведеній — „Ревизора“ и „Мертвыхъ Душъ“. Во второмъ изъ нихъ самъ писатель подчеркнулъ доминирующую черту своего творчества, когда говорилъ о трудности поприща писателя, озирающаго міръ сквозь незримыя слезы и рисующаго обы-

денные типы, пошлыя картины всѣмъ приглядѣвшейся дѣйствительности. Беллетристика второй половины сороковыхъ годовъ, осторожно и отдаленными намеками касавшаяся крѣпостного права, пошла всецѣло по пути, проложенному Гоголемъ. Ничего подобнаго „Хижинѣ дяди Тома“, конечно, не могло появиться у насъ въ то время. Литературѣ пришлось какъ бы мимоходомъ и вскользь набрасывать обыденныя и ничѣмъ не поражавшія, на первый взглядъ, картинки помѣщичьяго и крестьянскаго быта, значеніе которыхъ становилось ясно только во всей ихъ совокупности. Герценъ, такой же страстный поклонникъ Гоголя, какъ и всѣ образованные читатели того времени, также далъ цѣлый рядъ подобныхъ сценокъ и картинокъ, въ своей совокупности рельефно рисовавшихъ всѣмъ приглядѣвшійся крѣпостной бытъ во всей его первобытной прелести.

Въ „Сорокѣ-Воровкѣ“ и „Кто виноватъ?“ мы встрѣчаемъ три сходныхъ характера, изображенныхъ Герценомъ съ особенною любовью, что зависитъ какъ отъ дѣйствительнаго трагизма представленнаго имъ положенія, такъ и отъ тѣхъ родственныхъ чертъ, которыя были въ самомъ писателѣ и въ изображенныхъ имъ герояхъ. Это—три женскихъ образа, вина страданій которыхъ всецѣло въ крѣпостномъ строѣ. Крѣпостная актриса въ „Сорокѣ-Воровкѣ“, не сдающаяся своему господину князю Скалинскому; крѣпостная гувернантка (мать Бельтова въ „Кто виноватъ?“), бросающая на краю гибели въ глаза своему преслѣдователю все свое презрѣніе къ нему; незаконорожденная Любонька (въ томъ же романѣ), таящая въ душѣ молчаливый, но страстный протестъ противъ порядка вещей, сдѣлавшаго ее съ матерью крѣпостною игрушкой въ домѣ Негровыхъ,—таковы излюбленные Герценомъ типы людей, страдающихъ отъ поруганнаго въ нихъ чувства человѣческаго достоинства, отъ болѣзни оскорбленной чести. Это — драма жизни Шевченка и тѣхъ погибшихъ талантовъ изъ крѣпостной среды, самоубійства которыхъ вызвали даже въ 30-хъ годахъ запрещеніе принимать въ академію художествъ крѣпостныхъ. Попытки остановиться именно на этой драмѣ крѣпостническихъ отношеній составляли особенность беллетристики Герцена; изображеніе же обыденныхъ сторонъ крѣпостного быта было у него общимъ съ начинавшими тогда свою карьеру Григоровичемъ и Тургеневымъ.

Романъ „Кто виноватъ?“ произвелъ въ свое время особенное впечатлѣніе не столько постановкою семейнаго вопроса, столько именно изображеніемъ—особенно въ первой части—помѣщичьей заурядной жизни со всѣмъ, что было въ ней душу возмущавшаго,—изображеніемъ настолько полнымъ,

насколько это можно было сдѣлать въ то время въ свойственной Герцену формѣ неуловимой иронiи. Еще Бѣлинскiй подчеркнулъ это обстоятельство, когда писалъ, что въ романѣ Герцена его основная мысль наименѣе интересна. И дѣйствительно, напр., всѣ подробности домашней жизни Негровыхъ—живая картина жизни, всецѣло построенной на рабовладѣльческомъ принципѣ,—гораздо больше говорятъ и теперь воображенiю читателя, чѣмъ, напр., длинныя бесѣды Бельтова и Круциферской во второй части романа. Въ этихъ картинахъ наиболѣе сказались черты художественнаго дарованiя Герцена, которое ярко воспроизводило не все, непосредственно схваченное изъ жизни, а преимущественно то, что такъ или иначе соотвѣтствовало доминирующему настроенiю его мысли, направленной на безсознательную жестокость людскихъ обыденныхъ отношенiй.

„Искандеръ—по преимуществу поэтъ гуманности“,—говоритъ Бѣлинскiй въ печатной статьѣ о „Кто виноватъ?“ „Это-то чувство гуманности и составляетъ, такъ сказать, душу твореній Искандера. Онъ—ея проповѣдникъ, адвокатъ. Выводимыя имъ на сцену лица—люди не злые, даже большею частью добрые, которые мучатъ и преслѣдуютъ самихъ себя и другихъ чаще съ хорошими, нежели съ дурными намѣренiями, больше по невѣжеству, нежели по злости. Даже тѣ изъ его лицъ, которыя отталкиваютъ отъ себя низостью чувствъ и гадостью поступковъ, представляются авторомъ больше какъ жертвы ихъ собственнаго невѣжества и той среды, въ которой они живутъ, нежели ихъ злой натуры“.

„Невѣжество“ и „среда“ въ сущности значили тутъ крѣпостныя отношенiя, крѣпостное право, и Бѣлинскiй явственно подчеркивалъ значенiе романа Герцена, какъ протеста противъ крѣпостного быта, когда тутъ же говорилъ, что публика въ романѣ „Кто виноватъ?“ и въ нѣкоторыхъ произведенiяхъ другихъ писателей нашла больше ближайшихъ къ ней и потому нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ истинъ, чѣмъ, напр., въ „Запискахъ д-ра Крупова“, въ произведенiи гораздо болѣе цѣльномъ и опредѣленномъ.

Какъ произведенiе, ставившее вопросы семейныхъ отношенiй, „Кто виноватъ?“ (какъ и „Сорока-воровка“ съ ея защитою права на чувство) примыкаетъ къ роману Жоржъ-Зандъ, произведенiя которой въ сороковые годы цѣнились необычайно высоко. Да и герой романа Герцена Бельтовъ также нѣкоторыми чертами напоминаетъ Ораса французской поборницы женскаго равноправiя, обличительницы мужского эгоизма и слабоволiя. Мысли Герцена, изложенныя въ статьѣ „По поводу одной драмы“, также нашли отголосокъ въ романѣ: это произведенiе — иллюстрацiя безвыходнаго страда-

нія людей, волей и неволей замкнувшихся въ одной личной жизни, гдѣ все такъ шатко и неустойчиво.

Извѣстно положеніе, въ которое Герценъ ставитъ героевъ повѣсти „Кто виноватъ“. Счастье четы Круциферскихъ, построенное всецѣло на взаимной ихъ привязанности, рушится, какъ только является человѣкъ, по характеру и стремленіямъ болѣе соотвѣтствующій натурѣ энергичной Любоньки, чѣмъ мужъ ея, мечтатель-меланхоликъ. Уже Бѣлинскій указывалъ, однако, что самое развитіе романа Бельтова и Круциферской слабѣе всего въ этомъ произведеніи. Герценъ и самъ понималъ, что пафосъ въ изображеніи любви ему чуждъ, и говоритъ въ одномъ мѣстѣ романа: „Мнѣ музы отказали въ способности описывать любовь: о, ненависть, тебя пою!“ Натянутыя патетическія мѣста у него обрываются невольно ироническою выходкою, въ родѣ упоминанія о пестромъ парижскомъ жилетѣ Бельтова, на который лились горькія слезы Круциферской. Указано было позднѣе Бѣлинскаго и на то, что для тенденціи романа не совсѣмъ удачно выбрана профессія учителя: дѣятельность его, сама по себѣ, a priori, отнюдь не можетъ служить примѣромъ жизни, исключительно замкнутой въ личныхъ интересахъ. Круциферскій представленъ головою выше Медузиныхъ, этой низменной среды провинціальныхъ педагоговъ, но отношеній Круциферскаго къ ученикамъ мы совершенно не знаемъ.

Вообще, романъ, какъ иллюстрація къ напередъ задуманной темѣ, оказался менѣе удаченъ, нежели въ качествѣ собранія яркихъ и живыхъ картинъ русскаго быта, связанныхъ съ крѣпостнымъ правомъ. Основной же вопросъ былъ только намѣченъ. Характерно, какъ формулируетъ тотъ же вопросъ вскорѣ человѣкъ другого поколѣнія. Не „кто виноватъ?“ спрашиваетъ Чернышевскій, а „что дѣлать?“

Но каковы бы, однако, ни были недостатки романа, какъ развитія извѣстной идеи, за нимъ остается заслуга самой постановки предъ русскимъ читателемъ вопроса о семейныхъ отношеніяхъ, не говоря о томъ, что картинки домашняго воспитанія, представленныя, напримѣръ, въ эпизодѣ съ Вавою, до сихъ поръ не утеряли всей живости, а, пожалуй, и жизненности.

Остается остановиться на личности героя романа, Бельтова.

Это, по нѣкоторымъ чертамъ, двойникъ самого Герцена, человѣкъ съ огромными запросами и жаждой жизни, но безъ его огромнаго литературнаго таланта, безъ тѣсной связи съ передовыми дѣятелями тогдашней общественно-литературной жизни и безъ способности къ упорному систематическому труду. Мы отмѣтили выше, что Герценъ и въ

себѣ самомъ находилъ черты Ораса; онѣ перенесены и на Бельтова.

Бельтовъ, дилетантъ, всѣмъ интересующійся и ни къ чему неприлагающій рукъ, занимаетъ мѣсто въ длинномъ ряду типовъ „лишнихъ людей“, которыми такъ охотно занималась наша литература, въ ряду Онѣгина, Печорина, Чацкаго, Тентетникова, Рудина, Райскаго и т. д.

Литература останавливалась, преимущественно на психологическихъ чертахъ людей этого склада; историческая и общественная перспектива оставалась мало освѣщенною. Это были порожденія политическаго и общественнаго рабства, въ которомъ коснѣла Россія, при которомъ не находили разумнаго приложенія силъ лучшіе, образованнѣйшіе умы, и только немногія единицы—какъ дѣятели литературы и науки — находили разумное и удовлетворявшее ихъ, сколько было возможно, живое дѣло. Менѣе талантливые размѣнивались на пустяки, но все же оставались „героями своего времени“, стояли головою выше царства гоголевскихъ персонажей. Таковъ и Бельтовъ.

Бѣлинскому Бельтовъ казался „самымъ неудачнымъ лицомъ во всемъ романѣ“, произвольно превращеннымъ во второй части романа изъ человѣка, жаждавшаго полезной дѣятельности и ни въ чемъ не находившаго ея, по причинѣ ложнаго воспитанія, даннаго ему женевскимъ мечтателемъ,— въ какую-то высшую геніальную натуру, для дѣятельности которой дѣйствительность не представляетъ достойнаго поприща, во что-то въ родѣ Печорина... Но едва ли все это можетъ быть признано безусловно справедливымъ. „Ложное“ воспитаніе Бельтова было ложно, можетъ быть, болѣе всего по несоотвѣтствію человѣческихъ началъ, положенныхъ въ развитіе Бельтова, крѣпостной средѣ, въ которой ему приходилось жить и дѣйствовать. Женевецъ воспитывалъ въ Бельтовѣ врага крѣпостного права, а Бельтовъ сталъ помѣщикомъ - рабовладѣльцемъ, оставивъ лишь всѣ заботы объ имѣніи и крестьянахъ на матери: ложно было, въ сущности, не воспитаніе, а то положеніе, въ которое сталъ Бельтовъ. Но въ немъ же стояли и всѣ остальные представители типа „лишнихъ людей“, да и многіе изъ замѣчательныхъ литературныхъ дѣятелей того времени. При оцѣнкѣ нравственной личности Бельтова безъ оговорокъ это обстоятельство, такимъ образомъ, едва ли можетъ идти въ счетъ.

Если затѣмъ обратиться къ той бездѣятельности, которой предается Бельтовъ, то, въ сущности, противорѣчіе между Бельтовымъ первой и второй части едва ли можетъ быть признано настолько рѣзкимъ, какъ оно представлялось

Репетилову. Карьерой своей Бельтовъ едва ли не напоминаетъ болѣе Чацкаго, чѣмъ Печорина. Какъ о Чацкомъ носятся слухи о связи съ министрами и потомъ о разрывѣ, такъ служебная карьера Бельтова начинается при самыхъ счастливыхъ предзнаменованіяхъ. И самъ онъ увлекается бѣглою ею, но очень скоро расхолаживается, и причины охлажденія слишкомъ ясны по тѣмъ намекамъ, которые разсыпаны Герценомъ. Бельтовъ сопоставленъ со старымъ служакою Осипомъ Евсеичемъ (однимъ изъ множества мастерскихъ портретовъ, разсѣянныхъ въ романѣ), которому развить и воспитать практическій умъ не мѣшали „ни наука, ни чтеніе, ни фразы, ни необыточныя теоріи, которыми мы изъ книгъ развращаемъ воображеніе, ни блескъ свѣтской жизни, ни поэтическія фантазіи". „Осипъ Евсеичъ отъ роду не переходилъ мысленно отъ дѣлопроизводства на бумагѣ къ дѣйствительному существованію обстоятельствъ и лицъ", смыслъ канцелярской дѣятельности былъ для него въ сообщеніи движенія бумагамъ. „Формы не знаетъ, — негодуетъ на Бельтова Осипъ Евсеичъ.—Да кабы не зналъ по глупости, по непривычкѣ—не велика бѣда: когда-нибудь научился бы; а то изъ *ума не знаетъ*: у него изъ дѣла выходитъ *романъ*, а главное-то между пальцевъ идетъ; отъ кого сообщено, достодолжное ли теченіе, кому переслать—ему все равно; это называется по-русски вершки хватать... Три мѣсяца всякій день ходитъ и со всякою *дрянью* носится, горячится, точно отца роднаго, прости Господи, рѣжутъ, а онъ спасаетъ,—ну, куда уйдешь съ этимъ?" Можно себѣ представить, что Бельтовъ, волновавшійся изъ-за всякой „дряни", превращавшій ее въ „романъ", т. е. сознательно видѣвшій за бумагами тѣхъ живыхъ людей, участь которыхъ рѣшалась этими бумагами, оказался непригоднымъ къ служебной дѣятельности.

Совершенно такъ же Бельтовъ оказывается непригоденъ и для службы по выборамъ. По литературнымъ воспроизведеніямъ (хотя бы въ „Пошехонской Старинѣ") мы знаемъ, чѣмъ была эта служба въ дореформенное время, сколько надо было способности угодить, напр., сильнымъ и духу крѣпостничества, чтобы хоть удерживать мѣсто за собою. Для Бельтова все общество, съ которымъ ему пришлось имѣть дѣло, слилось „въ одно фантастическое лицо какого-то колоссальнаго чиновника, насупившаго брови, нерѣчистаго, уклончиваго, но который постоитъ за себя" и Бельтовъ увидѣлъ, что „ему не совладать съ этимъ Голіаѳомъ, и что его не только не собьешь съ ногъ обыкновенной пращей, но и гранитнымъ утесомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I". Для этого собирательнаго обывателя

Бельтовъ былъ „масонишка“, его возненавидѣли, потому что смутно чувствовали въ немъ „протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея“. Ему нечего дѣлать, онъ „лишній“, скиталецъ, который, какъ ни „свѣтелъ мыслью“, какъ ни „чистъ сердцемъ“, по выраженію Некрасова, можетъ быть только „укоризною“ родинѣ.

Бельтовъ „не имѣлъ способности быть хорошимъ помѣщикомъ, отличнымъ офицеромъ, усерднымъ чиновникомъ, а затѣмъ въ дѣйствительности оставались только мѣста праздношатающихся, игроковъ и кутящей братіи вообще; *къ чести* нашего героя должно признаться, что къ послѣднему сословію онъ имѣлъ побольше симпатіи, нежели къ первымъ, да и тутъ ему нельзя было распахнуться; онъ былъ слишкомъ развитъ, развратъ этихъ господъ слишкомъ, слишкомъ грубъ“. Обладай Бельтовъ дѣйствительнымъ художественнымъ или литературнымъ талантомъ, изъ него еще могъ бы выйти полезный дѣятель, но въ качествѣ просто образованнаго и развитого человѣка, который былъ бы на мѣстѣ въ той или другой практической дѣятельности только при другихъ историческихъ условіяхъ, онъ оказался не у дѣлъ и былъ осужденъ на бездѣятельное созерцаніе жизни. Менѣе всего удовлетворяло это, конечно, его самого, и тутъ Бельтовъ и Герценъ—почти двойники: Герценъ также былъ наблюдатель и созерцатель вовсе не по натурѣ, а по положенію, какъ онъ и самъ заявлялъ объ этомъ позднѣе.

„Счастливъ тотъ человѣкъ,—писалъ Герценъ по поводу своего героя,—который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано пріучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь—иди, куда хочешь, во всѣ стороны—воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ совершенно принадлежалъ къ подобнымъ людямъ; онъ былъ лишенъ совершеннолѣтія, несмотря на возмужалость своей мысли; словомъ, теперь, за тридцать лѣтъ отъ роду, онъ, какъ 16-лѣтній мальчикъ, готовился начать свою жизнь, не замѣчая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, черезъ которую входятъ гладіаторы, а та, въ которую выносятъ ихъ тѣла. „Конечно, Бельтовъ во многомъ виноватъ“. Я совершенно съ вами согласенъ, а другіе думаютъ, что

есть за людьми вины лучше всякой правоты. Такъ на свѣтѣ все превратно".

Какъ бы то ни было, и въ романѣ, и въ другихъ беллетрическихъ произведеніяхъ Герцена современники узнавали себя, узнавали, по словамъ Бѣлинскаго, множество „ближайшихъ... нужнѣйшихъ и полезнѣйшихъ истинъ", свою боль и свою любовь. „Это не художественное произведеніе,—писалъ И. Аксаковъ (письмо 11 февр. 1847 г.),—но... въ немъ много чудесныхъ вещей. Такъ тяжело и тоскливо стало у меня на сердцѣ, когда я прочелъ его,—тѣмъ болѣе, что это произведеніе современное, 19-го вѣка, болѣзнямъ котораго мы всѣ болѣе или менѣе сочувствуемъ". Другой современникъ, прочитавшій „Кто виноватъ" только въ 1855 г., въ то время, когда затмившіе вскорѣ Герцена романисты не дали еще своихъ наиболѣе видныхъ произведеній, именно графъ А. Толстой, оцѣнилъ „Кто виноватъ?" совершенно такъ же. „Это—замѣчательная повѣсть, прелестная, одно изъ тѣхъ произведеній, которое останется навсегда и которое не можетъ пройти незамѣченнымъ, такъ какъ написано однимъ сердцемъ.—Стиль очень плохой (въ смыслѣ синтаксиса)... Но какъ чувство—очень хорошо, и *злоба, которая высказывается* въ книгѣ, окупается сердечной глубокостью... Этотъ человѣкъ глубоко чувствуетъ, что онъ пишетъ. И названіе его повѣсти можетъ быть примѣнимо ко многимъ положеніямъ.—Рядомъ съ такими пошлыми вульгарными людьми есть такіе благородные, хорошіе, такіе (вѣрные) правдивые характеры.—Въ самомъ дѣлѣ отличная книга". И Ал. Толстой ставитъ въ заключеніе романъ Герцена выше всѣхъ другихъ произведеній натуральной школы.

Самое полное изображеніе человѣка сороковыхъ годовъ,—высказывается, наконецъ, вполнѣ справедливо одинъ изъ историковъ романа, дано даже не Тургеневымъ. „Задачу эту выполнилъ Герценъ въ „Кто виноватъ?" При всей угловатости нѣкоторыхъ изъ литературныхъ пріемовъ Герцена... ему удалось въ фигурѣ Бельтова выставить передъ нами героя эпохи едва ли не лучше и не рельефнѣе, чѣмъ сдѣлалъ это Тургеневъ въ своемъ Рудинѣ. Бельтовъ, въ самомъ дѣлѣ, олицетворяетъ собою типъ, гораздо болѣе широкій, чѣмъ Рудинъ. Въ немъ совмѣщаются всѣ главныя черты передового человѣка сороковыхъ годовъ—образованіе, гражданская честность, готовность служить родинѣ безкорыстно и вдобавокъ умъ смѣлый и мѣткій... Его романъ съ Круциферской, на который всегда критика обращала особенное вниманіе—не болѣе, какъ эпизодъ изъ его жизни, какъ частный случай, въ которомъ проявляется его характеръ, неустойчивый и неспособный на продолжительное увлеченіе

однимъ и тѣмъ же. Но если въ этой неохотѣ вступать въ активную борьбу и обнаруживается внутренняя несостоятельность типа, то заодно съ ней здѣсь чувствуется и черта иного свойства—нравственная брезгливость, благородная боязнь испортить чужую жизнь возможнымъ разочарованіемъ, словомъ—недовѣріе къ себѣ. И если такое недовѣріе зачастую осуждаетъ дѣятельность на безплодіе, оно предохраняетъ зато отъ тѣхъ некрасивыхъ поступковъ, на которые такъ легко рѣшаются иной разъ черезчуръ размашистыя натуры. Въ концѣ концовъ Бельтовы были все-таки лучшими людьми своего времени. Ихъ уклоненіе отъ прямой борьбы было результатомъ не трусости, а развѣ неохоты марать себѣ руки, да вдобавокъ на такомъ дѣлѣ, отъ котораго практической пользы тогда не предвидѣлось. Что отъ настоящаго плодотворнаго дѣла они умѣли не уклоняться, Бельтовы доказали впослѣдствіи, когда въ роли членовъ законодательныхъ комиссій, посредниковъ, судей и земскихъ дѣятелей, они провели въ жизнь идеалы сороковыхъ годовъ". (К. Головинъ, „Русскій романъ и русское общество").

Литературная дѣятельность Герцена въ сороковыхъ годахъ невольно кажется блѣдною въ сравненіи съ прямою, мужественною рѣчью его въ заграничный періодъ его жизни. Но тѣмъ не менѣе, на фонѣ блѣдной литературно-общественной эпохи, эта дѣятельность все же весьма крупный фактъ. Онъ стоитъ рядомъ съ критикою и проповѣдью Бѣлинскаго, рядомъ съ рѣчью на каѳедрѣ Грановскаго, и во главѣ такъ названной Бѣлинскимъ „натуральной школы" въ беллетристикѣ, продолжательницы гоголевской и пушкинской реалистической традиціи.

Изслѣдователь „Западнаго вліянія въ новой русской литературѣ" подчеркиваетъ въ дѣятельности Герцена за сороковые годы тѣсную связь ея съ западно-европейскими умственными теченіями и вѣяніями, о которыхъ и намъ попутно приходилось говорить не мало. Онъ восхищенъ полнотою отраженія Герценомъ всего сколько-нибудь важнаго и серьезнаго въ этихъ теченіяхъ.

„По силѣ, глубинѣ и широкому захвату умственнаго интереса,—читаемъ здѣсь, — надъ убѣжденнымъ европеизмомъ передовой беллетристики второй половины сороковыхъ годовъ, вдохновленной Бѣлинскимъ, съ ея стремленіемъ служить русскимъ общественнымъ нуждамъ, не поступаясь художественностью,—возвышается непрерывно прогрессирующее въ тѣ годы западничество Герцена, въ непривычномъ русскому читателю сочетаніи совмѣщавшее дѣятельность ро-

маниста, публициста, философа естествознанія, критика, изслѣдователя вопросовъ соціальныхъ. Душевная драма въ „Кто виноватъ?“, — важнѣйшемъ явленіи въ русскомъ психологическомъ романѣ послѣ „Героя нашего времени“,—характеры ея участниковъ и дышащая реальной правдой картина среды—взяты изъ жизни, но на разработкѣ вопроса о любви и женщинѣ, о правахъ женской личности, на характеристикѣ гибнущей Любоньки, на самомъ освѣщеніи роковаго психологическаго конфликта—видны слѣды общаго, идейнаго вліянія Жоржъ-Зандъ, не миновавшаго и этого независимаго ума. Блескъ его журнальной публицистики, боровшейся съ „дилетантами-романтиками въ наукѣ“, то съ учеными „буддистами“, широкая рамка многовѣковаго прогресса естествознанія въ „Письмахъ объ изученіи природы“, первые очерки изъ путешествія въ Европу („Письма изъ Avenue Marigny“ въ „Современникѣ“ 1847 г.), достойныя стать наравнѣ съ парижскими корреспонденціями Берне и Гейне,—все полно разнообразнѣйшихъ возбужденій, идущихъ отъ европейской мысли, творчества, политическихъ движеній“.

Дѣйствительно, по широтѣ и глубинѣ воспринятыхъ отъ Запада идейныхъ возбужденій Герценъ стоялъ впереди всего остального круга западниковъ. Еще оставаясь въ Россіи, онъ въ этомъ условномъ смыслѣ былъ, конечно, вполнѣ европейцемъ, но это не мѣшало остаться ему явленіемъ, вполнѣ самобытнымъ, русской духовной и общественной жизни. Въ будущемъ, и при детальныхъ изученіяхъ источниковъ мысли Герцена въ связи съ развитіемъ его собственной мысли, все же изслѣдователи останутся при взглядѣ на Герцена, какъ на выраженіе русской національной мысли въ одинъ изъ моментовъ ея развитія. Глубоко справедливы слова его самого, какъ опредѣленіе содержанія его жизни: „Господствующая ось, около которой шла наша жизнь, — это *наше отношеніе къ русскому народу, вѣра въ него, любовь къ нему.., и желаніе дѣятельно участвовать въ его судьбахъ*“ („Письма къ противнику“, письмо I).

Да на русской же почвѣ всецѣло возникли и всѣ тѣ особенности, которыя такъ выдѣляли Герцена изъ европейскихъ писателей въ то время, когда онъ выступилъ предъ европейскою публикою. Исторію вліятельнаго участія русскаго сознанія въ европейской жизни нерѣдко начинаютъ съ Тургенева. Первенство здѣсь принадлежитъ, конечно, Герцену, какъ объ этомъ намъ придется еще говорить. Но во всякомъ случаѣ предъ Европою Герценъ выступилъ—и любилъ это подчеркивать—въ качествѣ именно русскаго, нимало не желающаго отрекаться отъ родины и своего народа.

Но въ тогдашней-то Россіи ему было тѣсно и нудно, и

онъ, не удовлетворенный тѣмъ, что могла дать ему литературная дѣятельность при тогдашней цензурѣ, подъ постояннымъ страхомъ новыхъ и новыхъ, незаслуженныхъ и оскорбительныхъ, невыносимыхъ гоненій, продолжалъ тяготѣть и рваться къ свободѣ, прежде всего къ свободѣ, а затѣмъ— труду для той же родины, но труду свободному и полному, должна была естественно прійти своя очередь.

Мы подошли, такимъ образомъ, къ разсказу обо всемъ, что ближайшимъ образомъ обусловило, вызвало и сопровождало отъѣздъ Герцена за границу, рѣзко расколовшій его жизнь на двѣ половины.

XIV.

За границу.

Еще въ Вяткѣ, въ мечтахъ о жизни вмѣстѣ съ Натašей, Герценъ, какъ мы знаемъ, лелѣялъ мысль о поѣздкѣ за границу. Эта мысль провожаетъ его въ Новгородъ. Онъ назначалъ себѣ и другу свиданіе въ Парижѣ на 1845 годъ (см. главу IX). Это не состоялось, но все складывалось для Герцена такъ, что отъѣздъ за границу становился вопросомъ только времени.

Единственный возможный въ ту пору родъ общественной дѣятельности, литература, при полномъ отсутствіи свободы слова, не могла всецѣло захватить Герцена. Съ другой стороны, приходилось то и дѣло думать объ отъѣздѣ, просто для собственной безопасности. Отраженіе этихъ тревогъ находимъ, напр. въ дневникѣ подъ 24—25 января 1844 г., въ разгаръ успѣха лекцій Грановскаго: „Движеніе умственное, безпокойное, ищущее разрѣшеній, говорящее въ Москвѣ, усиливается очевидно. Страшно думать, что когда эту дѣятельность хорошенько разглядятъ, развѣютъ опять по лицу Россіи всѣхъ порядочныхъ людей... Терроръ. Какая-то страшная туча собирается надъ головами людей, вышедшихъ изъ толпы. Страшно подумать; люди, совершенно невинные, не имѣющіе ни практической прямой цѣли, не принадлежащіе ни къ какой ассоціаціи, могутъ быть уничтожены, раздавлены, казнены за какой-то образъ мыслей... Противники мысли объ экспатріаціи совѣтуютъ ѣхать по добру, по здорову“...

И самая Москва все менѣе интересовала Герцена. Онъ съ отвращеніемъ возвращался въ нее осенью 1844 г. изъ села Покровскаго, гдѣ проводилъ лѣто. „Дѣйствительнаго дѣянія, на которое мы бы были призваны, нѣтъ; выдыхаться въ вѣчномъ плачѣ, въ сосредоточенной скорби не есть дѣло. Что же мнѣ дѣлать въ Москвѣ?... О, если бы гдѣ-нибудь въ тепломъ краю годъ—два пожить, пожить дѣятельно и мыслію, и сердцемъ, но безъ толпы“... И Герценъ разражается гнѣв-

ной характеристикой людей, стоящихъ даже выше этой толпы: громитъ „суетнаго“, „просмѣявшагося цѣлую жизнь“, Хомякова, Аксакова, безумнаго о Москвѣ, и т. д.

Въ то же время тревожили душу письма изъ-за границы друзей, ихъ сообщенія о житьѣ на свободѣ. Бакунинъ печатался въ заграничныхъ свободныхъ изданіяхъ, и Герцена волновалъ „языкъ свободнаго человѣка“: „Онъ дикъ намъ, мы не привыкли къ нему“ (2 марта 1845 г.). Огаревъ, мягкій, медлительный Огаревъ, духовное развитіе котораго шло тѣмъ-же путемъ что и у Герцена, настойчиво писалъ другу: „Герценъ! А, вѣдь, жить дома нельзя! Подумай объ этомъ. Я убѣжденъ, что нельзя. Человѣкъ, чуждый въ своемъ семействѣ, обязанъ разорвать съ своимъ семействомъ... Только выговоренное убѣжденіе свято, жить несообразно съ своимъ принципомъ есть умираніе. Прятать истину есть подлость... Наконецъ, есть святая обязанность быть свободнымъ. Мнѣ надоѣло все носить внутри, мнѣ нуженъ поступокъ! Мнѣ— слабому, нерѣшительному, непрактичному, dem Grübelndem— нуженъ поступокъ. Что-же послѣ того вамъ, болѣе меня сильнымъ?“... И Герценъ все серьезнѣе задумывается надъ мыслью объ эмиграціи, но,—пишетъ онъ въ дневникѣ,—„не для того, чтобъ жить тамъ праздному и проживать все свое состояніе пошло; такое употребленіе богатства въ наше время преступно. Да и такая жизнь за границей—безнравственное бѣгство“ (3 октября 1845 г.).

Остаться навсегда въ Россіи, наконецъ, кажется ему просто ужасно: „И какъ эти три года, пройдутъ годы еще и еще, и мы состарѣемся, и яснѣе увидимъ, что жизнь потеряна“...

Вдобавокъ къ этому его мало-по-малу охватываетъ сознаніе, что съ самыми близкими друзьями-единомышленниками у него нѣтъ полнаго единства, что онъ въ неугасимой работѣ своей скептической мысли далеко опередилъ ихъ, что даже въ передовой молодой Россіи его уму тѣсно.

Эта тѣснота встрѣчала его даже тогда, когда онъ требовалъ отъ мысли друзей той же послѣдовательности, съ какою самъ относился къ основнымъ нравственно-философскимъ вопросамъ человѣческаго бытія. „Будь горячъ или холоденъ!— пишетъ онъ для себя въ качествѣ руководящаго принципа мысли:—А главное будь консеквентенъ (т. е. послѣдователенъ), умѣй subir (принять) истину во весь объемъ“ (22 окт. 1842 г.). Эту непослѣдовательность онъ усматриваетъ въ лекціяхъ Грановскаго, который, „не имѣя твердости сдѣлаться свирѣпымъ имманентомъ (какъ выражается Хомяковъ)“, разрѣшаетъ роковые вопросы „поэзіей, антропоморфизмомъ всеобщаго etc.“ (28 нояб. 1843 г.). Потомъ онъ

„душевно смѣется“ надъ стараніями нѣкоторыхъ членовъ западническаго кружка, Рѣдкина и др., во что бы то ни стало примирить требованія разума и религіи... „Этимъ господамъ страшно, они имѣютъ голосъ въ груди, препятствующій идти до этихъ результатовъ. Хорошо, ну, такъ принять, что путь, который привелъ къ нелѣпости, ложенъ, и надобно отбросить науку,—опять трусость и непослѣдовательность“ (4 мая 1844 г.). Наконецъ, онъ прямо негодуетъ на себя за слабость по отношенію къ двойственности друзей, записывая въ дневникѣ 18 окт. 1844 г.: „Наши личныя отношенія много вредятъ характерности и прямотѣ мнѣній. Мы, уважая прекрасныя качества лицъ, жертвуемъ для нихъ рѣзкостью мысли. Много надобно имѣть силъ, чтобы плакать и все-таки умѣть подписать приговоръ Камилла Демулена!“ *).

Такъ постепенно подготовлялся расколъ между Герценомъ и Огаревымъ съ одной стороны и Грановскимъ съ друзьями—съ другой. Въ „Быломъ и Думахъ“ Герценъ подробно разсказалъ о „злыхъ спорахъ“, которые разыгрались въ кружкѣ лѣтомъ 1846 г. Въ красивыхъ и величественныхъ образахъ Герценъ говоритъ, какъ друзья дошли до „сѣдыхъ утесовъ, о которые бились, отъ семи греческихъ мудрецовъ до Канта и Гегеля, всѣ, дерзавшіе думать“, и какъ они боялись „ѣхать прямо и убѣдиться, что это вовсе не скалы, а одинъ туманъ, фантастически освѣщенный“. Кромѣ Бѣлинскаго, Герценъ расходился со всѣми, главное съ Грановскимъ и Е. Коршемъ. Молодежь, съ которой снова сошелся Герценъ при своихъ занятіяхъ въ университетѣ, въ аудиторіяхъ и анатомическомъ театрѣ, ставила ему на видъ разницу во взглядахъ между нимъ и любимымъ профессоромъ. На дачѣ въ Соколовѣ, гдѣ снова въ лѣто этого года собрался прежній кругъ, съ придачею пріѣхавшаго изъ-за границы Огарева, разладъ вылился, наконецъ, явною и довольно рѣзкою размолвкою. Послѣ раздраженнаго обмѣна мнѣній по поводу одной статьи Герцена, которую Грановскій хвалилъ, но выводовъ которой не хотѣлъ признавать, онъ заявилъ, что „никогда не приметъ сухой, холодной мысли единства тѣла и духа“: „съ ней исчезаетъ безсмертіе души. Можетъ, вамъ его не надобно, но я слишкомъ много схоронилъ, чтобъ поступиться этой вѣрой. Личное безсмертіе мнѣ необходимо“. — Когда Герценъ и Огаревъ попробовали продолжать,—„Послушайте,—возразилъ Грановскій, блѣдный и придавая себѣ видъ посторонняго,—вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мною говорить объ этихъ

*) Приговоръ К. Демулену былъ подписанъ прежнимъ его другомъ Робеспьеромъ.

предметахъ, мало ли есть вещей занимательныхъ и о которыхъ толковать гораздо полезнѣе и пріятнѣе". Разговоръ на этомъ оборвался, но между друзьями пролегла—„межа-предѣлъ и съ тѣмъ вмѣстѣ цензура". Герценъ и Огаревъ грустно сказали другъ другу въ одинъ голосъ: „Итакъ, видно, мы опять одни!"...

Но и помимо вопроса нравственно-религіознаго, не говоря о мелкихъ поводахъ къ недоразумѣніямъ личнаго свойства, возникали въ кружкѣ и другія существенныя разногласія, и между Герценомъ и Грановскимъ оказывалось большое разстояніе. Это были вопросы соціальные, особенно вопросъ о значеніи теорій, именно тогда получившихъ кличку *соціализма*.

Мы упоминали уже о внимательномъ изученіи со стороны Герцена всей тогдашней общественно-политической французской литературы.

Замѣчанія Герцена, разсѣянныя въ его дневникѣ, обрисовываютъ его со стороны самаго горячаго сочувствія новымъ стремленіямъ умовъ въ Европѣ. Здѣсь онъ находилъ продолженіе тому движенію, которое такъ занимало его на университетской скамьѣ, и не удивителенъ поэтому его жадный интересъ къ новымъ теченіямъ въ соціализмѣ.

Вычитанный имъ въ заграничныхъ газетахъ случай въ Ліонѣ (попытка къ самоубійству голодной четы рабочихъ) даетъ ему поводъ къ такимъ соображеніямъ о соціальномъ строѣ будущаго: „Общественное управленіе собственностями и капиталами, артельное житье, организація работъ и возмездій, и право собственности, поставленное на иныхъ началахъ. Не совершенное уничтоженіе личной собственности, а такая инвеститура обществомъ, которая государству даетъ право общихъ направленій. Фурьеризмъ, конечно, всѣхъ глубже раскрылъ вопросъ о соціализмѣ" и т. д. (18 февраля 1843 г.).

„Необходимость соціальнаго переворота,—пишетъ онъ по поводу книги Луи Блана: „Dix ans",—теперь стала очевидна... Измѣненіе правъ собственности, коммунальная жизнь, организація работъ—вопросы, занимающіе всѣхъ, видящихъ далѣе носа... Франціи принадлежитъ великая иниціатива этого переворота. Она ему положила начало конвентомъ. Болѣзненно достигаетъ она до осуществленія. Достигнетъ ли когда? Все равно, человѣчество ей не забудетъ первый шагъ". (29 іюня 1843 г.).

Въ іюнѣ 1844 г. Герценъ съ увлеченіемъ читаетъ Консидерана „La destinée sociale", дѣлаетъ выписки, ставитъ его даже выше самого Фурье. „Разборъ современности превосходенъ, становится страшно и стыдно". Впрочемъ, вос-

хищеніе не мѣшаетъ и критическому отношенію. „Хорошо, чрезвычайно хорошо, но не полное рѣшеніе задачи. Въ широкомъ, свѣтломъ фаланстерѣ ихъ тѣсновато; это устройство одной стороны жизни, другимъ неловко“ (26 іюня).

Въ концѣ 1844 г. онъ увлеченъ знаменитою брошюрою Прудона о собственности съ ея парадоксальнымъ выводомъ, что собственность не что иное, какъ кража. „Прекрасное произведеніе, не токмо не ниже, но выше того, что говорили и писали о ней... развитіе превосходно, мѣтко, сильно, остро и проникнуто огнемъ“ (3 декабря).

Книга Gfrörer'a: „Geschichte der geistlichen Kirche“, даетъ Герцену поводъ къ проведенію и ранѣе занимавшей его параллели между современнымъ состояніемъ человѣчества и міромъ предъ распространеніемъ христіанства. „Въ наше время соціализмъ и коммунизмъ... предтечи новаго міра общественнаго; въ нихъ разсѣянно существуютъ membra disjecta будущей великой формулы, но ни въ одномъ опытѣ нѣтъ полнаго лозунга... ученія эти велики тѣмъ, что они возбудятъ, наконецъ, истинно народное слово — какъ Евангеліе“...

Въ этихъ замѣткахъ, набросанныхъ со всею непосредственностью мысли, только что возбужденной книгою или газетою, легко можно угадать начало многихъ послѣдующихъ взглядовъ и идей Герцена. Такъ, онъ и позднѣе принимаетъ лишь съ большими оговорками построенія соціализма, въ которыхъ видитъ то или иное стѣсненіе личности; онъ неоднократно возвращался и къ сопоставленію первыхъ временъ христіанства съ новѣйшимъ кризисомъ міровой жизни. Но такъ или иначе по своему дневнику Герценъ обрисовывается со стороны вполнѣ опредѣленныхъ симпатій къ европейскому соціализму (въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова) и, конечно, одно это дѣлало его положеніе въ Москвѣ, особенно въ тогдашней Москвѣ, довольно отчужденнымъ. Въ то время, какъ въ Петербургѣ образовывался кругъ лицъ, принимавшихся за тѣ же книги, которыми послѣ Гегеля занялся Герценъ (это такъ называемые „петрашевцы“, т. е. привлеченные по дѣлу Петрашевскаго въ 1848—49 гг.), въ Москвѣ этого не было. Но во всякомъ случаѣ *общіе взгляды* Герцена на соціальный вопросъ, какъ на единственно важный вопросъ новѣйшей исторіи, возвращаясь къ симпатіямъ сенъ-симонизма, отлились въ опредѣленную форму именно въ Москвѣ и въ это время. И онъ, конечно, былъ совершенно правъ, напоминая впослѣдствіи, что онъ „соціалистъ не со вчерашняго дня“. Напримѣръ, онъ повторялъ мысли, брошенныя уже въ дневникѣ, когда писалъ въ 1864 г. въ „Письмахъ къ противнику“: — „Я рѣшительно не вижу

выхода изъ всеобщаго импасса образованнаго міра, кромѣ старческаго обмиранія или соціальнаго переворота, крутого или идущаго исподволь, нарастающаго изъ жизни народной или вносимаго въ нее теоретическою мыслью, — все равно. Вопросъ этотъ нельзя обойти, онъ не можетъ ни устарѣть, ни сойти съ череды, онъ можетъ быть оттертъ, заставленъ другими, но онъ тутъ, какъ скрытая болѣзнь, и если онъ не постучится въ дверь, когда всего меньше думаютъ, то постучится смерть".

Въ какомъ видѣ представлялся Герцену въ это время путь соціальнаго переворота, не совсѣмъ ясно. Повидимому, онъ первоначально былъ увѣренъ въ его дѣйствительной непосредственной близости. Издалека такъ, пожалуй, оно и могло казаться. Вглядываясь въ противорѣчія и вопросы, возникшіе во Франціи, куда все время обращается его мысль, Герценъ предвидитъ, что завязавшіяся тамъ узлы могутъ быть развязаны только кровью.

Тогдашній европейскій соціализмъ, по разсказамъ Анненкова, представителямъ русской интеллигенціи „открывалъ блестящія перспективы во всѣ стороны и развертывалъ передъ глазами лучезарную фантастически освѣщенную даль, которой и границъ не было видно". Въ московскомъ кружкѣ, Грановскій, признавая въ соціализмѣ историческое явленіе огромной важности, не увлекался, однако, въ противоположность Герцену, перспективами будущаго соціально-справедливаго строя и видѣлъ въ отвлеченномъ характерѣ тогдашняго соціализма его крайне слабую сторону. „Соціализмъ,— говорилъ онъ, по словамъ Анненкова,—чрезвычайно вреденъ тѣмъ, что пріучаетъ отыскивать разрѣшеніе задачъ общественной жизни не на политической аренѣ, которую презираетъ, а въ сторонѣ отъ нея, чѣмъ себя и ее подрываетъ". Воинствующіе манифесты соціализма, грозившіе походомъ на буржуазный міръ, отталкивали Грановскаго. Герцену и и Бѣлинскому они не казались столь губительными. Оставаясь внѣ того или другого направленія или школы соціализма, не превращая его требованій въ какой-либо догматъ вѣры, они „оба смотрѣли прямо и открыто въ лицо всѣмъ симптомамъ разложенія, грозившимъ, по ихъ мнѣнію, Европѣ со стороны соціализма, не призывая, но и не ужасаясь развалинъ, которыя онъ долженъ произвести. Они думали, что изъ пепла старой цивилизаціи Европы возникнетъ фениксъ— новый порядокъ вещей, какъ вѣнецъ и послѣднее слово ея тысячелѣтняго развитія".

Впослѣдствіи Герценъ, повидимому, не любилъ подробно вспоминать о первыхъ своихъ увлеченіяхъ соціализмомъ въ сороковые годы, подобно тому, какъ неохотно вспоминалъ

свой мистическій періодъ. Кое-что остается здѣсь неяснымъ,— какъ бы то ни было, споры о судьбахъ соціализма служили однимъ изъ лишнихъ поводовъ къ разногласіямъ съ друзьями. Нельзя, конечно, не признать, что Грановскій былъ въ этихъ спорахъ часто болѣе правъ, чѣмъ его пылкій и увлекавшійся другъ, впослѣдствіи и самъ, тяжкимъ, личнымъ опытомъ убѣдившійся, что соціальный переворотъ—дѣло не нѣсколькихъ лѣтъ... Но пока Герценъ рвался за границу не безъ мысли быть свидѣтелемъ именно соціальныхъ, а не политическихъ только перемѣнъ и переворотовъ.

Смерть старика Яковлева развязала Герцену руки и сдѣлала его въ это самое время совершенно самостоятельнымъ.

Иванъ Алексѣевичъ скончался 6 мая 1846 года такимъ-же замкнутымъ въ своемъ гордомъ одиночествѣ, какъ и жилъ. Онъ завѣщалъ почти все недвижимое имѣніе племяннику Голохвастову, все движимое и капиталы матери Герцена и ему съ братомъ. Въ числѣ условій завѣщанія было отпустить на волю „всѣхъ дворовыхъ людей, *хорошо и усердно* служившихъ“. На Герцена хлынули со всѣхъ сторонъ „какіе-то дворовые прошлыхъ поколѣній“, „разбитые на ноги старики и уменьшившіяся въ ростѣ и закоптѣвшія отъ лѣтъ старухи“... съ сыновьями, дочерьми и внучатами. Герценъ подумалъ и сталъ выдавать всѣмъ явившимся свидѣтельства о безпорочной дворовой службѣ. „Голохвастовъ,—по словамъ Герцена,—очень хорошо понялъ, что половина этихъ незнакомцевъ никогда не была на службѣ, но, видя мои свидѣтельства, велѣлъ всѣмъ писать отпускныя; когда мы ихъ подписывали, онъ, почесывая пальцемъ волосы, сказалъ мнѣ, улыбаясь:—Я думаю, мы тутъ и чужихъ нѣсколько человѣкъ отпустили“. Такъ, благодаря рѣшительности Герцена, получило свободу нѣсколько десятковъ семей крѣпостныхъ.

Въ итогѣ Герценъ оказался владѣльцемъ каменнаго дома въ Москвѣ, совладѣльцемъ съ матерью имѣнія въ Костромской губерніи, и значительнаго по тому времени капитала до пятисотъ тысячъ рублей. Однимъ изъ обвиненій, которое впослѣдствіе часто выдвигалось противъ Герцена, было утвержденіе, будто вывезенныя имъ изъ Россіи средства онъ получилъ отъ продажи и эксплоатаціи своихъ крѣпостныхъ. Въ дѣйствительности ничего подобнаго не бывало, такъ какъ Герценъ не успѣлъ воспользоваться никакими доходами съ костромскаго имѣнія, оно не было даже заложено, и въ 1849 г. было секвестровано правительствомъ въ отместку за эмиграцію.

Совершенно неожиданно, даже богатое наслѣдство послужило поводомъ къ охлажденію отношеній между Герценомъ и нѣкоторыми изъ пріятелей. Появленіе какого-нибудь се-

ребрянаго подноса или канделябра въ его новомъ хозяйствѣ поражало ихъ какъ бы нѣмотой: искренность и веселіе пропали, встрѣчаясь съ готовымъ комфортомъ.

Одною изъ побудительныхъ причинъ рваться за границу было для Герцена, наконецъ, здоровье жены, требовавшее и леченія, и перемѣны въ условіяхъ жизни. Гдѣ-то въ глубинѣ таились пока условія будущаго разрыва и тяжелой драмы между ними... И Наталья Александровна давно не была прежнею мистически восторженною Наташею времени Вятки и Владиміра.

„Не въ книгѣ и книгой освободилась она,—писалъ Герценъ впослѣдствіи,—а ясновидѣніемъ и жизнью. Но важныя испытанія, горькія столкновенія, которыя для многихъ прошли бы безслѣдно, провели сильныя бразды въ ея душѣ и были достаточнымъ поводомъ внутренней глубокой работы. Довольно было легкаго намека, чтобъ отъ послѣдствія къ послѣдствію она доходила до того безбоязненнаго пониманія истины, которое тяжело ложится и на мужскую грудь. Она грустно разставалась со своимъ иконостасомъ, въ которомъ стояло такъ много завѣтныхъ святынь, облитыхъ слезами печали и радости: она покидала ихъ, не краснѣя, какъ краснѣютъ большія дѣвочки своей вчерашней куклы. Она не отвернулась отъ нихъ, она ихъ уступила съ болью, зная, что она станетъ отъ этого бѣднѣе, беззащитнѣе, что кроткій свѣтъ мерцающихъ лампадъ замѣнится сѣрымъ разсвѣтомъ, что она дружится съ суровыми равнодушными силами, глухими къ лепету молитвы, глухими къ загробнымъ упованіямъ. Она тихо отняла ихъ отъ груди, какъ умершее дитя, и тихо опустила ихъ въ гробъ, уважая въ нихъ прошлую жизнь, поэзію, данную ими, ихъ утѣшенія въ иныя минуты. Она и послѣ не любила холодно касаться до нихъ, такъ, какъ мы минуемъ безъ нужды ступать на земляную насыпь могилы“.

Горькими испытаніями, о вліяніи которыхъ такъ грустно-поэтически писалъ Герценъ, долею были, если вспомнить необычайно тѣсную связь ея религіознаго чувства съ восторженнымъ поклоненіемъ своему Александру, конечно, сомнѣнія въ самомъ Александрѣ. Потерявъ,—что было, конечно, неминуемо рано или поздно, — безусловную въ него вѣру, потрясенная смертью дѣтей, она незамѣтно разсталась и со своими религіозными вѣрованіями. Повидимому также, для нея нѣкоторое время оставался непонятнымъ этотъ быстрый поворотъ въ религіозныхъ взглядахъ мужа, и въ новыя умонастроенія его, кажется, она не была сразу посвящена... Все это грозило въ будущемъ осложненіями... А пока и она мечтала о заграницѣ, тѣмъ болѣе, что разладъ между мужьями вызвалъ отголоски и въ средѣ подругъ ея.

Такъ, отъѣздъ за границу, безъ опредѣленнаго покамѣсть рѣшенія тамъ навсегда и остаться, былъ рѣшенъ безповоротно. Но надо было одолѣть еще множество препятствій со стороны правительства.

Еще раньше, въ 1843 г. Герценъ просился за границу для поправленія здоровья жены, но получилъ отъ Государя отказъ. Въ началѣ 1845 г. онъ получилъ разрѣшеніе на пріѣздъ въ Петербургъ, но, вѣроятно, по болѣзни отца могъ воспользоваться этимъ разрѣшеніемъ только въ октябрѣ этого года.

Здѣсь въ литературныхъ кругахъ онъ встрѣченъ съ чрезвычайнымъ вниманіемъ. „Вообще я и не предполагалъ, что мои статьи имѣютъ здѣсь и тотъ ходъ, и ту извѣстность“— писалъ онъ не безъ удовольствія женѣ. И самъ онъ произвелъ выдающееся изъ ряду впечатлѣніе на множество людей. Цензоръ Никитенко, почему-то въ этомъ году почти совершенно забросившій свой извѣстный „дневникъ“, берется за него, чтобы отмѣтить посѣщеніе Герцена: „замѣчательный человѣкъ“. Даже Гоголь, живѣйшимъ образомъ заинтересовался по письмамъ друзей восходящимъ свѣтилой русской литературы, не смотря на все свое тогдашнее нелюдимство. „Я слышалъ о немъ очень много хорошаго“,—пишетъ онъ въ это время въ одномъ письмѣ:—„О немъ люди *всѣхъ партій* отзываются, какъ о благороднѣйшемъ человѣкѣ. Это лучшая репутація въ нынѣшнее время. Когда буду въ Москвѣ, познакомлюсь съ нимъ непремѣнно, а покуда извѣстите меня, что онъ дѣлаетъ, что его болѣе занимаетъ, и что предметомъ его наблюденій“. Такъ, личная извѣстность Герцена выходила уже въ это время далеко за предѣлы узкаго круга единомышленниковъ.

Послѣ долгой и досадной канители сношеній съ III-мъ Отдѣленіемъ Герцену удалось добиться надежды на скорое совершенное снятіе надзора. Послѣ такого снятія заграничный паспортъ можно было получить и безъ вѣдома Верховной Власти. Убѣдившись, что надзоръ, дѣйствительно, будетъ снятъ, Герценъ поспѣшилъ вернуться въ Москву для приготовленія къ заграничному путешествію, трудному и по докучливымъ хлопотамъ полицейскаго свойства: надо было выправить паспорты для всей семьи и спутниковъ, и по всѣмъ условіямъ зимняго путешествія на лошадяхъ *).

---

*) Сохранился разсказъ графа Сологуба, какъ получилъ заграничный паспортъ одинъ молодой человѣкъ по просьбѣ Государыни, предъ которой за него ходатайствовалъ Сологубъ. „Нѣсколько разъ Императрица возобновляла объ этомъ разговоръ, и всегда получала одинъ и тотъ-же отвѣтъ: „Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ“; но, наконецъ, согласился онъ и точно pro memoria

Заграничный паспортъ, выданный министромъ внутреннихъ дѣлъ Перовскимъ 9 декабря 1846 года, давалъ Герцену съ женою и тремя дѣтьми отпускъ изъ Россіи на 6 мѣсяцевъ въ Италію и Германію для леченія жены. О Парижѣ, куда собственно собирался Герценъ, даже не упоминалось.

19-го января *) 1847 г. Герценъ съ семьею, съ матерью и двумя подругами Натальи Александровны, М. Ѳ. Коршъ и М. К. Эрнъ, тронулись въ дальній путь. Хотя не было рѣчи о томъ, что Герценъ не вернется, „всѣ какъ бы встрепенулись и почувствовали, что съ отъѣздомъ его измѣняется и общая жизнь кружка“ (Пассекъ). Дорога лежала Герцену чрезъ Тверь и Лифляндію до Таурогена. Нѣсколько троекъ съ друзьями провожали отъѣзжающихъ до первой почтовой станціи Черныя Грязи. „Мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и рыдая разстались“— вспоминалъ Герценъ. Провожали его братъ Егоръ Ивановичъ, Грановскіе, Корши, Сатинъ, Щепкинъ, Кетчеръ, Астраковы и др., и разлука брала, дѣйствительно, за сердце всѣхъ, плакали не однѣ женщины, но и мужчины.

„Былъ уже вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу... Вы смотрѣли печально вслѣдъ, не догадываясь, что то были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были налицо, одного только недоставало, ближайшаго изъ близкихъ. Онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣздѣ“...

Это былъ Огаревъ, уѣхавшій въ свое Акшино Пензенской губ., вскорѣ по возвращеніи Герцена изъ Петербурга и удержанный тамъ болѣзнью.

Дорога затянулась до границы почти на двѣ недѣли. До Таурогена проводили ихъ часто поминаемый въ біографіи Герцена Зонненбергъ и кормилица дочери Герцена. 31 января на границѣ и они оставили провожаемыхъ.

„...унтеръ-офицеръ отдалъ мнѣ пассы; небольшой старый солдатъ въ неуклюжемъ киверѣ, покрытомъ клеенкой, и съ ружьемъ неимовѣрной величины и тяжести, поднялъ шлагбаумъ; уральскій казакъ съ узенькими глазками и широ-

---

проговорилъ:—„Хорошо, но за послѣдствія не отвѣчаю“. Молодому человѣку выдали паспортъ, и онъ отправился въ Лондонъ. Звали его Александръ Ивановичъ Герценъ“. (Воспоминанія гр. Сологуба. Спб., 1887, стр. 134—135). Въ этомъ эффектномъ разсказѣ справедливо, что Сологубъ просилъ за Герцена Императрицу, но это было предъ освобожденіемъ его изъ Новгорода, такъ что развѣ къ этому моменту можно отнести слова Николая I; они, во всякомъ случаѣ, вполнѣ вѣроятны, въ характерѣ его.

*) У Герцена ошибочно указано 21-е января.

кими скулами, державшій поводья своей небольшой лошаденки, шаршавой, растрепанной и сплошь украшенной ледяными сосульками, подошелъ ко мнѣ „пожелать счастливаго пути“; грязный, худой и блѣдный жиденокъ-ямщикъ, у котораго шея была обвернута раза четыре какими-то тряпками, взбирался на козлы.

„...Жиденокъ тронулъ коней, возокъ двинулся, я смотрѣлъ назадъ, шлагбаумъ опустился, вѣтеръ мелъ снѣгъ изъ Россіи на дорогу, поднимая какъ-то вкось хвостъ и гриву казацкой лошади.

„Кормилица въ сарафанѣ и душегрѣйкѣ все еще смотрѣла намъ вслѣдъ и плакала; Зонненбергъ, этотъ образчикъ родительскаго дома, эта забавная фигура изъ дѣтскихъ лѣтъ, махалъ фуляромъ; кругомъ безконечная степь снѣгу.

„—Прощай, Татьяна! Прощайте, Карлъ Ивановичъ!

„Вотъ столбъ и на немъ обсыпанный снѣгомъ *одноглавый* и худой орелъ съ растопыренными крыльями.

„Прощайте!“

Поѣздка Герцена за границу, окончившаяся разлукою съ родиною навсегда, провела рѣзкую грань въ его жизни.

Немногіе, какъ Бѣлинскій, отдавали себѣ въ это время ясный отчетъ въ размѣрахъ духовныхъ силъ Герцена или могли бы даже провидѣть будущее значеніе отъѣзда Герцена. Но провожая его за границу съ рыданіями, съ надрывомъ въ душѣ, московскій кружокъ западниковъ смутно чувствовалъ значеніе утраты для интеллигентной Москвы, да и не для одной Москвы.

Смутно угадывалось, что здѣсь можетъ утеряться для непосредственнаго вліянія на умы русскихъ людей сила исключительнаго размѣра и оригинальности. Провожали не только друга, не только крупный литературный талантъ, но именно общественно-двигательную силу, общественный талантъ. Ни для кого изъ тогдашнихъ мыслящихъ людей не было секретомъ, что вся тогдашняя литература и журналистика въ наиболѣе яркихъ своихъ проявленіяхъ играла, съ критикою Бѣлинскаго во главѣ въ широкомъ смыслѣ слова освободительную роль, революціонизируя умы. Для вдумывавшихся въ тогдашнее литературное и умственное броженіе, въ которомъ Герценъ занималъ не послѣднее мѣсто, напримѣръ, знаменитое письмо къ Гоголю Бѣлинскаго, этотъ ярый протестъ противъ русскаго самодержавно-крѣпостного строя, не было въ тѣ годы, конечно, неожиданностью. Недаромъ же это письмо по свидѣтельству современника было заучено на память во всѣхъ концахъ Россіи каждымъ учителемъ гимназіи. Герценъ съ

своей стороны призывалъ во всеоружіи науки, или точнѣе освобожденной отъ оковъ традиціи мысли—„къ разумному, нравственно-свободному и страстно-энергическому дѣянію“, призывалъ къ выходу „изъ вратъ храма науки—съ гордымъ и поднятымъ челомъ—на творческое созданіе веси Божіей“. Все это, какъ призывъ къ практическимъ, жизненнымъ вопросамъ, приводило къ непосредственному столкновенію съ вопросами политическими, и на этой почвѣ было и выросло значеніе Искандера до размѣровъ очень крупнаго общественно-политическаго факта.

Съ этой стороны литературная дѣятельность Герцена въ Россіи была прекрасно оцѣнена довольно давно въ заграничномъ журналѣ Лаврова „Впередъ“ (1875 г., № 22). По указанію автора статьи (вѣроятно, самого Лаврова), Герценъ „проповѣдникамъ теоретическаго успокоенія на философскихъ вопросахъ и примиренія съ дѣйствительностью съ самаго начала противопоставилъ важность практическихъ общественныхъ вопросовъ и преступность примиренія съ гнусною дѣйствительностью... Онъ былъ главнымъ двигателемъ поворота къ практическимъ вопросамъ вообще и къ политическимъ въ особенности, совершившагося въ нашей литературѣ въ концѣ сороковыхъ годовъ... Онъ возродилъ политическую традицію двадцатыхъ годовъ, но уже не какъ отдѣльное отрывочное либеральное стремленіе по иностраннымъ образцамъ, а какъ обдуманную систему, соглашенную съ особенностями русскаго народа и русской исторіи, систему, которая мало-по-малу расширяла политическій вопросъ до размѣровъ соціальнаго“.

Во всей полнотѣ тогдашняя роль Герцена могла выясниться только позднѣе, въ заграничный періодъ его жизни. Строго говоря, въ Россіи, дома онъ работалъ и жилъ какъ бы въ ожиданіи чего-то другого, настоящаго, не удовлетворяясь тою ареною, какую могла дать подцензурная—да еще подъ цензурою николаевскаго времени!—журналистика.

На русской почвѣ въ тѣ годы не было и не могло быть никакой реальной возможности къ мало-мальски осмысленной общественной работѣ, прямой и непосредственно вліятельной, къ которой рвался Герценъ. Даже не было надежды и увѣренности въ возможности при бдительномъ надзорѣ за литературными дѣятелями устроить личную жизнь такъ, какъ вздумается. Герценъ поневолѣ, съ заложеннымъ въ немъ отъ природы и развитіемъ, неугасимымъ стремленіемъ къ самостоятельности и независимости, рвался за границу прежде всего ради самого себя, не задаваясь опредѣленными планами сколько-нибудь серьезно. Ему просто надо было разъ въ жизни вздохнуть свободно, „узнать—

для воли иль тюрьмы на этотъ свѣтъ родимся мы", „протянуться вволюшку!"—какъ въ сказкѣ царевичу, засмоленному въ бочкѣ, въ сказкѣ, которую онъ еще въ Вяткѣ примѣнялъ къ себѣ. Только тамъ, впереди, въ Европѣ грезилась, наконецъ, именно эта творческая, зиждущая работа освобожденнаго умственно человѣчества по созданію „веси Божіей", золотого вѣка сенъ-симонистовъ. Примкнуть къ этой работѣ казалось издали обаятельнымъ для истомленнаго годами политическаго рабства, высшимъ счастьемъ и блаженствомъ человѣка. Дома не было исхода силамъ, требовавшимъ живого дѣла и производительной работы изо дня въ день. Казалось, что тамъ, за рубежомъ, среди свободныхъ людей, въ центрѣ огромныхъ назрѣвшихъ вопросовъ соціальной жизни всего человѣчества, впереди—разрѣшеніе всѣхъ сомнѣній, прямая, ясная дорога, полный расцвѣтъ личной жизни, полный захватъ въ интенсивную, насущную, дающую полное удовлетвореніе, творческую общественную работу.

Но и подъ одноглавымъ орломъ, которому обрадовался было Герценъ при переѣздѣ за границу, его ждало разочарованіе, не менѣе, если не болѣе, жестокое, чѣмъ все пережитое и испытанное имъ подъ орломъ двуглавымъ...

Въ заграничномъ періодѣ жизни Герцена, его общественно-политическая роль, только намѣтившаяся въ русскіе годы, выразилась сполна. Послѣ многихъ лѣтъ скитаній и внутренней борьбы, онъ на нѣсколько лѣтъ выступаетъ вліятельнѣйшимъ дѣятелемъ русскаго освободительнаго движенія. Эта сторона его жизни долго обращала на себя исключительное вниманіе. Но тамъ же, за границею вполнѣ развернулся его художественный талантъ, тамъ же вполнѣ опредѣлились его исключительныя силы, какъ своеобразнаго не укладывающагося ни въ какія готовыя рамки мыслителя. Изъ русскихъ людей онъ первый выступаетъ на европейской умственной аренѣ, какъ вполнѣ равноправный съ другими боецъ свободной мысли. Но русская жизнь, интересы родины, боль русской души,—какъ бы ни казалось неопредѣленно это послѣднее выраженіе,—опредѣлили собою и основной фонъ и содержаніе заграничнаго періода его жизни, который теперь предъ нами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ГЕРЦЕНЪ ЗА ГРАНИЦЕЙ.

ГЕРЦЕНЪ въ 1845 г.

Литографія съ портрета К. А. Горбунова.

„Господствующая ось, около которой шла наша жизнь,—это—наше отношеніе къ русскому народу, вѣра въ него, любовь къ нему и желаніе дѣятельно участвовать въ его судьбахъ“.

Герценъ, „Письма къ противнику“, I.

I.

Медовый мѣсяцъ заграничной жизни.

Первый заграничный городъ, съ которымъ познакомился Герценъ, былъ прусскій Кенигсбергъ, показавшійся ему необыкновенно милымъ и свободно жизнерадостнымъ.

„...На дворѣ былъ теплый зимній день, солнце свѣтило, съ крышъ капалъ талый снѣгъ, и я вдругъ помолодѣлъ, точно нѣсколько лѣтъ съ костей долой; мнѣ показалось, что всѣ встрѣчные смотрятъ весело и прямо въ глаза, и я сталъ смотрѣть весело и прямо въ глаза“.

„...И мы были веселы, тяжелая плита была снята съ груди, непріятное чувство страха, щемящее чувство подозрѣнія отлетѣли...

„Кенигсбергъ былъ первый городъ, гдѣ я отдохнулъ отъ двѣнадцатилѣтнихъ преслѣдованій, тамъ я почувствовалъ наконецъ, что я на волѣ“...

Въ Германіи Герценъ пробылъ очень недолго. Надъ нею тяготѣло клеймо традицій Священнаго реакціоннаго Союза государей Европы, а также и особое соглашеніе русскаго, прусскаго и австрійскаго правительствъ о взаимной выдачѣ злоумышленниковъ противъ престола и правительства. Да сверхъ того Герценъ хорошо зналъ нѣмецко-русскую бюрократію съ Бенкендорфами и Дубельтами и, отдавая полную дань уваженія нѣмецкой наукѣ и философіи, не имѣлъ охоты входить въ нѣмецкую вялую и размѣренную жизнь.

„Берлинъ, Бельгія,—все это быстро профѣяло передъ глазами; мы смотрѣли на все полу-равнодушно, мимоходомъ; мы торопились доѣхать, и доѣхали наконецъ.

„...Я отворилъ старинное, тяжелое окно въ Hôtel du Rhin, передо мной стояла колонна—

...съ куклою чугунной,
Подъ шляпой, съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками, сжатыми крестомъ.

„Итакъ, я дѣйствительно въ Парижѣ, не во снѣ, а на яву: вѣдь это Вандомская колонна и rue de la Paix.

„Въ *Парижѣ*—едва-ли въ этомъ словѣ звучало для меня меньше, чѣмъ въ словѣ „Москва". Объ этой минутѣ я мечталъ съ дѣтства. Дайте-же взглянуть на Hôtel de Ville, на café Foy въ Пале-Роялѣ, гдѣ Камиллъ Демуленъ сорвалъ зеленый листъ и прикрѣпилъ его къ шляпѣ, вмѣсто кокарды, съ крикомъ: à la Bastille!

„Дома я не могъ остаться; я одѣлся и пошелъ бродить зря... искать Бакунина, Сазонова—вотъ rue St.-Honoré, Елисейскія поля—всѣ эти имена, сроднившіяся съ давнихъ лѣтъ... да вотъ и самъ Бакунинъ"...

Анненковъ вспоминаетъ, какъ явился къ нему въ Парижѣ Герценъ, „хорошо выбритый, по русскому обычаю, съ волосами, зачесанными на затылокъ, и въ долгополомъ сюртукѣ, который странно мѣшалъ его порывистымъ движеніямъ" и какъ быстро онъ сбросилъ московскій отпечатокъ, усвоивъ всѣ манеры и наружность парижанина.

Чрезъ двадцать лѣтъ Герценъ съ большою проніею изображалъ приподнятое настроеніе русскихъ людей, добравшихся до Парижа. „Дома имъ нечего было уважать, кромѣ грубой силы и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ поражаемъ острымъ идолопоклонствомъ. Онъ впадалъ въ экстазъ предъ всѣми людьми и предъ всѣми вещами, предъ швейцарами и философіею Гегеля, передъ картинами берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все больше и больше до самаго Парижа. Поиски за знаменитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ; человѣкъ, говорившій съ Пьеромъ Леру или Бальзакомъ, съ Викторомъ Гюго или Евгеніемъ Сю, чувствовалъ, что онъ уже не равенъ себѣ равнымъ. Я зналъ одного достойнаго профессора, который провелъ разъ вечеръ у Жоржъ-Зандъ; этотъ вечеръ, подобно какому-то геологическому перевороту, раздѣлилъ его существованіе на двѣ части...

„...Каюсь, что я сначала былъ увлеченъ и думалъ, что

поговорить въ кафе съ историкомъ „десяти лѣтъ“ или у Бакунина съ Прудономъ—нѣкоторымъ образомъ чинъ, повышеніе; но у меня всѣ опыты идолопоклонства и кумировъ не держатся и очень скоро уступаютъ мѣсто полнѣйшему отрицанію“.

Однако, тогдашняя живая, кипящая умственная жизнь и соціально-политическое броженіе Парижа, дѣйствительно, могли увлечь и менѣе воспріимчивую натуру. Это былъ пышный расцвѣтъ газетъ, публичныхъ лекцій, общественнаго значенія изящной литературы. На очередь становилась борьба за избирательную реформу, приведшая въ концѣ концовъ къ революціи. Рабочій классъ жадно усваивалъ лозунги и теоріи тогдашнихъ вождей политическаго и соціальнаго радикализма. Чрезъ Бакунина и Сазонова Герценъ быстро вошелъ въ кругъ интересовъ крайнихъ демократическихъ кружковъ и сталъ здѣсь своимъ человѣкомъ.

Образъ жизни русскихъ парижанъ того времени Анненковъ не совсѣмъ несправедливо называетъ „забавою“. „Дѣло шло тутъ преимущественно объ удовлетвореніи любопытства, раздражаемаго безустанно явленіями каждаго текущаго дня“. Но въ томъ, что для большинства, въ самомъ дѣлѣ, было забавою, въ томъ для Герцена было ожиданіе новыхъ путей жизни человѣчества, исканіе, глубокое и искреннее, признаковъ наступленія новаго міра и стремленіе найти и свое мѣсто въ предстоящемъ обновленіи человѣчества.

Среди дѣятелей тогдашней французской и международной демократіи живою струею билось чувство международной солидарности интересовъ демократій разныхъ странъ. Это чувство вскорѣ нашло себѣ выраженіе въ образованіи въ Лондонѣ международныхъ комитетовъ изъ руководителей революціонной эмиграціи, и т. п. Космополитическая струя захватила и Герцена, и по крайней мѣрѣ первое время пребыванія въ Парижѣ его могла радовать самая мысль чувствовать себя прежде всего европейцемъ. Блестящее образованіе, полное пониманіе всѣхъ вопросовъ, занимавшихъ европейскую демократію, личныя дарованія ставили Герцена въ уровень талантливѣйшихъ людей Запада. Онъ сразу становится съ ними на равной ногѣ, и съ теченіемъ времени завоевываетъ симпатіи столькихъ выдающихся людей Запада, какъ можетъ быть никто другой изъ людей того же космополитическаго круга „горныхъ вершинъ“ европейской демократіи.

Россія въ тѣ годы извѣстна была на Западѣ и въ частности во Франціи преимущественно своими „фасадами“, не внушала къ себѣ ни уваженія, ни интереса, а развѣ опасливое отношеніе, и предубѣжденіе ко всѣмъ русскимъ было

едва ли не общимъ. „Уже до 1848—49 гг.,—говоритъ историкъ,—Николай предсталъ предъ Франціей, какъ смертельный неутомимый и неутолимый врагъ свободы и правъ гражданина не только въ раздавленной Польшѣ, но и въ Россіи, во имя якобы „величія" которой работали Нессельроде и Паскевичъ. Общественное мнѣніе было вполнѣ подготовлено къ тому, что самодержавіе всегда вмѣшается всюду, гдѣ возможно будетъ поддержать чужое рабство... Во время общеевропейскаго кризиса 1848 — 49 гг., особенно же съ весны 1849 г., когда Николай сталъ обнаруживать явныя намѣренія вмѣшаться въ европейскія дѣла и послать армію въ Венгрію,—грозное значеніе для Европы русскаго самодержавія ярко предстало предъ общественнымъ сознаніемъ. Достаточно просмотрѣть такія умѣренныя и отчасти реакціонныя газеты, какъ „Temps" и „Journal des Dèbats" за первые мѣсяцы 1849 года, чтобъ оцѣнить то раздраженіе, смѣшанное съ живѣйшимъ безпокойствомъ, которое внушалъ Николай... Венгерская же кампанія 1849 года только усилила эти чувства. За эпоху 1848—49 гг. сначала европейскіе троны, а потомъ сама революція по очереди оказывались безсильными и побѣжденными, и одна только сила—сила русскаго царя оставалась въ полномъ обладаніи всегдашняго престижа. Это-то особенно пугало и безпокоило. И кромѣ того, даже Турцію считали болѣе близкою къ духу вѣка и гуманности, нежели петербургское правительство, которое только тѣмъ и отозвалось на современныя движенія, что грозило залить ихъ кровью русскихъ солдатъ.

„...Можно сказать, что со времени паденія Наполеона, съ 1814 года, силы Россіи никогда такъ высоко не цѣнились въ Европѣ, какъ въ 1849—51 годахъ.

„...Оторопь предъ силою царизма сказывается и во всей французской прессѣ этихъ лѣтъ, въ прогрессивныхъ органахъ это чувство смѣшивается со злобою, въ реакціонныхъ и умѣренныхъ съ почтеніемъ и какъ будто завистью къ благенному порядку въ Россіи, который обнаруживаетъ такую стойкость" (Тарле, „Самодержавіе Николая I и франц. общ. мнѣніе", „Былое", 1906, окт., стр. 144—146).

Каждый русскій, входя въ западное общество, долженъ былъ, чтобъ равноправно быть въ немъ принятымъ, заставить забыть, что онъ русскій, а слѣдовательно, варваръ. Не могъ отъ гнета предубѣжденій уйти и Герценъ, и если вѣрить одному полицейскому донесенію, онъ даже малодушно пытался иногда скрывать, что онъ русскій, а выдавалъ себя за пруссака.

Очень скоро, какъ увидимъ, Герценъ находитъ себя. Предъ людьми Запада онъ выступитъ именно, какъ русскій,

но не въ качествѣ снисходительно допущеннаго въ космополитическую среду исключенія, а равноправнымъ съ остальной демократіей представителемъ, хотя и случайнымъ, Россіи будущаго, Россіи свободной; онъ присоединитъ ея голосъ къ хору международной демократіи и выступитъ равноправно съ нею критикомъ западной культуры *).

Онъ съ первыхъ же шаговъ своихъ въ Парижѣ „бросился въ это сверкающее море отважныхъ предположеній, безпощадной полемики, всевозможныхъ страстей"... При своей блестящей подготовкѣ къ соціально-политическимъ интересамъ, волновавшимъ Парижъ, онъ не стѣснялся ни въ языкѣ, ни въ средствахъ, чтобы создать и поддерживать широкій кругъ интересныхъ знакомствъ. Герценъ, по выраженію Анненкова, очень скоро сдѣлался, на ряду съ Бакунинымъ, „изъ зрителя и галлереи участникомъ и солистомъ во всякихъ демократическихъ и соціальныхъ хорахъ. Подъ электрическимъ дѣйствіемъ всѣхъ возбуждающихъ элементовъ города, живая природа Герцена мгновенно пустила въ стороны ростки необычайной силы и роскоши... Онъ начиналъ *удивлять* людей, и немного прошло времени съ его пріѣзда, какъ около него сталъ образовываться кругъ болѣе, чѣмъ поклонниковъ, а такъ сказать, *любовниковъ* его, со всѣми признаками страстной привязанности".

Въ числѣ послѣднихъ находился, между прочимъ, извѣстный эмигрантъ поэтъ Георгъ Гервегъ, который потомъ внесъ столько горя и страданія въ личное и семейное существованіе Герцена, авторъ гремѣвшихъ тогда „Gedichte eines Lebendigen" (стихотворенія живого), съ ихъ бурными революціонными тенденціями и неоправдавшимися предсказаніями о близкомъ подъемѣ народовъ и торжествѣ надъ „тиранами".

„Герценъ и Бакунинъ собирали дань этого изумленія, смѣшаннаго почти со страхомъ, едва не на каждомъ шагу. Они постоянно, послѣ встрѣчи со знакомыми и незнакомыми лицами, оставляли ихъ въ раздумьи насчетъ загадочныхъ натуръ такой силы мысли, такой смѣлости воззрѣній и языка, остающихся одинокими экземплярами развитія среди своихъ земляковъ.

„Домъ Герцена сдѣлался подобіемъ Діонисіева уха, гдѣ ясно отражался весь шумъ Парижа, малѣйшія движенія и волненія, пробѣгавшія на поверхности его уличной и интеллектуальной жизни" (Анненковъ, „Замѣчательное десятилѣтіе").

*) Подробно отношенія Герцена и людей Запада обрисованы въ статьяхъ М. Гершензона: „Герценъ и Западъ" („Русская Мысль", 1907, 3), и „Западные друзья Герцена" („Былое", 1907, 4 и 5) и „Письма Герцена къ Мишле" („Былое", 1907, 7).

Увлекаясь потокомъ парижской жизни, Герценъ, по словамъ Анненкова, даже началъ для русскихъ изданій повѣсть изъ временъ великой французской революціи съ русскимъ героемъ посреди ея. Начало повѣсти было послано въ Россію, но, конечно, не могло появиться.

„Послѣ первыхъ шумныхъ дней,—вспоминалъ онъ впослѣдствіи,—начались болѣе серьезные разговоры, причемъ сейчасъ обнаружилось, что мы строены не по одному ключу. Сазоновъ и Бакунинъ были недовольны, что новости, мною привезенныя, больше относились къ литературному и университетскому міру, чѣмъ къ политическимъ сферамъ. Они ждали разсказовъ о партіяхъ, обществахъ, о министерскихъ кризисахъ, объ оппозиціи (въ 1847 году!), а я имъ говорилъ о кафедрахъ, о публичныхъ лекціяхъ Грановскаго, о статьяхъ Бѣлинскаго, о настроеніи студентовъ и даже семинаристовъ. Они слишкомъ разобщились съ русской жизнью и слишкомъ вошли въ интересы „всемірной“ революціи и французскихъ вопросовъ, чтобы помнить, что у насъ появленіе „Мертвыхъ душъ“ было важнѣе назначенія двухъ Паскевичей фельдмаршалами...“ Бакунинъ и Сазоновъ были близки къ кружкамъ польской эмиграціи, но и здѣсь, даже въ наиболѣе способной къ пониманію русскаго умственнаго движенія, въ группѣ польскихъ демократовъ—„желали имѣть свѣдѣнія о какомъ-то заговорѣ, подкапывающемъ все государственное зданіе Россіи и спрашивали, участвуетъ ли въ немъ Ермоловъ“. Отталкивалъ Герцена и мистическій, даже католическій колоритъ ихъ воззрѣній: польскій мессіанизмъ, проповѣдуемый Мицкевичемъ и Товянскимъ, наконецъ, поклоненіе наполеоновской идеѣ, доходившее у нѣкоторыхъ до набожнаго обнаженія головы предъ статуею Наполеона,—все это, конечно, было совершенно чуждо трезвому и скептическому уму Герцена.

Не могло долго удержаться и очарованіе Западомъ, вообще, не чуждое ему, какъ и другимъ западникамъ, когда повседневная жизнь, далекая отъ правды, красоты и поэзіи, стала мелькать ежедневно передъ широко, жадно раскрытыми глазами Герцена, такого внимательнаго и вдумчиваго наблюдателя.

Имъ послано въ это время въ „Современникъ“ нѣсколько писемъ, которыя назывались: „Письма изъ Avenue Marigny“, а потомъ вошли въ составъ книги: „Письма изъ Франціи и Италіи“. Въ самыхъ первыхъ изъ этихъ писемъ мы находимъ еще оттѣнокъ восхищенія не только, напримѣръ, французскимъ искусствомъ, которое въ новомъ свѣтѣ открылось предъ нимъ на сценѣ, но и внѣшними культурными формами парижской жизни, особенно разительными въ сравне-

ніи съ русскими крѣпостными нравами, что осторожно и подчеркивалось.

Со свойственною Герцену склонностью углубляться въ міръ обыденныхъ, всѣхъ равно захватывающихъ, отношеній, онъ и въ блестящей парижской жизни пораженъ, однако, ея изнанкою, ея низменною складкою, узостью въ массѣ духовныхъ интересовъ. Вблизи блекнутъ яркія на первый взглядъ краски, и основнымъ опошливающимъ фономъ парижской жизни рисуется широкое господство отнюдь не духовныхъ и соціальныхъ интересовъ, но самой мелкой „буржуазности", мѣщанства. И вотъ, уже въ письмахъ „изъ Avenue Marigny" все рѣзче проскальзываютъ разочарованіе, негодованіе и досада на внутреннюю жестокость жизни, на неумолимый гнетъ при всей культурной внѣшности сытыхъ надъ голодными и слабыхъ надъ сильными. Письма при всей ихъ кажущейся небрежности и случайности содержанія такъ ярко и живо рисуютъ парижскую жизнь и ея злобы дня, что и до сихъ поръ читаются легко, какъ образецъ литературно-общественнаго фельетона, а въ свое время имѣли и болѣе серьезное значеніе. „Это арабескъ,—писалъ объ этихъ письмахъ записной цѣнитель художественности В. П. Боткинъ, — въ которомъ шутка сливается съ глубокой мыслью, сердечный порывъ съ летучею остротою". Но Боткинъ оспаривалъ проявившееся въ этихъ письмахъ враждебное отношеніе къ буржуазіи и отстаивалъ за нею права на извѣстное уваженіе, какъ за носительницею извѣстныхъ болѣе передовыхъ политическихъ формъ, чѣмъ тѣ, которыми могла похвастать Русь. Такъ, эти письма явили собою въ русской публицистикѣ по вопросамъ западно-европейской жизни первый примѣръ освѣщенія ея не со стороны только сопоставленія съ русскою жизнью, но и со стороны освѣщенія внутренней соціально-политической сущности Запада.

Сущность эта—господство, самое откровенное, интересовъ крупной и мелкой буржуазіи—въ концѣ концовъ стала отталкивать Герцена отъ парижской жизни, его потянуло въ новыя мѣста. „Невидимый Парижъ тайныхъ обществъ, работниковъ, мучениковъ идеи и мучениковъ жизни, задвинутый пышными декораціями искусственнаго покоя и богатства, не существовалъ для иностранца. Видимый Парижъ представлялъ край нравственнаго растлѣнія, душевной устали, пустоты, мелкости... „Вся „Франція ценза", т.-е., пользующаяся избирательными правами, не будитъ въ Герценѣ, наконецъ, ничего, кромѣ „желанія оскорбительной насмѣшки". Франція, внѣ ценза стоящая—трудовой, рабочій Парижъ—не вызываетъ въ немъ этого чувства, но ни теперь, ни послѣ Герцену не удалось серьезно спуститься въ этотъ міръ, и

напр., извѣстные тургеневскіе разсказы: „Человѣкъ въ темныхъ очкахъ“ и „Наши послали“ говорятъ, что Тургеневу, также попавшему въ Парижъ въ это время, гораздо глубже удалось заглянуть въ психологію рабочаго парижскаго населенія. Какъ бы то ни было, „смерть въ литературѣ, смерть въ театрѣ, смерть въ политикѣ, смерть на трибунѣ, ходячій мертвецъ Гизо съ одной стороны и дѣтскій лепетъ сѣдой оппозиціи съ другой“—такой итогъ парижской жизни въ концѣ концовъ погналъ Герцена въ половинѣ октября 1847 г. изъ Парижа.

„Мнѣ хотѣлось отдохнуть, хотѣлось моря, теплаго воздуха, пышной зелени и людей, не такъ истасканныхъ, не такъ выжившихъ изъ сердца“... Все это Герценъ нашелъ въ Италіи, не безъ основанія носившей тогда прозвище „географическаго только понятія“, но уже бурно стремившейся къ объединенію, къ политическому освобожденію и объединенію внутри и къ національному освобожденію отъ ига Австріи.

„Я нравственно выздоровѣлъ, переступивъ границу Франціи,—писалъ Герценъ,—я обязанъ Италіи обновленіемъ вѣры въ свои силы и въ силы другихъ; многія упованія снова воскресли въ душѣ; я увидѣлъ одушевленныя лица, слезы, я услышалъ горячія слова. Безконечная благодарность судьбѣ за то, что я попалъ въ Италію въ такую торжественную минуту ея жизни“... Природа Италіи, итальянское искусство, какъ ни привлекали Герцена и ни занимали,—все было заслонено этимъ національно-политическимъ подъемомъ, вѣяніемъ духа свободы. Особенно сильныя впечатлѣнія были пережиты Герценомъ въ Римѣ и въ Неаполѣ. Въ дни волненій и манифестацій онъ жилъ на площадяхъ. Онъ сошелся съ нѣкоторыми дѣятелями итальянскаго освобожденія, между прочимъ, съ Чичероваккіо, вскорѣ погибшимъ въ борьбѣ съ австрійцами.

„Вся Италія просыпалась на моихъ глазахъ,—восторженно вспоминалъ Герценъ впослѣдствіи. — Я видѣлъ неаполитанскаго короля, сдѣланнаго ручнымъ, и папу (Пія IX), смиренно просящаго милостыни народной любви... Вихрь, поднявшій все, унесъ и меня...

„О, Римъ, какъ люблю я возвращаться къ твоимъ обманамъ, какъ охотно перебираю я день за днемъ время, въ которое я былъ пьянъ тобою!..“

И въ самомъ дѣлѣ, всѣ эти впечатлѣнія, ярко переданныя самимъ Герценомъ, способны были опьянить кого угодно, какъ опьяняли они радостью цѣлый народъ. Чего стоило, напр., одно участіе Герцена и его жены со спутницами въ величественной ночной демонстраціи въ Римѣ въ мартѣ

1848 года, по поводу начала борьбы съ Австріей. Пылкіе демонстранты, встрѣтивъ Герцена и его спутницъ на улицѣ, вовлекли въ свои ряды, узнавъ, что это иностранцы, отвели имъ почетное мѣсто, какъ гостямъ итальянскаго народа, на трибунѣ, рядомъ съ Чичероваккіо. „Аристократическій пролетарій, потомокъ Марія, горячо привѣтствовалъ насъ. Мы имъ были приняты въ европейскую борьбу".

А вѣсть отъ 24 февраля въ Парижѣ о республикѣ во Франціи, о движеніи за свободу во всей Европѣ не давали остыть энтузіазму.

„Вся Европа взяла одръ свой..."

„Удивительное время,—писалъ онъ,—у меня дрожитъ рука, когда я принимаюсь за газеты; всякій день какая-нибудь неожиданность, какой-нибудь громовый раскатъ; или свѣтлое воскресеніе, или страшный судъ возлѣ. Новыя силы пробудились въ душѣ, старыя надежды воскресли, какая-то мужественная готовность на все снова взяла верхъ".

И характерная черта, именно въ Италіи впервые мысль его все чаще и чаще обращена къ Россіи. Въ письмахъ изъ Италіи встрѣчаемъ воспоминанія о родинѣ, находимъ выраженіе надеждъ, что и ей впереди свѣтлая дорога, встрѣчаемъ даже лирическое отступленіе въ честь русскаго села („да здравствуетъ, господа, русское село—будущность его велика!"). Позднѣе, онъ сопоставляетъ слезы, которыхъ не могъ удержать на упомянутой демонстраціи въ Колизеѣ, со слезами, когда-то пролитыми отъ радости послѣ первой лекціи Грановскаго: „Однѣми я вѣрилъ въ Россію, другими—въ революцію". И кажется понятно, почему такъ не покидала его мысль о родинѣ именно въ Италіи, въ разгаръ сумасшедшаго радостнаго одушевленія. Вѣдь еще такъ недавно эта страна, охваченная великимъ порывомъ, была страной политическаго гнета и рабства, только „географическое понятіе", но пробилъ часъ, и она воскресла изъ мертвыхъ. Слѣдовательно, пробьетъ онъ и для другой страны... И кажется, именно здѣсь, въ Италіи, Герценъ безповоротно рѣшилъ про себя, что его мѣсто среди свободныхъ людей для борьбы за освобожденіе родины...

Съ этими же впечатлѣніями итальянскаго возрожденія была связана у Герцена, надо думать, и всегдашняя его особливая симпатія изо всѣхъ людей Запада именно къ дѣятелямъ итальянскаго освобожденія, его поклоненіе Гарибальди, глубокое восхищеніе Маццини, необыкновенное одушевленіе личными качествами Орсини, Саффи и т. д. Люди разомъ свѣтлой мысли, горячаго демократическаго чувства и самоотверженной, героической практической дѣятельности, они являлись въ его глазахъ именно живымъ осуществле-

niемъ его идеала: выхода человѣчества изъ вратъ храма науки съ гордымъ и поднятымъ челомъ на созданіе вeси Божіей". И въ этомъ своемъ увлеченіи, въ объясненіе своей симпатіи, онъ готовъ былъ даже видѣть какое-то особое родство національнаго характера русскихъ и итальянцевъ...

Но, какъ ни плѣненъ былъ Герценъ Италіею, ему казалось немыслимымъ не быть въ Парижѣ, когда тамъ снова провозглашена, воскрешая память дѣтскихъ его увлеченій и порывовъ, республика. Онъ спѣшитъ изъ Италіи въ Парижъ.

„Какъ было не вѣрить въ событіе, отъ котораго потряслась вся Европа, въ событія, на которыя отвѣчала Вѣна, Берлинъ, Миланъ?!—говоритъ Герценъ.—Но Франція назначена всякій разъ излечивать меня отъ надеждъ и заблужденій".

II.

Парижъ.—Іюньскіе дни 1848 г.—Прощаніе съ родиной.

5 мая 1848 года Герценъ снова въ Парижѣ, гдѣ передъ нимъ развернулась бурная революціонная арена. Наканунѣ пріѣзда его собралось первое національное собраніе, избранное на основаніи всеобщей подачи голосовъ, а 15 мая состоялась грандіозная манифестація въ пользу Польши, но едва не окончившаяся неожиданно утвержденіемъ новаго временнаго правительства... Герценъ жадно изучаетъ исторію 24 февраля и необыкновенно быстро разбирается во всемъ происходящемъ. Для него сразу становится ясно, что собраніе не пойдетъ по дорогѣ широкихъ соціальныхъ преобразованій, о чемъ такъ мечтали утописты, на что надѣялся было онъ и самъ еще недавно.

„По ту сторону виднѣлась не Ламартиновская республика, а республика на самомъ дѣлѣ; по ту сторону представлялась революціонная диктатура, какъ переходное состояніе отъ монархіи къ республикѣ; suffrage universel (всеобщее избирательное право), не нелѣпо и бѣдно приложенный къ одному избранію деспотическаго собранія, а ко всей администраціи, освобожденіе человѣка, коммуны, департамента отъ подчиненія *сильному* правительству, убѣждающему пулями и цѣпями“ („Письма изъ Фр. и Ит., IX). Но дѣйствительность была очень далека отъ подобныхъ построеній пути для нея. Впослѣдствіи Герценъ съ неудовольствіемъ вспоминалъ о чужихъ и своихъ „демагогическихъ разглагольствованіяхъ“ этого времени и иронически разсказывалъ, какъ онъ „хаживалъ въ клубы, участвовалъ въ трехъ-четырехъ банкетахъ, т. е. ѣлъ холодную баранину и пилъ кислое вино, слушая Пьера Леру, отца Кабе и подтягивая марсельезу“. Какъ видно по всему, Герценъ все же нѣкоторое время обольщался надеждами и планами бланкистскаго характера, т. е. надеждами, что захватъ власти энергическими революціонерами и диктатура ихъ легко могутъ

осуществить всѣ условія, необходимыя для широкаго соціальнаго творчества, для реформъ въ духѣ соціализма.

Но всѣ надежды этого рода не выдержали наступившихъ вскорѣ тяжелыхъ испытаній.

Извѣстно, что попытки организаціи труда, затѣянныя на удачу, въ формѣ національныхъ мастерскихъ, при полномъ несочувствіи большинства собранія и правительства, потерпѣли полную неудачу. А закрытіе неумѣло организованныхъ мастерскихъ и безполезныхъ общественныхъ работъ, около которыхъ кормились безработные, повело къ безцѣльному и безнадежному возстанію пролетаріата и къ страшному кровавому укрощенію возставшихъ, къ ужаснымъ іюньскимъ днямъ (23—26 іюня).

Впечатлѣнія этихъ мрачныхъ кровавыхъ дней глубоко потрясли Герцена. Полный разгромъ соціалъ-революціонныхъ надеждъ подтвердилъ всѣ уже ранѣе назрѣвавшія въ немъ сомнѣнія и разочарованія. Здѣсь окончательный переломъ взглядовъ его на Западъ. Переданныя имъ на бумагѣ, эти впечатлѣнія составили нѣсколько необыкновенно яркихъ, захватывающихъ страницъ въ книгѣ „Съ того берега“ (глава „Послѣ грозы“).

„Въ ушахъ,—писалъ онъ чрезъ мѣсяцъ,—еще раздаются выстрѣлы, топотъ несущейся кавалеріи, тяжелый густой звукъ лафетныхъ колесъ по мертвымъ улицамъ, въ памяти мелькаютъ отдѣльныя подробности: раненый на носилкахъ держитъ рукой бокъ и нѣсколько капель крови течетъ по ней; омнибусы, наполненные трупами, плѣнные со связанными руками, пушки на place de la Bastille, лагерь у Porte St. Denis, на Елисейскихъ поляхъ, и мрачное, ночное sentinelle: prenez garde à vous!... какія тутъ описанія, мозгъ слишкомъ воспаленъ, кровь слишкомъ остра...

„Сидѣть у себя въ комнатѣ, сложа руки, не имѣть возможности выйти за ворота и слышать возлѣ, кругомъ, вблизи, вдали, выстрѣлы, канонаду, крики, барабанный бой и знать, что возлѣ льется кровь, рѣжутся, колютъ, что возлѣ умираютъ,—отъ того можно умереть, сойти съ ума. Я не умеръ, но я состарѣлся, я поправляюсь послѣ іюньскихъ дней, какъ послѣ тяжкой болѣзни.

„А торжественно начались они. Двадцать третьяго числа, часа въ четыре, передъ обѣдомъ шелъ я берегомъ Сены къ Hôtel de Ville. Лавки запирались, колонны національной гвардіи съ зловѣщими лицами шли по разнымъ направленіямъ, небо было покрыто тучами, шелъ дождикъ. Я остановился на Pont neuf, сильная молнія сверкнула изъ-за тучи, удары грома слѣдовали другъ за другомъ, и впередъ всего этого раздался мѣрный протяжный звукъ набата съ

колокольни св. Сульпиція, которымъ еще разъ обманутый пролетарій звалъ своихъ братій къ оружію. Соборъ и всѣ зданія по берегу были необыкновенно освѣщены нѣсколькими лучами солнца, ярко выходившими изъ-подъ тучи, барабанъ раздавался съ разныхъ сторонъ, артиллерія тянулась съ Карусельской площади.

„Я слушалъ громъ, набатъ и не могъ насмотрѣться на панораму Парижа, будто я съ нимъ прощался; я страстно любилъ Парижъ въ эту минуту; это была послѣдняя дань великому городу,—послѣ іюньскихъ дней онъ мнѣ опротивѣлъ.

„Съ другой стороны рѣки, на всѣхъ переулкахъ и улицахъ строились баррикады. Я какъ теперь вижу эти сумрачныя лица, таскавшія камни; дѣти, женщины помогали имъ. На одну баррикаду, повидимому, оконченную взошелъ молодой политехникъ, водрузилъ знамя и запѣлъ тихимъ, печально торжественнымъ голосомъ марсельезу; всѣ работавшіе запѣли, и хоръ этой пѣсни, раздававшейся изъ-за баррикады, захватывалъ душу... Набатъ все раздавался. Между тѣмъ по мосту простучала артиллерія и генералъ Бедо осматривалъ съ моста въ трубу *непріятельскую* позицію“...

Въ страшномъ томленіи въ эти дни Герценъ не могъ усидѣть дома. „Французамъ, конечно, было жутко: они могли думать, что ихъ родина, что все общество разрушается и падаетъ въ прахъ; но тоска иностранца, осужденнаго на невольное бездѣйствіе, была если не ужаснѣе, то ужъ навѣрно томительнѣе ихъ негодованія, ихъ отчаянія.—Жара знойная, выйти нельзя; въ раскрытыя окна безпрепятственно льется жгучая струя; солнце слѣпитъ; всякое занятіе, чтеніе, писаніе немыслимо... Пять разъ, десять разъ въ минуту раздаются пушечные выстрѣлы; иногда доносится ружейный трескъ, смутный гамъ битвы... По улицамъ хоть шаромъ покати; раскаленные камни мостовой желтѣютъ, раскаленный воздухъ струится подъ лучами солнца; вдоль троттуаровъ тянутся смущенныя лица, неподвижныя фигуры національныхъ гвардейцевъ—и ни одного обычнаго жизненнаго звука. Просторно вокругъ, пусто—а чувствуешь себя стѣсненнымъ, какъ въ могилѣ или въ тюрьмѣ.—Съ двѣнадцати часовъ новыя зрѣлища: появляются носилки съ ранеными, убитыми...“ (Тургеневъ, „Наши послали“).

Скитаясь въ тоскѣ по бульварамъ, Герценъ раза два попалъ-было въ рискованное положеніе. Слыша, какъ ополченіе орало по улицѣ: „Да здравствуетъ Людовикъ-Наполеонъ!“, Герценъ крикнулъ имъ: „Да здравствуетъ Республика“, за что получилъ градъ ругательствъ. Въ другой

разъ, прислушиваясь къ разговорамъ, онъ навлекъ на себя подозрѣніе разъяренныхъ національныхъ гвардейцевъ, былъ, вмѣстѣ съ Анненковымъ, ими арестованъ, но, къ счастью, полицейскій комиссаръ не нашелъ въ нихъ ничего подозрительнаго и даже далъ провожатаго пройти другою дорогою. Часа черезъ два полиція произвела въ его квартирѣ обыскъ, подозрѣвая, какъ въ иностранцѣ, возможность участія въ заговорѣ...

Такъ прошло три дня. „Вечеромъ 26 іюня мы услышали, послѣ побѣды надъ Парижемъ, правильные залпы, съ небольшими разстановками... Мы всѣ взглянули другъ на друга, у всѣхъ лица были зеленыя... „Вѣдь, это разстрѣливаютъ“, сказали мы въ одинъ голосъ и отвернулись другъ отъ друга. Я прижалъ лобъ къ стеклу окна и молчалъ; за такія минуты ненавидятъ десять лѣтъ, мстятъ всю жизнь... Горе тѣмъ, кто прощаютъ такія минуты“.

Торжество побѣдителей было еще отвратительнѣе... Осадное положеніе, какъ въ завоеванномъ городѣ, было тягостно. „Надменная національная гвардія, съ свирѣпой и тупой злобой на лицѣ, берегла свои лавки, грозя штыкомъ и прикладомъ; ликующія толпы пьяной мобили ходили по бульварамъ, распѣвая; мальчишки 16—17 лѣтъ хвастались кровью своихъ братій, запекшейся на ихъ рукахъ, на нихъ бросали цвѣты мѣщанки, выбѣгавшія изъ-за прилавка, чтобъ привѣтствовать побѣдителей. Кавеньякъ *) возилъ съ собой въ коляскѣ какого-то изверга, убившаго десятки французовъ“...

„Я смотрю на дѣтей и плачу,—писала около этого времени въ Москву жена Герцена:—мнѣ становится страшно, я не смѣю больше желать, *чтобъ они были живы*, можетъ и ихъ ждетъ такая ужасная доля“...

У самого Герцена начинается тяжелая, долгая полоса ѣдкаго разочарованія въ недавнихъ надеждахъ и упованіяхъ. Звѣрь, котораго онъ увидѣлъ разнузданнымъ въ людяхъ въ эти страшные и роковые для свободы дни, наложилъ и на него свою отвратительную лапу и на время подорвалъ всякую вѣру въ возможность для человѣчества когда бы то ни было вырваться изъ-подъ ига звѣриныхъ чувствъ и стремленій.

Герценъ начинаетъ подвергать самой ѣдкой и безпощадной критикѣ, скептическому пересмотру все, чѣмъ жили окружавшіе его передовые люди. „Сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена“...

---

*) Диктаторъ Парижа.

Глубокій кризисъ прежнихъ воззрѣній, сомнѣніе въ способности Запада разрѣшить ставшіе на очередь колоссальные вопросы, обращеніе въ поискахъ выхода къ народной Россіи,—все это отразилось въ его произведеніяхъ этого и непосредственно затѣмъ слѣдующаго времени. Продолжаемъ пока разсказъ лично о Герценѣ, чтобы отдѣльно дать оцѣнку этихъ произведеній въ слѣдующихъ главахъ.

До осени Герценъ съ семьею пробылъ въ Парижѣ. Русскіе, окружавшіе его, семья Тучковыхъ (въ томъ числѣ страстная привязанность Натальи Александровны, молоденькая Наталья Алексѣевна Тучкова), М. Ф. Эрнъ, Анненковъ и Тургеневъ, мало по малу стали разъѣзжаться. „Парижъ, вымытый кровью, не удерживалъ больше“.

При отъѣздѣ друзей Герценъ передалъ имъ только что написанную статью, изъ которой взяты вышеприведенныя выдержки, сопроводивъ ее особымъ „посвященіемъ“ (не вошло въ книгу „Съ того берега“, помѣчено 1-мъ августа 1848 г.): „Мы съ вами пострадали вмѣстѣ страшные, гнусные іюньскіе дни,—говорилось здѣсь.—Я даю вамъ первый плачъ, вырвавшійся изъ души моей послѣ нихъ. Да, плачъ, я не стыжусь слезъ“. Герценъ вспоминаетъ поразившее парижанъ и его съ друзьями мрачное пѣніе въ театрѣ марсельезы знаменитою трагическою артисткою Рашелью. „Это былъ погребальный звонъ середь ликованій брака, отбылъ упрекъ, грозное предвѣщаніе, стонъ отчаянія середь надежды. Марсельеза Рашели звала на пиръ крови, мести... тамъ, гдѣ сыпали цвѣты, она бросала можжевельникъ“. „Статья, которую я вамъ дарю,—моя марсельеза.—Прощайте! Прочтите друзьямъ эти строки. Будьте не несчастны.—Прощайте! Я не смѣю ни васъ назвать, ни самъ назваться.—Тамъ, куда вы ѣдете, и плачъ—преступленіе, и слушать его—грѣхъ („Часъ“, 1908, № 88 отъ 8 янв.).

Герценъ рѣшилъ уже безповоротно, что остается за границей. Анненкову, предсказывавшему, что Герценъ можетъ пожалѣть о своемъ рѣшеніи, онъ отвѣтилъ: „Нѣтъ, для меня выбора нѣтъ, я долженъ остаться—и если раскаюсь, то скорѣе въ томъ, что не взялъ ружье, когда мнѣ его подавалъ работникъ на place Maubert“...

„И опять потянулось время... день за днемъ... сѣрое, скучное... мелькали люди, сближались на день, проходили мимо, гибли. Къ зимѣ стали являться изгнанники другихъ странъ“... Они носились съ надеждами на скорое прекращеніе реакціи, нахлынувшей всюду послѣ революціонной войны. „Я чувствовалъ, что они ошибаются, но мнѣ нравилась ихъ ошибка, я старался быть непослѣдовательнымъ, боролся съ собой и жилъ въ какомъ-то тревожномъ раздра-

женіи. Время это осталось у меня въ памяти, какъ чадный, угарный день.. Я метался отъ тоски туда, сюда, искалъ разсѣяній... въ книгахъ, въ шумѣ, въ домашнемъ отшельничествѣ, на людяхъ, но все чего-то недоставало, смѣхъ не веселилъ, тяжело пьянило вино, музыка рѣзала по сердцу, и веселая бесѣда оканчивалась почти всегда мрачнымъ отчаяніемъ".

Въ домѣ Герцена собиралась пестрая богема изъ эмигрантовъ разныхъ странъ. Она состояла преимущественно изъ ѣдко имъ очерченныхъ впослѣдствіи „хористовъ революціи", и даже и не подозрѣвала въ большей своей части, что дѣлалось въ душѣ гостепріимнаго и тароватаго на помощь хозяина-москвича.

„Домъ его,—вспоминаетъ одинъ изъ этихъ эмигрантовъ, нѣкто Рашъ,—который онъ пріобрѣлъ въ одной изъ аллей Елисейскихъ полей, былъ открытъ изгнанникамъ самыхъ различныхъ національностей; тамъ можно было встрѣтить нѣмцевъ, итальянцевъ, румыновъ, сербовъ, венгровъ. Каждый день столъ накрывался на двадцать приборовъ для бѣдняковъ, которые садились за него, быть можетъ, потому, что у нихъ не было средствъ пообѣдать въ ресторанѣ. Чтобы получить доступъ въ его домъ, не нужно было никакой рекомендаціи, никакихъ представленій. На вспомоществованіе этимъ изгнанникамъ Герценъ истратилъ въ 1848—1849 гг. нѣсколько тысячъ. Чрезъ мои руки прошли значительныя суммы, которыя онъ выдавалъ мнѣ для вѣнскихъ эмигрантовъ, которыхъ онъ зналъ только по имени, при чемъ я не имѣлъ даже права, при передачѣ этихъ суммъ по назначенію, сказать, отъ кого онѣ идутъ. Многіе содержались исключительно на его счетъ: жены двухъ австрійскихъ эмигрантовъ разрѣшились отъ бремени въ его домѣ, потому что дома у нихъ не было для этого достаточныхъ удобствъ..."

Такое употребленіе дѣлалъ Герценъ изъ своего богатства.

Но живого дѣла все-таки не находилось. Представилась было возможность участія въ газетѣ. Нѣкто графъ Ксаверій Браницкій далъ 70 тыс. франковъ на основаніе газеты, которая бы занималась преимущественно иностранною политикою, и въ особенности Польшею. Во главѣ изданія долженъ былъ стоять Адамъ Мицкевичъ. Но онъ готовъ былъ перенести и на будущаго Наполеона III поклоненіе поляковъ имени Наполеона. Герценъ, приглашенный было въ составъ редакціи, не далъ въ газету ни строчки, и она вскорѣ закрылась.

„Послѣ этой неудачной попытки участвовать въ журналѣ, я еще больше удалился въ небольшой кругъ знакомыхъ...

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ГЕРЦЕНЪ.

Снимокъ карандашемъ съ акварельнаго портрета, сдѣланнаго въ Италіи въ 1848 г.

Съ глубоко скорбнымъ чувствомъ слѣдилъ я и помѣчалъ успѣхи разложенія республики, Франціи, Европы. Изъ Россіи—ни вѣсти хорошей, ни дружескаго привѣта; писать ко мнѣ перестали: личныя, ближайшія, родныя связи пріостанавливались".

Но о возвращеніи въ Россію, какъ ни мрачны рисующіяся ему перспективы, онъ уже не думалъ. Въ письмахъ и статьяхъ онъ высказываетъ, наконецъ, безнадежное желаніе бѣжать отъ общаго разложенія, подобно древнимъ философамъ III вѣка, но, конечно, не домой! Въ перемежку съ „Письмами изъ Франціи и Италіи", онъ набрасываетъ статьи, составившія книгу „Съ того берега". Первымъ марта 1849 г. помѣчено вошедшее въ эту книгу, глубоко трогательное, задушевное прощаніе съ родиной, исповѣдь и программа дѣятельности во имя свободы родины, страстная отповѣдь русскому абсолютизму и безысходное, горькое раздумье...

„Непреодолимое отвращеніе и сильный внутренній голосъ, что-то пророчащій, не позволяютъ мнѣ переступить границу Россіи, — пишетъ Герценъ въ этомъ открытомъ письмѣ къ друзьямъ-единомышленникамъ, — особенно теперь, когда самодержавіе, озлобленное и испуганное всѣмъ, что дѣлается въ Европѣ, душитъ съ удвоеннымъ ожесточеніемъ всякое умственное движеніе (напомнимъ, что въ это время происходила расправа съ петербургскими фурьеристами-петрашевцами)... Нѣтъ, друзья мои, я не могу переступить рубежъ этого царства мглы, произвола, молчаливаго замиранія, гибели безъ вѣсти, мученій съ платкомъ во рту...

„Пожалуйста, не ошибитесь: не радость, не разсѣяніе, не отдыхъ, ни даже личную безопасность нашелъ я здѣсь... Время прежнихъ обмановъ, упованій миновало. Я ни во что не вѣрю здѣсь, кромѣ въ кучку людей, въ небольшое число мыслей, да въ невозможность остановить движеніе; я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалѣю ничего изъ существующаго, ни ея вершинное образованіе, ни ея учрежденія... я ничего не люблю въ этомъ мірѣ, кромѣ того, что онъ преслѣдуетъ, ничего не уважаю, кромѣ того, что онъ казнитъ,—и остаюсь... остаюсь страдать вдвойнѣ, страдать отъ своего горя и отъ его горя; погибнуть, можетъ быть, при разгромѣ и разрушеніи, къ которому онъ несется на всѣхъ парахъ.

„Зачѣмъ же я остаюсь?

„Остаюсь затѣмъ, что борьба *здѣсь*, что, не смотря на кровь и слезы, здѣсь разрѣшаются общественные вопросы, что здѣсь страданія болѣзненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется. Горе побѣжденнымъ, но они

„Я остаюсь здѣсь не только потому, что мнѣ противно, переѣзжая чрезъ границу, снова надѣть колодки, но для того, чтобы работать. Жить, сложа руки, можно вездѣ; здѣсь мнѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ *нашего* дѣла.

„Кто больше двадцати лѣтъ проносилъ въ груди своей одну мысль, кто страдалъ за нее и жилъ ею, скитался по тюрьмамъ и ссылкамъ, кто ею пріобрѣлъ лучшія минуты жизни, самыя свѣтлыя встрѣчи, тотъ ея не оставитъ... Совсѣмъ напротивъ, я здѣсь полезнѣе, я здѣсь — безцензурная рѣчь ваша, вашъ свободный органъ, вашъ случайный представитель.

„Эмиграція, — напоминаетъ Герценъ,—первый признакъ приближающагося переворота", и указываетъ на другое еще дѣло для русской эмиграціи: „Пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью. Европа насъ не знаетъ: она знаетъ наше правительство, нашъ фасадъ и больше ничего... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ бою, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; разскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который втихомолку образовалъ государство въ 60 милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый перенесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который какъ-то чудно умѣлъ сохранить себя подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкихъ бюрократовъ, подъ капральской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкой разгулъ богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвѣтъ на царской призывъ образоваться—отвѣтилъ черезъ сто лѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина. Пусть узнаютъ европейцы своего сосѣда; они его только боятся,—надобно имъ знать, чего они боятся...

„...А тамъ, кто знаетъ, — говоритъ Герценъ въ заключеніе,—чего мы не видали въ послѣднее время! Быть можетъ, *и не такъ далекъ*, какъ кажется, тотъ день, въ который мы соберемся, какъ бывало, въ Москвѣ, и безбоязненно сдвинемъ наши чаши при крикѣ:—*За Русь и святую волю*!"

Этотъ рѣшительный шагъ Герцена ставилъ его совершенно одиноко. Немногіе русскіе, покидавшіе родину изъ отвращенія къ господствующему режиму, ни тогда, ни очень долго послѣ не составляли чего-либо сплоченнаго, и единичные протесты противъ этого режима, напримѣръ, декабриста Н. Тургенева съ его книгою „Россія и русскіе", оставались совершенно разрозненными, казались дѣломъ почти личнымъ. Герцену суждено было положить прочное начало зарубежной свободной молодой Россіи, впервые заявившей въ его лицѣ о своихъ попранныхъ на родинѣ правахъ.

не побѣждены прежде боя, не лишены языка прежде, чѣмъ вымолвили слово; велико насиліе, но протестъ громокъ; бойцы часто идутъ на галеры, скованные по рукамъ и ногамъ, но съ поднятой головой, съ свободной рѣчью. Гдѣ не погибло слово, тамъ и дѣло еще не погибло. За эту открытую борьбу, за эту рѣчь, за эту гласность—я остаюсь здѣсь; за нее я отдаю все, я васъ отдаю за нее, часть своего достоянія, а, можетъ, отдамъ и жизнь въ рядахъ энергическаго меньшинства, „гонимыхъ, но не низлагаемыхъ".

„...Мѣсяцы цѣлые взвѣшивалъ я, колебался, и, наконецъ, принесъ все на жертву:

Человѣческому достоинству,
Свободной рѣчи.

„...Я присутствовалъ при двухъ переворотахъ, я слишкомъ жилъ свободнымъ человѣкомъ, чтобъ снова позволить сковать себя; я испыталъ народныя волненія, я привыкъ къ свободной рѣчи, и не могу сдѣлаться вновь крѣпостнымъ, ни даже для того, чтобы страдать съ вами... Требуйте отъ меня всего, но не требуйте двоедушія, не заставляйте меня снова представлять вѣрноподданнаго, уважьте во мнѣ свободу человѣка.

„Свобода лица — величайшее дѣло; на ней, и *только на ней*, можетъ вырасти дѣйствительная воля народа. Въ себѣ самомъ человѣкъ долженъ уважать свою свободу и чтить ее не менѣе, какъ въ ближнихъ, какъ въ цѣломъ народѣ. Если вы въ этомъ убѣждены, то вы согласитесь, что остаться теперь здѣсь—мое право, мой долгъ: это—единственный протестъ, который можетъ у насъ сдѣлать личность, эту жертву она должна принести своему человѣческому достоинству".

Далѣе Герценъ дѣлаетъ яркое сравненіе между уваженіемъ къ личности, которое не исчезало въ Европѣ въ худшія времена гоненій на свободную мысль, и глухимъ рабствомъ, въ которомъ она коснѣетъ въ Россіи, и продолжаетъ:

„Мы съ вами видѣли самое страшное развитіе императорства. Мы выросли подъ терроромъ, подъ черными крыльями тайной полиціи, въ ея когтяхъ; мы изуродовались подъ безнадежнымъ гнетомъ, и уцѣлѣли кое-какъ. Но не мало ли этого? не пора ли развязать себѣ руки и слово для дѣйствія, для примѣра, не пора ли разбудить дремлющее сознаніе народа? а развѣ можно будить, говоря шопотомъ, дальними намеками, когда крикъ и прямое слово едва слышны? Открытыя, откровенныя дѣйствія необходимы; 14-е декабря такъ сильно потрясло всю молодую Русь оттого, что оно было на Исаакіевской площади...

„Я остаюсь здѣсь не только потому, что мнѣ противно, переѣзжая чрезъ границу, снова надѣть колодки, но для того, чтобы работать. Жить, сложа руки, можно вездѣ; здѣсь мнѣ нѣтъ другого дѣла, кромѣ *нашего* дѣла.

„Кто больше двадцати лѣтъ проносилъ въ груди своей одну мысль, кто страдалъ за нее и жилъ ею, скитался по тюрьмамъ и ссылкамъ, кто ею пріобрѣлъ лучшія минуты жизни, самыя свѣтлыя встрѣчи, тотъ ея не оставитъ... Совсѣмъ напротивъ, я здѣсь полезнѣе, я здѣсь — безцензурная рѣчь ваша, вашъ свободный органъ, вашъ случайный представитель.

„Эмиграція, — напоминаетъ Герценъ,—первый признакъ приближающагося переворота", и указываетъ на другое еще дѣло для русской эмиграціи: „Пора дѣйствительно знакомить Европу съ Русью. Европа насъ не знаетъ: она знаетъ наше правительство, нашъ фасадъ и больше ничего... Пусть она узнаетъ ближе народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ бою, гдѣ онъ остался побѣдителемъ; разскажемъ ей объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который втихомолку образовалъ государство въ 60 милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый перенесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который какъ-то чудно умѣлъ сохранить себя подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкихъ бюрократовъ, подъ капральской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкой размахъ богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвѣтъ на царской призывъ образоваться—отвѣтилъ черезъ сто лѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина. Пусть узнаютъ европейцы своего сосѣда; они его только боятся,—надобно имъ знать, чего они боятся...

„...А тамъ, кто знаетъ, — говоритъ Герценъ въ заключеніе,—чего мы не видали въ послѣднее время! Быть можетъ, *и не такъ далекъ*, какъ кажется, тотъ день, въ который мы соберемся, какъ бывало, въ Москвѣ, и безбоязненно сдвинемъ наши чаши при крикѣ:—*За Русь и святую волю*!"

Этотъ рѣшительный шагъ Герцена ставилъ его совершенно одиноко. Немногіе русскіе, покидавшіе родину изъ отвращенія къ господствующему режиму, ни тогда, ни очень долго послѣ не составляли чего-либо сплоченнаго, и единичные протесты противъ этого режима, напримѣръ, декабриста Н. Тургенева съ его книгою „Россія и русскіе", оставались совершенно разрозненными, казались дѣломъ почти личнымъ. Герцену суждено было положить прочное начало зарубежной свободной молодой Россіи, впервые заявившей въ его лицѣ о своихъ попранныхъ на родинѣ правахъ.

До дѣйствительнаго значенія и осуществленія замысловъ Герцена въ двойной имъ себѣ поставленной и отнынѣ всю жизнь проводимой задачѣ—открытая борьба съ русскимъ самодержавно-крѣпостнымъ строемъ и ознакомленіе Европы съ дѣйствительною Россіею—было, однако, еще далеко.

Между тѣмъ, реакція шла дальше и дальше. Избраніе въ президенты республики Людовика Бонапарта (10 декабря 1848 г.) вызвало со стороны Герцена настоящее презрѣніе къ пяти милліонамъ голосовъ, положившихъ къ ногамъ этого человѣка „связанную Францію". „Осиротѣвшая передняя нашла, наконецъ, своего барина". Однимъ изъ наиболѣе взволновавшихъ Герцена дѣяній президента была посылка военной экспедиціи противъ римскихъ республиканцевъ на защиту папы. Въ маѣ этого года закрылось учредительное собраніе, и открылось законодательное, въ которомъ изъ 750 депутатовъ 500 принадлежало къ партіи „порядка". Опираясь на нихъ, президентъ не задумался разогнать войсками мирную манифестацію противъ „заговора роялистовъ" и противъ римской экспедиціи, устроенную было 13 іюня 1849 г.

Герценъ принялъ участіе въ этой манифестаціи, въ сущности рѣшительно не вѣря, что изъ нея можетъ выйти что-либо путное, и увлеченный въ нее, по его признанію, безпощадному, какъ многое въ его воспоминаніяхъ, „дряннымъ" чувствомъ боязни укора въ трусости. Онъ присутствовалъ при совѣщаніи организаторовъ демонстраціи, на другой день шелъ впереди процессіи въ „почетной фалангѣ" иностранцевъ, рядомъ съ разными знаменитостями 1848 года. Послѣ разгона демонстраціи и вслѣдъ за попыткою движенія въ Ліонѣ начались аресты. Нисколько не желая раздѣлить судьбы арестованныхъ, посаженныхъ въ тюрьму Консьержери при самыхъ отвратительныхъ условіяхъ да еще во время холеры,—Герценъ съ паспортомъ какого-то румына благополучно уѣхалъ въ Женеву.

III.

Женева и Ницца.

„Женева была тогда,—вспоминаетъ Герценъ,—сборнымъ мѣстомъ, куда сходились со всѣхъ сторонъ уцѣлѣвшіе остатки европейскихъ движеній. Представители всѣхъ неудавшихся революцій кочевали между Женевой и Базелемъ, толпы ополченцевъ переходили Рейнъ, другіе спускались съ Сенъ-Готарда или изъ-за Юры... Эмигранты 1849 года не вѣрили еще въ продолжительность побѣды своихъ враговъ, хмѣль недавнихъ успѣховъ еще не проходилъ у нихъ... Они твердо вѣрили, что ихъ пораженіе—минутная неудача, и не перекладывали платья изъ чемодана въ комодъ".

Въ большинствѣ ихъ Герценъ разглядѣлъ тѣхъ же неудачныхъ „жениховъ революціонной Пенелопы", „хористовъ революціи", съ которыми онъ познакомился уже во Франціи и съ которыми въ большей ихъ части не могъ имѣть ничего общаго при огромности своихъ запросовъ и интересовъ.

„Послѣ іюньскихъ дней я видѣлъ, что революція побѣждена, но вѣрилъ еще въ *побѣжденныхъ*, въ падшихъ, вѣрилъ въ чудотворную силу мощей, въ ихъ нравственную могучесть. Въ Женевѣ я сталъ понимать яснѣе, что революція не только побѣждена, но что она *должна была быть* побѣжденной.

„У меня кружилась голова отъ моихъ открытій, пропасть открывалась передъ глазами, и я чувствовалъ, какъ почва исчезала подъ ногами".

29 іюля, растерянный въ безтолковой суетѣ эмигрантовъ, онъ даже писалъ женѣ, остававшейся еще въ Парижѣ: „Я часто думаю, если бы въ Россіи на іоту было бы лучше нежели теперь, то просто слѣдовало бы ѣхать въ Москву. Тамъ тяжело родится будущее, въ Европѣ тяжело околѣваетъ прошедшее".

Въ сутолокѣ Женевы Герценъ прожилъ до половины декабря, съ отвращеніемъ проводивъ и этотъ третій годъ своей заграничной жизни. „Проклятіе тебѣ, годъ крови и

безумія, годъ торжествующей пошлости, звѣрства, тупоумія. Проклятіе тебѣ!" — писалъ онъ, подводя итоги послѣднему крушенію революціонныхъ надеждъ („Съ того берега", IV).

Къ этому времени относится участіе Герцена въ газетѣ Прудона, чуть ли не единственнаго человѣка во всей Франціи, которому по настроенію и идеямъ онъ серьезно симпатизировалъ. Знаменитый французскій публицистъ, какъ и Герценъ, не увлекался внѣшностью наступившаго политическаго переворота; онъ заявляетъ себя отъявленнымъ врагомъ не только стараго деспотизма, но и всякаго демагогическаго фетишизма тогдашнихъ революціонныхъ кружковъ. „Революція задержана въ своемъ движеніи единственно по милости демократовъ" (письмо Прудона 7 янв. 1851). „Насъ несетъ въ сторону катастрофъ и возмездій. Уже и теперь никто не занимается идеями; уже и теперь, заручившись нѣсколькими свѣтлыми, плодотворными принципами соціальной экономіи, думаютъ, что знаютъ все остальное... То, что затѣмъ послѣдуетъ, будетъ безъ сомнѣнія распаденіемъ Франціи, если не какъ націи, по крайней мѣрѣ, какъ государства" (14 авг. 1851 г.). Это очень близко къ мрачнымъ пророчествамъ Герцена. Лично съ Прудономъ Герценъ не былъ близокъ, но ихъ роднила общая вражда ко всякимъ устоявшимся авторитетамъ, общее отвращеніе ко всякой неопредѣленной революціонной фразѣ. „Въ моей натурѣ лежитъ всегдашнее противорѣчіе авторитету", — писалъ о себѣ Прудонъ (31 мая 1848), и буквально то же самое могъ, конечно, сказать о себѣ и Герценъ, говорившій: — „Я былъ многимъ обязанъ Прудону въ моемъ развитіи".

За провинности по газетѣ „Peuple" Прудонъ сидѣлъ въ это время въ тюрьмѣ Консьержери. Сазоновъ предложилъ Герцену принять участіе въ газетѣ Прудона, возобновляемой подъ названіемъ „Voix du peuple". Герценъ не только согласился на сотрудничество, но и внесъ залогъ въ 24 тысячи франковъ, выговоривъ себѣ право помѣщать свои и чужія статьи, завѣдывать иностраннымъ отдѣломъ, рекомендовать для него сотрудниковъ и корреспондентовъ и т. п. Въ письмѣ къ Прудону по дѣлу издательства Герценъ писалъ, что, какъ настоящій скифъ, съ радостью видитъ, какъ разваливается старый міръ, и думаетъ, что призваніе его возвѣщать этому міру близкую кончину. „Ваши соотечественники далеки отъ того, чтобы раздѣлять эти идеи. Я знаю одного свободнаго француза—это васъ. Ваши революціонеры—консерваторы".

Газета Прудона и Герцена пошла блестяще. Подписчиковъ было немного, но розница достигала огромной по тому времени цифры нѣсколькихъ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Въ трехъ номерахъ газеты за ноябрь и декабрь 1849 г.

была напечатана обширная статья Герцена о Россіи за подписью „Русскій“. Это было первое обращеніе Герцена къ людямъ Запада, начало исполненія программы, заявленной въ „Прощаніи“ *). Кромѣ того, шумный успѣхъ выпалъ между прочимъ на долю статьи Герцена, вошедшей въ составъ „Съ того берега“: „Донозо Кортесъ“, образецъ бичующей пламенной сатиры противъ палачествующей реакціи. Но послѣдняя очень скоро дала себя почувствовать дерзкой газетѣ: штрафы безъ остатка поглотили весь герценовскій залогъ, и въ томъ же 1850 году газета прекратилась.

Участіе Герцена въ манифестаціи 13 іюня и затѣмъ въ газетѣ Прудона имѣло для него слѣдствіемъ окончательную невозможность возвращенія на родину. Еще въ 1848 году русское правительство узнало изъ перлюстрованныхъ писемъ объ образѣ жизни Герцена за границей. Парижскій посланникъ Н. Д. Киселевъ вошелъ въ соглашеніе съ префектомъ Парижа Ребильо о взаимномъ обмѣнѣ свѣдѣніями о „красныхъ“. О Герценѣ было сообщено, что онъ давалъ пріютъ Бакунину (который въ это время уже томился въ австрійскихъ и русскихъ тюрьмахъ) и имѣлъ сношенія съ многими эмигрантами (изъ русскихъ—съ Головинымъ). Получивъ объ этомъ рапортъ, Николай I положилъ резолюцію: „Очень замѣчательно; этотъ Герценъ тотъ, который былъ мною высланъ, кажется, въ Кострому, а наслѣдникомъ черезъ Жуковскаго выпрошено прощеніе, надо велѣть положить запрещеніе на его имѣніе, а ему немедленно велѣть воротиться“. Въ силу этой резолюціи 18 іюля указомъ сената запрещеніе было наложено, и кромѣ того правительство попыталось захватить деньги матери Герцена, находившіяся въ московской сохранной казнѣ. Ему не безъ труда, чрезъ Ротшильда, удалось выручить эти деньги, о чемъ остроумно разсказано въ „Быломъ и Думахъ“ въ главѣ о самодержцѣ Ротшильдѣ и несостоятельномъ должникѣ Николаѣ Романовѣ. Затѣмъ только правительство, чрезъ русскаго консула въ Ниццѣ, формально предъявило Герцену категорическое требованіе немедленно вернуться въ Россію. Письмомъ отъ 23 сент. 1850 года на имя шефа жандармовъ, Герценъ отвѣтилъ столь же категорическимъ отказомъ, мотивировавъ отказъ неизбѣжнымъ безъ суда преслѣдованіемъ, которому его подвергнетъ правительство. Дѣло о Гер-

*) Статья эта, посвященная Гервегу, въ нѣмецкомъ переводѣ появилась потомъ въ книгѣ „Vom anderen Ufer“ („Съ того берега“). Это—первоначальный очеркъ руссофильскихъ идей Герцена, болѣе полно и законченно изложенныхъ въ другихъ его произведеніяхъ. На русскомъ языкѣ статья не появлялась, изложеніе ея см. „Былое“ 1907, апр., стр. 70—75.

ценѣ было передано въ сенатъ, который въ авг. 1851 г. и опредѣлилъ: „Сего подсудимаго, лишивъ всѣхъ правъ состоянія, считать изгнанникомъ навсегда изъ предѣловъ государства, и имѣніе, какое у него окажется, отдать законнымъ по немъ наслѣдникамъ".

Въ видѣ протеста, а также во избѣжаніе недоразумѣній, которыя были въ Швейцаріи нерѣдки съ эмигрантами (ихъ въ угоду сильнымъ сосѣдямъ иногда высылали изъ предѣловъ ея), Герценъ въ 1850 г. натурализовался во Фрибургскомъ кантонѣ, въ деревенькѣ Шатель близъ Мора (Муртенъ), записавшись со всей своей семьей въ число мѣстныхъ крестьянъ.

„Страшное это время было въ моей жизни. Штиль между двухъ ударовъ грома, штиль давящій, тяжелый, но не казистый... примѣты грозили пальцемъ, но я и тутъ еще отворачивался отъ нихъ. Жизнь шла неровно, нестройно, но въ ней были свѣтлые дни; за нихъ я обязанъ величественной швейцарской природѣ.

„Иногда мы вырывались изъ Женевы, ѣздили по берегамъ Лемана, уѣзжали къ подножію Монъ-Блана, и насупившаяся, мрачная красота горной природы заслоняла своими яркими тѣнями всю суету суетствій, освѣжая душу и тѣло холоднымъ вѣяніемъ своихъ ледниковъ".

Иногда приходилось Герцену бывать по дѣламъ и въ Парижѣ, гдѣ у него былъ купленъ домъ. Но весною 1850 г. ему было предложено префектомъ полиціи выѣхать изъ предѣловъ Франціи. „Послѣдніе два мѣсяца, проведенные въ Парижѣ, были невыносимы. Я былъ буквально gardé à vue *), письма приходили нагло подпечатанныя и днемъ позже. Куда бы я ни шелъ, издали слѣдила за мной какая-нибудь гнусная фигура, передавая меня на углу глазомъ другому".

Герценъ перебирается, наконецъ, въ Ниццу. Это было настоящимъ, если не бѣгствомъ, то уходомъ съ шумной сцены безплодной агитаціи и мнимой борьбы. „Я прихожу въ Ниццу съ потупленной головой „голубя-путешественника", прося одного покоя въ ея безмятежной пустотѣ, удалясь отъ трескучей дѣятельности большихъ городовъ, тоже ни къ чему не ведущей на Западѣ, какъ безпечная праздность на Востокѣ. Долго думая, куда укрыться, я избралъ Ниццу не только за ея кроткій воздухъ, за ея море, а за то, что она не имѣетъ никакого значенія, ни политическаго, ни ученаго, ни даже художественнаго" (10 іюля 1850 г.)... Герценъ, поселяясь въ Ниццѣ, буквально слѣдо-

*) Подъ надзоромъ, не спуская съ глазъ.

валъ примѣру древнихъ римскихъ философовъ, которые умѣли, „пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и молча досматривать, что станется съ Римомъ, съ людьми... Если при этомъ немного солнца, море вдали или горы, шумящая зелень, теплый климатъ... чего же больше?“ („Съ того берега“, V).

Дѣлались попытки вовлечь Герцена въ болѣе широкіе планы революціонной дѣятельности. Знаменитый итальянскій изгнанникъ-агитаторъ Маццини, съ которымъ Герценъ познакомился въ Женевѣ, предложилъ ему вступить въ возникавшій въ Лондонѣ международный революціонный комитетъ, въ качествѣ представителя революціонной Россіи. Герценъ рѣшительно отклонилъ отъ себя эту честь „представительства“.

Протестуя противъ половинчатаго революціонерства, Герценъ говоритъ въ письмѣ къ Маццини о своемъ разрывѣ съ присяжными революціонерами; „пожалуйста не думайте,—писалъ онъ далѣе,—что я это говорю для того, чтобъ отклонять отъ дѣла. Нѣтъ, я не сижу сложа руки. У меня еще слишкомъ много крови въ жилахъ и энергіи въ характерѣ, чтобъ удовлетвориться ролью страдательнаго зрителя. Съ тринадцати лѣтъ я служилъ одной идеѣ и былъ подъ однимъ знаменемъ—войны противъ всякой втѣсняемой власти, противъ всякой неволи, во имя безусловной независимости лица. Мнѣ хотѣлось бы продолжать мою маленькую партизанскую войну—настоящимъ казакомъ, auf eigene Faust, какъ говорятъ нѣмцы, при большой революціонной арміи, не вступая въ правильные кадры ея, пока они совсѣмъ не преобразуются.

„Въ ожиданіи этого я пишу. Можетъ, это ожиданіе продолжится долго,—не отъ меня зависитъ измѣненіе капризнаго людского развитія; но говорить, обращать, убѣждать — зависитъ отъ меня,—и я это дѣлаю отъ всей души и отъ помышленія“.

Тихій уголокъ на берегу Средиземнаго моря, какимъ была, тогда еще итальянская, Ницца, по началу обѣщалъ было отдыхъ, котораго искалъ Герценъ. Онъ встрѣтился здѣсь и близко сошелся съ другимъ „философомъ“, оставившимъ весьма бурную политическую карьеру для ученыхъ работъ надъ зоофитами, съ Карломъ Фохтомъ. Это была оригинальная и сильная натура, не знавшая гамлетовскихъ „быть или не быть“, „не только свѣтлый умъ, но и самый свѣтлый нравъ“ изъ всѣхъ видѣнныхъ Герценомъ. Здѣсь же Герценъ сошелся съ нѣсколькими второстепенными дѣятелями революціонной Италіи, Саффи, Медичи, Мордини и др., о которыхъ не разъ съ теплымъ чувствомъ вспоминаетъ въ „Быломъ и Думахъ“.

Русскій элементъ былъ въ Ниццѣ представленъ четою Энгельсоновъ. Въ первой части нашей книги мы упоминали, что Энгельсонъ считалъ себя обязаннымъ автору „По поводу одной драмы“ спасеніемъ отъ самоубійства. Энгельсонъ примыкалъ въ Петербургѣ къ кругу петрашевцевъ, его разсказы о новомъ умственномъ движеніи въ Россіи глубоко занимали Герцена. Впослѣдствіи они то расходились, то сходились, но въ это время симпатія и участіе этой четы облегчили Герцену не мало тяжелыхъ часовъ.

Въ Ниццу послѣдовалъ за Герценами изъ Швейцаріи и Гервегъ.

Въ Ниццѣ Герценъ закончилъ „Письма изъ Франціи и Италіи“ и издалъ на нѣмецкомъ языкѣ „Съ того берега“. Тамъ же написаны письмо къ Мишле: „Русскій народъ и соціализмъ“—горячее возраженіе на распространенныя понятія о Россіи, какъ странѣ одного только варварства, и книга „Du developpement des idées revolutionnaires en Russie“ (о развитіи революціонныхъ идей въ Россіи), что было уже серьезною работою надъ планомъ по ознакомленію Европы съ Россіею.

Всѣ эти произведенія доставили Герцену видную литературную извѣстность во Франціи и Германіи. Связи его съ выдающимися людьми Запада, признаніе съ ихъ стороны и личное къ нему дружелюбіе—растутъ и крѣпнутъ. Таковы, напр., завязавшіяся изъ Ниццы отношенія съ историкомъ Мишле. Тѣмъ не менѣе, Герценъ въ это время съ горечью пишетъ друзьямъ въ Москву: „Странное дѣло, чѣмъ больше меня здѣсь начинаютъ признавать, чѣмъ больше мнѣ уступаютъ мѣстъ и правъ въ ихъ дѣлахъ,—тѣмъ больше я съ ними расхожусь, тѣмъ меньше у меня довѣрія. Я счастливъ, что живу въ такомъ захолустьи, какъ Ницца“... („Р. М.“, 1902, 11).

Отнынѣ мысль его все болѣе обращена къ далекой родинѣ.

Тамъ давно наступила въ это время самая глухая пора николаевскаго царствованія. На революціонное общеевропейское движеніе 1848 г. и парижскую въ пользу Польши манифестацію 15 марта н. с., Николай I отвѣтилъ манифестомъ 14 марта: „Не зная болѣе предѣловъ, дерзость угрожаетъ въ безуміи своемъ, и Нашей, Богомъ Намъ ввѣренной Россіи. Но да не будетъ такъ!“ и т. д. Манифестъ оканчивался текстомъ: „Съ нами Богъ! разумѣйте языцы и покоряйтеся: яко съ нами Богъ!“ И дѣйствительно, въ слѣдующемъ году покорилось венгерское возстаніе. Репрессивныя мѣры противъ общественно-либеральнаго движенія и самаго просвѣщенія сыпались какъ изъ рога изобилія. Въ 1849 г.

была расправа съ кружкомъ петрашевцевъ, среди которыхъ на эшафотъ для разстрѣлянія былъ взведенъ Достоевскій за чтеніе письма Бѣлинскаго къ Гоголю. „Благо Бѣлинскому, онъ умеръ во время!“—съ горечью, но совершенно справедливо не разъ повторялъ въ это мрачное время Грановскій, и грустны и безнадежны были его письма Герцену. Подъ вліяніемъ безудержной реакціи даже цензоръ Никитенко съ ужасомъ писалъ въ своемъ дневникѣ: „Общество быстро погружается въ варварство, спасай кто можетъ свою душу!“. Притихъ и разсыпался и бывшій московскій кружокъ Герцена и Грановскаго.

Самыя сношенія съ Герценомъ, когда стало извѣстно объ отказѣ его вернуться домой, оборвались и, дѣйствительно, были опасны. Герценъ съ горечью видѣлъ это разложеніе, посылалъ друзьямъ упреки въ старчествѣ, въ резонерствѣ, въ „соборованіи заживо масломъ“, говорилъ о дальней надеждѣ снова быть съ ними, но чаще и чаще мысль его останавливалась не на подавленномъ при николаевскомъ режимѣ обществѣ, не на прежнихъ друзьяхъ, а на томъ народѣ, который выносилъ не одно столѣтіе гнетъ, но сохранилъ свою живую и благородную личность.

„Возвращеніе къ народу“—таково новое основное настроеніе Герцена.

„Когда послѣдняя надежда исчезла, когда оставалось самоотверженно склонить голову и молча принимать удары, какъ послѣдствія страшныхъ событій,—вмѣсто отчаянія въ груди моей возвратилась юная вѣра тридцатыхъ годовъ, и я съ упованіемъ и любовью обратился назадъ.

„...Начавши съ крика радости при переѣздѣ черезъ границу, я окончилъ моимъ духовнымъ возвращеніемъ на родину.

„Вѣра въ Россію спасла меня на краю нравственной гибели.

„...Въ самый темный часъ холодной и непривѣтной ночи, стоя середь падшаго и разваливающагося міра и вслушиваясь въ ужасы, которые дѣлались,—внутренній голосъ говорилъ все громче и громче, что не все еще для насъ погибло; и я снова повторялъ Гетевскій стихъ: „Nein, nein, es sind keine leere Träume!

„За эту вѣру въ нее, за это исцѣленіе ею, благодарю я мою родину. Увидимся ли, нѣтъ ли, но чувство любви къ ней проводитъ меня до могилы!“ (Вступленіе къ „Письмамъ изъ Фр. и Ит.“).

Въ тихой Ниццѣ Герцену суждено было пережить тяжелую семейную драму. Соотвѣтствующая часть „Былого и

Думъ“,—которая „горитъ и жжетъ“ по выраженію Тургенева,—пока не опубликована, и потому мы можемъ намѣтить лишь неясные контуры происходившаго.

Тринадцатое изъ „Писемъ изъ Франціи и Италіи“ (Ницца, 1 іюня 1851 г.), начинается горькою жалобою: „Напрасно радовался я моему тихому удаленію, напрасно чертилъ я пентаграммъ, я не нашелъ желаннаго міра, ни покойной гавани. Пентаграммы защищаютъ отъ нечистыхъ духовъ; отъ нечистыхъ людей не спасетъ никакой многоугольникъ“...

Это былъ не разъ уже упомянутый Георгъ Гервегъ, пользовавшійся въ кругахъ эмигрантовъ большою популярностью. По отзыву видѣвшаго его вблизи Анненкова, онъ былъ „въ высшей степени развитой, изящной и вмѣстѣ холеной и эгоистически-сластолюбивою личностью... Подъ мягкой, вкрадчивой наружностью, прикрываясь очень многостороннимъ прозорливымъ умомъ ...чудная личность эта таила въ себѣ сокровища эгоизма, эпикурейскихъ склонностей“... Позднѣе, по словамъ того же Анненкова, Герценъ, который самъ ввелъ Гервега въ свою семью, говорилъ, что обращеніе его съ этимъ человѣкомъ было „болѣе фамильярное, чѣмъ дружеское“, но онъ посвящалъ Гервегу свои статьи, самъ окружалъ его въ своемъ домѣ особымъ вниманіемъ. Такъ или иначе, поэтъ былъ самымъ блестящимъ человѣкомъ изъ всѣхъ, кто стоялъ ближе къ ихъ семьѣ...

Позднѣе, Герценъ въ пережитой имъ и женою драмѣ думалъ видѣть типичную встрѣчу двухъ міровъ, двухъ настроеній:

„У насъ,—писалъ онъ (отрывокъ изъ неизданной части „Былого и Думъ“, посвященной разсказу объ этой драмѣ; отрывокъ напечатанъ въ пятомъ письмѣ серіи: „Концы и начала“),—у насъ умственное развитіе служитъ (по крайней мѣрѣ, служило до сихъ поръ) чистилищемъ и порукой. Исключенія чрезвычайно рѣдки. Образованіе у насъ кладетъ предѣлъ, за который много гнуснаго не ходитъ.

„На Западѣ это не такъ. И вотъ почему русскіе мечтатели, вырвавшись надолго, отдаются въ руки всякому человѣку, касающемуся съ сочувствіемъ святынь ихъ, понимающему ихъ заповѣдныя мысли, забывая, что для него эти святыни давно перешли въ обычную фразу, въ форму, что большей частью онъ ихъ повторяетъ, пожалуй и добросовѣстно, но въ томъ родѣ, въ которомъ попъ, думая вовсе о другомъ, благословляетъ встрѣчнаго. Мы забываемъ, сколько другихъ стихій напутано въ сложной, усталой, болѣзненно пробившейся душѣ западнаго человѣка; сколько онъ уже источенъ, изношенъ завистью, нуждой, тщеславіемъ, самолюбіемъ и въ какой страшной эпикуреизмъ высшаго болѣз-

ненно-нервнаго порядка перегнулись перенесенныя имъ униженія, нищета и горячечный бой соревнованія.

„Мы все это узнаемъ, когда ударъ нанесенъ; насъ это ошеломляетъ. Мы чувствуемъ себя одураченными и хотимъ отомстить. Глядя на это, иногда мнѣ кажется, что много прольется крови изъ-за столкновенія этихъ двухъ разныхъ развитій".

Въ Гервегѣ Герценъ и видѣлъ подобное олицетвореніе и внѣшняго блеска, и внутренняго разложенія Запада. Въ 1852 г. изъ Ниццы послѣ смерти жены онъ послалъ Огареву въ письмѣ ея волосы:—„ея, такъ много страдавшей, погибшей за прикосновеніе съ гнуснымъ Западомъ" (Пассекъ, III, 127).

Въ своемъ мѣстѣ мы говорили о тѣхъ самоугрызеніяхъ, Grübeleien, которыми Наталья Александровна столько мучила и себя, и мужа, когда дѣйствительная жизнь не оправдала романтическихъ мечтаній о непрерывно длящемся исключительномъ и экстатическомъ „союзѣ душъ". Изъ переписки ея съ мужемъ предъ отъѣздомъ за границу видно, что отношенія ихъ пріобрѣли мало-по-малу болѣе спокойный характеръ прочной и твердой и глубокой привязанности, скрѣпленной годами вмѣстѣ пережитыхъ серьезныхъ страданій.

Горячая привязанность Н. А. къ дѣтямъ также, конечно, могла только скрѣплять ихъ союзъ. Сохранилось одно письмо ея къ Грановскимъ, писанное послѣ іюньскихъ дней, краснорѣчиво говорящее, что̀ хотѣла она видѣть въ своихъ дѣтяхъ. „Мы пережили нашу смерть,—пишетъ она здѣсь.—Но я не дошла до отчаянія, еще много остается дѣлать, но ни Кавеньякъ, никакая сила въ мірѣ не помѣшаютъ мнѣ, не разрушатъ моей баррикады,—да, Грановскій, я это чувствую, сознаю, безъ того не стоило-бъ и жить—личное счастье не удовлетворяетъ, да и личнаго счастья нѣтъ безъ этого,—я знаю, что я строю крѣпкую баррикаду, моя баррикада—это мой Саша! Можетъ быть, разобьютъ и ее... Но много будетъ спасенныхъ за нею. Иногда мнѣ виднѣется тюрьма, цѣпи, гильотина вдали той дороги, по которой я его веду, но сердце у меня не болитъ и ноги не дрожатъ, я держу его крѣпко за руку и внутренній голосъ безпрерывно говоритъ во мнѣ: „Marchons! Marchons!" И здѣсь, такимъ образомъ, не было поводовъ къ разнорѣчіямъ и разногласіямъ съ мужемъ, которыя давали бы поводъ къ обостренію ихъ отношеній.

Но оставалось, быть можетъ, нѣчто въ душѣ Наталіи Александровны, затаенное чувство протеста противъ полунебольнаго подчиненія всѣхъ интересовъ и мыслей въ ихъ

[illegible]

Страстно привязавшись въ Парижѣ къ Тучковой, она писала ей, можетъ быть, тая отъ мужа, длинныя письма съ тихой жалобой на этотъ шумъ, на эту суматоху, письма съ выраженіями робкаго стремленія устроиться хоть какъ-нибудь, но по-своему. Эти письма говорятъ вовсе не о склонностяхъ „блестящей туристки", чуть не искательницы приключеній, въ какую она преобразилась будто бы за границей, если вѣрить Анненкову. Въ письмахъ ея во всемъ видна мягкая и нѣжная душа, тонко чувствующая каждую окружающую ее фальшь, болѣзненно сжимающуюся отъ неловкаго и неосторожнаго прикосновенія,—но радостно и просто раскрывающуюся навстрѣчу дружеской ласкѣ.

Письма эти полны истинно-поэтическихъ, то граціозныхъ, то вдумчивыхъ изъ обыденной женской жизни взятыхъ сравненій. О чувствѣ своемъ къ Тучковой, къ „Консуеллѣ своей души", напр., она говоритъ: „Сплети нѣсколько шелковинокъ, потомъ выдерни одну изъ нихъ, и ты увидишь, что стало бы со мною, если бы тебя, т. е. мою любовь къ тебѣ, отнять у меня".

„Мнѣ надоѣли китайскія тѣни,—пишетъ она въ концѣ 1848 года,—я не знаю, зачѣмъ и кого я вижу; знаю только, что слишкомъ много вижу людей, всѣ—хорошіе люди, и иногда мнѣ кажется, я была бы съ ними съ удовольствіемъ, а слишкомъ часто—жизнь похожа на капель весною: капъ, капъ, капъ, капъ, Наташа—и весь день эта забота, я не могу сосредоточиться ни на одну минуту, *разсѣянна* такъ, что мнѣ иногда становится страшно больно. Приходитъ вечеръ, дѣти укладываются; ну, кажется, отдохну!—нѣтъ, пошли бродить хорошіе люди, а отъ этого пуще тяжело, что хорошіе люди. Но чувствую, будто дымъ кругомъ бродитъ, глаза ѣстъ, дышать тяжело, а уйдутъ—ничего не останется! Настаетъ завтра—все то же... ...Всѣ республики, революціи, все въ этомъ родѣ мнѣ кажется чулочнымъ вя-

заніемъ; то же дѣйствіе производятъ на меня, ну, Кавеньякъ, Наполеонъ, тамъ еще не знаю кто—это спицы, на которыхъ нанизаны маленькія, маломалѣйшія петли, и вяжутся, и вяжутся... нитки тонкія, гнилыя, тамъ порвется, здѣсь порвется, всѣ ахаютъ, кричатъ, бросаются поднимать, а петли рвутся и распускаются больше; узелъ на узлѣ—да какой грязный чулокъ-то! Какъ скучно смотрѣть на все это и какъ скучно слушать...

„Я немногаго хочу, нѣсколько часовъ въ день себѣ, т. е., чтобы я могла другому ихъ отдать, *какъ я хочу*“... Я устала отъ жизни, рукѣ трудно держать перо“...

Внѣ этой сутолоки, здоровье ея поправилось, она чувствуетъ приливъ новыхъ силъ и здоровья. „Чувствую себя свѣжо, ярко и юно“,—пишетъ она.

Пять-шесть лѣтъ назадъ, когда, послѣ владимірскаго затишья, она такъ же попала въ шумную сравнительно столичную жизнь и когда *ея* Александръ уходилъ отъ нея въ чуждый ей міръ философскихъ, литературныхъ и общественныхъ интересовъ, ея протестъ разрѣшался безплодными самообвиненіями: „Я тебѣ не нужна, напротивъ, всегда больная, страждущая. Я тебѣ порчу жизнь, лучше было бы избавить отъ себя,—ты меня любишь, я знаю, ударъ тебѣ былъ бы боленъ, но потомъ было бы спокойнѣе“ и пр., и пр. (Дневникъ, 16 янв. 1843 г.). Теперь, въ часы, можетъ быть, подобныхъ же сомнѣній, не рождалась ли у нея мысль не только дать свободу Александру, но и создать хоть какую-нибудь свою, но *всецѣло свою*, „какъ я хочу“, жизнь?

Блестящій и вкрадчивый Гервегъ, къ женѣ котораго вдобавокъ очень сердечно относилась Наталья Александровна, могъ быть здѣсь рядомъ, въ эти часы сомнѣній и томленья, и такъ получить то вліяніе надъ нею, которое оказалось роковымъ. Во всякомъ случаѣ, дѣло было гораздо сложнѣе, нежели просто только интрига ловкаго ловеласа, какъ могло казаться постороннимъ, напр., Анненкову *).

Какъ бы ни было, въ порывѣ ли какого-либо протеста противъ Александра, или въ состояніи подавленнаго шумомъ жизни человѣка, готоваго искать обманчиваго выхода, Наталія Александровна покинула мужа и дѣтей ради Гервега **).

*) См. также П. Н. Милюкова. „Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ“ (въ книгѣ „Изъ исторіи русской интеллигенціи“, Спб. 1902).

**) Въ „Вѣстникѣ Европы“ 1885 г. (№№ 4—6) появился романъ Н. А. Таль (Н. А. Утиной) „Жизнь за жизнь“, представляющій обработку, во многомъ фантастическую, внѣшнихъ фактовъ отношеній Герцена, его жены и Гервега. Въ романѣ выведены страстно любящіе другъ друга знаменитый писатель и его жена и модный австрійскій романистъ, другъ дома. Нѣкая интри-

„Я уцѣлѣлъ, но я не тотъ,—писалъ Герценъ друзьямъ въ Москву:—Жизнь моя, дѣйствительно, окончилась, потому что у меня нѣтъ ни одного вѣрованія больше, не я, а люди развили мой скептицизмъ, кругомъ обманъ, ни на что нельзя опереться... Индивидуально для себя я жду одного свиданія съ вами, при малѣйшей возможности я примчался бы въ Москву... Жизнь европейская осадила мнѣ до невозможности. Все мелко, все развратно, все гнило... нравственное растлѣніе всего образованнаго, дѣйствительно, доходитъ до чудовищнаго". Онъ добавляетъ, что въ одной Англіи есть порядочные люди, и сообщаетъ о своемъ намѣреніи ѣхать въ Испанію (выше цитированное письмо 1850 года).

Кажется, Герценъ не ѣздилъ въ Испанію, а безвыѣздно провелъ почти годъ въ Ниццѣ, стараясь погасить свое горе въ работѣ, о которой мы уже упоминали. Между тѣмъ, интимныя отношенія Натальи Александровны и Гервега, оборвались, и, кажется, такъ же внезапно для другихъ, какъ и завязались.

Вскорѣ Наталья Александровна вернулась къ мужу, и собственный его разсказъ объ ихъ встрѣчѣ въ ночь на 8-е іюля 1851 г. въ Туринѣ, куда Герценъ выѣхалъ ей навстрѣчу, краснорѣчивѣе всего, что можно было бы сказать въ защиту несчастной женщины, подвергшейся въ то время граду мстительныхъ преслѣдованій со стороны того же Гервега: по словамъ Анненкова, онъ принялся публично бросать грязью въ женщину и семью, благополучіе которыхъ разрушилъ, употребляя при этомъ средства, возмущавшія даже и друзей его.

„Одного взгляда, двухъ-трехъ словъ было достаточно...—вспоминаетъ объ этой встрѣчѣ Герценъ:—все было понято и объяснено; я взялъ ея небольшой дорожный мѣшокъ, перебросилъ его на трости за спину, подалъ ей руку, и мы весело пошли по пустымъ улицамъ въ отель. Тамъ всѣ спали, кромѣ швейцара. На накрытомъ столѣ стояли двѣ незажженныя свѣчи, хлѣбъ, фрукты и графинъ вина: я никого не хотѣлъ будить, мы зажгли свѣчи и, сѣвши за пустой

гантка, жена близкаго друга писателя, рядомъ хитрыхъ маневровъ сѣетъ между мужемъ и женою острую рознь и толкаетъ ее въ объятія романиста, чтобы самой предательски занять ея мѣсто. Романистъ вводитъ свою жертву въ міръ полусвѣта, а потомъ, убѣдившись, что она смертельно больна, старается отдѣлаться отъ нея и передать на содержаніе пріятелю, послѣ чего она возвращается къ мужу и умираетъ. Романъ менѣе всего можетъ похвастать талантливостью, почему и носитъ всѣ черты явной, чудовищной сплетни, особенно въ отношеніи фигуры „интригантки", которой приданы нѣкоторыя черты женщины, гораздо позднѣе вошедшей въ жизнь Герцена.

ГЕРЦЕНЪ въ 1848 г.

Парижская литографія.

столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили владимірское житье...

„И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руки, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость... Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломанной кости. Слезы печали, не обсохшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и преступленіе.

„Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить".

Такъ на время вернулась къ Герценамъ полоса глубокаго взаимнаго счастья. „Послѣ страданій, которымъ можетъ ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства,—пишетъ она Нат. А. Тучковой,—всѣ вѣрованія юности, дѣтства не только свершились, но прошли сквозь страшныя, невообразимыя испытанія, не утративъ ни свѣжести, ни аромата—расцвѣли съ новымъ блескомъ и силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь"... Въ своихъ воспоминаніяхъ она вездѣ находитъ его, одного его. Послѣдняя ея мечта—„жить для него, чтобы залечить всѣ раны, которыя я ему нанесла, жить для себя, потому что я узнала его любовь, какъ никогда, довольна ею, какъ никогда"...

Но судьба уже снова караулила Герцена для новыхъ жестокихъ испытаній. Въ ту же осень, 16 ноября 1851 г., его мать и сынъ Коля (глухонѣмой мальчикъ, крестникъ Грановскаго, болѣзненная привязанность Натальи Александровны) потонули въ морѣ, при крушеніи парохода, шедшаго изъ Марсели въ Ниццу. Н. А. уже не оправлялась послѣ этого новаго потрясенія. „Въ мучительной неувѣренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей между приговоромъ и казнію, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ, что онъ отъ топора не уйдетъ!"

„Vive la mort!"—привѣтствовалъ Герценъ декабрьскій переворотъ 1851 г. во Франціи.

Новый 1852 годъ былъ встрѣченъ у постели больной. „Энгельсоны, Фохтъ, человѣка два близкихъ знакомыхъ были у насъ. Всѣ были печальны. Парижское 2-е декабря лежало плитой на груди"...

Наталья Александровна скончалась 2 мая 1852 г. Она

погребена въ Ниццѣ, тамъ же, гдѣ лежитъ теперь прахъ и самого Герцена. Похороны были гражданскіе и привлекли всѣхъ наличныхъ въ Ниццѣ представителей международной демократіи. Герценъ окруженъ былъ нѣжнымъ участіемъ многихъ изъ нихъ. Для него „все рухнуло—общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастье".

Одно изъ писемъ Герцена къ Мишле (1853 г.) даетъ понятіе о тогдашнемъ его нравственномъ состояніи. „Повидимому,—говоритъ Герценъ, когда острая боль утраты уже притупилась,—послѣднее мое письмо, писанное изъ Люцерна, показалось вамъ страннымъ; оно и въ самомъ дѣлѣ было такимъ. Раздавленный рядомъ сверхчеловѣческихъ несчастій, я совершенно не отдавалъ себѣ отчета, что я тогда дѣлалъ. Окруженный гробами, измѣною, оклеветанный, я отдался инстинкту. Я хотѣлъ вынести предъ нашъ трибуналъ (судъ международной демократіи,—*Авт.*) свое горе. Я хотѣлъ обличить всю подлость, все вѣроломство злодѣя. Я хотѣлъ его нравственнаго уничтоженія. Мнѣ это удалось только наполовину. Друзья благородно поддержали меня своею симпатіею, но они еще слишкомъ слабы, чтобы защитить своихъ друзей. Вѣра въ возможность подобнаго правосудія была моей послѣдней иллюзіей. Еще находясь вполнѣ подъ властью этой моей idée fixe, я и взялъ на себя смѣлость написать вамъ мое послѣднее письмо".

Послѣ похоронъ Герценъ нѣсколько недѣль провелъ въ Генуѣ, гдѣ теплое участіе оказалъ ему сподвижникъ Гарибальди, поэтъ Джакомо Медичи. Здѣсь же въ эти черные для Герцена дни видѣлъ его итальянскій революціонеръ Орсини (впослѣдствіи казненный за покушеніе на Наполеона III); Герценъ ему показался умственно поврежденнымъ... Изъ задушевныхъ писемъ заграничныхъ друзей Герцена, относящихся къ этому времени, приведемъ нѣсколько строкъ изъ письма Маццини. „Я не собираюсь васъ утѣшать,—писалъ онъ:—васъ могутъ утѣшить только Богъ да ваши дѣти. Я хочу только сказать вамъ, что страдаю за васъ и съ вами. Я понимаю всѣ ваши страданія,—больше того: я чувствую незаполняемую пустоту, чувствую ту черную тѣнь, которая ложится на всю жизнь и обрекаетъ на изгнаніе душу, какъ царь обрекъ на изгнаніе ваше тѣло. И когда васъ поражаетъ не рука судьбы, а рука человѣка, рука негодяя, что-нибудь, чего можно было избѣгнуть и что ускорило катастрофу,—тогда горечь во сто разъ горше, и безвѣріе отчаянія грозитъ человѣку. Я чувствую все это, и все-таки хочу сказать вамъ: мужайтесь! страдайте, но не падайте духомъ; каковы бы ни были ваши вѣрованія, стра-

дайте такъ, какъ этого хотѣла бы она. Мнѣ всегда казалось, что смерть любимыхъ нами должна въ особенности дѣлать насъ лучшими...“ Герценъ не разъ серьезно думалъ объ эмиграціи въ Америку, лишь бы оторваться отъ всего, что напоминаетъ о пережитомъ. „Не уѣзжайте туда!—писалъ Мацини.—Останьтесь въ Европѣ, съ нами, старыми бойцами. Что вы найдете въ Америкѣ? Свободу? Но развѣ она не съ вами? Задача въ томъ, чтобы создавать свободу, гдѣ ея нѣтъ. Помогайте мнѣ въ этомъ. Вамъ, какъ и мнѣ, осталось одно—культъ великой идеи, культъ не созерцательный по восточному, но по европейски дѣйственный и стойкій до конца, до побѣды. Помогайте мнѣ и пріѣзжайте ко мнѣ, или поселитесь въ Швейцаріи; вы будете такъ полезны и будете видѣть меня. Простите, мой другъ. Любите меня, какъ я люблю васъ“.

Въ Америку Герценъ не уѣхалъ. Послѣ ряда безцѣльныхъ скитаній съ мѣсто на мѣсто, Герценъ, слѣдуя приглашенію Маццини, пріѣхалъ 25 авг. 1852 года въ Лондонъ.

Первый разъ онъ былъ здѣсь, повидимому, въ 1849 году (что видно изъ помѣтки вышеупомянутой статьи о Россіи въ газетѣ Прудона и такой же помѣтки письма къ Маццини въ нѣмецкомъ изданіи „Съ того берега“; въ русское изданіе письмо не вошло), вѣроятно, для переговоровъ о международномъ революціонномъ комитетѣ. Въ этотъ второй пріѣздъ Герценъ неожиданно для себя нашелъ, что лучше отшельничества, чѣмъ въ Лондонѣ, ему не найти. Онъ переселяется въ Англію и надолго остается здѣсь, въ будущемъ мѣстѣ своей знаменитой борьбы и работы для русской свободы.

погребена въ Ниццѣ, тамъ же, гдѣ лежитъ теперь прахъ и самого Герцена. Похороны были гражданскіе и привлекли всѣхъ наличныхъ въ Ниццѣ представителей международной демократіи. Герценъ окруженъ былъ нѣжнымъ участіемъ многихъ изъ нихъ. Для него „все рухнуло—общее и частное, европейская революція и домашній кровъ, свобода міра и личное счастье".

Одно изъ писемъ Герцена къ Мишле (1853 г.) даетъ понятіе о тогдашнемъ его нравственномъ состояніи. „Повидимому,—говоритъ Герценъ, когда острая боль утраты уже притупилась,—послѣднее мое письмо, писанное изъ Люцерна, показалось вамъ страннымъ; оно и въ самомъ дѣлѣ было такимъ. Раздавленный рядомъ сверхчеловѣческихъ несчастій, я совершенно не отдавалъ себѣ отчета, что я тогда дѣлалъ. Окруженный гробами, измѣною, оклеветанный, я отдался инстинкту. Я хотѣлъ вынести предъ нашъ трибуналъ (судъ международной демократіи,—*Авт.*) свое горе. Я хотѣлъ обличить всю подлость, все вѣроломство злодѣя. Я хотѣлъ его нравственнаго уничтоженія. Мнѣ это удалось только наполовину. Друзья благородно поддержали меня своею симпатіею, но они еще слишкомъ слабы, чтобы защитить своихъ друзей. Вѣра въ возможность подобнаго правосудія была моей послѣдней иллюзіей. Еще находясь вполнѣ подъ властью этой моей idée fixe, я и взялъ на себя смѣлость написать вамъ мое послѣднее письмо".

Послѣ похоронъ Герценъ нѣсколько недѣль провелъ въ Генуѣ, гдѣ теплое участіе оказалъ ему сподвижникъ Гарибальди, поэтъ Джакомо Медичи. Здѣсь же въ эти черные для Герцена дни видѣлъ его итальянскій революціонеръ Орсини (впослѣдствіи казненный за покушеніе на Наполеона III); Герценъ ему показался умственно поврежденнымъ... Изъ задушевныхъ писемъ заграничныхъ друзей Герцена, относящихся къ этому времени, приведемъ нѣсколько строкъ изъ письма Маццини. „Я не собираюсь васъ утѣшать,—писалъ онъ:—васъ могутъ утѣшить только Богъ да ваши дѣти. Я хочу только сказать вамъ, что страдаю за васъ и съ вами. Я понимаю всѣ ваши страданія,—больше того: я чувствую незаполняемую пустоту, чувствую ту черную тѣнь, которая ложится на всю жизнь и обрекаетъ на изгнаніе душу, какъ царь обрекъ на изгнаніе ваше тѣло. И когда васъ поражаетъ не рука судьбы, а рука человѣка, рука негодяя, что-нибудь, чего можно было избѣгнуть и что ускорило катастрофу,—тогда горечь во сто разъ горше, и безвѣріе отчаянія грозитъ человѣку. Я чувствую все это, и все-таки хочу сказать вамъ: мужайтесь! страдайте, но не падайте духомъ; каковы бы ни были ваши вѣрованія, стра-

дайте такъ, какъ этого хотѣла бы она. Мнѣ всегда казалось, что смерть любимыхъ нами должна въ особенности дѣлать насъ лучшими...“ Герценъ не разъ серьезно думалъ объ эмиграціи въ Америку, лишь бы оторваться отъ всего, что напоминаетъ о пережитомъ. „Не уѣзжайте туда!—писалъ Маццини.—Останьтесь въ Европѣ, съ нами, старыми бойцами. Что вы найдете въ Америкѣ? Свободу? Но развѣ она не съ вами? Задача въ томъ, чтобы создавать свободу, гдѣ ея нѣтъ. Помогайте мнѣ въ этомъ. Вамъ, какъ и мнѣ, осталось одно—культъ великой идеи, культъ не созерцательный по восточному, но по европейски дѣйственный и стойкій до конца, до побѣды. Помогайте мнѣ и пріѣзжайте ко мнѣ, или поселитесь въ Швейцаріи; вы будете такъ полезны и будете видѣть меня. Простите, мой другъ. Любите меня, какъ я люблю васъ“.

Въ Америку Герценъ не уѣхалъ. Послѣ ряда безцѣльныхъ скитаній съ мѣсто на мѣсто, Герценъ, слѣдуя приглашенію Маццини, пріѣхалъ 25 авг. 1852 года въ Лондонъ.

Первый разъ онъ былъ здѣсь, повидимому, въ 1849 году (что видно изъ помѣтки вышеупомянутой статьи о Россіи въ газетѣ Прудона и такой же помѣтки письма къ Маццини въ нѣмецкомъ изданіи „Съ того берега“; въ русское изданіе письмо не вошло), вѣроятно, для переговоровъ о международномъ революціонномъ комитетѣ. Въ этотъ второй пріѣздъ Герценъ неожиданно для себя нашелъ, что лучше отшельничества, чѣмъ въ Лондонѣ, ему не найти. Онъ переселяется въ Англію и надолго остается здѣсь, въ будущемъ мѣстѣ своей знаменитой борьбы и работы для русской свободы.

IV.

Письма изъ Франціи и Италіи. — Съ того берега.

Намъ предстоитъ теперь ближе охарактеризовать, сведя воедино тамъ и сямъ разбросанныя черты, общую систему взглядовъ Герцена, какъ они сложились и вылились въ эту тяжелую для него эпоху испытаній личныхъ и общественныхъ, и попутно дать оцѣнку его произведеній этого періода.

Онъ самъ подробно и не разъ говорилъ о томъ хаосѣ глубочайшихъ сомнѣній и безнадежности, среди которыхъ писались, часто подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ событій дня, многія страницы „Писемъ изъ Франціи и Италіи“ и особенно книги „Съ того берега“.

„Внутри все было оскорблено, все опрокинуто, очевидныя противорѣчія, хаосъ; снова ломка, снова ничего нѣтъ. Давно оконченныя основы нравственнаго быта превращались опять въ вопросы; факты сурово поднимались со всѣхъ сторонъ и опровергали ихъ. Сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена“... „Моя логическая исповѣдь, исторія недуга, черезъ который пробивалась оскорбленная мысль, осталась въ рядѣ статей, составившихъ „Съ того берега“. Я въ себѣ преслѣдовалъ ими послѣдніе идолы, я ироніей мстилъ имъ за боль и за обманъ, я не надъ ближнимъ издѣвался, а надъ самимъ собой“...

Факты общественно-политической жизни, которые такъ потрясли Герцена, изложены въ ихъ послѣдовательномъ объясненіи преимущественно въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи“.

Самъ авторъ „особенно цѣнилъ“ „Письма изъ Франціи и Италіи“ и въ одномъ изъ предисловій характеризуетъ переходы настроеній, въ нихъ выразившіяся.

„Въ нихъ первая встрѣча съ Европой, веселая сначала,—да и какъ же было не веселиться, вырвавшись изъ

Россіи, послѣ двухъ ссылокъ и *одного* полицейскаго надзора. Веселый тонъ писемъ скоро тускнетъ, — начинается зловѣщее раздумье и патологическій разборъ. Пестрыя декораціи конституціонной Франціи не долго могли скрыть внутреннюю болѣзнь, глубоко разъѣдавшую ее. Чѣмъ пристальнѣе я всматривался, тѣмъ яснѣе видѣлъ, что Францію можетъ воскресить только коренной экономическій переворотъ—93 годъ соціализма. Но гдѣ силы на него? Гдѣ люди? а пуще всего—гдѣ мозгъ? Съ горькимъ сомнѣніемъ и нерѣшенными вопросами покинулъ я Францію, и сразу наткнулся въ Италіи на первые свѣтлые дни ея пробужденія... Я шелъ отъ одной народной побѣды къ другой, я видѣлъ только восторженныя лица, ликующіе взоры, вдругъ—громовой ударъ 24 февраля. Иронической духъ революціи снова привелъ западнаго человѣка на гору, показалъ ему республику во Франціи, баррикады въ Вѣнѣ, Италію въ Ломбардіи—и снова столкнулъ его въ тюрьму, гдѣ ему за дерзкій сонъ прибавили новый обручъ. Я слышалъ, какъ его заклепывали,—и опять письма мои, отразившія увлеченіе 1848 г., становятся мрачны, и этотъ мракъ растетъ и растетъ до тѣхъ поръ, пока 2 декабря 1518 года вырываетъ крикъ: Vive la mort!“

Но, являясь отраженіемъ внутренней жизни и настроеній Герцена, письма имѣютъ и свою самостоятельную объективную цѣну. Этотъ до сихъ поръ не утраченный ими интересъ заключается въ живыхъ и яркихъ краскахъ, широкихъ картинахъ общественно-политическаго движенія, въ огнѣ одушевляющаго ихъ негодованія и страсти и въ рѣдкомъ по вдумчивости анализѣ явленій. Съ этой стороны ихъ справедливо сопоставляютъ съ классическими „письмами“ Берне и Гейне. Поражаетъ та проницательность, съ какою Герценъ разсмотрѣлъ внутреннюю слабость движенія, поверхностность пониманія его со стороны демократовъ и неизбѣжность жестокихъ разочарованій.

Какъ примѣръ рѣдкой проницательности Герцена, можно указать на предсказанное имъ возвышеніе Наполеона III. Въ то время, какъ многіе выбирали его президентомъ республики въ расчетѣ на его безцвѣтность, вотъ что писалъ Герценъ: — „Комиссаръ центральной полиціи, получившій шесть милліоновъ голосовъ въ память того, что его дядя тѣснилъ лѣтъ шестнадцать тотъ же народъ и усѣялъ поля всей Европы французскими трупами... Кто онъ такое самъ?— Сколько я ни смотрѣлъ на его заспанное лицо, на его колоссальный носъ, на его мутные, пухлые глазки, на опустившіяся черты, я только могъ высмотрѣть отрицательныя качества, но поэтому-то онъ и будетъ великъ, поэтому-то и современенъ“.

Прежнее поклоненіе политическому генію французовъ смѣнилось рѣзкимъ разочарованіемъ.

„Странная судьба Франціи быть великой въ болѣзни и пошлой въ здоровьи, быть великой одинъ день и ничтожной на другой день,—писалъ Герценъ.—Нѣтъ въ мірѣ народа, который сдѣлалъ бы столько подвиговъ, который бы пролилъ столько крови за свободу, какъ французы, и нѣтъ народа, который бы менѣе понималъ ее, менѣе искалъ бы осуществить ее на самомъ дѣлѣ, на площади, въ судѣ, въ своемъ домѣ; они довольствуются словами, они издаютъ прокламаціи тамъ, гдѣ надобно измѣнить бытъ. Французы—самый абстрактнѣйшій и самый религіозный народъ въ мірѣ; фанатизмъ къ идеѣ идетъ у нихъ объ руку съ неуваженіемъ къ лицу, съ пренебреженіемъ ближняго; у французовъ все превращается въ идолъ,—и горе той личности, которая не поклонится сегодняшнему кумиру"...

„Ихъ спасаетъ отъ продолжительнаго рабства ихъ подвижная натура. Утративъ девять десятыхъ пріобрѣтеннаго кровью, они лѣтъ черезъ пятнадцать снова строятъ баррикады, усѣиваютъ трупами улицы, удивляютъ міръ геройствомъ для того, чтобъ опять потерять завоеванное. Этотъ отроческій легкомысленный характеръ, эта политическая gaminerie французовъ, полная отваги и благородства, долго нравилась Европѣ и увлекала ее. Еще подобный взрывъ и такое паденіе, и, вы увидите, европейскіе народы отвернутся отъ Франціи и позволятъ ей безплодно рѣзаться сколько угодно, не удостаивая ея ни симпатіей, ни участіемъ".

Французъ, историкъ республиканской партіи во Франціи *), даетъ крайней радикальной лѣвой не ту безнадежную оцѣнку, какую подъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ горечи разочарованій усвоилъ себѣ Герценъ. Онъ находитъ, что эта лѣвая успѣла воспользоваться уроками 1848—1849 гг. „Республиканцы повторяли много разъ, что при всеобщемъ избирательномъ правѣ, осуществляемомъ безъ стѣсненій, всякое возстаніе преступно; это мнѣніе стало распространяться среди ихъ сторонниковъ, несмотря на нѣсколькихъ революціонеровъ, всегда склонныхъ насильственно доставить преобладаніе волѣ Парижа. Въ то же самое время произошло сближеніе между демократами и соціалистами, при чемъ одни отреклись отъ своихъ буржуазныхъ предразсудковъ, а другіе—отъ своихъ коммунистическихъ утопій. Они образовали партію демократовъ-соціалистовъ, которая приступила къ правильной пропагандѣ въ деревняхъ, до тѣхъ поръ оста-

*) Жоржъ Вейль, Исторія республиканской партіи во Франціи съ 1814 по 1870 г. М. 1906. Стр. 441 etc.

вавшихся въ забросѣ. Никогда еще въ республиканской партіи не было больше согласія, больше единства между всѣми либеральными и прогрессивными фракціями. Мирная работа пропаганды, имѣвшая въ виду подготовить побѣду 1852 г., шла быстрымъ ходомъ, когда государственный переворотъ 2 декабря прервалъ ее"...

Герценъ не оцѣнилъ этого поворота въ демократической партіи; онъ огульно отрицательно относился къ ея дѣятелямъ, кромѣ немногихъ лицъ, особнякомъ стоявшихъ, какъ Прудонъ или чудаковатый медикъ Кердеруа (Coeurderoi), считавшій необходимымъ для возрожденія Запада казацкое нашествіе, писатель, въ которомъ только что цитированный историкъ находитъ экзальтацію, близкую къ сумасшествію *).

Еще болѣе одинокъ Герценъ оказался, конечно, въ пророчествахъ, какими оканчиваются „Письма изъ Франціи и Италіи".

„Вся Европа выйдетъ изъ фугъ своихъ, будетъ втянута въ общій разгромъ; предѣлы странъ измѣнятся, народы соединятся другими группами, національности будутъ сломлены и оскорблены. Города, взятые приступомъ, ограбленные, обѣднѣютъ, образованіе падетъ, фабрики остановятся, въ деревняхъ будетъ пусто, земля останется безъ рукъ, какъ послѣ тридцатилѣтней войны; усталые, заморенные народы покорятся всему, военный деспотизмъ замѣнитъ всякую законность и всякое управленіе. Тогда побѣдители начнутъ драку за добычу. Испуганная цивилизація, индустрія побѣгутъ въ Англію, въ Америку, унося съ собой отъ гибели, кто деньги, кто науку, кто начатый трудъ. Изъ Европы сдѣлается нѣчто въ родѣ Богеміи послѣ гусситовъ.

„И тутъ, на краю гибели и бѣдствій начнется другая война, домашняя.

„Современный государственный бытъ со своей *цивилизаціей* погибнутъ, будутъ, какъ учтиво выражается Прудонъ, *ликвидированы*.

„Вамъ жаль цивилизаціи?

„Жаль ея и мнѣ.

„Но ея не жаль массамъ.

„Смиреніе передъ неотвратимыми судьбами! И твердымъ шагомъ взойдемъ въ Новый годъ!"

Герценъ оказался на этотъ разъ плохимъ пророкомъ. Но одиночество Герцена, при такихъ понятіяхъ и ожиданіяхъ, понятно. Даже Прудонъ, наиболѣе скептически относившійся къ планамъ и ожиданіямъ близкаго торжества революціи,

*) Тамъ же, стр. 333.

опасавшійся распаденія Франціи, какъ государства, находилъ все это отчаяніе Герцена неумѣстнымъ. 24 января 1852 г. онъ писалъ друзьямъ: „Поклонитесь нашему дорогому Герцену. Будьте почаще съ нимъ, утѣшьте его, посовѣтуйте ему не дѣлаться сообщникомъ контръ-революціи, проповѣдуя какое-то смѣшное Consummatum est („совершилось!“). Поистинѣ говорю вамъ: ничто не потеряно“.

Какъ бы ни было, Герценъ до дна выпилъ чашу человѣка, отходящаго отъ единомышленниковъ въ часъ ихъ пораженія, отходящаго не потому, что они поражены, но потому, что онъ потерялъ въ нихъ прежнюю вѣру... „Горе тому, кто въ печальномъ стану побѣжденныхъ поднимаетъ такую рѣчь. Маститые революціонеры и ихъ ставленники увидятъ обиду, личность, измѣну въ ней и проглядятъ трагическій характеръ скорбныхъ признаній, которыми человѣкъ отдираетъ свое сердце отъ среды, въ которой жилъ, которую любилъ, но въ несвоевременности которой убѣжденъ. Они не оцѣнятъ лиризмъ ироніи и злобы, вырывающійся изъ груди человѣка, увидѣвшаго, что онъ часть жизни шелъ по ложной дорогѣ и не знаетъ, успѣетъ ли еще своротить на ту, которая его приведетъ къ цѣли. Они называютъ „дилетантами“ мятежныя личности, не дѣлящія ихъ воззрѣній, неучтивыми гостями, которые не хотятъ дѣлить тяжелой пріуготовительной работы, а спокойно пересуживаютъ сдѣланное...“

Но подлинная трагедія была для Герцена не только въ этомъ разрывѣ солидарности съ прежними единомышленниками, а еще и въ безнадежномъ овладѣвавшемъ имъ порою сознаніи, что онъ—чужой не только тѣмъ или инымъ радикальнымъ кружкамъ, но остается чужимъ и въ отношеніяхъ къ судьбѣ народныхъ и рабочихъ массъ, которымъ въ послѣднемъ счетѣ все же принадлежитъ будущее.

„Какъ ни возставай, какъ ни досадуй,—пишетъ онъ съ горечью,—но мы сами принадлежимъ по жизни, по привычкамъ, по языку къ той же литературно-ученой и политической средѣ, отъ которой мы отрекаемся. Теоретическій разрывъ нашъ съ нею сдѣлать практическимъ не въ нашей волѣ, мы слишкомъ далеко зашли въ этой жизни, чтобъ остановить ее... въ сущности актъ нашего возмущенія и есть наше дѣяніе, на него мы потратили лучшія силы, о немъ раздалось наше лучшее слово, мы и теперь можемъ быть сильны только въ борьбѣ съ книжниками и фарисеями консервативнаго и революціоннаго міра.

„Оставить рѣчь съ ними и обратиться къ народу—великое дѣло, но мы не сумѣемъ.

„Мы—вмѣстѣ трупъ и убійцы, болѣзнь и прозекторы стараго міра: вотъ наше призваніе. Я долго думалъ, что можно,

по крайней мѣрѣ, лично начать новую жизнь, отступить въ себя, удалиться отъ толкучаго рынка. Невозможно, — будь хоть одинъ человѣкъ возлѣ васъ, съ которымъ вы не порвали всѣ отношенія, черезъ него воротится старый міръ, порочный и распутный, лукавый и предательскій. Мы похожи на того раба во французскихъ колоніяхъ, котораго господинъ за наказаніе связалъ наглухо съ трупомъ имъ убитаго вола и такъ оставилъ умирать.

„Смерть отжившаго міра захватитъ и насъ, спастись нельзя, наши испорченныя легкія не могутъ дышать другимъ воздухомъ, кромѣ зараженнаго“...

„Все, что остается, погибая въ разгромѣ и хаосѣ, привѣтствовать новый міръ—міръ не нашъ—нашимъ: „Умирающіе привѣтствуютъ тебя, Кесарь!“

Когда-то Герценъ писалъ въ дневникѣ: „Наше состояніе безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указываетъ, что мы внѣ народныхъ потребностей и наше дѣло отчаянное страданіе“ и т. п. Но Герценъ не могъ тогда, въ сороковые годы, предчувствовать, что онъ вскорѣ гораздо глубже долженъ перестрадать за свое положеніе человѣка все-таки *стараго* міра. На родинѣ онъ чувствовалъ себя лишнимъ“, потому что былъ впереди, здѣсь— онъ впереди съ тѣми, кто знаетъ и ждетъ новый грядущій міръ, но онъ не изъ числа тѣхъ, кто уже живетъ для этого міра и борется за него, по крайней для своего поколѣнія Герценъ не видитъ возможности непосредственнаго сліянія въ работѣ для будущаго съ массами.

Эта тяжкая драма полной оторванности отъ обманчивыхъ надеждъ современниковъ, трагическое сознаніе чужести надвигающемуся перевороту, гораздо болѣе глубокому, нежели ожиданія недавнихъ единомышленниковъ,—еще полнѣе чѣмъ въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи“ выразились въ лирическихъ импровизаціяхъ, исповѣди, сатирахъ, собранныхъ въ неподражаемой, единственной въ своемъ родѣ у насъ, русскихъ, книгѣ: „Съ того берега“.

Какъ мы уже цитировали, въ этомъ произведеніи, по признанію Герцена, „сомнѣніе заносило свою тяжелую ногу на послѣднія достоянія, оно перетряхивало не церковную ризницу, не докторскія мантіи, а революціонныя знамена“... Да и не одни знамена. „Съ того берега“ хватаетъ такъ далеко и глубоко, что дерзость москвича не только въ свое время поразила людей Запада. И донынѣ смѣлый скептицизмъ Герцена не превзойденъ ни однимъ русскимъ писателемъ, только Левъ Толстой идетъ рядомъ съ нимъ, подрывая самыя глубокія основы традиціи и отживающаго соціальнаго строя.

Съ церковными ризницами или докторскими мантіями Герценъ расчелся еще въ Россіи, когда ученикомъ Фейербаха признавъ за фантастически освѣщенный туманъ традиціонныя богословскія и философскія построенія о Богѣ и безсмертіи, и въ статьяхъ о „Дилетантизмѣ въ наукѣ“ и въ „Письмахъ объ изученіи природы“ свелъ счеты съ цеховой и дилетантской наукой, съ докторскими мантіями. Но онъ сдѣлалъ и слѣдующій шагъ. „Мистицизмъ науки... замѣнилъ во мнѣ,—говоритъ онъ,—евангельскій мистицизмъ; по счастію, отдѣлался я и отъ второго („Был. и Д.“, гл. XVI).

Если давать книгѣ „Съ того берега“ самую краткую характеристику, мы назвали бы ее книгою великой тревоги. Ни въ одномъ произведеніи Герцена такъ полно не отразилась эта неумолчная тревога кипучей души, ума, одушевленнаго страстью, и сердца, просвѣтленнаго огромнымъ скептическаго склада умомъ. Онъ былъ правъ, когда говорилъ, что считаетъ „Съ того берега“ лучшимъ своимъ созданіемъ. Если это не лучшая его вещь, то вещь наиболѣе герценовская, въ смыслѣ отраженія личности. Какая потеря для русскаго общества, что мысли и чувства, которыми книга столь богата, такъ долго оставались подъ спудомъ для русскихъ читателей! На каждой изъ этихъ кипящихъ страстью страницъ брошено изумительное богатство яркихъ образовъ, то и дѣло звучитъ мѣткое крылатое слово, сверкающіе отточенною сталью афоризмы и парадоксы приковываютъ къ себѣ мысль читателя, открывая восхищенному взору перспективы новыхъ и новыхъ мыслей и настроеній.

Все казалось бы рѣшенное и законченное привлечено къ суду. Читатель поставленъ между „блаженствомъ безумія“ или „несчастіемъ знанія“.

„Выбирайте сами. Одно чрезвычайно прочно, потому что отнимаетъ все. Другое ничѣмъ не обезпечено, за то многое даетъ. Я избираю знаніе, и пусть оно лишитъ меня послѣднихъ утѣшеній, я пойду нравственнымъ нищимъ по бѣлому свѣту, но съ корнемъ вонъ дѣтскія надежды, отроческія упованія.—Всѣ ихъ подъ судъ неподкупнаго разума!“

Всѣ неопредѣленныя и туманныя представленія о человѣчествѣ, прогрессѣ, свободѣ, которыми пробавлялось большинство радикальныхъ общественно-политическихъ дѣятелей, съ кѣмъ имѣлъ дѣло Герценъ, ихъ „демагогическія разглагольствованія“, за которыя онъ упрекалъ и самого себя за первое время пребыванія за границей,—все это пересматривается и все не выдерживающее безпощадной критики выбрасывается за бортъ, какъ ненужный балластъ на человѣческомъ сознаніи. „Съ того берега“—съ берега, противоположнаго берегу всѣхъ ходячихъ представленій о смыслѣ

столъ, взглянули другъ на друга и разомъ вспомнили владимірское житье...

„И мы сами были тѣ же, только теперь мы подавали другъ другу руки, не какъ заносчивые юноши, самонадѣянные и гордые вѣрой въ себя, вѣрой другъ въ друга и въ какую-то исключительность нашей судьбы, а какъ ветераны, закаленные въ бою жизни, испытавшіе не только свою силу, но и свою слабость... Въ эту встрѣчу все было кончено, оборванные концы срослись, не безъ рубца, но крѣпче прежняго; такъ срастаются иногда части сломанной кости. Слезы печали, не обсохшія на глазахъ, соединяли еще новой связью: чувствомъ глубокаго состраданія другъ къ другу. Я видѣлъ ея борьбу, ея мученье, я видѣлъ, какъ она изнемогала. Она видѣла меня слабымъ, несчастнымъ, оскорбленнымъ, оскорбляющимъ, готовымъ на жертву и преступленіе.

„Любовь какимъ-то чудомъ пережила ударъ, который долженъ былъ ее разрушить“.

Такъ на время вернулась къ Герценамъ полоса глубокаго взаимнаго счастья. „Послѣ страданій, которымъ можетъ ты знаешь мѣру, иныя минуты полны блаженства,—пишетъ она Нат. А. Тучковой,—всѣ вѣрованія юности, дѣтства не только свершились, но прошли сквозь страшныя, невообразимыя испытанія, не утративъ ни свѣжести, ни аромата—расцвѣли съ новымъ блескомъ и силой. Я никогда не была такъ счастлива, какъ теперь“... Въ своихъ воспоминаніяхъ она вездѣ находитъ его, одного его. Послѣдняя ея мечта—„жить для него, чтобы залечить всѣ раны, которыя я ему нанесла, жить для себя, потому что я узнала его любовь, какъ никогда, довольна ею, какъ никогда“...

Но судьба уже снова караулила Герцена для новыхъ жестокихъ испытаній. Въ ту же осень, 16 ноября 1851 г., его мать и сынъ Коля (глухонѣмой мальчикъ, крестникъ Грановскаго, болѣзненная привязанность Натальи Александровны) потонули въ морѣ, при крушеніи парохода, шедшаго изъ Марсели въ Ниццу. Н. А. уже не оправлялась послѣ этого новаго потрясенія. „Въ мучительной неувѣренности тянулись дни, что-то въ родѣ существованія людей между приговоромъ и казнію, когда человѣкъ разомъ надѣется и навѣрно знаетъ, что онъ отъ топора не уйдетъ!“

„Vive la mort!“—привѣтствовалъ Герценъ декабрьскій переворотъ 1851 г. во Франціи.

Новый 1852 годъ былъ встрѣченъ у постели больной. „Энгельсоны, Фохтъ, человѣка два близкихъ знакомыхъ были у насъ. Всѣ были печальны. Парижское 2-е декабря лежало плитой на груди“...

Наталья Александровна скончалась 2 мая 1852 г. Она

стаетъ тѣмъ, что понялъ свое положеніе, въ рулевого, который гордо разсѣкаетъ волны своей ладьи, заставляя бездонную пропасть служить себѣ путемъ сообщенія" (Роб. Оуэнъ). Вспомните прежнее, не разъ повторенное Герценомъ, гордое „Caesarem vehis!".

„Не имѣя ни программы, ни заданной темы, ни неминуемой развязки, растрепанная импровизація исторіи готова идти съ каждымъ, каждый можетъ вставить въ нее свой стихъ и, если онъ звученъ, онъ останется *его* стихомъ, пока поэма не оборвется, пока прошедшее будетъ бродить въ ея крови и памяти"... Положеніе человѣка въ исторіи сложно лишь тѣмъ, что онъ „разомъ—*лодка, волна и кормчій*. Хоть бы карта была".

Герценъ отдаетъ дань послѣдовательности и смыслу религіозно-мистическаго возрѣнія, которое соединило волю Божію съ полною отвѣтственностью человѣка, фатализмъ и свободу воли. „Изъ яркаго, пахучаго, опьяняющаго цвѣтка доктринеры высушили блѣдное сѣно для гербаріума", сохраняя историческія цѣли, осуществленіе исторической arrière-pensée (задней мысли), родовое безсмертіе человѣчества и т. п.: „Безсмертная душа всего человѣчества... Это стоитъ мертвыхъ душъ! Нѣтъ ли безсмертной березы всѣхъ березъ?"

„Не проще ли понять, что человѣкъ живетъ не для *совершенія* судебъ, не для воплощенія идеи, не для прогресса, а единственно потому, что родился *для* (какъ ни дурно это слово) настоящаго, что вовсе не мѣшаетъ ему ни получать наслѣдство отъ прошедшаго, ни оставлять кое-что по завѣщанію... Все великое значеніе наше при нашей ничтожности, при едва уловимомъ мельканіи личной жизни, въ томъ-то и состоитъ, что, пока мы живы, пока не развязался въ стихіи задержанный нами узелъ, *мы все-таки сами*, а не куклы, назначенныя выстрадать процессъ или воплотить какую-то бездомную идею. Гордиться должны мы тѣмъ, что мы не нитки и не иголки въ рукахъ фатума, шьющаго пеструю ткань исторіи... Мы знаемъ, что эта ткань не безъ насъ шьется, но это не цѣль наша, не назначеніе, не заданный урокъ, а послѣдствіе той сложной круговой поруки, которая связываетъ все сущее концами и началами, причинами и дѣйствіями".

„И это не все, мы можемъ *перемѣнить узоръ ковра*. Хозяина нѣтъ, рисунка нѣтъ, одна основа да мы одни одинехоньки. Прежніе ткачи судьбы, всѣ эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить"...

„*Крайности ни въ комъ нѣтъ, но всякій можетъ быть незамѣнимой дѣйствительностью*; передъ каждымъ открытыя двери. *Есть что* сказать человѣку,—пусть говоритъ: слушать

его будутъ; мучитъ его душу убѣжденіе,—пусть проповѣдуетъ. Люди не такъ покорны, какъ стихіи, но мы всегда имѣемъ дѣло съ современной массой,—ни она не самобытна, ни мы не независимы отъ общаго *фона* картины, отъ одинакихъ предшествовавшихъ вліяній, связь общая есть. Теперь вы понимаете, отъ кого и кого зависитъ будущность людей, народовъ?

„Отъ кого?

„Какъ отъ кого?... *да отъ насъ съ вами*, напримѣръ? Какъ же послѣ этого сложить руки?“ („Роб. Оуэнъ“).

Этотъ заключительный бодрящій выводъ въ книгѣ „Съ того берега“ не сдѣланъ. Напротивъ, въ ней то и дѣло всплываетъ въ страстныхъ изліяніяхъ души, измученной людскими звѣрствами, тяжелое отчаяніе, холодная безнадежность. Конечно, временныя. Но тѣмъ безпощаднѣе Герценъ обрушивается на доктринерство поклонниковъ фаталистическаго прогресса, всяческой предуказанной цѣли.

„—То есть, просто, цѣль природы и исторіи—мы съ вами?..

„—Отчасти, да *плюсъ* настоящее всего существующаго; тутъ все входитъ: и наслѣдіе всѣхъ прошлыхъ усилій, и зародыши всего, что будетъ; вдохновеніе артиста, и энергія гражданина, и наслажденіе юноши, который въ эту самую минуту пробирается гдѣ-нибудь къ завѣтной бесѣдкѣ, гдѣ его ждетъ подруга, робкая и отдающаяся вся настоящему, не думая, ни о будущемъ, ни о цѣли... и веселье рыбы, которая плещется, вотъ на мѣсячномъ свѣтѣ... и гармонія всей солнечной системы... словомъ, какъ послѣ феодальныхъ титуловъ, я смѣло могу поставить три „и прочая... и прочая“...

„—Прогрессъ—неотъемлемое свойство сознательнаго развитія, которое не прерывалось,—продолжаетъ Герценъ,—это—дѣятельная память и физіологическое усовершеніе людей общественной жизнью.

„—Неужели вы тутъ не видите цѣли?

„—Совсѣмъ напротивъ, я тутъ вижу послѣдствіе. Если прогрессъ—цѣль, то для кого мы работаемъ? Кто этотъ Молохъ, который, по мѣрѣ приближенія къ нему тружениковъ, вмѣсто награды пятится и въ утѣшеніе изнуреннымъ и обреченнымъ на гибель толпамъ, которыя ему кричатъ: Morituri te salutant, только и умѣетъ отвѣтить горькой насмѣшкой, что послѣ ихъ смерти будетъ прекрасно на землѣ. Неужели и вы обрекаете современныхъ людей на жалкую участь каріатидъ, поддерживающихъ терассу, на которой когда-нибудь другіе будутъ танцовать... или на то, чтобъ быть несчастными работниками, которые, по колѣно

въ грязи, тащутъ барку съ таинственнымъ руномъ и съ смиренной подписью „прогрессъ въ будущемъ“ на флагѣ. Утомленные падаютъ на дорогѣ, другіе съ свѣжими силами принимаются за веревки, а дороги, какъ вы сами сказали, остается столько же, какъ при началѣ, потому что прогрессъ безконеченъ. Это одно должно бы было насторожить людей; цѣль безконечно далекая,—не цѣль, а если хотите—уловка; цѣль должна быть ближе, по крайней мѣрѣ—заработная плата или наслажденіе въ трудѣ. Каждая эпоха, каждое поколѣніе, каждая жизнь имѣли, имѣютъ свою полноту, по дорогѣ развиваются новыя требованія, испытанія, новыя средства, однѣ способности усовершенствуются насчетъ другихъ, наконецъ, самое вещество мозга улучшается... Что вы улыбаетесь?.. Да, да, церебринъ улучшается...

„Этотъ родовой ростъ не цѣль, какъ вы полагаете, а свойство преемственно продолжающагося существованія поколѣній. Цѣль для каждаго поколѣнія—оно само. Природа не только никогда не дѣлаетъ поколѣній средствами для достиженія будущаго, но она вовсе объ будущемъ не заботится; она готова, какъ Клеопатра, распустить въ винѣ жемчужину, лишь бы потѣшиться въ настоящемъ, у нея сердце баядеры и вакханки“.

„Изъ этого вы видите, что исторія можетъ продолжаться милліоны лѣтъ. Съ другой стороны, я ничего ни имѣю противъ окончанія исторіи завтра. Мало ли что можетъ быть. Энкіева комета зацѣпитъ земной шаръ, геологическій катаклизмъ пройдетъ по поверхности, ставя все вверхъ дномъ, какое-нибудь газообразное испареніе сдѣлаетъ на полчаса невозможнымъ дыханіе,—вотъ вамъ и финалъ исторіи“.

И много разъ повторяетъ и варьируетъ Герценъ эти мысли, какъ бы питаясь скрытою въ нихъ горечью скептическаго яда. Высказанъ былъ взглядъ, что здѣсь и была великая душевная драма Герцена. „Несмотря на свои позитивно-атеистическія воззрѣнія, Герценъ былъ постоянно занятъ вопросами религіознаго сознанія,—о смыслѣ жизни, исторіи и т. п. карамазовскими вопросами. Но какъ и Карамазову, Герцену суждено было испытать не радость положительнаго разрѣшенія этихъ великихъ и страшныхъ вопросовъ, а горечь сознанія ихъ неразрѣшимости. Онъ искалъ и не нашелъ; но вѣдь истинная-то религіозность именно и состоитъ въ исканіи“. „Герценъ—это Прометей, прикованный, или вѣрнѣе, самъ себя приковавшій къ безплодной скалѣ позитивизма,—пишетъ тотъ же авторъ:—философія Герцена ниже его личности; умственный мѣщанинъ, резонеръ здраваго смысла, душитъ Прометея, постоянно палимаго тѣмъ внутреннимъ огнемъ, который былъ

похищенъ имъ съ неба. Въ этомъ несоотвѣтствіи міровоззрѣнія духовнымъ запросамъ личности, которая не можетъ, однако, преодолѣть его изнутри, и состоитъ душевная драма Герцена" *). Едва ли возможно согласиться съ этимъ истолкованіемъ личности Герцена всецѣло. Герценъ былъ слишкомъ дѣятельная, рвущаяся къ непрестанной переработкѣ внѣшнихъ впечатлѣній личность, чтобы можно было ему приписывать это непрестанное богоборчество, которое такъ поглощаетъ Карамазова. Все, что мы знаемъ о біографіи Герцена, говоритъ намъ, что карамазовскіе вопросы захватывали его полосою, но никогда не составляли постоянной подкладки его умственной работы. Разъ составивъ себѣ это позитивно-скептическое воззрѣніе на смыслъ бытія, онъ съ суровой покорностью факту, „со смиреніемъ", какъ любилъ онъ выражаться, принимаетъ эти истины и отъ нихъ уже исходитъ, строя на нихъ, какъ на логическомъ основаніи.

Безцѣльность или самоцѣльность исторіи и всей сложной захватывающей игры событій опредѣляетъ для Герцена и взглядъ его на великій соціальный, переживаемый человѣчествомъ, кризисъ.

Раскрыть людямъ глаза на этотъ кризисъ, пробудить ихъ дремлющее сознаніе, вотъ что занимаетъ его гораздо больше общефилософскаго вопроса о смыслѣ бытія и исторіи. Герценъ больше моралистъ, нежели философъ, довольствующійся отвлеченнымъ для себя постиженіемъ истины.

Какъ позднѣе Л. Н. Толстой, онъ обрушивается на то, какъ люди,—мѣщанство въ которыхъ онъ нещадно преслѣдуетъ,—заглушаютъ въ себѣ всѣми способами сознаніе и совѣсть, чтобы скрыть отъ самихъ себя противорѣчіе требованій разума и совѣсти всему ходу нашей жизни.

„Наша жизнь—постоянное бѣгство отъ себя, точно угрызенія совѣсти преслѣдуютъ, пугаютъ насъ. Какъ только человѣкъ становится на свои ноги, онъ начинаетъ кричать, чтобы не слыхать рѣчей, раздающихся внутри: ему грустно,—онъ бѣжитъ разсѣяться; ему нечего дѣлать,—онъ выдумываетъ себѣ занятіе; отъ ненависти къ одиночеству онъ дружится со всѣми, все читаетъ, интересуется чужими дѣлами, наконецъ женится на скорую руку... Кому и эта жизнь не удалась, тотъ напивается всѣмъ на свѣтѣ: виномъ, нумизматикой, картами, скачками, женщинами, благодѣяніями, ударяется въ мистицизмъ, идетъ въ іезуиты, налагаетъ на себя чудовищные труды, и они ему все-таки, легче кажутся, чѣмъ какая-то угрожающая истина, дре-

*) С. Н. Булгаковъ. Душевная драма Герцена. Кіевъ, 1905. Стр. 28, 42, 43.

млющая *внутри* его. Въ этой боязни изслѣдовать, чтобы не увидать вздоръ изслѣдуемаго, въ этомъ искусственномъ недосугѣ, въ этихъ поддѣльныхъ несчастьяхъ, усложняя каждый шагъ вымышленными путями, мы проходимъ по жизни спросонья и умираемъ въ чаду нелѣпости и пустяковъ, не пришедши въ себя"... Къ сколькимъ страницамъ Льва Толстого эти строки подошли бы въ качествѣ самаго выразительнаго эпиграфа!

— Очнитесь, люди,—говоритъ книга,—сумѣйте освободить себя не только внѣшнимъ политическимъ образомъ, переходите на „тотъ берегъ".

На „томъ берегу"—сознательный судъ надъ всею современною жизнью, и кто не закрываетъ глазъ, не затемняетъ себѣ сознанія, не можетъ не видѣть грядущаго переворота.

„Все наше образованіе, наше литературное и научное развитіе, наша любовь изящнаго, наши занятія предполагаютъ среду, постоянно расчищаемую *другими*, приготовляемую *другими*; надобенъ чей-то трудъ для того, чтобъ намъ доставить досугъ, необходимый для нашего психическаго развитія, тотъ досугъ, ту дѣятельную праздность, которая способствуетъ мыслителю сосредоточиваться, поэту мечтать, эпикурейцу наслаждаться, которая способствуетъ пышному, капризному, поэтическому, богатому развитію нашихъ аристократическихъ индивидуальностей.

„Кто не знаетъ, какую свѣжесть духу придаетъ беззаботное довольство... бѣдность страшно искажаетъ душу человѣка,—не меньше богатства. Забота объ однѣхъ матеріальныхъ нуждахъ подавляетъ способности. А развѣ довольство можетъ быть доступно всѣмъ при современной гражданской формѣ? Наша цивилизація—цивилизація меньшинства, она только возможна при большинствѣ чернорабочихъ".

Въ сущности, говоря грубо, вѣдь весь нашъ бытъ основанъ на *антропофаги*.

„Аристократія—вообще болѣе или менѣе образованная антропофагія, — пишетъ Герценъ: — каннибалъ, который бьетъ своего невольника, помѣщикъ, который беретъ страшный процентъ съ земли, фабрикантъ, который богатѣетъ насчетъ своего работника,—составляютъ только видоизмѣненіе одного и того же людоѣдства. Я, впрочемъ, готовъ защищать и самую грубую антропофагію, если одинъ человѣкъ себя разсматриваетъ, какъ блюдо, а другой хочетъ его съѣсть,—пусть ѣстъ; они стоятъ того: одинъ, чтобы быть людоѣдомъ, другой, чтобы быть кушаньемъ... Работникъ не хочетъ больше работать для другого,—вотъ вамъ и конецъ антропофагіи, вотъ предѣлъ аристократіи. Все дѣло оста-

новилось теперь затѣмъ, что работникъ не сосчиталъ своихъ силъ, крестьяне отстали въ образованіи; когда они протянутъ другъ другу руки, тогда вы распроститесь съ вашимъ досугомъ, съ вашей роскошью, съ вашей цивилизаціей, тогда окончится поглощеніе большинства на вырабатываніе свѣтлой и роскошной жизни меньшинству. Въ идеѣ теперь уже окончена эксплоатація человѣка человѣкомъ, окончена потому, что никто не считаетъ это отношеніе справедливымъ".

„Какъ же этотъ міръ устоитъ противъ соціальнаго переворота?"...

— Взглянемъ же безстрашно въ глаза правдѣ,—вотъ основное настроеніе „Съ того берега" передъ лицомъ неумолимыхъ фактовъ и предвѣстниковъ этого переворота.

Это преобладаніе отнынѣ надъ всѣми политическими вопросами вопроса соціальнаго было указано и въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи". „Съ того берега" освѣщаетъ съ точки зрѣнія соціальнаго вопроса и всѣ остальныя стороны человѣческой жизни.

„Обыкновенно думаютъ, что соціализмъ имѣетъ исключительною цѣлью разрѣшеніе вопроса о капиталѣ, рентѣ и заработной платѣ. Это не совсѣмъ такъ. Экономическіе вопросы чрезвычайно важны, но они составляютъ одну сторону цѣлаго воззрѣнія, стремящагося, наравнѣ съ уничтоженіемъ злоупотребленій собственности, уничтожить, на тѣхъ же основаніяхъ, и все монархическое, религіозное въ судѣ, въ правительствѣ, во всемъ общественномъ устройствѣ и всего болѣе, въ семьѣ, въ частной жизни, около очага, въ поведеніи, въ нравственности" (Письмо XI, „Письма изъ Фр. и Ит.").

Передъ этимъ всеобъемлющимъ, всезахватывающимъ поворотомъ во всемъ строѣ жизни человѣчества изчезаетъ въ глазахъ Герцена значеніе однѣхъ политическихъ формъ, и онъ даже привѣтствуетъ наступившее, по крайней мѣрѣ во Франціи, равнодушіе къ политической сторонѣ общественнаго движенія.

„Народъ не вѣритъ теперь въ республику, и превосходно дѣлаетъ: пора перестать вѣрить въ какую бы то ни было единую спасающую церковь".

„Я не умѣю выбирать между рабствомъ такъ, какъ между религіями; у меня вкусъ притупился, я не въ состояніи различать тонкостей, которое рабство лучше, которое хуже, которая религія ближе къ спасенію, которая дальше, что притѣснительнѣе: честная республика или честная монархія, революціонный консерватизмъ Радецкаго или консервативная революціонность Кавеньяка, что пошлѣе: квакеры или іезу-

иты... Съ обѣихъ сторонъ рабство, съ одной—хитрое, прикрытое именемъ свободы, и, слѣдственно, опасное; съ другой—дикое, животное, и, слѣдственно, бросающееся въ глаза. По счастью, они другъ въ другѣ не узнаютъ родственныхъ чертъ и готовы ежеминутно выступить въ бой; пусть борются, пусть составляютъ коалиціи, пусть грызутъ другъ друга и тащатъ въ могилу".

Отвергая эти внѣшніе перевороты, становясь „по ту сторону" ихъ, Герценъ съ неподражаемымъ жаромъ говоритъ о великомъ дѣйствительномъ будущемъ освобожденіи „человѣческой души".

И здѣсь соціалистъ Герценъ является рѣзко выраженнымъ индивидуалистомъ, великимъ проповѣдникомъ нравственной силы и достоинства личности.

„Свобода лица—величайшее дѣло; на ней и только на ней можетъ вырасти свобода народа. Въ себѣ самомъ человѣкъ долженъ уважать свою свободу и чтить ее не менѣе, какъ въ ближнемъ, какъ въ цѣломъ народѣ".

„Недостаточно разобрать по камешкамъ Бастилію, чтобы сдѣлать колодниковъ свободными людьми",—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, и во множествѣ такихъ же блестящихъ образовъ на всѣ лады варьируетъ эту мысль, выношенную имъ въ странѣ откровеннаго рабства—на родинѣ, и созрѣвшую въ странѣ замаскированнаго рабства—на Западѣ.

„Какъ будто достаточно атеизма, чтобы не имѣть религіи, какъ будто достаточно убить Людовика XVI, чтобы не было монархіи".

„Не будетъ міру свободы, пока все религіозное, политическое не превратится въ человѣческое, простое, подлежащее критикѣ и отрицанію".

„Мало не признавать преступленіемъ оскорбленіе Величества,—надобно признавать преступленіемъ salus populi".

„Пора человѣку потребовать къ суду: республику, законодательство, представительство, всѣ понятія о гражданинѣ, о его отношеніи къ другимъ и государству".

Цѣлыя страницы и драмы Ибсена, столь рѣзко выраженнаго художника-индивидуалиста нашихъ дней, кажутся только иллюстраціями этихъ мыслей, такихъ прямыхъ, ясныхъ и рѣзкихъ. Если искать параллелей и источниковъ аналогичнаго настроенія въ тогдашней литературѣ, придется назвать Макса Штирнера, книга котораго могла стать извѣстна Герцену въ Парижѣ (ее зналъ Бѣлинскій, какъ видно по разсказу Анненкова, хотя критикъ и не читалъ по-нѣмецки). Но, конечно, Герценъ, если и удастся установить общность нѣкоторыхъ мыслей со Штирнеромъ, остается въ лирическихъ изліяніяхъ „Съ того берега" вполнѣ самимъ собою.

Но страстное стремленіе къ свободѣ, достижимой лишь на „томъ берегу“, все время переплетается у Герцена съ горькимъ скептическимъ сознаніемъ, что это общее освобожденіе мысли человѣчества, можетъ быть, и вовсе недостижимо. „Свободный человѣкъ, можетъ быть, вовсе не нужный человѣкъ“,—съ горечью говоритъ онъ.—„Но изъ этого не слѣдуетъ,—добавляетъ онъ тутъ же,—что онъ долженъ поступать противъ своихъ убѣжденій“. Много разъ еще будетъ торжествовать міръ *этого* берега, но кто свободенъ—пусть идетъ къ тому берегу—безъ надежды его достигнуть лично. „Мы не призваны собирать плодъ, но призваны быть палачами прошедшаго, казнить, преслѣдовать его, узнавать его во всѣхъ одеждахъ и приносить въ жертву будущему. Оно (т. е. прошедшее) торжествуетъ фактически, погубимъ его въ идеѣ, въ убѣжденіи, во имя человѣческой мысли“. Конечно, одна эта побѣда „въ идеѣ“, которую можетъ предвидѣть для себя „свободный“ человѣкъ,—утѣшеніе весьма слабое, и отсюда та горечь, которою богата книга..

Но что же такое будетъ въ дѣйствительности переворотъ, ожидаемый Герценомъ?

Герцену казалось иногда, что это—уже очень и очень близкій величайшій катаклизмъ, крушеніе, какъ то, которое онъ предсказывалъ въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи“, завоеваніе міра новыми варварами, поднимающимися снизу, а можетъ быть, нашествіе на Европу Россіи, славянъ. Но совершатся ли, осуществятся ли, при этомъ, дѣйствительно, идеалы и тенденціи соціализма—это вопросъ. Историчность взгляда настолько коренилась въ Герценѣ, что онъ не рисковалъ вѣрить въ непремѣнный благопріятный исходъ этого всемірнаго кризиса...“ Законы историческаго развитія не противоположны законамъ логики,—говоритъ онъ,—но они не совпадаютъ въ своихъ путяхъ съ путями мысли, такъ, какъ ничто въ природѣ не совпадаетъ съ отвлеченными нормами, которыя строитъ чистый разумъ“. Поэтому и будущее, каковы бы ни были предвидѣнія его, никогда не является исполнителемъ этихъ предвидѣній, чаяній и надеждъ.

„Соціализмъ соотвѣтствуетъ назарейскому ученію въ Римской имперіи,—повторяетъ онъ занимавшую его издавна мысль.—Евангеліе не осуществилось,—да это и не нужно было, а осуществились средніе вѣка, вѣка возстановленія, вѣка революціи, но христіанство проникло во всѣ эти явленія, участвовало во всемъ, указывало, напутствовало. Исполненіе соціализма представляетъ также неожиданное сочетаніе отвлеченнаго ученія съ существующими фактами“.

Однимъ изъ ближайшихъ фактовъ историческаго разви-

иты... Съ обѣихъ сторонъ рабство, съ одной—хитрое, прикрытое именемъ свободы, и, слѣдственно, опасное; съ другой—дикое, животное, и, слѣдственно, бросающееся въ глаза. По счастью, они другъ въ другѣ не узнаютъ родственныхъ чертъ и готовы ежеминутно выступить въ бой; пусть борются, пусть составляютъ коалиціи, пусть грызутъ другъ друга и тащатъ въ могилу".

Отвергая эти внѣшніе перевороты, становясь „по ту сторону" ихъ, Герценъ съ неподражаемымъ жаромъ говоритъ о великомъ дѣйствительномъ будущемъ освобожденіи „человѣческой души".

И здѣсь соціалистъ Герценъ является рѣзко выраженнымъ индивидуалистомъ, великимъ проповѣдникомъ нравственной силы и достоинства личности.

„Свобода лица—величайшее дѣло; на ней и только на ней можетъ вырасти свобода народа. Въ себѣ самомъ человѣкъ долженъ уважать свою свободу и чтить ее не менѣе, какъ въ ближнемъ, какъ въ цѣломъ народѣ".

„Недостаточно разобрать по камешкамъ Бастилію, чтобы сдѣлать колодниковъ свободными людьми",—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ, и во множествѣ такихъ же блестящихъ образовъ на всѣ лады варьируетъ эту мысль, выношенную имъ въ странѣ откровеннаго рабства—на родинѣ, и созрѣвшую въ странѣ замаскированнаго рабства—на Западѣ.

„Какъ будто достаточно атеизма, чтобы не имѣть религіи, какъ будто достаточно убить Людовика XVI, чтобы не было монархіи".

„Не будетъ міру свободы, пока все религіозное, политическое не превратится въ человѣческое, простое, подлежащее критикѣ и отрицанію".

„Мало не признавать преступленіемъ оскорбленіе Величества,—надобно признавать преступленіемъ salus populi".

„Пора человѣку потребовать къ суду: республику, законодательство, представительство, всѣ понятія о гражданинѣ, о его отношеніи къ другимъ и государству".

Цѣлыя страницы и драмы Ибсена, столь рѣзко выраженнаго художника-индивидуалиста нашихъ дней, кажутся только иллюстраціями этихъ мыслей, такихъ прямыхъ, ясныхъ и рѣзкихъ. Если искать параллелей и источниковъ аналогичнаго настроенія въ тогдашней литературѣ, придется назвать Макса Штирнера, книга котораго могла стать извѣстна Герцену въ Парижѣ (ее зналъ Бѣлинскій, какъ видно по разсказу Анненкова, хотя критикъ и не читалъ по-нѣмецки). Но, конечно, Герценъ, если и удастся установить общность нѣкоторыхъ мыслей со Штирнеромъ, остается въ лирическихъ изліяніяхъ „Съ того берега" вполнѣ самимъ собою.

Но страстное стремленіе къ свободѣ, достижимой лишь на „томъ берегу“, все время переплетается у Герцена съ горькимъ скептическимъ сознаніемъ, что это общее освобожденіе мысли человѣчества, можетъ быть, и вовсе недостижимо. „Свободный человѣкъ, можетъ быть, вовсе не нужный человѣкъ“,—съ горечью говоритъ онъ.—„Но изъ этого не слѣдуетъ,—добавляетъ онъ тутъ же,—что онъ долженъ поступать противъ своихъ убѣжденій“. Много разъ еще будетъ торжествовать міръ *этого* берега, но кто свободенъ—пусть идетъ къ тому берегу—безъ надежды его достигнуть лично. „Мы не призваны собирать плодъ, но призваны быть палачами прошедшаго, казнить, преслѣдовать его, узнавать его во всѣхъ одеждахъ и приносить въ жертву будущему. Оно (т. е. прошедшее) торжествуетъ фактически, погубимъ его въ идеѣ, въ убѣжденіи, во имя человѣческой мысли“. Конечно, одна эта побѣда „въ идеѣ“, которую можетъ предвидѣть для себя „свободный“ человѣкъ,—утѣшеніе весьма слабое, и отсюда та горечь, которою богата книга..

Но что же такое будетъ въ дѣйствительности переворотъ, ожидаемый Герценомъ?

Герцену казалось иногда, что это—уже очень и очень близкій величайшій катаклизмъ, крушеніе, какъ то, которое онъ предсказывалъ въ „Письмахъ изъ Франціи и Италіи“, завоеваніе міра новыми варварами, поднимающимися снизу, а можетъ быть, нашествіе на Европу Россіи, славянъ. Но совершатся ли, осуществятся ли, при этомъ, дѣйствительно, идеалы и тенденціи соціализма—это вопросъ. Историчность взгляда настолько коренилась въ Герценѣ, что онъ не рисковалъ вѣрить въ непремѣнный благопріятный исходъ этого всемірнаго кризиса...“ Законы историческаго развитія не противоположны законамъ логики,—говоритъ онъ,—но они не совпадаютъ въ своихъ путяхъ съ путями мысли, такъ, какъ ничто въ природѣ не совпадаетъ съ отвлеченными нормами, которыя строитъ чистый разумъ“. Поэтому и будущее, каковы бы ни были предвидѣнія его, никогда не является исполнителемъ этихъ предвидѣній, чаяній и надеждъ.

„Соціализмъ соотвѣтствуетъ назарейскому ученію въ Римской имперіи,—повторяетъ онъ занимавшую его издавна мысль.—Евангеліе не осуществилось,—да это и не нужно было, а осуществились средніе вѣка, вѣка возстановленія, вѣка революціи, но христіанство проникло во всѣ эти явленія, участвовало во всемъ, указывало, напутствовало. Исполненіе соціализма представляетъ также неожиданное сочетаніе отвлеченнаго ученія съ существующими фактами“.

Однимъ изъ ближайшихъ фактовъ историческаго разви-

тія онъ предвидитъ даже еще болѣе сильное, чѣмъ нынѣ распространеніе „мѣщанства“. „Выходъ изъ этого положенія далекъ,—пишетъ онъ,—правда, въ значительно позднѣе написанныхъ „Концахъ и Началахъ“, когда мысль о близости крушенія Европы отпала:—За большинствомъ, теперь господствующимъ, стоитъ еще большее большинство кандидатовъ на него, для которыхъ нравы, понятія, образъ жизни мѣщанства,—единственная цѣль стремленій, ихъ хватитъ на десять перемѣнъ. Міръ безземельный, міръ городского преобладанія, до крайности доведеннаго права собственности, не имѣетъ другого пути спасенія, и весь пройдетъ мѣщанствомъ, которое въ нашихъ глазахъ отстало, а въ глазахъ полевого населенія и пролетаріевъ представляетъ образованность“.

Въ мрачномъ, полномъ отчаянія и проклятій „Эпилогѣ 1849“ (VI глава „Съ того берега“) Герценъ предвидитъ возможное торжество мѣщанства въ еще болѣе отвратительной формѣ.

„Весьма вѣроятно, что будущія поколѣнія выродятся еще больше, еще больше обмелѣютъ, обнищаютъ умомъ и сердцемъ, имъ уже и наши дѣла будутъ недоступны и наши мысли непонятны. Народы, какъ царскіе домы, предъ паденіемъ тупѣютъ, ихъ пониманіе помрачается, они выживаютъ изъ ума,—какъ Меровинги, зачинавшіеся въ развратѣ и кровосмѣшеніяхъ и умиравшіе въ какомъ-то чаду, ни разу не пришедши въ себя; какъ аристократія, выродившаяся до болѣзненныхъ кретиновъ, измельчавшая Европа изживетъ свою бѣдную жизнь въ сумеркахъ тупоумія, въ вялыхъ чувствахъ, безъ убѣжденія, безъ изящныхъ искусствъ, безъ мощной поэзіи. Слабыя, хилыя, глупыя поколѣнія протянутся какъ-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая ихъ покроетъ каменнымъ покрываломъ и предастъ забвенію лѣтописей.

„А тамъ?

„А тамъ настанетъ весна, молодая жизнь закипитъ на ихъ гробовой доскѣ, варварство младенчества, полное неустроенныхъ, но здоровыхъ силъ, замѣнитъ старческое варварство; дикая, свѣжая мощь распахнется въ молодой груди юныхъ народовъ, и начнется новый кругъ событій и третій томъ всеобщей исторіи.

„Основной тонъ его мы можемъ понять теперь. Онъ будетъ принадлежать соціальнымъ идеямъ. Соціализмъ разовьется во всѣхъ фазахъ своихъ до крайнихъ послѣдствій, до нелѣпостей. Тогда снова вырвется изъ титанической груди революціоннаго меньшинства крикъ отрицанія, и снова начнется смертная борьба, въ которой соціализмъ займетъ

мѣсто нынѣшняго консерватизма и будетъ побѣжденъ грядущею, неизвѣстною намъ революціею...

„Вѣчная игра жизни, безжалостная, какъ смерть, неотразимая, какъ рожденіе, corsi e ricorsi исторіи, perpetuum mobile маятника".

Неудивительно, конечно, что съ такими взглядами Герцену невозможно было примкнуть къ той или иной соціалистической партіи или доктринѣ. Нѣкоторые литературные критики выражали серьезно мысль, что будь Герценъ поближе знакомъ съ Марксомъ и въ особенности съ его „Капиталомъ" и взглядомъ на значеніе въ исторіи борьбы классовъ, онъ избѣжалъ бы безотраднаго, пессимистическаго взгляда на ближайшее будущее Европы. Въ примѣненіи къ человѣку такого огромнаго и оригинальнаго ума, какъ Герценъ, при всемъ уваженіи къ Марксу, какъ ученому, эти сожалѣнія, по меньшей мѣрѣ, странны. По существу же, можно сказать, что Герценъ очень хорошо зналъ всѣ элементы міросозерцанія Маркса—и роль экономики въ общественно-политической жизни, и значеніе классовой борьбы, установленное въ исторіи французами, и его соціализмъ былъ явленіемъ совершенно самостоятельнымъ, еще ожидающимъ спеціальной оцѣнки *).

---

*) Въ журналѣ „Образованіе" (1907, №№ 1 и 2), дана статья г. Ивановскаго „Герценъ, какъ соціалистъ", кромѣ того, что говорилъ о себѣ и своихъ отношеніяхъ съ соціалистами, самъ Герценъ, ничего не заключающая. Болѣе содержательна книга O. v. Sperber'a. Авторъ устанавливаетъ точки соприкосновенія воззрѣній Герцена съ важнѣйшими теоретиками соціализма и разнорѣчія съ ними, причемъ отмѣчаетъ, между прочимъ, близость соціально-философскихъ основаній мысли у Герцена Родбертуса. Онъ весьма высоко цѣнитъ, что Герценъ въ своихъ соціалистическихъ построеніяхъ столь важное мѣсто отводитъ личности, требуя, чтобъ общество отнюдь не стѣсняло индивидуальной свободы. Въ концѣ книги Шперберъ высказывается слѣдующимъ образомъ:

„Утопическій характеръ, отличающій во многомъ взгляды Герцена, не далъ имъ прочнаго практическаго значенія; этому же содѣйствовалъ и рядъ внѣшнихъ причинъ. Тѣмъ не менѣе заслугою его остается, что онъ поставилъ соціалистическое міровоззрѣніе на болѣе широкія основы, освѣтилъ его съ новыхъ точекъ зрѣнія, сдѣлъ его къ болѣе чистымъ формамъ; рѣзко подчеркнутое требованіе соціальной реформы, при равномѣрно принятыхъ во вниманіе моментахъ общественности и индивидуальности,—вотъ что даетъ цѣну идеямъ Герцена. Имѣетъ ли соціализмъ будущее—покажетъ время; мы однако думаемъ, что для того чтобы достичь живого жизненнаго значенія, соціализму придется вернуться къ тѣмъ же основнымъ требованіямъ герценовскаго міровоззрѣнія". Авторъ, такимъ образомъ, примыкаетъ къ тому міровоззрѣнію, которое отлилось въ нашемъ соціали-

Какъ бы ни было, Герценъ былъ слишкомъ широкъ, чтобы примкнуть здѣсь къ школѣ, какъ не могли примкнуть къ застывшей доктринѣ Гете или Левъ Толстой *). Онъ всюду хранитъ свою гордую независимость и великое одиночество мысли...

Оно полно глубокаго страданія и надрыва, и затаенная скорбь одиночества полнѣе всего выливается у Герцена въ сравненіи своего положенія съ тѣми философами древняго міра, которые, видя крушеніе его, въ то же время не могли примкнуть къ міру наивнаго христіанства и варварства.

„Убѣжденные въ томъ, что они ясно и лучше понимаютъ истину, они скорбно смотрѣли на разрушающійся міръ и на міръ возникаемый, они чувствовали себя правѣе обоихъ. Кружокъ ихъ становился все тѣснѣе... земля исчезала подъ ихъ ногами, участіе къ нимъ стыло; но они умѣли величаво и гордо дожидаться, пока разгромъ захватитъ кого-нибудь изъ нихъ,—умѣли умирать, не накупаясь на смерть и безъ притязанія спасти себя или міръ, они гибли хладнокровно, безучастно къ себѣ: они умѣли, пощаженные смертью, завертываться въ свою тогу и молча досматривать, что станется съ Римомъ, съ людьми. Одно благо, оставшееся этимъ иностранцамъ своего времени, была спокойная совѣсть, утѣшительное сознаніе, что они не испугались истины, что они, понявъ ее, нашли довольно силы, чтобы вынести ее, чтобы остаться вѣрными ей" („Consolatio").

И въ другомъ мѣстѣ:

„Мудрѣйшіе изъ римлянъ сошли совѣмъ со сцены и

стическомъ народничествѣ и, оставаясь соціалистическимъ, высоко подымаетъ идею личности, какъ это мы видимъ у Михайловскаго, въ чемъ Герценъ, повидимому, и былъ непосредственнымъ учителемъ Михайловскаго.

*) Эта широта и глубина міропониманія хорошо оцѣнена однимъ французскимъ писателемъ въ болѣе близкое къ намъ время. „Долго еще идеи Герцена, не составляя доктрины, будутъ поистинѣ чаровать людей, плѣненныхъ дѣвственнымъ будущимъ... Даже тогда, когда соціалистическія гипотезы и ихъ реальное осуществленіе, быть можетъ, обличатъ свою несостоятельность, и тогда Герценъ нимало не пострадаетъ индивидуально въ своемъ удаленіи отъ нихъ, превосходство его критики не умалится, его энергія будетъ попрежнему у мѣста. Эта дѣйственная сила—сила новаго соціологическаго принципа, который не приписываетъ абсолютной цѣнности послѣдовательнымъ осуществленіямъ жизни и мысли, но возвышается надъ ними творческими отрицаніями, примиренными въ широкомъ синтезѣ будущаго" (Victor Barrucaud, „Revue Blanche", 1895, avril). Кстати сказать, въ послѣднихъ словахъ указана и сохранившаяся у Герцена формальная зависимость въ его построеніяхъ возможнаго хода исторіи и соціальнаго вопроса отъ гегеліанской схемы: тезиса, его отрицанія (антитезиса) и синтезиса.

превосходно сдѣлали. Они разсѣялись по берегамъ Средиземнаго моря, пропали для другихъ въ безмолвномъ величіи скорби, но не пропали для себя—и чрезъ пятнадцать столѣтій мы должны сознаться, что собственно они были побѣдители, они, единственные, свободные и мощные представители независимой личности человѣка, его достоинства. Они были *люди*, ихъ нельзя было считать поголовно, они не принадлежали къ стаду и не хотѣли лгать, а не имѣя съ нимъ ничего общаго, отошли".

Мы говорили уже, что такъ отошелъ и Герценъ, конечно, на время только.

И самый пессимизмъ его, его отрицаніе западно-европейскаго міра, относится именно къ данному европейскому мѣщанскому міру и не представляетъ собою чего-либо безусловнаго, не есть основа его міропониманія. Въ „тотъ берегъ" онъ вѣритъ безусловно. Это пессимизмъ, если примѣнимо это слово,—освобождающій, менѣе всего зовущій къ квіэтизму и голому созерцанію, но призывающій каждаго на свой страхъ и рискъ, со всею отвагою знанія, какъ бы скорбно оно ни было, къ переходу на „тотъ берегъ".—„Современный человѣкъ,—говоритъ онъ въ посвященіи книги своему сыну,—печальный Pontifex Maximus, ставитъ только мостъ *),—иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по нему. Ты, можетъ, увидишь его... Не останься на старомъ берегу... Лучше съ нимъ (съ „будущимъ") погибнуть, нежели спастись въ богадѣльнѣ реакціи... Религія грядущаго общественнаго пересозданія—одна религія, которую я завѣщаю тебѣ. Она безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти... Благословляю тебя на этотъ путь во имя человѣческаго разума, личной свободы и братской любви".

Одна изъ статей „Съ того берега" оканчивается возгласомъ: „Vive la mort и да водружится будущее". Это привѣтъ, конечно, не смерти, а будущему.

„Читайте отходную, читайте смертный приговоръ, исполненіе котораго идетъ не по днямъ, а по часамъ; убѣдитесь разъ навсегда, что никто изъ осужденныхъ не уйдетъ отъ казни: ни самодержавіе петербургскаго царя, ни свобода мѣщанской республики, да и не жалѣйте ни того, ни другого". „Показывайте каждому идущему мимо, какъ все ближе подступаютъ, какъ растутъ и поднимаются волны карающаго потопа. Указывайте съ тѣмъ вмѣстѣ и бѣлый парусъ ковчега... тамъ вдали на горизонтѣ. Вотъ вамъ и дѣло!".

---

*) Pontifex Maximus—верховный жрецъ въ древнемъ Римѣ, Герценъ играетъ словомъ pontifex, которое буквально значитъ „строитель мостовъ", и намекаетъ на прежнее руководящее значеніе жречества не только въ дѣлахъ вѣры, но и практической жизни.

То же и въ другихъ призывахъ къ этому будущему. Оставьте міръ, къ которому вы не принадлежите,—призываетъ Герценъ,—если вы дѣйствительно чувствуете, что онъ вамъ чуждъ. „Его не спасемъ,—спасите себя отъ угрожающихъ развалинъ; спасая себя, вы спасете будущее". Побѣдительницею все-таки всегда останется жизнь,—въ сущности, вѣрилъ Герценъ,—безконечно великая и разнообразная. Умираютъ ея формы, она вѣчна, творитъ новыя, другія, высшія. „Проповѣдуйте вѣсть о смерти, указывайте людямъ каждую новую рану на груди стараго міра, каждый успѣхъ разрушенія: указывайте хилость его начинаній, мелкость его домогательствъ; указывайте, что ему нельзя выздоровѣть, что у него нѣтъ ни опоры, ни вѣры, ни вѣры въ себя, что его никто не любитъ въ самомъ дѣлѣ, что онъ держится на недоразумѣніяхъ: указывайте, что каждая его побѣда—ему же ударъ; проповѣдуйте смерть, какъ добрую вѣсть приближающагося искупленія!"

Въ концѣ концовъ вѣра въ такое искупленіе жива въ книгѣ, при всемъ отчаянномъ порою настроеніи, въ ней излившемся.

Появленіе книги „Съ того берега", сперва на нѣмецкомъ языкѣ (въ переводѣ, продиктованномъ самимъ Герценомъ), произвело въ нѣмецкой печати большое впечатлѣніе. Вмѣстѣ съ письмами изъ Франціи и Италіи она и дала автору громкую извѣстность. „Въ началѣ 1850 года книга моя сдѣлала много шуму въ Германіи,—пишетъ самъ Герценъ (предисл. къ русск. изд.):—ее хвалили и бранили съ ожесточеніемъ и рядомъ съ отзывами, больше нежели лестными, такихъ людей, какъ Юліусъ Фребель, Якоби, Фальмерейеръ,—люди талантливые и добросовѣстные съ негодованіемъ нападали на нее.—Меня обвиняли въ проповѣдываніи отчаянія, въ незнаніи народа, въ dépit amoureux противъ революціи, въ *неуваженіи* къ демократіи, къ массамъ, къ Европѣ... Второе декабря отвѣтило имъ громче меня. Въ 1852 году я встрѣтился съ самымъ остроумнымъ противникомъ моимъ, съ Зольгеромъ; онъ укладывался, чтобы скорѣе ѣхать въ Америку, въ Европѣ, казалось ему, *дѣлать* нечего. „Обстоятельства,—замѣтилъ я,—кажется убѣдили васъ, что я былъ не вовсе неправъ?"—Мнѣ не нужно было столько,—отвѣчалъ Зольгеръ, добродушно смѣясь,—чтобъ догадаться, что я писалъ тогда большой вздоръ.—Не смотря на это милое сознаніе, общій выводъ сужденій, оставшееся впечатлѣніе были скорѣе противъ меня"...

Менѣе всего Герценъ, конечно, могъ встрѣтить сочувствія у консерваторовъ всякаго рода и званія. Австрійскій „Lloyd" высмѣивалъ „русскаго Іеремію, плачущаго на разва-

линахъ іюньскихъ баррикадъ", и находилъ, что книга „замѣчательна, какъ патологическій фактъ, показывающій, какой безпорядокъ вноситъ въ русскую голову нѣмецкая философія и французская революція" (цитировано въ „Нашемъ Времени" 1862, № 189). Но и радикальное общественное мнѣніе было смущено множествомъ деталей и тономъ книги, что и выразилось въ упоминаемыхъ Герценомъ полемическихъ газетныхъ и журнальныхъ замѣткахъ *). Рѣзкія возраженія вызвали особенно тѣ русскія мессіанистическія идеи, о которыхъ мы подробнѣе будемъ говорить въ слѣдующей главѣ и которыя были имъ впервые печатно заявлены въ письмахъ къ Гервегу и Маццини (эти письма исключены изъ русскаго изданія „Съ того берега" и порусски не были напечатаны).

Самое количество возраженій на книгу показало, однако, что съ нею приходилось считаться серьезно. Она прозвонила, какъ голосъ сторожевого колокола, мѣщанской Европѣ свое предостерегающее memento и будила строителей будущаго.

Россія грозовою тучею висѣла тогда на горизонтѣ Европы угрозою милліона штыковъ, но такой яркой, ослѣпительной молніи люди передовой Европы не ждали оттуда, не ждали, что русскій—слѣдовательно, рабъ—скажетъ самимъ освободителямъ свое: „Да полно, свободны ли вы?" И книгу оцѣнили многіе, какъ сторожевой крикъ не только пережившему себя политическому строю, но и переживающему себя соціальному строю, какъ вызовъ всѣмъ нравственно-философскимъ представленіямъ и идеямъ, въ сущности связаннымъ съ старымъ міромъ, хотя и являющимся въ оболочкѣ радикализма. На этотъ гимнъ той великой индивидуальной свободѣ человѣческой души, которая во всѣ времена доступна лишь немногимъ избранникамъ, на эти лирическія изліянія русскаго все же откликнулось не мало иностранцевъ. Разсказъ Мальвиды ф. Мейзенбугъ, одной изъ участницъ освободительнаго движенія Германіи, впослѣдствіи воспитательницы дѣтей Герцена, можетъ служить примѣромъ впечатлѣнія, произведеннаго на нѣкоторыхъ въ Германіи книгою „Съ того берега".

„Огневой потокъ живого чувства, страсти и страданія, жгучая любовь, неумолимая логика, ѣдкая сатира, холодное презрѣніе, подъ которымъ кроется разочарованіе вѣрующаго, стоическое самоотреченіе и полный отчаянія скептицизмъ,— все это бурно хлынуло на меня со страницъ этой книги,

*) Къ сожалѣнію, литература критическихъ отзывовъ о нѣмецкомъ изданіи „Съ того берега" до сихъ поръ сполна никѣмъ не обслѣдована.

разбудило въ душѣ моей тысячеголосые отзвуки и озарило безжалостнымъ свѣтомъ истины и разлагающимъ пламенемъ критики все недавно пережитое—отъ весеннихъ надеждъ февраля и марта 1848 года, вплоть до событій въ Вѣнѣ и до 2 декабря 1852 г. съ его свитою рѣзни, тюремъ, каторги. Какъ поразило меня это отраженіе нашихъ собственныхъ разрушенныхъ идеаловъ и желаній, нашихъ собственныхъ безнадежности и покорности—въ душѣ русскаго!.. Еще больше поражала въ книгѣ смѣлость и сила мыслителя, который въ противоположность большинству, послѣ столькихъ разочарованій, не сталъ тѣшиться революціонными иллюзіями, а смѣло погрузилъ ножъ въ самую рану, примѣнилъ горькія истины историческаго развитія къ оцѣнкѣ и нашихъ ошибочныхъ надеждъ, и напрямикъ, безъ фразъ, опредѣлилъ причину неудачи".

Своимъ признали Герцена по его книгѣ и нѣкоторые нѣмецкіе соціалисты-рабочіе: одинъ изъ нихъ и передалъ „Съ того берега" Мальвидѣ ф. Мейзенбугъ со словами: „Ее писалъ также одинъ изъ нашихъ".

„Съ того берега" французамъ осталось неизвѣстно, но къ характеристикѣ отношеній къ Герцену здѣсь умѣстно привести отзывъ француза, уже упомянутаго Кердеруа, сдѣланный по поводу брошюры Герцена „Du développement des idées revolutinnaires". „Это прекрасный органическій и оригинальный трудъ; въ немъ чувствуется настоящая сила, серьезная работа, въ немъ есть нагая истина и мѣста, глубоко захватывающія. Это молодо и могуче, какъ славянская раса; такія жгучія строки не могъ бы написать ни парижанинъ, ни палеологъ (?), ни германскій филистеръ; ни республиканецъ или конституціоналистъ, ни соціалистъ, теократъ или умѣренный,—ихъ могъ написать только казакъ (вы, вѣдь, не боитесь этого слова?), въ широкомъ смыслѣ слова анархистъ, утопистъ и поэтъ, усвоившій самое смѣлое отрицаніе и утвержденіе XIX вѣка. На это осмѣливаются немногіе французскіе революціонеры".

Да, конечно, въ широтѣ идей Герцена можно найти порою настроенія и идеи, примыкающія и къ анархическимъ, напримѣръ, безусловное отрицаніе Молоха государственности, презрительное отношеніе къ девизу ея „salus populi" и т. п.; но, вѣдь, ни одно изъ знаменъ общественно-политическихъ партій не можетъ претендовать на вѣчное и безусловное значеніе, и у такихъ крупныхъ дѣятелей освободительнаго движенія въ области мысли, какъ Герценъ, мы находимъ обиліе идей, которыя въ разнообразныхъ сочетаніяхъ даютъ пищу мысли и лозунги для самыхъ сложныхъ развѣтвленій въ умственныхъ теченіяхъ.

Въ Россію произведенія Герцена этого времени попадали мало и шли слишкомъ ужъ въ разрѣзъ со всѣми условіями умственной жизни Россіи: въ тяжелую эпоху въ пору было думать только о поддержаніи въ обществѣ хотя бы минимальнаго интереса къ какому бы то ни было умственному движенію... Даже такіе люди, какъ Грановскій, чувствовали, что Герценъ ушелъ куда-то далеко, такъ далеко, что идти за нимъ русскимъ людямъ нѣтъ никакой возможности. „Книги твои дошли до насъ,—писалъ Герцену московскій другъ.—Я читалъ ихъ съ радостью и горькимъ чувствомъ. Какой огромный талантъ у тебя, и какая страшная потеря для Россіи, что ты долженъ былъ оторваться отъ насъ и говорить чужимъ языкомъ! Но, съ другой стороны, я не могу помириться съ твоимъ воззрѣніемъ на исторію и на человѣка. Оно, пожалуй, оправдаетъ Гейнцена и tutti quanti. Для такого человѣчества, какое ты представляешь въ статьяхъ своихъ, для такого скуднаго и безплоднаго развитія, не нужно великихъ и благородныхъ дѣятелей. Все, что ты писалъ до сихъ поръ, безконечно умно, но оно обличаетъ какую-то усталость, отрѣшено отъ живого движенія событій. Ты стоишь одиноко. Ты, скажу безъ увеличенія, значительный писатель, у тебя есть условія сдѣлаться великимъ писателемъ; но то, что было въ Россіи живого и симпатичнаго для всѣхъ въ твоемъ талантѣ, какъ будто исчезло на чужой почвѣ. Ты пишешь теперь для немногихъ, способныхъ понять твою мысль и не оскорбиться ею“.

Въ этомъ отзывѣ справедливо указано, что Герценъ былъ въ книгѣ „Съ того берега“, дѣйствительно, писателемъ не для многихъ. Но тутъ, пожалуй, и залогъ того, что эта книга, обиліемъ брошенныхъ въ ней щедрою рукою разнообразныхъ идей, выраженныхъ съ поразительнымъ блескомъ и страстью, еще долго и долго будетъ покорять и увлекать людей новыхъ и новыхъ поколѣній.

Выше цитированный французъ Barrucaud нашелъ нѣсколько мѣткихъ словъ для характеристики впечатлѣній этой книги великой тревоги на современнаго европейца. „Тогда разыгрывалась великая трагедія вѣка: роль даже шутовъ была написана кровью. И тогдашнія катастрофы нашли себѣ во впечатлительности и краснорѣчіи Герцена наиболѣе звучное и длительное эхо. Всякое чтеніе кажется безвкуснымъ, всякій историкъ кажется тупъ послѣ откровенія симфоніи идей, составляющей книгу „Съ того берега“. Когда даже проходитъ ослѣпленіе, едва ли увидишь вещи въ той же плоскости, душа потрясена, совѣсть переродилась, какъ послѣ самыхъ тяжелыхъ жизненныхъ испытаній“...

Тѣмъ понятнѣе нѣкоторые отзывы русскихъ людей даже нашихъ дней, т. е. цѣлыхъ полвѣка спустя. Жгучесть впечатлѣнія нимало не ослабѣла.

Журналистъ читалъ Герцена впервые за границей въ поѣздѣ желѣзной дороги, подходившемъ къ русской границѣ; дѣло было въ полосу политическаго гнета, когда сочиненія Герцена были подъ запретомъ.

„Уже отъ предисловія „Съ того берега“ кровь бросилась мнѣ въ голову, слезы подступили къ горлу.

„Передо мною открылся новый міръ, какъ открывается новый міръ всегда, когда вы открываете геніальную книгу“.

Журналистъ съ завистью думалъ о томъ потомкѣ, который будетъ „счастливецъ, свободно воспитывать свой умъ и свое сердце на Герценѣ и читать его такъ же невозбранно, какъ мы читаемъ теперь кн. Мещерскаго и раскаявшагося господина Тихомірова“.

„Но поѣздъ подходилъ къ Подволочиску, я отворилъ окно,—простите сентиментальность, поцѣловалъ книгу,—зажмурился и выбросилъ ее въ окно. Зажмурился, потому что и теперь, черезъ много лѣтъ одинъ на одинъ съ самимъ собою, я краснѣю при этомъ воспоминаніи“. („Россія“, № отъ 9 янв. 1900 г.).

Въ дни русско-японской войны группа русскихъ туристовъ ѣхала на итальянскомъ пароходѣ у береговъ Малой Азіи. Ихъ давитъ и мучительно гнететъ недоумѣвающе оскорбительное сожалѣніе иностранцевъ при полученіи извѣстій о катастрофѣ при Цусимѣ. И въ Герценѣ, въ его „Прощаніи“ и „Съ того берега“ они находятъ указаніе на возможный выходъ для родины, снова находятъ сознаніе нравственнаго достоинства быть „русскими“ (Гр. Петровъ, „Думы и впечатлѣнія“, М. 1907).

„Съ того берега“—одно изъ тѣхъ публицистическихъ произведеній, вызванныхъ опредѣленнымъ историческимъ моментомъ, которыя силою вложеннаго въ нихъ генія переживаютъ надолго свое время. Вѣчно мѣняется жизнь, человѣческую душу волнуютъ новыя скорби и новые вопросы, которые каждый снова и снова рѣшаетъ такъ или иначе для себя, принимая ли готовое рѣшеніе чужое или приходя къ собственному. И въ этихъ исканіяхъ, борясь съ „мѣщанствомъ“ жизни и мысли, встрѣчаясь съ книгой Герцена, человѣкъ долго будетъ узнавать въ ней себя. Многія поколѣнія будутъ еще находить въ этихъ афоризмахъ и парадоксахъ, блистающихъ и пронизывающихъ, какъ острая сталь, отраженіе своей тревоги, своей душевной борьбы, боли и своихъ исканій.

Цѣлыя страницы можно бы переписать для характери-

стики, какъ идутъ къ нашему времени, къ нашей боли многія думы и изліянія перваго русскаго свободнаго человѣка, какимъ былъ Герценъ. Цѣлая глава книги—(Донозо Корсесъ", ея нѣтъ въ семитомномъ изданіи)—точно къ нашимъ дѣламъ относится,—такъ свѣжъ и могучъ протестъ Герцена противъ палачествующей реакціи. Все это вмѣстѣ сдѣлаетъ вскорѣ книгу Герцена однимъ изъ „вѣчныхъ спутниковъ" русскихъ людей. Да уже безсознательно, не подозрѣвая того, русскіе люди повторяютъ многія крылатыя слова ея, изъ разныхъ другихъ книгъ просочившіяся въ общій оборотъ, напр., „мелкій собственникъ—худшій буржуа изъ всѣхъ", и т. п.—И долго еще намъ суждено жадно читать и перечитывать эти кипящія страстью страницы и находить на каждой нѣчто такое, что родитъ рядъ новыхъ мыслей и настроеній, или неожиданно, какъ молнія, освѣщаетъ сверкнувшимъ сталью, отточеннымъ словомъ то, что давно дремало въ душѣ и не находило выраженія.

V.

Мысли Герцена о Россіи.

„Съ дѣтскихъ лѣтъ я безконечно любилъ наши села и деревни, я готовъ былъ цѣлые часы, лежа гдѣ-нибудь подъ березой или липой, смотрѣть на почернѣлый рядъ скромныхъ бревенчатыхъ избъ, тѣсно прислоненныхъ другъ къ другу, лучше готовыхъ вмѣстѣ сгорѣть, нежели распасться; слушать заунывныя пѣсни, раздающіяся во всякое время дня, вблизи, вдали; съ полей несетъ сѣрнымъ дымомъ овиновъ, свѣжимъ сѣномъ, изъ лѣсу вѣетъ смолистой хвоей и скрипитъ запрещенный колодезь, опуская бадью, и гремитъ по мосту порожняя телѣга, подгоняемая молодецкимъ окрикомъ...

„Въ нашей бѣдной, сѣверной, долинной природѣ есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельскіе виды наши не задвинулись въ моей памяти ни видомъ Сорренто, ни римской Кампаніей, ни насупившимися Альпами, ни богато воздѣланными фермами Англіи. Наши безконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, въ нашей стелящейся природѣ что-то мирное, довѣрчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное... Что-то такое, что поется въ русской пѣснѣ, что кровно отзывается въ русскомъ сердцѣ.

„И какой славный народъ живетъ въ этихъ селахъ! Мнѣ не случалось еще встрѣчать такихъ крестьянъ, какъ наши великоруссы и украинцы“...

Эти любовныя строки написаны Герценомъ въ 1853 г. („Крещеная собственность“). Въ первой части нашего труда мы не разъ приводили цитаты, которыя говорятъ о той же проникновенной умиленной любви ко всему, что окружало его въ русской природѣ и общей національной жизни. Здѣсь Герценъ тѣсно примыкаетъ къ современникамъ, къ Гоголю и

славянофиламъ, не говоря о Лермонтовѣ или Некрасовѣ, или Тургеневѣ, этомъ мастерѣ русскаго пейзажа и жанра. Эти настроенія роднятъ Герцена со всѣмъ поколѣніемъ людей сороковыхъ годовъ, инстинктивныя національныя чувства которыхъ впервые сливались съ ясно сознаваемымъ демократизмомъ мысли и чувства.

Эта проникновенная физіологическая любовь къ своему, родному, и приняла у Герцена на Западѣ, въ долголѣтней разлукѣ съ родиной, особыя формы, преломилась въ его радикальномъ міровоззрѣніи, и отлилась въ своеобразный мессіанизмъ, надолго опредѣлившій формы настроенія и мышленія цѣлыхъ поколѣній русской интеллигенціи.

Разбитый разочарованіемъ въ чаяніи близости и успѣха огромнаго общественнаго переворота; испытывая глубокое отвращеніе къ низменному мѣщанству устоявшихся общественныхъ классовъ Западной Европы, въ глубинахъ своихъ едва потревоженныхъ 1848 годомъ; отыскивая по свѣту уголокъ, гдѣ бы собраться съ мыслями, и потерпѣвъ рядъ жестокихъ личныхъ испытаній, добрую долю которыхъ онъ относилъ на счетъ того же Запада,—Герценъ, какъ мы уже говорили (II, гл. III), окончилъ „духовнымъ возвращеніемъ на родину". „Вѣра въ Россію спасла меня на краю нравственной гибели",—говорилъ онъ. И дѣйствительно, это была *вѣра*, заключавшая въ себѣ нѣкій неразложимый, ирраціональный элементъ, который приходится принимать, какъ фактъ его нравственнаго сознанія.

Герценъ сначала вѣрилъ въ Россію, и потомъ сталъ возводить цѣлыя стройныя логическія постройки въ оправданіе и объясненіе этой вѣры столько же для самого себя, сколько для другихъ.

Одинъ публицистъ весьма образно говоритъ о томъ, какъ мысль о родинѣ и ея далекомъ народѣ получила въ настроеніи Герцена рѣшающій надо всѣмъ перевѣсъ. „Кругомъ сверкаетъ южный день, а въ памяти—темная русская ночь, съ черною неправдою въ судахъ, съ клеймомъ крѣпостного рабства на челѣ. Кругомъ звенятъ мандолины, а въ памяти звонъ кандаловъ на закованныхъ, чтобы не сбѣжали, сдатчикахъ крѣпостного набора, которыхъ подъ стражею ведутъ въ присутствіе. Море шумитъ, вѣтеръ со свистомъ гуляетъ между розовыми скалами,—а въ памяти—тукъ-тукъ-тукъ... свистъ плетей, подъ которыми теряетъ чувство, а то и жизнь, холопъ, разбившій господскую чайную чашку, сломавшій барскій чубукъ... Перекаты національнаго подъема гудятъ по Европѣ, народы воскресаютъ, кости облекаются плотью и встаютъ изъ мертвыхъ,—а тутъ—наша работа на Меттерниха, венгерская кампанія,

и позоръ крымскаго разгрома!“ („Россія“, № отъ 9 янв. 1900 г.).

„Я никогда не чувствовалъ яснѣе, насколько я русскій, какъ въ послѣдніе годы“,—писалъ самъ Герценъ землякамъ во второй половинѣ 1851 года, когда прежняго увлеченія Западомъ уже не оставалось слѣдовъ. Одному нѣмецкому эмигранту, перебравшемуся въ Америку и удивлявшемуся, что Герценъ при своемъ безотрадномъ взглядѣ на Европу не сдѣлаетъ того же, онъ однажды отвѣтилъ: „Очень просто: я могу вамъ сказать такъ, какъ одинъ честный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ самобытности: „У меня въ Швабіи есть свой король“,—у *меня въ Россіи есть свой народъ*“.

Герценъ еще въ Россіи болѣлъ тяжелымъ сознаніемъ пропасти между лучшими представителями образованнаго класса и народа, этими своего рода муками нераздѣленной любви. Этому чувству онъ остается навсегда вѣренъ.

Какъ мы говорили выше, итальянскія впечатлѣнія, чудный примѣръ народа, устоявшаго и сохранившаго себя въ долговѣковомъ порабощеніи, встряхнули Герцена и поддержали въ немъ вѣру въ возможность возрожденія изъ политическаго и всяческаго рабства и для Россіи. Объяснить Европѣ залоги духовной мощи русскаго народа въ области мысли и общественности,—это было цѣлью его брошюры „Du développement de idées revolutionnaires en Russie“. Показать въ русскомъ народѣ возможность плодотворнаго общественнаго развитія, притомъ совпадающаго въ концѣ съ требованіями и тенденціями передовой соціалистической мысли Запада, такова цѣль ряда брошюръ Герцена, начиная съ письма къ французскому историку Мишле, написаннаго въ 1851 г.: „Русскій народъ и соціализмъ“, и продолжая длиннымъ рядомъ статей, написанныхъ позднѣе въ Англіи и др.

„О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи“ въ русскихъ переводахъ появилось недавно и въ Россіи. „Эта умная книжка значительно устарѣла,—замѣчаетъ о ней г. Гершензонъ *),—но не въ томъ смыслѣ, чтобы высказанныя въ ней мысли были опровергнуты или во многомъ исправлены позднѣйшими изслѣдованіями. Есть и это, но лишь въ малой степени; книжка же Герцена устарѣла потому, что множе-

*) М. Гершензонъ, „Соціально-политическіе взгляды А. И. Герцена“, М. 1906—„Du développement“ вышла на русскомъ языкѣ въ очень неудовлетворительныхъ изданіяхъ: Т-ва Сытина, Саблина и Павленкова. Пользуемся далѣе сытинскимъ переводомъ, подъ заглавіемъ „Движеніе общественной мысли въ Россіи“.

Старшій сынъ Герцена,
профессоръ физіологіи
АЛЕКСАНДРЪ ГЕРЦЕНЪ († 1906 г.).

ство историческихъ обобщеній и наблюденій, высказанныхъ имъ здѣсь впервые, сдѣлалось съ тѣхъ поръ общимъ достояніемъ и утратило блескъ новизны". Черезъ Чернышевскаго и Пыпина, „историческая схема „Очерковъ" надолго сдѣлалась у насъ канонической; она и прямо была усвоена двумя или тремя поколѣніями писателей и, воспринятая цѣлой фалангой журналистовъ, тысячью мелкихъ ручейковъ влилась въ сознаніе нашей интеллигенціи. Такъ книжка Герцена постарѣла, не устарѣвъ". Эта книга, затѣмъ— „Письмо къ Мишле", „Крещеная собственность", „Старый міръ и Россія" (письма къ Линтону), „Еще варіація на старую тему", „Концы и начала" и многія другія статьи (хотя и написанныя частью значительно позднѣе того времени, на которомъ мы остановились) обосновываютъ и развиваютъ одно и то же міровоззрѣніе, сложившееся на переломѣ XIX вѣка и жизни Герцена. Вмѣстѣ, все это дополняетъ другъ друга, но уже и въ одной изъ раннихъ статей, въ письмѣ къ Мишле почти сполна выражены основныя идеи герценовскаго „руссофильства", герценовскаго „народничества".

Въ литературѣ о Герценѣ высказывался взглядъ, что онъ въ сущности обратился къ идеямъ славянофильства, которое блистательно и подтвердилъ поднятою имъ же борьбою противъ Запада и его идей. Въ дѣйствительности, общаго между Герценомъ и славянофильствомъ было развѣ только то, что они исходили изъ того же инстинктивнаго физіологическаго чувства, которое освящали славянофилы, и овладѣлъ нѣкоторыми ихъ темами, необходимость чего указывалъ еще въ Москвѣ (см. I, гл. XII). Не говоримъ уже о религіозномъ, тѣмъ болѣе православно-религіозномъ настроеніи славянофиловъ, котораго Герценъ остался чуждъ, какъ необузданный „афей". Но и отрицаніе Запада у Герцена вовсе не то отрицаніе, которое приводило славянофиловъ къ мысли о „паденіи" или „гніеніи" Европы.

Герценъ отрицаетъ современную ему Европу прежде всего, какъ соціалистъ, признавая первенствующее значеніе и для Россіи тѣхъ соціалистическихъ идеаловъ, отъ которыхъ съ ужасомъ отшатывались славянофилы. Въ этомъ отношеніи онъ былъ и остался „западникомъ". „Этотъ лѣнивый народъ, славянинъ, „усыпляющій себя собственной пѣсней", по выраженію одного лѣтописца временъ Багряно-родныхъ, нуждается въ сильной и энергичной мысли Запада,—писалъ Герценъ въ частномъ письмѣ къ Мишле въ 1855 г. Славянскій міръ никогда не сумѣетъ развить свою дикую, врожденную соціалистическую основу безъ той революціонной идеи, которая паритъ надъ Западомъ, какъ его безсмертная душа. Мы не претендуемъ на пресловутое fara

da se; помимо солидарности и единенія народовъ, мы останемся угрожающимъ полчищемъ подъ властью кнута, ставшаго скипетромъ... Да, великій экономическій вопросъ разрѣшится семейно (т. е. въ международной семьѣ.—*Авт.*); это вопросъ внутренній, касающійся каждаго члена... Я на всѣ лады повторяю русскимъ, что соціальная идея, выработанная Западомъ,—единственное средство раціонально развить *способности* и *соціальные нравы* славянъ" („Былое", 1907, іюль). „Это—идеи всей исторіи,—говорилъ онъ о новыхъ мысляхъ, которыя выработала Европа, не умѣя пока сама съ ними сладить,—это—надгробный памятникъ, на которомъ написано завѣщаніе не только вчерашняго дня, но Египта и Индіи, Греціи и Рима, католицизма и протестантизма, народовъ римскихъ и народовъ германскихъ. Безъ нихъ мы впали бы въ азіатскій квіэтизмъ, въ африканскую тупость. Россія *съ ними и только съ ними* (курсивъ самого Герцена) можетъ быть введена во владѣніе той большей доли наслѣдства, которая ей достается." „Идучи изъ противоположныхъ началъ къ противоположнымъ цѣлямъ, я встрѣчаюсь не со славянофилами, а съ нѣкоторыми изъ ихъ мыслей". Это наиболѣе полное и точное опредѣленіе отношеній Герцена къ славянофильству. „Я вѣрю въ способность русскаго народа, я вижу въ бѣдныхъ, подавленныхъ проявленіяхъ его жизни—несознанное имъ сродство къ тому общественному идеалу, до котораго сознательно достигла европейская мысль. Вотъ отчего, любезный другъ, вы нашли созвучную струну въ моемъ направленіи и въ направленіи болѣе, нежели ложномъ, вредномъ и опасномъ, московскихъ литературныхъ старообрядцевъ, этихъ православныхъ іезуитовъ, наводящихъ уныніе на всякаго живого человѣка" („Еще варіація на старую тему", письмо къ... [Тургеневу]).

„Горячо принимая новую общественную религію, возникшую на дымящихся кровью поляхъ реформаціи и революціи, съ біеніемъ сердца перечитывая сказанія тѣхъ временъ", Герценъ, какъ мы уже видѣли, отворачивался отъ современной Европы въ ея мѣщанской полосѣ. Ей онъ противопоставляетъ таинственную, загадочную для Запада—Россію.

„Европа погружена въ глухой, душный мракъ наканунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личной свободы; вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи; вмѣсто законнаго порядка—осадное положеніе"... Нарисовавъ рѣзкими чертами картину господства торжествующей реакціи, злобной и безнадежной, Герценъ продолжаетъ: „Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахъ во-

кругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ Востоку.— Тамъ, темная гора, вырѣзывающаяся изъ тумана, виднѣется враждебное грозное царство; порою кажется, что оно идетъ, какъ лавина, на Европу, что оно, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть... „(Письмо къ Мишле).

„Съ тѣхъ поръ, какъ туманъ, покрывавшій февральскую революцію, разсѣялся, рѣзкая простота замѣнила путаницу, осталось только два интересныхъ вопроса:

„Вопросъ соціальный,—

„Вопросъ русскій.

„Въ сущности, два вопроса составляютъ одинъ и тотъ же вопросъ.

„Вопросъ русскій,—случайная сторона, отрицательный оттискъ, новое безпокойство варваровъ, чующихъ предсмертіе стараго свѣта, его memento mori, и они его, пожалуй, убьютъ, ежели онъ не имѣетъ силы самъ преобразиться.

„Дѣйствительно, ежели соціализмъ не въ состояніи будетъ пересоздать распадающееся общество и довершить его судьбы,—Россія довершитъ ихъ.

„Я не говорю, что это *необходимо*, но это *возможно* (изъ второго письма Линтону; курсивъ Герцена).

Здѣсь рѣчь, конечно, о русскомъ государствѣ, объ императорской Россіи съ ея постоянною угрозою вмѣшательства въ европейскія дѣла въ цѣляхъ поддержки реакціонныхъ правительствъ. „Царизмъ идетъ впередъ, движимый чувствомъ самосохраненія, и на пути своемъ ему невозможно не прійти въ столкновеніе съ Европой".

Своимъ девизомъ эта Россія объявила: самодержавіе, православіе, *народность*. Герценъ чрезвычайно остроумно, мѣтко и обидно для николаевскаго самодержавія доказывалъ, что оно—все, что угодно, *только не народно*.

„Вся Европа и, что гораздо хуже, всѣ русскіе,—писалъ онъ,—принимаютъ императорскую власть въ ея современной формѣ за такую несокрушимую всегдашность русскаго быта, которая смѣется по праву надъ всѣми дерзновенными попытками и смѣло выдерживаетъ всякій натискъ, мощно и прочно уцѣпившись далеко развѣтвившимися корнями въ землю".—„Императорская власть, совсѣмъ напротивъ,—доказываетъ Герценъ,—устоялась и окрѣпла весьма недавно... Насъ вводятъ въ заблужденіе бармы Мономаха, тронъ царя Іоанна Васильевича, Успенскій соборъ; но развѣ Наполеонъ не рядился въ мантію Карла Великаго и не надѣвалъ на свою голову желѣзной короны въ Миланѣ?... Русское императорство развилось изъ царской власти отвѣтомъ на сильную потребность *иной жизни*. Это военная и гражданская

Тѣмъ понятнѣе нѣкоторые отзывы русскихъ людей даже нашихъ дней, т. е. цѣлыхъ полвѣка спустя. Жгучесть впечатлѣнія нимало не ослабѣла.

Журналистъ читалъ Герцена впервые за границей въ поѣздѣ желѣзной дороги, подходившемъ къ русской границѣ; дѣло было въ полосу политическаго гнета, когда сочиненія Герцена были подъ запретомъ.

„Уже отъ предисловія „Съ того берега“ кровь бросилась мнѣ въ голову, слезы подступили къ горлу.

„Передо мною открылся новый міръ, какъ открывается новый міръ всегда, когда вы открываете геніальную книгу“.

Журналистъ съ завистью думалъ о томъ потомкѣ, который будетъ „счастливецъ, свободно воспитывать свой умъ и свое сердце на Герценѣ и читать его такъ же невозбранно, какъ мы читаемъ теперь кн. Мещерскаго и раскаявшагося господина Тихомірова“.

„Но поѣздъ подходилъ къ Подволочиску, я отворилъ окно,—простите сентиментальность, поцѣловалъ книгу,—зажмурился и выбросилъ ее въ окно. Зажмурился, потому что и теперь, черезъ много лѣтъ одинъ на одинъ съ самимъ собою, я краснѣю при этомъ воспоминаніи“. („Россія“, № отъ 9 янв. 1900 г.).

Въ дни русско-японской войны группа русскихъ туристовъ ѣхала на итальянскомъ пароходѣ у береговъ Малой Азіи. Ихъ давитъ и мучительно гнететъ недоумѣвающе оскорбительное сожалѣніе иностранцевъ при полученіи извѣстій о катастрофѣ при Цусимѣ. И въ Герценѣ, въ его „Прощаніи“ и „Съ того берега“ они находятъ указаніе на возможный выходъ для родины, снова находятъ сознаніе нравственнаго достоинства быть „русскими“ (Гр. Петровъ, „Думы и впечатлѣнія“, М. 1907).

„Съ того берега“—одно изъ тѣхъ публицистическихъ произведеній, вызванныхъ опредѣленнымъ историческимъ моментомъ, которыя силою вложеннаго въ нихъ генія переживаютъ надолго свое время. Вѣчно мѣняется жизнь, человѣческую душу волнуютъ новыя скорби и новые вопросы, которые каждый снова и снова рѣшаетъ такъ или иначе для себя, принимая ли готовое рѣшеніе чужое или приходя къ собственному. И въ этихъ исканіяхъ, борясь съ „мѣщанствомъ“ жизни и мысли, встрѣчаясь съ книгой Герцена, человѣкъ долго будетъ узнавать въ ней себя. Многія поколѣнія будутъ еще находить въ этихъ афоризмахъ и парадоксахъ, блистающихъ и пронизывающихъ, какъ острая сталь, отраженіе своей тревоги, своей душевной борьбы, боли и своихъ исканій.

Цѣлыя страницы можно бы переписать для характери-

стики, какъ идутъ къ нашему времени, къ нашей боли многія думы и изліянія перваго русскаго свободнаго человѣка, какимъ былъ Герценъ. Цѣлая глава книги—(Донозо Корсесъ", ея нѣтъ въ семитомномъ изданіи)—точно къ нашимъ дѣламъ относится,—такъ свѣжъ и могучъ протестъ Герцена противъ палачествующей реакціи. Все это вмѣстѣ сдѣлаетъ вскорѣ книгу Герцена однимъ изъ „вѣчныхъ спутниковъ" русскихъ людей. Да уже безсознательно, не подозрѣвая того, русскіе люди повторяютъ многія крылатыя слова ея, изъ разныхъ другихъ книгъ просочившіяся въ общій оборотъ, напр., „мелкій собственникъ—худшій буржуа изъ всѣхъ", и т. п.—И долго еще намъ суждено жадно читать и перечитывать эти кипящія страстью страницы и находить на каждой нѣчто такое, что родитъ рядъ новыхъ мыслей и настроеній, или неожиданно, какъ молнія, освѣщаетъ сверкнувшимъ сталью, отточеннымъ словомъ то, что давно дремало въ душѣ и не находило выраженія.

V.

Мысли Герцена о Россіи.

„Съ дѣтскихъ лѣтъ я безконечно любилъ наши села и деревни, я готовъ былъ цѣлые часы, лежа гдѣ-нибудь подъ березой или липой, смотрѣть на почернѣлый рядъ скромныхъ бревенчатыхъ избъ, тѣсно прислоненныхъ другъ къ другу, лучше готовыхъ вмѣстѣ сгорѣть, нежели распасться; слушать заунывныя пѣсни, раздающіяся во всякое время дня, вблизи, вдали; съ полей несетъ сѣрнымъ дымомъ овиновъ, свѣжимъ сѣномъ, изъ лѣсу вѣетъ смолистой хвоей и скрипитъ запрещенный колодезь, опуская бадью, и гремитъ по мосту порожняя телѣга, подгоняемая молодецкимъ окрикомъ...

„Въ нашей бѣдной, сѣверной, долинной природѣ есть трогательная прелесть, особенно близкая нашему сердцу. Сельскіе виды наши не задвинулись въ моей памяти ни видомъ Сорренто, ни римской Кампаніей, ни насупившимися Альпами, ни богато воздѣланными фермами Англіи. Наши безконечные луга, покрытые ровной зеленью, успокоительно хороши, въ нашей стелящейся природѣ что-то мирное, довѣрчивое, раскрытое, беззащитное и кротко грустное... Что-то такое, что поется въ русской пѣснѣ, что кровно отзывается въ русскомъ сердцѣ.

„И какой славный народъ живетъ въ этихъ селахъ! Мнѣ не случалось еще встрѣчать такихъ крестьянъ, какъ наши великоруссы и украинцы“...

Эти любовныя строки написаны Герценомъ въ 1853 г. („Крещеная собственность“). Въ первой части нашего труда мы не разъ приводили цитаты, которыя говорятъ о той же проникновенной умиленной любви ко всему, что окружало его въ русской природѣ и общей національной жизни. Здѣсь Герценъ тѣсно примыкаетъ къ современникамъ, къ Гоголю и

славянофиламъ, не говоря о Лермонтовѣ или Некрасовѣ, или Тургеневѣ, этомъ мастерѣ русскаго пейзажа и жанра. Эти настроенія роднятъ Герцена со всѣмъ поколѣніемъ людей сороковыхъ годовъ, инстинктивныя національныя чувства которыхъ впервые сливались съ ясно сознаваемымъ демократизмомъ мысли и чувства.

Эта проникновенная физіологическая любовь къ своему, родному, и приняла у Герцена на Западѣ, въ долголѣтней разлукѣ съ родиной, особыя формы, преломилась въ его радикальномъ міровоззрѣніи, и отлилась въ своеобразный мессіанизмъ, надолго опредѣлившій формы настроенія и мышленія цѣлыхъ поколѣній русской интеллигенціи.

Разбитый разочарованіемъ въ чаяніи близости и успѣха огромнаго общественнаго переворота; испытывая глубокое отвращеніе къ низменному мѣщанству устоявшихся общественныхъ классовъ Западной Европы, въ глубинахъ своихъ едва потревоженныхъ 1848 годомъ; отыскивая по свѣту уголокъ, гдѣ бы собраться съ мыслями, и потерпѣвъ рядъ жестокихъ личныхъ испытаній, добрую долю которыхъ онъ относилъ на счетъ того же Запада,—Герценъ, какъ мы уже говорили (II, гл. III), окончилъ „духовнымъ возвращеніемъ на родину". „Вѣра въ Россію спасла меня на краю нравственной гибели",—говорилъ онъ. И дѣйствительно, это была *вѣра*, заключавшая въ себѣ нѣкій неразложимый, нерапіональный элементъ, который приходится принимать, какъ фактъ его нравственнаго сознанія.

Герценъ сначала вѣрилъ въ Россію, и потомъ сталъ возводить цѣлыя стройныя логическія постройки въ оправданіе и объясненіе этой вѣры столько же для самого себя, сколько для другихъ.

Одинъ публицистъ весьма образно говоритъ о томъ, какъ мысль о родинѣ и ея далекомъ народѣ получила въ настроеніи Герцена рѣшающій надо всѣмъ перевѣсъ. „Кругомъ сверкаетъ южный день, а въ памяти—темная русская ночь, съ черною неправдою въ судахъ, съ клеймомъ крѣпостного рабства на челѣ. Кругомъ звенятъ мандолины, а въ памяти звонъ кандаловъ на закованныхъ, чтобы не сбѣжали, сдатчикахъ крѣпостного набора, которыхъ подъ стражею ведутъ въ присутствіе. Море шумитъ, вѣтеръ со свистомъ гуляетъ между розовыми скалами,—а въ памяти—тукъ-тукъ-тукъ... свистъ плетей, подъ которыми теряетъ чувство, а то и жизнь, холопъ, разбившій господскую чайную чашку, сломавшій барскій чубукъ... Перекаты національнаго подъема гудятъ по Европѣ, народы воскресаютъ, кости облекаются плотью и встаютъ изъ мертвыхъ,—а тутъ—наша работа на Меттерниха, венгерская кампанія,

и позоръ крымскаго разгрома!" („Россія", № отъ 9 янв. 1900 г.).

„Я никогда не чувствовалъ яснѣе, насколько я русскій, какъ въ послѣдніе годы",—писалъ самъ Герценъ землякамъ во второй половинѣ 1851 года, когда прежняго увлеченія Западомъ уже не оставалось слѣдовъ. Одному нѣмецкому эмигранту, перебравшемуся въ Америку и удивлявшемуся, что Герценъ при своемъ безотрадномъ взглядѣ на Европу не сдѣлаетъ того же, онъ однажды отвѣтилъ: „Очень просто: я могу вамъ сказать такъ, какъ одинъ честный нѣмецъ прежде меня отвѣчалъ въ гордомъ припадкѣ самобытности: „У меня въ Швабіи есть свой король",—у *меня въ Россіи есть свой народъ*".

Герценъ еще въ Россіи болѣлъ тяжелымъ сознаніемъ пропасти между лучшими представителями образованнаго класса и народа, этими своего рода муками нераздѣленной любви. Этому чувству онъ остается навсегда вѣренъ.

Какъ мы говорили выше, итальянскія впечатлѣнія, чудный примѣръ народа, устоявшаго и сохранившаго себя въ долговѣковомъ порабощеніи, встряхнули Герцена и поддержали въ немъ вѣру въ возможность возрожденія изъ политическаго и всяческаго рабства и для Россіи. Объяснить Европѣ залоги духовной мощи русскаго народа въ области мысли и общественности,—это было цѣлью его брошюры „Du développement de idées revolutionnaires en Russie". Показать въ русскомъ народѣ возможность плодотворнаго общественнаго развитія, притомъ совпадающаго въ концѣ съ требованіями и тенденціями передовой соціалистической мысли Запада, такова цѣль ряда брошюръ Герцена, начиная съ письма къ французскому историку Мишле, написаннаго въ 1851 г.: „Русскій народъ и соціализмъ", и продолжая длиннымъ рядомъ статей, написанныхъ позднѣе въ Англіи и др.

„О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи" въ русскихъ переводахъ появилось недавно и въ Россіи. „Эта умная книжка значительно устарѣла,—замѣчаетъ о ней г. Гершензонъ *),—но не въ томъ смыслѣ, чтобы высказанныя въ ней мысли были опровергнуты или во многомъ исправлены позднѣйшими изслѣдованіями. Есть и это, но лишь въ малой степени; книжка же Герцена устарѣла потому, что множе-

*) М. Гершензонъ, „Соціально-политическіе взгляды А. И. Герцена", М. 1906—„Du développement" вышла на русскомъ языкѣ въ очень неудовлетворительныхъ изданіяхъ: Т-ва Сытина, Саблина и Павленкова. Пользуемся далѣе сытинскимъ переводомъ, подъ заглавіемъ „Движеніе общественной мысли въ Россіи".

Старшій сынъ Герцена,
профессоръ физіологіи
АЛЕКСАНДРЪ ГЕРЦЕНЪ († 1906 г.).

ство историческихъ обобщеній и наблюденій, высказанныхъ имъ здѣсь впервые, сдѣлалось съ тѣхъ поръ общимъ достояніемъ и утратило блескъ новизны". Черезъ Чернышевскаго и Пыпина, „историческая схема „Очерковъ" надолго сдѣлалась у насъ канонической; она и прямо была усвоена двумя или тремя поколѣніями писателей и, воспринятая цѣлой фалангой журналистовъ, тысячью мелкихъ ручейковъ влилась въ сознаніе нашей интеллигенціи. Такъ книжка Герцена постарѣла, не устарѣвъ". Эта книга, затѣмъ— „Письмо къ Мишле", „Крещеная собственность", „Старый міръ и Россія" (письма къ Линтону), „Еще варіація на старую тему", „Концы и начала" и многія другія статьи (хотя и написанныя частью значительно позднѣе того времени, на которомъ мы остановились) обосновываютъ и развиваютъ одно и то же міровоззрѣніе, сложившееся на переломѣ XIX вѣка и жизни Герцена. Вмѣстѣ, все это дополняетъ другъ друга, но уже и въ одной изъ раннихъ статей, въ письмѣ къ Мишле почти сполна выражены основныя идеи герценовскаго „руссофильства", герценовскаго „народничества".

Въ литературѣ о Герценѣ высказывался взглядъ, что онъ въ сущности обратился къ идеямъ славянофильства, которое блистательно и подтвердилъ поднятою имъ же борьбою противъ Запада и его идей. Въ дѣйствительности, общаго между Герценомъ и славянофильствомъ было развѣ только то, что они исходили изъ того же инстинктивнаго физіологическаго чувства, которое освящали славянофилы, и овладѣлъ нѣкоторыми ихъ темами, необходимость чего указывалъ еще въ Москвѣ (см. I, гл. XII). Не говоримъ уже о религіозномъ, тѣмъ болѣе православно-религіозномъ настроеніи славянофиловъ, котораго Герценъ остался чуждъ, какъ необузданный „афей". Но и отрицаніе Запада у Герцена вовсе не то отрицаніе, которое приводило славянофиловъ къ мысли о „паденіи" или „гніеніи" Европы.

Герценъ отрицаетъ современную ему Европу прежде всего, какъ соціалистъ, признавая первенствующее значеніе и для Россіи тѣхъ соціалистическихъ идеаловъ, отъ которыхъ съ ужасомъ отшатывались славянофилы. Въ этомъ отношеніи онъ былъ и остался „западникомъ". „Этотъ лѣнивый народъ, славянинъ, „усыпляющій себя собственной пѣсней", по выраженію одного лѣтописца временъ Багряно-родныхъ, нуждается въ сильной и энергичной мысли Запада,—писалъ Герценъ въ частномъ письмѣ къ Мишле въ 1855 г. Славянскій міръ никогда не сумѣетъ развить свою дикую, врожденную соціалистическую основу безъ той революціонной идеи, которая паритъ надъ Западомъ, какъ его безсмертная душа. Мы не претендуемъ на пресловутое fara

da se; помимо солидарности и единенія народовъ, мы останемся угрожающимъ полчищемъ подъ властью кнута, ставшаго скипетромъ... Да, великій экономическій вопросъ разрѣшится семейно (т. е. въ международной семьѣ.—*Авт.*); это вопросъ внутренній, касающійся каждаго члена... Я на всѣ лады повторяю русскимъ, что соціальная идея, выработанная Западомъ,—единственное средство раціонально развить *способности* и *соціальные нравы* славянъ" („Былое", 1907, іюль). „Это—идеи всей исторіи,—говорилъ онъ о новыхъ мысляхъ, которыя выработала Европа, не умѣя пока сама съ ними сладить,—это—надгробный памятникъ, на которомъ написано завѣщаніе не только вчерашняго дня, но Египта и Индіи, Греціи и Рима, католицизма и протестантизма, народовъ римскихъ и народовъ германскихъ. Безъ нихъ мы впали бы въ азіатскій квіэтизмъ, въ африканскую тупость. Россія *съ ними и только съ ними* (курсивъ самого Герцена) можетъ быть введена во владѣніе той большей доли наслѣдства, которая ей достается." „Идучи изъ противоположныхъ началъ къ противоположнымъ цѣлямъ, я встрѣчаюсь не со славянофилами, а съ нѣкоторыми изъ ихъ мыслей". Это наиболѣе полное и точное опредѣленіе отношеній Герцена къ славянофильству. „Я вѣрю въ способность русскаго народа, я вижу въ бѣдныхъ, подавленныхъ проявленіяхъ его жизни—несознанное имъ сродство къ тому общественному идеалу, до котораго сознательно достигла европейская мысль. Вотъ отчего, любезный другъ, вы нашли созвучную струну въ моемъ направленіи и въ направленіи болѣе, нежели ложномъ, вредномъ и опасномъ, московскихъ литературныхъ старообрядцевъ, этихъ православныхъ іезуитовъ, наводящихъ уныніе на всякаго живого человѣка" („Еще варіація на старую тему", письмо къ... [Тургеневу]).

„Горячо принимая новую общественную религію, возникшую на дымящихся кровью поляхъ реформаціи и революціи, съ біеніемъ сердца перечитывая сказанія тѣхъ временъ", Герценъ, какъ мы уже видѣли, отворачивался отъ современной Европы въ ея мѣщанской полосѣ. Ей онъ противопоставляетъ таинственную, загадочную для Запада—Россію.

„Европа погружена въ глухой, душный мракъ наканунѣ рѣшительной битвы. Это не жизнь, а тяжкое, тревожное томленіе. Ни законности, ни правды, ни даже личной свободы; вездѣ неограниченное господство свѣтской инквизиціи; вмѣсто законнаго порядка—осадное положеніе"... Нарисовавъ рѣзкими чертами картину господства торжествующей реакціи, злобной и безнадежной, Герценъ продолжаетъ: „Среди этого хаоса, среди этого предсмертнаго томленія и мучительнаго возрожденія, среди этого міра, распадающагося въ прахъ во-

кругъ колыбели, взоры невольно обращаются къ Востоку.— Тамъ, темная гора, вырѣзывающаяся изъ тумана, виднѣется враждебное грозное царство; порою кажется, что оно идетъ, какъ лавина, на Европу, что оно, какъ нетерпѣливый наслѣдникъ, готово ускорить ея медленную смерть... „(Письмо къ Мишле).

„Съ тѣхъ поръ, какъ туманъ, покрывавшій февральскую революцію, разсѣялся, рѣзкая простота замѣнила путаницу, осталось только два интересныхъ вопроса:

„Вопросъ соціальный,—

„Вопросъ русскій.

„Въ сущности, два вопроса составляютъ одинъ и тотъ же вопросъ.

„Вопросъ русскій,—случайная сторона, отрицательный оттискъ, новое безпокойство варваровъ, чующихъ предсмертіе стараго свѣта, его memento mori, и они его, пожалуй, убьютъ, ежели онъ не имѣетъ силы самъ преобразиться.

„Дѣйствительно, ежели соціализмъ не въ состояніи будетъ пересоздать распадающееся общество и довершить его судьбы,—Россія довершитъ ихъ.

„Я не говорю, что это *необходимо*, но это *возможно* (изъ второго письма Линтону; курсивъ Герцена).

Здѣсь рѣчь, конечно, о русскомъ государствѣ, объ императорской Россіи съ ея постоянною угрозою вмѣшательства въ европейскія дѣла въ цѣляхъ поддержки реакціонныхъ правительствъ. „Царизмъ идетъ впередъ, движимый чувствомъ самосохраненія, и на пути своемъ ему невозможно не прійти въ столкновеніе съ Европой".

Своимъ девизомъ эта Россія объявила: самодержавіе, православіе, *народность*. Герценъ чрезвычайно остроумно, мѣтко и обидно для николаевскаго самодержавія доказывалъ, что оно—все, что угодно, *только не народно*.

„Вся Европа и, что гораздо хуже, всѣ русскіе,—писалъ онъ,—принимаютъ императорскую власть въ ея современной формѣ за такую несокрушимую всегдашность русскаго быта, которая смѣется по праву надъ всѣми дерзновенными попытками и смѣло выдерживаетъ всякій натискъ, мощно и прочно уцѣпившись далеко развѣтвившимися корнями въ землю".—„Императорская власть, совсѣмъ напротивъ,—доказываетъ Герценъ,—устоялась и окрѣпла весьма недавно... Насъ вводятъ въ заблужденіе бармы Мономаха, тронъ царя Іоанна Васильевича, Успенскій соборъ; но развѣ Наполеонъ не рядился въ мантію Карла Великаго и не надѣвалъ на свою голову желѣзной короны въ Миланѣ?... Русское императорство развилось изъ царской власти отвѣтомъ на сильную потребность *иной жизни*. Это военная и гражданская

диктатура, гораздо больше сходная съ римскимъ цезаризмомъ, нежели съ феодальной монархіей". Переворотъ Петра, положившаго начало императорству, „вовсе не былъ случайностью, а служилъ отвѣтомъ на инстинктивную потребность Руси развернуть свои силы. Какъ иначе можно объяснить успѣхъ его?—Государственное развитіе Россіи шло медленно и было очень позднее; Русь жила нараспашку и кое-какъ собралась, подгоняемая татарами, въ иконописное, т. е. суздальски-византійское, Московское царство: формы его были неуклюжи и грубы, все шло неловко и апатично. Царская власть негодна была даже на защиту государства, и въ 1612 году Россія была спасена безъ Царя"... „Петровскій періодъ сразу сталъ народнѣе періода царей московскихъ. Онъ глубоко взошелъ въ нашу исторію, въ наши нравы, въ нашу плоть и кровь: въ немъ есть что-то необычайно родное намъ, юное; отвратительная примѣсь казарменной дерзости и австрійскаго канцелярства не составляютъ его главной характеристики. Съ этимъ періодомъ связаны дорогія намъ воспоминанія нашего могучаго роста, нашей славы и нашихъ бѣдствій; онъ сдержалъ свое слово и создалъ сильное государство. Народъ любитъ успѣхъ и силу. Когда Александръ диктовалъ въ Парижѣ законы всей Европѣ, одна сторона петровской идеи была окончена" („Княгиня Екат. Роман. Дашкова").

Другая сторона ея—могучій толчекъ къ развитію внутреннихъ духовныхъ и матеріальныхъ силъ народа. И здѣсь императорство Николая,—доказываетъ Герценъ,—осталось позади первоначальной идеи императорской Россіи, оказалось совершенно внѣ народныхъ потребностей и, говоря о народности, пришло въ непримиримое противорѣчіе съ запросами и нуждами самого народа, а наконецъ, и къ безсилію. „Императорство не сильно, какъ скоро оно дѣлается консервативнымъ" („Кн. Дашкова"). Опираясь на силу, въ сущности оно не ошибалось: „Россія является рабской отчасти потому, что она находитъ поэзію въ матеріальной силѣ и считаетъ славой быть пугаломъ народовъ" („О развитіи революціонныхъ идей"). Но роковая ошибка его въ томъ, что въ концѣ концовъ оно стало опираться *только* на одну силу. „Петербургское самодержавіе не догматъ, не начало, а только сила" (Письмо къ Мышле). „Скипетръ превратился въ заколачивающую на-смерть палку" (тамъ же).

„Этотъ сурово мрачный, подавляющій видъ грубой силы, приняло императорство особенно въ тридцатилѣтіе николаевскаго царствованія; страшать было у него въ принципѣ. Онъ (Николай) понялъ съ начала своего воцаренія, что его

тронъ только силенъ *силой*. Онъ ею одной и держался, но чувствовалъ, что въ штыкахъ, что въ матеріальномъ гнетѣ ничего нѣтъ прочнаго, и искалъ иныхъ опоръ... Рядомъ съ самодержавіемъ онъ поставилъ православіе и народность. Но это былъ протестъ противъ петровскаго направленія, котораго весь смыслъ состоялъ въ секуляризаціи царской власти и общеевропейскомъ образованіи. Николай становился въ прямое противорѣчіе съ живымъ началомъ петровскаго императорства, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что прямой результатъ его царствованія былъ глухой разрывъ между нимъ и Россіей... („Кн. Дашкова").

„На поверхности оффиціальной Россіи, на „фронтонѣ имперіи" красовались лишь гибель, ярая реакція, безчеловѣчныя преслѣдованія и удвоенный деспотизмъ. Среди военныхъ парадовъ, балтійскихъ нѣмцевъ и дикихъ охранителей видѣли... такую же посредственность, какъ и окружающіе". „...Центромъ политической науки была казарма и канцелярія. Слѣпая и лишенная здраваго смысла дисциплина, соединенная съ бездушнымъ формализмомъ австрійскихъ бюрократовъ,— такова пружина славной организаціи сильной власти въ Россіи". Не случайно поэтому было и это господство при Николаѣ нѣмцевъ, которое вызываетъ у Герцена рядъ негодующихъ страницъ („О развитіи революціонныхъ идей") о гнусной роли прибалтійцевъ въ усиленіи общаго гнета Россіи. Вотъ, по этому всему, „русское правительство и не является русскимъ. Его обычное направленіе—деспотизмъ и реакція. Оно болѣе нѣмецкое, чѣмъ русское, какъ говорятъ славянофилы. Это объясняетъ ту любовь, съ которой къ нему относятся другія правительства. Петербургъ—это новый Римъ, это— столица абсолютизма. Вотъ почему императоръ русскій братается съ австрійскимъ и помогаетъ ему угнетать славянъ. Начало его власти не національно, а абсолютизмъ болѣе космополитиченъ, нежели революція" („О развитіи революціонныхъ идей"). „Выросшее изъ антинаціональной революціи (Петра I), оно (самодержавіе) исполнило свое назначеніе; оно осуществило громадную имперію, грозное войско, правительственную цивилизацію" (письмо къ Мишле). Но роль внѣдрителя европейскаго просвѣщенія оказалась ему непосильною. Теперь—„оно сдѣлалось неспособно къ чему-нибудь полезному. Николай пошелъ вспять и сдѣлалъ это съ чрезвычайною неловкостью... Онъ хотѣлъ изъ своей имперіи создать военную Византію, отсюда его народность и православіе, холодныя и ледяныя, какъ петербургскій климатъ. Николай постигъ только китайскую сторону вопроса. Въ его системѣ не было ничего движущаго, даже ничего національнаго,—не сдѣлавшись рус-

скимъ, онъ пересталъ быть европейцемъ“ („Старый міръ и Россія“).

Что же представляетъ въ дѣйствительности страна, фасадомъ которой является это самодержавіе, отлившееся въ худшую форму нѣмецко-бюрократическаго абсолютизма?

Мы уже знаемъ, какъ мечталъ Герценъ, рѣшаясь навсегда разстаться съ родиною во имя ея свободы, показать Европѣ „народъ, котораго отроческую силу она оцѣнила въ бою, гдѣ онъ остался побѣдителемъ“, разсказать ей „объ этомъ мощномъ и неразгаданномъ народѣ, который втихомолку образовалъ государство въ шестьдесятъ милліоновъ, который такъ крѣпко и удивительно разросся, не утративъ общиннаго начала, и первый перенесъ его черезъ начальные перевороты государственнаго развитія; объ народѣ, который какъ-то чудно умѣлъ сохранить себя подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкихъ бюрократовъ, подъ капральской палкой казарменной дисциплины и подъ позорнымъ кнутомъ татарскимъ; который сохранилъ величавыя черты, живой умъ и широкой разгулъ богатой натуры подъ гнетомъ крѣпостного состоянія и въ отвѣтъ на царскій приказъ образоваться—отвѣтилъ черезъ сто лѣтъ громаднымъ явленіемъ Пушкина“ („Прощаніе“, въ книгѣ „Съ того берега“).

Въ этой страстной тирадѣ было въ сущности все, чѣмъ мотивировалъ Герценъ свою вѣру въ Россію. Это — настоящая программа его будущей несмолкавшей рѣчи о Россіи.

Въ концѣ письма къ Мишле Герценъ разсказываетъ сказку *) о засмоленномъ въ бочку, вмѣстѣ съ матерью, царевичѣ, который проситъ у матери позволенія „протянуться вволюшку“.—„Свѣтикъ мой, царевичъ,—отвѣчаетъ мать,—не протягивайся. Бочка лопнетъ, и ты утонешь“.—Царевичъ смолкъ и подумавши сказалъ:—Протянусь, матушка: лучше разъ протянуться вволюшку, да умереть.—„Въ этой сказкѣ, м. г.,—говоритъ Герценъ французу,—вся наша исторія. Горе Россіи, если въ ней переведутся смѣлые люди, рискующіе всѣмъ, чтобы хоть разъ протянуться вволюшку. Но этого бояться нечего“...

Этотъ апофеозъ Руси, какъ народа полнаго молодой отваги, способнаго къ могучимъ порывамъ, очень характеренъ для Герцена, хотя здѣсь не было и тѣни шовинизма. Не меньше характеренъ энтузіазмъ его передъ выраженіемъ духовной мощи русскаго народа въ пѣснѣ, поэзіи, литературѣ.

---

*) Эта сказка цитируется Герценомъ уже въ одномъ вятскомъ письмѣ, гдѣ онъ примѣняетъ ее лично къ себѣ.

„Послѣ крестьянскаго коммунизма,—говоритъ Герценъ,—ничто такъ глубоко не характеризуетъ Россію, ничто не предвѣщаетъ ей столь великой будущности, какъ ея литературное движеніе“ (Письмо къ Мишле). Герценъ ставитъ „крестьянскій коммунизмъ“ впереди, но, кажется, нѣтъ сомнѣній, что сознаніе силы и захватывающей глубины русскаго художественнаго слова, лично для него, друга Бѣлинскаго, было впереди другихъ опредѣлявшихъ вѣру въ Россію началъ. Какъ Тургеневу „въ дни сомнѣній, въ дни тягостныхъ раздумій о судьбахъ родины“ былъ поддержкою и опорою одинъ—„великій, могучій, правдивый и свободный русскій языкъ“ и не вѣрилось, чтобы „такой языкъ не былъ данъ великому народу“,—совершенно такъ же Герцену, прошедшему ту же, что и Тургеневъ, школу обоготворенія Пушкина, казалось напр., „какъ сомнѣваться въ существованіи нарождающихся силъ, когда изъ нѣдръ народа подымается голосъ, подобный голосу Кольцова?!“ Или „*Мертвыя Души*“—это—„исторія болѣзни“, это—„крикъ ужаса и стыда“,—„но чтобы подобный крикъ могъ вырваться изъ груди, нужно быть здоровымъ и обладать великой силой обновленія“. „Великій актъ обвиненія, которое русская литература ставитъ русской жизни, признаніе ужаса нашего прошлаго, горькая иронія, заставляющая краснѣть за настоящее,—въ этомъ наша надежда, наше спасеніе, прогрессивный элементъ русской литературы („О развитіи революціонныхъ идей“). „Если для Россіи есть спасеніе, она будетъ спасена именно этимъ глубокимъ сознаніемъ нашего положенія, правдивостью, съ которою она обнаруживаетъ это положеніе предъ всѣми. Тотъ, кто смѣло признается въ своихъ недостаткахъ, чувствуетъ, что въ немъ есть нѣчто сохранившееся среди отступленій и паденій; онъ знаетъ, что можетъ искупить свое прошлое и не только поднять голову, но сдѣлаться изъ „Сарданапала-гуляки“—„Сарданапаломъ-героемъ“ („Письмо къ Мишле“).

Великою зиждущею силою самого русскаго народа, его идеею-силою, употребляя выраженіе одной изъ новыхъ философскихъ школъ, Герценъ признаетъ общинное начало, которое въ своемъ конечномъ развитіи совпадаетъ съ соціально-революціонными цѣлями новаго времени. „Слово „соціализмъ“ неизвѣстно нашему народу, но смыслъ его близокъ душѣ русскаго человѣка, отживающаго вѣкъ свой въ сельской общинѣ и въ работнической артели“ („Юрьевъ день“).

Чисто соціалистическія склонности и стремленія, по мнѣнію Герцена, въ русскомъ народѣ, хотя не получили формулировки, но они „существуютъ въ жизни народа, его пѣсняхъ и преданіяхъ... они всегда существовали въ habitus

всѣхъ славянскихъ народностей. Это скорѣе инстинктъ, чѣмъ прочно разрѣшенныя мысли, постоянное и твердое, но нестройное и запутанное національными и религіозными исканіями, естественное влеченіе". Герцену кажется возможнымъ, что съ этими влеченіями славяне, и въ особенности русскіе, какъ племя наиболѣе сильное, сыграютъ по отношенію къ разрушающемуся міру роль древнихъ германцевъ. Въ славянскомъ хорѣ ему слышны тѣ же аккорды, которые раздаются въ глубинахъ стараго міра, и „домашніе варвары Европы и сѣверные варвары, не вѣдая сами того, имѣютъ общаго врага—дряхлое феодально-монархическое зданіе, и одну общую надежду—соціальную революцію" („О развитіи революціонныхъ идей").

„Соціализмомъ — революціонная идея можетъ у насъ сдѣлаться народною. Въ то время, какъ въ Европѣ соціализмъ принимается за знамя безпорядка и ужасовъ, у насъ, напротивъ, онъ является радугой, пророчащей будущее народное развитіе" („Старый міръ и Россія").

Основною ячейкой, которая должна послужить началомъ возможнаго соціалистическаго развитія, является крестьянская община. Она казалась Герцену въ прошломъ русскаго народа какимъ-то палладіумомъ. Въ настоящее время историки вовсе не признаютъ за общиной той древности, первобытности, первичности ея въ народномъ сознаніи, какъ это представлялось Герцену и славянофиламъ. Доказано насажденіе общины частью съ чисто государственными, фискальными цѣлями. Герценъ, однако, совершенно мѣтко и вѣрно уловилъ, что община и вообще мірской духъ были въ исторіи народа однимъ изъ весьма дѣйствительныхъ средствъ сопротивленія со стороны массъ постоянному давленію правительственныхъ и верхнихъ сословій. Аппаратъ общиннаго раздѣла земель, или напр., мірской раскладки налоговъ и повинностей удовлетворительно исполнялъ нѣкоторыя функціи государственной власти и при неразвитости государственной и экономической жизни облегчалъ населенію въ самомъ дѣлѣ несеніе лежавшихъ на немъ тяготъ. Въ этомъ условномъ и ограниченномъ смыслѣ Герценъ былъ, конечно, правъ, когда говорилъ, напр., что община „спасала" русскій народъ. „Народъ русскій все вынесъ, но спасъ общину, община спасла народъ русскій; уничтожая ее, вы отдаете его, связаннаго по рукамъ и ногамъ, помѣщику и полиціи" („Крещеная собственность"). И конечно, онъ преувеличивалъ, когда утверждалъ, что „община спасла русскій народъ отъ монгольскаго варварства и отъ императорской цивилизаціи, отъ выкрашенныхъ по-европейски помѣщиковъ и отъ нѣмецкой бюрократіи" („Письмо къ Мишле").

Какъ бы то ни было, община благополучно дожила до развитія соціализма въ Европѣ. Это обстоятельство казалось Герцену безконечно важнымъ для Россіи. „Какое это счастіе для русскаго народа, что онъ остался внѣ всѣхъ политическихъ движеній, внѣ европейской цивилизаціи, которая, безъ сомнѣнія, подкопала бы общину и которая нынѣ сама дошла въ соціализмѣ до отрицанія!“ („Письмо къ Мишле“).

Само собою разумѣется,—не разъ оговаривается Герценъ, и эти его оговорки освобождаютъ насъ отъ обязанности особо защищать одностороннее имъ освѣщеніе общины,—„само собою разумѣется, что ни въ коммунизмѣ деревень, ни въ казацкихъ республикахъ мы не могли бы найти удовлетворенія нашимъ стремленіямъ. Все это было слишкомъ дико, молодо, не развито, но изъ этого не слѣдуетъ, что намъ должно ломать эти незрѣлыя начинанія; напротивъ, ихъ надобно продолжать, развивать, образовывать. Тутъ нѣтъ большого достоинства, что мы неподвижно сохранили нашу общину въ то время, какъ германскіе народы ее утратили, но это большое счастіе, и его не надобно выпускать изъ рукъ“ („Крещеная собственность“).

Общинное владѣніе землею съ экономической и соціальной стороны представлялось Герцену *громоотводомъ* соціальныхъ потрясеній и развитія пролетаріата. Основными чертами русской общины онъ приводитъ—принадлежность земли всей общинѣ, равное, „братское“ право на нее всѣхъ ея членовъ, но право лишь трудового пользованія, равный голосъ въ дѣлахъ общины и независимость ея во внутренней жизни отъ администраціи и помѣщика, собственное мірское управленіе. Несомнѣнно, въ такой общей схемѣ оно все можетъ казаться и, дѣйствительно, казалось чѣмъ-то полу-соціалистическимъ. Въ подобномъ отвлеченіи казалась явленіемъ того же по идеѣ высокаго типа и артель, даже казачество, въ которомъ такъ привлекателенъ казался буйный размахъ его воли. „Артель,—писалъ Герценъ,—лучшее доказательство того естественнаго, безотчетнаго сочувствія славянъ къ соціализму, о которомъ мы столько разъ говорили. Артель вовсе не похожа на германскій цехъ, она не ищетъ ни монополіи, ни исключительныхъ правъ, она не для того собирается, чтобы мѣшать другимъ, она устроена для себя, а не *противъ* кого-либо. Артель—соединеніе вольныхъ людей одного мастерства на общій прибытокъ общими силами.—Казачество была отворенная дверь людямъ, не любящимъ покоя, ищущимъ движенія, опасности, независимости. Оно соотвѣтствовало тому буйному началу молодечества и удали, которое рядомъ съ мирнымъ и добродушнымъ нравомъ славянъ составляетъ ихъ характеристику. Общинный дружин-

никъ, казакъ, становился безсмѣнной стражей на крайнихъ предѣлахъ отечества и берегъ его; онъ не хотѣлъ знать никакого правительства, кромѣ своего выборнаго; лучше становился разбойникомъ, нежели подданнымъ, но родинѣ служилъ вѣрой и правдой и, не жалѣя, лилъ за нее кровь" („Крещеная собственность").

Реальныя наблюденія Герцена надъ народною общиною могли быть сдѣланы еще тогда, когда онъ не предчувствовалъ того значенія, какое самъ придастъ ей въ будущемъ. Отъ этого рѣчь его объ общинѣ не выходитъ большею частью изъ предѣловъ общаго построенія, община въ его представленіи лишена почти живыхъ, жизненныхъ, реальныхъ чертъ, которыя, очевидно, стерлись изъ его памяти, если онѣ въ ней запечатлѣлись въ свое время. Но это не мѣшало, конечно, тому, что остатки этихъ воспоминаній явились достаточнымъ оправданіемъ новаго взгляда на общину, какъ основы народной жизни, на человѣка общины и артели, точно такъ же, какъ на человѣка будущаго. „Человѣкъ будущаго въ Россіи— *мужикъ*, точно такъ же, какъ во Франціи — работникъ" („Письмо къ Мишле").

Собственно экономическое значеніе общины, однако, весьма мало занимало Герцена. Болѣе цѣнилъ онъ въ ней ея общій соціальный смыслъ и думалъ въ будущемъ увидѣть въ ней осуществленіе одной изъ сторонъ грядущаго развитія соціалистическаго строя.

Какъ нѣкогда Огаревъ ставилъ цѣлью гармоническое примиреніе личнаго начала и общественнаго, такъ же чрезъ много лѣтъ Герценъ, по схемѣ тріады Гегеля, ставитъ вопросъ о личности и общинѣ. „Крайнія односторонніе развитія привели къ двумъ нелѣпостямъ—къ гордому своими правами, независимому англичанину, котораго свобода основана на вѣжливой антропофагіи, и къ бѣдному русскому мужику, безлично потерянному въ общинѣ, безправно отданному въ крѣпость и въ силу того служащему съѣстнымъ припасомъ барину.—Гдѣ ихъ примиреніе, какъ снять ихъ противорѣчіе, какъ сохранить независимость британца безъ людоѣдства, какъ развить личность крестьянина безъ утраты общиннаго начала? Въ этомъ-то вся мучительная задача нашего вѣка, въ этомъ-то и состоитъ весь соціализмъ.—Безумно было бы начать переворотъ съ уничтоженія свободныхъ учрежденій, потому что они на дѣлѣ доступны только меньшинству; еще безумнѣе уничтожить общинное начало, къ которому стремится современный человѣкъ, за то, что оно не развило еще свободной личности въ Россіи" („Крещеная собственность").

„Снять противорѣчія" личности и государства, разрѣшить эту роковую антиномію Европа не успѣла, но „она поста-

вила себѣ задачею это разрѣшеніе". Сомнительно, чтобъ оно ей удалось. Россія также не нашла этого рѣшенія. Но благопріятныя къ тому данныя въ ней, по мысли Герцена, имѣются налицо. Задатки общиннаго духа въ народѣ, это—та сторона, которой такъ нехватаетъ Европѣ. Личная же независимость, духъ личной свободы, эта сторона казалась Герцену прочно усвоенною или усваиваемою образованными классами Россіи. Въ этомъ предположеніи, что Россіи, можетъ быть, лучше и легче можно разрѣшить вышеуказанную соціальную антиномію, т. е. развить новый строй, болѣе всего соотвѣтствующій и тѣмъ и другимъ сторонамъ человѣческаго существа, строй разомъ—независимости личной и солидарности, строй соціалистическій—такова чисто мессіанистическая мечта Герцена, окрашивающая своеобразно всѣ его воззрѣнія.

Она далека, однако, отъ мистической непреклонности и спокойствія. Это скорѣе безпокойное трепетное предчувствіе, то вспыхивающее лучемъ яркой и свѣтлой увѣренности, то подавленное противорѣчіями между дѣйствительностью и мечтою.

Иногда Герценъ категорически говоритъ, что „русскій народъ, подавленный рабствомъ и правительствомъ, не можетъ идти по колеѣ европейскихъ народовъ, повторяя ихъ прошлыя революціи, исключительно городскія, и которыя тотчасъ бы пошатнули основанія его общинной организаціи" („Старый міръ и Россія"). Чаще онъ выражается гораздо менѣе рѣшительно, высказывая этотъ взглядъ о своеобразіи будущаго русскаго соціальнаго развитія, несущаго рѣшеніе роковыхъ вопросовъ, лишь какъ надежду, которой, быть можетъ, не суждено оправдаться. „...Не слѣдуетъ слѣпо вѣрить въ будущее,—предостерегаетъ онъ,—каждый зародышъ имѣетъ право на развитіе, но не каждый развивается. Будущее Россіи зависитъ не отъ нея одной. Оно связано съ будущимъ Европы. Кто можетъ предсказать судьбу славянскаго міра въ случаѣ, если реакція и абсолютизмъ окончательно побѣдятъ революцію въ Европѣ?

„Быть можетъ, онъ погибнетъ?

„Но въ такомъ случаѣ погибнетъ и Европа...

„И исторія перенесется въ Америку..." („Письмо къ Мишле").

Однимъ изъ основаній, по которымъ Герценъ считалъ, что Россія не повторитъ собою исторіи Европы, былъ его общій историко-философскій взглядъ на историческое развитіе, въ которомъ нѣтъ мѣста однообразному повторенію однихъ и тѣхъ же схемъ и путей.

„Общій планъ развитія допускаетъ безконечное число

варіацій непредвидимыхъ, какъ хоботъ слона, какъ горбъ верблюда,—высказываетъ Герценъ мысль, которую впослѣдствіи будетъ настойчиво повторять Михайловскій, говоря о разницѣ между типомъ развитія и степенью его развитія.— Чего и чего не развилось на одну тему: собаки, волки, лисицы, гончія, борзыя, водолазы, моськи... Общее происхожденіе нисколько не обусловливаетъ одинаковость біографій. Каинъ и Авель, Ромулъ и Ремъ были родные братья, а какія разныя карьеры сдѣлали. То же самое во всѣхъ нравственныхъ родахъ или общеніяхъ...

„Въ genus europeum есть народы, состарѣвшіеся безъ полнаго развитія мѣщанства *) (кельты, нѣкоторыя части Испаніи, Южной Италіи и проч.), есть другіе, которымъ мѣщанство такъ идетъ, какъ вода жабрамъ, — отчего же не быть такому народу, для котораго мѣщанство будетъ переходнымъ, неудовлетворительнымъ состояніемъ, какъ жабры для утки? Въ чемъ же состоитъ та злая ересь, то отпаденіе отъ своихъ собственныхъ принциповъ, отъ непреложныхъ законовъ міросданія и отъ всѣхъ божественныхъ и человѣческихъ ученій и уставовъ, что я не считаю мѣщанство окончательной формой русскаго устройства, того устройства, къ которому Россія стремится и, достигая котораго, она, вѣроятно, *пройдетъ* и мѣщанской полосой. Можетъ, народы европейскіе сами перейдутъ къ другой жизни, можетъ, Россія вовсе не разовьется, но именно потому, что это *можетъ быть,—можетъ быть* и другое“ („Концы и начала“, письмо VIII).

И Герценъ при каждомъ удобномъ случаѣ развиваетъ основанія, по которымъ ему кажется возможнымъ развитіе Россіи, минуя мѣщанство, т. е. буржуазно-капиталистическое разслоеніе и разложеніе общинныхъ началъ.

Россія „участвуетъ въ судьбахъ Европы, не имѣя ея историческихъ преданій, свободная отъ ея обязательствъ прошедшему. „Какое счастіе,—сказалъ Бентамъ Александру I, когда онъ былъ въ Лондонѣ послѣ наполеоновскихъ войнъ,— что русскому законодателю не приходится бороться на каждомъ шагу съ римскимъ правомъ“, а мы прибавимъ—ни съ феодализмомъ, ни съ католицизмомъ, ни съ протестантизмомъ“ („Еще варіація на старую тему“). „Можетъ, въ будущемъ и наше развитіе спутается, но въ отношеніи къ идеѣ *ближняго будущаго* мы поставлены свободнѣе Запада, — воспользуемся этимъ... Мы въ нѣкоторыхъ вопросахъ потому дальше Европы и свободнѣе ея, что такъ отстали отъ нея“ (Предисловіе къ „Письмамъ изъ Франціи и Италіи“). „Намъ кажется,

*) Въ смыслѣ—буржуазнаго, капиталистическаго строя.

что, пройдя западной дрессировкой, подкованные ею, мы можемъ стать на свои ноги и вмѣсто того, чтобы твердить чужіе зады и примѣривать стоптанные сапоги, намъ слѣдуетъ подумать, нѣтъ ли въ народномъ быту, въ народномъ характерѣ нашемъ, въ нашей мысли, въ нашемъ художествѣ чего-нибудь такого, что можетъ имѣть притязаніе на общественное устройство несравненно выше западнаго. Хорошіе ученики часто переводятся черезъ классъ". „Должна ли Россія пройти всѣми фазами европейскаго развитія, или ея жизнь пойдетъ по инымъ законамъ? Я совершенно отрицаю необходимость. Мы, пожалуй, должны пройти трудными и скорбными испытаніями историческаго развитія нашихъ предшественниковъ; но такъ, какъ зародышъ проходитъ до рожденія всѣ низшія ступени человѣческаго существованія. Оконченный трудъ и добытый результатъ входятъ въ общее достояніе всѣхъ понимающихъ — это круговая порука прогресса, маіоратъ человѣчества. Я знаю, что результатъ дѣйствителенъ, какъ послѣдствіе цѣлаго логическаго развитія.— Всякій школьникъ долженъ самъ найти рѣшеніе Эвклидовыхъ предложеній,—но какая огромная разница между трудомъ Эвклида, открывшаго ихъ, и трудомъ ученика нашего времени.—Россія продѣлала свою эмбріогенію въ „европейскомъ классѣ". Дворянство съ правительствомъ представляютъ у насъ европейское государство въ славянскомъ. Мы прошли всѣ фазисы политическаго воспитанія, начиная отъ нѣмецкаго конституціонализма, отъ англійскаго канцелярскаго монархизма, до поклоненія 93 году. Подражаніе наше было похоже на аберрацію звѣздъ, которая въ маломъ видѣ передаетъ намъ путь, проходимый земнымъ шаромъ по своей орбитѣ. — Народу русскому не нужно начинать снова этотъ тяжкій трудъ. Зачѣмъ ему проливать кровь свою для достиженія тѣхъ полурѣшеній, до которыхъ мы дошли и которыхъ вся важность состоитъ только въ томъ, что мы черезъ нихъ дошли до иныхъ вопросовъ, до новыхъ стремленій. — Мы за народъ отбыли эту тягостную работу, мы поплатились за нее висѣлицами, каторжною работою, казематами, ссылкою, разореніемъ и нестерпимою жизнью, въ которой живемъ" („Старый міръ и Россія").

Надъ Россіей тяготѣло еще крѣпостное рабство, „язвой, пятномъ, тѣмъ безобразіемъ русскаго быта, которое смиряетъ насъ и заставляетъ, краснѣя и съ поникнувшей головою, признаться, что мы ниже всѣхъ народовъ въ Европѣ" („Крещеная собственность"). Самое возникновеніе позорнаго учрежденія было „до того нелѣпо, безумно, что за границей, особенно въ Англіи никто не понимаетъ" (Тамъ же). Герценъ беретъ на себя горячую защиту предъ Европою русскаго раба-

крестьянина. Намъ нѣтъ надобности цитировать здѣсь этихъ страстныхъ рѣчей въ защиту человѣческаго достоинства и нравственной физіономіи русскаго крестьянства. Все это написано на одну тему, позднѣе формулированную поэтомъ: „Въ рабствѣ спасенное, сердце свободное, золото, золото—сердце народное". И въ этой защитѣ русскаго народа Герценъ высказываетъ лозунгъ, по формѣ близкій къ славянофильскому „возвращенію домой", но по существу—лозунгъ позднѣйшаго народничества, лозунгъ радикальный, соціалистическій:

„Образованная Россія должна возвратиться къ народу" („Старый міръ и Россія").

Союзъ этой образованной Россіи и народа, союзъ, при которомъ должны получить свое полное и сознательное развитіе живущіе безсознательно въ народѣ его коммунистическія склонности и стремленія,—вотъ что должно стать, по мысли Герцена,—и въ самомъ дѣлѣ надолго стало,—знаменемъ и девизомъ новой революціонной и освобождающейся Россіи.

Герценъ не уставалъ доказывать преимущества этой зарождавшейся тогда и разраставшейся передовой интеллигенціи предъ умственными силами Запада. Правда, какъ мы уже видѣли, онъ не чуждъ сомнѣній, оторванное положеніе мыслящихъ людей отъ народныхъ массъ порою внушаетъ ему самыя безнадежныя мысли. „Народу не то надобно, что мы можемъ сказать, что намъ хочется сказать; наши слова—отвѣты, подмостки, разрабатываніе понятій, оскорбленіе, исповѣдь, критика, сомнѣніе... Народъ... ждетъ не книгъ, а людей, у которыхъ вѣра, воля, убѣжденія и сила совпадаютъ во-едино, людей, никогда не разрывавшихся съ нимъ, людей, не выходящихъ изъ него, но дѣйствующихъ въ немъ и съ нимъ, съ откровенной и непотрясаемой вѣрой и съ ничѣмъ не развлекаемый преданностью" („Письма изъ Франціи и Италіи"). Герценъ не думалъ, чтобы его поколѣніе, поколѣніе всей радикальной Европы было способно къ тому, чтобы дать такихъ людей народу: „Мы вмѣстѣ трупъ и убійцы, болѣзнь и прозекторы стараго міра,—вотъ наше призваніе". Но Герценъ твердо вѣрилъ, что въ Россіи такіе дѣятели явятся, и явятся скоро, и онъ не устаетъ вливать бодрость въ души сомнѣвающихся.

Порукой въ правильности его надеждъ служитъ ему та свобода и независимость мысли, безоглядность убѣжденій и разрыва съ средою, какія онъ наблюдалъ въ передовыхъ людяхъ образованной Россіи. Знаменито крылатое слово Герцена: „Мыслящій русскій—самый независимый человѣкъ въ свѣтѣ" („Письмо къ Мишле").

Обращаясь къ образованной Россіи и ея будущимъ дѣятелямъ, Герценъ повторялъ четверостишіе Гете, избранное имъ эпиграфомъ къ книгѣ: „Du développement etc.“: „Dich stört nicht im Innern—zu lebendiger Zeit—unnützes Erinnern—und vergeblicher Streit“ (т. е. „въ душѣ твоей, въ живое время, нѣтъ безполезной тревоги воспоминаній и безплоднаго раздора“). Мыслящій русскій свободенъ отъ цѣлой сѣти традицій, а онѣ на каждомъ шагу опутываютъ культурнаго западнаго человѣка и болѣе всего и мѣшаютъ этому сліянію людей мысли и людей труда, интеллигенціи и народа. Но въ наши дни,—думалось Герцену,—„самыя тяжкія времена распаденія проходятъ: развитое меньшинство встрѣчается съ народомъ тогда, когда оно вовсе того не ожидало“ („Старый міръ и Россія). Еще декабристъ Пестель предвидѣлъ эту встрѣчу, и Герценъ ставитъ ему въ особую историческую заслугу, что онъ выдвигалъ на первый планъ въ своей программѣ освобожденіе крестьянъ съ землею, при чемъ настолько опередилъ свое время, что идеи эти оказались большинству товарищей его совершенно чужды („О развитіи революціонныхъ идей“).

Во всякомъ случаѣ, каковы бы ни были возможныя разочарованія въ будущемъ ходѣ русской исторіи, Герценъ полагалъ возможнымъ дать категорически слѣдующія отрицательныя предсказанія, сказать, чѣмъ никогда не будетъ Россія:

„Россія никогда не будетъ протестантскою.

„Россія никогда не будетъ juste-milieu.

„Россія никогда не сдѣлаетъ революціи съ цѣлью отдѣлаться отъ царя Николая и замѣнить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими.

„Мы, можетъ быть, требуемъ слишкомъ много, и ничего не достигнемъ. Можетъ быть такъ, но мы все-таки не отчаиваемся“...

Эта формула въ сущности общее, иными только словами, выраженіе все той же мысли о внутренней мощи народной, не мирящейся съ половинчатыми рѣшеніями. Поясненія здѣсь требуетъ, пожалуй, только третій пунктъ, въ которомъ рѣчь о будущей формѣ внутренняго управленія Россіи. Это не есть, какъ могло бы пожалуй показаться, отрицаніе представительнаго управленія. Въ сущности Герценъ ставитъ здѣсь на одну доску самодержавно-бюрократическій принципъ николаевскаго режима съ тѣмъ бюрократическимъ централизмомъ, который такъ отталкивалъ его у французовъ, какъ въ корнѣ враждебный дѣйствительной свободѣ, и который они умудрялись сохранить даже при парламентѣ, избираемомъ всеобщею подачею голосовъ. Герцену казалось,

что въ будущемъ русская революція не можетъ ограничиться подобною смѣною повелителей, размѣномъ ихъ на мелочи, и впослѣдствіи, какъ слѣдствіе такого взгляда на задачи русскаго освобожденія, онъ выдвинетъ принципы федерализма и широкаго мѣстнаго и областнаго самоуправленія. И конечно, революція 1904—1906 гг. проходила подъ знаменемъ широкаго, всесторонняго освобожденія, охватывающаго всѣ стороны русской жизни, а не замѣны одного многими.

Очерченная нами здѣсь общая система воззрѣній Герцена на Россію и ея будущее развитіе сложились въ рѣзко опредѣленныя формы уже къ половинѣ пятидесятыхъ годовъ прошлаго вѣка. Какъ уже указано въ нашей литературѣ о Герценѣ, она должна быть признана началомъ идей соціалистическаго народничества, игравшаго такую видную роль въ исторіи послѣднихъ десятилѣтій прошлаго вѣка.

Историческія событія колоссальной важности и новые политическіе интересы далеко отодвинули отъ насъ тѣ споры, въ которыхъ было поломано столько копій... о судьбахъ будущаго развитія Россіи. И культурно-историческія изученія также внесли много измѣненій въ постановку вопросовъ обо всемъ этомъ. Мы знаемъ, какъ Россія „упустила случай“ обойти капиталистическій фазисъ развитія; знаемъ, какъ далека, детально и подробно изслѣдованная народниками, община отъ возможности непосредственнаго перехода къ болѣе высокимъ соціалистическимъ формамъ землепользованія. Мечты поблекли, смѣлыя надежды на легкій переходъ къ высшимъ сравнительно съ Западомъ формамъ общественно-политическаго строя оказались тщетными. Герценъ не предчувствовалъ, что одною изъ несущихъ родинѣ освобожденіе силъ явится городской рабочій. Но исчерпано ли значеніе такого явленія народной жизни для будущаго, какъ община,—этотъ вопросъ все-таки остается, кажется, открытымъ; по крайней мѣрѣ новѣйшій изслѣдователь ея изъ мертваго языка цифръ дѣлаетъ выводы въ пользу ея жизненности (Качоровскій, „Русская община“). Такъ и общія воззрѣнія Герцена на возможную будущность родины все еще не утратили, намъ кажется, нѣкотораго живого интереса. Формы, въ которыхъ онъ представлялъ свѣтлую будущность своей страны, могутъ казаться совершенно не соотвѣтствующими дѣйствительности. Но въ нихъ бьется столько живого страстнаго чувства, такая трогательная увѣренность въ своемъ народѣ, такая горячая привязанность, что даже иностранецъ, равнодушный и чуждый „русской печали“ нѣмецкій біографъ Герцена (Альтгаузъ)

ДОЧЕРИ ГЕРЦЕНА.

Ольга Александровна
МОНО.

Наталья Александровна
ГЕРЦЕНЪ.

не можетъ не отмѣтить съ почтеніемъ въ руссофильскихъ предвидѣніяхъ и мессіанистическихъ обѣтованіяхъ Герцена глубокое національное чувство, которое и считаетъ, конечно, вполнѣ справедливо однимъ изъ самыхъ сильныхъ двигателей Герцена въ его дѣятельности.

Въ наши дни можно сказать съ увѣренностью исполнилось, по крайней мѣрѣ, одно изъ предвидѣній Герцена: родина наша будетъ свободна; въ этомъ онъ не обманулся, какъ не обманулся онъ и въ томъ, что не изсякли и не изсякнутъ тѣ тайники національныхъ порывовъ, одна мысль о которыхъ такъ подымала Герцена и одинъ изъ которыхъ привелъ къ 17 октября 1905 года.

Мессіанистическая окраска идей Герцена о Россіи иностранцамъ казалась большею частью совершенно непріемлемою, даже больше того—давала поводъ къ крайне пристрастному ихъ освѣщенію. Такъ, нѣмецъ Карлъ Блиндъ послѣ смерти Герцена горячо протестовалъ противъ причисленія его къ вождямъ общеевропейскаго освободительнаго движенія, обвиняя его въ узкихъ націоналистическихъ пристрастіяхъ (статья въ „Neue Freie Presse“ 1870 г.). Но не говоря о вообще враждебно настроенныхъ къ Герцену нѣмцахъ-демократахъ, и вполнѣ расположенные къ нему представители международной демократіи, большею частью, скептически относились къ Герценовскимъ идеямъ о Россіи. Они искренно сочувствовали и лично ему, и той освобождающейся Россіи, съ которою онъ знакомилъ Западъ, но идти за нимъ въ его построеніяхъ, въ основу которыхъ легъ, какъ мы уже упоминали, ирраціональный элементъ вѣры въ свой народъ, конечно, не могли. И самъ Герценъ понималъ это хорошо и не разъ констатировалъ, какъ печальный итогъ своей многолѣтней работы.

Но все же онъ первый въ такой полнотѣ, такъ настойчиво и съ такимъ энтузіазмомъ знакомилъ Западъ съ основными чертами русской дѣйствительности, освѣщая родную жизнь не только со стороны ея некультурной внѣшности (въ произведеніяхъ полемическихъ противъ Россіи, какъ страны чисто варварской, за границей не было недостатка), но и съ тѣхъ сторонъ, въ чемъ была надежда и залогъ широкаго общечеловѣческаго развитія. И въ этомъ отношеніи его пропаганда европейцамъ сдѣлала весьма много. Если въ 1863 году Гарибальди, а за нимъ и другіе, могли сказать: „Да, Герценъ, я вѣрю вамъ и знаю, что народъ русскій несчастенъ и имѣетъ высокія стремленія, какъ всѣ народы... знаю, что и на вашей родинѣ бродитъ духъ воли и будущаго“, то Герцену же они и были обязаны этимъ знаніемъ. Чрезъ него Западъ получалъ сколько-нибудь правильныя понятія

о развитіи русской литературы, объ освободительномъ движеніи и пр., въ особенности объ общности передовыхъ идей Россіи и Запада.

Первые труды Герцена въ этомъ направленіи были настоящимъ откровеніемъ, поразившемъ множество людей Запада. „Ваша книга меня поразила,—писалъ, напримѣръ, одинъ изъ нихъ, забытый теперь публицистъ Море по поводу „Du develloppement etc.“:—въ то время, какъ Франція и западная часть Европы составляютъ свои крохотные революціонные проекты, въ то время, какъ наиболѣе смѣлые мыслители революціи включаютъ въ движеніе будущаго три или четыре народа, какъ напримѣръ, Францію, Италію, Германію,—и считаютъ, что это уже очень много съ ихъ стороны, а на Россію смотрятъ лишь какъ на врага,—вы вдругъ заявляете: „Осторожнѣй! Насъ здѣсь пятьдесятъ милліоновъ, тоже людей. Въ вашихъ глазахъ мы не больше какъ угроза. Но вы ошибаетесь; революція, которой вы считаете себя представителями, гораздо шире: ею охвачено все человѣчество. И мы, кого вы называете варварами, мы также близки къ истинѣ, какъ вы, образованные. Мы, можетъ быть, ближе къ соціализму, чѣмъ вы. У насъ нѣтъ, какъ у васъ, массы учрежденій, которыя бы стѣсняли насъ, и наоборотъ, у насъ много старыхъ учрежденій, наивныхъ и зачаточныхъ, которыя легче могутъ быть обращены на службу новому, нежели вся мишура вашей цивилизаціи. Вы воображаете себя великими философами, и не знаете даже того, что вотъ уже тридцать лѣтъ наша страна служитъ ареною борьбы для всѣхъ вашихъ идей и кладбищемъ для борцовъ и героевъ, которые страдали и умерли за эту же истину“. Вотъ что вы открываете западнымъ революціонерамъ, которые и не подозрѣвали, что ихъ дѣло имѣетъ такіе размѣры. Потому-то и было бы полезно, чтобы такую книгу, какъ ваша, прочитали всѣ безпокойные умы, ищущіе смыслъ и средства революціи, всѣ впавшіе въ унынiе, которые въ виду частичнаго и временнаго пораженія не догадываются, что революція неотвратима и что она оживетъ всюду, каковы бы ни были промахи и ошибки людей, неумѣлость и трусость партій“ („Былое“, 1907, май, стр. 226).

И въ послѣдующіе періоды своей жизни Герценъ былъ для многихъ людей Запада, какъ его „Колоколъ“ для Кинэ,— „лучезарнымъ сѣвернымъ сіяніемъ въ нашей западной ночи“. Онъ, болѣе чѣмъ кто бы то ни было, подготовилъ тотъ живой интересъ Запада къ Россіи, который впослѣдствіи сказался въ симпатіяхъ къ русскому роману, начиная съ Тургенева,

въ признаніи русской науки, въ сочувствіи русскому освобожденію *).

Возвращаемся къ прерванному нами разсказу о жизни Герцена за границей и начатой имъ вскорѣ дѣятельной работѣ для того же освобожденія родины.

---

*) Эта роль Герцена прекрасно освѣщена въ статьѣ г. Гершензона „Герценъ и Западъ“, „Русск. Мысль“, 1907, 3. „Свободная Россія не забудетъ, что онъ вспахалъ и посѣялъ на европейской нивѣ первый посѣвъ пониманія русской народности и впервые возбудилъ въ европейцахъ интересъ къ ней и теплое братское чувство“.

VI.

Лондонъ.—„Былое и думы".

„Я не думалъ прожить въ Лондонѣ больше мѣсяца,—вспоминаетъ Герценъ,—но мало-по-малу я сталъ разглядывать, что мнѣ рѣшительно некуда ѣхать и незачѣмъ.

„По цѣламъ утрамъ сиживалъ я теперь одинъ-одинехонекъ, часто ничего не дѣлая, даже не читая... Въ этомъ досугѣ разбиралъ я фактъ за фактомъ все бывшее, слова и письма, людей и себя... Были тяжелыя минуты и не разъ слеза скатывалась по щекѣ; но были и другія, не радостныя, но мужественныя. Я чувствовалъ въ себѣ силу, я не надѣялся ни на кого больше, но надежда на себя крѣпчала, я становился независимѣе отъ всѣхъ... Я увидѣлъ, что серьезно глубокихъ связей у меня нѣтъ. Я былъ чужой между посторонними, сочувствовалъ больше однимъ, чѣмъ другимъ, но не былъ ни съ кѣмъ тѣсно соединенъ. Оно и прежде такъ было, но я не замѣчалъ этого, постоянно увлеченный собственными мыслями; теперь маскарадъ кончился, домино были сняты, вѣнки попадали съ головъ, маски съ лицъ.

„Для такого перелома лондонская жизнь была очень благотворна. Нѣтъ города въ мірѣ, который бы больше отучалъ отъ людей и больше пріучалъ къ одиночеству, какъ Лондонъ. Его образъ жизни, разстоянія, климатъ, самыя массы народоселенія, въ которомъ личность пропадаетъ, все это способствовало къ тому, вмѣстѣ съ отсутствіемъ континентальныхъ развлеченій. Кто умѣетъ *жить одинъ*, тому нечего бояться лондонской скуки.

„Одиноко бродя по Лондону, по его каменнымъ просѣкамъ, по его угрюмымъ коридорамъ, не видя иной разъ ни на шагъ впередъ отъ сплошного опаловаго тумана и толкаясь съ какими-то бѣгущими тѣнями,—я много прожилъ.

„Я полюбилъ этотъ страшный муравейникъ, гдѣ сто тысячъ человѣкъ всякую ночь не знаютъ, гдѣ прислонить го-

лову, и полиція нерѣдко находитъ дѣтей и женщинъ, умершихъ съ голода возлѣ отелей, въ которыхъ нельзя обѣдать, не истративши двухъ фунтовъ.

„Мысль, съ которой я пріѣхалъ въ Лондонъ, искать *суда своихъ*—была вѣрна и справедлива.

„Свои у меня были когда-то въ Россіи. Но я такъ вполнѣ былъ отрѣзанъ на чужбинѣ... Надобно было, во чтобъ ни стало, снова завести рѣчь со своими,—хотѣлось имъ разсказать, что тяжело лежало на сердцѣ. Писемъ не пропускаютъ,—книги сами пройдутъ; писать нельзя,—буду печатать, и я принялся мало-по-малу за *„Былое и Думы“* и за устройство русской типографіи“.

Выше мы цитировали отзывъ о книгѣ Герцена эмигрантки Мальвиды ф. Мейзенбугъ, она перебралась изъ Гамбурга въ Лондонъ и жила здѣсь то уроками, то литературной работою. Случайная встрѣча съ Герценомъ въ семьѣ одного нѣмецкаго эмигранта повела къ дружескому сближенію между ними. Герценъ сначала пригласилъ Мальвиду ф. Мейзенбугъ въ учительницы къ младшимъ дочерямъ, и очень цѣнилъ ея участіе.

„Вы напомнили мнѣ дружескимъ чувствомъ мою прошедшую молодость,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ.—Ваша дружба—дѣятельная, то есть, единственная, какую я понимаю, какая есть у меня. Пассивная дружба со всѣхъ сторонъ: l'amitié raisonnée, collaboration, conspiration, francmaçonnerie, эмансипаціонный духъ, дружба товарищей по религіи,—но все это неопредѣленно и абстрактно. Горячо благодарю Васъ за напоминаніе, что въ этомъ vacuum horrendum, которымъ окружаетъ насъ міръ, бываетъ другая, болѣе человѣчная и личная симпатія. Повѣрьте, что, несмотря на мою внѣшность á la Falstaff, нѣтъ такого нѣжнаго, едва ощутимаго, подлиннаго чувства, которое не нашло бы отголоска въ моемъ сердцѣ“ (Memoiren, 149).

„И вы также думаете, кафе Very, ресторанъ Пиккадилли, Regent street, толпа народа, пренія нужны мнѣ?—читаемъ въ другомъ письмѣ.—Да въ сущности, вѣдь, у меня ничего другого и нѣтъ здѣсь... Наша жизнь разорвана, пустынна, похожа на одинъ изъ тѣхъ старинныхъ пустынныхъ дворцовъ, гдѣ едва найдется крошечный обитаемый уголъ. Какой соблазнъ могъ бы связать меня съ этою жизнію? Одну только сторону моей жизни я люблю фанатически, это—независимость... Я жилъ когда-то во всю ширь, была жизнь полная entraînement и счастья—tempi passati! Одно только мнѣ остается—энергія борьбы—и я поборюсь. Борьба моя поэзія. Все остальное для меня почти безразлично...

Говоря объ изчезнувшемъ ясномъ настроеніи молодости,

въ другомъ письмѣ (II, 174) онъ пишетъ: „Осталось одно утѣшеніе—моя любовь къ труду. Только въ ней я еще молодъ, въ ней владѣю я собою, какъ встарь".

Мейзенбугъ шутя спросила его, не думаетъ ли онъ застрѣлиться. „Застрѣлиться? По разсудку не стрѣляются: пуля—не силлогизмъ; одинъ только единственный разъ въ жизни я думалъ о самоубійствѣ, никто о томъ ничего не узналъ, мнѣ стыдно было въ этомъ признаться и стать на одну доску съ несчастными, эксплоатирующими самоубійство. У меня нѣтъ теперь никакой достаточно сильной страсти, которая довела бы меня до самоубійства; у меня даже какое то ироническое желаніе, просто любопытство увидѣть, что будетъ дальше... Вы могли бы упрекнуть меня въ усталости, если бы я жаловался, но я никогда не жалуюсь, развѣ если рука друга тронетъ болѣзненныя струны. А то я говорю о революціи, о демократическихъ комитетахъ, о Миланѣ, Америкѣ, Молдавіи и т. д. Даже есть люди, считающіе меня самымъ довольнымъ въ свѣтѣ человѣкомъ, напр., B. G... и C..; другіе, видя меня въ задумчивости, приписываютъ это только политическому честолюбію, напр., большинство поляковъ"...

Такъ между Герценомъ и Мейзенбугъ завязались близкія дружескія отношенія. Разъ, по ея разсказу, Герценъ, удрученный домашнею неурядицею, разразился предъ нею рыданіями, повторяя: „Я этого не заслужилъ, я этого не заслужилъ!" Тронутая Мейзенбугъ приняла на себя роль воспитательницы дѣтей Герцена, но не въ качествѣ наемницы, а друга, съ которымъ у нея не будетъ никакихъ денежныхъ счетовъ. Мейзенбугъ переселилась въ домъ Герцена (оставивъ за собою право частныхъ уроковъ на сторонѣ). Съ декабря 1853 г. до апрѣля 1856 М. Мейзенбугъ жила у Герцена, отдавшись заботамъ о его семьѣ и домѣ.

Характерною чертою, поразившею Мейзенбугъ въ Герценѣ, было противорѣчіе самому себѣ въ обыденной жизни: „Въ принципіальномъ спорѣ онъ не уступалъ ни на волосъ; былъ твердъ, какъ скала, въ своей оппозиціи; занятъ былъ добровольно избраннымъ трудомъ съ такою выдержкою, какая бываетъ лишь у тѣхъ, для кого трудъ—святое осуществленіе внутренней творческой силы, а не профессіональная обязанность. Но въ обыденныхъ житейскихъ отношеніяхъ онъ робко уклонялся отъ всякаго вмѣшательства, и часто становился рабомъ обстоятельствъ. Въ домѣ его, какъ саранча, кишѣли эмигранты. Они буквально завладѣли имъ, чувствовали себя хозяевами и распоряжались и хозяйничали по собственному вкусу; ни днемъ, ни вечеромъ не было пощады отъ этой назойливой толпы; невозможны стали

ни семейная жизнь, ни времяпровожденіе съ дѣтьми, ни общее чтеніе. Больше всего страдалъ самъ Герценъ, и его неудовольствіе разражалось иногда крайними вспышками".

Мейзенбугъ настояла на установленіи дней и часовъ для пріема гостей, ввела порядокъ и обезпечила Герцену возможность правильной изо дня въ день работы, безъ чего, можетъ быть, и „Былое и Думы" остались бы ненаписанными.

Эта толпа, „рядовые эмиграціи", которые болѣе всего окружали Герцена въ Лондонѣ, не разъ имъ изображалась ѣдко.

„Если-бъ кто-нибудь вздумалъ написать, со стороны, внутреннюю исторію политическихъ выходцевъ и изгнанниковъ съ 1848 г. въ Лондонѣ, какую печальную страницу прибавилъ бы онъ къ сказаніямъ о современномъ человѣкѣ. Сколько страданій, сколько лишеній, слезъ... и сколько пустоты, сколько узкости, какая бѣдность умственныхъ силъ, запасовъ, пониманія, какое упорство въ раздорѣ, и мелкость въ самолюбіи...

„Притомъ ни шагу впередъ. Они, какъ придворные версальскіе часы, показываютъ одинъ часъ, часъ, въ который умеръ король... и ихъ, какъ версальскіе часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показываютъ одно событіе, одну кончину какого-нибудь событія. Объ немъ говорятъ, объ немъ думаютъ, къ нему возвращаются. Встрѣчая тѣхъ же людей, тѣ же группы, мѣсяцевъ черезъ пять—шесть, года черезъ два—три, становится страшно,—тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщинъ, нарѣзанныхъ нищетою, лишеніями больше; сюртуки, пальто вытерлись; больше сѣдыхъ волосъ, и все вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... А рѣчи все тѣ же и тѣ же!..

„Такъ идутъ годы,—исподволь все мѣняется около нихъ. Тамъ, гдѣ были сугробы снѣга, растетъ трава, вмѣсто кустарника—лѣсъ, вмѣсто лѣса—одни пни... Они ничего не замѣчаютъ. Нѣкоторые выходы совсѣмъ обвалились и засыпались, они въ нихъ-то и стучатъ, новыя щели открылись, свѣтъ изъ нихъ такъ и врывается полосами, но они смотрятъ въ другую сторону".

Герценъ сошелся съ „горными вершинами" этого страннаго міра. Онъ оставилъ въ „Быломъ и Думахъ" вдумчивые и рѣзко очерченные портреты самыхъ крупныхъ людей эмиграціи, которые всѣ знали его и которыхъ онъ зналъ близко, будучи съ нѣкоторыми изъ нихъ и въ дружескихъ отношеніяхъ. Французы — Ледрю-Ролленъ и Луи Бланъ, итальянцы—Гарибальди, Маццини, Саффи, Орсини, венге-

рецъ—Кошутъ, полякъ—графъ Станиславъ Ворцель, нѣмцы—Кинкель и др., множество именъ иностранцевъ тѣсно переплетается съ лондонскимъ періодомъ Герцена. Какъ мы уже упоминали, это было время широкой солидарности, проводимой, какъ принципъ, въ рядахъ международной демократіи, теперь, вмѣсто столь близкихъ, казалось, побѣды и торжества, очутившейся въ изгнаніи. Въ пестрыхъ рядахъ ея Герценъ занялъ мѣсто рядомъ съ признанными ея вожаками, импонируя и умомъ, и талантомъ, и образованіемъ, и богатствомъ. Не только въ этихъ кругахъ, но и внѣ Герценъ является признаннымъ представителемъ демократической Россіи, чему былъ курьезнымъ примѣромъ обѣдъ, устроенный въ 1854 году американскимъ консуломъ въ Лондонѣ изгнанникамъ всѣхъ странъ. На этомъ дипломатическомъ обѣдѣ врагамъ всѣхъ правительствъ Европы присутствовали Маццини, Кошутъ, Ледрю-Ролленъ, Гарибальди, Орсини, Ворцель и Пульскій; въ качествѣ представителя Россіи приглашенъ былъ Герценъ.

Но онъ оставался въ большинствѣ случаевъ чуждъ непосредственнаго участія въ дѣлахъ этой эмиграціи. На разстояніи, внѣ непосредственныхъ впечатлѣній, навѣявшихъ книгу „Съ того берега“, онъ, въ противоположность большинству эмигрантовъ, спокойно смотритъ на недавніе бурные годы политической жизни. „Мы вступаемъ въ новый фазисъ: партіи блѣднѣютъ и выдыхаются, все это отходитъ въ прошлое. Люди, идеи, теоріи, знамена, дезидерата—все износилось, и изъ того, что дѣйствовало въ *прологѣ*. въ *первый актъ* не перейдетъ ничего“ („Письмо къ Мишле“, 1853 г.). И по „Былому и Думамъ“ мы видимъ, какъ люди разныхъ націй, партій, характеровъ идутъ и проходятъ мимо русскаго эмигранта, а онъ ни съ кѣмъ не идетъ рядомъ. Онъ одинъ оставилъ родину, во имя свободы, добровольно и все время занимаетъ своеобразную позицію политическаго отшельника, на свой страхъ и рискъ, внѣ партій, замышляющаго борьбу съ самымъ суровымъ изъ европейскихъ деспотизмовъ, конца которому въ классической странѣ рабства не предвидится.

Съ англійскими общественными и литературными дѣятелями Герценъ сближался мало, хотя, видимо, въ передовой части ихъ, пользовался извѣстностью и уваженіемъ, создавшимися подъ впечатлѣніемъ и литературной его дѣятельности, и личнаго знакомства. Изъ писемъ Герцена и воспоминаній видно, что онъ былъ въ сношеніяхъ съ Томасомъ Карлейлемъ, съ популярнымъ публицистомъ Дж. Льюисомъ, съ нѣкоторыми радикальными журналистами. Въ повседневные общественно-политическіе интересы англичанъ Герценъ

не входилъ. Но въ немъ мало-по-малу возрастало уваженіе къ англійской гражданской свободѣ, давшей и ему возможность работать для свободы своей родины. Уже въ 1853 г. онъ писалъ Мишле:—„Въ Лондонѣ жить хорошо. Я узналъ Англію и вообще англосаксонскую расу“—людей дѣла, практической поэзіи и постной свободы. Осмѣлюсь сказать: я думаю, что годъ, проведенный здѣсь, сильно измѣнилъ бы ваше мнѣніе объ этомъ народѣ“.—„Безъ всякаго сомнѣнія, Англія, при всѣхъ ей свойственныхъ нелѣпостяхъ торизма и феодализма,—единственная страна, гдѣ можно жить“,—писалъ Герценъ 9 апр. 1857 года К. Фохту.

Спокойнымъ окомъ холоднаго наблюдателя всматриваясь въ окружающую его международную демократію и въ чуждую англійскую жизнь, тѣмъ съ болѣе теплымъ чувствомъ обращается онъ къ собственному прошлому и снова къ родинѣ. Такъ онъ начинаетъ „Былое и Думы“.

„Былое и Думы“ писалось и печаталось въ разное время; часть, посвященная тяжелой исторіи отношеній Наталіи Александровны Герценъ къ Гервегу, до сихъ поръ хранится въ рукописи и, по слухамъ появится въ печати не ранѣе пятидесятилѣтія со дня кончины Герцена. Вполнѣ закончены только четыре первыя части „Былого и Думъ“. Онѣ были авторомъ не только напечатаны отрывками въ сборникахъ „Полярная Звѣзда“ (о нихъ дальше), но и изданы имъ же отдѣльно книгами на русскомъ языкѣ и въ переводахъ.

„Когда все было схоронено,—писалъ Герценъ въ посвященіи къ одной изъ частей своихъ воспоминаній русскимъ друзьямъ,—когда даже шумъ, долею вызванный мною, долею самъ накликавшійся, улегся около меня и люди разошлись по домамъ, я приподнялъ голову и посмотрѣлъ вокругъ: живого, родного не было ничего, кромѣ дѣтей. Побродивши между постороннихъ, еще присмотрѣвшись къ нимъ, я пересталъ въ нихъ искать *своихъ* и отучился—не отъ людей, а отъ близости съ ними... Я оставилъ чужой мнѣ міръ и воротился къ вамъ... и такъ ясно, что у меня нѣтъ другой почвы, кромѣ нашей, другого призванія, кромѣ того, на которое я себя обрекалъ съ дѣтскихъ лѣтъ.

„Разсказъ мой о быломъ, можетъ, скученъ, слабъ, но вы, друзья, примите его радушно; этотъ трудъ помогъ мнѣ пережить страшную эпоху, онъ меня вывелъ изъ празднаго отчаянія, въ которомъ я погибалъ, онъ меня воротилъ къ вамъ. Съ нимъ я вхожу *не весело, но спокойно* (какъ сказалъ поэтъ, котораго я безмѣрно люблю) въ мою зиму“.

Поэтъ, котораго „безмѣрно“ любилъ Герценъ, это—Леопарди; его безнадежный пессимизмъ можетъ найти нѣкоторыя параллели въ лиризмѣ „Съ того берега“. Другой

симпатіей Герцена тогда же и надолго былъ Байронъ; его мужественное слово, прямое признаніе безвыходности и тщеты мірового развитія („Тьма“) находили себѣ живое отраженіе въ герценовскомъ „смиреніи предъ истиной“.

Такъ воспоминанія явились для Герцена однимъ изъ якорей спасенія отъ духовной апатіи, съ ними онъ снова пережилъ прежнія радости и горе, и надъ этимъ удивительнымъ во всѣхъ отношеніяхъ произведеніемъ вѣетъ особый духъ скорбнаго, но умиротвореннаго созерцанія...

Автобіографическія записки Герцена, по мѣрѣ того, какъ развертывается повѣствованіе, растутъ въ своемъ значеніи. Сначала это рядъ бытовыхъ картинъ, московское барство, наши предки въ ихъ домашней обстановкѣ, въ средѣ ихъ крѣпостныхъ и дворовыхъ. Постепенно развертывается картина воспитанія и школы, и мы уже въ центрѣ политической внутренней жизни Россіи. Потомъ мрачная тюрьма и ссылка, картины провинціи; захватывающій личный романъ; затѣмъ яркая, блещущая свѣтомъ и тепломъ картина жизни кружковъ 40-хъ годовъ, ослѣпительныя характеристики дѣятелей этой эпохи, борьба міровоззрѣній, и наконецъ бѣгство изъ царства рабства въ обѣтованную страну свободы.

Второй томъ (части пятая и слѣдующія) представляютъ membra disjecta еще болѣе грандіозной и увлекательной картины. Внѣшняго единства въ нихъ меньше, больше отрывочности. Но и въ такомъ видѣ это, дѣйствительно, отраженіе исторіи Европы въ человѣкѣ, такомъ удивительномъ, разностороннемъ и блестящемъ. Такъ, личныя записки выросли до размѣровъ литературнаго памятника первокласснаго значенія. Все объединено въ нихъ живою личностью самого автора, его на рѣдкость теплымъ задушевнымъ тономъ, неподражаемою искренностью, и подъ горкимъ смѣхомъ и блестящимъ остроуміемъ всюду пробивается трогательное глубоко скорбное чувство.

Въ общемъ „Былое и Думы“—несомнѣнно, геніальное произведеніе, которое одно дало бы Герцену видное мѣсто среди корифеевъ русской литературы. Эта исповѣдь геніальной натуры въ то же время—есть самая живая картина — хроника русской жизни 30-хъ и 40-хъ годовъ прошлаго вѣка. Это историческій документъ первостепенной важности. Въ разсказѣ Герцена, въ датахъ, въ послѣдовательности отдѣльныхъ деталей легко устанавливается немало неточностей; но общая перспектива и освѣщеніе общественныхъ явленій отличаются рѣдкою достовѣрностью. Это—единственная въ своемъ родѣ галлерея художественныхъ портретовъ историческихъ лицъ и картинъ времени, лѣтопись въ значительной части и европейской общественности.

Своими записками Герценъ, можно сказать, создалъ у насъ этотъ родъ литературы. Рядомъ съ ними можно поставить, кажется, только замѣчательныя „Записки революціонера“ Кропоткина, на которыхъ можно было бы прослѣдить и вліяніе формы „Былого и Думъ“, задушевнаго слiянія частнаго и общаго, нераздѣльно другъ друга дополняющихъ и только въ такомъ разсказѣ дающихъ полное впечатлѣніе подлинной жизненной правды.

Какъ показываетъ самое заглавіе записокъ Герцена, „былое“—личныя и общественныя воспоминанія—переплетены съ „думами“—съ раздумьемъ о пережитомъ и перечувствованномъ. И эти „думы“ интересны не менѣе воспоминаній; это—исповѣдь и ѣдкій судъ надъ собою и близкими, надъ темною безсознательною массою и слѣпыми ея вождями, надъ русскимъ императорствомъ, мрачная тѣнь котораго, въ образѣ Николая, лежитъ на всѣхъ первыхъ частяхъ „Былого и Думы“, судъ, наконецъ, надъ отжившими формами западно-европейской жизни, ея мѣщанствомъ, съ неудачною революціею и судорогами передъ надвигающимся соціализмомъ.

Нѣсколько выдержекъ изъ писемъ Тургенева къ Герцену и другимъ лицамъ лучше всего могутъ дать понятіе о впечатлѣніи, производимомъ записками Герцена на современниковъ, и къ оцѣнкѣ такого знатока, какъ Тургеневъ, можно только присоединиться.

„Кончилъ я твои мемуары во второй части „Полярной Звѣзды“ (письмо Тург. 22 сентября 1856 г.). Это прелесть, и только остается сожалѣть о невѣрностяхъ въ языкѣ. Но ты непремѣнно продолжай эти разсказы: въ нихъ есть какая-то мужественная и безыскусственная правда, и сквозь печальные ихъ звуки прорывается, какъ бы нехотя, веселость и свѣжесть. Мнѣ все это чрезвычайно понравилось,—и я повторяю свою просьбу—непремѣнно продолжать ихъ, не стѣсняясь ничѣмъ.

„Странное дѣло. Въ Россіи я уговаривалъ старика Аксакова продолжать свои мемуары,—а здѣсь тебя. И его и твои мемуары—правдивая картина русской жизни, только на двухъ ея концахъ и съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія“. 17 декабря 1856 г. онъ же пишетъ: „Рѣшительно оказывается, что собственно твое призваніе—писать такого рода хроники“. Чрезъ много лѣтъ, уже по смерти Герцена, Тургеневъ писалъ однажды: „Всѣ эти дни я находился подъ впечатлѣніемъ той (рукописной) части „Былого и Думъ“ Герцена, въ которой онъ разсказываетъ исторію своей жены, ея смерть и т. д. Все это написано слезами, кровію: это—горитъ и жжетъ. Жаль, что напечатать это невозможно.

Такъ писать умѣлъ онъ одинъ изъ русскихъ“ (Перв. собр. писемъ И. С. Тургенева, стр. 281).

„Въ характеристикѣ людей, съ которыми онъ сталкивался, у него нѣтъ соперниковъ... Языкъ его, до безумія неправильный, приводитъ меня въ восторгъ: живое тѣло!“ (Письмо Анненкову по поводу „Посмертныхъ произведеній Герцена“).

Тургеневъ упрекалъ Герцена за такіе, напр., галлицизмы: „Что такое—есть организаціи, которымъ никогда не нужна опора, указка, которыя лучше всего идутъ, гдѣ нѣтъ рѣшетки“?

„Колѣнопреклоненно умоляю тебя: не употребляй слова: безразличный. Особенно въ одномъ мѣстѣ оно меня точно по щекѣ ударило“.

Между тѣмъ современный читатель уже не замѣчаетъ „безумныхъ неправильностей“. Слово „идутъ“ вмѣсто „развиваются“—чисто народное выраженіе: рожь идетъ въ трубку (даетъ стебель), растеніе идетъ, пошло,—принялось, развивается. Что касается „безразличный“—слово нынѣ совершенно укоренилось въ литературномъ языкѣ. Эти якобы галлицизмы придавали лишь особый ароматъ рѣчи Герцена, и Тургеневъ правъ въ общей оцѣнкѣ языка Герцена: онъ—„легокъ, быстръ, свѣтелъ и имѣетъ свою физіономію“.

Блескъ и свѣжесть красокъ, прелесть чарующей формы изложенія, конечно, теряются въ переводахъ, но „Былое и Думы“ и въ переводахъ (большею частью подъ редакціей самого Герцена) встрѣтили очень сочувственный пріемъ, и въ теплой оцѣнкѣ воспоминаній Герцена сошлись и англичане, и французы, и нѣмцы.

Кажется, совершенно единиченъ былъ отзывъ (о части, изданной подъ заглавіемъ „My exile in Siberia), появившійся въ газетѣ „The Morning Post“: приведя многочисленныя выдержки изъ книги, отозвавшись о значительной литературной цѣнности ея, рецензентъ все-таки высказывалъ убѣжденіе, что книга едва ли будетъ имѣть особый успѣхъ у англичанъ, которые „не любятъ той птицы, что въ свое гнѣздо гадитъ“: „Пусть бы Герценъ лучше другимъ предоставилъ дѣло обличеніе грѣховъ собственной родины“.—Въ большинствѣ же извѣстные намъ отзывы англійскихъ изданій *) носятъ болѣе или менѣе горячій сочувственный характеръ.

Такъ, газета „Times“ и журналъ „Athenaeum“ сравни-

*) Заимствуемъ ихъ изъ вырѣзокъ, хранящихся „въ комнатѣ сороковыхъ годовъ“ Румянцевскаго Музея. Онѣ относятся къ 1855 г.

ваютъ воспоминанія Герцена съ знаменитою книгою Сильвіо Пеллико: „Мои тюрьмы“, отдавая предпочтеніе Герцену предъ итальянскимъ писателемъ.

Консервативный „Times“ писалъ: „Это спокойный мыслитель; онъ опаснѣе декламатора. Онъ пишетъ въ духѣ нашихъ лучшихъ и наименѣе неистовыхъ либераловъ—въ духѣ людей, которые, обрушиваясь со всею силою противъ существующихъ формъ общества, чуждаются фанатизма и бурныхъ пошлостей чартистской школы.—Приглашаемъ нашихъ читателей познакомиться съ личностью и сочиненіями Герцена. Они поймутъ тогда, что существуетъ Россія—въ личностяхъ, интеллектуальная и моральная,—противъ которой мы никогда не пойдемъ войною. Эта Россія—зрѣлый плодъ нашего вѣка на Сѣверѣ Европы, и г. Герценъ—ея представитель... Въ его книгѣ соединена вся увлекательность романа и исторіи... Она раскрываетъ предъ нами лучше, нежели какой бы ни было другой авторъ общественную и оффиціальную жизнь Россіи“.

Журналъ „The Critic“ писалъ: „Высшія достоинства Герцена—его геніальный духъ человѣчности, вѣра и надежда, живущія въ немъ, искренность его стремленій къ благамъ, которыя должны быть реальны и всеобщими, благочестіе сердца и чистота цѣлей. Онъ больше славянинъ, чѣмъ москвичъ, и рѣдко приходилось читать намъ произведеніе, которое такъ способно было бы возбудить личный интересъ къ автору, какъ разсказъ Герцена объ его изгнаніи“.

Отзывъ о „Быломъ и Думахъ“ нѣмца Eckhardt'a, хотя близко знавшаго русскую жизнь, но чуждаго и ей, и боевымъ соціалистическимъ настроеніямъ Герцена, также даетъ понятіе, чѣмъ чаруютъ записки Герцена людей не русскаго развитія и склада. Экгардтъ восхищенъ искренностью автора, которая мимовольно увлекаетъ читателя, такъ что онъ вмѣстѣ съ нимъ, дѣйствительно, переживаетъ всѣ его испытанія и вмѣстѣ съ нимъ готовъ на вѣки вѣковъ проклясть мрачный николаевскій режимъ; столь же восхищаетъ иностранца объективность Герцена, съ какою онъ при случаѣ отдаетъ должное самымъ закоренѣлымъ и жестокимъ представителямъ ужасной системы управленія, и находитъ жестокостямъ психологическое объясненіе и оправданіе; критикъ, наконецъ, глубоко тронутъ, чувствуя, какъ ярая ненависть къ русскимъ порядкамъ идетъ рука объ руку со страстною любовью къ родинѣ, къ народу русскому. Онъ увлеченъ неслыханнымъ обиліемъ фигуръ и лицъ въ этихъ мемуарахъ, все новыхъ и новыхъ, при чемъ каждая изъ нихъ—законченный художественный портретъ. „Главное,—авторъ самъ—благородный, какъ чистое золото, характеръ, и съ

нимъ жаль разставаться, какъ ни мучительна эта необозримая перспектива мрачныхъ, безпросвѣтныхъ картинъ, изъ которыхъ сложилась его жизнь. Во всѣхъ отношеніяхъ эта автобіографія выше, напр., прославленныхъ Confessions Руссо, а по честности, хорошему вкусу и скромности разсказъ Герцена стоитъ далеко впереди".

Не менѣе восторженны отзывы и французовъ—Мишле, особенно В. Гюго:

„Ваши воспоминанія—это лѣтопись счастья, вѣры, высокаго ума и добродѣтели,—писалъ лично Герцену Викторъ Гюго.—Вы мастеръ мыслить и страдать—два высшихъ дара, какими можетъ быть надѣлена душа человѣка. Поздравляю васъ отъ глубины сердца... ваша книга восхищаетъ меня отъ начала до конца. Вы внушаете ненависть къ деспотизму, вы помогаете раздавить чудовище; въ васъ соединились смѣлый боецъ и мыслитель. Я съ вами". ...Въ другомъ письмѣ по поводу „Былого и Думъ" Гюго писалъ: „Благодарю васъ, наконецъ, особенно и за то, что вы—вы, краснорѣчивый и доблестный человѣкъ, служащій дѣлу народовъ, русскій, реабилитирующій Россію, писатель во имя прогресса и свободы, апостолъ—патріотъ и космополитъ".

Обиліе и единодушіе такихъ отзывовъ о капитальнѣйшемъ художественномъ произведеніи Герцена прекрасно освѣщаетъ все сказанное нами выше о видной роли его въ качествѣ писателя международнаго, содѣйствовавшаго своимъ словомъ и душевною исповѣдью, сближенію русской и западно-европейскихъ литературъ и общественнаго мнѣнія Россіи и Запада.

Переходимъ къ другому не менѣе важному дѣлу Герцена въ Лондонѣ,—къ созданію первой русской свободной типографіи.

VII.

Вольная русская типографія.—Восточная война.

„Былое и Думы“—одни воспоминанія и воспоминанія—не могли, конечно, дать полнаго выхода стремленіямъ Герцена къ живой, захватывающей работѣ. Одно время его занялъ было проектъ международнаго на трехъ языкахъ обозрѣнія. Но его желанію установить тѣсную связь съ родиной, поработать для ея освобожденія, едва ли могъ бы удовлетворить этотъ планъ, оставшійся не осуществленнымъ *).

Между тѣмъ, въ Лондонѣ уже совсѣмъ не было русскихъ, кромѣ Энгельсоновъ. „Проходили недѣли, мѣсяцы. Ни звука русскаго, ни русскаго лица. Писемъ ко мнѣ никто не писалъ“...

„Невольная сила влекла меня домой. Были минуты, въ которыя я раскаивался, что отрѣзалъ себѣ пути возвращенія, возвращенія въ эту Сибирь, въ этотъ острогъ, предъ которымъ . . . . . .

. . . . . .

Какъ омуты и глубокія воды тянутъ человѣка темной ночью въ неизвѣстную глубь—тянуло меня въ Россію“ („Десятилѣтіе вольной русской типографіи“).

Если въ Лондонѣ не было русскихъ, то были сородичи по славянскому родству, поляки. Здѣсь еще съ возстанія 1830 года осѣла довольно обширная группа польской эмиграціи. Съ поляками Герценъ былъ нѣсколько близокъ еще въ Парижѣ, чрезъ Бакунина и Сазонова. Въ Лондонѣ онъ былъ принятъ польскою демократическою группою, почти какъ свой человѣкъ. Во главѣ ея стоялъ графъ Станиславъ

*) См. „Владиміръ Энгельсонъ и его письма къ А. И. Герцену“ („Освобожденіе“, Штутгартъ, № 1). Эта статья была потомъ, безъ разрѣшенія автора (М. О. Гершензона), перепечатана въ журналѣ „Всемірный Вѣстникъ“, № 1 за 1907 г.

Ворцель, человѣкъ, къ которому Герценъ сильно привязался и лично. Въ немъ Герценъ не находилъ той исключительности въ нерасположеніи ко всякому русскому, черта которой затрудняла близость съ большинствомъ поляковъ-эмигрантовъ. Ворцель былъ цѣлою головою выше окружавшаго его хора земляковъ, погруженныхъ, внѣ исканія заработка, въ мелкіе партійные и личные счеты и дрязги. „Это была,— пишетъ Герценъ,—одна изъ тѣхъ цѣльныхъ, я скажу, фанатическихъ натуръ, проникнутыхъ одной великой мыслью, имѣющихъ одну великую цѣль, и равно дошедшихъ до великой сердечной кротости и до совершенно непреклонной воли... по дорогѣ нищета, одиночество, измѣны, плачъ слабыхъ, крикъ остальныхъ, смерть близкихъ, цѣпи, висѣлица— не сворачивать же за этимъ съ дороги? Нѣтъ, тотъ же спокойный, строгій, постоянный шагъ. Таковъ былъ Ворцель, и таковъ ближайшій другъ его, человѣкъ, котораго онъ страстно любилъ—Іосифъ Маццини".

Очевидно, не безъ участія Ворцеля, „польская демократическая централизація" приняла на себя новое изданіе книги Герцена: „Du developpement des idées rivolutionnaires en Russie". Изданіе было посвящено: „A notre ami Michel Bakounine", и въ предисловіи Герценъ говорилъ, что придаетъ исключительное значеніе „новому публичному свидѣтельству братскаго союза революціонной Польши съ русскими революціонерами".

Съ Ворцелемъ же первымъ заговорилъ Герценъ и о своемъ планѣ создать въ Лондонѣ русскую типографію, какъ органъ свободной русской рѣчи. Ворцель съ воодушевленіемъ встрѣтилъ этотъ проектъ, больной—встрепенулся, схватилъ бумагу и карандашъ, началъ дѣлать расчеты, и пр. Онъ познакомилъ Герцена съ печатникомъ, полякомъ—Чернецкимъ, который принялъ на себя непосредственное веденіе дѣла, отыскалъ заказы, и первый русскій свободный станокъ за границей—пошелъ въ ходъ.

21 февраля 1853 года было выпущено объявленіе подъ названіемъ: „Братьямъ на Руси". „Отчего мы молчимъ?— спрашиваетъ здѣсь Герценъ. — Открытая, вольная рѣчь великое дѣло: безъ вольной рѣчи — нѣтъ вольнаго человѣка". Герценъ приглашаетъ „братьевъ на Руси" принять помощь польскихъ демократовъ, готовыхъ бороться „за ихъ и нашу вольность", и проситъ присылать къ нему въ Лондонъ все, написанное въ духѣ свободы, отъ научныхъ и фактическихъ статей по части статистики и исторіи до романовъ, повѣстей и стихотвореній. „Если у васъ нѣтъ ничего готоваго своего, пришлите ходящія по рукамъ запрещенныя стихотворенія Пушкина, Рылѣева, Лермонтова, Полежаева, Пече-

рина и др. Приглашеніе наше столько же относится къ панславистамъ, какъ ко всѣмъ свободно мыслящимъ русскимъ".

„Съ перваго мая 1853 года типографія будетъ открыта. Быть вашимъ органомъ, вашей свободной безцензурной рѣчью—вся моя цѣль.

„Не столько новаго, своего хочу я вамъ разсказывать, сколько воспользоваться моимъ положеніемъ для того, чтобы вашимъ невысказаннымъ мыслямъ, вашимъ затаеннымъ стремленіямъ дать гласность, передать ихъ братьямъ и друзьямъ, потерянным въ нѣмой дали русскаго царства.

„Вы любили нѣкогда мои писанія... Встрѣтьте же меня, какъ друзья юности встрѣчаютъ воина, возвращающагося изъ службы, состарѣвшагося, израненнаго, но который честно сохранилъ свое знамя и въ плѣну и на чужбинѣ — и съ прежней безпредѣльной любовью подаетъ вамъ руку на старый союзъ нашъ, во имя *Русской и Польской свободы*".

Прошло, однако, не мало времени, прежде чѣмъ этотъ призывъ нашелъ себѣ откликъ.

Первые листки лондонской вольной русской типографіи появились весною этого же года,—это были: „Юрьевъ день! Юрьевъ день!" и „Поляки прощаютъ насъ".

Первый изъ этихъ листковъ весь посвященъ вопросу о крѣпостномъ правѣ. Необходимость и неизбѣжность отмѣны его Герценъ и ранѣе подчеркивалъ, и отнынѣ не перестаетъ твердить о томъ же.

Второй листокъ (не вошедшій въ собранія сочиненій Герцена) былъ со стороны его открытымъ заявленіемъ и признаніемъ правъ польскаго народа на самостоятельность. Обозрѣвъ печальную судьбу польскаго народа въ теченіе XIX вѣка, Герценъ все-таки высказываетъ убѣжденіе, что „сквозь мрачный рядъ событій, сквозь дымящуюся кровь, черезъ висѣлицы, черезъ головы .... и палачей просвѣчиваетъ иной день. Изъ-за насильственнаго единства, видиѣется единство свободное, изъ-за единства, поглощающаго Польшу Россіей,—единство, основанное на признаніи равенства и самобытности обѣихъ, изъ-за соединенія (оффиціальнаго) соединеніе народное. Скованные поневолѣ колодники, всматриваясь болѣе и болѣе, узнали другъ въ другѣ братьевъ; та же кровь сказалась, и семейная вражда изсякаетъ".

Говоря объ историческихъ судьбахъ Польши, Герценъ замѣчаетъ: „Польша утратила на время нераздѣльную цѣлость, государственное значеніе, въ искупленіе своего отчужденія, своего западнаго аристократизма, своей преданности папежу.—Ей надобно было, волей или неволей, снова сблизиться съ славянскимъ міромъ, вспомнить свое славянское начало".

Начало такого сближенія со славянствомъ, именно съ Россіей, Герценъ видитъ со стороны демократической Польши. „Для нея, та Польша, которая ненавидѣла Россію, о которой мечтали ея олигархи и ея полководцы, становится также чужда, какъ петербургская Русь". Герценъ вспоминаетъ о русскихъ декабристахъ, о Мицкевичѣ, говорившемъ о великомъ всеславянскомъ единствѣ, которое должно покрыть частную вражду Польши и Россіи, о Бакунинѣ. Герцену казалось, что теперь поляки демократы жертвуютъ всякою *ненавистью*. „Пока міръ тщетно ждетъ царской амнистіи полякамъ, Польша даетъ амнистію народу русскому. Еще болѣе. Она въ лицѣ своихъ демократическихъ вожатаевъ протягиваетъ вамъ свою руку"... „Соединитесь съ поляками въ общую борьбу „за нашу и ихъ вольность" и грѣхъ Россіи искупится и не напрасно пропадетъ наше 14 декабря, и мы съ гордостью и умиленіемъ скажемъ когда-нибудь міру: — *„Польша не сгинула бы и безъ насъ,—но и мы облегчили ей тяжкую борьбу"*.

Впослѣдствіи, какъ намъ придется еще говорить, сближеніе Герцена съ поляками имѣло для его дѣятельности большее значеніе. Пока союзъ заключался лишь въ самой неопредѣленной общей формѣ, и не было мѣста позднѣйшимъ взаимнымъ недоразумѣніямъ. И Ворцель безъ тѣни лукавства протягивалъ Герцену руку помощи. Русская типографія сначала была соединена съ польскою, а сбытъ первыхъ ея листовъ происходилъ чрезъ Польшу, при помощи польскихъ организацій, какъ въ Польшѣ, такъ и въ самой Россіи.

„— Боже мой, Боже мой!—говорилъ Ворцель, держа въ рукѣ первый корректурный листъ.—Вольная Русская типографія въ Лондонѣ... Сколько дурныхъ воспоминаній стираетъ съ моей души этотъ клочекъ бумаги, замаранный голландскою сажей!

„— Намъ надобно идти вмѣстѣ,—повторялъ онъ часто потомъ,—намъ одна дорога и одно дѣло...—и онъ клалъ исхудалую руку свою на мое плечо".

Какъ въ общемъ долею дѣлъ международной демократіи, въ распространеніи этихъ первыхъ изданій Герцена приняли участіе также и Кошутъ, и Мадцини, и часть изданій была направлена при ихъ помощи чрезъ Константинополь и Бѣлградъ („Былое", 1907, май, 215).

Между тѣмъ обострился восточный вопросъ. Россія заняла дунайскія княжества, грозила война. Въ кругахъ эмиграціи волновались надеждами. Большая война, думали здѣсь, снова подыметъ всюду революціонные элементы, снова воззоветъ къ свободѣ порабощенные народы. Польская эмиграція воспользовалась годовщиною польскаго возстанія 1830

(29 нояб.) для большой демонстраціи, при участіи объединенныхъ эмигрантовъ всѣхъ странъ. Демонстрація состоялась въ залахъ Ганноверскаго сквера, въ Лондонѣ. Предсѣдательствовалъ Ворцель. Польша, Венгрія, Италія, Франція, Германія, Англія были представлены болѣе или менѣе извѣстными ораторами. Въ качествѣ „случайнаго“ — какъ онъ самъ и здѣсь подчеркнулъ — представителя Россіи явился Герценъ, въ рѣчи на французскомъ языкѣ изложившій только что приведенный нами взглядъ его на единство интересовъ демократическихъ Польши и Россіи. Рѣчь имѣла шумный успѣхъ. Въ значительной части она была яркою и мѣткою характеристикою и критикою политики Николая, и была закончена лозунгомъ: „Да здравствуетъ независимая Польша и Свободная Россія“. Ворцель при громѣ рукоплесканій обнялъ Герцена по окончаніи рѣчи и со слезами поцѣловалъ. Это выступленіе Герцена въ качествѣ представителя Россіи на польскомъ митингѣ, какъ и первые листы вольной русской типографіи—снова обратили на Герцена замѣтное вниманіе въ демократическихъ кругахъ Европы, но самъ онъ справедливо не былъ доволенъ этими первыми шагами.

„Многое въ нихъ незрѣло, — писалъ онъ чрезъ десять лѣтъ про первыя изданія свои, — на всемъ лежитъ печать иного времени, суровая тѣнь Николая отбрасывается на каждую страницу, затемняя всякую мысль, раздражая до ненависти каждое чувство, сквозя черной подкладкой изъ-подъ каждой надежды“.

Какъ бы ни было, русскимъ станкомъ Герценъ, въ самомъ дѣлѣ, „возвращался на родину“, хотя много еще нужно было выждать до настоящаго значенія и вліянія. Интересно, что предпріятіе Герцена въ самомъ началѣ правильно оцѣнилъ не кто-либо изъ земляковъ его, для которыхъ оно было слишкомъ смѣло и трудно, но иностранецъ, престарѣлый нѣмецкій публицистъ Варнгагенъ фонъ Энзе, всегда живо интересовавшійся Россіей, цѣнившій новую русскую литературу, въ частности особенно Пушкина. „Дѣло это можетъ имѣть большое значеніе,—проницательно записалъ онъ въ своемъ дневникѣ (отзывъ этотъ вѣроятно оставался неизвѣстенъ Герцену).—Конечно, русскій императоръ приметъ всѣ мѣры недопускать въ предѣлы своей имперіи подобныя изданія. Онъ будетъ подвергать жесточайшимъ карамъ распространителей ихъ, такъ же какъ владѣльцевъ и читателей, но всей его мощи не хватитъ, чтобъ уничтожить силу этой прессы. Много выиграно уже просто тѣмъ, что подобныя книги станутъ проникать до самой русской границы, будутъ читаться выѣзжающими за границу русскими и другими славянами. Сколько пользы принесли французской ли-

тературѣ XVII и XVIII вѣковъ заграничныя печатни въ Женевѣ, Гаагѣ и т. д!"

Долго Герценъ напрасно старался распространять воззваніе „Братьямъ на Русь", напрасно писалъ друзьямъ ободряющія письма: „Будущаго нѣтъ, оно дѣлается людьми, и если мы будемъ продолжать жить молча въ нашемъ захолустьи, можетъ изъ Россіи въ самомъ дѣлѣ выйдетъ avortement. Тутъ-то и является наше дѣло, наше призваніе". На воззваніе не было отклика.

„Три года мы печатали, — вспоминаетъ Герценъ, — не только не продавъ ни одного экземпляра, но не имѣя возможности почти ни одного экземпляра послать въ Россію, кромѣ первыхъ летучихъ листовъ, отправленныхъ Ворцелемъ и его друзьями въ Варшаву,—все печатанное нами лежало у насъ на рукахъ или въ книжныхъ подвалахъ благочестиваго Paternoster Row.

„Мы не уныли съ вами (съ Чернецкимъ)... и печатали себѣ да печатали...

„Книгопродавецъ съ Berner Street, какъ-то прислалъ купить на 10 шиллинговъ „Крещеной собственности", я это принялъ за успѣхъ, подарилъ его мальчику шиллингъ на водку и съ нѣсколько буржуазной радостью отложилъ въ особое мѣсто этотъ *первый* гафсовренъ, выработанный русской типографіей" („Десятилѣтіе вольной русской типографіи").

Въ это глухое время посѣтилъ Герцена въ Лондонѣ, осенью 1853 г., одинъ только обломокъ былой московской жизни 40-хъ годовъ, М. С. Щепкинъ. Его пріѣздъ былъ для Герцена чѣмъ-то въ родѣ родительской субботы, настроеніе обоихъ было похоронное. На другой день послѣ восторженно радостной встрѣчи, разговоръ склонился на типографію, и Щепкинъ сталъ говорить о тяжеломъ чувствѣ, съ которымъ въ Москвѣ была принята сначала эмиграція Герцена, потомъ брошюра: „О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи" и наконецъ лондонская типографія.

„— Какая можетъ быть польза отъ вашего печатанія?— вы сгубите бездну народа, сгубите вашихъ друзей... говорилъ Щепкинъ.—Я сталъ бы на свои старыя колѣни передъ тобой, сталъ бы просить тебя остановиться, пока есть время.

„Мнѣ было безконечно грустно,—вспоминаетъ Герценъ,— я старался скрыть боль, которую производили на меня эти слова, жалѣя старика, у котораго были слезы на глазахъ. Онъ продолжалъ развивать заманчивую картину счастья въ Россіи, но видя, что я не отвѣчаю, спросилъ:—Не такъ ли, Александръ Ивановичъ?

„— Не такъ, Михаилъ Семеновичъ! Я знаю, что вы меня любите и желаете мнѣ добра. Мнѣ больно васъ огорчить, но обманывать я васъ не могу...

„Онъ уѣхалъ; но неудачное посольство его все еще бродило въ немъ, и онъ, любя сильно, сильно сердился и, выѣзжая изъ Парижа, прислалъ мнѣ грозное письмо. Я прочиталъ его съ той же любовью, съ которой бросился ему на шею въ Фокстонѣ, и — пошелъ своей дорогой...“

Между тѣмъ надвигавшаяся война Европы противъ Россіи способна была только усилить тягости и терніи этой дороги. Извѣстно, что самое имя русскаго—по мѣрѣ новыхъ и новыхъ вмѣшательствъ Россіи въ европейскія дѣла въ роли жандарма — становилось на Западѣ ненавистнымъ. Герцену приходилось на себѣ испытывать это, и теперь онъ тѣмъ настойчивѣе подчеркиваетъ въ своихъ выступленіяхъ предъ Западомъ что онъ русскій, и противопоставляетъ сознательно и рѣзко Россію возникающую, Россію будущаго, народную Русь—Россіи оффиціальной.

Таковы были письма Герцена къ редактору радикальнаго англійскаго журнала „The English republic“ В. Линтону (2-го янв., 17 и 20 февр. 1854 г.), подъ заглавіемъ: „Старый міръ и Россія“. Сначала Герценъ былъ увѣренъ въ побѣдѣ Россіи, но отъ побѣды ея ждалъ совсѣмъ неожиданныхъ послѣдствій. Еще въ 1849 г., въ письмѣ къ Мацини, онъ предвидѣлъ возможность Восточной войны и захвата русскими Константинополя и готовъ былъ привѣтствовать этотъ исходъ, потому что занятіе Константинополя было бы послѣднимъ усиліемъ, послѣднимъ порывомъ угасающей власти императорства. „По возвращеніи домой императорскій орелъ сгинетъ. Занятіе Константинополя было бы началомъ новой Россіи, это было бы началомъ славянской демократической и соціальной федераціи“. Такъ и теперь Герценъ находилъ, что Константинополь необходимъ Николаю „для того, чтобъ отвести глаза русскаго народа на Востокъ; онъ ему необходимъ, чтобы усилить усердіе православной церкви; наконецъ, онъ ему необходимъ инстинктивно, потому что, несмотря на все, Николай—орудіе судьбы. Онъ безсознательно приводитъ въ исполненіе внутреннія виды исторіи... Время славянскаго міра настало. *Таборитъ*, общинный человѣкъ, тревожно раскрываетъ глаза, соціализмъ, что ли его пробудилъ?... Настоящая столица соединенныхъ славянъ—Константинополь... Во всякомъ случаѣ война эта — introduzione maestosa e marziale міра славянскаго въ всеобщую исторію и съ тѣмъ вмѣстѣ una marcia funebre стараго свѣта“.

Эти гаданія Герцена навлекли на него „сильныя гоненія

отъ англійскихъ и особенно отъ нѣмецкихъ журналистовъ... *). Они появились во время повальной ненависти къ Россіи и ничѣмъ неудержимаго воинскаго героизма союзниковъ вообще и въ особенности нѣмцевъ". Однако, та сущность писемъ, что во всякомъ случаѣ, послѣ войны предстоитъ Россіи новая эра развитія, оправдалась, хотя и совершенно не такъ, какъ казалось Герцену.

Но до конца войны приходилось вооружиться терпѣніемъ. Типографіи, въ сущности, было нечего дѣлать. Совмѣстныя дѣйствія Россіи, Австріи и Пруссіи поддерживали въ Польшѣ безнадежную тишь. Въ самой Россіи всѣ интересы были обращены къ внѣшней политикѣ и войнѣ. Голосъ оппозиціи—Грановскій съ друзьями и др.—замеръ совершенно, и она, не исключая славянофиловъ, переживала мучительный разладъ, острое чувство страданія за общія бѣдствія, тяжелѣе всего обрушенныя на народъ, съ сознаніемъ, что только тяжелое пораженіе и униженіе могутъ быть урокомъ правительству. Немногіе листки герценовской типографіи этого времени не могли, конечно, играть никакой дѣйствительной роли **).

---

*) Въ литературѣ о Герценѣ, эти „гоненія", какъ и полемика съ книгою „Съ того берега", совершенно не приведены въ извѣстность.

**) Составленныя В. Энгельсономъ „Видѣнія св. отца Кондратія" могутъ служить любопытнымъ примѣромъ наивныхъ и фальшивыхъ пріемовъ пропаганды въ народѣ, которые считали возможнымъ пускать въ ту пору въ ходъ. Вотъ выдержки изъ „видѣній". Изъ перваго: „И тако идетъ нынѣ царь Николай единъ съ своимъ богоотступнымъ народомъ противу всѣхъ царей и народовъ Моихъ, чтобы распять Турку, яко онъ уже распялъ Польшу. Но Азъ вся подыму противъ нечестивыхъ и буду Азъ гнѣвенъ на Россійстій народъ, дондеже онъ не престанетъ давать рекруты и деньги царю своему богохульному на удручение иноплеменныхъ и не изгонитъ Николая изъ земли Россійстія. Въ моемъ бо царствіи нѣсть ни Еллинъ, ни Еврей, ни Турка"... Изъ второго видѣнія: „И узрѣлъ я, какъ принесли невиданнаго великана. И кто-то рекъ за мной: „Се Голіаѳъ!" Его воздвигнули. И страхомъ объятъ былъ я грѣшный. Я узрѣлъ въ чудовищѣ царя! Царя нашего Николая! На плечахъ эполеты, чрезъ плечо лента, глаза на выкатѣ.—Затѣмъ веселой легкой поступью (якобы плясалъ онъ предъ ковчегомъ) въ эпшунѣ, накинутомъ на плечи, рукава на отлетѣ, явился парень молодой. И кто-то рекъ за мной:—„Давидъ!"—Далѣе видѣніе изображаетъ единоборство, Голіаѳъ падаетъ. „Тогда псалмопѣвецъ приблизился ко мнѣ. Молча указалъ онъ мнѣ на страшный ростъ Голіаѳа и на свой низменный, удалый. Потомъ онъ мигнулъ мнѣ въ ту сторону, гдѣ Петербургъ, и внятно произнесъ: „Не бось!"—И все исчезло предо мною. И видѣнію моему бѣ конецъ. Имущіе уши да внемутъ".

Къ чести Герцена необходимо сказать, что онъ лично никогда не участвовалъ въ подобныхъ даже неумныхъ поддѣлкахъ подъ „народность", и не былъ сполна отвѣтственъ за все, что выхо-

Точно также Герценъ не могъ, конечно, носиться съ такими фантазіями, какъ сумасбродный проектъ Энгельсона распустить по Россіи воздушные шары, раскидывающіе прокламаціи съ призывомъ къ возстанію; съ этимъ проектомъ онъ обращался даже къ Наполеону. Герценъ не вѣрилъ въ возстаніе, и предостерегалъ отъ попытокъ въ этомъ направленіи *). Уступая, однако, повидимому, давленію со стороны польской организаціи, онъ выпускаетъ листокъ: „Вольная русская община въ Лондонѣ Русскому воинству въ Польшѣ", приглашающій русскихъ, въ случаѣ движенія въ Польшѣ, не поднимать противъ поляковъ оружія.

Нѣсколько словъ изъ этой прокламаціи заслуживаютъ, однако, быть приведенными, это — выраженіе той силы и страсти, которая расходовалась почти безплодно въ этой, въ пространство направленной, агитаціи:

„Нашими устами говоритъ Русь нарождающаяся, Русь вольная, юная, живая, скрывающаяся дома, но гласная въ изгнаніи.

„Нашими устами говоритъ Русь мучениковъ, Русь рудниковъ, Сибири и казематовъ, Русь Пестеля и Муравьева, Рылѣева и Бестужева.

„Нами говоритъ ненависть за все выстраданное вами, мы—вашъ крикъ боли, начало вашей мести.

„Рѣчь наша полна жгучаго и горькаго яда отъ долгихъ лѣтъ нѣмого страданія; все мучившее насъ съ дѣтскихъ лѣтъ, все оскорблявшее, унижавшее насъ, взошло въ наше слово... въ немъ остался и плачъ женщинъ, обезчещенныхъ своими помѣщиками, и стонъ засѣченныхъ стариковъ, и звукъ цѣпей, въ которыхъ шли въ Сибирь наши лучшіе пѣвцы, наши лучшіе друзья.

„Слово наше—*зовъ*, это—дальній благовѣстъ, возвѣщающій вамъ, что заутреня народнаго воскресенія начинается и для Руси".

Насколько все это еще было далеко отъ возможности

дило изъ типографіи, считая, что обязанъ предоставлять услуги ея всѣмъ оппозиціоннымъ выраженіямъ общественнаго мнѣнія.

*) Въ „комнатѣ сороковыхъ годовъ" Румянцевскаго музея хранится вырѣзка изъ „Daily News" со статьею, приписываемою Герцену, за подписью „A cosmopolitan traveller". Авторъ разсказываетъ о посѣщеніи имъ въ Плимутѣ русскихъ солдатъ, взятыхъ англичанами въ плѣнъ на Бомарзундѣ. Разсказъ, кромѣ нѣкоторыхъ любопытныхъ бытовыхъ чертъ, содержитъ мысль, что союзники могли бы воспользоваться изъ числа этихъ плѣнниковъ—поляками, финляндцами и евреями—въ качествѣ добровольцевъ для войны съ Россіей, на что нѣкоторые сами-де напрашиваются, видя въ этой войнѣ—войну противъ Николая.—Дѣйствительно ли принадлежитъ эта статья Герцену, а напр., не Энгельсону или Головину—не знаемъ.

дѣйствительнаго отклика изъ Россіи, видно даже изъ предсмертнаго письма Грановскаго, который о первыхъ изданіяхъ герценовской типографіи отзывался очень неодобрительно; по поводу разсказовъ о Герценѣ Пикулина, прогостившаго у Герцена двѣ недѣли, онъ писалъ Кавелину 2 октября 1855 г. „Утѣшительнаго и хорошаго мало. Личность осталась та же нестарѣющая, горячая, благородная, остроумная, но дѣятельность ничтожная и пониманіе вещей самое дѣтское. Для изданія такихъ мелочей не стоило заводить типографію. Сотрудники у него настоящіе ослы, не знающіе ни Россіи, ни русскаго языка. Если бы эти жалкія произведенія и проникли къ намъ, то конечно, не вызвали бы ничего, кромѣ смѣха и досады. Его собственныя статьи напоминаютъ его остроумными выходками и сближеніями, но лишены всякаго серьезнаго значенія. И что за охота пришла человѣку разыгрывать передъ Европою роль московскаго славянофила, клеветать на Петра Великаго и увѣрять французскихъ réfugiés въ существованіи сильной либеральной партіи въ Россіи“.

Подводя итогъ этому періоду первой дѣятельности Герцена можно указать на ея слабость, именно въ виду—отвлеченности ея, отсутствія почвы подъ ногами. И отсюда глубоко трагическія ноты, онѣ слышны и въ замѣчательной рѣчи Герцена, произнесенной имъ на митингѣ 26 февраля 1855 года.

Митингъ былъ устроенъ въ честь годовщины февральской революціи англійскими радикалами и выходцами-революціонерами разныхъ странъ. Герценъ былъ приглашенъ къ участію въ митингѣ въ качествѣ представителя Россіи, но его выступленію предшествовалъ небольшой эпизодъ, содѣйствовавшій, впрочемъ, успѣху Герцена. Русскій эмигрантъ Головинъ, совершенно вздорный человѣкъ и бездарный писатель, отъ нелѣпостей и назойливости котораго Герценъ не зналъ какъ отдѣлаться, предъ митингомъ напечаталъ въ одной газетѣ, предупрежденіе международному комитету, о томъ, что Герценъ „не русскій, а нѣмецкій жидъ, родившійся въ Россіи, — раса, находящаяся подъ особымъ покровительствомъ Николая“. Герценъ сообщилъ комитету, что Головинъ прекрасно знаетъ его происхожденіе и лжетъ: „Да и къ тому же,—прибавилъ Герценъ,—еврейское происхожденіе врядъ ли могло бы служить препятствіемъ, взявъ во вниманіе, что первые изгнанники послѣ сотворенія міра были евреи, именно Адамъ и Ева“. Комитетъ расхохотался и напечаталъ въ газетахъ отъ своего имени протестъ противъ выходки Головина, указывая права Герцена считаться представителемъ демократической Россіи („Былое“, 1907,

май, неизданная глава изъ „Былого и Думъ“: „Иванъ Головинъ“).

Митингъ, или какъ онъ названъ въ брошюрѣ вольной русской типографіи, „народный сходъ“ происходилъ въ кварталѣ Long Acre, въ Сенъ-Мартинсъ-Голлѣ (St. Martins Hall) и привлекъ нѣсколько тысячъ человѣкъ *). Предсѣдательствовалъ на митингѣ глава англійской радикальной рабочей партіи, чартистъ Эрнестъ Джонсъ. На эстрадѣ его окружили члены распорядительнаго комитета, большею частью англичане и поляки; въ этомъ президіумѣ былъ и Герценъ. Послѣ вступительной рѣчи и чтенія привѣтственныхъ писемъ Барбеса, Гюго, Свентославскаго, Ворцеля, Саффи и др. и рѣчи англійскаго работника Финлена, выступилъ Герценъ, встрѣченный восторженною овацією.

Герценъ говорилъ (на французскомъ языкѣ) о правѣ русскихъ быть услышанными, не смотря на разгаръ войны противъ нихъ, на митингѣ въ память революціи, несшей освобожденіе народамъ. Онъ оговаривается, что не имѣетъ никакого уполномочія отъ русскихъ выходцевъ. „Они не составляютъ сомкнутаго общества. Полномочіе говорить во имя Россіи—вся моя жизнь, моя привязанность къ русскому народу, моя ненависть къ . . . .“.

Онъ говорилъ далѣе о нападкахъ лично на него. „Мнѣ стали ставить въ укоръ любовь мою къ славянамъ, мою вѣру въ величіе ихъ будущности, наконецъ самую мою дѣятельность. Обвинительныя статьи на меня два раза переплывали черезъ океанъ, другія удостоились чести быть воспроизведенными „Монитеромъ“. И Герценъ энергично отстаиваетъ свое право независимаго суда надъ всѣмъ отживающимъ въ Европѣ.

„Дѣло въ томъ, что русскій, при выходѣ изъ своего острога, летитъ въ Европу полный вѣры, полный надеждъ... и находитъ повсюду другія изданія (того же) самовластія, безконечныя варіаціи на тему „Николай“ (*Браво*). И онъ осмѣливается это высказывать... вотъ въ чемъ бѣда!

„Намъ, очевидцамъ іюньскихъ дней и всего ряда злодѣйствъ, совершенныхъ торжествующими правительствами въ Европѣ,—злодѣйствъ, которыя превзошли все, что могъ

*) Въ пригласительныхъ на митингъ афишкахъ перечислены въ числѣ гостей слѣдующія лица: французы Л. Бланъ, В. Гюго, Барбесъ, Феликсъ Піа, Ледрю Ролленъ, Распайль, Эженъ Сю, Пьеръ Леру; нѣмцы—Кинкель, Марксъ, Ронге, Шапперъ; итальянцы—Пьянчани, Саффи, Маццини, Телеки; венгерецъ—Кошутъ; поляки—Ворцель, Зено-Свентославскій, русскій—Герценъ;—англичане—В. Конингемъ, Финленъ, Куперъ, Мейнъ Ридъ, І. Билль, Джеромъ Моссе.

бы вообразить самый мрачный предсказатель—намъ, намъ ставятъ въ укоръ наши слезы, стонъ боли, вырывающейся изъ нашей груди... Насъ упрекаютъ въ томъ, что на нашихъ губахъ одни горькія слова, одни проклятія... когда въ груди кипитъ злоба, а въ умѣ одно сомнѣніе!

„Что же слѣдовало?—молчать, скрывать?! Зачѣмъ же это намъ льстить этому старому міру, міру битой колеи и насилій, который насъ первыхъ раздавитъ, который громоздитъ трупы прошедшаго, чтобы загородить дорогу будущему... (Продолжительное рукоплесканіе). Положимъ, что наши мнѣнія преувеличены; положимъ, что они ложны; но съ чего берутъ себѣ право подозрѣвать ихъ искренность?“

Отвертываясь отъ междоусобицъ правителей государствъ и журналистовъ, Герценъ посвящаетъ свою рѣчь блестящей характеристикѣ неизвѣстнаго Европѣ освободительнаго движенія въ Россіи. Отмѣтивъ мимоходомъ независимость Польши, какъ историческую необходимость и самую страшную угрозу русскому императорству, Герценъ набрасываетъ нѣсколько яркихъ картинъ изъ движенія декабристовъ, характеризуетъ Пестеля и другіе монументальные образы декабристовъ, какъ начало революціоннаго движенія, которому принадлежитъ будущее. Отъ умственнаго движенія въ русскомъ обществѣ, онъ обращается къ народу, характеризуетъ устойчивое начало сельской общины, недостатокъ которой въ отсутствіи развитого личнаго начала („Русскій крестьянинъ вѣчно остается малолѣтнимъ; онъ никогда не самостоятеленъ... Лицо поглощается міромъ. Согласовать личную свободу съ міромъ, тутъ вся задача соціализма“). Но „есть законъ судебъ, по которому сами властелины вызываютъ народъ къ возстаніямъ“. Крѣпостное право создало почву для революціи. „Воля Россіи начнется съ возстанія крѣпостныхъ или съ ихъ освобожденія“. При томъ крестьянство думаетъ объ освобожденіи не иначе, какъ съ землею. Между крестьяниномъ, вѣрящимъ, что земля принадлежитъ міру, и молодымъ дворянствомъ, не вѣрящимъ въ свое право владѣнія, нѣтъ ничего кромѣ грубой власти, мертвящей привычки, безсмысленнаго невѣжества“... Петербургское императорство—неограниченная диктатура и больше ничего. „Въ какой бы видъ (власть) ни облеклась—представляй она изъ себя папу восточнаго, фельдфебеля прусскаго, хана татарскаго, она все-таки не что иное, какъ представитель грубой силы и уже минующей исторической необходимости“. Тѣмъ не менѣе отсутствіе косности, застоя, застывшихъ общественныхъ формъ, отсутствіе католицизма, римскаго права и господства мѣщанъ (буржуазіи) весьма облегчаютъ возможность въ Россіи плодотворнаго общественнаго разви-

тія. „Нѣтъ у насъ ничего общаго ни съ старой Россіей, ни съ старымъ міромъ. У насъ ничего нѣтъ, да есть отвага—надежды! Мы ничего не сдѣлали. Тѣмъ лучше! Тѣмъ больше остается дѣла для насъ". И Герценъ заканчиваетъ рѣчь при непрерывныхъ рукоплесканіяхъ, сопровождающихъ каждую заключительную фразу о единствѣ революціоннаго движенія разныхъ народовъ. „Все содѣйствуетъ революціи—ибо все содѣйствуетъ будущему! Оставимъ же мертвыхъ хоронить мертвымъ! Давно забытыя надежды снова возникаютъ.—Борьба ихъ (властителей) между собою принесетъ намъ пользу; они не подозрѣваютъ, что побѣждаютъ для насъ. Царства и (властители) пройдутъ, но соціализмъ не пройдетъ. Развѣ вы не узнаете—это юный наслѣдникъ отходящаго старца!"

Герценъ возвратился на свое мѣсто среди оглушительныхъ рукоплесканій. Молодая англичанка взошла на эстраду и поднесла ему букетъ цвѣтовъ со словами: „Русскому гражданину отъ англійскихъ сестеръ". Овація снова возобновились.

Дороже шуму и кликовъ были, можетъ быть, Герцену нѣкоторые отзывы о его рѣчи, напр. Т. Карлейля, съ которымъ они познакомились въ 1853 году. Знаменитый авторъ „Sartor Resartus", своеобразный и оригинальный мыслитель, и въ другихъ умѣлъ цѣнить подлинную оригинальность мысли и искренность. „Я прочелъ вашу рѣчь о революціонныхъ началахъ и элементахъ въ Россіи,—писалъ Карлейль;—много въ ней мощнаго духа и сильнаго таланта, она особенно поражаетъ трагической серьезностью тона, котораго нѣльзя не видѣть и нельзя легко принять читателю, какого бы онъ ни былъ мнѣнія о вашей программѣ и о вашемъ пророчествѣ Россіи и міру" („Пол. Зв." на 1859 г.).

Митингъ въ годовщину польскаго возстанія и этотъ митингъ въ память французской революціи 1848 г. были единственными, гдѣ Герценъ выступалъ публично въ качествѣ оратора. Свободно владѣя перомъ, онъ затруднялся въ устной публичной рѣчи.

Мы видѣли выше, что, живя въ Ниццѣ, Герценъ отказался принять участіе въ революціонномъ международномъ комитетѣ, который затѣвалъ Маццини. Въ Лондонѣ Герценъ, кажется, сталъ было втягиваться въ роль организатора, заявляя о „вольной русской общинѣ" въ Лондонѣ, существованіе которой было весьма проблематично. Но какъ ни увлекательно могло быть чувство видѣть себя въ центрѣ какой-то организаціи, дѣлить съ другими выходцами успѣхъ публичныхъ выступленій и т. п., все же въ этомъ была

опасность расплыться въ словесныхъ угрозахъ, погрузиться въ ту мнимо-дѣятельную жизнь эмигрантской революціи, комическія стороны которой такъ ѣдко онъ самъ осмѣивалъ. Къ счастью, все измѣнилось очень скоро, и предъ Герценомъ явилась возможность—впервые въ жизни—принять дѣйствительное живое участіе въ судьбѣ родины...

Толчкомъ, электрическимъ ударомъ къ этому послужила неожиданная смерть императора Николая I.

VIII.

Смерть Николая I.—„Полярная Звѣзда".—Книгоиздательство.

„Въ немъ виденъ каждый мигъ державный повелитель, и вождь, и судія, Россіи промыслитель, и первый труженикъ народа своего".

Такъ говорилъ о Николаѣ I Майковъ, и въ самомъ дѣлѣ, все это соединить во что бы ни стало въ одномъ своемъ лицѣ—таковъ былъ идеалъ правителя, какой грезился Николаю I и ревниво имъ лелѣялся и оберегался. Россія была для него, дѣйствительно, „командой", надъ которой онъ призванъ повелѣвать, блюсти и опекать и направлять. Навсегда въ немъ осталось затаенное озлобленіе ко всему, что напоминало 14-е декабря 1825 г. и что ставило *его* роль подъ сомнѣніе. Намъ теперь кажется непонятной та невѣроятная масса работы, которую взваливалъ на себя Николай, но работы до крайности мелочной вплоть до построекъ караулокъ въ уѣздныхъ городишкахъ, до надзора за статьями объ извозчикахъ въ „Сѣверной Пчелѣ" и до дѣлъ о костюмахъ и бородахъ славянофиловъ и т. п., и т. д. Виртуозная фантазія министровъ Николая I плодила такихъ дѣлъ безчисленное множество. И за мелочами не было создано ничего новаго и плодотворнаго. Онъ не разъ думалъ объ уничтоженіи крѣпостного права и только затруднилъ своему преемнику освобожденіе традиціями и безполезными трудами образованныхъ на этотъ предметъ нѣсколькихъ комитетовъ. Онъ мечталъ объ идеалахъ правосудія и законности, а вопіющіе произволъ и взяточничество его эпохи, какъ отличительныя ея черты, до сихъ поръ остаются не превзойденными. Онъ уложилъ массу личнаго труда на заботы о военномъ могуществѣ Россіи, но добился вмѣшательствомъ въ европейскіе счеты народовъ и ихъ правительствъ только ненависти къ ней, какъ опорѣ самовластія, не могъ создать арміи, дѣйствительно сильной,

и вмѣшательствомъ въ фантастическіе интересы Россіи на Востокѣ подвелъ ее подъ обухъ севастопольскаго разгрома, оставивъ самую мрачную въ народѣ память о рядѣ наборовъ,—наконецъ, и самъ умеръ, разбитый военною неудачей. Но только при мысли о смерти сознается онъ въ своемъ всевластномъ безсиліи. Въ завѣщаніи 1844 г. онъ выражаетъ сожалѣніе, что „не могъ произвесть того добра, котораго искренно желалъ“, а на смертномъ одрѣ сказалъ преемнику: „Сдаю тебѣ мою команду, но, къ сожалѣнію, не въ томъ порядкѣ, въ которомъ желалъ“. Трагедія его была въ томъ, что именно того „порядка“, къ которому онъ такъ стремился, не желалъ никто въ сущности изъ его подданныхъ (кромѣ, конечно, лично заинтересованныхъ), видя въ немъ не порядокъ, а неслыханное самовластіе и гнетъ.

Современники болѣе или менѣе откровенно ненавидѣли режимъ, лишь въ разной степени относя его на личныя свойства Николая. Самъ онъ казался имъ, въ непреклонномъ единообразіи своей властной роли, несокрушимымъ. „Я всегда думалъ, да и не я одинъ—пишетъ цензоръ Никитенко,—что императоръ Николай переживетъ и насъ и чуть не внуковъ. Но вотъ его убила эта несчастная война“ (Дневн., 18 февр. 1855 г.). „Кто могъ предвидѣть,—писалъ Герценъ,—что первою жертвою Крымской войны падетъ Николай! Я всегда думалъ, что онъ проживетъ, какъ царь Иванъ Васильевичъ, до Аридовыхъ лѣтъ“ („Старый міръ и Россія“).

Холодное удивленіе или равнодушіе однихъ—огромное большинство—нескрытая радость другихъ, да раздумье, неужели впереди не иное нѣчто,—таковы чувства современниковъ при извѣстіи о смерти грознаго владыки.

„Длинная и, надо-таки сознаться, безотрадная страница въ исторіи русскаго царства написана до конца!“—пишетъ въ Петербургѣ слуга николаевскаго режима, цензоръ Никитенко. Поборникъ православія, самодержавія, народности, историкъ Погодинъ въ Москвѣ записываетъ въ дневникѣ: „Вдругъ записка Самарина о смерти Государя! Ударило какъ громомъ. Положилъ поклонъ за умершаго. Странное впечатлѣніе; но никакого злопамятства... Въ клубѣ холодное удивленіе. *Послѣ обѣда всѣ принялись играть въ карты*“. Старый консерваторъ М. А. Дмитріевъ, поздравляя съ новымъ царствованіемъ Погодина, надѣялся, что при новомъ „добромъ царствованіи“ „вмѣстѣ со страхомъ изгналась бы такая подлость, которая перешла всѣ предѣлы, тотъ обманъ, въ которомъ, такъ сказать, стакнулась вся Россія, и на которомъ выросли поколѣнія“... „Извѣстіе не многихъ огорчило,—пишетъ въ своихъ запискахъ славянофилъ А. И. Кошелевъ:—въ тотъ же вечеръ, послѣ присяги (новому импе-

ратору) Хомяковъ, Ив. Кирѣевскій и еще нѣсколько пріятелей собрались у насъ, и мы съ надеждою выпили за здоровье новаго императора и отъ души пожелали, чтобы въ его царствованіе совершилось освобожденіе крѣпостныхъ людей и созывъ общей земской Думы".

Шумно и откровенно выразились впечатлѣнія и думы Герцена, какъ онъ самъ разсказалъ о томъ впослѣдствіи въ „Десятилѣтіи"...

Съ плечъ Герцена свалилась тяжесть, незамѣтно давившая изо дня въ день. Точно въ дни переѣзда чрезъ границу, онъ ожилъ и помолодѣлъ, и въ ожиданіи новыхъ событій, новой дѣятельности, его сердце билось въ тактъ съ земляками, спѣшившими забыть Николая и обращавшимися къ новому царю.

„Смерть Николая удесятерила надежды и силы. Вся Россія легче вздохнула". Герценъ во всякомъ случаѣ оцѣнилъ неизбѣжность поворота въ правительственной политикѣ. Этотъ поворотъ намѣчался еще за два послѣднихъ передъ новымъ царствованіемъ года. Тогда уже бойко ходила по рукамъ литература записокъ по важнѣйшимъ вопросамъ времени: о земскомъ соборѣ, о крѣпостномъ правѣ, о свободѣ слова и т. д. Однимъ изъ признаковъ времени были обширныя волненія среди крестьянства, на которыя указывалъ Герценъ въ своей рѣчи въ С. Мартинсѣ-Голлѣ и которыя чрезвычайно озабочивали правительство и между прочимъ наслѣдника Александра Николаевича.

Герценъ откликнулся на тревожное ожиданіе въ русскомъ обществѣ перемѣнъ открытымъ письмомъ отъ 10 марта 1855 г. къ новому Государю; оно вскорѣ распространилось въ Россіи и производило огромное впечатлѣніе.

Въ началѣ письма Герценъ говоритъ объ удивительно счастливомъ созвѣздіи, подъ которымъ начинается новое царствованіе, не обагренное пока кровью ни родственной, ни народной. Герценъ вспоминаетъ, какъ въ ребячествѣ слышалъ пальбу пушекъ, возвѣстившихъ Москвѣ рожденіе наслѣдника, говоритъ о мирномъ и кроткомъ стихѣ Рылѣева на это рожденіе, о воспитаніи Государя поэтомъ, котораго любила Россія (Жуковскаго); тепло вспоминаетъ путешествіе Александра Николаевича по Россіи, давшее и Герцену долю свободы.

„Сосланный въ дальнемъ заволжскомъ городѣ, я смотрѣлъ на простую любовь, съ которою шелъ Вамъ на встрѣчу бѣдный народъ, и думалъ: „Чѣмъ Онъ заплатитъ за эту любовь?"

„Вотъ оно — время уплаты, и какъ она Вамъ легка! Дайте волю Вашему сердцу. Вы, вѣрно, любите Россію—и Вы можете такъ много, много сдѣлать для народа русскаго.

„Разумѣется, моя хоругвь—не ваша: я—неисправимый соціалистъ, Вы—самодержавный Императоръ; но между Вашимъ знаменемъ и моимъ можетъ быть одно общее...—любовь къ народу.

„И во имя ея я готовъ принести огромную жертву. Чего не могли сдѣлать ни долголѣтнія преслѣдованія, ни тюрьма, ни ссылка, ни скучныя скитанія изъ страны въ страну—то я готовъ сдѣлать изъ любви къ народу.

„Я готовъ ждать, стереться, говорить о другомъ, лишь бы у меня была живая надежда, что Вы что-нибудь сдѣлаете для Россіи.

„Государь, дайте свободу русскому слову. Уму нашему тѣсно, мысль наша отравляетъ нашу грудь отъ недостатка простора, она стонетъ въ цензурныхъ колодкахъ. Дайте намъ вольную рѣчь... намъ есть что сказать міру и своимъ.

„Дайте землю крестьянамъ. Она и такъ имъ принадлежитъ. Смойте съ Россіи позорное пятно крѣпостного состоянія, залечите синіе рубцы на спинѣ нашихъ братій—эти страшные слѣды презрѣнія къ человѣку.

„Торопитесь! Спасите крестьянина отъ будущихъ злодѣйствъ, спасите его отъ крови, которую онъ долженъ будетъ пролить...

„...Я стыжусь, какъ малымъ мы готовы довольствоваться; мы хотимъ вещей, въ справедливости которыхъ Вы такъ же мало сомнѣваетесь, какъ и всѣ.

„На первый случай намъ и этого довольно...

„Быть можетъ, на той высотѣ, на которой Вы стоите, окруженные туманомъ лести, Вы удивитесь моей дерзости. Можетъ, даже разсмѣетесь надъ этой потерянной песчинкой изъ семидесяти милліоновъ песчинокъ, составляющихъ вашъ гранитный пьедесталъ.

„Государь, если эти строки дойдутъ до Васъ, прочтите ихъ беззлобно, одни—и подумайте потомъ. Вамъ не часто придется слышать голосъ свободнаго русскаго".

Послѣ того письма, съ которымъ въ началѣ XIX вѣка обратился къ Александру I восторженный юноша Каразинъ, въ русской исторіи не было подобнаго открытаго обращенія къ Царю со стороны русскаго. Историческій смыслъ письма Герцена былъ въ самомъ фактѣ такой рѣчи, обращенной къ неограниченному Монарху отъ имени русскаго, заявляющаго о правахъ своихъ и правахъ народа, вмѣсто обычнаго при восшествіи на престолъ завѣренія въ вѣрноподданническихъ и патріотическихъ чувствахъ. И теперь на разстояніи полувѣка, живо чувствуется одушевленная искренность этого письма, дѣйствительная готовность стереться и замолчать, если того потребуетъ благо родины.

Въ окружавшихъ Герцена людяхъ это трогательное, благородное письмо встрѣтило, однако, и упреки, и нареканія. Оправдываясь противъ обвиненій въ самомъ обращеніи къ деспотической власти, Герценъ вскорѣ писалъ:—„Смыслъ этого письма такъ ясенъ, такъ простъ, и такъ безусловно чистъ, что я смѣло беру на себя всю нравственную отвѣтственность за него.—Насъ упрекаютъ въ любви къ кровавымъ средствамъ, въ революціонномъ дилетантизмѣ; я хотѣлъ сказать, что это не справедливо, что мы гораздо *скромнѣе, самоотверженнѣе*, что я съ своей стороны готовъ бы былъ умолкнуть, если бы Александръ II освободилъ крестьянъ и далъ бы свободу книгопечатанія. Неужели моя рѣчь важнѣе этихъ двухъ мѣръ?“... На упреки же, что онъ говоритъ съ „тираномъ“ какъ бы въ тонѣ признанія его власти, Герценъ возражаетъ: „Свободные люди, уважающіе себя, никогда не ругаются и ни съ кѣмъ, особенно когда это безопасно. Я ненавижу все грубое, цинизмъ выраженій всегда выражаетъ циническую душу. Наше время слишкомъ серьезно, чтобы довольствоваться пустою бранью. Я въ императорѣ Александрѣ вижу сильнаго представителя противоположныхъ намъ началъ, враждебнаго намъ стана, я уважаю въ немъ нашу борьбу. Я могъ не обращаться къ нему, хотя письмо мое явнымъ образомъ также мало относится къ нему одному, какъ письмо Маццини (1847) къ Пію IX относилось къ одному папѣ; но, обратившись, я не могъ, я не долженъ былъ говорить иначе“ („Пол. Зв.“, кн. I).

Въ то же время у Герцена возникаетъ мысль—и онъ энергично принимается за ея осуществленіе — издавать періодическій сборникъ статей, посвященныхъ русскому освобожденію. Сборникъ названъ именемъ литературнаго альманаха декабристовъ: „Полярная Звѣзда“, и на обложкѣ носилъ виньетку, составленную изъ профилей пяти казненныхъ декабристовъ:—Пестеля, Рылѣева, Бестужева, Муравьева, Каховскаго. Первая книжка вышла 20 (1 августа) іюля 1855 г. и затѣмъ „Полярная Звѣзда“ выходила почти ежегодно (по 1862 годъ). Въ 1869 году вышла еще одна книжка.

Въ годовщину казни декабристовъ Герценъ въ статьѣ: „Къ нашимъ“, вошедшей въ первую книжку, писалъ:

„Бѣдную свѣчку затеплили мы для нынѣшняго дня, на чужбинѣ съ чужими. Отъ васъ зависитъ поддержать и раздуть ея пламя“... Онъ вспоминаетъ свои дѣтскія клятвы въ день коронаціи Николая—отмстить за декабристовъ. „Я не отмстилъ; гвардія и тронъ, алтарь и пушки, все осталось,— но черезъ тридцать лѣтъ я стою подъ тѣмъ же знаменемъ, котораго не покидалъ ни разу... Только эта давность даетъ

мнѣ тѣнь права именемъ *великихъ мучениковъ* нынѣшняго дня звать васъ на участіе".

„Полярная Звѣзда" скрылась за тучами николаевскаго царствованія,—говорилось въ другой статьѣ:—Николай *прошелъ*, и „Полярная Звѣзда" является снова въ день нашей великой пятницы, въ тотъ день, въ который пять висѣлицъ сдѣлались для насъ пятью распятіями.

„Смерть Николая больше, чѣмъ смерть человѣка,—смерть началъ, неумолимо строго проведенныхъ и дошедшихъ до своего предѣла. При его жизни они могли кое-какъ держаться, упроченныя привычкой, опертыя на желѣзную волю.—Послѣ его смерти нельзя продолжать его царствованія". Герценъ яркими чертами рисуетъ весь нравственный ужасъ минувшаго и вѣритъ, что послѣ севастопольскаго пробужденія нельзя усыпить Россію. Онъ призываетъ къ труду для утвержденія освободительныхъ началъ. „Мы сдѣлали первый шагъ, мы раскрыли калитку—*идти ваше дѣло*",—говоритъ онъ землякамъ. И скоро они откликнулись горячо на этотъ призывъ.

Эпиграфомъ „Полярной Звѣзды" Герценъ избралъ пушкинскій стихъ: „Да здравствуетъ разумъ". „Мнѣ кажется,—писалъ онъ потомъ въ объясненіе этого лозунга,—что это единственный возгласъ, который остался неизношеннымъ послѣ воззваній красныхъ, трехцвѣтныхъ, синихъ, бѣлыхъ. Во имя разума, во имя свѣта и только во имя ихъ побѣдится тьма. Оттого-то и не удались всѣ революціи, что онѣ шли не подъ хоругвію разума, а чувствъ, вѣрованій, фантазій". Герценъ не отказывался отъ своихъ общихъ убѣжденій, подчеркивалъ, что онъ остается соціалистомъ, даже отдѣлъ общихъ статей носилъ характерное заглавіе: „Философія революціи и соціализма". Но онъ стремился создать возможно широкое поле для оттѣнковъ и направленій свободной русской мысли и приглашалъ къ сотрудничеству „европейцевъ и панславистовъ, умѣренныхъ и неумѣренныхъ, осторожныхъ и неосторожныхъ".

Герцена очень порадовалъ привѣтъ его предпріятію со стороны В. Гюго, Маццини, Мишле, Прудона; ихъ письма онъ помѣстилъ въ первой книжкѣ.

Первая книга „Полярной Звѣзды", кромѣ руководящихъ статей Герцена, писемъ и замѣтокъ, заключала очень нравившуюся ему статью Энгельсона „Что такое государство?" (построеніе государства, какъ тайнаго общества и заговора имущихъ собственность противъ неимущихъ), переписку Гоголя съ Бѣлинскимъ (знаменитое письмо критика о книгѣ Гоголя „Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями", которое до этого ходило по Россіи только въ спискахъ),—

наконецъ, первые обширные отрывки изъ „Былого и Думъ“. Въ слѣдующихъ книгахъ „Пол. Зв.“ дано много мѣста рукописнымъ стихотвореніямъ Пушкина, Лермонтова, Рылѣева и многихъ другихъ авторовъ, попадавшихъ подъ запретъ николаевской цензуры. Здѣсь же впервые начато печатаніе матеріаловъ о декабристахъ и о другихъ запретныхъ эпизодахъ русской исторіи, какъ убійство царевича Алексѣя Петровича, Петра III и Павла, начатъ печатаніемъ рядъ матеріаловъ о царствованіи Николая, и т. д. Принялъ участіе въ „Пол. Зв.“ и Огаревъ, подписывавшійся первое время буквами „Р. Ч.“ (статьи: „Русскіе вопросы“). Но произведенія самого Герцена были всегда гвоздемъ „Полярной Звѣзды“.

„Полярная Звѣзда“—первое изъ изданій Герцена, встрѣченное на родинѣ широкимъ восторгомъ. Въ Петербургѣ въ обществѣ встрѣтили ее, „какъ нѣкогда Виѳлеемскіе пастыри привѣтствовали ту свѣтлую звѣзду, которая загорѣлась надъ колыбелью рождающейся свободы“ (изъ письма къ Герцену во второй книгѣ „П. З.“). „Пол. Зв.“ произвела смятеніе даже въ придворныхъ кружкахъ,—вспоминаетъ князь Кропоткинъ.—Почти съ молитвеннымъ благоговѣніемъ глядѣлъ я на напечатанный на обложкѣ „П. З.“ медаліонъ... Красота и сила твореній Герцена, мощность размаха его мыслей, его глубокая любовь къ Россіи охватили меня. Я читалъ и перечитывалъ эти страницы, блещущія умомъ и проникнутыя глубокимъ чувствомъ. Тургеневъ правду сказалъ, что Искандеръ писалъ слезами и кровью, и что никто, съ тѣхъ поръ, у насъ не писалъ такъ“. И эти впечатлѣнія не были, конечно единичными. „Полярная Звѣзда“ читается даже въ Сибири,—писалъ Герцену декабристъ И. Д. Якушкинъ, направляя къ нему различныя запретныя стихотворенія,—и ее читаютъ съ великимъ чувствомъ; если бы вы знали, какъ бы этому порадовались! Я уже не говорю о людяхъ, которые сочувствуютъ вашимъ убѣжденіямъ и цѣнятъ вполнѣ прекрасное ваше направленіе и благородный трудъ Вашъ, но даже и тѣ, которые не имѣютъ никакихъ убѣжденій, никакого направленія, читая вашу книжку, и они находятся подъ какимъ-то обаяніемъ, невольно грудь ихъ расширяется, и они чувствуютъ, что дышутъ свободнѣе. Вы не ругаетесь, и потому Вы не отщепенникъ; но говорите, какъ свободный русскій человѣкъ, и свободная ваша рѣчь для всякаго русскаго, какъ будто летящій отъ родины гласъ. Надо полагать, что на вызовъ вашъ къ нашимъ соотечественникамъ доставлять вамъ статьи для вашей „Полярной Звѣзды“, отозвались уже многіе“ („Былое“, апр. 1906, 188).

Ранѣе Герценъ раздаривалъ свои изданія ящиками, лишь

бы везли въ Россію. Въ маѣ мѣсяцѣ 1856 года вся масса книгъ тронулась. „Пол. Звѣзда“ требовалась десятками, а въ самой Россіи продавалась по цѣнѣ отъ 15—до 20 руб. за книжку. Въ началѣ 1857 года лондонскій издатель Н. Трюбнеръ, оказавшій крупную услугу вольной русской типографіи вѣрою въ ея успѣхъ и своею поддержкою, предпринялъ на свой счетъ вторыя изданія. Съ половины 1857 г. издержки типографіи стали окупаться.

„Вы не можете себѣ представить, какъ разрастается наша пропаганда лондонская,—съ удовольствіемъ писалъ Герценъ Карлу Фохту.—Книги мои продаются великолѣпно, издержки покрыты. Примѣръ: третій томъ „Полярный Звѣзды“ выйдетъ 15 апрѣля. Заказано уже 300 экземпляровъ, и я могу разсчитывать на заказъ еще 200 къ 1 мая. Никогда бы я не повѣрилъ ничему подобному во времена Николая“ („Русск. Мысль“, 1907, янв.).

Въ 1858 г. возникаетъ въ Лондонѣ вторая русско-польская типографія З. Свентославскаго, и около того же времени открываются русскія типографіи въ Германіи. „Нашъ станокъ чувствовалъ себя *дѣдомъ*“,—съ чувствомъ удовлетворенія вспоминалъ потомъ Герценъ.

Кромѣ успѣха изданій Герцена, о новомъ времени говорили ему новыя лица, которыя стали съ новымъ царствованіемъ все чаще заглядывать въ Лондонъ, лично къ нему.

„Настоящимъ голубемъ ковчега, съ масличною вѣтвью во рту былъ... докторъ В—скій *),—съ глубокимъ чувствомъ благодарности писалъ Герценъ впослѣдствіи.—Онъ былъ первый русскій, пріѣхавшій къ намъ послѣ смерти императора Николая въ Чомле-Лоджъ, въ Ричмондъ, постоянно удивляясь, что она называется такъ, а пишется Cholmondely-Lodge. Правда, онъ же привезъ плохія новости о здоровьѣ Грановскаго и Огарева, но и это терялось въ яркой картинѣ проснувшагося общества, котораго онъ самъ былъ образчикомъ. Съ какой жадностью слушалъ я его разсказъ, переспрашивалъ, добиваясь подробностей... И не знаю, зналъ ли онъ тогда, или оцѣнилъ ли послѣ то безмѣрное добро, которое онъ мнѣ сдѣлалъ? Стоило взглянуть на свѣтлое лицо его, чтобы ему повѣрить. Такихъ лицъ вовсе не было въ послѣднее время въ Россіи...

„Удрученный непривычнымъ для русскаго чувствомъ, я вспомнилъ Канта, снявшаго бархатную шапочку при вѣсти о провозглашеніи республики 1792 года и повторившаго:

---

*) Повидимому такъ обозначенъ московскій докторъ Пикулинъ, который, какъ видно изъ переписки Грановскаго, былъ въ 1855 г. въ Лондонѣ у Герцена.

„Нынѣ отпущаеши“ Симеона-Богопріимца. Да, хорошо уснуть на зарѣ послѣ длинной ненастной ночи, съ полной вѣрой, что настанетъ чудный день.

„Такъ умеръ Грановскій...

„Дѣйствительно, настало время того дня, къ которому стремился я съ тринадцати лѣтъ—мальчикомъ въ камлотовой куртцѣ, сидя съ такимъ же „злоумышленникомъ“ (только годомъ моложе) въ маленькой комнаткѣ „стараго дома“,—въ университетской аудиторіи, окруженный горячимъ братствомъ, въ тюрьмѣ и ссылкѣ, на чужбинѣ, проходя разгромомъ революцій и реакцій, на верху семейнаго счастья и разбитый, потерянный на англійскомъ берегу съ моимъ печатнымъ *монологомъ*. Солнце, садившееся, освѣщая Москву, подъ Воробьевыми горами и уносившее съ собой отроческую клятву... всходило послѣ двадцатилѣтней ночи!

„Какой же тутъ покой и сонъ? За дѣло я принялся съ удвоенными силами. Работа не пропадала больше, не исчезала въ глухомъ пространствѣ, громкія рукоплесканія и горячія сочувствія неслись изъ Россіи“ („Апогей и перигей“).

„Господи! Чего нельзя сдѣлать этой весенней оттепелью послѣ николаевской зимы!—вырывается въ одной статьѣ Герцена.—Какъ можно воспользоваться тѣмъ, что кровь въ жилахъ снова оттаяла и сжатое сердце стукнуло вольнѣе!.. На работу, на трудъ, на трудъ въ пользу русскаго народа, который довольно въ свою очередь поработалъ на насъ!“ (Еще варіація на старую тему). „Я долженъ продолжать,—писалъ онъ Мейзенбугъ,—хотя чувствую себя страшно усталымъ и постарѣвшимъ, но предъ лицомъ успѣха невозможно не продолжать“ (Memoiren, III, 19).

„Отлегло на сердцѣ, мы перевели духъ!—писалъ Герценъ вскорѣ, вспоминая эти дни и мѣсяцы перваго порыва родины къ освобожденію и свои собственныя настроенія.—Дѣло пошло къ утру. Усмиренные опытомъ, укрощенные памятью, мы съ умиленіемъ привѣтствовали зорю новаго дня, занимавшагося въ Россіи. Мы радовались не тому, что онъ намъ давалъ, а какъ выздоравливающіе послѣ перелома болѣзни радовались за право на надежду.

„На эту полосу свѣта на родномъ небосклонѣ, усталые отъ всего, что насъ окружало, мы смотрѣли безъ заносчивыхъ требованій, безъ юношескихъ утопій. Мы ограничивались желаніемъ, чтобы съ бѣднаго русскаго народа сняли грубыя желѣзныя цѣпи, для того, чтобы *развитіе сдѣлалось возможнымъ*, остальное, казалось намъ, прійдетъ своимъ порядкомъ—можетъ послѣ насъ, даже весьма вѣроятно, все равно, лишь бы видѣть самимъ, что на пути нѣтъ бревенъ.

Мысль наша, рѣчь наша не шли дальше:
Освобожденія крестьянъ отъ помѣщиковъ,
Освобожденія слова отъ цензуры,
Освобожденія суда отъ мрака канцелярской тайны,
Освобожденія спины отъ палки и плети" („Колоколъ", № 60, „1860-й годъ").

Эти столь скромныя на теперешній взглядъ требованія были въ согласіи съ тѣмъ, что писалось Герцену съ родины. Очень скоро оказалось, что въ „Пол. Зв." не удается помѣстить всей массы интереснихъ матеріаловъ, которые стали теперь поступать къ Герцену въ отвѣтъ на его призывы о сотрудничествѣ. Было предпринято изданіе сборниковъ, подъ названіемъ: „Голоса изъ Россіи". Здѣсь, рядомъ съ упомянутою уже литературою рукописныхъ записокъ по вопросамъ русской жизни, корреспонденты Герцена иногда высказывались вполнѣ опредѣленно о задачахъ въ данный моментъ вольнаго русскаго станка. Здѣсь были упреки ему за отвлеченный, оторванный отъ русской почвы, революціонный соціализмъ первыхъ лондонскихъ изданій, были предостереженія противъ опрометчивыхъ несбыточныхъ желаній и требованій, пожеланія, чтобъ читатели видѣли въ свободномъ словѣ также и довѣріе къ личности новаго монарха, въ благихъ намѣреніяхъ котораго никто не сомнѣвался, вѣря, что онъ и самъ найдетъ нужнымъ опираться не на одну только силу и гнетъ.

И Герценъ принималъ эти указанія къ свѣдѣнію, и въ самомъ дѣлѣ отложилъ въ сторону революціонно-соціалистическую фразеологію, и не отрекаясь и не думая скрывать сущности своихъ убѣжденій, говорилъ только о томъ, что было на самомъ порогѣ общественной и народной русской жизни.

„Впередъ! Впередъ!"—озаглавлена передовая статья второй книжки „Пол. Зв."—„Теперь только идите, не стойте на одномъ мѣстѣ, что будетъ, какъ будетъ, трудно сказать, никто не знаетъ, но толчекъ данъ, ледъ тронулся. Двиньтесь впередъ... Вы сами удивитесь, какъ потомъ будетъ легко итти". И на первомъ мѣстѣ онъ снова называетъ „страшное проклятіе крѣпостного состоянія". Крѣпостное право, это нечистая совѣсть Россіи, это ея право на рабство. Рубцы на спинѣ мучениковъ и страдальцевъ поля и передней, не на ихъ спинѣ а на нашемъ лицѣ, на лицѣ Россіи. Помѣщикъ связанъ по рукамъ и ногамъ своимъ нелѣпымъ правомъ"...

...„На первый случай вся программа наша сводится на потребность гласности, и всѣ знамена теряются въ одномъ— въ знамени *освобожденія крестьянъ съ землею.*

„Долой дикую цензуру и дикое помѣщичье право! Долой барщину и оброкъ! Дворовыхъ на волю!

„А съ становыми и квартальными сдѣлаемся потомъ"...

Въ эти же первые мѣсяцы и годы новаго царствованія Герценъ, какъ вся образованная Россія, великія надежды возлагаетъ лично на Государя.

„Мы вѣримъ въ добрую душу Александра II, въ его благородство,—писалъ онъ въ предисловіи къ III книжкѣ „Голосовъ изъ Россіи", 15 мая 1857 г.: Отъ него не вѣетъ тѣмъ казарменнымъ, тлетворнымъ для всего человѣческаго вѣяніемъ, къ которому мы такъ привыкли. Слѣдъ Жуковскаго остался на немъ".

Тутъ же Герценъ, однако говоритъ, что ждали отъ него сразу больше. „Ждали перемѣнъ существенныхъ, а дождались китайскихъ тѣней". И Герценъ обрушивается на окружавшихъ государя, не видя въ средѣ ихъ ни сильнаго убѣжденія, ни таланта. Онъ ѣдко осмѣиваетъ министровъ того времени. „Вотъ когда бы Александръ Николаевичъ, однимъ добрымъ утромъ услышавъ изъ окна національный крикъ нараспѣвъ и въ носъ—„половыя щетки продать!"—купилъ бы себѣ двѣ—три, да и вымелъ бы Зимній Дворецъ до-чиста отъ николаевскаго сора (не хуже же стало послѣ Клейнмихеля!)—тогда, можетъ, и мы принялись бы умиляться и хвалить".

Какъ здѣсь. такъ и всюду, Герценъ сумѣлъ сохранить полную самостоятельность, полное достоинства положеніе. Но полоса главнаго вліянія Герцена была еще впереди.

Чтобы въ дальнѣйшемъ не прерывать нити связнаго разсказа, мы здѣсь же отмѣтимъ бѣгло, что сдѣлано было Герценомъ по вольной русской типографіи и книгоиздательству, вскорѣ сильно расширившемуся.

Одновременно съ „Пол. Зв." Герценъ выпустилъ русское изданіе „Съ того берега". Двѣ части его воспоминаній („Тюрьма и ссылка") были изданы также на англійскомъ языкѣ и возбудили къ себѣ значительный интересъ. Многія брошюры самого Герцена выдержали до трехъ изданій. Но и помимо этого имъ сдѣлано очень много, особенно по изданію книгъ и матеріаловъ крупнаго значенія для исторической науки.

На первомъ мѣстѣ назовемъ изданіе „Историческаго Сборника". Два тома этого изданія (1859 и 1861 гг.) дали массу свѣдѣній о „тайнахъ Зимняго Дворца". Герценъ въ разоблаченіи этихъ тайнъ не церемонился... Но дѣло было не въ одномъ сенсаціонномъ интересѣ разоблаченій. Герценъ оцѣнивалъ эти матеріалы съ публицистической стороны, какъ „матеріалы для уголовнаго слѣдствія надъ петербургскимъ

періодомъ нашей исторіи". Не меньше они важны и вообще для научнаго изученія XVIII и XIX вѣка русской исторіи.

Поклоненіе Герцена декабристамъ выразилось опубликованіемъ длиннаго ряда изданій. Кромѣ статей и матеріаловъ въ „Полярной Звѣздѣ" и „Историческомъ Сборникѣ", Герценомъ выпущена въ 1868 г. книга: „14 декабря 1825 г. и Императоръ Николай". Это—воспроизведеніе нѣкоторыхъ документовъ, появившихся въ рептильной книгѣ барона Корфа „Восшествіе на престолъ Императора Николая I" (издана по Высочайшему повелѣнію) и разборъ ея, сдѣланный Н. Огаревымъ.

Книга Корфа вызвала со стороны Герцена взрывъ негодованія противъ лицемѣрно-подобострастнаго тона ея и искаженія истиннаго образа декабристовъ и ихъ заговора. Герценъ напечаталъ сначала свой протестъ въ „Колоколѣ" (№ 4), въ видѣ открытаго письма къ Александру II. Кромѣ названной книги „14 декабря 1825 г. и Императоръ Николай", отвѣтомъ Герцена на книгу Корфа была брошюра на французскомъ языкѣ: „La conspiration russe de 1825, suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie. Par Iskander (A. Herzen). Londres, 1858" *).

Поводомъ къ составленію этого бѣглаго живого очерка движенія декабристовъ было, между прочимъ, желаніе международнаго революціоннаго комитета, который „братски помянулъ нашихъ мучениковъ въ годовщину 26 (14) декабря". Герценъ здѣсь подчеркиваетъ свою любимую мысль, что нѣкогда „молодая Россія исполнитъ завѣщаніе Пестеля", завоюетъ политическое освобожденіе, но въ то же время произведетъ и широкую соціальную революцію, опираясь на народъ, для него и съ нимъ. Приложенная къ брошюрѣ статья Герцена: Le premier pas vers l'émancipation des paysans serfs en Russie („Первый шагъ къ освобожденію крѣпостныхъ крестьянъ въ Россіи") объясняла европейцамъ колоссальное значеніе знаменитаго рескрипта 20 ноября (2 декабря) 1857 г., о которомъ намъ придется говорить далѣе.

Герценомъ, наконецъ, было предпринято нѣсколько позднѣе изданіе серіи: „Записки декабристовъ" (1862—1863 гг., три вып.); доходъ отъ этой серіи предназначался пополамъ на помощь политическимъ ссыльнымъ въ Сибири и эмигрантамъ за границей. Личныя и письменныя сношенія Герцена съ нѣкоторыми изъ декабристовъ благопріятствовали,

---

*) Русскій переводъ брошюры: А. Герценъ (Искандеръ): „Заговоръ 1825 г.", пер. Н. Жуковской. М. 1907. Книгоиздательство „Исторія". Цѣна 15 к.

конечно, успѣху и интересу этихъ изданій; онъ былъ лично знакомъ съ С. Г. Волконскимъ, Поджіо, съ Н. И. Тургеневымъ; И. Д. Якушкинъ съ особеннымъ сочувствіемъ относился къ работѣ Герцена и передъ смертью, приказывая переслать свои воспоминанія Герцену, сказалъ: „Я увѣренъ, что онъ отомститъ за нашу память“ *).

Значительный интересъ и немалое общественно-научное значеніе имѣли также сборники (составленные В. Кельсіевымъ) различныхъ матеріаловъ о сектантствѣ и старообрядчествѣ,—тема, до тѣхъ поръ въ русской печати никѣмъ, по условіямъ цензуры и религіозныхъ гоненій, не разрабатывавшаяся.

Изъ другихъ сочиненій, отдѣльно изданныхъ Герценомъ, наибольшую сенсацію произвели въ 1859 г. „Записки Екатерины II“; онѣ хранились въ государственномъ архивѣ въ такомъ секретѣ, что даже самъ Александръ II могъ познакомиться съ ними лишь по восшествіи на престолъ. Кто доставилъ Герцену копію „записокъ“ — осталось до сихъ поръ, кажется, въ тайнѣ. „Записки“ немедленно были переведены на нѣсколько европейскихъ языковъ. Объ этомъ изданіи Мишле писалъ Герцену: „Я рѣдко читалъ что-нибудь болѣе интересное и что лучше бы позволяло бы въ извѣстныхъ отношеніяхъ нащупать самую основу натуры, нежели ваши мемуары Екатерины. Вы вѣрно сказали въ вашемъ чудесномъ введеніи: во всемъ этомъ недостаетъ одного—Россіи. Династическое таинство созданія наслѣдника *во что бы то ни стало* было уже раньше постигнуто одной датской королевой, но здѣсь оно было осуществлено, по признанію самой паціентки, гораздо лучше. Все это замѣчательно, да недурно и то, что она говоритъ дальше,—что первый мужчина былъ неваженъ и второй былъ неваженъ, такъ—шутъ гороховый, и третій плохъ (это о Понятовскомъ); это должно было внушить паціенткѣ отчаянное презрѣніе къ мужчинамъ. По одному слову уже можно догадаться, что, примирившись со столькими вещами, она пойдетъ и на убійство Петра III. Это настоящая заслуга съ вашей стороны и большое мужество. О такихъ вещахъ династіи помнятъ вѣрнѣе, нежели о какой бы то ни было политической оппозиціи“.

Кромѣ того Герценомъ изданы, большею частью съ его предисловіями: „Записки княгини Дашковой“ (біографическій очеркъ ея, появившійся въ „Пол. Зв.“, одно изъ блестящихъ историческихъ произведеній Герцена), записки И. В. Лопухина, книга: „М. Щербатовъ и А. Радищевъ“ (1858), въ кото-

*) „Kolokol“, № отъ 15 іюля 1868.

рую вошли: перваго—„Объ оскудѣніи нравовъ въ Россіи“ и второго:—„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Предисловіе Герцена къ этой книгѣ содержитъ яркую характеристику Щербатова и Радищева и рѣзкую картину распутства двора Екатерины II. Это также одна изъ непослѣднихъ по блеску статей Герцена, выраженіе пламенной его вѣры, что историческаго развитія не остановишь. „У насъ самихъ десять разъ опускались руки, и мы останавливались, исполненные ужаса и печали, передъ уродливымъ капризнымъ сфинксомъ—русскаго развитія. — Все это понятно, но лишь бы люди не шли вспять—какъ князь Щербатовъ, и не предавались бы полному отчаянію, какъ А. Радищевъ. Медленно идетъ наше развитіе — срывается съ дороги — проводники плохи, давятъ народъ, топчутъ нивы — а какъ пріостановишься, оботрешь потъ съ лица, а иной разъ и слезы, да посмотришь назадъ, а пути-то сдѣлано много!“

Это живое пониманіе хода историческаго развитія, его тѣсной связи съ настоящимъ, и дѣлаетъ столь интересными историческія экскурсіи Герцена въ наше прошлое; оно и руководило имъ въ издательствѣ историческихъ трудовъ.

Остается еще сказать нѣсколько словъ о замѣчательной брошюрѣ самого Герцена „La France ou l'Angleterre?—Variations russes sur le thème de l'attentat du 14 janvier. Par Iskander“. Londres, 1858. Русскій переводъ, проредактированный самимъ Герценомъ, вышелъ чрезъ полгода, подъ заглавіемъ „Франція или Англія?“ Русскія варіаціи на тему 14 января 1858. Искандера. Переводъ съ франц., съ новымъ предисловіемъ автора.—Покушеніе на Наполеона III, совершенное 14 января 1858 г. восторженнымъ фанатикомъ освобожденія Италіи Ф. Орсини, сложившимъ голову на плахѣ, вызвало на континентѣ взрывъ реакціи. Герценъ очень любилъ и цѣнилъ Орсини, его тяжело поразила судьба близкаго человѣка, но еще болѣе встревожила новая волна реакціи, грозившая затопить и Англію. Подъ давленіемъ континентальныхъ правительствъ министръ Пальмерстонъ внесъ въ парламентъ conspiracyBill (билль о заговорщикахъ), предлагавшій стѣснительныя мѣры противъ эмигрантовъ, а также возбуждены были процессы противъ лицъ, якобы причастныхъ покушенію Орсини. Герценъ со страстнымъ вниманіемъ слѣдилъ за поднявшимся вслѣдствіе этого во всей Англіи шумомъ и былъ глубоко тронутъ дружнымъ протестомъ страны противъ покушенія на ея, лишь обычаемъ народнымъ охраняемыя, вольности.

„Я вовсе не англоманъ. Я просто русскій, покинувшій свою родину для свободы,—писалъ Герценъ. — Привыкнувъ къ путешествіямъ, я не забочусь о градусахъ широты и

долготы. Не принимая никакого участія въ заговорѣ, мнѣ вовсе не угрожалъ законъ убійства англійской свободы. Да если бы и угрожалъ, я взялъ бы свой типографскій станокъ и отправился бы въ Нью-Іоркъ. Но, признаюсь, послѣ перваго чтенія билля объ уничтоженіи личной неприкосновенности въ Англіи, сердце у меня замерло. Я былъ испуганъ, сбитъ съ толку, и тогда только понялъ, что я люблю Англію.

„Но Англія вспрянула. Она свергнула не только законъ, но и заговорщиковъ. И это не парламентъ сдѣлалъ, а народъ. Въ большихъ городахъ, на перекресткахъ, на публичныхъ площадяхъ и въ семейномъ кружкѣ послышался крикъ негодованія, который пронесся по острову изъ конца въ конецъ; и другой крикъ вторилъ ему, крикъ отвращенія, когда Англичане увидѣли свободную почву своей родины покрытою роемъ шпіоновъ *).

„Негодованіе было таково, что на улицахъ мальчишки преслѣдовали иностранцевъ крикомъ: „French spy!“ (французскій шпіонъ), сопровождая его ропотомъ, а иногда и грязью. Они кричали это и мнѣ. И какъ въ глубинѣ сердца благодарилъ я ихъ за то!

„Народъ, который умѣетъ ненавидѣть политическую полицію,—свободенъ навсегда! Не напрасно королева Елисавета называла Англію Commonwealth **).

Брошюра Герцена имѣла въ виду и другое: откликъ—на толки печати о возможности союза Россіи съ Франціей. Перспектива этого союза готовившейся къ освобожденію родины съ Франціей маленькаго Наполеона приводила Герцена въ негодованіе, и онъ горячо доказывалъ необходимость для Россіи сближенія съ Англіею, съ точки зрѣнія, какъ международныхъ интересовъ, такъ и внутренняго положенія Россіи.

Еще ранѣе онъ горячо протестовалъ противъ николаевской политики вмѣшательства въ европейскія дѣла...

„Мало традицій имѣетъ петербургское императорство, но и онѣ, какъ ядро, на ногахъ Александра II,—писалъ онъ въ статьѣ „Еще варіація на старую тему“ („Пол. Звѣзда“).—Какъ медленно и не прямо идетъ онъ по тому пути реформъ, о которыхъ самъ столько натолковалъ! Какъ мелко плаваетъ его самодержавная ладья! Этими шагами мы въ двѣсти лѣтъ врядъ ли догонимъ современную Пруссію... А все—николаевское преданіе, николаевская политика и что, можетъ, хуже всего—николаевскіе люди.

---

*) Во время процессовъ Бернара и Тхоржевскаго, см. „Not guilty!“. „П. З.“, 1862.

**) Commonwealth значитъ и государство вообще, и республика, т. е., по намеку Герцена,—страна свободы.

„Пора перестать тупо бояться человѣческаго языка, бѣлаго дня—изъ трусости передъ какой-то призрачной революціей, на которую нѣтъ готовыхъ элементовъ. Пора отказаться отъ нелѣпаго вмѣшательства во всѣ европейскія дрязги, поддерживая всякій разъ сторону тиранства, грубой силы, попирающей неправды. Чертъ съ нимъ, со всѣмъ этимъ дипломатическимъ вліяніемъ, за которое всѣ народы насъ ненавидятъ! Это не русская политика, а николаевская, голштинская. Николай сдѣлалъ изъ сентиментальнаго священнаго союза полицейскую стачку. Зачѣмъ же Александръ продолжаетъ ту же роль? Зачѣмъ онъ поддерживаетъ коронованнаго разбойника въ Неаполѣ? Зачѣмъ онъ посылаетъ дерзкія ноты въ Берлинъ, заступаясь за гогенцолернскаго дядюшку? Русское императорство совсѣмъ не связано съ судьбою европейскихъ троновъ, зачѣмъ же онъ хочетъ дѣлить безъ нужды всѣ ихъ гнусности—и справедливо обрушить на себя всѣ ненависти, заслуженныя тѣми?"

Въ брошюрѣ „Франція или Англія"? Герценъ даетъ бѣглый обзоръ того, какъ императорская Россія, созидая сильное государство и пренебрегая благомъ народа, связала себя съ австрійскимъ и прусскимъ деспотизмомъ, и какъ на этой дорогѣ въ концѣ концовъ Николай добился ненависти народовъ къ Россіи и довелъ страну до дезорганизаціи и разгрома подъ Севастополемъ. Александръ II вступилъ на новую дорогу. Какой смыслъ въ такомъ случаѣ для Россіи связывать себя съ бонапартизмомъ и съ его кровавою славою? „Берегитесь, Государь,—пишетъ Герценъ,—не толкайте изъ досады и потайнаго раздраженія противъ недавняго врага, Россію—юную крѣпкую крестьянку на ложе истасканнаго старика. Пусть умираетъ галльскій Давидъ безъ нея!"

Союзъ съ Франціей значитъ участіе въ лигѣ деспотизма противъ народовъ.

„Союзъ съ Англіей,—говоритъ Герценъ,—напротивъ не есть лига противъ Франціи. Англія не нападаетъ... У ней нѣтъ болѣе того геройства библейскихъ звѣролововъ, средневѣковыхъ бандитовъ, рейтеровъ и ландскнехтовъ всѣхъ временъ. Англія любитъ миръ, потому что миръ есть приволіе работы. Соединиться съ Англіей значитъ признаться, что Россія не боится свободы, что она не имѣетъ круговой поруки ни съ кѣмъ на материкѣ. Это значитъ понять, наконецъ, съ обѣихъ сторонъ, что обоимъ народамъ нечего оспаривать другъ у друга, а что, напротивъ, они могутъ безконечно помогать другъ другу. Пора же уничтожить это воображаемое соперничество, которое не имѣетъ другого основанія кромѣ невѣжества".

„И это не все. Англія—единственная школа, которая годна намъ. Великій народъ, съ малою арміею и огромными завоеваніями, Англія отучитъ насъ отъ мундировъ, парадовъ, полиціи, произвола. Страна безъ централизаціи, безъ бюрократіи, безъ префектовъ, безъ жандармовъ, безъ ограниченія права схода, безъ революцій, безъ реакціи!.. И какова роль ея! Послѣ паденія континента, она одна, гордая, спокойная увѣренная въ себѣ, смотритъ изъ-за моря на этотъ отвратительный шабашъ, на эту макабрскую пляску смерти и полицейскихъ комиссаровъ“...

Вторая часть брошюры посвящена остроумному разбору вопроса, насколько возможно возрожденіе Франціи изъ-подъ ига бонапартизма и каковы причины судорожныхъ ея потрясеній и постоянной смѣны въ ней свободы и рабства. Современное положеніе Герценъ снова сравниваетъ съ перерожденіемъ стараго языческаго Рима въ Римъ новый, и развиваетъ здѣсь уже знакомыя намъ мысли о французскомъ милитаризмѣ, о господствѣ у французовъ отвлеченной традиціи даже въ средѣ людей революціоннаго настроенія и образа мыслей, объ отсутствіи у французовъ „обычнаго права свободы“, о вѣчномъ спорѣ объ неотчуждаемыхъ правахъ человѣка, о которыхъ Англія не поминаетъ со временъ Кромвеля.—Гувернементализмъ, такъ пришедшійся по нраву французамъ, постоянная регламентація сверху и т. д.—все это требуетъ перевоспитанія Франціи, если думать о насажденіи въ ней дѣйствительной свободы, свободы, охраняемой правами, какъ въ Англіи.

И здѣсь, такимъ образомъ, подчеркивается мысль о томъ, что прочны лишь тѣ политическія завоеванія народа въ его борьбѣ за свои права, которыя поддерживаются силою общественно-воспитанныхъ традицій свободы и права, и рядомъ съ политическою революціею поставлена и впереди ея политическая эволюція, отрицающая насилованіе историческаго хода вещей и событій, отрицающая не только бомбы Орсини, но и революціонный бланкизмъ, революцію заговоровъ и возстаній. Герценъ не сталъ англоманомъ, но повидимому жизнь въ Англіи, англійская гражданская свобода сдѣлали свое дѣло въ этомъ поворотѣ Герцена въ сторону политическаго эволюціонизма, какъ средства осуществленія идеаловъ и стремленій соціализма.

IX.

„Колоколъ“.—1857—1861 гг.

Настоящая волна русскихъ хлынула въ Европу, по заключеніи парижскаго мира въ 1856 г. Спѣшили воспользоваться отмѣною стѣсненій для выѣзда за границу, ѣхали, просто чтобъ испытать ощущенія свободнаго заграничнаго пребыванія, ѣхала молодежь — учиться, профессора — готовиться къ кафедрамъ. Русскіе начинаютъ усердно посѣщать Лондонъ, ради Герцена. Связь его съ родиной обновляется и крѣпнетъ. Наконецъ, въ томъ же 1856 году къ Герцену присоединяется Огаревъ.

Онъ пріѣхалъ не одинъ, но съ женою, съ другомъ первой жены Герцена, уже не разъ упомянутою Наталіею Алексѣевною. Наталія Александровна Герценъ, по разсказамъ, передъ смертью взяла съ Наталіи Алексѣевны Тучковой обѣщаніе взять на себя воспитаніе ея дѣтей. Герценъ зналъ это обѣщаніе. Въ семейную его жизнь внесено было не только снова преобладаніе русскаго элемента, но и значительныя перемѣны. Очень скоро Мальвида ф. Мейзенбугъ оставила домъ Герцена. Друзья поселились въ одномъ домѣ, общимъ хозяйствомъ.

Прибытіе Огарева ближе ставило Герцена къ русскимъ вопросамъ. Огаревъ являлся не только свидѣтелемъ общественнаго подъема и оживленія литературно-общественныхъ интересовъ на родинѣ. Онъ не только теоретически, но и практически, во время жизни и работы въ провинціальной глуши, именно въ Симбирской и Пензенской губерніяхъ, въ своихъ имѣніяхъ, которыя онъ ликвидировалъ, уступивъ ихъ крестьянамъ,—изучилъ немало сторонъ русской жизни. Вторая книжка „Полярной Звѣзды“ уже содержала статью „Русскіе вопросы“, подписанную „Р. Ч.“ и принадлежавшую Огареву. Герценъ всецѣло уступилъ Огареву эту часть періодическихъ изданій своихъ, то, что теперь называется „внутреннимъ обозрѣніемъ“.

Огареву принадлежала мысль создать рядомъ съ „Полярною Звѣздою“ болѣе живое и чаще выходящее въ свѣтъ періодическое изданіе, посвященное текущимъ вопросамъ, быстро отзывающееся на нихъ и болѣе удобное для ввоза въ Россію, нежели объемистыя книжки „Полярной Звѣзды“. Такъ возникъ знаменитый „Колоколъ“.

Первый номеръ его появился 1 іюля н. с. 1857 г. Журналъ выходилъ въ размѣрѣ 8 страницъ in 4° сначала разъ въ мѣсяцъ, а съ 1859 г. 1-го и 15-го числа каждаго мѣсяца. Девизомъ газеты, печатавшимся подъ заголовкомъ, было: Vivos voco! (Зову живыхъ), начало эпиграфа къ шиллеровскому „Колоколу“: Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!

Издателями и руководителями журнала выступали совмѣстно какъ Герценъ, такъ и Огаревъ, рука объ руку, наконецъ-то такъ, какъ мечтали на Воробьевыхъ горахъ.

„О направленіи говорить нечего, — говорилось во вступительной статьѣ:—оно то же, которое въ „Полярной Звѣздѣ“, то же, которое проходитъ неизмѣнно черезъ всю нашу жизнь. Вездѣ, во всемъ, всегда быть со стороны воли—противъ насилія, со стороны разума—противъ предразсудковъ, со стороны науки—противъ изувѣрства, со стороны развивающихся народовъ—противъ отстающихъ правительствъ. Таковы общіе догматы наши.

„Въ отношеніи къ Россіи, мы хотимъ страстно, со всею горячностью любви, со всей силой послѣдняго вѣрованія,— чтобы съ нея спали наконецъ ненужные старые свивальники, мѣшающіе могучему развитію ея. Для этого мы теперь, какъ въ 1855 году *), считаемъ первымъ, необходимымъ, неотлагаемымъ шагомъ:

„Освобожденіе слова отъ цензуры!

„Освобожденіе крестьянъ отъ помѣщиковъ!

„Освобожденіе податного состоянія отъ побоевъ! Не ограничиваясь, впрочемъ, этимъ вопросомъ, „Колоколъ“, посвященный исключительно русскимъ интересамъ, будетъ *звонить*, чѣмъ бы ни былъ затронутъ—нелѣпымъ указомъ, или глупымъ гоненіемъ раскольниковъ, воровствомъ сановниковъ или невѣжествомъ сената. Смѣшное и преступное, злонамѣренное и невѣжественное, все идетъ подъ „Колоколъ“.

„А потому обращаемся ко всѣмъ соотечественникамъ, дѣлящимъ *нашу* любовь къ Россіи и просимъ ихъ не только слушать нашъ „Колоколъ“, но и самимъ звонить въ него!“

Кратко передавая исторію первыхъ шаговъ вольной русской типографія, повторяя тогдашній призывъ откликнуться,

*) Программа „Полярной Звѣзды“.

Герценъ могъ теперь съ радостью констатировать уже значительный успѣхъ, показывавшій, что трудъ и ожиданія были не напрасны:

„Наша рѣчь, свободное русское слово раздается въ Россіи, будитъ однихъ, стращаетъ другихъ, грозитъ гласностью третьимъ.

„Свободное русское слово наше раздается въ Зимнемъ Дворцѣ—напоминая, что сдавленный паръ взрываетъ машину, если не умѣютъ его направить.

„Оно раздается среди юнаго поколѣнія, которому мы передаемъ нашъ трудъ".

Съ первыхъ же номеровъ „Колоколъ" прямо и рѣзко заговорилъ объ освобожденіи крестьянъ, о высшемъ и придворномъ кругахъ и противодѣйствіи его реформамъ, называя всѣхъ по именамъ полностью, началъ свои обличенія злоупотребленій крѣпостнымъ правомъ, грабежей, чинимыхъ безотвѣтственною бюрократіею, разоблаченій произвола и неправосудія и т. д., и т. д.

Походъ Герцена противъ представителей Николаевскаго режима, особенно такихъ, какъ московскій генералъ-губернаторъ графъ А. Закревскій, министръ юстиціи В. Н. Панинъ, товарищъ министра народнаго просвѣщенія кн. П. Вяземскій и др. нашелъ себѣ горячій откликъ въ Россіи. Отъ русскихъ за границей, изъ писемъ, съ оказіей провозимыхъ чрезъ границу, редакція „Колокола" получала самыя сенсаціонныя свѣдѣнія.

Сотрудниками „Колокола" первой эпохи (до польскаго возстанія) были такіе люди, какъ И. Тургеневъ, Н. Тургеневъ, Кавелинъ, Мельгуновъ, И. С. Аксаковъ, Самаринъ, Кошелевъ, даже В. П. Боткинъ и т. п., доставлявшіе Герцену свѣдѣнія изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ. То, что въ самой Россіи въ наступившую тогда эпоху обличеній не могло попасть въ легальную печать или попадало въ видѣ отдаленныхъ намековъ, то сполна печаталось въ „Колоколѣ", освѣщенное прямымъ и рѣзкимъ словомъ осужденія, облитое сарказмомъ и желчью, осмѣянное и разоблаченное. Иногда попадались свѣдѣнія неточныя, и Герценъ раза два печатно просилъ корреспондентовъ быть осторожнѣе и точнѣе, но въ общемъ, видимо, масса наиболѣе серьезныхъ разоблаченій очень хорошо попадала въ цѣль. Отдѣлъ „Колокола": „Правда ли?" точно также задавалъ правительству весьма серьезныя задачи, требуя провѣрки и контроля надъ многими дѣйствіями высшей и низшей администраціи. Обиліе разоблаченій вызвало вскорѣ необходимость ввести особое прибавленіе для нихъ. При „Колоколѣ" время отъ времени печатался листокъ подъ названіемъ: „Подъ судъ".

Съ 1-го октября 1859 года по 1862 годъ вышло 13 номеровъ.

Статьи самаго Герцена, его рука, которая осязательно чувствуется во множествѣ мелкихъ замѣтокъ, то въ саркастическомъ заголовкѣ замѣтки, то въ ѣдкомъ къ сообщаемому факту примѣчаніи,—объединяли всѣ частности и были, конечно, основной причиной колоссальнаго успѣха „Колокола“. Въ своихъ передовыхъ онъ является отнюдь не резонеромъ на ту или иную политическую тему дня. Это не холодныя разсужденія и соображенія, обращающіяся преимущественно къ разсудку читателя, какъ это имѣетъ мѣсто въ обычномъ теперешнемъ типѣ газетныхъ передовыхъ. Статьи Герцена въ „Колоколѣ“ большею частью блестящія лирическія импровизаціи, столько же говорящія чувству, сколько и разсудку, а иногда онѣ разрастаются въ цѣлыя обширныя соціально-философскія письма. Въ нихъ ярко отражается личность автора ихъ, и въ этомъ смыслѣ Герценъ, какъ публицистъ, былъ больше проповѣдникомъ, нежели пропагандистомъ, публицистомъ-художникомъ, нежели политикомъ. Великая и страстная душа Герцена, съ ея жаждою дѣятельнаго участія въ воочію совершавшихся судьбахъ родины, донынѣ живетъ во многихъ изъ этихъ пламенныхъ статей, какъ бы сохранившихъ въ себѣ нѣчто отъ шиллеровскаго лиризма, подъ обаяніемъ котораго онъ былъ въ дни отрочества и юности.

„Обличенія сопровождались передовыми статьями Герцена, написанными съ такой силой и теплотой, и отличавшимися такою красотою формы, какія рѣдко встрѣчаются въ политической литературѣ,—говоритъ о „Колоколѣ“ англичанамъ кн. П. Кропоткинъ.—Я, по крайней мѣрѣ, не знаю публициста въ западно-европейской литературѣ, котораго можно было бы приравнять въ этомъ отношеніи къ Герцену“. („Идеалы и дѣйствительность въ русской литературѣ“).

Изъ многихъ обличеній „Колокола“ кое-что имѣло и непосредственныя слѣдствія. Особенно нашумѣло въ свое время возмутительное дѣло, разоблаченное въ № 7 „Кол.“. Князь П. Кочубей, еще въ 1853 году, при денежной ссорѣ, въ запальчивости подстрѣлилъ своего управляющаго. Тотъ сталъ жаловаться, не хотѣлъ принять мировой сдѣлки и подвергся жестокому преслѣдованію. Якобы за ложный извѣтъ, онъ былъ посаженъ въ тюрьму, гдѣ просидѣлъ 19 мѣсяцевъ и дошелъ до нищенства. Вслѣдствіе разоблаченія въ „Колоколѣ“ это похороненное было дѣло, типичная картина дореформеннаго правосудія, по личному распоряженію Государя было пересмотрѣно.

Прямой, безпощадный языкъ „Колокола“, тонъ сарказма и ѣдкой насмѣшки, какимъ дышали многія его страницы, нѣкоторыми, даже расположенными къ Герцену, лицами былъ встрѣченъ не вполнѣ сочувственно. Казалось, напр., Тургеневу, что тонъ этотъ можетъ вредить серьезнымъ задачамъ „Колокола“. Герценъ горячо отстаивалъ свои права на сатиру и шутку. Въ № 8 „Кол.“ онъ писалъ: „Смѣхъ—одно изъ самыхъ сильныхъ орудій противъ всего, что отжило и еще держится, Богъ знаетъ на чемъ, важной развалиной, мѣшая расти свѣжей жизни и пугая слабыхъ... Смѣхъ—дѣло вовсе не шуточное, и имъ мы не поступимся. Въ древнемъ мірѣ хохотали на Олимпѣ и хохотали на землѣ, слушая Аристофана и его комедіи, хохотали до самаго Лукіана. Съ IV столѣтія человѣчество перестало смѣяться,—оно все плакало, и тяжелыя цѣпи пали на умъ середь стенаній и угрызеній совѣсти. Какъ только лихорадка изувѣрства стала проходить, люди опять стали смѣяться... Во фрунтѣ, передъ начальникомъ департамента, передъ частнымъ приставомъ, передъ нѣмцемъ-управляющимъ никто не смѣется. Одни равные смѣются между собой... Если низшимъ позволить смѣяться при высшихъ, или если они не могутъ удержаться отъ смѣха, тогда прощай чинопочитаніе. Заставить улыбнуться надъ богомъ Аписомъ—значитъ разстричь его изъ священнаго сана въ простые быки... Смѣхъ нивеллируетъ,—а этого-то и не хотятъ люди, боящіеся повиснуть на своемъ собственномъ удѣльномъ вѣсѣ“. И, конечно, великая освобождающая сила смѣха, какъ могучее орудіе борьбы, въ „Колоколѣ“ играла важную роль, и смѣхъ „Колокола“ нивеллировалъ всѣхъ Паниныхъ и Закревскихъ до ихъ дѣйствительнаго уровня.—Что касается рѣзкости вообще, то на упрекъ въ томъ, что онъ допускаетъ въ „Колоколѣ“ упоминанія даже о топорахъ (въ одной корреспонденціи упоминалось, что неудачно и не во время развязанныя крѣпостныя отношенія доведутъ до топоровъ), Герцену оставалось, только напоминать, что въ „Колоколѣ“ не всякое слово ему принадлежитъ и надо умѣть слушать прямое слово. Въ № 33 (1 янв. 1859) находимъ по этому поводу такія строки:

„Мы слишкомъ легко пугаемся свободнаго слова, мы не привыкли къ нему. Посмотрите, что печатаютъ объ Англіи, о ея правительствѣ въ Ирландіи, или еще ближе въ Reynold's News-paper, прочтите рѣчи Брайта, когда онъ говоритъ о перахъ. Фамусовъ давно заткнулъ бы уши и закричалъ бы: „Подъ судъ, подъ судъ!“ А Англія молчитъ и слушаетъ.

„Свобода книгопечатанія—какія бы мелкія неудобства

она ни имѣла—величайшая хартія. Правительство, находящееся подъ надзоромъ гласности и не имѣющее средства подавить ее, больше озирается, чѣмъ человѣкъ, находящійся подъ надзоромъ полиціи.

„Но для того, чтобы свобода слова была дѣломъ искреннимъ и возможнымъ, надобно, чтобы ее поддерживала свобода слуха, и если намъ слѣдуетъ поучиться у англичанъ—какъ говорить безъ цензуры, то наши читатели не разсердятся на насъ, если мы имъ посовѣтуемъ у нихъ же поучиться наукѣ свободно слушать".

Уча правительство и общество „свободно слушать" свободную рѣчь, Герценъ въ эту пору умѣлъ заставить себя слушать самыя высшія сферы. Огромное впечатлѣніе, напр., произвело при Дворѣ его открытое письмо (1 ноября 1858 г.) къ императрицѣ Маріи Александровнѣ о воспитаніи наслѣдника. Письмо говорило о *черномъ кабинетѣ*, окружавшемъ царя, о камарильѣ; разоблаченіе ея интригъ вообще было однимъ изъ серьезныхъ дѣлъ Герцена. Письмо представляетъ собою горячій протестъ противъ воспитанія наслѣдника въ военной муштрѣ, протестъ противъ низпоклоннаго фонъ-Гримма, солдата Зиновьева, противъ превращенія учебной въ кордегардію. Это одно изъ лучшихъ „открытыхъ писемъ" Герцена, и онъ обрисовывается въ немъ именно съ національной стороны, когда, напримѣръ, спрашиваетъ о Гриммѣ: „Бьется ли его сердце отъ русской пѣсни и обливается ли оно кровью при слухѣ о рекрутскомъ наборѣ, о неистовствахъ помѣщичьихъ, о чиновничьемъ грабежѣ? Стихъ Пушкина родной ли ему, и понятенъ ли ему бытъ нашего мужика? Чему научитъ этотъ чужой Вашего русскаго сына?...

„Я очень знаю, что мои слова, если они дойдутъ до Васъ, удивятъ Васъ своею дерзостью; рѣзкая рѣчь свободнаго человѣка какъ-то дико раздается въ залахъ Зимняго Дворца. Но побѣдите Ваше негодованіе и вникните въ смыслъ монхъ печальныхъ словъ, Вы можетъ въ нихъ найдете слѣды великой скорби, разъѣдающей сердце, и больше чистаго желанія блага Россіи безъ всякихъ личныхъ видовъ, чѣмъ обиды и дерзости.

„Вы стоите слишкомъ высоко, чтобы обидѣться; я слишкомъ независимо, чтобы быть дерзкимъ".

„Письмо... отличается хорошимъ тономъ и очень умно,—передаетъ отзывы о немъ Никитенко (Дневникъ, 19 ноября 1858 г.),—оно произвело сильное впечатлѣніе при Дворѣ". Герцену передавали, что императрица плакала надъ письмомъ...

Но, конечно, важнѣе обличеній и частныхъ поднятыхъ

вопросовъ была общая постановка выдвинутыхъ „Колоколомъ“ вопросовъ, которая сводилась къ освѣщенію великаго, переживаемаго Россіею переворота.

„Мы не только наканунѣ переворота, но мы вошли въ него,—писалъ Герценъ 15 іюля 1857 г. въ № 2 „Колокола“.—Необходимость и общественное мнѣніе увлекли правительство въ новую фазу развитія, перемѣнъ, прогресса. Общество и правительство натолкнулись на вопросы, которые вдругъ получили право гражданства, стали неотлагаемы. Эта возбужденность мысли, это безпокойство ея и стремленіе вновь разрѣшить главныя задачи государственной жизни, подвергнуть разбору историческія формы, въ которыхъ она движется—составляетъ необходимую почву всякаго коренного переворота.

„Но гдѣ же знаменія, обыкновенно предшествующія революціямъ,—все въ Россіи такъ тихо, такъ подавлено и еще больше—съ такимъ добродушнымъ довѣріемъ смотритъ на новое правительство, ждетъ его помощи, что скорѣе можно думать, что вѣка пройдутъ прежде, нежели Россія вступитъ въ новую жизнь.

„Да на что же эти знаменія? Въ Россіи все шло инымъ порядкомъ, у нея былъ разъ коренной переворотъ, его сдѣлалъ одинъ человѣкъ—Петръ I“.

Герценъ предполагаетъ возможность такого же переворота въ Россіи, какъ въ Піэмонтѣ, переродившемся у всѣхъ на глазахъ.

„Въ концѣ 1847 года управленіе его было іезуитское и инквизиторское, безъ всякой гласности, но съ тайной полиціей, съ страшной свѣтской и духовной цензурой, убивавшей всякую умственную дѣятельность. Прошло десять лѣтъ и Піэмонтъ нельзя узнать, физіономія городовъ, народоселенія измѣнилась, вездѣ новая удвоенная жизнь, открытый видъ, дѣятельность; а вѣдь эта революція была безъ малѣйшихъ толчковъ, для этой перемѣны достаточно было одной *несчастной войны и ряда уступокъ общественному мнѣнію* со стороны правительства.

„Артисты-революціонеры не любятъ этого пути, мы это знаемъ, но намъ до этого дѣла нѣтъ, мы просто люди глубоко убѣжденные, что нынѣшнія государственныя формы Россіи никуда негодны,—и отъ души предпочитаемъ путь мирнаго человѣческаго развитія—пути развитія кроваваго; но съ тѣмъ вмѣстѣ такъ же искренно предпочитаемъ самое бурное и необузданное развитіе — застою николаевскаго statu quo.

„Государь хочетъ перемѣнъ, хочетъ улучшеній; пусть же онъ, вмѣсто безполезнаго отпора, прислушается къ голосу

мыслящихъ людей въ Россіи, людей прогресса и науки, людей практическихъ и жившихъ съ народомъ. Они сумѣютъ лучше николаевскихъ бургравовъ не только ясно понять и формулировать чего они хотятъ, но сверхъ того сумѣютъ понять за народъ его желанія и стремленія. Вмѣсто того, чтобы малодушно обрѣзывать рѣчь, правительство само должно приняться съ ними за работу общественнаго пересозданія, за развитіе новыхъ формъ, новыхъ органовъ жизни. Ихъ теперь ни мы не знаемъ, ни правительство не знаетъ, мы идемъ къ ихъ открытію, и въ этомъ состоитъ потрясающій интересъ нашей будущности".

Не требуя въ этотъ исключительный моментъ даже ограниченія самодержавія какими бы то ни было представительными учрежденіями, Герценъ, въ согласіи съ широкимъ общественнымъ мнѣніемъ на родинѣ, готовъ былъ временно мириться на просвѣщенномъ абсолютизмѣ, прислушивающемся лишь къ голосу народа и общества, идущимъ впереди его; онъ временно фактически сходился съ славянофильской утопіей земскаго самодержавнаго царя и свободнаго народа и недаромъ такъ тепло проводилъ въ могилу скончавшихся въ ближайшіе годы К. Аксакова, Хомякова, Кирѣевскихъ.

Съ литературой въ самой Россіи у Герцена также разногласій не было, и онъ горячо привѣтствуетъ ея возрожденіе. Уже въ половинѣ 1857 года онъ признавалъ, что литература наша возмужала. „Въ ней,—писалъ онъ,—есть жизнь, движеніе, цвѣтъ, въ ней приводятся къ слову дѣйствительные интересы и современные вопросы. Каменная плита, лежавшая на странѣ, сдвинулась, и русская мысль явнымъ образомъ расправляетъ крылья". Лондонскія изданія только договаривали то, чего не могла досказать подцензурная печать.

И самъ Герценъ прекрасно понималъ, что его сила въ эту розовую пору надеждъ на обновленіе Россіи въ единствѣ и общенаціональныхъ стремленій и надеждъ. Въ 1863 г. онъ пишетъ:

„Когда обращаясь къ только что воцарившемуся Государю, я повторялъ ему: „Дайте свободу русскому слову, уму нашему тѣсно въ цензурныхъ колодкахъ; дайте волю и землю крестьянамъ и смойте съ насъ позорное пятно крѣпостнаго состоянія; дайте намъ открытый судъ, и уничтожьте канцелярскую тайну судебъ нашихъ"; когда я прибавлялъ къ этимъ простымъ требованіямъ: „Торопитесь притомъ, чтобъ спасти народъ отъ крови!"—я чувствовалъ, я зналъ, что это вовсе не мое личное мнѣніе, а мысль, которая тогда носилась въ русскомъ воздухѣ и волновала каждый умъ,

каждое сердце, умъ и сердце царя и крѣпостного крестьянина, молодаго офицера, вышедшаго изъ корпуса и студента, какого бы университета онъ ни былъ" *).

Такъ установилась самая тѣсная связь между издателемъ зарубежнаго „Колокола" и разсѣянною въ Россіи массою его читателей, поклонниковъ и сотрудниковъ.

„Одинъ очень извѣстный ультрапанславистъ говорилъ мнѣ, — передаетъ Герценъ, — въ противность выраженію Дантона: „Вы унесли за границу родную землю на подошвахъ, и вотъ почему, не раздѣляя вашихъ убѣжденій, мы не можемъ отдѣлиться отъ васъ".

„Вліяніе „Колокола" въ одинъ годъ далеко переросло „Полярную Звѣзду",—вспоминалъ Герценъ („Апогей и перигей"),—„Колоколъ"—власть,—говорилъ мнѣ въ Лондонѣ—horribile dictu!—Катковъ и прибавилъ, что онъ у Ростовцева лежитъ на столѣ для справокъ по крестьянскому вопросу... И прежде его повторяли тоже и Т(ургеневъ), и Л(ксаковъ), и С(амаринъ), и К(авелинъ), генералы изъ либераловъ, либералы изъ статскихъ совѣтниковъ, придворныя дамы съ жаждой прогресса и флигель-адъютанты съ литературой; самъ В. П. Б(откинъ),—постоянный, какъ подсолнечникъ, въ своемъ поклоненіи всякой силѣ,—умильно смотрѣлъ на „Колоколъ", какъ будто онъ былъ начиненъ трюфелями...

„Во дворцѣ „Колоколъ" получилъ свое гражданство еще прежде. По статьямъ его государь велѣлъ пересмотрѣть дѣло „стрѣлка Кочубея", подстрѣлившаго своего управляющаго".

„Горчаковъ съ удивленіемъ показывалъ напечатанный въ „Колоколѣ" отчетъ о тайномъ засѣданіи государственнаго совѣта по крестьянскому дѣлу.—Кто же,—говорилъ онъ,—могъ сообщить имъ такъ вѣрно подробности, какъ не кто-нибудь изъ присутствовавшихъ?

„Безкорыстный Муравьевъ совѣтовалъ подкупить меня; жирафъ въ андреевской лентѣ Панинъ предпочиталъ сманить на службу. Горчаковъ, игравшій между этими „мертвыми душами" роль Мижуева, усомнился въ моей продажности и спросилъ Панина: „Какое же мѣсто вы предложите ему?"—Помощника статсъ-секретаря.—„Ну, въ помощники статсъ-секретаря онъ не пойдетъ",—отвѣчалъ Горчаковъ, и судьба „Колокола" была предоставлена волѣ Божіей".

„Колоколъ" и другія изданія Герцена проникаютъ въ Россію уже въ качествѣ выгодной предпринимателямъ контрабанды, путями, часто неизвѣстными самому Герцену,

*) Введеніе къ книгѣ „Десятилѣтіе вольной русской типографіи".

чрезъ сухопутныя границы, Балтійское и Черное море, черезъ Кавказъ. Первые годъ—два изданія „Колоколъ“ былъ почти терпимымъ органомъ и не подвергался особымъ преслѣдованіямъ. Позднѣе, его брали подъ свое покровительство таможенные чиновники, даже лица, состоявшія на службѣ III отдѣленіи. Громека, извѣстный въ то время сотрудникъ либеральныхъ изданій, жандармскій подполковникъ, сообщалъ Герцену изъ Одессы отъ 11 декабря 1859 г.: „О закрытіи для „Колокола“ одесскаго порта не безпокойтесь: ничего не сдѣлаютъ. Впрочемъ, носятся слухи, что собираются сдѣлать набѣгъ на... Это впрочемъ, пустяки—на провозъ „Колокола“ у насъ не сердятся, другое дѣло—за переписку съ „Колоколомъ“ *).

По воспоминаніямъ извѣстнаго общественнаго дѣятеля А. М. Унковскаго, въ Твери въ эту пору не было дома, въ которомъ не было бы „Колокола“. Его раздавалъ даже жандармскій полковникъ... „Могу засвидѣтельствовать,—добавляетъ Унковскій,—что въ теченіе 2—3 лѣтъ у большинства дворянъ совершенно перемѣнился весь образъ мыслей, подъ вліяніемъ „Колокола“ **).

Даже значительно позднѣе, когда на Герцена правительство Александра II стало смотрѣть, какъ на вреднаго революціонера, легко было доставать, особенно въ столицѣ, его изданія. Берлинскіе книгопродавцы брались доставлять въ Петербургъ сколько угодно герценовскихъ изданій прямо на домъ, такъ что получатель даже не зналъ, кто принесетъ ихъ (Никитенко).

Въ свою очередь и изъ Россіи начался въ „Колоколъ“, по выраженію Герцена, „ливень“ посланій. Они передавались ѣдущимъ за границу лицамъ, которыя въ свою очередь пересылали ихъ Герцену. Мы уже упоминали въ качествѣ кореспондентовъ и сотрудниковъ Герцена нѣсколько видныхъ литературныхъ именъ. Не меньше имѣли значенія многочисленные маленькіе люди, имена которыхъ, вѣроятно, навсегда останутся тайной, но которые дерзко и рискуя весьма многимъ, безъ всякой корысти, выцарапывали изъ самыхъ твердынь высшихъ бюрократическихъ сферъ ихъ секреты и конфиденціи. Вездѣсущіе кореспондентовъ Герцена поражало даже людей, не заинтересованныхъ въ сокрытіи чего-либо. „Мои труды всѣ попали къ Герцену,—пишетъ Унковскій,—но не знаю какимъ образомъ—я самъ не посылалъ. Всѣ мои мнѣнія, которыя я подавалъ въ редакціонной комиссіи,

*) „Русск. Вѣстн.“, 1889, 5. Герценъ и его корреспонденты
**) „Русск. Мысль“, 1906, VI, стр. 192.

и даже проектъ тверской—напечатаны въ одной книжкѣ „Голосовъ изъ Россіи“ № 9 (60-й годъ)“.

Обличенія сокровеннаго и низкаго, появившіяся въ „Колоколѣ“, наводили панику на всѣхъ, кому было что скрывать.

Въ одномъ изъ напечатанныхъ въ Россіи некрологовъ Герцена, старающемся скорѣе умалить, чѣмъ преувеличить значеніе его въ исторіи русскаго общества, говорилось: „Его сарказмы не давали спать людямъ, спокойствіе которыхъ вполнѣ было обезпечено существованіемъ у насъ предварительной цензуры. Наши потомки съ трудомъ поймутъ,—какой ужасъ наводило на иныхъ господъ извѣстіе, что они попали въ газету Герцена. Одинъ изъ старцевъ прежняго закала такъ, говорятъ, и умеръ, увидавъ свое имя въ „Колоколѣ“. Объ этой газетѣ ходятъ даже легенды. Говорятъ, одно лицо, изъ боязни, чтобъ опасная газета, въ которой его безжалостно терзали, не попала кому-то на глаза, прибѣгло къ отчаянному средству—къ перепечатанію непріятныхъ нумеровъ „Колокола“, для представленія ихъ высокопоставленнымъ лицамъ“ *). Боязнь передъ разоблаченіями „Колокола“ хорошо рисуется казусомъ, который былъ сообщенъ Герцену Тургеневымъ (7 авг. 1858 г.): „Актеровъ въ Москвѣ вздумали прижать, отнять у нихъ ихъ собственныя деньги! Они рѣшились отправить отъ себя депутатомъ—старика Щепкина искать правды у Гедеонова (молока отъ козла) **). Тотъ, разумѣется, и слышать не хочетъ; „Тогда,—говоритъ Щепкинъ,—остается пожаловаться „Колоколу“.—Гедеоновъ вспыхнулъ и кончилъ тѣмъ, что деньги возвратилъ актерамъ. Вотъ, братъ, какія штуки выкидываетъ твой „Колоколъ“!“

„Колоколъ“ создавалъ и ронялъ репутаціи, какъ было съ Мельниковымъ-Печерскимъ, котораго сторонились потому, что Герценомъ была помѣщена замѣтка слѣдующаго содержанія: „Нижегородскій литераторъ Мельниковъ переведенъ въ Петербургъ за изящный стиль; обѣщаемъ разсказать его апостольскіе подвиги, иже на обращеніе заблудшихъ братій раскольниковъ“.

Въ началѣ 1861 г. начальникомъ штаба корпуса жандармовъ и управляющимъ III отдѣленія былъ назначенъ лично близкій Государю П. А. Шуваловъ. Принимая мѣсто, Шуваловъ послалъ письмо шефу жандармовъ князю В. А. Долгорукову съ изложеніемъ своихъ колебаній и сомнѣній

*) Цитируется въ статьѣ „Отечествен. Записокъ“ за 1870, № 2. Слухъ, что „Колоколъ“ перепечатывался съ измѣненіями для Государя, сообщенъ и въ самомъ „Колоколѣ“, № 76, стр. 636.

**) Тогдашній директоръ Императорскихъ театровъ, знаменитый самодурствомъ—герой некрасовской „Притчи о Киселѣ“.

вступать въ учрежденіе, тѣнь котораго мрачитъ славу имени Государя, и съ предложеніемъ отдѣлить отъ тайной полиціи судебную власть и всѣ полиціи соединить въ одномъ учрежденіи министерства внутреннихъ дѣлъ. „Сочинялъ это письмо С. С. Громека, тогда уже департаментскій чиновникъ, и онъ же копію съ него препроводилъ Герцену, чѣмъ думалъ *угодить* графу Шувалову“ *).

Какъ осязательно было вліяніе „Колокола“ и вообще изданій Герцена, можно судить по ряду фактовъ. Такъ, въ 1859 и 1860 гг. въ „Колоколѣ“ былъ опубликованъ русскій государственный бюджетъ, всегда составлявшій ранѣе государственную тайну. На 1862 годъ бюджетъ былъ—подъ прямымъ, слѣдовательно, давленіемъ „Колокола“—опубликованъ самимъ правительствомъ. Когда Герценъ началъ печатаніе разнообразныхъ матеріаловъ о старообрядчествѣ и сектанствѣ, правительство увидѣло себя въ необходимости разрѣшить статьи о тѣхъ же вопросахъ и въ русскихъ изданіяхъ. Начало печатанія Герценомъ перевода (сдѣланнаго Кельсіевымъ) Библіи на русскій языкъ побудило синодъ благословить, наконецъ, послѣ многихъ лѣтъ упорства, печатаніе Библіи на русскомъ языкѣ и въ Россіи. Эти отрицательныя заслуги русскаго печатнаго станка, косвенное его вліяніе на расширеніе правъ печати въ Россіи, конечно, не должны быть забыты при оцѣнкѣ заслугъ Герцена.

Высшаго предѣла популярность и слава и вліяніе „Колокола“ достигли къ освобожденію крестьянъ, для котораго онъ столько поработалъ, какъ скажемъ подробнѣе дальше. Его постоянная рѣчь именно объ освобожденіи, радость Герцена, когда видно было, что реформа дѣлаетъ явные и серьезные шаги впередъ, по вѣрной дорогѣ; его тревоги, когда брали верхъ крѣпостники,—со всѣмъ этимъ сливались сердца многихъ тысячъ читателей.

„Боткинъ... велитъ тебѣ сказать, что, по его мнѣнію, ты и твои изданія составляютъ эпоху въ жизни Россіи“ (изъ письма Тургенева).

Съ этимъ согласенъ и славянофилъ Ю. Самаринъ. „Дѣло Вами начатое,—пишетъ онъ Герцену (9 мая 1858 г.),—займетъ не послѣднее мѣсто въ исторіи русскаго просвѣщенія. „Колоколъ“—это теперь единственный голосъ, къ которому прислушивается правительство; оно справляется съ нимъ, какъ порядочный человѣкъ справляется со своею совѣстью. „Колоколъ“ замѣняетъ для правительства совѣсть, которой по штату не полагается, и общественное мнѣніе, которымъ

*) „Герценъ и его корреспонденты“. „Русск. Вѣстн.“, 1889, 5, стр. 295 и др.

пренебрегаетъ. Вы теперь по своему положенію пользуетесь монополіею свободнаго слова" („Вольное Слово", № 59).

Нѣсколько выдержекъ изъ писемъ западника—Кавелина:

„Я не могу любить тебя, какъ совершенно равнаго, потому что преклоняюсь предъ тобою и вижу въ тебѣ великаго человѣка... Тебѣ лавровый вѣнокъ, представителю русской мысли, чающей свое величіе и свою неизмѣримую будущность... Я выбиралъ эти бисеринки изъ твоихъ статей, которыя казались мнѣ программами цѣлыхъ будущихъ трактатовъ, и благоговѣлъ передъ этими проблесками геніальности, закладывавшими мысль за столѣтіе впередъ"...

„Когда ты обличалъ все съ неслыханной и невиданной смѣлостью, когда ты бросалъ въ геніальныхъ своихъ статьяхъ и памфлетахъ мысли, которыя забѣгали на вѣка впередъ, а для текущаго дня ставили требованія самыя умѣренныя, самыя ближайшія, стоявшія на очереди, ты мнѣ представлялся тѣмъ великимъ человѣкомъ, которымъ должна начаться новая русская исторія. Я плакалъ надъ твоими статьями, зналъ ихъ наизусть, выбиралъ изъ нихъ эпиграфы для будущихъ историческихъ трудовъ, изслѣдованій политическихъ и философскихъ".

„Я вижу въ тебѣ не только близкаго друга, но и перваго человѣка въ цѣлой Европѣ".

Шевченко заноситъ въ свой дневникъ, что его знакомый Варенцовъ привезъ въ Нижній-Новгородъ (гдѣ тогда былъ Шевченко, возвращавшійся изъ ссылки) портретъ Герцена: „Портретъ нарисованъ карандашемъ и, вѣроятно, похожъ, потому что отличается отъ обычныхъ рисунковъ этого рода. Но если бы онъ даже и не походилъ, я все-таки перерисую его въ свой дневникъ, почитая имя этого святого человѣка" (Далѣе въ дневникѣ слѣдуетъ портретъ Герцена). Въ 1858 г. онъ снова заноситъ въ свой дневникъ: „Встрѣтилъ своего стараго знакомаго Шумахера. Онъ только что возвратился изъ-за границы и привезъ четыре номера „Колокола". Я впервые увидалъ эту газету и благоговѣйно поцѣловалъ ее".

„Знамя, которое Вы держите, такъ велико и свято, значеніе его такъ всеобъемлюще для насъ, что въ немъ Вы должны черпать силы на дальнѣйшіе подвиги",—писалъ одинъ изъ неизвѣстныхъ корреспондентовъ Герцена.

Этотъ свѣтлый гимнъ современниковъ Герцену, какъ защитнику безправныхъ, глашатаю живой мысли и дѣла и труда на свѣтлое возрожденіе Россіи, дополнимъ еще выдержкой изъ письма неизвѣстнаго изъ Петербурга *).

*) „Вольное слово", № 58; письмо начала 1858 г.

„Роль твоя, другъ, велика и благотворна. Вліяніе твое безмѣрно. Il est une puissance,—сказалъ недавно кн. Долгоруковъ за обѣдомъ у себя. Прежніе враги твои по литературѣ исчезли. Все думающее, пишущее, желающее добра—твои друзья и болѣе или менѣе твои почитатели. Молодежь на тебя молится, добываетъ твои портреты,—даже не бранитъ того и тѣхъ, кого ты, очевидно, съ умысломъ, не бранишь. Словомъ, въ твоихъ рукахъ огромная власть, и замѣтно, какъ ты зрѣешь не по днямъ, а по часамъ. Твое послѣднее письмо къ императору по поводу книги Корфа циркулируетъ въ спискахъ и производитъ неописанное дѣйствіе. Ничего подобнаго наша литература, дѣйствительно, не представляла.

„Но имѣя такое огромное значеніе, помни, что ты имъ обязанъ исключительно той роли, которую ты такъ благородно и самостоятельно принялъ въ послѣднее время: быть возвѣстителемъ не только міру—это бы еще ничего—а намъ и Александру II, нашей гнили и мерзости. По твоимъ статьямъ подымаются уголовныя дѣла, давно преданныя забвенію, твоимъ „Колоколомъ“ грозятъ властямъ. Что скажетъ „Колоколъ“, какъ отзовется „Колоколъ“? Вотъ вопросъ, который задаютъ себѣ всѣ, и этого отзыва страшатся министры и чиновники всѣхъ классовъ“.

Далѣе письмо предостерегаетъ отъ „личностей“ по адресу императорской семьи.

„Вспомни, другъ, что ты теперь выборный Русской земли, единственно свободный Русскій. Говори же съ властью тѣмъ языкомъ, какимъ мы съ нею говорили. Можешь ругать дѣла и людей минувшаго царствованія, но перестань бранить покойника, чтобы не ставить сына въ ложное положеніе,—какъ бы не было гадко и преступно прежнее... Дѣятельность твоя такъ мужаетъ, силы твои такъ растутъ, что ты уже можешь и долженъ взвѣшивать каждое слово свое, размѣрять каждый свой поступокъ. Немногимъ выпадаетъ такая достойная и высокая роль въ жизни, какъ тебѣ, другъ! Сравнивая тебя съ Курбскимъ, нельзя не порадоваться тому, насколько мы нравственно выросли въ этотъ промежутокъ времени. Будь же выборнымъ Русской земли, пусть благовѣстъ твоего „Колокола“ широко раздается въ ней, пробуждая мертвыхъ и живыхъ на общее дѣло. Ты сталъ остороженъ, спасибо тебѣ за это. Ты сталъ недовѣрчивъ: это избавитъ тебя отъ тысячи промаховъ, которые повредили бы дѣлу. Роль твоя политическая и громадная. Войди въ нее съ головой и съ ногами“.

Вліяніе Герцена проникло и въ учебныя заведенія, найдя готовыхъ пропагандистовъ въ лицѣ той толпы молодыхъ пе-

дагоговъ, которые наизусть знали письмо Бѣлинскаго къ Гоголю. Обаяніе Герцена не обошло даже закрытыя военно-учебныя заведенія. Такъ, революціонеръ семидесятыхъ годовъ Ашенбреннеръ вспоминаетъ преподавателя кадетскаго корпуса, который познакомилъ своихъ учениковъ съ Герценомъ. „Были и между нами молодые люди, которые, познакомившись съ этимъ писателемъ, полюбили его всей душой. Знакомство же съ идеями Герцена сообщило имъ направленіе, которому они остались вѣрны до старости. Ихъ плѣнила въ Герценѣ глубина мысли, выраженной въ такой красивой формѣ, широта проницательнаго ума, блестящее остроуміе, великая сила сарказма—но этимъ могли восхищаться и эстетики; эти же нѣкоторые чувствовали за его сатирой „невидимыя слезы", любовь къ родинѣ, истинѣ, справедливости жажду свободы,—и увѣровали въ этого учителя и остались вѣрны его завѣтамъ" („Былое", 1907, апр.).

П. Кропоткинъ, воспитанникъ пажескаго корпуса, съ умиленіемъ вспоминаетъ объ этой порѣ обожанія молодежью Герцена: „Со слезами на глазахъ читали мы знаменитую статью Герцена: „*Ты побѣдилъ, Галилеянинъ*!" („Зап. револ.", изд. „Знанія", стр. 115—120).

Да, было отъ чего воспрянуть духомъ, было отъ чего даже закружиться головѣ. И Герценъ, дѣйствительно, переживалъ вторую молодость.

„Мы помолодѣли, мы повѣрили въ себя, въ то, что наша жизнь не прошла напрасно... а тутъ облегченія цензуры, уничтоженіе позорнаго стѣсненія путешествовать, уничтоженіе кантонистовъ, военныхъ поселеній, проекты о гласности судовъ. Мы стали отдыхать отъ ненависти.

„Наша программа осуществлялась и намъ легко было сказать—„Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!" („Колоколъ", листъ 9). Такъ побѣжденными мы хотѣли быть.

„Самодержавная революція могла вести Россію къ великому развитію всѣхъ ея неистощимыхъ силъ, невѣдомыхъ возможностей, не проливши ни одной капли крови, не поставивши ни одной висѣлицы и дѣлая изъ Сибирскаго тракта путь богатства и обмѣна вмѣсто пути слезъ и скрежета зубовъ.

„Да, мы были правы, говоря Александру II при его восшествіи на престолъ: „Вы необыкновенно счастливы!"

Само собою разумѣется, дѣятельность „Колокола" и вольной русской типографіи не могла проходить безъ попытокъ со стороны органовъ русскаго правительства такъ или иначе оградить вѣрноподданныхъ отъ герценовскаго свободоязычія. Интересно, что въ то время, какъ самъ Александръ II, повидимому, порою готовъ былъ вполнѣ терпимо

относиться къ Герцену, стоявшее за его спиною правительство не переставало принимать ходы и мѣры.

Герцену не разъ приходилось принимать мѣры въ огражденіе своихъ гостей отъ шпіоновъ русскаго правительства, проникавшихъ при множествѣ посѣтителей въ гостиную Герцена. Одинъ изъ нихъ проникъ даже на службу въ книгоиздательство Трюбнера, связанное съ русскою типографіею, но былъ уличенъ и изгнанъ съ позоромъ („Кол." № 4). Появлялись путешественники со „спеціальными учеными цѣлями", въ родѣ д. с. с. Геденштерна, отъ которыхъ Герценъ предупреждалъ заграничныхъ читателей „Колокола" (№ 23—24).

Когда въ 1857 г. посолъ въ Лондонѣ доставилъ Александру II списокъ гостей Герцена, Государь бросилъ этотъ списокъ въ каминъ („Колок.", № 215). Но въ то же время министръ Норовъ, въ бытность въ Берлинѣ, хлопоталъ о запрещеніи изданій Герцена въ Пруссіи и Саксоніи. 29 января 1858 г. запрещены были къ обращенію въ Саксоніи „Колоколъ", „Пол. Звѣзда" и „Голоса изъ Россіи". Въ Неаполѣ секретарь русскаго посольства Поггенполь обращался къ книжнымъ магазинамъ съ приглашеніемъ во избѣжаніе непріятностей не торговать русскими лондонскими изданіями („Кол." № 15).

Герценъ издавна имѣлъ счеты съ правительствомъ Наполеона III; помимо гоненій лично противъ него направленныхъ, преслѣдовались его книги. Такъ оно не только запретило первое изданіе „Письма къ Мишле", „но украло его на марсельской таможнѣ" („П. З." 1855, I, стр. 208). Теперь, въ іюнѣ 1859 г. министръ Тимашевъ исходатайствовалъ у французскаго правительства общее запрещеніе торговли Герценовскими изданіями во Франціи.

По невѣроятному вмѣшательству русскаго резидента во Франкфуртѣ на Майнѣ, полиція „вольнаго города" заарестовала однажды транспортъ „Колокола", что дало Герцену поводъ выпустить на французскомъ языкѣ листокъ, приложенный къ „Колоколу": A l'illustre sénat de la ville libre de Francfort-sur-le-Main" („Славному сенату вольнаго города Фр. на Майнѣ"). Протестуя противъ этой предупредительности по отношенію къ русскому резиденту, Герценъ говорилъ въ листкѣ о двухъ правительствахъ въ Россіи—оффиціальномъ, съ Александромъ II во главѣ и тайномъ Черномъ Кабинетѣ, враждебномъ реформамъ и состоящемъ изъ Алексѣя Орлова, М. Муравьева, Панина и др.

За границею вышло, наконецъ, и первое противоядіе герценовскому свободомыслію, именно изданный въ 1859 г. въ Берлинѣ Н. Елагинымъ сборникъ крайне наивныхъ право-

кій тонъ возмутилъ, можетъ, больше содержанія, и меня, и публику, одинаковымъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда... Зато на сторонѣ Чичерина стали: великая княгиня Елена Павловна, Тимашевъ, начальникъ III-го отдѣленія, и Н. Х. Кетчеръ". Нападеніемъ своимъ на Герцена Чичеринъ надолго подорвалъ свою популярность въ обществѣ. Что касается Герцена, ему долго еще было суждено оставаться въ глазахъ огромной части русскаго общества выразителемъ благороднѣйшихъ его стремленій и желаній освобожденія родины.

„Литературная диктатура" Герцена вызвала наплывъ къ нему самой пестрой толпы русскихъ посѣтителей. Быть за границей и не побывать въ Лондонѣ у Герцена—стало въ это время для русскихъ почти тѣмъ же, что для вѣрующаго католика быть въ Римѣ и не видѣть папы.

„Ни страшная даль, въ которой я жилъ отъ Вестъ-Энда,—вспоминаетъ онъ объ этомъ нашествіи,—ни постоянно запертыя двери по утрамъ,—ничего не помогало. Мы были въ модѣ.

„Кого и кого мы не видали тогда! Какъ многіе дорого заплатили бы теперь, чтобъ стереть изъ памяти, если не своей, то людской свой визитъ... Но тогда, повторяю, мы были въ модѣ, и въ какомъ-то гидѣ туристовъ я былъ отмѣченъ въ числѣ достопримѣчательностей Путнея.

„Такъ было отъ 1857 до 1863 гг.".

Рядомъ съ представителями литературы и науки являлась молодежь, ищущая дороги и совѣта, являлись свѣтскіе люди и пролетаріи, знатныя дамы и темныя личности, являлись съ дѣломъ и безъ дѣла, выразить сочувствіе, а то и пожурить дружески, какъ нѣкій военный, который, войдя въ кабинетъ, „вдругъ какъ-то пріосанился и сказалъ: Полковникъ такой-то, находясь проѣздомъ въ Лондонѣ, поставилъ за обязанность явиться".

Многочисленныя воспоминанія объ этомъ времени славы Герцена и поклоненія ему полны дружной хвалы необычайной общительности его, чарующему остроумію и прелести его бесѣды, блестѣвшей и захватывавшей.

„Хотя въ это время ему было уже слишкомъ 45 лѣтъ, но его невысокая плотная фигура поражала энергіей и живостью, а красивая голова съ откинутыми назадъ длинными волосами и умными выразительными глазами, съ перваго раза привлекала вниманіе. Невзгоды, прожитыя имъ въ Россіи съ самаго выхода изъ московскаго университета, и почти десять лѣтъ, проведенныхъ въ самомъ вихрѣ бурныхъ волненій за границей, не оставили слѣдовъ ни на его наружно-

„Недоставало только для полнаго торжества—искренняго врага,—вспоминалъ Герценъ впослѣдствіи".—Не прошелъ 1858 годъ, какъ явилось „обвинительное письмо" (Чичерина). Съ высокомѣрнымъ холодомъ несгибающагося доктринера, съ roideur судьи неумытнаго позвалъ онъ меня къ отвѣту и, какъ Биронъ, вылилъ мнѣ въ декабрѣ мѣсяцѣ ушатъ холодной воды на голову. Пріемы этого Сенъ-Жюста бюрократизма удивили меня. А теперь... чрезъ 7 лѣтъ (писано въ 1864 году) письмо Ч. мнѣ кажется цвѣтомъ учтивости, послѣ крѣпкихъ словъ и крѣпкаго патріотизма *михайловскаго* времени (т. е. времени ареста и ссылки М. Л. Михайлова.—*Авт.*).

Знаменитый впослѣдствіи ученый Б. Н. Чичеринъ готовился въ это время за границею занять кафедру въ московскомъ университетѣ. Осенью 1858 г. онъ посѣтилъ Лондонъ, гдѣ Герценъ встрѣтилъ его, какъ москвича и ученика Грановскаго, очень дружелюбно. По словамъ Чичерина, онъ убѣдился, что всякіе споры съ Герценомъ „будутъ напрасны, ибо политическія знанія и государственный смыслъ замѣнялись у него страстностью, которая, при всей даровитости и благородствѣ его натуры, подрывала всякую плодотворную дѣятельность. Онъ хотѣлъ быть, по собственнымъ его словамъ, нѣчто въ родѣ Loustalot или Camille Desmoulins"(?!). Впослѣдствіи Герценъ писалъ объ этихъ бесѣдахъ: „Чичеринъ подходилъ не просто, не юно, у него были камни за пазухой; свѣтъ его глазъ былъ холоденъ, въ тембрѣ голоса былъ вызовъ и странная отталкивающая самоувѣренность. Съ первыхъ словъ я понялъ, что это не противникъ, а врагъ; но подавилъ физіологическій сторожевой окрикъ, и мы разговорились"... „Съ первыхъ дней начался споръ, по которому ясно было, что мы расходимся во всемъ. Онъ былъ почитатель французскаго демократическаго строя и имѣлъ нелюбовь къ англійской, неприведенной въ порядокъ свободѣ. Онъ въ императорствѣ видѣлъ воспитаніе народа, и проповѣдывалъ сильное государство и ничтожность лица предъ нимъ... Онъ былъ гувернементалистъ, считалъ правительство гораздо выше общества и его стремленій, и принималъ императрицу Екатерину II почти за идеалъ того, что надобно Россіи. Все это ученіе шло у него изъ цѣлаго догматическаго построенія"...

— Зачѣмъ вы хотите быть профессоромъ?—сказалъ Гер-

„Васька-котъ, пишущій что-то, надъ нимъ петля, вверху полярная звѣзда, внизу колоколъ, еще ниже обезьяны". Г. Лемке въ своихъ статьяхъ объ „эпохѣ обличительнаго жара" упустилъ изъ виду эту раннюю попытку уличной сатиры противъ Герцена. См. соч. Добролюбова, изд. 6-е, т. 11, стр. 231.

ценъ Чичерину при разлукѣ: — Вы должны быть министромъ!

По отъѣздѣ Чичерина въ Парижъ, они обмѣнялись письмами, послѣ чего Герценъ напечаталъ въ № 27 „Кол." отвѣтъ на разнообразные упреки ему.

„Насъ упрекаютъ либеральные консерваторы въ томъ, что мы слишкомъ нападаемъ на правительство, выражаемся рѣзко, бранимся крупно.

„Насъ упрекаютъ свирѣпо красные демократы въ томъ, что мы мирволимъ Александру II, хвалимъ его, когда онъ дѣлаетъ что-нибудь хорошее, и вѣримъ, что онъ хочетъ освобожденія крестьянъ.

„Насъ упрекаютъ славянофилы въ западномъ направленіи.

„Насъ упрекаютъ западники въ славянофильствѣ.

„Насъ упрекаютъ прямолинейные доктринеры въ легкомысліи и шаткости, оттого что мы зимой жалуемся на холодъ, а лѣтомъ, совсѣмъ напротивъ,—на жару".

Упрекъ въ доктринерствѣ задѣлъ Чичерина за живое и онъ разразился обширнымъ,—по выраженію Герцена,—„обвинительнымъ актомъ". Чичеринъ признавалъ, что положеніе Герцена „исключительное, можно сказать, единственное въ мірѣ".—„Какая почва для политическаго писателя: правительство ищущее опоры! народъ—жаждущій гласности!".. Но Чичеринъ находитъ, что Герценъ крайне вредно пользуется своимъ словомъ и властью. „Мы слышимъ отъ васъ не слово разума, а слово страсти". Протестуя противъ „крайностей" и „необузданныхъ порывовъ", Чичеринъ снисходительно напоминаетъ Герцену, какъ не понимающему этого, „въ какую эпоху мы живемъ".—„У насъ совершаются великія гражданскія преобразованія, распутываются отношенія, созданныя вѣками... Въ такую пору нужно не раздувать пламя, не растравлять язвы, а успоканвать раздраженіе умовъ, чтобы вѣрнѣе достигнуть цѣли". Тутъ же Чичеринъ явно злостно и несправедливо упрекаетъ своего корреспондента: „Впрочемъ, я забываю, что вы къ гражданскимъ преобразованіямъ довольно равнодушны. Гражданственность, просвѣщеніе не представляются вамъ драгоцѣннымъ растеніемъ, которое надобно заботливо насаждать и терпѣливо лелѣять, какъ лучшій даръ общественной жизни. Пусть же это унесется въ роковой борьбѣ; пусть вмѣсто уваженія къ праву и закону, водворится привычка хвататься за топоръ,—Вы объ этомъ мало тревожитесь"... „Умѣренностью, осторожностью, разумнымъ обсужденіемъ общественныхъ вопросовъ Вы могли внушить къ себѣ довѣріе правительства; въ настоящее время только его пугаете... Гру-

стно сказать, что первый свободный русскій журналъ служитъ самымъ сильнымъ доказательствомъ въ пользу цензуры, если только въ пользу цензуры могутъ быть сильныя доказательства". Далѣе Чичеринъ пугаетъ картиною размноженія „Колоколовъ" въ самой Россіи и разжигаемыхъ ими страстей. „Къ чему можетъ повести разгаръ общественныхъ страстей, какъ не къ самому жестокому деспотизму? Каждая почти революція представляетъ тому примѣръ". Наконецъ Чичеринъ говорилъ о томъ, что „своими желчными выходками, своими незнающими мѣру шутками и сарказмами" „Колоколъ" потакаетъ „легкомысленному отношенію къ политическимъ вопросамъ, которое и такъ уже слишкомъ въ ходу". Урокомъ изо всего этого выводилось, что „въ политическомъ журналѣ увлеченія, страсти должны замѣняться зрѣлостью мысли и разумнымъ самообладаніемъ". Письмо все же оканчивалось признаніемъ за Герценомъ существенной заслуги—раскрытія злоупотребленій, и права за нимъ на благодарность всѣхъ и каждаго, каково бы ни было различіе политическихъ направленій.

Герценъ напечаталъ этотъ обвинительный актъ въ № 29 „Колокола" цѣликомъ. На разстояніи пятидесяти лѣтъ отчетливо видны и отталкивающій высокомѣрно-снисходительный тонъ письма и явное пристрастіе Чичерина, ставившее Герцену въ виду небывалые въ сущности призывы къ топорамъ (Эти „топоры", въ видѣ фатальной возможности, но не въ качествѣ призыва, иногда, правда, появлялись въ письмахъ изъ Россіи слишкомъ горячихъ корреспондентовъ). Передавая письмо на судъ общественнаго мнѣнія, Герценъ говорилъ: „До тѣхъ поръ, пока оно не станетъ громко со стороны обвиненія,—я упорно пойду тѣмъ путемъ, которымъ шелъ. До тѣхъ поръ пока на одно такое письмо я буду получать десятки самыхъ пламенныхъ выраженій сочувствія,--буду упорствовать".

Письмо Чичерина вызвало рядъ протестовъ. Одинъ изъ нихъ былъ подписанъ именами: И. Бабста, Н. Тютчева, П. Анненкова, И. Тургенева, Скребицкаго. Кое-что изъ протестующихъ писемъ появилось и въ самомъ „Колоколѣ". Даже людей весьма умѣренныхъ взглядовъ письмо Чичерина не могло удовлетворить (отзывы инжен. Панаева, Никитенка и др.). Походъ на „Колоколъ" былъ пока проигранъ. „Если бы опубликованіе *обвинительнаго акта* только и принесло что эти горячіе, полные любви и симпатіи протесты, то я, конечно, не сталъ бы раскаиваться въ томъ, что напечаталъ,—писалъ Герценъ.—Взрывъ негодованія, вызванный его письмомъ, былъ общимъ въ молодомъ обществѣ, въ литературныхъ кругахъ... Сухо-оскорбительный, дерзко глад-

кій тонъ возмутилъ, можетъ, больше содержанія, и меня, и публику, одинаковымъ образомъ: онъ былъ еще новъ тогда... Зато на сторонѣ Чичерина стали: великая княгиня Елена Павловна, Тимашевъ, начальникъ III-го отдѣленія, и Н. Х. Кетчеръ". Нападеніемъ своимъ на Герцена Чичеринъ надолго подорвалъ свою популярность въ обществѣ. Что касается Герцена, ему долго еще было суждено оставаться въ глазахъ огромной части русскаго общества выразителемъ благороднѣйшихъ его стремленій и желаній освобожденія родины.

„Литературная диктатура" Герцена вызвала наплывъ къ нему самой пестрой толпы русскихъ посѣтителей. Быть за границей и не побывать въ Лондонѣ у Герцена—стало въ это время для русскихъ почти тѣмъ же, что для вѣрующаго католика быть въ Римѣ и не видѣть папы.

„Ни страшная даль, въ которой я жилъ отъ Вестъ-Энда,—вспоминаетъ онъ объ этомъ нашествіи,—ни постоянно запертыя двери по утрамъ,—ничего не помогало. Мы были въ модѣ.

„Кого и кого мы не видали тогда! Какъ многіе дорого заплатили бы теперь, чтобъ стереть изъ памяти, если не своей, то людской свой визитъ... Но тогда, повторяю, мы были въ модѣ, и въ какомъ-то гидѣ туристовъ я былъ отмѣченъ въ числѣ достопримѣчательностей Путнея.

„Такъ было отъ 1857 до 1863 гг.".

Рядомъ съ представителями литературы и науки являлась молодежь, ищущая дороги и совѣта, являлись свѣтскіе люди и пролетаріи, знатныя дамы и темныя личности, являлись съ дѣломъ и безъ дѣла, выразить сочувствіе, а то и пожурить дружески, какъ нѣкій военный, который, войдя въ кабинетъ, „вдругъ какъ-то пріосанился и сказалъ: Полковникъ такой-то, находясь проѣздомъ въ Лондонѣ, поставилъ за обязанность явиться".

Многочисленныя воспоминанія объ этомъ времени славы Герцена и поклоненія ему полны дружной хвалы необычайной общительности его, чарующему остроумію и прелести его бесѣды, блестѣвшей и захватывавшей.

„Хотя въ это время ему было уже слишкомъ 45 лѣтъ, но его невысокая плотная фигура поражала энергіей и живостью, а красивая голова съ откинутыми назадъ длинными волосами и умными выразительными глазами, съ перваго раза привлекала вниманіе. Невзгоды, прожитыя имъ въ Россіи съ самаго выхода изъ московскаго университета, и почти десять лѣтъ, проведенныхъ въ самомъ вихрѣ бурныхъ волненій за границей, не оставили слѣдовъ ни на его наружно-

сти, ни на характерѣ. Смотря на него, никто не подумалъ бы, сколько нравственныхъ потрясеній и горькихъ разочарованій испыталъ этотъ человѣкъ“ (А. Милюковъ).

„Что болѣе всего очаровывало въ немъ, чего не въ состояніи была передать никакая фотографіи—это удивительно живые, глубокіе глаза, которые, освѣщая огнемъ это красивое лицо съ высокимъ, прекрасно очерченнымъ лбомъ, придавали ему особенную привлекательность“ (Бѣлоголовый).

„Герценъ произвелъ на меня очень пріятное и чисто русское впечатлѣніе. Это былъ гостепріимный, добродушный, какъ будто балованный, русскій баринъ; не очень высокаго роста, очень полный, но живой человѣкъ, очень разговорчивый, съ мягко льющеюся рѣчью, блестѣвшею остроумiемъ... Мысль о ней (родинѣ), очевидно, никогда его не покидала; разговоръ постоянно обращался къ тѣмъ или другимъ чертамъ и подробностямъ тогдашнихъ русскихъ событій... ясно запечатлѣлось въ моей памяти общее воспоминаніе этой бесѣды, легко переходившей отъ серьезныхъ предметовъ къ шуткѣ, обыкновенно живой и остроумной, между прочимъ, на разныхъ языкахъ“ (Пыпинъ).

„По свободнымъ манерамъ Герценъ немножко походилъ на студента. Обращеніе его было простое и дружеское, и съ нимъ было легко и свободно. Я думаю, что это происходило оттого, что Герценъ все понималъ. Въ разговорѣ онъ былъ такой же, какъ и въ статьяхъ, съ тою же наготовѣ шпилькой и такой же умный. Герценъ быстро переходилъ отъ одного предмета къ другому, электризовалъ мысль собесѣдника, не давалъ ей покоя, поднималъ ее, заставлялъ идти впередъ. Разговоръ его былъ самый разнообразный, какъ блестящій калейдоскопъ,—и современные вопросы, и освобожденіе крестьянъ, и будущія русскія реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдотъ, и Викторъ Гюго, и Гете, и философія, и исторія, и политика. Герцену можно было бы сказать: „Съ вами ходишь точно по краю пропасти“; у непривычнаго могла закружиться голова“ (Шелгуновъ).

Не однихъ русскихъ такъ увлекалъ онъ. М. фонъ-Мейзенбугъ разсказываетъ, какъ одна англичанка, проведя нѣсколько дней съ кружкомъ знакомыхъ у Герцена на его дачѣ, ошеломленная и очарованная блескомъ его ума, теплотою чувства и талантомъ гостепріимства и собесѣдника, съ благоговѣніемъ воскликнула: „Герценъ—богъ!“ Въ воспоминаніяхъ Пассекъ о встрѣчѣ съ Герценомъ въ Парижѣ (1860 г.) разсказанъ такой эпизодъ: „Однажды онъ пригласилъ насъ въ картинную галлерею Лувра; тамъ, останавливаясь передъ картинами, обращавшими на себя его особенное вниманіе,

громко дѣлалъ такія оригинально-острыя замѣчанія, что мало-по-малу около насъ стала собираться толпа, среди которой слышались то восклицанія одобренія, то мелькали улыбки; толпа постепенно росла, слѣдомъ ходила за нами съ видимымъ ожиданіемъ еще большаго удовольствія и наконецъ такъ увеличилась, что мы принуждены были удалиться изъ Лувра".

Въ заключеніе приведемъ разсказъ Фр. Альтгауза, часто встрѣчавшагося съ Герценомъ, какъ лицо близкое М. ф. Мейзенбугъ. Альтгаузъ съ глубокою симпатіею вспоминаетъ скучныя лондонскія воскресенья, въ которыя домъ Герцена былъ открытъ для всѣхъ друзей и знакомыхъ. „Нельзя было найти болѣе любезнаго хозяина, иногда любившаго ради шутки разыгрывать варвара. Въ человѣкѣ можно было узнать писателя и открыть еще больше,—человѣка, соединявшаго утонченныя манеры съ увлекательною откровенностью и простотою, человѣка, столь же импонировавшаго умомъ и характеромъ, сколько симпатически къ себѣ притягивавшаго. Не будучи ораторомъ, онъ обладалъ большою ловкостью въ дебатахъ; у него былъ блестящій талантъ собесѣдника и разсказчика и неистощимое остроуміе. Онъ остро замѣчалъ особенности и слабости людей, съ которыми приходилъ въ соприкосновеніе, и не стѣснялся во всѣ стороны наносить и острые сатирическіе удары; но каждый, кто имѣлъ что сказать, имѣлъ возможность высказаться, и никто не умѣлъ охотнѣе его признавать дѣйствительныя заслуги.

„Въ физіономіи его былъ рѣзко выраженъ славянскій типъ, хотя нельзя было не признать отчасти и нѣмецкаго его происхожденія. Средняго роста, коренастая фигура, высокій лобъ, проницательные сѣроголубые глаза, твердо и гармонически поставленный носъ, выразительный ротъ, окладистая черная борода и длинные, до плечъ, темные волосы,—все существо и всѣ его черты говорили о дѣятельномъ темпераментѣ, о благородной мужественной рѣшительности. Кто зналъ его ближе, находилъ за этой оболочкой не только пламенную душу, но и мягкое, горячо чувствующее сердце. Славянской хитрости и лукавства въ немъ не было ни слѣда. Прямъ, правдивъ, откровененъ онъ былъ во всемъ, какъ въ склонностяхъ, такъ и въ антипатіяхъ, въ своей ненависти и въ своей любви".

Въ большихъ собраніяхъ гостей, какія нерѣдко случались и носили очень смѣшанный характеръ, Герценъ, однако, не любилъ высказываться съ той стороны, которая тѣмъ не менѣе составляла основной грустный фонъ его жизни за границею. Этотъ фонъ—живущая глубоко въ тайникахъ души, ничѣмъ неутолимая тоска по родинѣ. Друзья и знако-

мые оставили намъ кое-какія трогательныя черты этого глубокаго настроенія его души.

Однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ его огорченій было, что его сынъ не захотѣлъ вернуться на родину, женился на иностранкѣ и самъ сталъ для родины Герцена иностранцемъ.

Воспоминанія разныхъ лицъ говорятъ, какъ въ мелочахъ домашней обстановки старался онъ удержать традиціонныя особенности русскаго обихода, съ какимъ торжествомъ готовъ былъ угостить симпатичнаго ему гостя чаемъ изъ русскаго самовара, обѣдомъ изъ русскихъ блюдъ. Иногда его при встрѣчахъ съ русскими надолго занимали воспоминанія о самыхъ незначительныкъ подробностяхъ и мелочахъ обыденной русской жизни. Возможность услышать отъ заѣзжаго русскаго любителя-пѣвца русскую пѣсню трогаетъ его до слезъ (разсказъ инж. Панаева). А. Милюковъ вспоминаетъ, какъ послѣ оживленной рѣчи о Россіи онъ послѣ обѣда предложилъ спѣть хоромъ: „Всѣ мы, не исключая дѣтей, усѣлись на коврѣ въ два ряда, лицомъ одни къ другимъ, изображая такимъ образомъ лодку, и затянули, какъ умѣли „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ“. За этой забавой засталъ ихъ Саффи, усомнившійся въ здравомъ разсудкѣ друзей. Еще болѣе значительную сцену вспоминаетъ двоюродный братъ Герцена Левицкій. „Однажды, во время свиданія обоихъ семействъ (въ Парижѣ), Герценъ, разговорившись о Россіи, вдругъ всталъ, пошелъ, заперъ двери и сказалъ: „Ну, теперь господа, вотъ что мы сдѣлаемъ. Давайте, пропоемъ „Боже, Царя храни“!“ Всѣ удивились, но послушались, и „Боже, Царя“ было пропѣто нѣсколько разъ присутствующими. Конечно, ни слова Жуковскаго, ни музыка Львова не интересовали его, но дорого и горячо было воспоминаніе о Россіи, о молодыхъ невозвратныхъ годахъ, о толпѣ народа, о давно не виданныхъ лицахъ друзей и знакомыхъ“ (Стасовъ, Н. Н. Ге, стр. 162). Особенно унылымъ колоритомъ неизбывной тоски по родинѣ окрашены воспоминанія о встрѣчѣ съ Герценомъ его подруги дѣтства, Т. П. Пассекъ, съ которой онъ не встрѣчался лѣтъ двадцать. Встрѣча эта вызвала наружу все таившееся въ душѣ Герцена тайное томленіе по далекой и недоступной Россіи и лишь изрѣдка высказываемую тайную мечту о возвращеніи...

„Я всматривалась въ него отчасти съ удивленіемъ, отчасти съ грустью, отыскивая знакомыя близкія мнѣ черты. Передо мною былъ тотъ же Александръ да не тотъ; самая наружность его много измѣнилась: онъ очень пополнѣлъ, въ волосахъ серебрилась сѣдина, въ пріемахъ была самоувѣренность, во взглядѣ, въ голосѣ — привычка къ авторитету;

минутами въ лицѣ его выступала знакомая мнѣ черта добродушія, а когда обращался ко мнѣ, мелькала его полудѣтская улыбка. Я чувствовала, что между нами протѣснилась пропасть лицъ, событій, страстныхъ интересовъ, понятій, мнѣ чуждыхъ и не желанныхъ. Рѣчь Александра лилась, какъ водопадъ, сначала она увлекала меня, потомъ утомляла до того, что, какъ бы сквозь водяную пыль, мнѣ стали чудиться то Лондонъ и Римъ, то уютный кабинетъ съ полками книгъ и звѣздочка свѣтитъ въ окно, имена Фази, Гарибальди, смѣняли Никъ, Грановскій; изъ-за circolo Romano и Tribune des peuples—выступало Васильевское, рѣка съ плотиною, и лѣсъ шумитъ, и отрокъ съ робкимъ взоромъ и восторженною рѣчью... „Нѣтъ, говорила я сама себѣ, какъ бы пробуждаясь отъ сна: между былымъ и настоящимъ святая связь не порвалась“.—Къ концу свиданія Герценъ заговорилъ о разницѣ между собою и подругой дѣтства въ убѣжденіяхъ, о разницѣ путей, по которымъ они пошли. Пассекъ почувствовала себя обиженною, и наконецъ, стараясь казаться спокойною, сказала: „Ты ничего не теряешь!“ Герценъ заговорилъ о родинѣ, о грусти по ней и закончилъ словами:

„— Ну, да года черезъ три или четыре вы увидите насъ въ Россіи.

„Я посмотрѣла на него съ удивленіемъ и спросила:

„— Какимъ же это образомъ?

„Тогда онъ туманно—или это мнѣ такъ показалось, оттого что я была слишкомъ взволнована, — сталъ мнѣ объяснять, какъ это возможно; я долго слушала, не возражая, и, когда онъ умолкнулъ, сказала печально:

„— Мнѣ кажется, Саша, ты ошибаешься“.

Она была пророкомъ, и тайная мечта Герцена, которой онъ касался лишь при самыхъ близкихъ, о которой говорилъ лишь потрясенный такими случаями, какъ эта встрѣча съ обломкомъ незабвеннаго прошлаго, осталась навсегда только мечтою...

Какъ видно изъ этихъ же воспоминаній, около времени этой встрѣчи произошла и перемѣна въ отношеніяхъ между Герценомъ и женою Огарева, стоившая всѣмъ тремъ тяжелой нравственной ломки, закончившаяся отъѣздомъ Огарева...

X.

Освобожденіе крестьянъ.

„Экономическій вопросъ — есть главнѣйшій, существеннѣйшій, единый спасающій. До сихъ поръ люди все толковали о фасадѣ, о гербахъ, о заборахъ и сѣняхъ, о границахъ и церемоніалахъ. Тѣ же, которые сказали міру: „Ты печешься о многомъ — едино же на потребу: экономическое устройство!“ — тѣ первые поняли, что подлинникъ готовъ, что пора жить и полно обстраиваться. Свести кровавые религіозные вопросы на человѣческіе, и кровавые политическіе вопросы на экономическіе,—въ этомъ вся задача современности“ („Кол.“, № 33).

Этотъ теоретическій взглядъ на значеніе экономическихъ отношеній не могъ не выдвинуться у Герцена на первое мѣсто, когда онъ, наканунѣ освобожденія крестьянъ, сталъ въ положеніе публициста, обсуждающаго очередные вопросы. „Неисправимый соціалистъ“, скептически оцѣнивающій результаты чисто политическихъ переворотовъ, онъ оставляетъ политическій вопросъ о русскомъ неограниченномъ самодержавіи открытымъ нѣсколько лѣтъ, потому что на первое мѣсто, въ силу особенностей русской исторіи, выдвинулся одинъ изъ ея соціально-экономическихъ вопросовъ, именно—крѣпостное право.

„Я другъ республики, я другъ демократіи,—говорилъ о себѣ Герценъ,—но гораздо больше другъ *свободы, независимости и развитія*. Если мнѣ возразятъ,—да можетъ ли быть свобода и независимость внѣ республики и демократіи,—я отвѣчу, что и съ *ними* онѣ не могутъ быть, если народъ не *дорось* до нихъ“... „Мы стремимся и хотимъ дѣйствовать въ нашемъ времени, въ современной Россіи—это заставляетъ насъ не втѣснять вопросовъ, но стараться овладѣть тѣми, которые уже возникли... Сѣверный Левіафанъ прошелъ чрезъ доки, покачнулся, справился и плыветъ... у него на знаменахъ *освобожденіе крестьянъ съ землею*, т. е. опять соціальный во-

просъ передъ политическимъ. Увидавъ это, мы бросили все и прилѣпились къ этому жизненному вопросу. И вотъ вамъ причина нашего успѣха". „Колоколъ", объяснялъ далѣе Герценъ, поэтому и пересталъ „звонить республикѣ и солидарности народовъ". Онъ предвидитъ, если бы вздумалъ держаться прежней фразеологіи, и признаетъ основательнымъ такое неизбѣжное возраженіе: „Что вы намъ толкуете о всемірной республикѣ, которой нигдѣ нѣтъ, о братствѣ народовъ, которые вездѣ рѣжутся; мы все это читали въ Руссо и Вольтерѣ, въ исторіи первой революціи и въ газетахъ 1848 года. У насъ теперь забота растолковать, что такое усадебная земля и сколько десятинъ пашни дать крестьянину, ну,—гдѣ же намъ читать ваши декларацiи!" — Колоколу пришлось бы прикусить свой желѣзный языкъ" („Колоколъ", № 32).

Когда „Колоколъ" начиналъ свой звонъ, раскатившійся отъ вершинъ русскаго политическаго строя до послѣднихъ низинъ общественнаго мнѣнія, издатель его имѣлъ уже готовую программу рѣшенія крестьянскаго вопроса. Она сложилась и вылилась въ его изданіяхъ, рѣчахъ и статьяхъ, начиная съ первыхъ листовъ вольной русской типографіи и еще раньше. Здѣсь,—говоритъ компетентный историкъ крестьянскаго вопроса,—„Герценъ высказалъ по крестьянскому вопросу все то, что было выработано лучшими представителями русской интеллигенціи, начиная съ Радищева, который уже требовалъ земельнаго надѣла для крестьянъ, и кончая членами кружка, къ которому принадлежалъ самъ авторъ „Крещеной собственности" до отъѣзда за границу, и обращаясь къ которому, онъ говорилъ: „Я здѣсь—безцензурная рѣчь ваша". На сказанное имъ въ первой половинѣ 1850-хъ годовъ по крестьянскому вопросу можно смотрѣть, какъ на коллективное заявленіе самыхъ передовыхъ людей русскаго общества наканунѣ новаго царствованія" *). Приведемъ сгруппированныя авторомъ этой цитаты положенія Герцена по крестьянскому дѣлу:

1. Полумѣры въ крестьянскомъ дѣлѣ ни къ чему не приведутъ; должно совершенно покончить съ крѣпостнымъ правомъ. Если крестьяне не будутъ освобождены, дѣло можетъ кончиться кровавымъ возстаніемъ.

2. Освобожденіе крестьянъ должно быть произведено не иначе, какъ съ надѣленіемъ ихъ землею. Сочувствіе обезземеленію народа съ радикальной точки зрѣнія—нелѣпость.

---

*) [illegible]скій, Крестьянскій вопросъ Россіи въ XVIII и первой пол[illegible] п., т. II, Стр. 614, и др.

3. Необходимо сохранить за крестьянами всю ту землю, которою они теперь пользуются.

4. Необходимо сохранить общинное землевладѣніе.

5. Если иниціативу освобожденія не возьметъ въ свои руки дворянство (для чего слѣдуетъ разрѣшить ему свободное обсужденіе этого вопроса), то крѣпостное право будетъ уничтожено верховною властью, и дворянство не будетъ имѣть силы этому воспротивиться.

6. Освобожденіе крестьянъ правительствомъ облегчается сильною задолженностью помѣщичьихъ имѣній въ кредитныхъ учрежденіяхъ; возможенъ и внутренній заемъ для выкупа крѣпостныхъ.

„Вотъ программа по крестьянскому вопросу,—замѣчаетъ г. Семевскій,—выставленная „свободнымъ органомъ“ русской интеллигенціи въ концѣ царствованія императора Николая; нѣсколько лѣтъ позднѣе она сдѣлалась и правительственною программою. Не было, однако, исполнено при уничтоженіи крѣпостнаго права одно изъ требованій Герцена,—необходимость сохраненія за крестьянами всей земли, предоставленной имъ въ пользованіе помѣщиками. Такимъ образомъ, теоретическія основы будущаго освобожденія были выработаны лучшими представителями интеллигенціи; оставалось лишь сдѣлать ихъ достояніемъ большинства общества и примѣнить къ дѣлу: такова была задача, поставленная исторіею второй половинѣ 1850-хъ годовъ“.

Исторіи освобожденія мы не пишемъ, намъ нѣтъ необходимости поэтому говорить подробно, насколько эта программа соотвѣтствовала возможному правильному и всестороннему рѣшенію вопроса. Замѣтимъ лишь, что въ подготовительный періодъ реформы и не было выдвинуто проектовъ, которые, считаясь съ реальнымъ положеніемъ вещей, ставили бы дѣло на болѣе широкую почву. Единственный человѣкъ въ нашей публицистикѣ, столь же прямо и рѣзко смотрѣвшій на дѣло,—Чернышевскій говорилъ лишь о размѣрѣ выкупа, доказывая необходимость держаться возможно низкихъ цифръ. Новѣйшій историкъ крестьянской реформы вообще весьма скромно цѣнитъ роль печати со стороны практическаго вліянія на самый ходъ реформы. „Для такой роли она явилась слишкомъ поздно... Наиболѣе вліятельными дѣятелями на этой аренѣ явились главнымъ образомъ тѣ же самые люди, которые выступали въ губернскихъ комитетахъ. Это были все тѣ же Самарины, Кошелевы, Черкасскіе, Унковскіе, Головачевы, которые дали ходъ извѣстнымъ идеямъ и планамъ въ дворянской средѣ сперва въ видѣ рукописныхъ записокъ, затѣмъ въ видѣ рѣчей и письменныхъ мнѣній и

заявленій въ губернскихъ комитетахъ" *). „Колоколъ", напротивъ, былъ выраженіемъ взглядовъ этихъ передовыхъ дѣятелей освобожденія. Тотъ же историкъ, напр., отмѣчаетъ тожество программы Унковскаго и Герцена (стр. 121), хотя ни въ какой перепискѣ они не состояли. И дѣйствительно, „Колоколъ" оказалъ сильное вліяніе на ходъ дѣла.

Въ томъ, что писалъ и печаталъ Герценъ о ходѣ реформы, имѣли свое значеніе равно и общее освѣщеніе вопроса, преимущественно въ статьяхъ самого Герцена, и детальная разработка тѣхъ или другихъ сторонъ дѣла. Статьи Герцена говорили объ общемъ соціальномъ смыслѣ реформы для жизни Россіи или о значеніи отдѣльныхъ моментовъ для общаго хода освобожденія. Статьи Огарева и различные матеріалы и статьи, присылаемые изъ Россіи, подкрѣпляли и обосновывали общій взглядъ на пути и задачи освобожденія.

Для широкой массы читателей больше интересны, доступнѣе были, конечно, статьи Герцена. Въ нихъ онъ говорилъ столько же сердцу, сколько и уму читателей и, громя препятствія, лежавшія на пути освобожденія, горячею вѣрою въ будущее вливалъ бодрость и надежду въ сердца. Изъ этихъ статей наиболѣе прославлена—и по заслугамъ—статья въ № 9 „Кол.", подъ заглавіемъ „Черезъ три года" (трехлѣтіе восшествія на престолъ Александра II), начинавшаяся словами: „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!"—по которымъ она извѣстна въ литературѣ.

20 ноября 1857 года Александромъ II былъ подписанъ рескриптъ на имя виленскаго генералъ-губернатора Назимова, предоставлявшій дворянству трехъ губерній литовскихъ, по его ходатайству, приступить къ составленію проектовъ „улучшенія быта" крѣпостныхъ крестьянъ, для чего надлежало образовать губернскіе комитеты и потомъ общую комиссію въ Вильнѣ, въ составѣ представителей дворянства и администраціи. Рескриптъ сопровождался отношеніемъ министра внутреннихъ дѣлъ С. Ланского на имя Назимова, заключавшимъ дополнительныя указанія и соображенія министра. И начала, изложенныя въ рескриптѣ, и соображенія министра ставили вопросъ гораздо уже, чѣмъ онъ сталъ впослѣдствіи, но разъ вступивъ на эту дорогу гласности, нельзя было уже топтаться на мѣстѣ, какъ то дѣлали негласные комитеты по крестьянскому дѣлу въ минувшее царствованіе. Чрезъ четыре дня, по мысли, какъ полагаютъ Великаго Князя Константина Николаевича, и рескриптъ и отношеніе Ланского къ Назимову были разосланы въ печат-

*) А. Корниловъ. Крестьянская реформа. Спб. 1905, стр. 118.

номъ видѣ губернаторамъ и губернскимъ предводителямъ дворянства „для свѣдѣнія и соображенія на случай, если бы дворянство этихъ губерній изъявило бы подобное желаніе". Въ этомъ циркулярѣ собственно и было впервые оффиціально произнесено слово „освобожденіе", сообщалось, что Государь „съ особымъ удовольствіемъ" узналъ о „благородномъ намѣреніи" литовскаго дворянства, и намекалось о желательности такого же заявленія намѣреній со стороны русскаго дворянства. Разсылка копій рескрипта отрѣзывала отступленіе, на которое могли еще надѣяться крѣпостники. 17 декабря послѣдовало опубликованіе этихъ документовъ. Вскорѣ, вслѣдъ за нижегородскимъ дворянствомъ, которое отозвалось первымъ, заявленія объ открытіи комитетовъ стали поступать изо всѣхъ губерній. Рубиконъ былъ перейденъ, и извѣстно, какъ радостно былъ встрѣченъ въ русскомъ обществѣ этотъ шагъ, какъ радужны были надежды сторонниковъ освобожденія *). Съ другой стороны, если крѣпостники были полны страховъ и ужасовъ предъ моментомъ близкаго паденія рабства, то именно съ 20 ноября крестьянство съ нетерпѣніемъ, но въ полномъ достоинства покоѣ стало ждать результатовъ возвѣщеннаго освобожденія. Только гораздо позднѣе, когда выяснились на дѣлѣ недостатки реформы, вызванные противодѣйствіемъ крѣпостниковъ и условіями ея бюрократическаго проведенія, и оказалось, что экономическое положеніе освобождаемыхъ мѣстами ухудшится, только тогда возобновились крестьянскія волненія, въ предыдущее царствованіе хроническія.

„Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!"—писалъ Герценъ, привѣтствуя рѣшительный шагъ къ освобожденію, за которымъ уже не будетъ возврата.—И намъ легко это сказать потому, что у насъ, въ нашей борьбѣ не замѣшано ни самолюбія, ни личности. Мы боролись изъ дѣла,—кто его сдѣлалъ, тому и честь...

„...Мы имѣемъ дѣло уже не съ случайнымъ преемникомъ

*) Характернѣе всего въ этомъ отношеніи были, можетъ быть, розовыя надежды, высказанныя не кѣмъ инымъ, какъ Чернышевскимъ въ „Современникѣ": „Исторія Россіи съ настоящаго года,—писалъ онъ,—будетъ столь же различна отъ всего предшествовавшаго, какъ различна была ея исторія со временъ Петра отъ прежнихъ временъ. Новая жизнь, теперь для насъ начинающаяся, будетъ настолько же прекраснѣе, благоустроеннѣе, блистательнѣе и счастливѣе прежней, насколько сто пятьдесятъ послѣднихъ лѣтъ были выше XVII столѣтія въ Россіи... Благословеніе, обѣщанное миротворцамъ и кроткимъ, увѣнчиваетъ Александра II счастьемъ, какимъ не былъ увѣнчанъ еще никто изъ Государей Европы, счастьемъ—одному начать и совершить освобожденіе своихъ подданныхъ" („О новыхъ условіяхъ сельскаго быта", полн. собр. соч., т. IV).

Николая, а съ мощнымъ дѣятелемъ, открывающимъ новую эру для Россіи. Онъ столько же наслѣдникъ 14-го декабря, сколько Николай. Онъ работаетъ съ нами—для великаго будущаго.

„Имя Александра II отнынѣ принадлежитъ исторіи; если-бъ его царствованіе завтра окончилось, если-бъ онъ палъ подъ ударами какихъ-нибудь крамольныхъ олигарховъ, бунтующихъ защитниковъ барщины и розогъ,—все равно освобожденіе крестьянъ сдѣлано *имъ*, грядущія поколѣнія этого не забудутъ!

„Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ онъ могъ остановиться. Нѣтъ, нѣтъ, пусть онъ довершитъ начатое,—пусть полный вѣнокъ закроетъ его корону. Гнилое, своекорыстное, дикое, алчное противодѣйствіе закоснѣлыхъ помѣщиковъ, ихъ волчій вой—не опасенъ. Что они могутъ противопоставить, когда противъ нихъ *власть* и *свобода*, образованное меньшинство и весь народъ, царская воля и общественное мнѣніе?

„И пуще всего общественное мнѣніе. Лишь бы теперь нашимъ плантаторамъ и ихъ противникамъ позволено было вполнѣ высказаться, помѣриться. ...И тутъ, какъ во всемъ, поневолѣ бьешься въ другое *великое искомое* современной Россіи—*въ гласность*".

Герценъ вызываетъ на свѣтъ Божій „защитниковъ розогъ и крещеной собственности", „грабителей по дворянской грамотѣ", „людокрадовъ, отнимающихъ у матерей дѣтей, торгашей, продающихъ дѣвокъ, барышниковъ рекрутами, Собакевичей, Ноздревыхъ, Плюшкиныхъ и пуще всего—Пѣночкиныхъ *): „Попробуйте не розгой, а перомъ, не въ конюшнѣ, а на бѣломъ свѣтѣ высказаться.—Помѣряемтесь!"

„Вы упорствуете, вы защищаете ваше право... Исторія васъ разсудитъ съ Императоромъ Александромъ II и съ народомъ русскимъ,—смотрите только, какъ бы она для васъ не настала слишкомъ скоро. Подумайте объ этомъ!

„Что касается до насъ,—нашъ путь впередъ назначенъ: мы идемъ съ тѣмъ, кто освобождаетъ; въ этомъ мы послѣдовательны всей нашей жизни. Какъ бы слабъ нашъ голосъ ни былъ, все же онъ *живой голосъ*, и какъ бы нашъ „Колоколъ" ни былъ малъ, все же его слышно въ Россіи, а потому скажемъ еще разъ (а первый разъ это сказалъ въ своей статьѣ Огаревъ **), что мы убѣждены, что Але-

*) Герой одного изъ разсказовъ въ „Запискахъ Охотника", изящный и мягко стелящій помѣщикъ—любитель тѣлесныхъ наказаній.

**) „Мы хотѣли слѣдить за всѣми подробностями правительственныхъ распоряженій за прошлый годъ, но подробности ис-

за подписью издателей писалось: „Государь! Мы съ ужасомъ прочли проекты центральнаго комитета. Остановитесь! Не утверждайте! Вы подпишете свой стыдъ и гибель Россіи. Какъ честные люди, отъ искренней скорби и отъ искренняго желанія добра, ради всего святого, умоляемъ Васъ: не утверждайте! Одумайтесь!"

Долею эти тревоги не оправдались, дѣло шло своимъ чередомъ, и губернскіе комитеты, образованные для мѣстной разработки данныхъ для реформы, дали матеріалы, въ которыхъ сторонники освобожденія, по серьезности и глубинѣ пониманія, были впереди крѣпостниковъ. Вліяніе на эти мѣстные комитеты „Колокола" внѣ сомнѣній. Въ частности, напр., по Тверской губерніи, по приведенному выше свидѣтельству Унковскаго, журналъ Герцена перевернулъ воззрѣнія дворянства. О томъ же имѣются указанія и по другимъ комитетамъ. Не смотря на всѣмъ объявленную секретность занятій комитетовъ, Герцену удалось помѣстить рядъ записокъ, внесенныхъ въ комитеты, и основанія проектовъ, принятыхъ нѣкоторыми комитетами. Особенное значеніе имѣла идея выкупа, одинъ проектъ котораго (составленный инженеромъ Панаевымъ) безъ имени автора былъ напечатанъ въ V книжкѣ „Голосовъ изъ Россіи".

Между тѣмъ, во главѣ работъ по освобожденію крестьянъ сталъ по назначенію Государя Я. И. Ростовцевъ, къ которому раньше Герценъ относился крайне враждебно, основываясь на печальной роли Ростовцева наканунѣ 14 декабря и потомъ—въ качествѣ начальника и составителя чудовищно лицемѣрныхъ и реакціонныхъ программъ военно-педагогическихъ заведеній. Но изданіямъ Герцена суждено было произвести серьезное вліяніе по крестьянскому дѣлу на того же Ростовцева, именно во время пребыванія его въ Вильбадѣ. Ростовцевъ, не сразу хотя, но вполнѣ искренно сталъ на сторону рѣшительной развязки отношеній между помѣщиками и крѣпостными. Самаринъ уговорилъ Герцена прекратить нападки на лицо, пользовавшееся безусловнымъ довѣріемъ Государя и своимъ вліяніемъ содѣйствовавшее успѣшному ходу реформы, и позднѣе въ „Колоколѣ" появилось письмо Ростовцева къ графу Орлову (отъ 15 іюля 1859 г.) по поводу назначенія его въ предсѣдатели редакціонныхъ комиссій, содержавшее его программу.

„Колоколъ" доставлялся въ редакціонныя комиссіи, вырабатывавшія проектъ Положенія о крестьянахъ, изъ III-го Отдѣленія, „для того, чтобы мы все знали, что объ насъ будутъ писать за границей",—объяснилъ своимъ сотрудникамъ Ростовцевъ и прибавилъ: „Я буду васъ просить, чтобы вы изъ „Кол." заимствовали и приняли въ соображеніе

все, что только можетъ быть полезно и примѣнимо къ исполненію и усовершенствованію проекта Положеній". Былъ, наконецъ, случай, когда изданный Герценомъ проектъ освобожденія (кажется, панаевскій) былъ направленъ въ редакціонныя комиссіи лично Государемъ, получившимъ его письмомъ изъ-за границы.

Въ „Колоколѣ" постоянно печатались извлеченія изъ журналовъ редакціонныхъ комиссій, что въ виду строгой келейности занятій ихъ для русскаго общества имѣло огромное значеніе. Подробный обзоръ дѣятельности ихъ велся въ „Кол." Огаревымъ, Герценъ же обыкновенно давалъ откликъ на болѣе выдающіеся почему-либо моменты и особенности хода реформы. Напр., когда стало извѣстно, что въ редакціонныхъ комиссіяхъ оказались сторонники сохраненія для крестьянъ розогъ, онъ напечаталъ горячій протестъ („Розги долой", № 75), предлагая составить „союзъ воздержанія отъ тѣлесныхъ наказаній", и напечаталъ въ „Кол." полностью имена какъ противниковъ, такъ и сторонниковъ розги.

Но правительство недолго признавало Герцена и его журналъ, какъ бы своими союзниками. Происки крѣпостниковъ сопровождались и все меньшимъ вниманіемъ къ „Кол.", который по мѣрѣ развитія реакціи подвергался все болѣе строгимъ преслѣдованіямъ. А реакція все болѣе подымала голову.

Вызванные въ Петербургъ въ августѣ 1859 г. представители большинства и меньшинства дворянскихъ комитетовъ явились не въ качествѣ уполномоченныхъ представителей дворянства, въ чемъ опасались показать нѣчто въ родѣ созыва представителей сословій, а въ роли просто свѣдущихъ людей, которымъ и собираться-то совмѣстно не было дозволено. Правительство опасалось крѣпостнической оппозиціи, но еще больше боялось прямого обращенія къ гласности и общественному мнѣнію. Послѣдовало запрещеніе дворянскимъ собраніямъ обсуждать крестьянскую реформу. Въ Твери дворянство, подъ руководствомъ своего предводителя Унковскаго, энергично стало отстаивать свое право, прося отмѣны циркуляра съ названнымъ запрещеніемъ, но это въ концѣ концовъ имѣло слѣдствіемъ ссылку Унковскаго въ Вятку, бѣжецкаго предводителя Европеуса въ Пермь. Было немало и другихъ признаковъ расхожденія общества и правительства, въ которомъ однѣми руками готовились реформы, а другими дѣлались всѣ усилія, чтобы ихъ затормозить, сузить и обезцвѣтить.

Болѣзнь и смерть Ростовцева окрылили крѣпостниковъ, и благодаря ихъ голосу во главѣ редакціонныхъ комиссій поставленъ завѣдомый противникъ освобожденія, министръ

за подписью издателей писалось: „Государь! Мы съ ужасомъ прочли проекты центральнаго комитета. Остановитесь! Не утверждайте! Вы подпишете свой стыдъ и гибель Россіи. Какъ честные люди, отъ искренней скорби и отъ искренняго желанія добра, ради всего святого, умоляемъ Васъ: не утверждайте! Одумайтесь!“

Долею эти тревоги не оправдались, дѣло шло своимъ чередомъ, и губернскіе комитеты, образованные для мѣстной разработки данныхъ для реформы, дали матеріалы, въ которыхъ сторонники освобожденія, по серьезности и глубинѣ пониманія, были впереди крѣпостниковъ. Вліяніе на эти мѣстные комитеты „Колокола“ внѣ сомнѣній. Въ частности, напр., по Тверской губерніи, по приведенному выше свидѣтельству Унковскаго, журналъ Герцена перевернулъ воззрѣнія дворянства. О томъ же имѣются указанія и по другимъ комитетамъ. Не смотря на всѣмъ объявленную секретность занятій комитетовъ, Герцену удалось помѣстить рядъ записокъ, внесенныхъ въ комитеты, и основанія проектовъ, принятыхъ нѣкоторыми комитетами. Особенное значеніе имѣла идея выкупа, одинъ проектъ котораго (составленный инженеромъ Панаевымъ) безъ имени автора былъ напечатанъ въ V книжкѣ „Голосовъ изъ Россіи“.

Между тѣмъ, во главѣ работъ по освобожденію крестьянъ сталъ по назначенію Государя Я. И. Ростовцевъ, къ которому раньше Герценъ относился крайне враждебно, основываясь на печальной роли Ростовцева наканунѣ 14 декабря и потомъ—въ качествѣ начальника и составителя чудовищно лицемѣрныхъ и реакціонныхъ программъ военно-педагогическихъ заведеній. Но изданіямъ Герцена суждено было произвести серьезное вліяніе по крестьянскому дѣлу на того же Ростовцева, именно во время пребыванія его въ Вильбадѣ. Ростовцевъ, не сразу хотя, но вполнѣ искренно сталъ на сторону рѣшительной развязки отношеній между помѣщиками и крѣпостными. Самаринъ уговорилъ Герцена прекратить нападки на лицо, пользовавшееся безусловнымъ довѣріемъ Государя и своимъ вліяніемъ содѣйствовавшее успѣшному ходу реформы, и позднѣе въ „Колоколѣ“ появилось письмо Ростовцева къ графу Орлову (отъ 15 іюля 1859 г.) по поводу назначенія его въ предсѣдатели редакціонныхъ комиссій, содержавшее его программу.

„Колоколъ“ доставлялся въ редакціонныя комиссіи, вырабатывавшія проектъ Положенія о крестьянахъ, изъ III-го Отдѣленія, „для того, чтобы мы все знали, что объ насъ будутъ писать за границей“,—объяснилъ своимъ сотрудникамъ Ростовцевъ и прибавилъ: „Я буду васъ просить, чтобы вы изъ „Кол.“ заимствовали и приняли въ соображеніе

товаться съ генералами и бюрократами, съ молодыми учеными и „ветхими“ невѣжествомъ стариками. Этого было мало, оно созвало какихъ-то нотаблей и велѣло имъ *молчать* свой совѣтъ. Все это вмѣстѣ—невольное сознаніе, что у императоровъ нѣтъ больше вѣры въ свою нравственную силу, ту кровную связь съ народомъ, по которой правительство и революціонеръ чуютъ, что имѣютъ право *дерзнуть*!

„Но уже . . . . . , испуганный какими-то призраками, держался за безконечныя фалды Панина и говорилъ ему: „Ты меня не обманешь!“

„Это своего рода отреченіе.

„Александръ II пустилъ пращу, и въ этомъ его историческое значеніе, куда она долетитъ—внѣ его власти, это даже независимо отъ того, обманетъ его Панинъ или нѣтъ“.

Статья въ № 68—69 „Кол.“ отъ 15/IV 1860 (не подписанная Герценомъ, но, несомнѣнно, по стилю, ему принадлежащая): „Письма изъ провинціи“—своимъ грустнымъ тономъ говоритъ, какъ тяжело было Герцену отрываться отъ надеждъ на мирное, безъ тяжелыхъ конфликтовъ, рѣшеніе кризиса русской жизни.

„Не утратимъ вѣры въ русское развитіе,—грустно писалъ Герценъ:—оттого, что слабый . . . . . , споткнувшись объ Панина, упалъ въ слякоть и грязь—Лужинскихъ *) доносовъ. Его жалчѣе насъ. „Послѣ пятилѣтняго царствованія, наполнившаго надеждами сердца римлянъ,—Цезарь измѣнился“. Рѣчь шла о Неронѣ; отъ души желаемъ, чтобъ эти слова Римскаго лѣтописца не повторялись будущимъ Карамзинымъ.

„Насъ упрекнуть нельзя. Мы держались до послѣдней крайности, до открытой измѣны, до преступнаго назначенія Панина, до самоуправства въ дѣлѣ Унковскаго и Европеуса, до полицейскаго заговора, вслѣдствіе котораго нахватали студентовъ, профессора Каченовскаго, и мы не знаемъ кого еще. Мы могли подаваться и уступать, когда главный потокъ шелъ своимъ русломъ, теперь другое дѣло!

„Прощайте, ... , счастливаго пути! Bon voyage!.. Намъ—сюда“.

Герценъ предвидѣлъ, что этотъ поворотъ въ отношеніи къ правительству вызоветъ новыя нападенія на „Колоколъ“.

„— Какъ?—закричатъ снова наши рыбокровные мудрецы, наши Меттернихи en herbe, наши Оксенштирны въ прозябаніи.

---

*) Лужинъ—харьковскій губернаторъ, заведшій вздорныя обвиненія на университетъ въ заговорѣ.

„— Давно ли вы говорили?..—Пожалуйста, гг. Сперанскіе in spe, обратитесь съ этимъ вопросомъ къ . . . . . Изъ насъ—честь „шанже черезъ половину манежа“—принадлежитъ не намъ!“

Съ этого времени въ „Колоколѣ“ выдвигается чаще и опредѣленнѣе мысль объ ограниченіи самодержавія, какъ единственномъ средствѣ самозащиты отъ правительства, не желающаго идти впереди общества. Такъ, уже въ № 70 отъ 1/V 1860 г. по поводу книги кн. Долгорукова „Правда о Россіи“ (La verité sur la Russie, Paris, 1860), Герценъ замѣчаетъ: „Авторъ полагаетъ, что мы, какъ соціалисты, не будемъ согласны съ его конституціонными стремленіями. Мы думаемъ, напротивъ, что есть обстоятельства, при которыхъ нельзя избѣгнуть этихъ переходныхъ формъ, онѣ столько же необходимы бѣснующемуся самодержавію, сколько камзолъ бѣснующемуся вообще“. Указывая на неспособность правительства удовлетворительно рѣшить крестьянскій вопросъ и перечисляя факты гоненій за политическій образъ мыслей, Герценъ замѣчаетъ: „Разумѣется, что въ такомъ положеніи всякаго рода перила, плотины, gardes des foux, со стороны общества противъ Зимняго Дворца очень хороши“.

Но, не смотря на всѣ тормозы, на урѣзки и происки крѣпостниковъ, крестьянская реформа шла къ концу. Редакціонныя комиссіи кончили свою работу. И дѣло быстро, подъ предсѣдательствомъ самого Государя въ Совѣтѣ, шло къ завершенію. Наконецъ, ждали со дня на день манифеста.

Глубокое душевное волненіе; смѣшанное чувство радости и душевнаго облегченія и въ то же время тяжелое сознаніе, что сдѣланное дѣло далеко отъ какого бы то ни было совершенства; мучительная тревога за будущее, омраченное признаками силы реакціонеровъ,—таковы тѣ чувства, которыя волновали Герцена наканунѣ объявленія воли и въ дни его. Они нашли выраженіе въ рядѣ статей „Колокола“, особенно задушевныхъ и искреннихъ, полныхъ особенной теплоты и раздумья. Точно новая струя влилась въ творческую способность Герцена, это—тонъ глубокой скорби мыслителя, видящаго далеко впередъ, знающаго всѣ ошибки и роковыя недоразумѣнія, горестный тонъ, трагедія Кассандры, безсильной предотвратить вѣдомое ей грозное будущее. Это, дѣйствительно, писано слезами и кровью.

„Пришла великая суббота, скоро ударитъ колоколъ къ заутрени... а на душѣ страшно и тяжело,—такъ говорилъ Герценъ въ статьѣ „Наканунѣ“ (№ 93 „Кол.“).—Зачѣмъ намъ отравляютъ эту праздничную минуту? И мы, какъ

наши бѣдные крестьяне, стоимъ въ раздумьи, съ неполной вѣрой, съ глубокимъ желаніемъ любви и съ непреодолимымъ чувствомъ ненависти.

„Если бы можно было еще разъ сказать: „Ты—побѣдилъ, Галилеянинъ!"—какъ громко и какъ отъ души сказали бы мы это...

„Столько для Россіи никогда не стояло на картѣ, ни въ 1612, ни въ 1812 году.

„И хорошо, что въ день смерти Николая похоронятъ и петровскую эпоху. Спасибо ей за тяжелую науку и забвеніе злу, причиненному ею,—сказали бы мы. Но для этого зло должно умереть, а оно не умерло въ преступныхъ, нечистыхъ рукахъ стариковъ, нераскаянныхъ въ стяжаніи и алчности"...

Прошло и 19 февр., а манифеста объ освобожденіи крестьянъ не было. Его побоялись огласить къ масляной, на которую приходился въ этомъ году день восшествія на престолъ.

„Духу недостало!" — иронически озаглавилъ Герценъ статью по поводу этой отсрочки въ № 94 „Кол.".

„Отложили... Зачѣмъ?.. Неужели въ самомъ дѣлѣ по случаю масляницы?—что за пансіонскія затѣи? Развѣ они не знаютъ, что между кубкомъ и губами всегда есть мѣсто бѣдѣ?!

„Эта отсрочка, это ожиданіе—сверхъ силъ человѣческихъ: тоска, тоска и страхъ! Если бы было возможно, мы бы бросили все и поскакали бы въ Россію. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствія. Но выбора нѣтъ... Потерянный вдали ведэтъ *), мы не можемъ безъ смѣны оставить нами самими избранный постъ и желали бы только, чтобы помянулъ насъ кто-нибудь въ день великаго народнаго воскресенья"...

Въ томъ же № „Кол." была помѣщена статья Герцена „Vivat Polonia!" о польскомъ вопросѣ. Въ дни освобожденія крѣпостныхъ русскихъ людей, онъ считалъ долгомъ напомнить о закрѣпощенномъ польскомъ народѣ...

Но наконецъ манифестъ 19-го февраля былъ объявленъ въ Петербургѣ 5-го марта ст. с. Величайшее событіе русской исторіи XIX в. совершилось, заслонивъ на время всѣ темныя опасенія и черныя точки на горизонтѣ. Статья Герцена „Манифестъ!" въ № 95 „Кол." была горячимъ привѣтомъ возрождающейся Россіи и ея освободителямъ и призывомъ къ слѣдующему шагу, котораго ждало въ ту пору общество, какъ гарантіи успѣшнаго проведенія реформы,—призывомъ къ освобожденію слова.

---

*) Vedette—сторожевой на войнѣ разъѣздъ.

„— Давно ли вы говорили?..—Пожалуйста, гг. Сперанскіе in spe, обратитесь съ этимъ вопросомъ къ . . . . . Изъ насъ—честь „шанже черезъ половину манежа“—принадлежитъ не намъ!“

Съ этого времени въ „Колоколѣ“ выдвигается чаще и опредѣленнѣе мысль объ ограниченіи самодержавія, какъ единственномъ средствѣ самозащиты отъ правительства, не желающаго идти впереди общества. Такъ, уже въ № 70 отъ 1/V 1860 г. по поводу книги кн. Долгорукова „Правда о Россіи“ (La verité sur la Russie, Paris, 1860), Герценъ замѣчаетъ: „Авторъ полагаетъ, что мы, какъ соціалисты, не будемъ согласны съ его конституціонными стремленіями. Мы думаемъ, напротивъ, что есть обстоятельства, при которыхъ нельзя избѣгнуть этихъ переходныхъ формъ, онѣ столько же необходимы бѣснующемуся самодержавію, сколько камзолъ бѣснующемуся вообще“. Указывая на неспособность правительства удовлетворительно рѣшить крестьянскій вопросъ и перечисляя факты гоненій за политическій образъ мыслей, Герценъ замѣчаетъ: „Разумѣется, что въ такомъ положеніи всякаго рода перила, плотины, gardes des foux, со стороны общества противъ Зимняго Дворца очень хороши“.

Но, не смотря на всѣ тормозы, на урѣзки и происки крѣпостниковъ, крестьянская реформа шла къ концу. Редакціонныя комиссіи кончили свою работу. И дѣло быстро, подъ предсѣдательствомъ самого Государя въ Совѣтѣ, шло къ завершенію. Наконецъ, ждали со дня на день манифеста.

Глубокое душевное волненіе; смѣшанное чувство радости и душевнаго облегченія и въ то же время тяжелое сознаніе, что сдѣланное дѣло далеко отъ какого бы то ни было совершенства; мучительная тревога за будущее, омраченное признаками силы реакціонеровъ,—таковы тѣ чувства, которыя волновали Герцена наканунѣ объявленія воли и въ дни его. Они нашли выраженіе въ рядѣ статей „Колокола“, особенно задушевныхъ и искреннихъ, полныхъ особенной теплоты и раздумья. Точно новая струя влилась въ творческую способность Герцена, это—тонъ глубокой скорби мыслителя, видящаго далеко впередъ, знающаго всѣ ошибки и роковыя недоразумѣнія, горестный тонъ, трагедія Кассандры, безсильной предотвратить вѣдомое ей грозное будущее. Это, дѣйствительно, писано слезами и кровью.

„Пришла великая суббота, скоро ударитъ колоколъ къ заутрени... а на душѣ страшно и тяжело,—такъ говорилъ Герценъ въ статьѣ „Наканунѣ“ (№ 93 „Кол.“).—Зачѣмъ намъ отравляютъ эту праздничную минуту? И мы, какъ

наши бѣдные крестьяне, стоимъ въ раздумьи, съ неполной вѣрой, съ глубокимъ желаніемъ любви и съ непреодолимымъ чувствомъ ненависти.

„Если бы можно было еще разъ сказать: „Ты—побѣдилъ, Галилеянинъ!"—какъ громко и какъ отъ души сказали бы мы это...

„Столько для Россіи никогда не стояло на картѣ, ни въ 1612, ни въ 1812 году.

„И хорошо, что въ день смерти Николая похоронятъ и петровскую эпоху. Спасибо ей за тяжелую науку и забвеніе злу, причиненному ею,—сказали бы мы. Но для этого зло должно умереть, а оно не умерло въ преступныхъ, нечистыхъ рукахъ стариковъ, нераскаянныхъ въ стяжаніи и алчности"...

Прошло и 19 февр., а манифеста объ освобожденіи крестьянъ не было. Его побоялись огласить къ масляной, на которую приходился въ этомъ году день восшествія на престолъ.

„Духу недостало!" — иронически озаглавилъ Герценъ статью по поводу этой отсрочки въ № 94 „Кол.".

„Отложили... Зачѣмъ?.. Неужели въ самомъ дѣлѣ по случаю масляницы?—что за пансіонскія затѣи? Развѣ они не знаютъ, что между кубкомъ и губами всегда есть мѣсто бѣдѣ?!

„Эта отсрочка, это ожиданіе—сверхъ силъ человѣческихъ: тоска, тоска и страхъ! Если бы было возможно, мы бы бросили все и поскакали бы въ Россію. Никогда не чувствовали мы прежде, до какой степени тяжела жертва отсутствія. Но выбора нѣтъ... Потерянный вдали ведэтъ *), мы не можемъ безъ смѣны оставить нами самими избранный постъ и желали бы только, чтобы помянулъ насъ кто-нибудь въ день великаго народнаго воскресенья"...

Въ томъ же № „Кол." была помѣщена статья Герцена „Vivat Polonia!" о польскомъ вопросѣ. Въ дни освобожденія крѣпостныхъ русскихъ людей, онъ считалъ долгомъ напомнить о закрѣпощенномъ польскомъ народѣ...

Но наконецъ манифестъ 19-го февраля былъ объявленъ въ Петербургѣ 5-го марта ст. с. Величайшее событіе русской исторіи XIX в. совершилось, заслонивъ на время всѣ темныя опасенія и черныя точки на горизонтѣ. Статья Герцена „Манифестъ!" въ № 95 „Кол." была горячимъ привѣтомъ возрождающейся Россіи и ея освободителямъ и призывомъ къ слѣдующему шагу, котораго ждало въ ту пору общество, какъ гарантіи успѣшнаго проведенія реформы,—призывомъ къ освобожденію слова.

---

*) Vedette—сторожевой на войнѣ разъѣздъ.

„*Первый шагъ сдѣланъ!*—Говорятъ, что онъ труднѣе прочихъ; будемъ ждать *второго*—съ упованіемъ, хотѣли бы ждать его съ полной увѣренностью; но все дѣлается такъ шатко, такъ половинно и тяжело!

„Освобожденіе крестьянъ только ***началось*** съ провозглашеніемъ манифеста. Не отдыхъ, не воля ждетъ государя, а упорный трудъ; не отдыхъ, не воля ждетъ народъ,—а новый, страшный искусъ.

„Скорѣе,—скорѣе второй шагъ!

„Александръ II сдѣлалъ много, очень много; его имя теперь уже стоитъ выше всѣхъ его предшественниковъ. Онъ боролся во имя человѣческихъ правъ, во имя состраданія противъ хищной толпы закоснѣлыхъ негодяевъ—и сло милъ ихъ! Этого ему ни народъ русскій, ни всемірная исторія не забудетъ. Изъ дали нашей ссылки мы привѣтствуемъ его именемъ, рѣдко встрѣчавшимся съ самодержавіемъ, не возбуждая горькой улыбки,—мы привѣтствуемъ его именемъ *Освободителя!*

„Но горе, если онъ остановится, если усталая рука его опустится. Звѣрь не убитъ, онъ только ошеломленъ! Теперь, пока стоглавая гидра, каждая голова которой или Муравьевъ, или Гагаринъ, не совсѣмъ опомнилась, надобно покончить ее, и освободить, вмѣстѣ съ русскимъ крестьяниномъ, новую русскую государственную мысль—и отъ нѣмецкихъ колодокъ, и отъ русскихъ татаръ, тучныхъ нашей кровью, нашими слезами, нашимъ изнуреніемъ.

„Слово *освобожденія* сказано! Государь признался. Это дѣло великое, но не все—слово должно стать дѣломъ, освобожденіе быть истиной!

„Но врядъ ли можно успѣть во многомъ однимъ канцелярскимъ порядкомъ, одной бюрократіей. Окружите себя свѣжими, живыми людьми, не рутинистами, не доктринерами, а людьми, понимающими, любящими Россію, и, главное, не бойтесь гласности, какъ бы она ни была рѣзка!

„Вспомните одинъ примѣръ.

„Вольнѣе нашего никогда не раздавалась русская рѣчь. Что же говорила она, что распространяла, что поставила на своемъ знамени?

„Нѣсколько дней послѣ 3-го марта (19 февр.) 1855 года мы писали, что Россія ждетъ отъ новаго Государя: *освобожденія крестьянъ съ землею, уничтоженія тѣлесныхъ наказаній и гласности въ судѣ и печати.*

„Прошло шесть лѣтъ, и нѣсколько дней спустя послѣ 3-го марта (19 февр.) 1861 года, всенародно возвѣщено уничтоженіе крѣпостного права. Вы сами (Герценъ обращается къ Вел. Кн. Константину Николаевичу) стараетесь вывести во флотѣ тѣлесныя наказанія.

„Чередъ за гласностью!“

10 апрѣля Герценъ устроилъ въ своемъ домѣ торжественное празднованіе освобожденія. Домъ его въ Вестендѣ убранъ флагами и зеленью и былъ вечеромъ иллюминованъ. Надъ главнымъ подъѣздомъ развѣвались знамена и выставлены были транспаранты съ надписями по-англійски: Freedom of the Russian peasant, The free Russian Press (Свобода Русскихъ крестьянъ, Свободная русская печать). По приглашенію, напечатанному въ „Колоколѣ“, домъ былъ полонъ гостей; кромѣ русскихъ и поляковъ, собрались итальянскіе эмигранты съ Маццини и Саффи, французскіе съ Луи Бланомъ и Таландье; нѣмцы, венгерцы, и т. д. Шумѣвшій въ это время въ Лондонѣ своими концертами, эксцентрическій князь Голицынъ написалъ къ этому дню квартетъ Emancipation, построенный на мотивахъ русскихъ народныхъ пѣсенъ. Народу было такъ много, что никто не могъ сѣсть. Гости толпились въ саду, вокругъ дома образовалась толпа любопытныхъ.

Но празднество было омрачено полученными предъ обѣдомъ извѣстіями о кровопролитіи въ Варшавѣ во время одной демонстраціи.

„Герценъ былъ блѣденъ и молчаливъ. Лицо его омрачилось, безпокойное, тревожное, грустное выраженіе смѣнило спокойное и свѣтлое. Обѣдъ прошелъ тихо. Когда подали шампанское, Герценъ всталъ съ бокаломъ въ рукѣ и провозгласилъ тостъ за Россію... Всѣ встали съ бокалами въ рукахъ, горячо отвѣчали, провозглашая другіе тосты, и чокались горячо. У всѣхъ сердце усиленно билось... Герценъ сказалъ краткую рѣчь, изъ которой помню начало: „Господа, нашъ праздникъ омраченъ неожиданной вѣстью: кровь льется въ Варшавѣ, славянская кровь, и льютъ ее братья-славяне!“ Все стихло, всѣ молча усѣлись на мѣста“... Вечеромъ, послѣ концерта, все собраніе подхватило мотивъ марсельезы... „Минутами казалось, что Герценъ забывалъ о варшавскихъ событіяхъ, оживлялся. Разъ даже сталъ на стулъ и съ оживленіемъ сказалъ: „Новая эра настаетъ для Россіи, и мы будемъ, господа, въ Россіи, я не отчаиваюсь, 19-е февраля—великій день!“ Ему отвѣчали восторженно“... (Воспоминанія Тучковой-Огаревой).

Появившаяся въ слѣдующемъ 96 номерѣ „Колокола“ статья „10-е апрѣля 1861 г. и убійства въ Варшавѣ“ полна глубоко тоскливаго чувства, какъ отголосокъ дня великой радости, отравленнаго неожиданнымъ несчастьемъ; въ ней—нѣсколько подробностей о томъ же празднествѣ.

„Праздникъ нашъ былъ мраченъ. Я не знаю дня, въ который бы разорванность давила безпощаднѣе и тяжелѣе,

гдѣ бы плошки были такъ близки къ слезамъ. Нѣтъ, Русскій не долженъ забываться, не пришло еще время намъ торжествовать свѣтло и беззаботно, не пришло время прямо и гордо поднимать взглядъ—нѣтъ, еще не отъ избытка радости, а съ горя и заглушая боль и стыдъ, будемъ мы пить наше вино!

„Мы какъ будто помолодѣли вѣстью освобожденія крестьянъ. Все было забыто; съ упованіемъ на новую поступь Россіи, съ бьющимся сердцемъ ждали мы нашъ праздникъ. На немъ *въ первый разъ отъ роду* при друзьяхъ русскихъ и польскихъ, при изгнанникахъ всѣхъ странъ, при людяхъ, какъ Маццини и Луи Бланъ, при звукахъ марсельезы, мы хотѣли поднять нашъ стаканъ и предложить неслыханный при такой обстановкѣ тостъ за *Александра II, Освободителя крестьянъ!* Мы очень хорошо знали отвѣтственность, которую на насъ обрушивалъ этотъ тостъ,—мы подвергались тупому порицанію всѣхъ ограниченностей, желчной клеветѣ всѣхъ мелкихъ завистей. Намъ до этого дѣла не было: поступокъ нашъ казался намъ чистымъ и справедливымъ. Мы знали и другое, мы знали, что этотъ тостъ, произнесенный *нами и у насъ*, отозвался бы инымъ образомъ въ сердцѣ государя, чѣмъ подцензурная реторика допускаемыхъ похвалъ и отдаваемыхъ въ казенные проценты восторговъ...

„Но рука наша опустилась: черезъ новую кровь, пролитую въ Варшавѣ, нашъ тостъ не могъ идти. Преступленье было слишкомъ свѣжо, раны не закрылись, мертвые не остыли, имя царя замерло на губахъ нашихъ. Выпивши *за освобожденіе русскаго крестьянина*, безъ рѣчей, безъ шума, съ тѣмъ печальнымъ благоговѣніемъ, съ которымъ люди берутъ иную чашу, иного воспоминанія, въ которомъ также смѣшаны искупленіе и казнь, мы предложили одинъ тостъ:

„За полную, безусловную независимость Польши, за ея освобожденіе отъ Россіи и Германіи, и за братское соединеніе русскихъ съ поляками!

„А вы, ... , зачѣмъ же вы отняли у насъ праздникъ, зачѣмъ вы отравили его? Развѣ у насъ ихъ такъ много, развѣ съ нашего рожденія мы что-нибудь праздновали, кромѣ похоронъ?

„Вѣдь, и тогда, когда Россія, семь лѣтъ назадъ, торжествовала ваше восшествіе—она собственно торжествовала смерть.

„Зачѣмъ же вы отняли у насъ нашъ праздникъ? Зачѣмъ вы грубо захлопнули наше сердце, лишь только оно стало открываться чувствамъ примиренія и радости?.. Снова сжатое, оно болѣзненно подсказываетъ горькія слова...

---

*) „Не надо мечтаній!“—слова, сказанныя Александромъ II въ 1856 г. при посѣщеніи Варшавы представителямъ поляковъ.

„Sire, pas de rêveries! pas de rêveries!“ *). *Вы Польшу потеряли.* Вы могли стать во главѣ славянскаго движенія, вы могли возстановить Польшу, безъ капли крови,—вы предпочли австрійскія драгоннады. Pas de rêveries, Sire! Вы Польшу потеряли, т. е. *живую*—зарѣзанною, она, можетъ, и останется трофеемъ побѣдоносному войску . . . . . “.

Наконецъ, въ слѣдующемъ номерѣ „Колокола“ появилась „Mater Dolorosa!“—плачъ о Польшѣ.

„Польша, Mater Dolorosa, мы, скрестивъ руки на груди, просимъ тебя объ одномъ: не упрекай насъ съ высоты, на которую тебя поставило новое твое мученичество—пропастью, въ которую насъ стащили единокровные намъ палачи твои. Забудь твою правоту! Не пользуйся нашимъ позоромъ! Твое грустное молчаніе мы поймемъ, оцѣнимъ. А слова проклятья и порицанія, которыя мы скажемъ, будутъ чернѣе всѣхъ твоихъ словъ...“

Таково одно изъ центральныхъ мѣстъ этого плача о чужой обидѣ. Уже здѣсь, конечно, было зерно будущаго расхожденія съ значительною частью русскихъ, которые не могли отрѣшиться отъ національностическаго настроенія и видѣть въ польскомъ вопросѣ только вопросъ справедливости... Вдобавокъ, въ этомъ же плачѣ были слова, продиктованныя искреннимъ чувствомъ отчаянія, но все же по меньшей мѣрѣ нетактичныя съ точки зрѣнія сохраненія вліянія „Колокола“ въ самыхъ широкихъ русскихъ кругахъ.

По адресу . . . . . , на котораго всецѣло возлагалась отвѣтственность за польскія дѣла, у Герцена вырвались горькія, никогда ему не прощенныя, слова: „Зачѣмъ *этотъ человѣкъ* не умеръ въ тотъ день, когда былъ объявленъ русскому народу манифестъ освобожденія!“

Такъ, въ концѣ концовъ, Герценъ похоронилъ надежды, такъ долго его поддерживавшія, на личность государя, котораго онъ первый привѣтствовалъ именемъ Освободителя, за каждымъ шагомъ котораго слѣдилъ съ такимъ вниманіемъ, желая видѣть въ немъ опору для возможности мирнаго развитія родины.

Самая крестьянская реформа, за которую столько прощалось, была, по своей урѣзанности и промахамъ, виднымъ уже и въ то время источникомъ новыхъ и новыхъ опасеній за близкое будущее. Силою вещей Герцену приходилось стать ближе къ выдѣлившимся между тѣмъ въ русскомъ обществѣ радикальнымъ теченіямъ здѣсь уже ничего не ждали сверху отъ правительства, и на очередь выдвигались чисто революціонные лозунги, а затѣмъ и революціонные пріемы борьбы.

XI.

1861—1862 гг.

Отмѣна крѣпостного права, какъ настоящій и глубокій соціальный переворотъ, выдвинула въ русской общественной жизни на поверхность ея новые живые интересы и отношенія. Недавно еще совершенно подавленное николаевскимъ режимомъ общество казалось переродившимся, полнымъ пыла и стремленій къ новымъ и новымъ преобразованіямъ и даже политическому перевороту. На дѣлѣ отношенія власти и только что слагавшагося изъ новыхъ элементовъ общества (въ него вошелъ „разночинецъ"), его самыхъ широкихъ круговъ, были, конечно, неравными отношеніями сильнаго и слабаго. Подавить проявленія свободомыслія и стремленій къ политической реформѣ правительству не представило особыхъ затрудненій. Обманчивымъ оказалось и ожидаемое частью общества широкое движеніе народныхъ массъ, котораго сильно боялось и само правительство. На дѣлѣ, крѣпостныя массы, не смотря на отдѣльныя вспышки недовольства „волею", при которой размѣры крестьянскаго землевладѣнія въ итогѣ оказались урѣзаны, все-таки были надолго удовлетворены самою развязкою крѣпостныхъ отношеній и цѣпей рабства. По выразительному отзыву въ одномъ письмѣ Тургенева къ Герцену: „Такъ ли, сякъ ли, вслѣдствіе ли усталости, отсутствія ли строгой логики, свойственнаго всякому народу, желанія ли примириться на маломъ—если это малое все-таки до нѣкоторой степени выгодно,—но *Земля приняла Положеніе*".

Наиболѣе общею политическою мыслью, окрашивавшею общественное движеніе, была мысль объ „увѣнчаніи зданія" реформъ тѣмъ или инымъ видомъ народнаго представительства; въ немъ высшее дворянство желало имѣть нѣкоторую компенсацію ограниченія своихъ правъ при освобожденіи крестьянъ, а болѣе широкіе круги общественнаго мнѣнія видѣли средство противодѣйствія абсолютизму, уже до-

ведшему родину до разгрома подъ Севастополемъ и ненавистному по гоненіямъ на свободу мысли, слова и общественной самодѣятельности. Первымъ шагомъ къ созданію народнаго представительства намѣчался „земскій соборъ“, мысль о которомъ была не разъ высказана уже въ литературѣ „записокъ“, ходившихъ по рукамъ съ конца царствованія Николая I.

Мысль о необходимости созыва въ той или иной формѣ выборныхъ отъ всей земли въ это самое время проявляется во многихъ постановленіяхъ дворянскихъ собраній. Съ января 1860 г. адреса и постановленія владимірскаго, ярославскаго, нижегородскаго, харьковскаго дворянства уже носятъ болѣе или менѣе явный или замаскированный конституціонный характеръ. Правительство, торопясь довершить крестьянскую реформу, особыхъ мѣръ строгости (если не считать отдѣльныхъ случаевъ высылокъ и ссылокъ, какъ съ Унковскимъ), противъ дворянства не принимало. И тонъ дворянскихъ заявленій повышается. Говорится въ нихъ о „необходимости общаго дворянскаго представительства“, о „правѣ русской земли имѣть своихъ выборныхъ для совѣта верховной власти“, произносилось даже слово „конституція“.

Въ 1861 году въ Петербургѣ въ либеральномъ общественномъ кругу возникаетъ тайное общество „Великоруссъ“, выпустившее первыя русскія прокламаціи чисто политическаго характера. Въ трехъ листкахъ „Великорусса“ вполнѣ опредѣленно обществу ставилось на видъ, какъ трудно ожидать отъ правительства серьезной политической реформы, если само общество будетъ безмолвствовать, дремать. Предлагалась широкая мирная агитація въ цѣляхъ подачи всероссійскаго всеподданнѣйшаго адреса о созывѣ „представителей русской націи, чтобы они составили конституцію для Россіи“. Для Польши предлагался такой же созывъ представителей въ Варшавѣ.

Разыгрываются въ томъ же году студенческіе безпорядки въ Петербургѣ, Москвѣ, Кіевѣ и Казани, особенно грандіозные въ Петербургѣ, и неопредѣленное общественно-политическое броженіе съ этихъ поръ въ теченіе многихъ десятилѣтій направляется именно въ это мѣсто наименьшаго сопротивленія. Прокламація М. Л. Михайлова: „Къ молодому поколѣнію“ является тогда первымъ выраженіемъ уже вполнѣ опредѣленнаго радикальнаго настроенія, которое чрезъ десятилѣтія, то нарастая, то замирая, преобразуется въ огромное по напряженности, а затѣмъ и въ очень широкое революціонное движеніе съ соціалистической окраской.

Съ начала 1862 года дворянскіе адресы, по мѣрѣ того, какъ Положеніе 19 февраля проводилось въ жизнь и обна-

руживало свои положительныя и отрицательныя стороны, также становились опредѣленнѣе и рѣзче. Адресъ тверского дворянства отъ 1 февраля 1862 г., подписанный 112 лицами, принятый на собраніи 109 голосами противъ 19, заключалъ „откровенное изложеніе“ мыслей дворянства „безъ лжи и утайки“. „Здравый смыслъ народа,—говорилось въ адресѣ,— не можетъ согласить объявленной Вашимъ Величествомъ воли съ существующими обязательными отношеніями къ помѣщикамъ и съ искусственнымъ раздѣленіемъ сословій“. Выходъ изъ создавшагося положенія дворянство видѣло въ немедленной общими силами государства передачѣ земли въ собственность крестьянъ. Дворянство просило объ уравненіи правъ сословій, и доказывало, что всѣ вообще назрѣвшія преобразованія не могутъ быть совершены бюрократическимъ порядкомъ: „Мы увѣрены, что преобразованія остаются безуспѣшными потому, что предпринимаются безъ спроса и вѣдома народа“. „Собраніе выборныхъ всей земли русской представляетъ единственное средство къ удовлетворительному разрѣшенію вопросовъ, возбужденныхъ, но не разрѣшенныхъ Положеніемъ 19 февраля“. Также и московское дворянство просило мѣстнаго самоуправленія, гласнаго судопроизводства, обязательнаго выкупа крестьянскихъ земель, публичности бюджета, свободы печати и созванія въ Москвѣ Земской Думы изъ всѣхъ классовъ для приготовленія цѣльнаго проекта реформъ, и т. д.

Одновременно съ дворянскимъ конституціонализмомъ проявили себя и другія теченія, болѣе крайнія. Въ журналистикѣ лѣвѣе англофильствовавшаго „Русскаго Вѣстника“ сталъ „Современникъ“, новымъ руководителемъ котораго въ соціально-политической части былъ Н. Г. Чернышевскій. Начавши, подобно Герцену, съ выраженій радости и сочувствія правительству, приступившему твердо къ освобожденію крестьянъ, Чернышевскій мало-по-малу сталъ на точку зрѣнія, что никакія реформы со сколько-нибудь осязательными и обезпечивающими народное благо результатами не мыслимы, пока не обезпечены политическія условія ихъ успѣшности, т. е. участіе самого народа въ управленіи. Однако, эта точка зрѣнія въ легальной его дѣятельности не получила — частью по цензурнымъ причинамъ — достаточно опредѣленнаго выраженія. Напротивъ, на виду было неустанно проводимое имъ, какъ и у Герцена, значеніе соціально-экономическихъ отношеній, какъ первенствующихъ надъ политическими формами.

Въ закулисныхъ теченіяхъ отражались какъ чисто политическія тенденціи дворянства, съ оттѣнкомъ стремленій къ сословному преобладанію, такъ и противодѣйствующія

имъ стремленія: стремленія вступить въ союзъ съ „либеральнымъ“ правительствомъ для борьбы съ классовыми и сословными стремленіями первенствующей группы (Кавелинъ, Одоевскій); далѣе, болѣе или менѣе рѣзко окрашенныя соціализмомъ тенденціи тайнаго общества „Земля и Воля“ и, наконецъ, сокрушающее, бунтарское настроеніе „Молодой Россіи“, съ программою демократической соціальной республики, съ фантастическимъ, полубредовымъ средствомъ массоваго истребленія „императорской партіи“.

Болѣе радикальное движеніе умовъ было, несомнѣнно, крайне неглубоко. Какъ видно, напр., изъ воспоминаній одного изъ членовъ комитета „Земли и Воли“ Л. Ф. Пантелѣева, даже это общество, пользовавшееся относительно болѣе широкимъ сочувствіемъ, не выходило изъ предѣловъ двухъ-трехъ десятковъ сколько-нибудь дѣятельныхъ лицъ. Наиболѣе надѣлавшая шуму „Молодая Россія“, съ ея кровожадными изліяніями, исходила всего-то отъ двухъ-трехъ человѣкъ, нѣкихъ Зайчневскаго и Аргиропуло.

Тѣмъ не менѣе, дворянское движеніе, студенческія волненія, эти первыя прокламаціи, глухое опасеніе крестьянскихъ волненій и самыя волненія — все это — производило своею одновременностью впечатлѣніе чего-то чрезвычайно сильнаго.

Слухи объ „увѣнчаніи зданія“ реформъ конституціею держались упорные и даже назначались сроки опубликованія созыва народныхъ представителей. Проходившія въ общество свѣдѣнія о настроеніи Государя преувеличивали его склонность къ реформаторству. Говорили о приписываемыхъ ему словахъ, будто къ празднованію тысячелѣтія Россіи (26 августа 1862 г.) онъ удивитъ Россію. Но переплетаясь съ этими слухами, шли одинъ за другимъ факты совершенно иного значенія и смысла. Въ 1861 г. первою жертвою революціоннаго движенія становится поэтъ М. Л. Михайловъ; жестоко пострадавшій за отпечатанную имъ у Герцена прокламацію къ „Молодому поколѣнію“, онъ начинаетъ собою мартирологъ русской революціи. Черезъ годъ арестованъ Чернышевскій и начатъ противъ него—за недостаткомъ уликъ, наполненный подлогами—процессъ, кончившійся, какъ и для Михайлова, ссылкою на каторгу.

Распространеніе прокламацій, наряду съ другими указанными фактами, было достаточнымъ предлогомъ для правительствовавшей бюрократіи начать энергичное преслѣдованіе, дѣйствительно, широко-разливавшагося либерально общественнаго движенія. Достаточно упомянуть стѣсненія печати, борьбу съ обличительнымъ направленіемъ газетъ (обузданіе остроумной юмористической „Искры“), пріоста-

новку „Современника“, закрытіе широко развивавшихся было воскресныхъ школъ, и т. д.

Лѣтомъ 1862 года въ Петербургѣ и въ провинціи начались таинственные пожары. Въ нихъ винились революціонные кружки и прокламаціи, и съ ними особенно было связываемо имя „Молодой Россіи“. Однако, чрезвычайныя мѣры правительства раскрыть тайну пожаровъ, усилія реакціонной печати доказать связь пожаровъ съ общественнымъ движеніемъ, остались безрезультатными. Даже, наоборотъ, явились подозрѣнія въ провокаціонномъ характерѣ нѣкоторыхъ поджигательствъ, какъ имѣвшихъ цѣлью, дѣйствительно, натравить толпу на студентовъ и поляковъ.

Какъ бы ни было, всего этого было достаточно для обостренія реакціи въ правительствѣ и въ значительной части самого общества. Оно было утомлено напряженіемъ времени первой и самой главной реформы и испугано призраками роста настоящей революціи. Ожиданія самыхъ серьезныхъ затрудненій правительству изъ-за крестьянскаго движенія именно въ 1863 году были общими и въ радикальныхъ, и во всѣхъ другихъ общественныхъ сферахъ. Польское возстаніе и подъемъ націоналистическихъ настроеній завершили собою поворотъ и остановку реформаціонныхъ стремленій правительства; правда, по времени еще послѣдовали такія великія реформы, какъ судебная, земскія и городскія учрежденія, всеобщая повинность. Но за исключеніемъ судебной реформы, все было урѣзано при самой разработкѣ законопроектовъ, и напримѣръ, вмѣсто широкаго проекта земскаго самоуправленія, который былъ составленъ дѣятелемъ освобожденія Н. А. Милютинымъ, восторжествовало гораздо болѣе скромное, составленное по вдохновеніямъ новаго министра внутр. дѣлъ Валуева, Земское Положеніе 1864 г.

Таковы были нѣкоторыя наиболѣе видныя явленія общественнаго движенія и реакціи въ Россіи за время 1861—63 гг.

Впослѣдствіи Герценъ слѣдующимъ образомъ оцѣнивалъ роль „Колокола“ за время непосредственно послѣ крестьянской реформы („Кол.“, № 230—234, „Порядокъ торжествуетъ“).

„Крестьянская реформа, при всей сбивчивой неполнотѣ своей, сейчасъ повела къ экономическимъ, административнымъ и юридическимъ послѣдствіямъ своимъ — введенію земскихъ учрежденій, новаго суда и пр. Это были силлогизмы, которыхъ не было возможности миновать.

„Всѣ реформы, начиная съ крестьянской, были не только

ной Думой, и ни въ какомъ случаѣ не нарушаетъ областныхъ правъ и законодательствъ.

21. Правительство не можетъ вступать съ иностранными державами ни въ какіе секретные переговоры. Дипломатическія отношенія подлежатъ той же гласности, какъ и внутреннее управленіе.

„Отъ русскихъ императоровъ,—говорилось въ заключеніе этой программы,—зависитъ рядомъ разумныхъ уступокъ и дарованіемъ областямъ свободы, самостоятельности и самоуправленія и признаніемъ ихъ правъ стоять во главѣ движенія и мирно достигать до тѣхъ идеаловъ, къ которымъ Россія невольно будетъ стремиться. Иначе достиженіе ихъ будетъ стоить много смутъ и ненужнаго кровопролитія".

Лишь немногое изъ того, что здѣсь ставилось на очередь „Колоколомъ", нашло себѣ осуществленіе въ реформахъ печати, суда, самоуправленія, воинской повинности, при томъ въ урѣзанномъ и скомканномъ видѣ. Принять на себя проведеніе этой обширной программы, съ ея демократическими тенденціями, съ началами областной автономіи, могло бы, конечно, только учредительное собраніе. Лозунгомъ момента, все болѣе выдвигаемымъ и въ „Колоколѣ", по мѣрѣ того, какъ эта мысль становится популярна и въ Россіи, является теперь созывъ земскаго собора.

Герценъ вѣрилъ и не вѣрилъ въ серьезность общественно-дворянскаго движенія. Въ 1862 г. Герценъ и Огаревъ участвуютъ въ проектѣ составленія адреса на Высочайшее имя, адреса, который исходилъ изъ мысли, что 19-е февраля создало опасное, безвыходное положеніе, которымъ всѣ не довольны: и дворяне, и крестьяне, и купцы, и промышленники. Положеніе это, говорилъ проектъ, угрожаетъ самому трону, и изъ него нѣтъ иного выхода, какъ созывъ земскаго собора. Проектъ этотъ не получилъ никакого практическаго значенія.

Герценъ и Огаревъ расчитывали тутъ, главнымъ образомъ, на дворянскую среду, среди которой было много недовольныхъ освобожденіемъ крестьянъ. Недовольные эти и требовали „компенсаціи" въ формѣ „увѣнчанія зданія". Этимъ объясняется и чрезвычайно фальшивый тонъ всего адреса. Конечно, тогдашніе олигархи не успѣли еще вполнѣ обнаружиться, хотя ими была уже основана знаменитая „Вѣсть", въ которой открыто и были высказаны ихъ стремленія. Очевидно, въ данномъ случаѣ Герценъ и Огаревъ руководились принципомъ „цѣль оправдываетъ средства" и соединялись съ людьми, съ которыми въ сущности у нихъ не было ничего общаго.

Въ эту пору Герценъ разошелся съ Кавелинымъ изъ-за

5. Гражданскій судъ—третейскій.

6. Сводъ законовъ гораздо болѣе подлежитъ уничтоженію и замѣнѣ новымъ, чѣмъ исправленію.

7. Полная свобода печати.

8. Свобода вѣроисповѣданія и совѣсти.

9. Свобода преподаванія.

10. Свобода торговли.

11. Уничтоженіе паспортовъ.

12. Измѣненіе системы рекрутства.

13. Уничтоженіе вмѣшательства какой бы то ни было военной власти въ дѣла управленія и судопроизводства, и недопущеніе назначать военныхъ людей, пока они въ военной службѣ, къ какимъ бы то ни было гражданскимъ должностямъ, административнымъ, судебнымъ или полицейскимъ.

14. Войско должно быть содержано на общественныя деньги, посредствомъ областныхъ управленій.

15. Областное управленіе получаетъ на областные расходы деньги изъ областныхъ казначействъ, въ которыя поступаютъ суммы изъ областного банка по смѣтѣ, утвержденной областною думой. Областной банкъ получаетъ подлежащія податныя суммы изъ мѣстныхъ банковъ, куда онѣ поступаютъ отъ сборщиковъ податей, избираемыхъ міромъ въ каждой общинѣ, и городскимъ обществомъ въ городахъ. Тѣ же сборщики сбираютъ въ общинахъ платежи, слѣдующіе по долгосрочнымъ крестьянскимъ займамъ. Дѣйствія банковъ совершенно независимы отъ казначействъ.

16. Для разсмотрѣнія и утвержденія областныхъ потребностей и расходовъ учреждается областная законодательная дума, члены которой избираются на областныхъ выборахъ отъ всѣхъ сословій.

17. Для разсмотрѣнія и утвержденія междуобластныхъ потребностей и расходовъ учреждается государственная союзная дума изъ посланныхъ отъ всѣхъ областныхъ думъ.

18. Управленіе междуобластными финансами принадлежитъ государственному банку, управляемому выборными отъ областныхъ банковъ. Суммы, нужныя для расходовъ по дѣламъ союза, банкъ препровождаетъ въ государственное казначейство; но въ дѣйствіяхъ своихъ отъ казначейства совершенно не зависитъ.

19. Управленіе дѣлами союза, собственно администрація междуобластныхъ работъ и завѣдываніе порядкомъ междуобластныхъ отношеній и отношеніями союза къ иностраннымъ государствамъ—называется правительствомъ.

20. Правительство не можетъ привести въ исполненіе ни одного закона, не утвержденнаго государственной союз-

ной Думой, и ни въ какомъ случаѣ не нарушаетъ областныхъ правъ и законодательствъ.

21. Правительство не можетъ вступать съ иностранными державами ни въ какіе секретные переговоры. Дипломатическія отношенія подлежатъ той же гласности, какъ и внутреннее управленіе.

„Отъ русскихъ императоровъ,—говорилось въ заключеніе этой программы,—зависитъ рядомъ разумныхъ уступокъ и дарованіемъ областямъ свободы, самостоятельности и самоуправленія и признаніемъ ихъ правъ стоять во главѣ движенія и мирно достигать до тѣхъ идеаловъ, къ которымъ Россія невольно будетъ стремиться. Иначе достиженіе ихъ будетъ стоить много смутъ и ненужнаго кровопролитія".

Лишь немногое изъ того, что здѣсь ставилось на очередь „Колоколомъ", нашло себѣ осуществленіе въ реформахъ печати, суда, самоуправленія, воинской повинности, при томъ въ урѣзанномъ и скомканномъ видѣ. Принять на себя проведеніе этой обширной программы, съ ея демократическими тенденціями, съ началами областной автономіи, могло бы, конечно, только учредительное собраніе. Лозунгомъ момента, все болѣе выдвигаемымъ и въ „Колоколѣ", по мѣрѣ того, какъ эта мысль становится популярна и въ Россіи, является теперь созывъ земскаго собора.

Герценъ вѣрилъ и не вѣрилъ въ серьезность общественно-дворянскаго движенія. Въ 1862 г. Герценъ и Огаревъ участвуютъ въ проектѣ составленія адреса на Высочайшее имя, адреса, который исходилъ изъ мысли, что 19-е февраля создало опасное, безвыходное положеніе, которымъ всѣ не довольны: и дворяне, и крестьяне, и купцы, и промышленники. Положеніе это, говорилъ проектъ, угрожаетъ самому трону, и изъ него нѣтъ иного выхода, какъ созывъ земскаго собора. Проектъ этотъ не получилъ никакого практическаго значенія.

Герценъ и Огаревъ расчитывали тутъ, главнымъ образомъ, на дворянскую среду, среди которой было много недовольныхъ освобожденіемъ крестьянъ. Недовольные эти и требовали „компенсаціи" въ формѣ „увѣнчанія зданія". Этимъ объясняется и чрезвычайно фальшивый тонъ всего адреса. Конечно, тогдашніе олигархи не успѣли еще вполнѣ обнаружиться, хотя ими была уже основана знаменитая „Вѣсть", въ которой открыто и были высказаны ихъ стремленія. Очевидно, въ данномъ случаѣ Герценъ и Огаревъ руководились принципомъ „цѣль оправдываетъ средства" и соединялись съ людьми, съ которыми въ сущности у нихъ не было ничего общаго.

Въ эту пору Герценъ разошелся съ Кавелинымъ изъ-за

его заграничной брошюры, направленной противъ конституціонныхъ тенденцій дворянства, отстаивавшей необходимость основать представительное управленіе на развитомъ и прочномъ мѣстномъ самоуправленіи. Разошелся онъ рѣзко и съ другими старыми друзьями.

Въ 1862 г. онъ писалъ Сатину: „Помнишь ли ты, какъ года три назадъ мы съ тобой шли по Regentstreet и ты удивился моему злобному тону о бывшихъ друзьяхъ? Теперь и его нѣтъ. Для меня Кетчеръ, Коршъ—это догнивающіе трупы чего-то близкаго; клевреты Чичерина, пріятели Павлова... они заставляютъ меня краснѣть за былое. Бѣги Москвы, если не имѣешь твердой воли разорвать съ ними или позволить при себѣ обругиваніе насъ...—что за скотный дворъ, въ которомъ Катковъ боровомъ, а Леонтьевъ филологомъ!

„Мы идемъ нашей дорогой съ О(гаревымъ), не сбиваясь съ нея, идемъ такъ же, какъ шли въ 33 году, 43—53, и какъ пойдемъ въ 63. Люди становятся меньше нужны, съ Грановскимъ умерла Москва, и, можетъ, это счастье для Грановскаго, что онъ умеръ".

Но, расходясь, съ московскими друзьями, рѣзко порывая съ Кавелинымъ и потомъ Тургеневымъ, Герценъ не становился тѣмъ ближе и роднѣе новому разночинному радикальному умственному теченію, которое въ лицѣ Чернышевскаго получило въ это время рѣшительное и опредѣленное преобладаніе въ освободительно-настроенныхъ кругахъ.

Несомнѣнно, Герценъ изъ своего не слишкомъ для него „прекраснаго далека" дольше идеализировалъ, подобно своимъ друзьямъ-москвичамъ, новую эру. Онъ съ недоумѣніемъ смотрѣлъ на отношеніе къ ней, быстро установившееся въ „Современникѣ": скептически насмѣшливое и нѣсколько презрительное къ либеральнымъ „вѣяніямъ" эпохи, къ обличительной гласности и т. д., что болѣе всего выражалось въ „Свисткѣ", юмористическомъ приложеніи „Современника". Это недоумѣніе Герцена выразилось въ очень рѣзкой формѣ въ статьѣ № 44 „Колокола" „Very dangerous!" Очень опасно!].

Герцену казалось, что „въ нашемъ журнализмѣ стало повѣвать какой-то тлетворной струей, какимъ-то развратомъ мысли". Герценъ горячо протестовалъ противъ безпредметнаго, какъ онъ находилъ, балагурства „Свистка", напоминавшаго ему худшія времена Сенковскаго. Статья заканчивалась, между прочимъ, указаніемъ, что, „истощая свой смѣхъ на обличительную литературу, милые паяцы наши забываютъ, что по этой скользкой дорогѣ можно „досвистаться" не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шею".

Эта оскорбительная и несправедливая статья вызвала, какъ полагаютъ, поѣздку въ Лондонъ въ 1859 г. Чернышевскаго. Къ сожалѣнію, объ этой знаменательной встрѣчѣ не сохранилось никакихъ современныхъ и точныхъ данныхъ. Повидимому, объ этомъ свиданіи говорится въ статьѣ „Лишніе люди и желчевики“ („Кол.“, 1860, № 83), гдѣ изображенъ одинъ такой „желчевикъ“, предъ которымъ Герценъ долженъ былъ защищать поколѣніе сороковыхъ годовъ. Это было довольно рѣзкое столкновеніе людей различныхъ поколѣній, изъ которыхъ одинъ, избалованный долгимъ, заслуженнымъ поклоненіемъ и успѣхомъ, отдавшійся освободительному дѣлу по внутреннему своему влеченію, другой упорный, систематически работавшій труженикъ, представитель новыхъ „разночинныхъ“ слоевъ.

Чернышевскій, можетъ быть, слегка поддразнивалъ Герцена, упрекая лишнихъ людей 40-хъ годовъ въ бездѣйствіи и ставя имъ въ упрекъ, что они „не пошли въ сапожники, дровосѣки, все лучше бы“.

„Можетъ быть, это въ самомъ дѣлѣ предосудительно,— отвѣчалъ, между прочимъ, Герценъ,—но, находясь тогда въ неопытномъ положеніи, они по малолѣтству за свои поступки отвѣчать не могутъ. А уже разъ сдѣлавъ ошибку въ выборѣ родителей, они должны были подвергнуться и тогдашнему воспитанію. Да кстати, на какомъ это правѣ вы требуете отъ людей, чтобы они дѣлали то или другое? Это какая-то новая принудительная организація работъ, что-то въ родѣ соціализма, переложеннаго на нравы министерства государственныхъ имуществъ“.

Вся статья хорошо характеризуетъ разницу настроенія двухъ поколѣній, и лично между Герценомъ, съ его эвдемонистической моралью, съ отрицаніемъ принудительнаго общественнаго долга, и Чернышевскимъ или его товарищами, у которыхъ общественная необходимость освободительной борьбы выступаетъ, какъ нравственный „категорическій императивъ“.

Сущность переговоровъ болѣе серьезныхъ была та,—по одному позднѣйшему пересказу,—что „Николай Гавриловичъ нападалъ на Герцена за чисто обличительный характеръ „Колокола“: „Если бы наше правительство было чуточку поумнѣе, оно благодарило бы васъ за ваши обличенія; эти обличенія даютъ ему возможность держать своихъ агентовъ въ уздѣ, въ нѣсколько приличномъ видѣ, оставляя въ то же время государственный строй неприкосновеннымъ. А суть-то дѣла именно въ строѣ, а не въ агентахъ. Вамъ слѣдовало бы выставить опредѣленную политическую программу, скажемъ—конституціонную, или республиканскую, или соціи-

алистическую; и затѣмъ всякое обличеніе являлось бы подтвержденіемъ основныхъ требованій вашей программы; вы неустанно бы повторяли бы свое: caeterum censeo Carthaginem esse delendam". Смыслъ тирады Н. Г. я передалъ вѣрно; за точность выраженій не ручаюсь; именемъ Карѳагена означалось въ данномъ случаѣ, очевидно, самодержавіе" *).

По другому разсказу, оба писателя не воспылали другъ къ другу особой симпатіей послѣ этого свиданія.

„Удивительно умный человѣкъ,—сказалъ Герценъ о Чернышевскомъ,—и тѣмъ болѣе при такомъ умѣ поразительно его самомнѣніе. Вѣдь онъ, онъ увѣренъ, что „Современникъ" представляетъ изъ себя пупъ Россіи. Насъ, грѣшныхъ, они совсѣмъ похоронили. Ну, только кажется, ужъ очень они торопятся съ нашей отходной,—мы еще поживемъ.

„Какой умница! Какой умница! — воскликнулъ въ свою очередь Чернышевскій. — И какъ отсталъ!.. Вѣдь, онъ до сихъ поръ думаетъ, что онъ продолжаетъ остроумничать въ московскихъ салонахъ и препирается съ Хомяковымъ. А время идетъ теперь съ страшной быстротой: одинъ мѣсяцъ стоитъ прежнихъ десяти лѣтъ. Присмотришься,—у него все еще въ нутрѣ московскій баринъ сидитъ" **).

Крайне обостренныя отношенія у Герцена съ Некрасовымъ (изъ-за денежныхъ дѣлъ Огарева) не могли способствовать мирнымъ отношеніямъ Герцена и редакціи „Современника". Есть извѣстіе о какомъ-то большомъ письмѣ Добролюбова, представляющемъ цѣлый обвинительный актъ противъ Герцена. Въ одной статьѣ Чернышевскаго 1861 г., именно „О причинахъ паденія Рима" (Совр., 1861 г. № 5), крайне рѣзко осмѣиваются мистическія руссофильскія идеи старости и молодости народовъ и обновленія ихъ одного другимъ, причемъ нельзя не признать Герцена въ воображаемомъ противникѣ, котораго авторъ затрудняется, какъ назвать: „глупцомъ или лгуномъ". Тогдашняя радикально-настроенная молодежь очень скоро стала въ этой распрѣ рѣшительно на сторону Чернышевскаго и, какъ легко вообразить, въ тысячу разъ преувеличила то, что раздѣляло и рознило „Колоколъ" и „Современникъ".

Въ одной заграничной брошюрѣ (А. Серно-Соловьевичъ, „Наши домашнія дѣла"), содержащей много противъ Герцена направленной брани, мы находимъ нѣсколько страницъ, дающихъ понятіе, почему эта молодежь становилась на сторону Чернышевскаго противъ Герцена и „Колокола". Въ

*) Воспоминанія о Чернышевскомъ С. Г. Стахевича.

**) Пересказъ Павловымъ разсказа Благосвѣтлова объ этомъ свиданіи.

нихъ видѣли представителей двухъ враждебныхъ не столько міросозерцаній, сколько общественно-политическихъ *настроеній*. „Чернышевскій по преимуществу человѣкъ логическій, сдержанный, строго продуманной мысли, — вы спеціалистъ по энтузіазму; Чернышевскій—человѣкъ науки, популяризовавшій всѣ послѣдніе выводы ея, — между вами и наукою столько же общаго, сколько между Валуевымъ и свободою; Чернышевскій—человѣкъ объективной истины, вы—субъективныхъ ощущеній и восторговъ; Чернышевскій шелъ неуклонно однимъ вѣрнымъ путемъ къ цѣли—вы сами сознаетесь, что безпрестанно мѣняете мундиры, путаетесь, сбиваетесь съ пути; Чернышевскій училъ: не вѣрьте ни одному правительству, хотя бы оно состояло изъ ангеловъ, и въ тотъ день, когда я сдѣлался бы правительствомъ — перестаньте вѣрить мнѣ, — вы умилялись передъ идейкой земскаго царя и восклицали: „Побѣдилъ, Галилеянинъ!.“ Чернышевскій ненавидѣлъ декораціи, громкія фразы, роли.— Вы—олицетвореніе эффекта, театральныхъ подмостокъ, крика; Чернышевскій злобно преслѣдовалъ всякое обожаніе. — Вы, какъ институтка, все обожаете кого-нибудь, вы молитесь сами себѣ, вы ненавидите того, кто умилительно не смотритъ вамъ въ глаза, кто не исторгаетъ слезъ восторга, слушая, какъ вы читаете собственныя произведенія... Чернышевскаго идеаломъ была истина, — ваши идеалы смѣняются по настроенію духа: сегодня это Прудонъ, завтра Маццини, послѣ-завтра Викторъ Гюго, самъ Викторъ Гюго!

„Позвольте посовѣтовать вамъ перечесть письмо Добролюбова къ вамъ... оно лучше, чѣмъ что-нибудь другое, должно освѣтить въ вашей памяти воспоминанія и показать вамъ, какъ уже тогда, когда многое еще не выяснилось, когда вы были во всей силѣ своихъ словоизверженій, относились къ вамъ эти люди, умнѣйшіе и талантливѣйшіе, какіе когда-либо были на Руси. Вспомните также сколько разъ вы говорили и писали моему брату *), чтобы онъ постарался помирить васъ съ Чернышевскимъ, во имя такъ называемаго *общаго дѣла*... Вы чувствовали, что борьба съ Чернышевскимъ вамъ не по силамъ. Чернышевскій хохоталъ надъ этими попытками сближенія, и вы никогда потомъ не могли простить ему того безпощаднаго презрѣнія, съ которымъ онъ относился къ вашимъ фразамъ“.

Можно предположить, что вышеприведенная программа „Колокола“ съ 1861 г. явилась, между прочимъ, слѣдствіемъ тѣхъ требованій именно опредѣленной политической программы, которую Герценъ слышалъ со стороны Чернышев-

*) Николаю Алекс. Серно-Соловьевичу.

скаго и его единомышленниковъ и поклонниковъ. Герценъ не могъ не чувствовать, не смотря на всѣ недоразумѣнія, что здѣсь билась живая струя, и поддавался ей, и позднѣе (именно, въ той самой статьѣ, которая подала поводъ къ бѣшенымъ изліяніямъ А. С.-Соловьевича) очень объективно и мѣтко обрисовалъ значеніе Чернышевскаго въ освободительномъ движеніи Россіи.

За петрашевцами,—писалъ Герценъ,—„является сильная личность Чернышевскаго. Онъ не принадлежалъ исключительно ни къ одной соціальной доктринѣ, но имѣлъ глубокій соціальный смыслъ и глубокую критику современно существующихъ порядковъ. Стоя одинъ выше всѣхъ головою, средь петербургскаго броженія вопросовъ и силъ, средь застарѣлыхъ пороковъ и начинающихся угрызеній совѣсти, средь молодаго желанія иначе жить, вырваться изъ обычной грязи и неправоты, Чернышевскій рѣшился схватиться за руль, пытаясь указать жаждавшимъ и стремившимся—*что имъ дѣлать*. Его среда была городская, университетская, среди развитой скорби, сознательнаго недовольства и негодованія; она состояла исключительно изъ работниковъ умственнаго движенія, изъ пролетаріата интеллигенціи, изъ „способностей“. Чернышевскій, Михайловъ и ихъ друзья, первые въ Россіи, звали не только труженика, съѣдаемаго капиталомъ, но и труженицу, съѣдаемую семьей, къ иной жизни. Они звали женщину къ освобожденію работой отъ вѣчной опеки, отъ унизительнаго несовершеннолѣтія, отъ жизни на содержаніи — и въ этомъ одна изъ величайшихъ заслугъ ихъ...

„Пропаганда Чернышевскаго была отвѣтомъ на *настоящія* страданія, слово утѣшенія и надежды гибнувшимъ въ суровыхъ тискахъ жизни. Она имъ указывала выходъ. Она дала тонъ литературѣ, и провела черту между *въ самомъ дѣлѣ* юной Россіей—и прикидывавшейся такою Россіей, немного либеральной, слегка бюрократической и слегка крѣпостнической. Идеалы ея были въ совокупномъ трудѣ, въ устройствѣ мастерской, а не въ тощей палатѣ, въ которой бы Собакевичи и Ноздревы разыгрывали „дворянъ въ мѣщанствѣ“—и помѣщиковъ въ оппозиціи“ („Порядокъ торжествуетъ“).

Самому Герцену не удалось занять въ усиливавшемся броженіи настолько ясной и опредѣленной позиціи, чтобы стать дѣйствительно вождемъ революціонно-настроенныхъ умовъ. Присматриваясь и изучая „Колоколъ“ съ 1861 года, нельзя въ немъ найти, какъ въ политическомъ органѣ, дѣйствительнаго, постояннаго проведенія и напоминанія рѣзко очерченной программы, и въ эту пору „Колоколъ“—не органъ

какой-либо общественно-политической группы, а личный органъ геніальнаго писателя, со свойственными страстно откликающемуся публицисту приливами и отливами настроенія, можетъ быть съ противорѣчіями и неясностями. Представленію о политическомъ органѣ менѣе всего соотвѣтствуютъ, напримѣръ, такія блестящія историко-философскія статьи, какъ печатавшіяся въ 1863 г. вмѣсто передовыхъ Герцена „Концы и начала".

Это, однако, не мѣшаетъ признать въ „Колоколѣ" этого времени сильнѣйшій поворотъ влѣво. Это не голосъ всей либеральной Россіи, какъ раньше, а попытка выразить не сознанное и не отлившееся въ строгія формы радикально соціалистическое теченіе.

Сильнѣйшему повороту „Колокола" влѣво всего болѣе содѣйствовало, кромѣ отраженнаго роста радикализма съ Чернышевскимъ во главѣ, появленіе въ Лондонѣ въ концѣ 1861 г. М. Бакунина, бѣжавшаго изъ Сибири чрезъ Амуръ, Японію и Америку.

„Въ нашу работу, въ нашъ замкнутый двойной союзъ взошелъ новый элементъ, и то, пожалуй, элементъ старый, воскресшая тѣнь сороковыхъ годовъ и всего больше 1848 г.,— такъ вспоминалъ Герценъ:—Бакунинъ былъ тотъ же, онъ состарѣлся только тѣломъ, духъ его былъ молодъ и восторженъ, какъ въ Москвѣ, во время всенощныхъ споровъ съ Хомяковымъ; онъ былъ такъ же преданъ одной идеѣ, такъ же способенъ увлекаться, видѣть во всемъ исполненіе своихъ желаній и идеаловъ, и еще больше готовъ на всякій опытъ, на всякую жертву, чувствуя, что жизни впереди остается не такъ много и что, слѣдственно, надобно торопиться и не пропускать ни одного случая. Онъ тяготился долгимъ изученіемъ, взвѣшиваніемъ pro и contra и рвался, довѣрчивый и отвлеченный, какъ прежде, къ дѣлу. Фантазіи и идеалы, съ которыми его заперли въ Кенигштейнѣ въ 1849 г., онъ сберегъ и привезъ ихъ черезъ Японію и Калифорнію въ 1861 г. во всей цѣлости.

„Европейская реакція не существовала для Бакунина, не существовали и тяжелые годы отъ 1848 до 1858; они ему были извѣстны вкратцѣ, издалека, слегка. Онъ ихъ прочелъ въ Сибири такъ, какъ читалъ въ Кайдановѣ о Пуническихъ войнахъ и о паденіи Римской имперіи".

Бакунинъ всецѣло овладѣлъ слабохарактернымъ Огаревымъ, а чрезъ него и Герценомъ.

„Въ Лондонѣ онъ говорилъ въ 1862 году противъ насъ почти то, что говорилъ въ 1847 г. противъ Бѣлинскаго. Бакунинъ находилъ насъ умѣренными, не умѣющими пользоваться тогдашнимъ положеніемъ, недостаточно любящими

рѣшительныя средства. Онъ, впрочемъ, не унывалъ и вѣрилъ, что въ скоромъ времени поставитъ насъ на путь истинный".

„Колоколъ" съ этого времени, дѣйствительно, принимаетъ черты органа, ищущаго опоры не только въ общественномъ мнѣніи, но и въ организаціи чисто практическихъ агитаціонныхъ предпріятій. Въ немъ появляются статьи, носящія характеръ прокламацій (№ 102, „Что нужно народу", № 111, „Что дѣлать войску", № 105, „Заводите типографіи" и др.). По поводу студенческихъ волненій вмѣсто прежнихъ предостереженій отъ опрометчивыхъ шаговъ (напр., № отъ 1 ноября 1859 года), находимъ въ № 110 въ статьѣ „Исполинъ просыпается" такіе демагогическіе призывы: *„Въ народъ! Къ народу!*—вотъ ваше мѣсто, изгнанники науки.—Хвала вамъ! Вы начинаете новую эпоху, вы поняли, что время шептанья, дальнихъ намековъ, запрещенныхъ книгъ проходитъ. Вы *тайно* еще печатаете дома, но *явно* протестуете. Хвала вамъ, меньшіе братья, и наше дальнее благословеніе!"

Въ 1861 г. въ Герценовской типографіи была отпечатана прокламація М. Михайлова, хотя, по словамъ Герцена, онъ лично и отговаривалъ автора отъ этого. Въ № 133 напечатано за подписью Огарева и Герцена о сборѣ при редакціи денегъ, предназначаемыхъ на *„общее наше русское дѣло"*, при чемъ редакція говоритъ о своей отвѣтственности не только по храненію ихъ, но и по употребленію. На страницахъ „Колокола" также появляются не разъ заявленія о симпатіи (если не солидарности) къ дѣятельности „Земли и Воли" (№ 157, привѣтствіе тайному обществу подъ этимъ названіемъ); печатается рядъ замѣтокъ о необходимости пропаганды въ крестьянствѣ, и въ частныхъ письмахъ Герценъ точно также говоритъ о необходимости работы въ провинціяхъ, куда переносится по его мнѣнію центръ тяжести вопроса о возможности переворота въ Россіи (письмо къ Н. Серно-Соловьевичу, общее съ Огаревымъ, отъ 8—20 іюня 1862 г.).

Лозунгъ пропаганды, рекомендуемой Герценомъ: сліяніе требованій интеллигенціи съ запросами самого народа. „Только тотъ, кто, призванный къ дѣятельности, пойметъ бытъ народа, не утративъ того, что дала ему наука, кто затронетъ его стремленія и на осуществленіи ихъ оснуетъ свое участіе въ общемъ земскомъ дѣлѣ, тотъ только и будетъ *женихомъ грядущаго*...

„Кто же будетъ этотъ суженый?

„Императоръ ли,—который, отрекаясь отъ петровщины, совмѣститъ въ себѣ царя и Стеньку Разина? Новый ли

Пестель, опять ли Емельянъ Пугачевъ, казакъ, царь и раскольникъ, или пророкъ и крестьянинъ, какъ Антоній Безднинскій? *).

„Трудно сказать, это частности, des détails, какъ говорятъ французы. Кто-бъ ни былъ, *наше дѣло идти къ нему навстрѣчу съ хлѣбомъ и солью*“ (Окончаніе статьи „Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ).

Одновременно съ этимъ напечатанная статья Бакунина „Романовъ, Пугачевъ или Пестель“ представляетъ развитіе тѣхъ же идей, и общая формулировка ихъ, если не заимствованіе другъ у друга, совершенно очевидны. Бросается въ глаза, какъ близки Герценъ и Бакунинъ даже въ отношеніи къ такимъ фактамъ русскаго революціоннаго броженія, какъ упомянутая уже прокламація „Молодая Россія“.

Въ ней Герценъ трактовался весьма пренебрежительно: „Его надежды на возможность принесенія добра Александромъ или кѣмъ-нибудь изъ императорской фамиліи; его близорукій отвѣтъ на письмо человѣка, говорившаго, что пора начать бить въ набатъ и призвать народъ къ возстанію, а не либеральничать; его совершенное незнаніе современнаго положенія Россіи; надежда на мірный переворотъ; его отвращеніе отъ кровавыхъ дѣйствій, отъ крайнихъ мѣръ, которыми однѣми можно только что-нибудь сдѣлать,—окончательно уронили журналъ въ глазахъ республиканской партіи...“ „Мы будемъ послѣдовательнѣе,—съ хвастливою гордостью говорили авторы „Молодой Россіи“,—не только жалкихъ революціонеровъ 48 года, но и великихъ террористовъ 92 года; мы не испугаемся, если увидимъ, что для ниспроверженія современнаго порядка приходится пролить втрое больше крови, чѣмъ пролито якобинцами въ 90-хъ годахъ“. Бакунинъ также допускалъ возможность мирнаго исхода для Россіи, если правительство пойдетъ впереди народа, а редакторовъ „Молодой Россіи“ винилъ „въ двухъ серьезныхъ преступленіяхъ“. „Во-первыхъ, въ безумномъ и въ истинно доктринерскомъ пренебреженіи къ народу; а во-вторыхъ, въ нецеремонномъ, безтактномъ и легкомысленномъ обращеніи съ великимъ дѣломъ освобожденія“. Герценъ съ своей стороны мягко упрекалъ „Молодую Россію“ въ двойной ошибкѣ, въ томъ, что она вовсе не русское явленіе, а переложеніе на русскіе нравы призывовъ Бланки и Бабефа, а во-вторыхъ,—неумѣстна и несвоевременна, сыгравъ

*) Антоній Безднинскій—крестьянинъ Антонъ Петровъ, вызвавшій въ с. Бездна Казанской губерніи въ 1861 г. своими изувѣрскими толкованіями Положенія 19 февраля безпорядки, кончившіеся кроваво. Онъ былъ разстрѣлянъ.

въ руку реакціи въ періодъ пожаровъ, со своими на манеръ Шиллеровскаго Карла Мора призывами и дикимъ лозунгомъ „бей императорскую партію". „Ну, есть ли вѣроятіе,— между прочимъ спрашивалъ Герценъ,—чтобы русскій народъ возсталъ во имя соціализма Бланки, оглашая воздухъ кликомъ изъ четырехъ словъ, въ числѣ которыхъ три длинныхъ для него непонятныхъ" (заключительныя слова прокламаціи были: „Да здравствуетъ соціальная и демократическая республика русская"). („Старая и молодая Россія", „Кол." № 139).

Однако, всѣ практическія попытки связей съ русскими революціонными кружками и шаги въ этомъ направленіи лондонскихъ эмигрантовъ до сихъ поръ не освѣщены въ подробностяхъ. Несомнѣнно только, Герценъ всегда былъ далекъ отъ рекомендаціи того, что теперь называется „выступленіями" революціи. Могли иногда вырываться у него рѣзкія выраженія, но наиболѣе точное выраженіе его наиболѣе устойчиваго настроенія мыслей надо видѣть въ такихъ статьяхъ, какъ, напр., „Журналисты и террористы" (№ 141 „Кол."), гдѣ находимъ всегдашнее отвращеніе его къ пролитію крови.

„Убѣжденіе, пропаганда, объединеніе общественныхъ силъ во имя необходимыхъ преобразованій—все, что нужно",— думаетъ онъ:—„...оставьте революціонную реторику и займитесь дѣломъ. Соединяйтесь плотнѣе между собою, чтобъ вы были сила, чтобы вы имѣли единство и организацію, соединяйтесь съ народомъ, чтобы онъ забылъ вашъ отколъ. Проповѣдуйте ему не Фейербаха, не Бабефа, а понятную для него *религію земли*... и будьте готовы. Прійдетъ роковой день, станьте грудью, лягте костьми, но не зовите его, какъ *желанный день*. Если солнце взойдетъ безъ кровавыхъ тучъ, тѣмъ лучше, а будетъ оно въ мономаховой шапкѣ или въ фригійской—все равно. Развѣ французы мало доказали вамъ, что за переводъ съ феодально-монархическаго языка мѣстъ и чиновъ на римско-республиканскій—не стоитъ проливать не только крови, но и чернилъ.—Стань царская власть въ главу народнаго дѣла, гдѣ найдется достаточная сила, могущая бороться съ ней и ей противодѣйствовать во имя своекорыстныхъ интересовъ касты, сословія?"

У неудержимо стремительнаго Бакунина, готоваго на всякую рѣшительную затѣю и смѣлый шагъ, не было и доли скептицизма, воспитаннаго въ Герценѣ годами тяжелыхъ разочарованій, и не разъ Герценъ высказывалъ сожалѣніе о своей уступчивости. „У меня на душѣ скребли кошки, я постоянно спорилъ съ Бакунинымъ, и нехотя дѣлалъ не то, что хотѣлъ"...—вспоминаетъ самъ Герценъ объ этомъ

времени. И онъ съ грустью винилъ самого себя въ слабости и уступчивости. Онъ спрашивалъ себя даже съ нѣкоторымъ удивленіемъ: „Откуда взялась эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны, достовѣрность, что поступать надо такъ; съ другой,—готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтость, dieses Zögernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабой утѣхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre coeur; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Сколькими несчастьями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, если бы я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя... Причиной быстрой сговорчивости былъ *ложный стыдъ*, а иногда и лучшія *побужденія любви, дружбы, снисхожденія*; но почему же это все побѣждало логику?“ Это писалось Герценомъ по поводу польскихъ его отношеній, о чемъ рѣчь ниже, но это было и въ отношеніяхъ его къ русскимъ дѣламъ. Любовь, дружба, снисхожденіе—были къ мягкому, но упорному давленію со стороны Огарева, предъ которымъ, больше, чѣмъ когда бы ни было, онъ именно *теперь* въ моментъ личной ихъ драмы былъ готовъ уступить и повѣрить, хотя бы это логически имѣло и мало основаній...

Нѣсколько выдержекъ изъ писемъ Герцена къ Огареву 1863 года даютъ отчетливое понятіе о томъ, какъ колебался Герценъ, придавая „Колоколу“ характеръ центра и органа революціонной агитаціи:

29 апрѣля. „Мы представляемъ, и въ этомъ я глубоко убѣжденъ, дѣятельный ферментъ русскаго движенія, и во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ нами (Герценомъ и Огаревымъ) сообщаемое движеніе одинаково. Вѣря въ нашу силу, я не вѣрю, что можно произвести роды въ шесть мѣсяцевъ беременности. А мнѣ кажется, что Россія въ этомъ шестомъ мѣсяцѣ. Я увлекаюсь скорѣе тебя и скорѣе трезвѣю. Дай мнѣ не готовую силу, а дай ощупать живой зародышъ. Конечно, живой зародышъ носится въ общемъ состояніи, носится въ геніи народа, въ направленіи литературы, въ реформахъ и проч. Но гдѣ онъ до такой степени сложился и обособился, какъ ex. gr. ты находишь въ „Землѣ и Волѣ“? Я того не вижу. Ты фанатически сосредоточилъ всѣ свои силы въ одинъ фокусъ; любовь къ дѣлу, мысль, что мало остается жить, даже одиночество мысли (тѣмъ болѣе полное, что ты почти не разсѣиваешься и чтеніемъ чего-нибудь другого), все это вмѣстѣ развило въ себѣ религіозную страсть въ родѣ Маццини. Ты страстно хочешь,—и не спрашиваешь, достаточно ли для творчества и созданія тѣхъ

элементовъ, которые ... vorhanden (на-лицо). Возбудить ты, я—ихъ можемъ, но уже самая организація изъ Лондона вещь мудреная. Не думалъ ли ты о томъ, что послѣ всего, что было съ крымской войны, въ самомъ дѣлѣ, Россіи нужнѣе всего опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная *проповѣдь?* Ты на нее способенъ. Проповѣдь можетъ сдѣлать агитацію, но не есть агитація. Вотъ почему я возражалъ иногда на твои агитаціонныя статьи. Вотъ примѣръ: въ твоей послѣдней статьѣ въ „Общемъ Вѣчѣ“ ты говоришь: „Если бъ царь былъ земскій, *крестьянскій*, русскій“. Въ памфлетѣ это ничего, въ проповѣди глубоко искреннее чувство тебѣ не позволило бы это сказать. Отрѣзать отъ народа всю часть не крестьянскую—демагогія. Признать нѣсколько человѣкъ, очень мало даровитыхъ (представитель которыхъ отрекся отъ нихъ), за зародышъ я не могу“.

1 мая. „Миѣ (sic!—*Авт.*) „Земли и Воли“ должно продолжать. потому же, что они сами повѣрятъ въ себя. Но что теперь „Земли и Воли“ нѣтъ еще—это ясно“.

1 декабря. „Повѣрь мнѣ, что рѣшительно никто не вѣритъ ни въ какой центръ, ни въ кого, и всѣ говорятъ то, что въ Парижѣ два мѣсяца назадъ говорили Хоецкій (журналистъ) и поляки: центръ—„Колоколъ“, и нѣтъ центра развѣ его“.

Получившее въ „Колоколѣ“, наконецъ, перевѣсъ руководящее значеніе Огарева (прокламаціи котораго въ духѣ общиннаго соціализма, конечно, до народа не доходили), отдаляло отъ „Колокола“ часть его сторонниковъ. Въ концѣ 1862 г. Тургеневъ уже писалъ Герцену: „Даже тамъ, гдѣ онъ почти правъ, какъ напримѣръ, въ статьѣ о судебныхъ реформахъ, онъ излагаетъ свои взгляды языкомъ тяжелымъ, вялымъ и сбивчивымъ, обличающимъ отсутствіе таланта, что, впрочемъ, ты, вѣроятно, самъ, если не чувствуешь, то подозрѣваешь изъ несомнѣннаго факта постепеннаго паденія „Колокола“ и охлажденія къ нему публики... „Колоколъ“ гораздо меньше читается съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ сталъ царствовать Огаревъ“ *). Эта фраза стала въ Россіи тѣмъ, что въ Англіи называется a truism. „Колоколъ“, напечатавшій безъ протеста половину манифеста Бакунина и соціалистическія статьи Огарева,—уже не прежній „Колоколъ“.

Одною изъ сильно скомпрометировавшихъ Герцена затѣй Огарева и Бакунина была крайне необдуманная, объясняе-

*) Однимъ изъ подтвержденій тому надо считать въ это самое время помѣщенную въ „Колок.“ (№ 152) просьбу содѣйствовать распространенію „Колокола“ въ Россіи.

ими только демагогическими стремленіями, попытка привлечь на сторону свою старообрядчество и сектантство.

Въ 1859 г. въ Лондонѣ появился молодой человѣкъ Василій Ив. Кельсіевъ, ѣздившій было въ русскую Америку, но оставшійся въ кружкѣ эмигрантовъ. Герцену Кельсіевъ лично очень понравился, и по его предложенію занялся изданіемъ матеріаловъ о положеніи старообрядцевъ и сектантовъ въ Россіи, издалъ также начало собственнаго перевода Библіи на русскій языкъ и др. Увлеченный мыслью, что въ русскомъ расколѣ и сектанствѣ бродитъ глубокій и серьезный источникъ чистаго соціализма, Кельсіевъ въ 1862 г. ѣздитъ, рискуя собою, въ Москву для установленія связей съ раскольниками, потомъ въ Турцію. Съ 15 іюня 1862 г. при „Колоколѣ" выпускается листокъ „Общее вѣче", въ которомъ главными сотрудниками были Огаревъ и Кельсіевъ. Въ этомъ была не только ошибочная мысль, будто старообрядчество можетъ явиться само по себѣ революціонною силою, но было ложно и положеніе, занятое редакціею. Умалчивая о своихъ въ дѣйствительности безрелигіозныхъ вѣрованіяхъ, редакція, какъ раньше Энгельсонъ въ „Видѣніяхъ Кондратія", становилась на точку зрѣнія людей, вѣрующихъ въ священное писаніе и въ преданіе, и въ нихъ искала опоры своимъ убѣжденіемъ политическимъ и соціальнымъ. На „Общее вѣче по дѣламъ вѣры" издатели приглашали всѣхъ: „старообрядцевъ, людей торговыхъ и мастеровыхъ, крестьянъ и мѣщанъ, дворовыхъ людей, солдатъ и разночинцевъ. Пусть присылаютъ свои жалобы, пусть заявляютъ свои мысли, потребности, надежды и желанія" *).

*) Какъ образецъ манеры и языка, которымъ говорило „Общее Вѣче", приведемъ отрывокъ изъ статьи Огарева объ „устройствѣ стада человѣческаго", въ подкрѣпленіе всегдашняго лозунга „земля и воля": „Вы видите, братья, что корень всего зла, корень всей розни сословной, поземельная собственность. Пока земля не будетъ признана достояніемъ народнымъ, достояніемъ земства, достояніемъ общимъ—царство любви и природы не возможно. Пророкъ Давидъ говоритъ: „Небо небесе—Господеви, землю же даде сыновомъ человѣческимъ". Да и здравый смыслъ говоритъ, что отнять у кого-нибудь да отдать другому право на воздухъ, необходимый для дыханія, право на воду напоящую, право на землю родящую, нужное для пищи жительства, грѣшно и безсмысленно, и послѣдствія такого неправильнаго права не могли не быть ложными и гибельными. Человѣкъ отдѣльно имѣетъ право на созданіе рукъ своихъ, а то, что дано „сыновьямъ человѣческимъ", на то они имѣютъ право только сообща, братски разсчитываясь, сколько по числу душъ каждому изъ общаго достоянія приходится. Братья, горе тому изъ васъ, кто захватывая себѣ лишнее изъ общаго достоянія, умретъ не покаявшись и не возвратя земству земское. Горе тому изъ васъ, кто имѣя деньги и польстившись на предложеніе властей, самихъ себя

Лично Герцену должно было претить это неприличное заигрываніе съ чужими вѣрованіями. Повидимому, онъ ничего не писалъ и не дѣлалъ для „Общаго вѣча“, но отвѣтственность за это предпріятіе, какъ и за другіе подобные шаги вольной русской общины въ Лондонѣ, отъ имени которой обращались Огаревъ и Кельсіевъ, ложилась, конечно, и на него. Кельсіевъ подъ конецъ уѣхалъ въ Тульчу на Дунаѣ, къ „некрасовцамъ“, выселившейся въ турецкое подданство группѣ старообрядцевъ. Глава ихъ Осипъ Гончаровъ даже ѣздилъ въ Лондонъ лично, чтобы убѣдиться въ дѣйствительной силѣ „вольной общины“. Пріѣзжалъ въ Лондонъ со своими планами созданія, при помощи лондонской общины, старообрядческой епископіи и старообрядческій епископъ Пафнутій Коломенскій. Но и тотъ, и другой отшатнулись отъ круга Герценъ и Огаревъ, Бакунинъ и Кельсіевъ. Все кончилось ничѣмъ. Кельсіевъ послѣ полной неудачи создать въ Тульчѣ интеллигентную колонію (прослывшую революціоннымъ „агентствомъ“), схоронивъ брата, жену и дѣтей, не вынесъ неудачъ, добровольно отдался въ руки правительства, получилъ прощеніе и сотрудничалъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Каткова.

Вся затѣя соціально-политической пропаганды въ средѣ старообрядцевъ была въ корнѣ подорвана, когда появились окружныя посланія старообрядческимъ общинамъ, предостерегавшія отъ новыхъ проповѣдниковъ. Въ архипастырскомъ посланіи бѣлокриницкаго митрополита Кирилла (отъ 24 февраля 1864 г.) говорилось:

„Къ симъ же завѣщаваю вамъ, возлюбленіи: всякое благоразуміе и благопокореніе покажите передъ Царемъ вашимъ, и отъ всѣхъ враговъ его и измѣнниковъ удаляйтеся и бѣгайте, якоже отъ мятежныхъ крамольниковъ-поляковъ, тако наипаче отъ злокозненныхъ безбожниковъ, гнѣздящихся въ Лондонѣ и оттуда своими писаніями возмущающихъ европейскія державы... Бѣгайте убо онѣхъ треклятыхъ, имъ же образомъ бѣжитъ человѣкъ отъ лица звѣрей страшныхъ и зміевъ пресмыкающихся; ибо то суть предтечи Антихристовы, тщащіеся безначаліемъ предуготовать путь сыну погибельному. Вы же не внимайте лаянію сихъ псовъ адскихъ, представляющихъ аки бы состраждущими о человѣчествѣ“... и т. д.

Въ это же время въ легальной русской печати имя Герцена также уже трепалось съ эпитетами не хуже „псовъ адскихъ“.

ставящихъ, захочетъ скупить себѣ одному землю земскую, земское достояніе...“ и т. д.

Съ 1862 года правительство начинаетъ преслѣдовать русскихъ за одни сношенія съ Герценомъ, какъ бы они ни были невинны, чего раньше никто даже и не скрывалъ. Такъ, въ маѣ 1862 г. графы Ростовцевы, занимавшіе блестящее положеніе при Дворѣ, были исключены изъ службы за поѣздки въ Лондонъ къ Герцену. Даже такіе люди, какъ братья Рубинштейнъ, которые еще въ дѣтствѣ бывали въ домѣ Герцена въ Москвѣ, и никакою политикою не занимались, подверглись при возвращеніи изъ-за границы обыску. Наконецъ, цѣлый рядъ лицъ очень серьезно пострадалъ по огромному „дѣлу о лицахъ, обвиняемыхъ въ сношеніяхъ съ лондонскими агитаторами", въ томъ числѣ особенно Н. А. Серно-Соловьевичъ, вскорѣ умершій въ ссылкѣ въ Иркутскъ. Привлеченъ даже былъ Тургеневъ и др. *).

Не ограничиваясь преслѣдованія этого рода, правительство рискнуло, наконецъ, допустить въ печати имя Герцена въ полемическихъ противъ него цѣляхъ. Сначала была допущена къ обращенію въ Россіи уже упомянутая книжка Елагина, затѣмъ брошюры русскаго агента за границей барона Фиркса, писавшаго противъ Герцена и по-русски, и по-нѣмецки. Первою изъ этихъ брошюръ было: „Письмо А. И. Герцена къ Русскому послу въ Лондонѣ, съ отвѣтомъ и нѣкоторыми примѣчаніями Д. К. Шедо-Ферроти" (Второе изданіе, Berlin, 1862). По словамъ современника (Эккардта), брошюра читалась русскою публикою потому, что въ ней цѣликомъ было перепечатано письмо Герцена („Кол." № 109) подъ заглавіемъ „Бруты и Кассіи III-го отдѣленія"; въ немъ Герценъ, раздраженный угрожающими ему письмами, которымъ, можетъ быть, не слѣдовало придавать никакого значенія, указывалъ послу, что отвѣтственность за покушеніе, которымъ ему грозили, ляжетъ на Александра II. Другія брошюры заключали выдержки и перепечатки изъ охранительныхъ и рептильныхъ германскихъ газетъ, рѣшительно, хотя въ приличной формѣ, осуждавшія радикальные и соціалистическіе взгляды Герцена. Самъ Шедо-Ферроти въ своей полемикѣ былъ также сравнительно приличенъ передъ тѣмъ, что въ это время стало появляться противъ Герцена въ русскихъ журналахъ и газетахъ.

Полемика началась съ „Сѣверной Пчелы", гдѣ въ маѣ 1862 г. появилась, съ указаніями на прежнія консервативныя убѣжденія Герцена, перепечатка изъ „Вятскихъ Губ. Вѣдом." рѣчи Герцена при открытіи публичной библіотеки. Затѣмъ разразился въ „Русскомъ Вѣстникѣ" М. Катковъ,

*) См. „Былое", 1906, 9—12 и въ книгѣ М. К. Лемке: „Очерки освободит. движенія 60-хъ гг." (Процессъ 32-хъ).

когда-то, въ самомъ началѣ сороковыхъ годовъ, близкій къ кругу Бѣлинскаго человѣкъ. Еще недавно онъ въ глаза льстилъ Герцену (см. гл. IX). Теперь издатель журнала, долго объединявшаго передовыхъ дѣятелей литературы около ряда либеральныхъ лозунговъ, твердившій своимъ читателямъ объ основахъ гражданской свободы по образцу Англіи, дѣлалъ все болѣе крутой поворотъ вправо.

„Замѣтка для издателя „Колокола“ („Р. Вѣстн.“, 1862 г., іюнь) по неистовой бранчивости нападенія и яростному тону принадлежитъ къ шедеврамъ въ своемъ родѣ. Это—обвинительный актъ, на изнанку выворачивающій всѣ внутреннія побужденія противника, ставящій ему въ вину все то, что, на дѣлѣ, было истиннымъ тяжело пережитымъ страданіемъ, нагло осмѣивающій самые искренніе порывы.

Герценъ,—писалъ Катковъ,—дѣлаетъ „агитацію самую поджигательную“ „комфортабельно и спокойно. сыто и весело“, а на родинѣ „беззащитные, незрѣлые и разстроенные умы“ „подвергаются безумной опасности и попадаютъ на каторгу“. О словѣ Герцена Катковъ говоритъ: „Онъ остался все тотъ же недоносокъ на всѣхъ поприщахъ.—кипящій раздраженіемъ плѣнной мысли, безспорно утвердившій за собою только одно качество,—качество бойкаго остряка и кривляки... Всѣ эти капризы избалованной, изнѣженной, изломанной мысли, которая сама не знаетъ, чего хочетъ, весь этотъ фосфоръ, вся эта трескотня остротъ и фразъ, то жеманно рыдающихъ о мозгахъ человѣчества, то мефистофельски хохочущихъ надъ исторіей и *всѣми почтенностями*. которыя она понадѣлала... весь этотъ сумбуръ, вся эта сатурналія полумыслей, полуобразовъ, все это броженіе головокъ и хвостиковъ недодѣланной мысли, все это мозгобѣсіе,—было бы пожалуй хорошо въ досужемъ фельетонѣ, безъ претензіи на политическое вліяніе“.

Далѣе вся статья построена на отрицаніи лично въ Герценѣ самой простой порядочности и достоинства. „Жалкій ломака“, „человѣкъ безъ твердыхъ убѣжденій“, „не заслуживающій называться честнымъ“, Герценъ руководится, по мнѣнію Каткова, исключительно необузданнымъ честолюбіемъ. „Ухаживая за великими, онъ наконецъ и самъ захотѣлъ сдѣлаться великимъ. Мадзини—представитель Италіи; ему надобно сдѣлаться представителемъ Россіи... Вотъ чѣмъ онъ дурманитъ себя, вотъ за что онъ продалъ свою совѣсть!“ „Захотѣвши сдѣлаться „генераломъ отъ революціи“, онъ не дѣйствовалъ, онъ юлилъ и вертѣлся, ломался и жеманничалъ, бросался подъ ноги всякому дѣлу; онъ умѣлъ только смущать, запутывать, вызывать реакціи“. „Они (Герценъ и Огаревъ) то ругались холопски, то съ приторною аффектаціею,

времени. И онъ съ грустью винилъ самого себя въ слабости и уступчивости. Онъ спрашивалъ себя даже съ нѣкоторымъ удивленіемъ: „Откуда взялась эта уступчивость съ ропотомъ, эта слабость съ мятежемъ и протестомъ? Съ одной стороны, достовѣрность, что поступать надо такъ; съ другой,—готовность поступать совсѣмъ иначе. Эта шаткость, эта неспѣтость, dieses Zögernde, надѣлали въ моей жизни бездну вреда и не оставили даже слабой утѣхи въ сознаніи ошибки, невольной, несознанной; я дѣлалъ промахи à contre coeur; вся отрицательная сторона была у меня передъ глазами. Сколькими несчастьями было бы меньше въ моей жизни, сколькими ударами, если бы я имѣлъ во всѣхъ важныхъ случаяхъ силу слушаться самого себя... Причиной быстрой сговорчивости былъ *ложный стыдъ*, а иногда и лучшія *побужденія любви, дружбы, снисхожденія*; но почему же это все побѣждало логику?“ Это писалось Герценомъ по поводу польскихъ его отношеній, о чемъ рѣчь ниже, но это было и въ отношеніяхъ его къ русскимъ дѣламъ. Любовь, дружба, снисхожденіе—были къ мягкому, но упорному давленію со стороны Огарева, предъ которымъ, больше, чѣмъ когда бы ни было, онъ именно *теперь* въ моментъ личной ихъ драмы былъ готовъ уступить и повѣрить, хотя бы это логически имѣло и мало основаній...

Нѣсколько выдержекъ изъ писемъ Герцена къ Огареву 1863 года даютъ отчетливое понятіе о томъ, какъ колебался Герценъ, придавая „Колоколу“ характеръ центра и органа революціонной агитаціи:

29 апрѣля. „Мы представляемъ, и въ этомъ я глубоко убѣжденъ, дѣятельный ферментъ русскаго движенія, и во всѣхъ внутреннихъ вопросахъ нами (Герценомъ и Огаревымъ) сообщаемое движеніе одинаково. Вѣря въ нашу силу, я не вѣрю, что можно произвести роды въ шесть мѣсяцевъ беременности. А мнѣ кажется, что Россія въ этомъ шестомъ мѣсяцѣ. Я увлекаюсь скорѣе тебя и скорѣе трезвѣю. Дай мнѣ не готовую силу, а дай ощупать живой зародышъ. Конечно, живой зародышъ носится въ общемъ состояніи, носится въ геніи народа, въ направленіи литературы, въ реформахъ и проч. Но гдѣ онъ до такой степени сложился и обособился, какъ ex. gr. ты находишь въ „Землѣ и Волѣ“? Я того не вижу. Ты фанатически сосредоточилъ всѣ свои силы въ одинъ фокусъ; любовь къ дѣлу, мысль, что мало остается жить, даже одиночество мысли (тѣмъ болѣе полное, что ты почти не разсѣиваешься и чтеніемъ чего-нибудь другого), все это вмѣстѣ развило въ себѣ религіозную страсть въ родѣ Маццини. Ты страстно хочешь,—и не сп[illegible]шь, достаточно ли для творчества и созданія тѣхъ

элементовъ, которые ... vorhanden (на-лицо). Возбудить ты, я—ихъ можемъ, но уже самая организація изъ Лондона вещь мудреная. Не думалъ ли ты о томъ, что послѣ всего, что было съ крымской войны, въ самомъ дѣлѣ, Россіи нужнѣе всего опомниться, и для этого ей нужна покойная, глубокая, истинная *проповѣдь?* Ты на нее способенъ. Проповѣдь можетъ сдѣлать агитацію, но не есть агитація. Вотъ почему я возражалъ иногда на твои агитаціонныя статьи. Вотъ примѣръ: въ твоей послѣдней статьѣ въ „Общемъ Вѣчѣ“ ты говоришь: „Если бъ царь былъ земскій, *крестьянскій*, русскій“. Въ памфлетѣ это ничего, въ проповѣди глубоко искреннее чувство тебѣ не позволило бы это сказать. Отрѣзать отъ народа всю часть не крестьянскую—демагогія. Признать нѣсколько человѣкъ, очень мало даровитыхъ (представитель которыхъ отрекся отъ нихъ), за зародышъ я не могу“.

1 мая. „Миѳъ (sic!—*Авт.*) „Земли и Воли“ должно продолжать. потому же, что они сами повѣрятъ въ себя. Но что теперь „Земли и Воли“ нѣтъ еще—это ясно“.

1 декабря. „Повѣрь мнѣ, что рѣшительно никто не вѣритъ ни въ какой центръ, ни въ кого, и всѣ говорятъ то, что въ Парижѣ два мѣсяца назадъ говорили Хоецкій (журналистъ) и поляки: центръ—„Колоколъ“, и нѣтъ центра развѣ его“.

Получившее въ „Колоколѣ“, наконецъ, перевѣсъ руководящее значеніе Огарева (прокламаціи котораго въ духѣ общиннаго соціализма, конечно, до народа не доходили), отдаляло отъ „Колокола“ часть его сторонниковъ. Въ концѣ 1862 г. Тургеневъ уже писалъ Герцену: „Даже тамъ, гдѣ онъ почти правъ, какъ напримѣръ, въ статьѣ о судебныхъ реформахъ, онъ излагаетъ свои взгляды языкомъ тяжелымъ, вялымъ и сбивчивымъ, обличающимъ отсутствіе таланта, что, впрочемъ, ты, вѣроятно, самъ, если не чувствуешь, то подозрѣваешь изъ несомнѣннаго факта постепеннаго паденія „Колокола“ и охлажденія къ нему публики... „Колоколъ“ гораздо меньше читается съ тѣхъ поръ, какъ въ немъ сталъ царствовать Огаревъ“ *). Эта фраза стала въ Россіи тѣмъ, что въ Англіи называется a truism. „Колоколъ“, напечатавшій безъ протеста половину манифеста Бакунина и соціалистическія статьи Огарева,—уже не прежній „Колоколъ“.

Одною изъ сильно скомпрометировавшихъ Герцена затѣй Огарева и Бакунина была крайне необдуманная, объясняе-

*) Однимъ изъ подтвержденій тому надо считать въ это самое время помѣщенную въ „Колок.“ (№ 152) просьбу содѣйствовать распространенію „Колокола“ въ Россіи.

мая только демагогическими стремленіями, попытка привлечь на сторону свою старообрядчество и сектантство.

Въ 1859 г. въ Лондонѣ появился молодой человѣкъ Василій Ив. Кельсіевъ, ѣхавшій было въ русскую Америку, но оставшійся въ кружкѣ эмигрантовъ. Герцену Кельсіевъ лично очень понравился, и по его предложенію занялся изданіемъ матеріаловъ о положеніи старообрядцевъ и сектантовъ въ Россіи, издалъ также начало собственнаго перевода Библіи на русскій языкъ и др. Увлеченный мыслью, что въ русскомъ расколѣ и сектанствѣ бродитъ глубокій и серьезный источникъ чистаго соціализма, Кельсіевъ въ 1862 г. ѣздитъ, рискуя собою, въ Москву для установленія связей съ раскольниками, потомъ въ Турцію. Съ 15 іюня 1862 г. при „Колоколѣ“ выпускается листокъ „Общее вѣче“, въ которомъ главными сотрудниками были Огаревъ и Кельсіевъ. Въ этомъ была не только ошибочная мысль, будто старообрядчество можетъ явиться само по себѣ революціонною силою, но было ложно и положеніе, занятое редакціею. Умалчивая о своихъ въ дѣйствительности безрелигіозныхъ вѣрованіяхъ, редакція, какъ раньше Энгельсонъ въ „Видѣніяхъ Кондратія“, становилась на точку зрѣнія людей, вѣрующихъ въ священное писаніе и въ преданіе, и въ нихъ искала опоры своимъ убѣжденіемъ политическимъ и соціальнымъ. На „Общее вѣче по дѣламъ вѣры“ издатели приглашали всѣхъ: „старообрядцевъ, людей торговыхъ и мастеровыхъ, крестьянъ и мѣщанъ, дворовыхъ людей, солдатъ и разночинцевъ. Пусть присылаютъ свои жалобы, пусть заявляютъ свои мысли, потребности, надежды и желанія“ *).

*) Какъ образецъ манеры и языка, которымъ говорило „Общее Вѣче“, приведемъ отрывокъ изъ статьи Огарева объ „устройствѣ стада человѣческаго“, въ подкрѣпленіе всегдашняго лозунга „земля и воля“: „Вы видите, братья, что корень всего зла, корень всей розни сословной, поземельная собственность. Пока земля не будетъ признана достояніемъ народнымъ, достояніемъ земства, достояніемъ общимъ—царство любви и природы не возможно. Пророкъ Давидъ говоритъ: „Небо небесе—Господеви, землю же даде сыновомъ человѣческимъ“. Да и здравый смыслъ говоритъ, что отнять у кого-нибудь да отдать другому право на воздухъ, необходимый для дыханія, право на воду напоящую, право на землю родящую, нужное для пищи жительства, грѣшно и безсмысленно, и послѣдствія такого неправильнаго права не могли не быть ложными и гибельными. Человѣкъ отдѣльно имѣетъ право на созданіе рукъ своихъ, а то, что дано „сыновьямъ человѣческимъ“, на то они имѣютъ право только сообща, братски разсчитываясь, сколько по числу душъ каждому изъ общаго достоянія приходится. Братья, горе тому изъ васъ, кто захватывая себѣ лишнее изъ общаго достоянія, умретъ не покаявшись и не возвратя земству земское. Горе тому изъ васъ, кто имѣя деньги и польстившись на предложеніе властей, самихъ себя

Лично Герцену должно было претить это неприличное заигрываніе съ чужими вѣрованіями. Повидимому, онъ ничего не писалъ и не дѣлалъ для „Общаго вѣча“, но отвѣтственность за это предпріятіе, какъ и за другіе подобные шаги вольной русской общины въ Лондонѣ, отъ имени которой обращались Огаревъ и Кельсіевъ, ложилась, конечно, и на него. Кельсіевъ подъ конецъ уѣхалъ въ Тульчу на Дунаѣ, къ „некрасовцамъ“, выселившейся въ турецкое подданство группѣ старообрядцевъ. Глава ихъ Осипъ Гончаровъ даже ѣздилъ въ Лондонъ лично, чтобы убѣдиться въ дѣйствительной силѣ „вольной общины“. Пріѣзжалъ въ Лондонъ со своими планами созданія, при помощи лондонской общины, старообрядческой епископіи и старообрядческій епископъ Пафнутій Коломенскій. Но и тотъ, и другой отшатнулись отъ круга Герценъ и Огаревъ, Бакунинъ и Кельсіевъ. Все кончилось ничѣмъ. Кельсіевъ послѣ полной неудачи создать въ Тульчѣ интеллигентную колонію (прослывшую революціоннымъ „агентствомъ“), схоронивъ брата, жену и дѣтей, не вынесъ неудачъ, добровольно отдался въ руки правительства, получилъ прощеніе и сотрудничалъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ Каткова.

Вся затѣя соціально-политической пропаганды въ средѣ старообрядцевъ была въ корнѣ подорвана, когда появились окружныя посланія старообрядческимъ общинамъ, предостерегавшія отъ новыхъ проповѣдниковъ. Въ архипастырскомъ посланіи бѣлокриницкаго митрополита Кирилла (отъ 24 февраля 1864 г.) говорилось:

„Къ симъ же завѣщаваю вамъ, возлюбленіи: всякое благоразуміе и благопокореніе покажите передъ Царемъ вашимъ, и отъ всѣхъ враговъ его и измѣнниковъ удаляйтеся и бѣгайте, якоже отъ мятежныхъ крамольниковъ-поляковъ, тако наипаче отъ злокозненныхъ безбожниковъ, гнѣздящихся въ Лондонѣ и оттуда своими писаніями возмущающихъ европейскія державы... Бѣгайте убо онѣхъ треклятыхъ, имъ же образомъ бѣжитъ человѣкъ отъ лица звѣрей страшныхъ и зміевъ пресмыкающихся; ибо то суть предтечи Антихристовы, тщащіеся безначаліемъ предуготовать путь сыну погибельному. Вы же не внимайте лаянію сихъ псовъ адскихъ, представляющихъ аки бы сострадущими о человѣчествѣ“... и т. д.

Въ это же время въ легальной русской печати имя Герцена также уже трепалось съ эпитетами не хуже „псовъ адскихъ“.

ставящихъ, захочетъ скупить себѣ одному землю земскую, земское достояніе...“ и т. д.

болѣе оскорбительною, чѣмъ ихъ грубости, выражали свое сочувствіе. „Ты побѣдилъ, Галилеянинъ!“—кричалъ нашъ Мадзини, стоя на одной ножкѣ, какъ балетмейстеръ“. Упрекая, наконецъ, снова въ расточительности на чужую кровь, Катковъ кончалъ: „Издатели „Колокола“ насъ спрашиваютъ, какіе они люди? Мы сказали: Честными ни въ какомъ случаѣ назвать ихъ нельзя. Отъ безчестія имъ одна отговорка—помѣшательство“.

„Замѣтка для издателей Колокола“ была началомъ неистоваго поношенія Герцена въ реакціонной печати. Даже полу-либеральный „Голосъ“ Краевскаго писалъ въ 1863 г. (№ 195) о „красивыхъ позахъ агитаторовъ издали, „съ того берега“, распродавшихъ имѣнія съ крѣпостными“, и т. д., а эпитеты въ родѣ „генерала отъ революціи“ стали ходячими. Правда, въ болѣе интеллигентномъ обществѣ пріемъ „Замѣтки“ былъ иной, даже люди, находившіе дѣйствительный вредъ въ агитаціи „Колокола“, какъ Погодинъ или И. Аксаковъ, были возмущены тономъ и пріемами Каткова, но все же шумъ, произведенный Катковымъ, былъ показателемъ поворота въ отношеніяхъ къ Герцену въ значительной части русскаго общества.

По разсказу современника, клеветническій и завистническій тонъ выходки Каткова тяжело поразилъ Герцена. 6-го августа н. с. 1862 г. на вечерѣ у Герцена была неожиданно получена запоздавшая почему-то книжка „Русскаго Вѣстника“. Герценъ, оживленный и веселый, какъ всегда среди пріятныхъ ему посѣтителей, предложилъ самъ прочесть вслухъ филиппику противъ себя.

„Но по мѣрѣ того, какъ онъ читалъ, всему обществу дѣлалось все неловче и неловче, а особливо противъ того игриваго настроенія духа, съ которымъ приступили къ чтенію. Вначалѣ еще—Герценъ то и дѣло вставлялъ отъ себя отрывочныя замѣтки, иногда очень ловко и остроумно, такъ что даже всѣ смѣялись. Но чѣмъ дальше, тѣмъ Герценъ становился тише, наконецъ, уже и вовсе ничего не прибавлялъ отъ себя; чтеніе становилось все тяжелѣе и тяжелѣе, какъ для него, такъ и для всѣхъ. Вторая половина была уже прочтена мрачно и выслушана въ молчаніи: ужъ никто изъ слушателей не вставлялъ отъ себя никакихъ замѣтокъ—хоть бы полусловомъ. Слушатели не знали, какъ и досидѣть до конца чтенія, а чтецъ, очевидно, не зналъ, какъ и дочитать. Когда Герценъ кончилъ, въ комнатѣ гробовая тишина,—тутъ ужъ окончательно стало неловко до немоготы. Герценъ закрылъ книгу и также ничего не говорилъ; его собственное и такое долгое молчаніе еще болѣе сконфузило всѣхъ. Наконецъ, онъ сказалъ: „Можно ли такъ

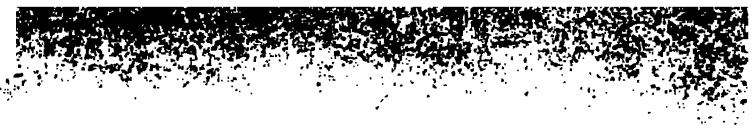
ругаться? Какъ это терпится такая ругательная литература? Это просто ругательство. На это и отвѣчать съ моей стороны нечего: это ругательство". Вечеръ, начавшійся было весьма оживленно, кончился, такимъ образомъ, какъ-то неудачно. Послѣ того мы скоро взялись за шляпы и разошлись".

Какъ ни мало основательна была неприличная ругань противъ Герцена Каткова и его подголоска Н. Ф. Павлова („Наше Время"), все же это были признаки реакціи прежнему поклоненію предъ Герценомъ. Правительство было очень благодарно поднявшейся перебранкѣ. Конфиденціальная правительственная брошюра этого времени говоритъ:

„Въ 1862 г. журналистика оказала обществу... немаловажную услугу, послѣдствія которой были и будутъ самыя утѣшительныя. Разсуждая о пожарахъ, прокламаціяхъ, и прочихъ ненормальныхъ явленіяхъ общественной жизни, періодическая литература естественно должна была обратить вниманіе свое на ту безпокойную дѣятельность нѣкоторыхъ личностей за предѣлами нашего отечества, которая давно уже выражается произведеніями, такъ называемой, русской заграничной прессы и различными агитаціями. Существовавшая до 1862 г. невозможность отзываться объ этомъ предметѣ въ Россіи печатно придавала много авторитета заграничнымъ произведеніямъ и дѣятельности этого рода. Но наконецъ въ „Сѣв. Пчелѣ" отъ 9/V 1862 имя г. Герцена появляется въ первый разъ послѣ 14 лѣтъ молчанія о немъ въ нашей печати", и т. д. *)

„Москва рѣшительно не за васъ,—писали въ это время Герцену изъ Россіи,—скорѣе Петербургъ, Тверь... Москва вамъ не сочувствуетъ, напротивъ. Мы всѣ здѣсь, къ какой бы партіи ни принадлежали, люди историческіе, и радикализма мы переварить не можемъ. Не думай, чтобы я говорилъ про одинъ какой-либо кружокъ; нѣтъ, я говорю о всѣхъ—исключая, разумѣется, небольшаго числа молодежи. У насъ уважаютъ искренность твоихъ убѣжденій, пользу отъ большей части сообщаемыхъ тобою извѣстій, и о тебѣ говорятъ не иначе, какъ съ любовью... Но на этомъ и останавливается сочувствіе" (письмо отъ 17 апр. 1862 г., „Вольн. Слово" № 58). „Замѣтка" Каткова и нападки его подголосковъ опредѣлили мнѣніе подобныхъ колеблющихся поклонниковъ. Никитенко, выразитель мнѣній „либеральнаго" чиновничества столицы, все рѣзче осуждаетъ Герцена: „Ко-

*) „Краткое обозрѣніе направленія періодическихъ изданій и газетъ и отзывовъ его по важнѣйшимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 г. Спб. 1862".



ругаться? Какъ это терпится такая ругательная литература? Это просто ругательство. На это и отвѣчать съ моей стороны нечего: это ругательство". Вечеръ, начавшійся было весьма оживленно, кончился, такимъ образомъ, какъ-то неудачно. Послѣ того мы скоро взялись за шляпы и разошлись".

Какъ ни мало основательна была неприличная ругань противъ Герцена Каткова и его подголоска Н. Ф. Павлова („Наше Время"), все же это были признаки реакціи прежнему поклоненію предъ Герценомъ. Правительство было очень благодарно поднявшейся перебранкѣ. Конфиденціальная правительственная брошюра этого времени говоритъ:

„Въ 1862 г. журналистика оказала обществу... немаловажную услугу, послѣдствія которой были и будутъ самыя утѣшительныя. Разсуждая о пожарахъ, прокламаціяхъ, и прочихъ ненормальныхъ явленіяхъ общественной жизни, періодическая литература естественно должна была обратить вниманіе свое на ту безпокойную дѣятельность нѣкоторыхъ личностей за предѣлами нашего отечества, которая давно уже выражается произведеніями, такъ называемой, русской заграничной прессы и различными агитаціями. Существовавшая до 1862 г. невозможность отзываться объ этомъ предметѣ въ Россіи печатно придавала много авторитета заграничнымъ произведеніямъ и дѣятельности этого рода. Но наконецъ въ „Сѣв. Пчелѣ" отъ 9/V 1862 имя г. Герцена появляется въ первый разъ послѣ 14 лѣтъ молчанія о немъ въ нашей печати", и т. д. *)

„Москва рѣшительно не за васъ,—писали въ это время Герцену изъ Россіи,—скорѣе Петербургъ, Тверь... Москва вамъ не сочувствуетъ, напротивъ. Мы всѣ здѣсь, къ какой бы партіи ни принадлежали, люди историческіе, и радикализма мы переварить не можемъ. Не думай, чтобы я говорилъ про одинъ какой-либо кружокъ; нѣтъ, я говорю о всѣхъ—исключая, разумѣется, небольшаго числа молодежи. У насъ уважаютъ искренность твоихъ убѣжденій, пользу отъ большей части сообщаемыхъ тобою извѣстій, и о тебѣ говорятъ не иначе, какъ съ любовью... Но на этомъ и останавливается сочувствіе" (письмо отъ 17 апр. 1862 г., „Вольн. Слово" № 58). „Замѣтка" Каткова и нападки его подголосковъ опредѣлили мнѣніе подобныхъ колеблющихся поклонниковъ. Никитенко, выразитель мнѣній „либеральнаго" чиновничества столицы, все рѣзче осуждаетъ Герцена: „Ко-

*) „Краткое обозрѣніе направленія періодическихъ изданій и газетъ и отзывовъ его по важнѣйшимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 г. Спб. 1862".

XII.

Польское возстаніе.

Мы неоднократно говорили уже объ отношеніяхъ Герцена къ польскому вопросу. Симпатіи къ національно-освободительному движенію славянскаго племени отъ „не-русскаго", по его пониманію, гнета русскаго абсолютизма, проводили его сквозь годы испытаній. „Я былъ радъ, — говоритъ онъ въ одной статьѣ,—что въ Перми и Вяткѣ я могъ встрѣчаться съ поляками, сказать, что я ссыльный, какъ будто ссылка разнимала круговую поруку съ тѣмъ, который насъ ссылалъ". Встрѣча въ Лондонѣ съ Ворцелемъ закрѣпила, какъ мы уже знаемъ, тѣ связи Герцена съ польскимъ движеніемъ, которыя возникли вскорѣ по его переѣздѣ за границу, и имѣла слѣдствіемъ совмѣстную одно время работу надъ созданіемъ типографіи.

До 1859 г. Герценъ не выходилъ за предѣлы общаго выраженія симпатіи къ польскому народу. Систематически и съ подробностями онъ высказался въ названномъ и слѣдующемъ годахъ въ статьяхъ „Колокола" (№№ 32—33, 34 и 37 за 1859 г. и №№ 65—66 и 67 за 1860 г.): „Россія и Польша". Основное положеніе Герцена: „Намъ кажется, что Польша и Россія могутъ рука объ руку идти одной дорогой къ новой, свободной соціальной жизни". Въ польскомъ вопросѣ „давнишній старый споръ, ужъ взвѣшенный судьбою" онъ пытается перенести на почву новыхъ соціально-политическихъ отношеній, которыя равно необходимы обѣимъ народностямъ славянскаго міра. Онъ—сторонникъ федеральной связи, опредѣляемой самыми народностями, населяющими ту или иную территорію.

Но тогда же возникло множество недоразумѣній со стороны поляковъ, среди которыхъ враждовали трудно примиримыя противорѣчія. Въ общемъ у нихъ преобладало воззрѣніе исключительно политическое, и соціально-экономиче-

ская точка зрѣнія, которую старался установить Герценъ, находила весьма мало сочувствія.

Самъ Герценъ понималъ это очень ясно, когда въ третьей статьѣ серіи „Россія и Польша“ онъ долженъ былъ защищать предъ полякомъ русскій народъ и освобожденіе крестьянъ съ землею, какъ первый шагъ впередъ:

„Разница нашихъ воззрѣній на этотъ предметъ очень рѣзко опредѣлилась. Я думаю, что онъ для насъ важнѣе того, отдѣлится ли Финляндія или Грузія отъ Россіи, или нѣтъ; скоро ли замѣнится толстый и глупый сводъ Николая тонкимъ и узкимъ сводомъ Наполеона. А вы только снисходительно говорите объ немъ: „Безспорно, это шагъ впередъ, но шагъ *исключительно экономическій*“. Excusez du peu!.. Какъ будто экономическій вопросъ не есть главнѣйшій, не есть существеннѣйшій, единый спасающій... Вы на экономическій вопросъ смотрите, я увѣренъ, какъ на подчиненный, матеріальный и нѣсколько грубый. Отъ этого освѣщеніе всѣхъ вопросовъ выходитъ у насъ разное.—Я очень понимаю революціонный романтизмъ, идеально восторженное воззрѣніе на судьбы народовъ—это воззрѣніе Маццини, Ворцеля... въ немъ бездна поэзіи, напоминающей намъ нашу юность.—Крутъ переходъ отъ него на американскія верфи и доки, на наши мірскія сходки, спорящія объ условіяхъ освобожденія съ землею... отъ величавой монастырской обители на рынокъ, отъ ораторіи къ торговому крику съ пѣснями, кукольными комедіями, трескомъ колесъ. — Вамъ жаль той жизни, вы бережете ваши своды, ваши огивы, чернѣющія отъ времени; мы съ киркой въ рукѣ и замаранные известью хотимъ строить, порядкомъ не зная еще, что. Эта разница будетъ насъ преслѣдовать во всемъ“. И Герценъ думалъ, что союзъ славянства—въ интересахъ прежде всего широкой постановки предстоящаго грандіознаго соціальнаго преобразованія или переворота, въ которомъ рѣшающую роль суждено играть именно славянству съ общиною, Россіи, освобождающей крестьянъ съ землею (Герценъ какъ будто забылъ, что освобождались крестьяне съ землею въ Пруссіи, Галиціи, Скандинавскихъ державахъ).

Не говоря о польскихъ „бѣлыхъ патріотахъ“, съ ужасомъ относившихся ко всему, что напоминало о соціализмѣ и атеизмѣ, хранившихъ свой національный мессіанизмъ и мистицизмъ, великорусскія чаянія Герцена не могли особенно привлекать и польскихъ демократовъ. И главное—они вовсе не отрѣшались совершенно отъ господствовавшихъ въ самыхъ широкихъ кругахъ польскаго общества представленій объ „историческихъ правахъ“ Польши, ставя въ зависимость отъ возстановленія Польши и соціальныя преобразованія.

Какъ показано въ книгѣ М. П. Драгоманова *), Герценъ далеко не ясно разбирался во всемъ этомъ, не обладая запасомъ спеціальныхъ познаній по сложному вопросу русско-польскихъ отношеній въ ихъ историческомъ и этнографическомъ происхожденіи. Онъ видимо это чувствовалъ и потому такъ нерѣшительно, съ крайними сомнѣніями въ душѣ шелъ на соглашенія, въ которыя его настойчиво втягивали.

„Отношенія наши были натянутыми, добросовѣстно *неоткровенными*,—вспоминалъ Герценъ впослѣдствіи:—мы дѣлали другъ другу уступки, т. е., ослабляя сами себя, уменьшали другъ въ другѣ чуть ли не лучшія силы. Договориться до одинаковаго пониманія было невозможно. Мы шли съ разныхъ точекъ. Идеалъ поляковъ былъ за ними, они шли къ своему прошедшему и только оттуда могли продолжать свой путь".

Разсказы Герцена о переговорахъ съ представителями варшавскаго центральнаго революціоннаго комитета какъ нельзя лучше показываютъ, какъ трудно было обѣимъ сторонамъ сойтись на чемъ-нибудь опредѣленномъ. Герценъ требовалъ, чтобъ на знамени замышляемаго возстанія, въ успѣхъ котораго онъ не вѣрилъ, во всякомъ случаѣ, было бы освобожденіе крестьянъ съ землею и воля провинціямъ. „Вы будете нами довольны",—отвѣчали делегаты, но Герценъ сомнѣвался и говорилъ Бакунину: „Мнѣ все кажется, что имъ въ сущности до крестьянской земли мало дѣла, а до провинцій слишкомъ много". Самыхъ делегатовъ онъ предупреждалъ, чтобы они не преувеличивали вліянія „Кол.", такъ какъ это органъ личный, а вовсе не какой-либо повинующейся ему организаціи. Скептически относился Герценъ и къ надеждамъ на поддержку „Земли и Воли", находя, что ей и „не по дорогѣ съ поляками". Но Бакунинъ хотѣлъ вѣрить и вѣрилъ, что Жмудь и Волга, Донъ и Украйна возстанутъ, какъ одинъ человѣкъ, услышавъ о Варшавѣ, онъ вѣрилъ, что старовѣры воспользуются католическимъ движеніемъ, чтобы узаконить расколъ. „За возстаніемъ въ Варшавѣ онъ уже видѣлъ свою славную славянскую федерацію, о которой поляки говорили не то съ ужасомъ, не то съ отвращеніемъ; онъ уже видѣлъ красное знамя „Земля и Воля" развѣвающимся на Уралѣ и на Волгѣ, на Украйнѣ и Кавказѣ, пожалуй, на Зимнемъ Дворцѣ и Петропавловской крѣпости, и торопился какъ-нибудь сгладить затрудненія, затушевать противорѣчія (между собою и польскими революціонерами),

*) „Историческая Польша и русская демократія". — Книга частью переиздана въ 1906 году въ Казани, подъ заглавіемъ: „Герценъ, Бакунинъ, Чернышевскій и польскій вопросъ".

не выполнить овраги, а бросить черезъ нихъ чертовъ мостъ". И въ концѣ концовъ Герценъ уступилъ подъ давленіемъ Бакунина и Огарева.

Полякамъ была обѣщана поддержка „Колокола" на условіяхъ демократическаго характера предполагаемаго возстановленія Польши, права самоопредѣленія провинцій и освобожденія крестьянъ съ землею.

1 октября 1862 г. въ „Колоколѣ" появилась декларація „центральнаго народнаго польскаго комитета въ Варшавѣ". Въ ней говорилось:

„Основная мысль, съ которой Польша возстанетъ теперь, совершенно признаетъ право крестьянъ на землю, обрабатываемую ими, и полную самоуправность всякаго народа располагать своей судьбой.

„...Основныя идеи польскаго движенія—чисто народныя... въ нихъ нѣтъ ни тѣни шляхетскаго консерватизма... онѣ стремятся къ уничтоженію сословныхъ различій и къ обезпеченію крестьянъ землею".

„Русское движеніе *земское*; наше—*національное*.

„Мы не признаемъ ни новыхъ границъ, ни правительствъ, основанныхъ на развалинахъ нашей свободы. Для насъ нѣтъ Польши раздѣленной, для насъ Польша единая—та, которая состоитъ въ соединеніи Польши, Литвы и Русиновъ, безъ всякой гегемоніи котораго-нибудь изъ трехъ народовъ.

„Выходя изъ этой точки зрѣнія, мы стремимся къ возстановленію Польши въ прежнихъ ея границахъ, оставляя народамъ въ нихъ обитающимъ, т. е. Литвинамъ и Русинамъ, полную свободу оставаться въ союзѣ съ Польшею или распорядиться собою согласно ихъ собственной волѣ. Въ настоящихъ же нашихъ пріуготовительныхъ дѣйствіяхъ, мы почитаемъ нашею святѣйшею обязанностью употребить всѣ усилія для того, чтобы Литва и Украйна шли параллельно съ Польшею и чтобы народное возстаніе одновременно охватило всѣ части угнетенной родины нашей.

„...Требовать отъ насъ, чтобы мы, на основаніи правъ, которыя мы признаемъ у другихъ народовъ, не стремились къ освобожденію Польши въ прежнихъ границахъ—значитъ требовать отъ насъ признанія раздѣловъ и отреченія отъ силы, которую придаетъ дѣлу нашей свободы союзъ трехъ въ одно цѣлое соединенныхъ народовъ".

Герценъ заявилъ, что видитъ въ этой декларації „новую эпоху въ великой эпопеѣ польской борьбы за независимость".

„Намъ легко съ вами идти,—писалъ онъ:—вы идете отъ признанія правъ крестьянъ на землю, обрабатываемую ими; вы признаете право всякаго народа располагать своею

судьбою.—Это наши основы, это наши догматы, наши знамена". Онъ высказываетъ пожеланіе, чтобы воздвиглась Польша „безсословная, отбросивъ средневѣковые доспѣхи, безъ кольчугъ и аристократическаго щита, пусть она явится славянскимъ поюнѣвшимъ атлетомъ, подающимъ одну руку бѣдному холопу, а другую равноправному сосѣду" (10 окт. 1862 г.). Декларація и статья „Колокола" были выпущены также отдѣльно въ качествѣ агитаціонной брошюры.

Вслѣдъ затѣмъ Герценъ далъ въ своей газетѣ мѣсто нѣсколькимъ чисто агитаціоннымъ статьямъ по польскому вопросу. Разъ покатившись по наклонной плоскости въ сторону польскихъ „историческихъ" претензій и признавъ принципіальную возможность содѣйствія возстанію противъ Россіи, онъ въ концѣ концовъ запутался въ противорѣчіяхъ своего положенія, а главное не сумѣлъ сохранить даже той позиціи, на которой стоялъ сначала, потому что, какъ показываетъ анализъ Драгоманова, его договоръ съ поляками былъ недоразумѣніемъ, „граничившимъ чуть не съ мистификаціей".

Авторы декларація признавали „право крестьянъ на землю, обрабатываемую ими, и полную самоправность всякаго народа располагать судьбою своею". „Но дальше при развитіи этого положенія оказалось, что надѣлъ крестьянскій, размѣръ котораго не былъ опредѣленъ,—обѣщался „на основаніи выкупа". Но на этомъ основаніи еще раньше назначенъ былъ крестьянамъ во всѣхъ западныхъ провинціяхъ надѣлъ „отъ Царя", по Положенію 19 февраля 1861 г. Новаго польскіе революціонеры обѣщали крестьянамъ—развѣ, такъ называемое, „прекращеніе обязательныхъ отношеній крестьянъ и помѣщиковъ и обязательный выкупъ",—и во-вторыхъ, выкупъ за надѣлы, принятый прямо на государственный бюджетъ (какъ въ Австріи), а не на взносы однихъ крестьянъ. Но къ первому склонилось само правительство, въ виду рѣшительнаго нежеланія крестьянъ, особенно въ Украйнѣ, продолжать какія бы то ни было обязательныя отношенія къ помѣщикамъ, и требованій „царскаго выкупа", подъ которымъ крестьяне разумѣли совсѣмъ даровое для нихъ полученіе надѣловъ, а администрація разумѣла обязательный выкупъ.

„Второе, напр. въ Австріи, было въ сущности совсѣмъ видимымъ (т. е. мнимымъ,—*Авт.*) облегченіемъ крестьянъ, такъ какъ общее повышеніе податей для покрытія выкупного долга наложило на нихъ такую же плату, какую крестьяне платили въ Россіи въ видѣ своихъ прямыхъ выкупныхъ взносовъ".

„Декретъ польскаго революціоннаго правительства, изданный въ духѣ декларація, помѣщенной въ „Колоколѣ",

если и могъ быть гдѣ-нибудь полезенъ сравнительно съ status quo, такъ это въ Царствѣ Польскомъ—такъ какъ тамъ совсѣмъ еще не было придумано ни патріотами-помѣщиками, ни правительствомъ, общей мѣры о переходѣ надѣловъ въ крестьянскую собственность, даже выкупа. Но тутъ этотъ декретъ имѣлъ другую слабую сторону. Онъ давалъ надѣлы, конечно, съ вознагражденіемъ помѣщикамъ, только крестьянамъ, признаннымъ сидящими на землѣ;— что же касается до безземельныхъ крестьянъ и батраковъ, то изъ нихъ должны были получить надѣлы только тѣ, которые поступятъ въ ряды повстанцевъ!! Эти 37%, т. е. 1,339,403 человѣка, оставались собственно внѣ благодѣяній декрета польскаго правительства. Русское правительство нашло потомъ для части ихъ землю, только конфисковавъ монастырскія имѣнія,—на что революціонное правительство не рѣшалось, по той простой причинѣ, что тогда бы оно лишилось поддержки духовенства, на которое всегда расчитывали самые красные и самые вольнодумные польскіе революціонеры. Такимъ образомъ вопросъ о надѣлахъ крестьянамъ у польскихъ революціонеровъ 1862—1863 гг. оказывался сильно подчиненнымъ политическимъ соображеніямъ, въ совершенную противоположность всему тому, что по этому вопросу учили Герценъ и его друзья,—которые не замедлили бы назвать варшавскій декретъ 22 января 1863 года совершенно недостаточнымъ, если бы онъ вышелъ, напр., отъ русскаго правительства.

„Но если декларації польскихъ революціонеровъ по первому пункту требованій великорусскихъ демократовъ, по аграрному вопросу, были недостаточны,—то уступки ихъ по второму пункту—по вопросу о волѣ западныхъ провинцій,—были совсѣмъ призрачны. Ужъ въ самомъ заявленіи „центральнаго комитета“, напечатанномъ въ „Колоколѣ“, вопросъ о полной самоуправности всякаго народа располагать судьбою своею оказывался предрѣшеннымъ въ пользу союза литовцевъ, латышей (витебской и курляндской губерній). бѣлоруссовъ и правобочныхъ украинцевъ съ Польшею, по крайней мѣрѣ на время войны ея съ Москвою. Восточные сосѣди поляковъ должны были возставать противъ Москвы—потому что это нужно для Польши, потому что поляки не могутъ отъ нихъ отказаться,—а потомъ уже, возстановивъ Польшу,—и непремѣнно Польшу 1772 года,— сосѣди эти должны были получить свободу распоряжаться собою. Чтеніе самыхъ декларацій 1862—1863 гг., не говоря уже о положеніи дѣлъ въ Галиціи,—позволяетъ намъ прибавить къ словамъ „распорядиться собою“... „если только это имъ позволятъ поляки“.

„Такимъ образомъ,—заключаетъ Драгомановъ,—даже въ декларацiи, представленной такимъ людямъ, какъ Герценъ, вопросъ о непольскихъ народахъ старой Польши былъ поставленъ и даже уже разрѣшенъ съ совершенно субъективной, исключительно польской точки зрѣнiя. Но не смотря на это, даже среди демократической партiи, оказались люди, которые находили, что польскiе делегаты въ Лондонѣ уступили слишкомъ много. Такъ генералъ Мѣрославскiй,—лицо, какъ извѣстно, вліятельное, кандидатъ демократической партiи въ диктаторы Польши,—называлъ делегатовъ, которые совѣщались съ редакцiей „Колокола“, „радикальными чиновниками Бакунина, панславистами, которые согласились на новый раздѣлъ Польши“.

Тому же Мѣрославскому приписывается записка, въ которой, при обсужденiи плана созданiя въ самой внутренней Россiи броженiя въ цѣляхъ затрудненiя русскому правительству, весьма недвусмысленно высказано, какъ смотрѣли нѣкоторые по крайней мѣрѣ руководители возстанiя на роль Герцена. „Неизлечимымъ демагогамъ нужно открыть клѣтку для полета за Днѣпръ. Пусть тамъ распространяютъ казацкую гайдамачину противъ поповъ, чиновниковъ и бояръ, увѣряя мужиковъ, что они стараются удержать ихъ въ крѣпости... Вотъ весь польскiй герценизмъ! Пусть онъ издали помогаетъ польскому освобожденiю, терзая сокровенныя внутренности царизма. Это достойное и легкое ремесло для полуполяковъ и полурусскихъ, наполняющихъ нынѣ всѣ ступени гражданской и военной iерархiи въ Россiи... Пусть обольщаютъ себя девизомъ, что этотъ радикализмъ послужитъ „для вашей и нашей свободы“: перенесенiе его въ предѣлы Польши будетъ считаться измѣною отчизнѣ и будетъ наказываться смертью, какъ государственная измѣна“ *).

Всѣ эти стороны и особенности польскаго возстанiя не могли не измѣнить отношенiй къ Герцену даже со стороны многихъ изъ его почитателей, когда онъ отдалъ свой „Колоколъ“ для дѣла, въ которое замѣшалось столько привходящихъ элементовъ. Со стороны было виднѣе ложное положенiе, занятое „Колоколомъ“, и, напр., Прудонъ въ одномъ письмѣ къ Самарину писалъ о своей надеждѣ увидѣть конецъ польской „ненавистной аристократiи, вотъ уже болѣе тысячи лѣтъ томящей и скандализирующей Европу“, „лицемѣрной, безпокойной, вѣроломной, подлой и свирѣпой“. „Что бы я далъ, чтобы подробно переговорить обо всемъ этомъ съ нашимъ добрѣйшимъ Герценомъ! Какъ глубоко

*) Цитировано по книгѣ „Катковъ и его время“ Невѣдѣнскаго.

сожалѣлъ я о томъ, что онъ поставилъ себя между русскими національными чувствами, съ одной стороны, и строптивою спесью поляковъ съ другой!"

Были предостереженія и отъ болѣе близкихъ людей.

Незадолго предъ возстаніемъ у Герцена въ Лондонѣ часто бывалъ нѣкто Мартьяновъ, бывшій крѣпостной, авторъ весьма любопытнаго письма къ Александру II, появившагося въ „Кол.", съ изложеніемъ идеала мужицкаго, *земскаго* Царя (за это письмо Мартьяновъ по возвращеніи въ Россію былъ судимъ и умеръ въ Сибири *). Этотъ самоучка печально смотрѣлъ на осаждавшихъ Герцена поляковъ и однажды мрачно сказалъ:

„—Вы не сердитесь на меня, Александръ Ивановичъ,— такъ ли, иначе ли, а „Колоколъ"-то вы порѣшили! Что вамъ за дѣло мѣшаться въ польскія дѣла. Поляки, можетъ, и правы, но ихъ дѣло шляхетское—не ваше. Не пожалѣли вы насъ, Богъ съ вами, А. И.!" И Мартьяновъ ушелъ, оставивъ друга подъ тяжелымъ гнетомъ пророчества и темнаго сознанія, что сдѣлано что-то ошибочное.

Но и отдавъ „Колоколъ" на защиту безнадежнаго польскаго возстанія, Герценъ не пытался скрывать, что шансы его на успѣхъ совершенно ничтожны. Часть польскихъ эмигрантовъ и революціонеровъ рвалась къ возстанію съ упорствомъ и ослѣпленіемъ, которыя были бы непонятны, если бы не повторялись столь часто въ исторіи при подобныхъ же случаяхъ. Разсчитывали на случайности, на вмѣшательство державъ, не желая принять и того пути либеральныхъ реформъ для Царства Польскаго, которымъ думалъ вести Польшу въ это время глава ея гражданскаго управленія маркизъ Велепольскій. Кажется, Герценъ не былъ вполнѣ въ курсѣ замѣчательныхъ замысловъ Велепольскаго, но все же онъ былъ противъ самоувѣренности польскихъ патріотовъ. Горячія статьи въ защиту правъ Польши на самостоятельность вызвали рядъ выраженій искренней признательности Герцену со стороны многихъ изъ этихъ патріотовъ. „Старикъ Адамъ Чарторыжскій со смертнаго одра прислалъ мнѣ съ сыномъ теплое слово; въ Парижѣ депутація поляковъ поднесла мнѣ адресъ, подписанный четырьмястами польскихъ эмигрантовъ, къ которому присылались подписи отовсюду,—даже отъ польскихъ выходцевъ, жившихъ въ Алжирѣ и Америки. Казалось, во многомъ мы были близки, но шагъ глубже,—и рознь, рѣзкая рознь бросалась въ глаза".—„Для насъ нѣтъ хуже несчастія, какъ

*) См. „Дѣло П. А. Мартьянова", въ книгѣ М. Лемке: „Очерки освободительн. движ. 60-хъ гг."

уступки...—говорили Герцену наиболѣе рѣшительные изъ нихъ.—Мы хотимъ разрыва, открытой борьбы!"

Герценъ, какъ уже сказано, уступалъ, и въ „Колоколѣ" въ концѣ 1862 года печатается рядъ агитаціонныхъ статей по поводу ожидаемаго возстанія, при чемъ особо обратили на себя вниманіе статьи, обращенныя къ русскимъ офицерамъ русскихъ войскъ, расположенныхъ въ Польшѣ. Дѣлу давался видъ, что русскому правительству нельзя будетъ вполнѣ опереться на свое войско, печатались воззванія въ этомъ духѣ отъ „комитета русскихъ офицеровъ въ Польшѣ", „письмо вел. кн. Константину Николаевичу отъ русскихъ офицеровъ, стоящихъ въ Польшѣ" и т. д. Въ первомъ воззваніи „Колокола" къ офицерамъ (№ 147) между прочимъ говорилось:

„Мы долго отказывались отъ печальной роли заграничныхъ совѣтниковъ... Что должно дѣлать русскимъ офицерамъ въ Польшѣ въ случаѣ польскаго возстанія? Общій отвѣтъ простъ—идти подъ судъ, въ арестантскія роты, быть разстрѣляннымъ, какъ Сливицкій, Аргольдъ и Ростковскій *), быть поднятымъ на штыки, какъ вамъ грозилъ вашъ дикій кондотьеръ Хрулевъ, но не подымать оружія противъ поляковъ, противъ людей, отыскивающихъ совершенно справедливо свою независимость". Ссылаясь на заявленія Варшавскаго Комитета—о землѣ польскимъ крестьянамъ и самобытности областямъ—Герценъ на этомъ основываетъ возможность дѣятельнаго союза и дальнѣйшихъ совмѣстныхъ дѣйствій русскихъ офицеровъ и польскаго возстанія. „Вилять послѣ окончанія переходнаго состоянія, т. е. весною будущаго года, нельзя больше (правительству). Крестьянинъ землею не поступится, онъ навѣрное упрется; возстань тогда Польша, бросьтесь вы, съ вашими и ихъ солдатами, въ Литву, въ Малороссію, во имя крестьянскаго права на землю и гдѣ найдется сила противодѣйствовать?.. Волга и Днѣпръ откликнутся вамъ, Донъ и Уралъ!".

Надежды этого рода оказались обманчивы.

Возстаніе разразилось, наконецъ, явно, когда маркизъ Велепольскій попробовалъ провести крайне неудачную, точно нарочно подсказанную для вызова возстанія мѣру: наборъ среди варшавскихъ ремесленниковъ и рабочихъ съ цѣлью ослабленія революціоннаго настроенія въ Варшавѣ.

„Большое несчастье, что польское возстаніе пришло рано,—писалъ Герценъ (№ 155 „Кол." отъ 1 февр. 1863 г., статья „Resurrexit!"):—многіе, и мы въ томъ числѣ, дѣлали

*) Разстрѣляны въ Новогеоргіевской крѣпости 16 іюня 1862 года, за революціонную пропаганду въ войскахъ.

все, нашимъ слабымъ силамъ возможное, чтобъ задержать его... Передъ совершающимся событіемъ смиреніе, а не судъ; иныя силы, не сила слова, рѣшаетъ вопросъ"... Герценъ тутъ же предсказываетъ, что Европа спокойнымъ окомъ будетъ взирать на расправу съ поляками, если не считать англійскихъ „великодушныхъ митинговъ".

Герцену пришлось, дѣйствительно, вблизи пережить все это безплодное сочувствіе Европы польскому возстанію, которое и ограничилось дипломатическими нотами, не имѣвшими для поляковъ никакого значенія. Но жить за границею русскому было трудно. „Черезъ пятнадцать лѣтъ я снова, идя по улицѣ, боюсь, чтобы не узнали, что я русскій" („Плачъ", „Кол." № 158). Извѣстно, что возстаніе въ Польшѣ и Литвѣ было потоплено въ крови. Въ немъ погибли лично извѣстные Герцену—Потебня, русскій офицеръ, приставшій къ возстанію, дѣйствительно, во имя лозунга „нашей и вашей свободы"; Сѣраковскій, офицеръ русской службы, организаторъ повстанцевъ въ Литвѣ, повѣшенный Муравьевымъ, и др.

Съ первыхъ же дней извѣстій о возстаніи, Герценъ не могъ не почувствовать, какъ неправъ онъ былъ, сдаваясь на мнѣнія Огарева и Бакунина и отдавая „Колоколъ" безнадежному дѣлу, которое должно было, вмѣсто ожидаемаго вліянія на движеніе внутри Россіи, завершить собою наплывъ реакціи. Уже 4 февраля Герценъ пишетъ Огареву: „Если инсуррекція будетъ подавлена, безъ малѣйшаго участія въ Россіи, и вся литература будетъ ругать Польшу à la Мартьяновъ и Аксаковъ, да и крестьяне пропустятъ желанный день, то не пора ли и намъ въ отставку?"— 5 февраля: „Я чую время, въ которое тебѣ, да и мнѣ слѣдуетъ перестать писать. ...Отъ Милов. письмо. До сихъ поръ,—пишетъ онъ,—ни одного русскаго солдата не перешло, ни одинъ офицеръ не отказался отъ команды противъ поляковъ. Меня обдаетъ ужасомъ: это хуже разстрѣливанія. Ты помнишь, что я былъ дурнымъ пророкомъ въ дѣлѣ адресовъ (отъ русскихъ офицеровъ въ Польшѣ, — *Авт.*). Хм. (членъ польскаго революціоннаго комитета Хмѣлевскій), прощаясь, мнѣ сказалъ; „Потебня, да, Потебня, превосходнѣйшій человѣкъ,—да кромѣ-то его кто?".—29 апрѣля: „...Вспомни, Огаревъ, что съ начала до конца я васъ предостерегалъ отъ шума объ офицерахъ и солдатахъ, идущихъ на помощь Польшѣ. Ты мнѣ всегда говорилъ, что берешь это на себя. Какъ будто у насъ могла быть рѣчь объ отвѣтственности! Ты ли отвѣчаешь, или любезнѣйшій неспособникъ Бакунинъ,—дѣло это намъ повредило, лишило насъ силы, а сила наша только и зи-

ждется на талантѣ, да на довѣріи".—1-го мая: „Я часто увлекался über die Grenzen (сверхъ границъ), но и оставался въ безумномъ убѣжденіи, что я въ истинѣ. Всѣ сношенія съ центральнымъ комитетомъ и проч. не имѣли для меня этого характера, я въ нихъ тотчасъ ослабъ. ...Смерть Потебни хороша въ очистку русскаго имени, а сближенія нѣтъ чрезъ нее, да и черезъ Бакунина нѣтъ".

Уже въ это время, какъ видно изъ послѣднихъ словъ, Герцену приходилось оправдываться предъ недавними союзниками, со стороны которыхъ онъ уже слышалъ упреки, будто именно онъ ихъ и завлекалъ въ неравную борьбу обѣщаніями поддержки со стороны русскихъ войскъ.

Дѣйствительно ли онъ не чувствовалъ нѣкоторыхъ уколовъ совѣсти за слова въ родѣ вышецитированныхъ предположеній, обращенныхъ къ русскимъ офицерамъ въ Польшѣ,—трудно, конечно, сказать, но что все вмѣстѣ камнемъ легло ему на душу,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, особенно, когда вы яснилось, какъ въ итогѣ возстаніе было встрѣчено въ Россіи и какъ отнеслись къ сочувствію польскому дѣлу со стороны „Колокола" русскіе читатели.

Первоначально въ русскомъ обществѣ польское освободительное движеніе пользовалось нѣкоторымъ сочувствіемъ. Даже такой человѣкъ, какъ славянофилъ И. С. Аксаковъ, высказывался за образованіе самостоятельной Польши, которая оттянула бы къ себѣ все польское изъ русскихъ областей, но протестовалъ противъ притязаній на Литву и Юго-западный край. Онъ считалъ необходимымъ, *по усмиреніи мятежа*, созывъ всенароднаго польскаго сейма, съ участіемъ крестьянства для рѣшенія участи Польши, не желая насилій надъ нею со стороны Россіи. Но очень скоро въ широкихъ общественныхъ кругахъ создалась рѣзкая реакція этому направленію. Извѣстія о пролитіи крови русскихъ солдатъ при нечаянныхъ нападеніяхъ повстанцевъ; затѣмъ, въ особенности, совершенно явныя притязанія на „провинціи" и попытки распространить возстаніе даже на берега Днѣпра; нѣсколько позднѣе представленія европейскихъ державъ, скорѣе раздражившія, чѣмъ оказавшія какую-либо пользу полякамъ; адресное (правда, муссированное) движеніе („адресоложество" и „адресобѣсіе", по выраженію Герцена); перемѣна въ настроеніяхъ печати, въ которой одинъ Катковъ гремѣлъ свои громы противъ польской крамолы и интриги, и т. д.—все это имѣло слѣдствіемъ не только созданіе вражды и къ самой Польшѣ, но и внутреннюю дальнѣйшую реакцію преобразовательному движенію, новыя мѣры противъ печати и т. д. Надежды на увѣнчаніе зданія реформъ конституціею окончательно рухнули, не могъ усто-

ять и „Колоколъ“ предъ этимъ поворотомъ. „И поляки, и вся масса русскихъ поняли присоединеніе Бакунина и „Колокола“ къ возстанію, имѣвшему цѣлью не автономію этнографической Польши, а возстановленіе исторической Польши въ границахъ 1772 г. (т. е. со включеніемъ областей, населенныхъ вовсе не поляками), какъ признаніе русскими радикалами этой странной претензіи“ (Драгомановъ). Реакціонная печать наполняется воплями противъ Герцена, какъ измѣнника родинѣ. О характерѣ этой полемики можетъ дать понятіе такая, напр., выдержка изъ „Сѣверной Пчелы“ (цитируется въ „Кол.“): „Если сличить ученіе Герцена съ дѣйствіями поляковъ, то нетрудно замѣтить въ польскомъ пожарѣ тѣнь этого человѣка. Поляки вѣшаютъ—это родная мысль Герцена; поляки отравляютъ,—это тоже по его части; поляки бросаютъ гранаты и жгутъ,—этому ремеслу подучилъ ихъ Герценъ“.

Въ 1863 г. молодой русскій офицеръ явился къ Герцену въ Теддингтонъ, сообщилъ подъ секретомъ, что рѣшился убить диктатора Литвы, жестоко давившаго возстаніе Муравьева, и многозначительно скрестилъ руки.

— Ну-съ?—холодно спросилъ Герценъ.

— То есть, какъ же „ну-съ“?—спросилъ и офицеръ, нѣсколько опѣшивъ.

— Для чего вы явились и говорите мнѣ это?

— Я хотѣлъ знать ваше мнѣніе!—начиная сердиться, отвѣтилъ офицеръ.

Вмѣсто разсужденія о политическихъ убійствахъ Герценъ разсказалъ кандидату въ политическіе мученики старый анекдотъ. Нѣкій шамбеллянъ сопровождалъ Карла V при восхожденіи его на куполъ Петра въ Римѣ, и потомъ сталъ разсказывать отцу, что въ тотъ моментъ, какъ онъ былъ съ императоромъ на вершинѣ, вдругъ почувствовалъ неудержимое желаніе столкнуть его внизъ; отецъ вспылилъ и сказалъ: „Можно думать такъ, можно иной разъ нѣчто подобное сдѣлать, но никогда не слѣдуетъ говорить объ этомъ“.—Карлъ Зандъ in spe разстался съ Герценомъ обезкураженный, но это не помѣшало ему чрезъ мѣсяцъ разсказывать въ Дрезденѣ (не въ Вильнѣ), что онъ ѣдетъ въ Польшу съ чрезвычайнымъ порученіемъ отъ лондонскихъ эмигрантовъ.

„И всѣ подобныя вещи становились намъ на счетъ!“—горестно восклицаетъ Герценъ, вспоминая объ этомъ времени („Kolokol,“ № 14—15). Но въ счетъ Герцену, кромѣ общаго сочувствія возстанію, было поставлено и многое болѣе серьезное, особенно участіе Бакунина въ кончившейся совершенно неудачно, трагикомической морской экспедиціи на одномъ пароходѣ противъ Россіи (описана Герценомъ).

Къ концу 1863 года расходъ „Колокола“ съ 2500—2000 экземпляровъ сошелъ на 500 и ни разу болѣе не подымался выше 1000. Ослабленіе вліянія голоса Герцена въ Россіи было такъ явно, что въ началѣ 1864 г. Никитенко, по поводу слуха о его смерти, записалъ въ своемъ „дневникѣ“:— „Умеръ ли, живъ ли онъ... теперь, на мой взглядъ, рѣшительно все равно для Россіи. Врядъ ли отнынѣ отъ него можетъ быть для нея польза или вредъ. Съ польскаго возстанія онъ такъ упалъ въ общественномъ мнѣніи, что о его существованіи можно почти и позабыть“ (12 янв. 1864 г.).

Такъ-то, публично заявивъ свою солидарность съ польскимъ дѣломъ, Герценъ разошелся окончательно съ самыми широкими кругами національнаго общественнаго мнѣнія, которое долго было настроено въ сторону освободительныхъ преобразованій, а теперь притихло и сжалось. Въ періодъ своей славы Герценъ былъ наиболѣе яркимъ и полнымъ его представителемъ, теперь—оно отхлынуло назадъ, и Герценъ оказался одинокъ.

Для Герцена пришла черная пора снова раздумья о прошломъ съ его ошибками и неудачами. И въ статьяхъ онъ почасту возвращается къ недавнему прошлому, чтобы самому разобраться въ немъ, уяснить себѣ свои ошибки и ложные шаги. Онъ снова часто повторяетъ еще въ Москвѣ произнесенныя и такъ часто приходившія ему на мысль слова о „смиреніи“ передъ фактомъ, предъ истиной, какъ бы безотрадна она ни была. И все же, сквозь отпечатокъ особой грустной вдумчивости и проницательной созерцательности, который ложится на его рѣчь все болѣе и болѣе, звучитъ порою старый мотивъ: „Nein, nein, es sind keine leere Träume“ и живетъ вѣра въ творящую силу жизни, изъ которой никакая реакція или темная сила не можетъ вычеркнуть извѣстныхъ фактовъ, идей и неодолимыхъ стремленій.

Такъ, въ разгаръ усмиренія польскаго мятежа, Герценъ, какъ отмѣчено Драгомановымъ, высоко оцѣниваетъ косвенный соціальный результатъ польскаго національно-политическаго движенія. „Сначала и онъ взялъ нѣсколько фальшивыхъ нотъ на тему объ „императорской пугачевщинѣ“, пробовавшихъ объяснить крестьянскую реакцію польскому возстанію исключительно подуськиваньемъ чиновниковъ. Герценъ вѣрилъ польскимъ патріотамъ, которые утѣшали себя, будто и Гонту съ Зализнякомъ подняла „гайдамачущая императрица“ и будто галиційскую рѣзню 1846 г. устроилъ Меттернихъ, и поскользнулся было на эту дорогу и въ маѣ 1863 г. Но уже въ іюлѣ 1863 г. Герценъ написалъ въ „Кол.“ замѣтку: „А дѣло идетъ своимъ чередомъ!“—

Герценъ читаетъ Герцену нотацію за его статьи о Польшѣ.

Фотографическая шутка Левицкаго.

взявши для нея эпиграфомъ слова, которыми лордъ Эленборо протестовалъ въ палатѣ лордовъ противъ аграрныхъ мѣръ въ литовско-бѣлорусскихъ краяхъ. „Въ томъ-то и состоитъ вся непреодолимая сила дѣла,—писалъ Герценъ,—вся нѣкогда умилявшая чувствительныхъ естествоиспытателей упорная экономія и настойчивость природы. Весь секретъ ея состоитъ въ томъ, что если дѣло хорошо заквашено,—то вертись какъ хочешь, оно пойдетъ своимъ чередомъ, ему все на пользу, какъ иному обжорливому ребенку: ѣстъ себѣ всякую всячину, животъ болитъ, а самъ растетъ.

„Много разъ ставили мы вопросъ,—кому служатъ всѣ ужасы, дѣлаемые въ западныхъ губерніяхъ, кому они идутъ въ прокъ, чью игру играютъ. И намекали, что суженаго конемъ не объѣдешь („Кол.“, л. 165). На наши слова мало обращали вниманія. Ну, вотъ наконецъ явился лордъ Эленборо, который съ британскою откровенностью, въ полномъ парламентѣ, да еще въ высшемъ сказалъ, въ чью, и назвалъ суженаго.—Россійскій императоръ—первый революціонеръ въ Европѣ; онъ становится во главѣ освобожденныхъ крестьянъ противъ прежнихъ ихъ господъ, противъ землевладѣльцевъ, противъ собственности“. — „Мы воображаемъ, какія глаза Юноны сдѣлаетъ . . . . . , прочитавши слова л. Эленборо... Если бы . . . . . читалъ „Колоколъ“, какъ прежде, его Эленборо не удивилъ бы... Тамъ онъ могъ бы прочесть еще два-три мѣста и между прочимъ узналъ бы нашу философію дѣла, идущаго своимъ чередомъ, и зародыша, развивающагося путемъ безумнымъ, когда ему нѣтъ разумнаго выхода.—Что можетъ быть противуположнѣе усмиренію возстанія, какъ революція? А Эленборо совершенно правъ: муравьевское усмиреніе политически-національнаго движенія—аграрная коммунистическая революція, пугачевщина, организованная самимъ правительствомъ („Кол.“. 4 авг. 1863)“.

Никакой „революціи“, конечно, не было, это способъ выраженія, но дѣйствительно, подъ давленіемъ и урокомъ польскаго возстанія, изъ соображеній практической политики, правительство торопилось провести въ Западномъ краѣ устройство крестьянъ, при помощи того самаго довольно широкаго принудительнаго отчужденія частновладѣльческихъ земель, которое въ настоящій моментъ для внутренней Россіи такъ упорно отрицается правящею бюрократіею.

Но была въ этомъ всемъ и доля простого самоутѣшенія, которое не могло закрыть печальныхъ итоговъ.

Новый 1864 годъ Герценъ встрѣтилъ такою записью въ дневникѣ (письмо Огареву отъ 24 февраля 1865 г.):

„Съ 1851 г. я не переступалъ въ новый годъ съ такимъ ужасомъ. *Пора!* Этотъ голосъ меня преслѣдуетъ не всегда

громко, но самое ничтожное обстоятельство будитъ всю его его силу. Въ минуты recueillement и въ минуты грусти я слышу: пора! Еще шагъ, и груша перезрѣетъ, будетъ невкусна. Въ новомъ году я предвижу 2 мая (годовщина смерти Нат. Александр. Герценъ, день, когда для него „все рухнуло—общее и частное"—*Авт.*). Связи, длившіяся всю жизнь, подаются (разладъ съ Огаревымъ,—*Авт.*). *Мы понижаемся въ глазахъ другъ друга*,—старость, что ли? Вѣнки исчезаютъ, остаются старыя лица съ притязаніемъ на молодость. Гармоніи въ семейной жизни нѣтъ... Въ общемъ мракъ и ужасъ, мы конфортативами натягиваемъ себя на призрачныя вѣры.

„Не предчувствіе ли это конца, примиреніе съ нимъ, гуманное captatio benevolentiae со стороны смерти?"

„Я шумлю, но дѣйствительно радостей у меня немного... Тогда, когда и въ общемъ я вижу, что единственный человѣкъ, который съ 1826 г. шелъ въ унисонъ со мной, теряетъ масштабы и переноситъ свои желанія на дѣйствительность, сердясь, что я вижу, что это желанія, а не дѣйствительность... увѣряю тебя, Огаревъ, что есть отъ чего бѣжать изъ полку..."

4 марта 1864 г. „Итакъ, серьезно, безъ излишнихъ надеждъ, но съ вѣрой пойдемъ по жесткому пути старости..."

XIII.

Послѣдніе годы „Колокола".

Уже осенью 1863 года Герценъ видѣлъ и чувствовалъ, что „Колоколъ" потерялъ связи съ родиной, что его звонъ не находитъ себѣ отголоска въ сердцахъ земляковъ.

„На сію минуту наша дѣятельность заторможена, — писалъ онъ 21 ноября изъ Флоренціи, въ открытомъ письмѣ къ Гарибальди, отозвавшемуся на польское возстаніе въ „Колоколѣ" словомъ сочувствія полякамъ:—патріотическое безуміе, полицейская пропаганда, военное положеніе, нелѣпость, глупость, страхъ передъ этой доброй, милой, благоразумной Европой,—все намъ мѣшаетъ"... Вскорѣ Герценъ самъ удостовѣряетъ ослабленіе связей съ родиною; по поводу помѣщенія въ „Колоколѣ" большого разсказа о посѣщеніи Лондона Гарибальди, Герценъ замѣчаетъ, что для этого въ газетѣ, „благодаря террору, наложившему печать молчанія на большую часть корреспондентовъ, довольно мѣста". („Кол." № 188).

Пріѣздъ въ Лондонъ Гарибальди и посѣщеніе имъ Герцена подробно послѣднимъ описаны въ разсказѣ „Camicia rossa" („Красная рубаха"). Это одна изъ лучшихъ статей Герцена, ярко, образно, во весь ростъ рисующая героя итальянскаго освобожденія. Личныя отношенія между этими двумя скитальцами во имя свободы завязались въ 1854 г., когда Герценъ встрѣтилъ его въ лондонскихъ докахъ капитаномъ корабля, и Гарибальди развивалъ предъ нимъ свой проектъ плавающей свободной эмиграціи, составленной изъ изгнанниковъ всѣхъ странъ... Престарѣлый итальянскій герой, визита котораго, какъ величайшей чести, тщетно добивались многіе пэры Англіи, былъ гостемъ русскаго изгнанника; на обѣдѣ у Герцена Гарибальди встрѣтился съ своимъ товарищемъ-соперникомъ по борьбѣ за освобожденіе Италіи съ Маццини, и здѣсь состоялось ихъ торжественное примиреніе. Въ этотъ день, 17 апрѣля 1864 г.,

домъ Герцена въ Теддингтонѣ, какъ въ 1855 г. послѣ смерти Николая въ Твикнемѣ, какъ въ праздникъ освобожденія 1861 года былъ центромъ вниманія всего Лондона. Въ банкетѣ въ честь Гарибальди приняли въ домѣ Герцена участіе кромѣ русскихъ, итальянцевъ и поляковъ также нѣмцы, французы и англичане...

„День этотъ удался необыкновенно и былъ однимъ изъ самыхъ свѣтлыхъ, безоблачныхъ и прекрасныхъ дней послѣднихъ 15 лѣтъ. Въ немъ была удивительная ясность и полнота, въ немъ была эстетическая мѣра и законченность, очень рѣдко случающіяся... Такіе дни представляютъ вершины... Дальше, выше, въ сторону—ничего, какъ въ пропѣтыхъ звукахъ, какъ въ распустившихся цвѣтахъ“.... „Такіе дни хорошо помнить долгіе годы, отъ нихъ свѣжѣетъ душа и примиряется съ изнанкой жизни. Ихъ очень мало“...

Прошло и это „сновидѣніе въ весеннюю ночь“... а разрыва съ Россіею ничто не могло ни смягчить, ни сгладить. Онъ явился тяжелою постоянно сочившеюся душевною раною Герцена. Онъ самъ говоритъ въ одномъ письмѣ о „вошедшемъ внутрь политико-соціальномъ ракѣ“. Облако безпросвѣтной грусти о непоправимомъ не могло быть разсѣяно *смиреніемъ* предъ фактомъ, которое онъ тщетно вызывалъ въ себѣ.

„Колоколъ“ сдается не сразу, и долго Герценъ еще старается привлечь отшатнувшагося отъ него читателя, желаетъ отыскать новаго.

Полемизируя съ Огаревымъ, все мечтавшимъ объ агитаціонной роли, Герценъ говорилъ: „Я чувствую еще всю свою силу на проповѣдь, на судъ и осужденіе, на анафему, я чувствую силу mit der Gemeinde (съ товарищами.—*Авт.*) носиться по морю взадъ и впередъ, продолжая свою рѣчь. Я готовъ „Колоколу“ дать этотъ характеръ. Такая проповѣдь не пропадетъ,—вѣдь въ свое время она много сдѣлала. Будемъ звать юношей... въ этомъ я пойду съ тобой, какъ шелъ всю жизнь, пойду я и во всемъ остальномъ, но вѣры, чтобъ зародышъ былъ готовъ, что мы можемъ „сдѣлать возстаніе“,—у меня еще нѣтъ. А когда я смотрю на das wüste Treiben (дикую игру — *Авт.*) такихъ сильныхъ движеній, какъ польское, мною овладѣваетъ ужасъ передъ этими путями безплоднаго кровоистеченія“.

„Россія явнымъ образомъ сорвалась съ пути, на который попала въ 1855 г., и несется третій годъ рядомъ преступленій и нелѣпостей...“—писалъ онъ и печатно, отъ 15 іюня 1864 г. („Колоколъ“, № 187).

„Ревъ, вой, шипѣніе казеннаго, свирѣпаго патріотизма—заглушаетъ всякое человѣческое слово. Образованная Россія оказалась гораздо болѣе варварской, чѣмъ Россія народ-

ная. На этомъ варварствѣ ея стали возможными ужасныя дѣла и ужасныя слова—казни въ Польшѣ, каторги въ Россіи, раненый Сѣраковскій, вздернутый на висѣлицу, Чернышевскій, бѣлымъ днемъ выставленный у позорнаго столба, и всѣ прочія неистовства правительства и общества.

„Пока продолжается этотъ „запой“ кровью, для чего наша рѣчь? Съ кѣмъ намъ говорить, для кого писать, печатать?

„Прошлое обязываетъ. Мы имѣли довольно голоса и смѣлости, чтобъ начать рѣчь... мы ее продолжали средь рукоплесканій сверху и снизу — надобно имѣть духъ продолжать ее, пока пьяные отрезвятся. Продолжать для того, чтобъ не умолкъ послѣдній протестъ, чтобъ не заглохло угрызеніе совѣсти, чтобъ не было вдвое стыдно потомъ, чтобъ иной разъ опять выжечь клеймо позора на узкомъ лбѣ палачествующаго правительства, обнищавшаго дворянства и шпіонствующей журналистики“.

Герценъ собирался писать еще для „новой среды“ растущей русско-демократіи; думалъ, что ему удастся прибавить „слово дальнихъ странниковъ—къ тому, чему ихъ (русскую молодежь) учитъ Чернышевскій съ высоты . . . . . столба *), о чемъ имъ говорятъ подземныя голоса изъ . . . . . *кладовыхъ*, о чемъ денно и ночно проповѣдуетъ . . . . . крѣпость—наша святая обитель, наша печальная петропавловская лавра на Невѣ.

„Середь этихъ ужасовъ, насъ окружающихъ, середь боли и униженій, намъ хочется еще и еще разъ повторить имъ, что мы съ *ними*, что мы живы духомъ... и не хотимъ больше ни исправлять неисправимыхъ, ни лечить неизлечимыхъ, а хотимъ вмѣстѣ съ ними работать надъ отысканіемъ путей русскаго развитія, надъ разъясненіемъ русскихъ вопросовъ“.

Къ этому моменту относится чрезвычайно интересный эпизодъ, встрѣча Герцена съ другомъ-врагомъ сороковыхъ годовъ Юріемъ Самаринымъ. Самаринъ первый сдѣлалъ шагъ къ устройству этого свиданія, чтобы во имя общихъ воспоминаній, во имя уваженія Герцена къ памяти Хомякова и К. Аксакова, такъ тепло помянутыхъ въ „Колоколѣ“ послѣ смерти, переговорить на чистоту и лично поставить Герцену на видъ весь „вредъ“ его теперешней дѣятельности. Свиданіе состоялось въ Лондонѣ въ концѣ іюля; оно, конечно, не могло имѣть никакихъ практическихъ результатовъ. Слѣдствіемъ его были въ „Колоколѣ“ „Письма къ противнику“, въ которыхъ Герценъ отстаивалъ свои общія

*) „Торговая казнь“ надъ Чернышевскимъ, совершенная 19 мая 1864 г. предъ ссылкою въ каторжныя работы.

точки зрѣнія на русскую жизнь, на право свободной рѣчи къ молодежи, отвергая рѣзкія обвиненія въ проповѣди революціи для революціи („Колоколъ“, №№ 191, 193 и 194). Спокойно сдержанный, мѣстами грустный тонъ этихъ писемъ, не даетъ, однако, понятія, какъ глубоко взволновало Герцена самое свиданіе. Ожидая его, онъ вспоминалъ, какъ „бывало, готовился, со страхомъ логики и вѣрою въ Гегеля, на споры съ Хомяковымъ и, приходя домой, считалъ, всѣ ли категоріи цѣлы“. Встрѣча ихъ, ихъ безпримѣрный, дѣйствительно, на чистоту, разговоръ, рисуется въ слѣдующихъ отрывкахъ писемъ Герцена къ Огареву.

22 іюля 1864 г. „У меня все еще идетъ кругомъ въ головѣ отъ разговора, который длился отъ 6 до часу безпрерывно. Десять разъ онъ принималъ ту форму, послѣ которой слѣдовало прекратить и его, и знакомство. О сближеніи не можетъ быть и рѣчи, и при этомъ лично Самаринъ и уважаетъ, и любитъ меня. Я только взошелъ въ № и спросилъ объ немъ, какъ онъ явился самъ (онъ у человѣка записалъ мое имя, стало, не боится). Я протянулъ ему руку, но онъ бросился обнимать меня.

„Вотъ главные тезисы. Что касается до правительства, оно не имѣетъ никакого направленія и идетъ зря; оно съ самаго начала искало руки ведущей, но ея не нашлось, и теперь ищетъ. Терроръ ему приказало общество, и этимъ Самаринъ доволенъ (противъ террора въ Петербургѣ Суворовъ, Валуевъ, Адлербергъ). Было время, въ которое „Колоколъ“ могъ вліять громадно. Все потеряно колоссальной ложью въ польскомъ дѣлѣ. Онъ считаетъ теперешнюю дѣятельность окончательно пустой, потому что кромѣ исключительнаго кружка никто не хочетъ и не читаетъ „Колокола“. Всѣ увѣрены, что ложные манифесты отъ насъ, или по крайней мѣрѣ, отъ Бакунина, и онъ такъ думалъ до разговора...

„Затѣмъ начинается другая часть: это детали, т. е. картины, эпизоды и пр. И душу щемитъ, и смѣшно, и не смѣшно. Хаосъ, безумное, дурманное броженіе. Мысль, у него проявляющаяся или затаенная, та: „Всему этому и вы способствовали“ (онъ считаетъ вліяніе мое на поколѣніе, съ начала царствованія, самымъ главнымъ и сильнымъ, больше сильнымъ, чѣмъ вліяніе Николая Павловича!—Каково?!),—въ то время, какъ надобно было всѣ силы, всѣ помышленія устремить на то, чтобъ двинуть машину впередъ.

„Я пришелъ въ комнату усталый... Общее впечатлѣніе страшно грустное. Какой-то стихійный соціальный переворотъ идетъ, давя колесами все,—и люди, какъ Самаринъ,

съ этимъ примирились, и идутъ возлѣ и тянутъ эту барку по бичевнику, да еще какъ говорятъ: „Да вѣдь вы хотѣли же соціальнаго переворота; ну, онъ и идетъ такъ, а не иначе“!

23 іюля 1864. „Вчерашняя бесѣда была еще тяжелѣе. Дошло даже до холодно язвительныхъ замѣтокъ. Я боленъ Самаринымъ... Онъ говоритъ, что моя роль была—роль Немезиды, пророчествующей, и что я пустилъ по міру (по духовному) все поколѣніе моей непослѣдовательностью, что жаръ душевный и талантъ скрыли ядъ, а въ нихъ отрава осталась, а полета нѣтъ...

24 іюля „Передъ прощаньемъ у насъ шелъ крупный разговоръ и злой. Потомъ—что-то молчаливый. Потомъ мнѣ въ самомъ дѣлѣ стало грустно, да и ему“...

Однимъ изъ мелкихъ пунктовъ спора была судьба Мартьянова, относительно котораго Самаринъ не хотѣлъ вѣрить, чтобы правительство могло послать его на каторгу за письмо къ Александру II съ идеализаціей „земскаго“ самодержавнаго царя. Герценъ попросилъ Самарина похлопотать за Мартьянова, что тотъ и обѣщалъ, но долженъ былъ убѣдиться вскорѣ, что Герценъ былъ правъ о причинѣ ссылки Мартьянова. „На этомъ мы поцѣловались и разошлись,—писалъ Герценъ Огареву.—„Можетъ, сказалъ я,—это русское явленіе, что два противника такъ встрѣчаются“...

Свиданіе съ Самаринымъ снова наглядно показало Герцену, что вліяніе его на слой людей его поколѣнія въ Россіи безповоротно кончено. Съ новыми поколѣніями, какъ было уже отчасти въ 1859 году, во время объясненій съ Чернышевскимъ, связь не вязалась, и грозилъ, а вскорѣ и разразился, острый раздоръ. Общая причина этому понятна: та молодая эмиграція, которая стала въ эти годы сосредоточиваться въ Женевѣ, стояла уже всецѣло на почвѣ стремленій къ подпольной революціонной работѣ; въ послѣднюю ее стихійно толкала правительственная реакція, вскорѣ успѣшно вызвавшая къ жизни и терроръ снизу въ отвѣтъ на терроръ сверху. На эту почву Герценъ не хотѣлъ и не могъ вступать. Вблизи онъ разглядывалъ брезгливо всѣ темныя и отрицательныя черты людей, попавшихъ въ число „хористовъ революціи“, вѣчныхъ жениховъ революціонной Пенелопы, ихъ зналъ онъ столько въ рядахъ международной демократіи и теперь наблюдалъ въ средѣ земляковъ.

Въ Женевѣ группировались въ это время А. Серно-Соловьевичъ, Н. Утинъ, Н. Жуковскій, Касаткинъ, Якоби, Шелгунова, нѣсколько позднѣе—Нечаевъ, и многія другія лица, имена которыхъ, кромѣ развѣ Серно-Соловьевича,

почти ничего не говорятъ въ смыслѣ авторитетности и глубины содержанія ихъ носителей. Герценъ долженъ былъ сойтись съ ними во имя „общаго дѣла“, но общаго-то и оказывалось слишкомъ мало. Еще только задумывая перенести „Колоколъ“ въ Женеву,—въ виду того, что Лондонъ оказывался теперь совершенно въ сторонѣ отъ перекрещивавшихся линій движенія за границей русскихъ путешественниковъ, учащейся молодежи и пр.,—Герценъ писалъ Огареву о своихъ сомнѣніяхъ поладить съ молодой эмиграціей уже 4-го янв. 1864 г. Съ нею онъ знакомился въ поѣздки по континенту, которыя снова начались у него съ 1863 года. „Мнѣ съ ними ужасно скучно,—пишетъ онъ товарищу:—все такъ узко, ясно, лично, и ни одного интереса, ни научнаго, ни въ самомъ дѣлѣ политическаго, никто ничему не учится, ничего не читаетъ. Утинъ хуже другихъ по безграничному самолюбію.—Что „Колоколъ“ издавать въ Лондонѣ при новомъ взмахѣ въ Россіи нельзя, это для меня ясно. Здѣсь (въ Женевѣ) перекрещиваются безпрерывно ѣдущіе изъ и во Францію, изъ и въ Италію, здѣсь многіе живутъ и проч. Но что мы будемъ дѣлать съ милой оравой этой—я не знаю“. Черезъ годъ, когда предположенія о переносѣ „Колокола“ въ Женеву были поставлены на реальную почву, Герценъ писалъ о переговорахъ съ эмиграціей: „У нихъ нѣтъ ни связей, ни таланта ни образованія; одинъ Мечниковъ (Левъ) умѣетъ писать; имъ хочется играть роль, и они хотятъ насъ употребить пьедесталомъ“. (5 янв. 1865 г.); изъ письма 8 января видно, что Герцену предъявлялось требованіе сдѣлать „Колоколъ“ органомъ коллегіальнымъ съ рѣшеніями по редакціоннымъ дѣламъ „по большинству голосовъ“, на что Герценъ, конечно, не могъ согласиться. Все это было достаточно дурнымъ предзнаменованіемъ, и дѣйствительно, вскорѣ заграничные представители русской демократіи создали Герцену много тяжелыхъ, мучительныхъ даже минутъ.

Послѣдній номеръ „Колокола“, выпущенный въ Лондонѣ, былъ 196-й отъ 1 апрѣля 1865 года. Слѣдующій 197-й выпущенъ уже въ Женевѣ. Къ прежнему девизу: „Vivos voco!“ Герценъ прибавилъ уже ранѣе въ „Кол.“ заявленный девизъ: „Земля и воля“.

Съ этого времени идутъ снова, какъ предъ лондонской жизнью, безпрестанные переѣзды Герцена съ мѣста на мѣсто, прослѣдить которые составитъ его біографу не малое затрудненіе. Внутреннее безпокойство, а не какія-либо внѣшнія причины, вотъ что болѣе всего заставляетъ его постоянно передвигаться. Въ наброскахъ „Швейцарскіе виды“ находимъ нѣсколько пояснительныхъ къ этому строкъ:

„Долго живши на одномъ мѣстѣ и въ одной колеѣ, я чувствую, что на нѣкоторое время *довольно*, что надобно освѣжиться другими горизонтами и физіономіями... и съ тѣмъ вмѣстѣ взойти въ себя, какъ бы это ни казалось страннымъ. Поверхностная разсѣянность дороги не мѣшаетъ.

„Есть люди, предпочитающіе отъѣзжать *внутренно*: кто при помощи сильной фантазіи и *отвлекаемости* отъ окружающаго—на это надо особое помазаніе, близкое къ геніальности и безумію—кто при помощи опіума или алкоголя. Русскіе, напримѣръ, пьютъ запоемъ недѣлю—другую, потомъ возвращаются ко дворамъ и дѣламъ. Я предпочитаю передвиженіе всего тѣла, передвиженіе мозга, и круженіе по свѣту—круженію головы“ („Швейцарскіе виды“).

Порою Герценъ просто отдыхалъ въ этихъ разъѣздахъ отъ семейныхъ своихъ дѣлъ. Нѣсколькими строками дальше въ цитированной статьѣ онъ говоритъ:

„Съ лѣтами странно развивается потребность одиночества и главное тишины... Знать, что никто насъ не ждетъ, никто къ вамъ не взойдетъ, что вы можете дѣлать, что хотите, умереть пожалуй... и никто не мѣшаетъ, никому нѣтъ дѣла... разомъ страшно и хорошо. Я рѣшительно начинаю дичать и иногда жалѣю, что не нахожу силъ принять свѣтскую „схиму“... Письма къ Огареву Герцена, съ которымъ онъ разстался незадолго, уясняютъ въ чемъ дѣло: его отношенія къ Натальѣ Алексѣевнѣ, семейныя осложненія были далеко не легки... Осѣдлая жизнь просто не налаживалась.

„Тата (старшая дочь Герцена) ничего не понимаетъ въ хозяйствѣ,—читаемъ въ одномъ письмѣ Герцена.—Въ этой дряни, съ глубокой раной въ груди, съ всевозможными помѣхами, да еще съ общими дѣлами (отношенія съ кругомъ русскихъ эмигрантовъ—*Авт.*),—я ничего не работаю и верчусь, какъ паровое колесо, когда пароходъ стоитъ, тратя силу, жизнь, а ея немного впереди“.

Въ декабрѣ 1864 г. умерли отъ дифтерита двое малолѣтнихъ дѣтей Н. А. Огаревой, и снова онъ ѣдетъ въ новыя мѣста безъ опредѣленной цѣли—лишь бы двигаться. „Моя старая и вѣчная тема:—внѣшняя независимость жизни—великое дѣло, ich schwelge (роскошествую—*Авт.*) теперь въ ней,—пишетъ онъ Огареву:—Знать, что никто тебя не ждетъ, что нельзя опоздать—даетъ страшную свободу мысли и покой. И за грѣхи наши не будетъ намъ этой жизни! Рвался ты осенью въ одиночество — болѣзнь связала. Думалъ и я иначе вздохнуть—два гробика стали на дорогѣ“...

Эта тяжелая тема—горькое сознаніе, что личная жизнь сложилась какъ нельзя хуже для обоихъ друзей, при томъ, что большею долею они сами были въ томъ виноваты—со-

ставляетъ красную нить всей почти переписки Герцена съ Огаревымъ за послѣдніе годы. Это—вѣчное исканіе полнаго покоя и свободы, и сознаніе, что испорченная жизнь не наладится...

„Какое тяжелое занятіе жизнь, и какъ страшно думать, что всегда au fond мы сами такъ глупо вели жизнь, такъ усложнили ее, что все-таки подъ конецъ придется задохнуться въ пыли“ (29 ноября 1864). „Простору нѣтъ въ нашей жизни и полнаго покоя. Странное дѣло, я никогда такъ не чувствую себя собраннымъ, какъ когда я бываю совершенно заброшенъ одинъ, ex. gr. теперь. Ходишь по улицамъ, бродишь, а все какъ-то звонко и память всего бывшаго такъ ясна, печально-ясна. Надобенъ home (семейный очагъ, который и не налаживался—*Авт.*), покой, и тогда работа,—другого выхода нѣтъ“ (17 марта 1865). 15 апрѣля, Ницца. „А и теперичная жизнь крѣпко надоѣла: слишкомъ безплодно перевертываются послѣднія страницы жизни и въ дурной тревогѣ. Я поэзіи камня, т. е. неподвижности браминской и твоей, не особенно люблю, но двигаться и не двигаться надобно съ покоемъ внутри“.

1866, декабрь. „Письмо твое я получилъ. Да, да, die schöne Tage von Aranjuez... Я сержусь на тебя и себя, что мы не умѣли ничего сдѣлать изъ своей жизни для себя. Что было хорошаго ушло на другихъ. Но мѣсто въ инвалидномъ домѣ можно бы заслужить. Оставаясь *обыкновенными* людьми, мы хотѣли жить не по людски, а повыше, хотѣли и нѣмецкой швермеріи, и французской дебошины,—ну, и какъ слѣдовало ожидать, изъ всего вышло тугое, тяжелое, изуродованное житье на два мотива: съ бранью и желчью у меня, съ старчествомъ отъ вина у тебя.

„Въ Ниццѣ въ 1850 году было первое крещеніе обыкновенной водой... когда сломилась семейная жизнь, въ которую я вѣровалъ, когда я увидѣлъ, что я и покойная Natalie состоимъ подъ Common Law. Я съ ума сошелъ отъ удивленія, отъ униженія...

„Итакъ, впереди—только развѣ и остается, что вспоминать тридцатые и сороковые годы. Да мелькнувшую силу 1857—62... Для развлеченія „dann und wann“, похороны, грязь, которую будутъ бросать разные Элпидины, клеветы... а дома разладица“.

1866 г., 30 декабря, Ницца. „Печально встрѣчаю Новый годъ. Тотъ же сумбуръ, тотъ же хаосъ. Я вспоминаю, какъ страшно встрѣчалъ я новый годъ съ 50 на 51 и съ 51 на 52. Ницца, говоря à la Филаретъ, для меня Голгоѳа или лобное мѣсто. Но уже всякій разъ силъ меньше и такая жажда покоя (не неподвижности), которая все побѣждаетъ...“

1 января 1867 г. „Не жду ничего путнаго и въ этомъ году. Есть особенно горькое чувство,—врядъ тебѣ извѣстно ли оно,—сознаніе, что жизнь уходитъ, что человѣкъ могъ бы и быть свѣтлымъ, и освѣщать, могъ бы жить не только schwärmerisch въ фантазіи, но дѣятельно на большой сценѣ,—знать это и чувствовать, что попалъ въ какую-то мышеловку, и дверь захлопнута. Это можетъ довести до отчаянія, меня доводитъ до озлобленнаго бездѣйствія, я безусловно ничего не дѣлаю..."

7 января. „Ты, caro mio, пишешь консоляціи. Я не вижу ни одной свѣтлой точки въ будущемъ, да вѣдь и ты не видишь. Это такъ говорится. Кто первый сказалъ слово чернаго отчаянія, тому второй говоритъ слово утѣшенія. Скажи второй, первый начнетъ утѣшать. Я говорю о нашей личной жизни. Что касается до Cosmos'a, онъ fara da se. Быть наблюдателемъ и очищать и мысль и жизнь—это нравственное схимничество можетъ идти. Но для этого надобно покой, а чтобъ было покойно, надобно пожертвовать безпокойными,—ну, и опять логическій кругъ".

25 января. Герценъ продолжаетъ: „Меня мучитъ неумѣнье устроить жизнь для себя, для насъ, для нѣсколько близкихъ лицъ. Мнѣ иногда сдается, что мы оба, ты и я, страшные эгоисты, ты—съ нѣжными, я—съ жестокими веллеитетами, и оттого постоянно губимъ все около себя, себѣ, и выкупаемъ нашу психическую антропофагію общими интересами и талантомъ".

29 января. ..„Я просто устаю и тупѣю, и тутъ никакая теорія de libero et servo arbitrio не поможетъ. Я вижу одно: *мы несчастны въ частной жизни*, и слышу ясно и отчетливо: *и по дѣломъ*,—и это я ношу, какъ ядро на ногахъ".

13 февр. „Я раздавленъ неудачами".

1867, между 7 и 17 февраля. „У насъ на первомъ планѣ были общіе интересы, искусство и пожалуй разгулъ (пьянство, женство)... Зачѣмъ же мы посягали на *семейную* жизнь? Грозная туча разбила въ черепки мою жизнь. А я все-таки выпрыгнулъ въ окно—и еще добилъ себя.

1866 или 1867. „Покоя, простого, добраго покоя. Sechs und fünfzig Jahre und Nicts für die Ruhe gemacht! *). Я чувствую, добросовѣстно и sans minauderie, coquetterie, какъ я много виноватъ въ томъ, что все идетъ безумно, и исправить не могу".

28 окт. 1867. „Тоска объ общихъ и частныхъ дѣлахъ,

*) „Пятьдесятъ шесть лѣтъ—и ничего для покоя не сдѣлано!"—Передѣлка извѣстнаго стиха Шиллера.

Въ первомъ изъ писемъ, появившемся въ первомъ женевскомъ номерѣ (№ 197), написанномъ по поводу смерти наслѣдника престола, между прочимъ, говорилось:

„Взгляните ясно и просто съ Монблана, на которомъ васъ поставила судьба, разгоняя стаи галокъ и воронъ, имѣющихъ право пріѣзда ко двору, и вы увидите, что лавированіемъ между казеннымъ прогрессомъ и полицейской реакціей, вы далеко не уѣдете и сведете себя на одинъ безплодный отпоръ и притомъ на отпоръ неоткровенный и лишенный единства.

„Не лучше ли же, не доблестнѣе ли порѣшить общія дѣла общими силами, и созвать со всѣхъ концовъ Россіи, со всѣхъ слоевъ ея—выборныхъ людей?! Среди нихъ вы услышите строгія сужденія и свободныя рѣчи, но будете безопаснѣе, чѣмъ былъ вашъ дѣдъ, окруженный рвами, стѣнами и лейбъ-гвардейскими эспонтонами въ подобострастной нѣмотѣ Михайловскаго дворца.

„...Возвратитесь съ похоронъ Вашего сына на новую дорогу.

„...Но прежде всего остановите руку палача, возвратите сосланныхъ и прогоните внѣзаконныхъ судей, которымъ поручалась . . . . . месть и неправое гоненіе.

„Не для невинныхъ жертвъ вашихъ, не для пострадавшихъ мучениковъ нужно всепрощеніе. *Оно нужно для Васъ.* Вамъ нельзя человѣчески идти дальше безъ амнистіи отъ нихъ.

„Государь, заслужите ее!“ (Женева, 2 мая 1865).

Но это былъ гласъ вопіющаго въ пустынѣ. Въ сентябрѣ 1865 г. происходилъ знаменательный разговоръ Александра II съ звенигородскимъ предводителемъ дворянства Голохвастовымъ, по поводу адреса московскаго дворянства, заявлявшаго о земскомъ соборѣ. „И теперь вы, конечно, увѣрены,—сказалъ императоръ Голохвастову, какъ представителю дворянъ,—что я изъ мелочнаго тщеславія не хочу поступиться своими правами?! Я даю тебѣ слово, что сейчасъ, на этомъ столѣ, Я готовъ подписать какую угодно конституцію, если бы Я былъ увѣренъ, что это полезно для Россіи. Но Я знаю, что сдѣлай Я это сегодня, и завтра Россія распадется на куски...“

Въ согласіи съ этими внушеніями о распадѣ государства, подъ давленіемъ которыхъ жилъ Александръ II, правительство продолжало прежнюю репрессивную политику. Освободительное движеніе все болѣе загонялось въ подполье, и тамъ родился, наконецъ, терроръ. 4-го апрѣля 1866 г. произведено на Александра II извѣстное покушеніе экзальтированнымъ и больнымъ Каракозовымъ.

Выстрѣлъ Каракозова привелъ Герцена въ крайнее негодованіе, и по существу, какъ террористическій актъ, которому онъ не могъ сочувствовать, и потому, что онъ предвидѣлъ, какъ реакція учтетъ покушеніе въ свою пользу.

„Выстрѣлъ 4 апрѣля былъ намъ не по душѣ,—писалъ Герценъ въ № 219 „Кол.“.—Мы ждали отъ него бѣдствій, насъ возмущала отвѣтственность, которую бралъ на себя какой-то фанатикъ. Мы вообще терпѣть не можемъ сюрпризовъ ни на именинахъ, ни на площадяхъ—первые никогда не удаются, вторые почти всегда вредны. Только у дикихъ и дряхлыхъ народовъ исторія пробивается убійствами. Убійства полезны больше всего лицамъ, династическимъ перемѣщеніямъ. Къ серальнымъ упраздненіямъ вѣнценосцевъ Петербургъ привыкъ, онъ не забылъ ни Ропши, ни Михайловскаго дворца *).

„Пуль намъ не нужно... Мы въ нашей силѣ идемъ большой дорогой, на ней много капкановъ, много грязи, но въ насъ еще больше надеждъ, на ногахъ тяжелыя колодки, въ сердцѣ колоссальныя, не низлагаемыя притязанія. Остановить насъ невозможно, можно только своротить съ одной большой дороги на другую, съ пути стройнаго развитія на путь общаго возстанія“.

Въ связи съ дѣломъ Каракозова возникло сильно властями раздутое дѣло о цѣломъ заговорѣ (по этому дѣлу было привлечено и большею частью сослано въ Сибирь 34 человѣка, а Каракозовъ повѣшенъ). Одновременно обрушились новыя кары на печать, въ связь съ которою власти поставили и 4 апрѣля, и обнаруженное въ процессѣ настроеніе умовъ, интересъ молодежи къ соціалистическому и кооперативному движенію; нашли нужнымъ закрыть „Современникъ“ и „Русское Слово“, какъ непосредственныхъ виновниковъ образа мыслей каракозовцевъ.—Все это заставило Герцена снова писать Александру II.

Въ письмѣ Герценъ энергично протестуетъ противъ мнимаго заговора, въ существованіи котораго увѣрили Государя (объ этомъ въ „Кол.“ подробно говорилось въ отчетѣ о дѣлѣ):

„Ни большого, ни малаго заговора вовсе не было,—писалъ Герценъ:—то, что они называютъ заговоромъ—это возбужденная мысль Россіи, это развязанный языкъ ея, это умственное движеніе, это ваши слова рядомъ съ освобожденіемъ крестьянъ.

„Судьба еще разъ коснулась Васъ,—говоритъ Герценъ

*) Въ Ропшѣ убитъ Петръ III, въ Михайловскомъ дворцѣ—Павелъ I.

въ концѣ письма,—и пусть меня называютъ сумасшедшимъ и слабымъ, я пишу къ Вамъ, такъ трудно мнѣ окончательно разстаться съ мыслью, что Вы вовлечены другими въ тотъ историческій грѣхъ, въ ту страшную неправду, которая совершается возлѣ Васъ.

„Вы не можете желать зла Россіи за ея любовь къ Вамъ. Это неестественно. Станьте же во весь ростъ за нее, изнемогающую подъ тяжестью клеветы и испуганную тайнымъ судилищемъ и явнымъ произволомъ.

„По всей вѣроятности, это послѣднее мое письмо къ Вамъ, Государь. Прочтите его. Одно безконечное мучительное горе о гибнущей юной свѣжей силѣ подъ нечистыми ногами нечестивыхъ стариковъ, посѣдѣлыхъ во взяткахъ, каверзахъ и интригахъ, одна эта боль могла меня заставить еще разъ остановить Васъ на дорогѣ и еще разъ поднять голосъ.

„Вниманія, Государь, вниманія къ дѣлу. Его имѣетъ право требовать отъ Васъ Россія“ („Кол.“ № 221).

Исходъ дѣла показалъ, что и на этотъ разъ Герценъ взывалъ напрасно: его голосъ не былъ услышанъ (впрочемъ, приговоръ по дѣлу каракозовцевъ былъ смягченъ Государемъ), и освободительному теченію было суждено окончательно спуститься въ подполье, со всѣми печальными для всей Россіи послѣдствіями...

По поводу новаго покушенія на Александра II, которое было совершено 6 іюня н. с. слѣдующаго 1867 года поляком Березовскимъ, Герценъ въ № 243 „Кол.“ (отъ 15 іюня 1867) писалъ:

„Опять выстрѣлъ. Мы объ немъ распространяться не будемъ. Наше мнѣніе объ этомъ пути извѣстно: ни вопль безумныхъ крикуновъ, ни брань сильныхъ міра сего, не заставятъ насъ ни превозносить этого рода попытокъ, влекущихъ за собой страшныя бѣдствія, ни произнести слова осужденія мученикамъ, которые обрекаютъ себя на смерть и которыхъ совѣсть чиста именно потому, что они фанатики.

„Само собою разумѣется, что выстрѣлъ 6 іюня не будетъ имѣть никакого вліянія на духъ нашего изданія. Наши убѣжденія сложились давно, и никакая случайность не можетъ ихъ погнуть ни направо, ни налѣво“.

Въ этихъ строкахъ, такимъ образомъ, еще разъ вылилось—при всемъ нежеланіи осуждать лично „мучениковъ, которые обрекаютъ себя на смерть и которыхъ совѣсть чиста“—безусловно отрицательное отношеніе Герцена къ террору, какъ къ средству политической борьбы. Это вызвало за границей и въ самой Россіи, со стороны все болѣе влѣво толкаемыхъ правительствомъ радикаловъ, рѣзкіе протесты.

МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ БАКУНИНЪ.

именно со стороны лондонскаго и московскаго комитетовъ, увидѣвшихъ со стороны Герцена „l'orgueil de sa sottise", усмотрѣвшихъ въ протестѣ его противъ террористическаго способа борьбы малодушный поступокъ (справка въ книгѣ „Катковъ и его время", стр. 492).

Рѣзкія недоразумѣнія между Герценомъ и заграничными русскими радикалами (число послѣднихъ съ 1862 г. постепенно растетъ) начались очень рано. Далеко не все еще ясно въ отношеніяхъ ихъ, но основнымъ источникомъ разногласій, помимо разницы въ складѣ мыслей и происхожденія изъ различныхъ общественныхъ слоевъ, были именно пріемы дѣйствія, тактика, къ которой роковымъ, несчастнымъ образомъ приходило революціонное броженіе, уходя въ подполье.

Скептицизмъ Герцена не могли не питать въ самомъ началѣ такія явленія, какъ напр., со стороны „Земли и Воли" явное преувеличеніе своихъ силъ. „Уполномоченный „Земли и Воли" (дѣло было въ началѣ 1863),—разсказываетъ Герценъ,—былъ полонъ важности своей миссіи и пригласилъ насъ сдѣлаться агентами общества. Я отклонилъ это, къ крайнему удивленію не только Бакунина, но и Огарева. Я сказалъ, что мнѣ не нравится это битое, французское названіе. Уполномоченный трактовалъ насъ такъ, какъ комиссары конвента 1793 года трактовали генераловъ въ дальнихъ арміяхъ. Мнѣ и это не понравилось.

„— А много васъ?—спросилъ я.

„— Это трудно сказать: нѣсколько сотъ человѣкъ въ Петербургѣ и тысячи три въ провинціяхъ.

„— Ты вѣришь?—спросилъ я потомъ Огарева.

„Онъ промолчалъ.

„— Ты вѣришь?—спросилъ я Бакунина.

„— Конечно,—онъ прибавилъ:—ну, нѣтъ теперь столько, такъ будетъ потомъ!—и онъ расхохотался".

Герценъ не могъ, при столь явно несерьезномъ отношеніи къ дѣлу, смѣяться. Онъ не могъ также не протестовать и противъ такихъ пріемовъ, какъ дѣйствительное поселеніе въ умахъ смуты, вмѣсто пропаганды. Въ № 166 „Колокола" онъ въ качествѣ печальнаго документа перепечаталъ *подложный* волжскій манифестъ отъ 31 марта 1863 года, объявлявшій помѣщичью землю крестьянскою, и протестовалъ противъ этого акта, какъ средства очень опаснаго, выражая надежду, что „Земля и Воля" къ нему непричастна. Это отрицательное отношеніе къ смутѣ, при неустойчивости революціонной тогдашней среды, не имѣло вліянія, и слѣдующія поколѣнія революціонеровъ могли еще восхищаться напр., Стефановичемъ, какъ извѣстно, создавшимъ крупный

заговоръ въ Чигиринѣ, обманно пользуясь именемъ царя (Кравчинскій-Степнякъ, самъ говорящій о „безстыдствѣ“ и „безсовѣстности“ этой мистификаціи).

Отсюда долею шло недовѣрчивое отношеніе къ Герцену со стороны людей, всѣ вопросы уже порѣшившихъ. По словамъ А. Серно-Соловьевича, Потебня, предъ польскимъ возстаніемъ посѣтившій Герцена, отозвался о немъ: „Герценъ годится уже теперь только на то, чтобы быть убитымъ на баррикадѣ, на которую онъ, впрочемъ, никогда не пойдетъ“. („Наши домашнія дѣла“, стр. 13). Герцену все чаще, явно, хотя и безсознательно,—даютъ понимать, что смотрятъ теперь на него, какъ на отсталаго, да какъ на источникъ воспособленія эмиграціи и ея планамъ. Множество недоразумѣній вызываетъ такъ называемый „общій фондъ“. Нѣкто Бахметевъ въ 1858 году, проѣзжая черезъ Лондонъ съ фантастическимъ планомъ устройства соціалистической колоніи на... Маркизскихъ островахъ, оставилъ Герцену 20 тысячъ франковъ, прося употребить на его изданія. Герценъ этихъ денегъ не трогалъ, ожидая возвращенія мечтателя (онъ не вернулся и, вѣроятно, не доѣхавши до Австраліи, не зная даже англійскаго языка, попался въ руки ограбившихъ его любителей наживы). На „общій фондъ“ стали предъявлять настойчивыя требованія русскіе эмигранты: „Однимъ эти деньги нужны были для посылки эмиссаровъ; другимъ для образованія центровъ на Волгѣ; третьимъ для изданія журнала“. Герценъ отказывалъ, не вѣря надобности и серьезности предпріятій, и отсюда поводъ къ множеству жалобъ, нареканій и сплетенъ.

Въ Женевѣ отношенія Герцена и молодой эмиграціи окончательно испортились.

„Общее между нами было слишкомъ обще. Вмѣстѣ идти, *служить*, по французскому выраженію, вмѣстѣ что-нибудь дѣлать—мы могли; но вмѣстѣ стоять и жить, сложа руки, было трудно“ („Общій фондъ“).

Послѣ статей въ „Колоколѣ“ о покушеніи Каракозова одинъ изъ представителей эмиграціи А. Серно-Соловьевичъ (вскорѣ покончившій самоубійствомъ) обрушился на Герцена яростной бранью въ цитированной уже брошюрѣ „Наши домашнія дѣла“, отвѣчая якобы на статьи Герцена „Порядокъ торжествуетъ“ въ „Колоколѣ“ и проводя грань между Герценомъ и поколѣніемъ, считавшимъ себя ученикомъ Чернышевскаго.

Герценъ не отвѣчалъ печатно, да и нечего было отвѣчать на попреки въ сытой жизни, рядомъ съ голодающими эмигрантами, попреки тѣмъ болѣе неосновательные, что на свои только средства Герценъ 15 лѣтъ велъ свободную

печать и на нуждающихся, тѣмъ болѣе земляковъ, тратилъ очень много. И въ то время, напр., какъ Серно-Соловьевичъ упрекалъ Герцена въ равнодушіи къ судьбѣ эмигрантовъ, обвиняемый, какъ видно изъ письма къ К. Фохту, предпринималъ шаги предъ федеральнымъ правительствомъ въ защиту русскихъ эмигрантовъ, въ виду полученныхъ извѣстій, что русское правительство потребуетъ высылокъ изъ Швейцаріи и даже выдачъ.

Въ посмертныхъ статьяхъ и письмахъ Герцена отразилось, однако, его раздраженіе и отталкивающее впечатлѣніе, какое производили на него „Собакевичи и Ноздревы нигилизма“. „Нигилизмъ въ серьезномъ значеніи,—писалъ онъ,—наука и сомнѣніе, изслѣдованіе вмѣсто вѣры, пониманіе вмѣсто послушанія“ („Поряд. торжеств.“, „Кол.“, 1/11 1867). Онъ высоко ставилъ Базарова и первый оцѣнилъ его, какъ новый типъ русскаго революціонера, особенно, когда прочелъ извѣстныя статьи Писарева. Но въ большинствѣ русскихъ эмигрантовъ второй половины 1860-хъ годовъ онъ не узнавалъ героическихъ чертъ Тургеневскаго героя. Да и эмиграція въ то время, какъ сказано, не блистала обиліемъ людей сколько-нибудь выдающихся. Выдвигаться сталъ Нечаевъ. Но и въ немъ Герценъ рано различилъ тѣ же, антипатичныя ему черты, такъ сказать, революціоннаго „смутьяна“, готоваго играть и своею, и чужою жизнью, и развязывавшаго себѣ руки. Нечего и говорить, что тенденціи нечаевской программы и революціонной тактики не могли внушать къ себѣ сочувствія Герцену *).

---

*) Приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ нечаевскаго „плана организаціи“.

„Революціонеръ—человѣкъ обреченный. У него нѣтъ ни своихъ интересовъ, ни дѣлъ, ни чувствъ, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все въ немъ поглощено единымъ исключительнымъ интересомъ, единою мыслью, единою страстью—революціей.

„Онъ въ глубинѣ своего существа, не на словахъ только, а на дѣлѣ, разорвалъ всякую связь съ гражданскимъ порядкомъ и со всѣмъ образованнымъ міромъ, со всѣми законами, приличіями, общепринятыми условіями и нравственностью этого міра. Онъ для него—врагъ безпощадный и если-бъ онъ продолжалъ жить въ немъ, то для того только, чтобы его вѣрнѣе разрушить...

„Революціонеръ презираетъ всякое доктринерство и отказался отъ мірской науки, предоставляя ее будущимъ поколѣніямъ. Онъ знаетъ только одну науку—науку разрушенія.

„Цѣль же одна—наискорѣйшее разрушеніе (этого) поганаго строя.

„Онъ презираетъ общественное мнѣніе. Онъ презираетъ и ненавидитъ во всѣхъ побужденіяхъ и проявленіяхъ нынѣшнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствуетъ торжеству революціи. Безнравственно и преступно все, что помѣшаетъ ему.

„Снимая все до послѣдняго клочка,—писалъ Герценъ о представителяхъ тогдашняго заграничнаго революціоннаго нигилизма,—наши enfants terribles гордо являлись, какъ *мать родила*, а родила то она ихъ плохо, вовсе не простыми дебелыми парнями, а наслѣдниками дурной и нездоровой жизни низшихъ петербургскихъ слоевъ. Вмѣсто атлетическихъ мышцъ и юной наготы обнаружились печальные слѣды наслѣдственнаго худосочія, слѣды застарѣлыхъ язвъ. Изъ народа было мало выходцевъ между ними. Передняя, казарма, семинарія, мелко-помѣстная господская усадьба, перегнувшись въ противоположное, сохранилась въ крови и мозгѣ, не теряя отличительныхъ чертъ своихъ. На это, сколько мнѣ извѣстно, не обращали должнаго вниманія... Тутъ нечего искать ни мѣры, ни справедливости. Напротивъ, тутъ дѣлается на зло, тутъ дѣлается въ отместку. Вы—лицемѣры, мы будемъ циниками; вы были нравственны на словахъ, мы будемъ на словахъ злодѣями; вы были учтивы съ высшими и грубы съ низшими, мы будемъ грубы со всѣми; вы кланяетесь, не уважая, мы будемъ толкаться, не извиняясь; у васъ чувство достоинства было въ одномъ приличіи и внѣшней чести, мы за честь себѣ поставимъ попраніе всѣхъ приличій и презрѣніе всѣхъ points d'honneur'овъ.

„Нагота... раскрыла, что ихъ систематическая неотесанность, ихъ грубая и дерзкая рѣчь не имѣетъ ничего общаго съ неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много съ пріемами подъяческаго круга, торговаго

„Революціонеръ — человѣкъ обреченный, безпощаденъ для государства и вообще для всего сословно-образованнаго общества; онъ и отъ нихъ не долженъ ждать для себя никакой пощады. Между ними и имъ существуетъ тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Онъ долженъ пріучить себя выдерживать пытки.

„Суровый для себя, онъ долженъ быть суровымъ и для другихъ. Всѣ нѣжныя, изнѣживающія чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены въ немъ единою холодною страстью революціоннаго дѣла. Для него существуетъ только одна нѣга, одно утѣшеніе, вознагражденіе и удовлетвореніе - успѣхъ революціи. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цѣль—безпощадное разрушеніе. Стремясь хладнокровно и неутомимо къ этой цѣли, онъ долженъ быть готовъ и самъ погибнуть и погубить своими руками все, что мѣшаетъ ея достиженію.

„...У каждаго товарища должно быть подъ рукою нѣсколько революціонеровъ второго и третьяго разрядовъ, т. е., несовсѣмъ посвященныхъ. На нихъ онъ долженъ смотрѣть, какъ на часть общаго революціоннаго капитала, отданнаго въ его распоряженіе. Онъ долженъ экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь изъ него наибольшую пользу.

„...Все это поганое общество должно быть раздроблено на нѣсколько категорій: 1-я категорія—неотлагаемо осужденныхъ на

прилавка и лакейской помѣщичьяго дома. Народъ ихъ такъ же мало счелъ за своихъ, какъ славянофиловъ въ мурмолкахъ. Для него они остались чужимъ, низшимъ слоемъ враждебнаго стана, захудалыми баричами, стрекулистами безъ мѣста, нѣмцами изъ русскихъ.

„Бить въ рожу по первому возраженію, если не кулакомъ, то ругательнымъ словомъ, называть Стюарта Милля *ракальей*, забывая всю службу его,—развѣ это не барская замашка, которая „стараго Гаврила за измятое жабо хлещетъ въ усъ да въ рыло"? Развѣ въ этой и подобной выходкахъ вы не узнаете квартальнаго, исправника, станового, таскающаго за сѣдую бороду бурмистра? Развѣ въ нахальной дерзости манеръ и отвѣтовъ вы не ясно видите дерзость офицерщины и въ людяхъ, говорящихъ свысока и съ презрѣніемъ о Шекспирѣ и Пушкинѣ, внучатъ Скалозуба, получившихъ воспитаніе въ домѣ дѣдушки, хотѣвшаго „дать фельдфебеля въ Вольтеры"?

„Самая проказа взятокъ уцѣлѣла въ домогательствѣ денегъ нахрапомъ, съ пристрастіемъ и угрозами, подъ предлогомъ общихъ дѣлъ, въ поползновеніи кормиться на счетъ службы, мстить кляузами и клеветами за отказъ.

„Все это переработается и перемелется,—заканчиваетъ

смерть. Да будетъ составленъ товариществомъ списокъ такихъ осужденныхъ, по порядку ихъ относительной злонредности для успѣха революціоннаго дѣла, такъ, чтобы предыдущіе нумера убрались прежде послѣдующихъ.

„Вторая категорія должна состоять изъ такихъ людей, которымъ дарують только временно жизнь, чтобы они рядомъ звѣрскихъ поступковъ довели народъ до неотвратимаго бунта.

„У товарищества нѣтъ другой цѣли, кромѣ полнѣйшаго освобожденія и счастья народа, т. е. чернорабочаго люда. Но убѣжденное въ томъ, что это освобожденіе и достиженіе этого счастья возможны только путемъ всесокрушающей народной революціи, товарищество всѣми и силами и средствами будетъ способствовать къ развитію и разобщенію тѣхъ бѣдъ и тѣхъ золъ, которыя должны вывести, наконецъ, народъ изъ терпѣнія и понудить его къ поголовному возстанію.

„Спасительною для народа можетъ быть только та революція, которая уничтожитъ въ корнѣ всякую государственность и истребитъ всѣ государственныя традиціи порядка и классы Россіи.

„..Наше дѣло—страшное, полное, повсемѣстное и безпощадное разрушеніе. Поэтому, сближаясь съ народомъ, мы прежде всего должны соединиться съ тѣми элементами народной жизни, которые со времени основанія московской государственной силы не переставали протестовать, не на словахъ, а на дѣлѣ противъ всего, что прямо или косвенно связано съ государствомъ: противъ дворянства, противъ чиновничества, противъ поповъ, противъ гильдейскаго міра и противъ кулака-міроѣда. Но соединимся съ дикимъ разбойничьимъ міромъ, этимъ истиннымъ и единственнымъ революціонеромъ въ Россіи".

Герценъ,—но... много дренажа требуютъ наши черноземы..." („Общій фондъ").

Отношенія съ русскими „нигилистами" установились, наконецъ, у Герцена самыя острыя.

„Серно-Соловьевичъ, — жаловался Герценъ въ письмѣ Бакунину,—наглый и сумасшедшій, но страшно то, что большинство молодежи такое, и что мы всѣ помогли ему быть такимъ. Я много думалъ объ этомъ послѣднее время и даже писалъ не для печати теперь. Эти люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чѣмъ на Скарятина *), говорятъ просто, что они хотѣли бы (меня) обобрать и что они не могутъ переварить художественной стороны статей. Ты и Огаревъ, вы этихъ скорпіоновъ откармливали млекомъ вашимъ. Это вѣрно. Caro mio, подумай! Имъ будущности нѣтъ. Это меньшій братъ, который умретъ,—и на его могилѣ встрѣтится старшій съ еще болѣе меньшимъ".

По разсказамъ разныхъ лицъ, эта молодежь всячески старалась уязвить Герцена, старались принизить даже его талантъ, сравнивая съ Элпидинымъ (издатель за границей многаго изъ русскихъ писателей,—Чернышевскаго и пр.). Герценъ съ досадою разсказывалъ Ге, какъ въ Женевѣ безъ всякой надобности кричали ему черезъ улицу: „Герценъ, Герценъ! Будете дома?" чтобы только показать: „Вотъ какъ мы его третируемъ!" Въ нѣкоторыхъ письмахъ Герценъ даетъ съ крайнею рѣзкостью полную волю своему раздраженію. „Ихъ надобно выставить къ позорному столбу во всей наготѣ, во всемъ халуйствѣ и наглости, въ невѣжествѣ и трусости, въ воровствѣ и доносничествѣ. И можетъ, если силы не ослабѣютъ, я еще и буду ихъ палачомъ и положу имъ клеймо глупости на лобъ. Передняя, казарма, застѣнокъ полицейскій и дьячки могли только развести этотъ испанскій воротникъ на шеѣ Россіи. Тутъ всѣ—и Бакстъ, отпирающійся отъ своихъ словъ, сладкоглаголивый, семитическій „муранъ" Венери и п....словый Елпидинъ, сопля Вормсъ и гной Серно-Соловьевичъ, жиденяты, утяты и гуляты. Ну, и довольно съ нихъ" (29 апрѣля 1868 г.). Или: „Тухлая грязь своимъ чередомъ,—пишетъ онъ Огареву 2 мая 1868 г. и разсказываетъ одно изъ своихъ столкновеній:—эти плащицы не съ Аполлоновыхъ—а съ м... „Современника"—ходятъ подъ какой-то амнистіей. Что они меня потащили бы на висѣлицу—въ этомъ я убѣжденъ. Что они еще сдѣлаютъ засаду—это ты увидишь. Поэтому надобно предупредить ихъ и стать на военную ногу—статьей—или убить на дуэли какую-нибудь дрянь,—тогда, если не убьютъ, можно спокойно вѣкъ

*) Редакторъ реакціонной газеты „Вѣсть".

дожить... Да что ты въ самомъ дѣлѣ не раскусишь съ 1861 г. тургеневскаго Базарова?.. Онъ слабъ, поверхностенъ, дурно задуманъ—но онъ Богъ передъ этими свиньями"... Проискамъ и сплетнямъ съ ихъ стороны Герценъ въ одномъ письмѣ приписываетъ даже паденіе въ Россіи популярности „Колокола", приписываетъ Базаровымъ, „которые проповѣдуютъ отъ Гейдельберга до Сольвычегодска, отъ Флоренціи до Корчевы всему молодому поколѣнію ненависть къ намъ. Тата мнѣ пишетъ объ удивленіи молодыхъ русскихъ дѣвушекъ, познакомившихся съ нею. „Въ Россіи, говорили, васъ считаютъ за аристократокъ, какъ вашъ отецъ, а про Ольгу говорятъ, что она давно католичка".—Это échantillon" (4 февр. 1867 г.—Огареву).

Около этого времени другъ и почти однокашникъ Герцена Тургеневъ въ своемъ романѣ „Дымъ" далъ почти столь же рѣзкое, какъ это письмо, карикатурное изображеніе русской эмиграціи. Какъ и во всѣхъ подобныхъ столкновеніяхъ людей разныхъ поколѣній и воспитаній, правда цѣликомъ ни на чьей сторонѣ. „Сей возрастъ жалости не знаетъ", можно было сказать про молодежь, съ легкимъ сердцемъ бросавшую грязь въ Герцена, не щадившую и популярнаго романиста. Но съ ея стороны, въ новыхъ ея кумирахъ и увлеченіяхъ, подъ маскою напускного долею „нигилизма" было все же много молодой отваги и искренней готовности работать для родины, и много же страданій и жалкой траты такъ нужныхъ родинѣ силъ... Въ томъ-то и дѣло и горе было, что, по цитированному выше выраженію Герцена, „служить"-то и было въ сущности не надъ чѣмъ въ эмиграціи, оторванной отъ родины и потерявшей съ нею связи, о чемъ съ такимъ ужасомъ и отчаяніемъ въ сердцѣ говорилъ самъ Герценъ Бѣлоголовому.

Что касается большей трезвости и умѣренности взглядовъ Герцена, которая ему засчитывалась въ вину, какъ отсталость, то, вѣдь, и Герценъ недаромъ же писалъ въ „Концахъ и Началахъ", еще въ 1862 году: „Возлѣ мучительнаго сознанія виновности, есть другая пытка—*мучительное сознаніе ненужной работы своей*, сознаніе своего безплоднаго превосходства надъ слабостью всего близкаго, молодого, переживающаго" (письмо третье). И въ этомъ, конечно, была подлинная драма; мучительное сознаніе ненужности своей работы во многихъ случаяхъ и ранѣе терзало Герцена. Въ этомъ смыслѣ очень справедливо было замѣчено о Герценѣ, что его огромный умъ, о которомъ Бѣлинскій писалъ, что не знаетъ, для чего одному человѣку столько ума, этотъ умъ сыгралъ надъ Герценомъ злую и обидную шутку, лишивъ его той доли слѣпоты, которая

Герценъ,—но... много дренажа требуютъ наши черноземы..." („Общій фондъ").

Отношенія съ русскими „нигилистами" установились, наконецъ, у Герцена самыя острыя.

„Серно-Соловьевичъ, — жаловался Герценъ въ письмѣ Бакунину,—наглый и сумасшедшій, но страшно то, что большинство молодежи такое, и что мы всѣ помогли ему быть такимъ. Я много думалъ объ этомъ послѣднее время и даже писалъ не для печати теперь. Эти люди, которые обратили на меня втрое больше ненависти, чѣмъ на Скарятина *), говорятъ просто, что они хотѣли бы (меня) обобрать и что они не могутъ переварить художественной стороны статей. Ты и Огаревъ, вы этихъ скорпіоновъ откармливали млекомъ вашимъ. Это вѣрно. Caro mio, подумай! Имъ будущности нѣтъ. Это меньшій братъ, который умретъ,—и на его могилѣ встрѣтится старшій съ еще болѣе меньшимъ".

По разсказамъ разныхъ лицъ, эта молодежь всячески старалась уязвить Герцена, старались принизить даже его талантъ, сравнивая съ Элпидинымъ (издатель за границей многаго изъ русскихъ писателей,—Чернышевскаго и пр.). Герценъ съ досадою разсказывалъ Ге, какъ въ Женевѣ безъ всякой надобности кричали ему черезъ улицу: „Герценъ, Герценъ! Будете дома?" чтобы только показать: „Вотъ какъ мы его третируемъ!" Въ нѣкоторыхъ письмахъ Герценъ даетъ съ крайнею рѣзкостью полную волю своему раздраженію. „Ихъ надобно выставить къ позорному столбу во всей наготѣ, во всемъ халуйствѣ и наглости, въ невѣжествѣ и трусости, въ воровствѣ и доносничествѣ. И можетъ, если силы не ослабѣютъ, я еще и буду ихъ палачомъ и положу имъ клеймо глупости на лобъ. Передняя, казарма, застѣнокъ полицейскій и дьячки могли только развести этотъ испанскій воротникъ на шеѣ Россіи. Тутъ всѣ—и Бакстъ, отпирающійся отъ своихъ словъ, сладкоглаголивый, семитическій „муранъ" Венери и п....словый Елпидинъ, сопля Вормсъ и гной Серно-Соловьевичъ, жиденяты, утяты и гуляты. Ну, и довольно съ нихъ" (29 апрѣля 1868 г.). Или: „Тухлая грязь своимъ чередомъ,—пишетъ онъ Огареву 2 мая 1868 г. и разсказываетъ одно изъ своихъ столкновеній:—эти плащицы не съ Аполлоновыхъ—а съ м... „Современника"—ходятъ подъ какой-то амнистіей. Что они меня потащили бы на висѣлицу—въ этомъ я убѣжденъ. Что они еще сдѣлаютъ засаду—это ты увидишь. Поэтому надобно предупредить ихъ и стать на военную ногу—статьей—или убить на дуэли какую-нибудь дрянь,—тогда, если не убьютъ, можно спокойно вѣкъ

*) Редакторъ реакціонной газеты „Вѣсть".

дожить... Да что ты въ самомъ дѣлѣ не раскусишь съ 1861 г. тургеневскаго Базарова?.. Онъ слабъ, поверхностенъ, дурно задуманъ—но онъ Богъ передъ этими свиньями"... Происками и сплетнямъ съ ихъ стороны Герценъ въ одномъ письмѣ приписываетъ даже паденіе въ Россіи популярности „Колокола", приписываетъ Базаровымъ, „которые проповѣдуютъ отъ Гейдельберга до Сольвычегодска, отъ Флоренціи до Корчевы всему молодому поколѣнію ненависть къ намъ. Тата мнѣ пишетъ объ удивленіи молодыхъ русскихъ дѣвушекъ, познакомившихся съ нею. „Въ Россіи, говорили, васъ считаютъ за аристократокъ, какъ вашъ отецъ, а про Ольгу говорятъ, что она давно католичка".—Это échantillon" (4 февр. 1867 г.—Огареву).

Около этого времени другъ и почти однокашникъ Герцена Тургеневъ въ своемъ романѣ „Дымъ" далъ почти столь же рѣзкое, какъ это письмо, карикатурное изображеніе русской эмиграціи. Какъ и во всѣхъ подобныхъ столкновеніяхъ людей разныхъ поколѣній и воспитаній, правда цѣликомъ ни на чьей сторонѣ. „Сей возрастъ жалости не знаетъ", можно было сказать про молодежь, съ легкимъ сердцемъ бросавшую грязь въ Герцена, не щадившую и популярнаго романиста. Но съ ея стороны, въ новыхъ ея кумирахъ и увлеченіяхъ, подъ маскою напускного долею „нигилизма" было все же много молодой отваги и искренней готовности работать для родины, и много же страданій и жалкой траты такъ нужныхъ родинѣ силъ... Въ томъ-то и дѣло и горе было, что, по цитированному выше выраженію Герцена, „служить"-то и было въ сущности не надъ чѣмъ въ эмиграціи, оторванной отъ родины и потерявшей съ нею связи, о чемъ съ такимъ ужасомъ и отчаяніемъ въ сердцѣ говорилъ самъ Герценъ Бѣлоголовому.

Что касается большей трезвости и умѣренности взглядовъ Герцена, которая ему засчитывалась въ вину, какъ отсталость, то, вѣдь, и Герценъ недаромъ же писалъ въ „Концахъ и Началахъ", еще въ 1862 году: „Возлѣ мучительнаго сознанія виновности, есть другая пытка—*мучительное сознаніе ненужной работы своей*, сознаніе своего безплоднаго превосходства надъ слабостью всего близкаго, молодого, переживающаго" (письмо третье). И въ этомъ, конечно, была подлинная драма; мучительное сознаніе ненужности своей работы во многихъ случаяхъ и ранѣе терзало Герцена. Въ этомъ смыслѣ очень справедливо было замѣчено о Герценѣ, что его огромный умъ, о которомъ Бѣлинскій писалъ, что не знаетъ, для чего одному человѣку столько ума, этотъ умъ сыгралъ надъ Герценомъ злую и обидную шутку, лишивъ его той доли слѣпоты, которая

быть можетъ, необходима для безоглядной практической дѣятельности.

Мѣру создавшагося около Герцена одиночества можно понять по тому, какъ горячо встрѣчаетъ онъ теперь всякое выраженіе симпатіи. Такъ, онъ очень тронутъ былъ встрѣчею съ М. Погодинымъ, который, случайно съ нимъ столкнувшись въ Эмсѣ, первый заговорилъ съ нимъ. Была „русская бечевка", которая связывала обоихъ крѣпче при всемъ между ними рѣзкомъ различіи, чѣмъ Герцена съ людьми Запада. Погодинъ наивно уговаривалъ Герцена написать обличительную, съ монархической точки зрѣнія, исторію новаго времени и просить прощенія; Герценъ благодушно слушалъ эти совѣты чудаковатаго старика, котораго самъ столько разъ вышучивалъ въ печати... Встрѣча Герцена во Флоренціи съ художникомъ Ге также показываетъ мѣру одиночества Герцена. Онъ пріѣхалъ къ сыну и, не сойдясь съ жившимъ тогда во Флоренціи кружкомъ русскихъ художниковъ, свободно чувствовалъ себя только у Ге. „Замѣтно было, что онъ былъ доволенъ встрѣтить простыхъ русскихъ, которые были ему пара; ему уже недоставало въ послѣдніе годы его жизни этого общества. Политическіе горизонты сузились, семейная жизнь сломилась... Дѣти жаловались, что онъ разогналъ ихъ пріятелей, нарушилъ ихъ занятія. Онъ страдалъ отъ того узкаго мѣщанства, которымъ жили люди въ кругу знакомыхъ и пріятелей его дѣтей"... При жизни во Флоренціи Ге, для Герцена было во-первыхъ однимъ русскимъ больше, и не однимъ только, въ одиночку, но и еще съ прибавкой цѣлаго его семейства. „Жена Ге, Анна Петровна, была женщина умная и образованная... великая поклонница Герцена... Какое это было для Герцена освѣженіе и отдыхъ среди отягчавшихъ его мыслей и грустныхъ чувствъ! Конечно, про многое Герцену приходилось молчать и ничего не высказывать: Ге во всю жизнь не интересовался никакими дѣлами современной исторіи, политической жизни Европы и Россіи. Герценъ, конечно, тотчасъ же это увидалъ, и ему оставалось молчать про все то, что именно всего болѣе его самого волновало и ворочало. Не могъ онъ также, конечно, соглашаться съ Ге и въ самыхъ его разсужденіяхъ".

Въ это короткое знакомство Ге написалъ портретъ Герцена, запечатлѣвъ на немъ какое-то сумрачно-подозрительное выраженіе лица, со складкой затаенной скорби и недовѣряющагося страданія...

Нѣсколько характерныхъ выдержекъ изъ писемъ къ Кельсіеву также рисуютъ рельефно настроеніе и отношеніе Герцена къ русскимъ дѣламъ въ это время скитаній и конца русскаго „Колокола".

9 мая, 1866, 7. „...Совершающіяся... безмѣрны. Печатные доносы, Некрасовъ, воспѣвающій на обѣдахъ Муравьева...— руки опускаются. Если вы въ самомъ дѣлѣ бросили дѣла міра сего и начали снова изучать китайскую азбуку, если это не натяжка—завидую вамъ... Мы живемъ кое-какъ съ нашимъ политико-соціальнымъ ракомъ, взошедшимъ внутрь“...

29 окт.—„А вѣдь русскій-то фебринъ или церебринъ еще сыроватъ—оттого мы не умѣемъ ничего довести до конца. Это вина не личности, а расы и ея возраста. Лиха бѣда была осѣсть—англичанинъ, голландецъ и даже нѣмецъ пустили бы корни въ землю, сосредоточили бы на одномъ зернѣ, и сдѣлали бы что-нибудь“... „Въ будущее—наше русское—я смотрю безъ отчаянія, главное—все и цѣло, и идетъ... а до акциденцій дѣла нѣтъ!“

13 дек. въ письмѣ по поводу припадковъ отчаянія, въ которое впадалъ Кельсіевъ послѣ смерти жены: „...И мы, и не мы, большею частью, дѣлали вздоръ, а дѣло шло своимъ чередомъ. Лично можетъ спасти человѣка одно—работа. Какая цѣль, какая польза? вопросы чрезвычайно важные, но вся природа и всѣ люди, захваченные постоянно дѣломъ своего развитія, устройствомъ кормленія,—продолжаютъ, философствуя и не философствуя, работу. На людяхъ и смерть красна. Я полагаю еще разъ, что индивидуально, вы, я—можемъ отказаться тащить канитель, идти въ бѣгуны или шарманщики—это и не порокъ и не добродѣтель“.

Конецъ „канители“ съ „Колоколомъ“ былъ недалеко.

Герценъ сначала энергично протестовалъ противъ слуховъ о прекращеніи „Колокола“, значительно предупредившихъ прекращеніе изданія. Еще въ № 190, отъ 10 октября 1864 г., за подписью Герцена и Огарева появилась замѣтка, въ которой заявлялось: „Колоколъ“ при нашей жизни только прекратится уничтоженіемъ всякой цензуры въ Россіи. И то, если это уничтоженіе будетъ не австрійское, не прусское, а дѣйствительное. До тѣхъ поръ, кажется, много воды утечетъ“. Когда появились новые „временные“ законы о печати, благополучно просуществовавшіе почти полвѣка, въ № 209 „Колокола“ (отъ 1 дек. 1865) появилось ироническое предложеніе Герцена и Огарева, въ виду отмѣны предварительной цензуры, печатать свои статьи въ русскихъ изданіяхъ. Въ январѣ 1866 г. Герценъ еще пишетъ Огареву, обольщая себя надеждами: „Я продолжаю быть въ модѣ, и „Opinion Nat.“ пишетъ въ послѣднемъ номерѣ о томъ, что *всякій* день таинственная рука кладетъ Александру II „Колоколъ“ подъ салфетку“. Но уже въ февралѣ 1867 г. въ Италіи ему „русскіе говорятъ, что въ Петербургѣ и Москвѣ рѣшительно никто „Колокола“ не читаетъ, и что

его вовсе нѣтъ. Что прежде разные книгопродавцы... хоть продавали, а теперь пожимаютъ плечами и говорятъ: никто не требуетъ". И онъ признается въ письмѣ 4-го февраля 1867 г.—„...Сталъ жерновъ! Воды нѣтъ, а мы надрываемся вертѣть. Аминь, аминь глаголю: еще французскій „Кол." пойдетъ,—русскаго ничего!"

Наконецъ, въ № 244—245 отъ 1 іюля 1867 г. появилось-таки, въ десятилѣтнюю годовщину изданія „Колокола", заявленіе, что редакторы пріостанавливаютъ изданіе на полгода: „перевести духъ, отереть потъ, собрать свѣжія силы". Черезъ полгода они расчитывали снова служить прежнему дѣлу, какъ они понимали свою задачу съ 1861 г.

„Колоколъ",—говорилось въ заявленіи,—былъ и будетъ прежде всего органомъ *русскаго соціализма и его развитія*, соціализма аграрнаго и артельнаго, сельскаго и городскаго, государственнаго и областного. Соціальному развитію Россіи для насъ подчинено все, форма и лица, колебанія и ошибки—но такъ какъ оно невозможно безъ свободнаго слова и свободнаго схода, безъ общаго обсуживанія и совѣта, то мы звали и будемъ звать всѣми силами собраніе Земскаго Собора. Въ немъ мы видимъ не больше, какъ ворота, но ворота отворенныя, и это очень важно—до сихъ поръ русское развитіе пробирается тайкомъ черезъ заборъ, пока сторожа не смотрятъ или спятъ... Все остальное—грязь и пыль на дорогѣ, бревна и камни подъ колесами"...

Но русскій „Колоколъ" уже не возобновился. Чрезъ полгода сталъ выходить журналъ Герцена на французскомъ языкѣ (съ русскими приложеніями), подъ заглавіемъ „Kolokol" (la Cloche *), revue du développement sociale, politique et litteraire en Russie. Но этотъ журналъ уже не былъ прежнимъ „Колоколомъ", а преслѣдовалъ, какъ сейчасъ скажемъ, особую задачу.

Вглядываясь теперь, въ концѣ десятилѣтія реформъ, въ особенности новой русской жизни, Герценъ угадывалъ, что она пошла совсѣмъ не тѣми путями быстраго стремленія къ политическому и аграрно-соціальному перевороту, какой порой казался близокъ изъ-за границы.

„Странное дѣло,—писалъ Герценъ въ одной замѣткѣ этого времени („Безъ связи", глава: Zu deutsch):—съ 1848 г. мы все пятились, да отступали, все бросали за бортъ, да ежились, а кое-что сдѣлалось и все исподволь измѣнилось. Мы ближе къ землѣ, мы ниже стоимъ, т. е.,—тверже, плугъ

*) Съ 1862 г. до 1864 г. въ Брюсселѣ выходилъ по соглашенію съ Герценомъ журналъ „La Cloche", представлявшій переводъ статей изъ русскаго „Колокола" и извлеченія изъ разныхъ сочиненій Герцена.

глубже врѣзывается, работа не такъ казиста, чернѣе—можетъ, отъ того, что это въ самомъ дѣлѣ работа. Донъ-Кихоты реакціи пропороли много нашихъ воздушныхъ шаровъ, дымные газы улетучились, аэростаты опустились, и мы не носимся больше, какъ духъ Божій, надъ водами съ пѣвницей и пророческимъ пѣснопѣніемъ, а цѣпляемся за деревья, крыши и за мать-сыру-землю".

„Мать-сыра-земля" выдвигала, съ одной стороны, множество практическихъ вопросовъ, на которые должна была давать отвѣтъ, которые все усерднѣе принималась освѣщать—хотя и сдавленная, русская легальная печать. Въ русскомъ прибавленіи къ № 1 французскаго „Колокола" Герценъ говорилъ объ этомъ:

„Литературная и студентская эпохи такъ же миновали, какъ прежде ихъ миновала эпоха гвардейскихъ офицеровъ. Книги будутъ выходить и имѣть сильное вліяніе, студенты и офицеры не переведутся, но врядъ ли они будутъ подавать тонъ.

„Общее вниманіе мало-по-малу обращается въ другія сферы, интересъ сосредоточивается на судебныхъ преніяхъ, на земскихъ дѣлахъ, на уголовныхъ процессахъ, на приговорахъ присяжныхъ, потому что жизнь тамъ".

Съ наступившимъ въ Россіи относительнымъ просторомъ для обсужденія многихъ практическихъ общественныхъ вопросовъ, Герценъ, какъ онъ сказалъ о Мацини и о самомъ себѣ, дѣйствительно, „сталъ бѣднѣе той частью своего идеала, которая перешла въ дѣйствительность". „Это слабость послѣ родовъ. Въ виду берега, Колумбу стоило плыть, и нечего было употреблять всѣ силы своего неукротимаго духа. Мы въ нашемъ кругу испытали подобное... Гдѣ сила, которую придавала нашему слову борьба противъ крѣпостного права, противъ отсутствія всякаго суда, всякой гласности?" (Venezia la bella, 1867).

Съ другой стороны, большіе общественные вопросы, которыхъ нельзя было обойти, вѣчно творящею жизнью выдвигались въ новыхъ оболочкахъ и стремились къ своему неизбѣжному концу неожиданными путями. Такъ было съ занимавшимъ Герцена и особенно Бакунина вопросомъ освобожденія славянъ, которое уже тогда вступало на русскую дорогу, какъ задача православнаго государства. Герценъ, не безъ своеобразнаго чувства удовлетворенія, отмѣчалъ этотъ поворотъ въ № 244—245 „Колокола", въ письмѣ на имя Бакунина:

„Помнишь наши долгіе разговоры передъ февральскою революціей, въ которыхъ я, какъ прозекторъ, указывалъ ростъ смерти западнаго „старика", а ты съ надеждой и

упованіемъ—ростъ едва обличавшейся жизни славянскаго недоросля. Я и въ него не очень вѣрилъ, а вѣрилъ *въ одну Россію и ея соціальные зачатки.* Мы спорили, надъ нами смѣялись. Въ нашемъ спорѣ были общія стороны, онѣ-то стали теперь общими мѣстами полуоффиціальныхъ сказокъ и полуоффиціальныхъ газетъ въ Россіи.

„Я не могу удержаться отъ улыбки, читая наши стародавнія мысли, разбавленныя водою изъ Фонтанки и изъ Патріаршихъ прудовъ, повторяемыя на тысячи ладовъ на московскихъ пирахъ, на петербургскихъ обѣдахъ, на сходахъ и конференціяхъ, въ передовыхъ статьяхъ журналовъ и въ рѣчахъ злѣйшихъ враговъ нашихъ. Иногда, какъ Тарасъ Бульба, я ихъ не тотчасъ узнаю, всѣ онѣ прошли богословіемъ и одѣлись въ стихари, натерлись постнымъ масломъ и пропахли ладономъ; самыя свѣтскія изъ нихъ въ мундирахъ фракахъ разныхъ вѣдомствъ. Согласись, Бакунинъ, что помимо великой иронін, есть глубокое наслажденіе въ этомъ карнавальномъ зрѣлищѣ чиновничьяго обсуживанія вопросовъ о Западѣ и Востокѣ и православно-революціонной пропаганды, имѣющей цѣлью поднять славянъ съ хоругвью Кирилла и Меѳодія... Вотъ какую кору пробило сѣмя... и нечего сердиться, что на росткахъ осталась грязь...

„Не мытьемъ, такъ катаньемъ, лишь бы дѣло шло.

„А дѣло идетъ.

„Что и доказать надлежало".

Освобожденіе балканскихъ славянъ и достиженіе ими политической свободы вслѣдъ за національною чрезъ десять лѣтъ послѣ того, дѣйствительно, были созданы войною 1877 г. Въ возникновеніи ея сыграла замѣтную роль православно-государственная вѣтвь стараго славянофильства, а его интересъ къ независимости славянъ, на ряду съ интересомъ къ ней со стороны либераловъ, такъ долго считался предосудительнымъ и неблагонадежнымъ.

Такъ жизнь ставила публицистикѣ все новыя требованія, за которыми—Герценъ чувствовалъ—„Колоколу" было трудно поспѣть.

Не имѣя возможности съ успѣхомъ говорить съ земляками, Герценъ снова обращается къ задачѣ, которую ставилъ себѣ еще двадцать лѣтъ назадъ. Его въ „бѣшенство приводитъ высокомѣрное невѣжество французовъ" во всемъ, что касается Россіи, „да и нѣмцы не лучше,—жалуется онъ Погодину:—Одни англичане не знаютъ и молчатъ". Ему кажется особенно необходимымъ, въ виду поворота Россіи на путь новаго развитія послѣ освобожденія крестьянъ, говорить иностранцамъ о новой развивающейся Россіи. Для этого и предназначался французскій „Колоколъ".

„Намъ кажется, что на сію минуту полезнѣе говорить о Россіи, чѣмъ говорить съ нею". Западъ не знаетъ, чѣмъ жива она теперь, и попрежнему отожествляетъ оффиціальную Россію съ подлинною народною Россіею:

„Насъ душитъ, намъ щемитъ сердце,—писалъ Герценъ 1 дек. 1867 г., что посторонніе насъ судятъ исключительно по патріотическому п..... „Московскихъ Вѣдомостей" и ихъ переложенію на петербургскій *голосъ со взморья*; намъ больно, мы краснѣемъ, думая, что въ православномъ эбертизмѣ видятъ не безсмыслицы прокаженнаго, а выраженіе общаго мнѣнія. Намъ досадно, что въ Европѣ не знаютъ, что за реакціонными съѣзжими выслуживающихся журналистовъ, за схимническими чуланами богобѣснующихся кликушъ, за зелеными столами петербургскихъ канцелярій и „ломберными" англійскихъ клубовъ, *растетъ другая Россія*, Россія надеждъ и юныхъ силъ, которая не отвѣчаетъ за черныя дѣла, втѣсненныя ей во время малолѣтства опекунами, ни за черныя слова подкупленныхъ ими стряпчихъ.

„Отъ имени входящихъ въ совершеннолѣтіе и не имѣющихъ ни языка дома, ни органа за границей, мы являемся съ поднятой головой и свободною рѣчью защитниками нашей Россіи передъ судьями стараго міра".

Надежду Герцена, что французскій „Колоколъ" будетъ имѣть успѣхъ, поддерживали, видимо, тѣ знаки вниманія, которыя попрежнему выражаются ему со стороны иностранцевъ, и выдающихся, и рядовыхъ. Такъ, онъ нечаянно сталъ предметъ овацій въ Венеціи, куда попалъ въ февралѣ 1867 г. во время карнавала, о чемъ писалъ Огареву: „Карнавалъ во всемъ разгарѣ. Онъ дошелъ до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что въ самомъ дѣлѣ сдѣлалось хорошо и оригинально. Всѣ шутки и шалости времени республики возобновились, такого карнавала не было 71 годъ.

„Меня фетируютъ, какъ гостя, знакомаго по наслышкѣ. И за однимъ обѣдомъ въ ресторанѣ... потребовали меня на лицо и прокричали мнѣ три раза „eviva!" съ шампанскимъ въ рукахъ, и до того ужъ зарапортовались, что кричали: „all'illustro poeta russo!" Я побоялся попасть въ pittore и scultore, и потому ушелъ. Разные господа приглашали въ ложи въ Fenice, но я не былъ ни разу. Вообще, у итальянцевъ есть ко мнѣ слабость: я нигдѣ, никогда не бывалъ больше обласканъ, какъ ими".

И во французскомъ „Колоколѣ" Герценъ остается все тѣмъ же вѣрующимъ въ русскій народъ соціалистомъ. Онъ даже больше, чѣмъ прежде, подчеркиваетъ, что онъ—русскій. „Я всякій день дальше отъ Запада, и даже не имѣю потребности видѣть Гарибальди въ Женевѣ",—пишетъ онъ

Огареву 3 сент. 1867 г. Въ это самое время въ Женевѣ состоялся соціалистическій конгрессъ „мира и свободы", гдѣ выступили Бакунинъ и эмигрантъ Вырубовъ, извѣстный въ то время, какъ позитивистъ. Герценъ былъ крайне недоволенъ позиціею, занятою на конгрессѣ русскими, и не принялъ въ немъ участія.—„Мнѣ внутренній голосъ говоритъ,— пишетъ онъ Огареву,—что мы—не у мѣста. И это была бы единственная заслуга, которую могъ бы сдѣлать Бакунинъ, если-бъ онъ это сказалъ. Онъ можетъ говорить, какъ фармазонъ, какъ демократъ, какъ соціалистъ, какъ богословъ невѣрія, et cet. et cet.—Но пусть скажетъ, что, какъ русскій, онъ могъ бы только вести полемику за то, что вся Европа насъ понимаетъ по-польски. Скажи ему!"—„Поздравляю съ открытіемъ *писовки* *)... Да, да и да, мнѣ нечего было дѣлать на этой Vanity fair, и есть случай объясниться, что мы не съ ними.—Я дѣйствую и по разсужденію, и по чутью. Конечно, есть демонъ подталкивающій, но баста ошибаться: „польскій вопросъ, раскольники и микро-нигилисты проучили". Не ограничиваясь письмами, Герценъ въ первомъ же номерѣ „Kolokol" счелъ нужнымъ объяснить во всеуслышаніе, почему уклонился отъ участія въ этомъ конгрессѣ.

„Если меня приглашали, то не въ качествѣ русскаго, но въ глубокомъ убѣжденіи, что я—русскій въ наименьшей по возможности мѣрѣ, а этого-то я и не могъ, не хотѣлъ, не долженъ былъ принять.

„...Всѣми фибрами сердца я принадлежу къ русскому народу; я работаю для него, онъ работаетъ во мнѣ; это не есть историческое воспоминаніе, слѣпой инстинктъ, связь крови, но слѣдствіе того, что я вижу въ русскомъ народѣ, сквозь кору и туманъ, сквозь кровь и зарево пожаровъ, сквозь народное невѣжество и ц..... цивилизацію, а вижу я великую силу, великій элементъ, который входитъ въ исторію прямо съ соціальною революціею, къ которой старый міръ пойдетъ volens-nolens, если не хочетъ погибнуть или окостенѣть" („Колоколъ" № 1, стр. 2).

Далѣе въ статьѣ „Prolegomenes" Герценъ снова излагалъ свои знакомыя намъ предположенія о возможности въ Россіи широкаго соціальнаго движенія. Онъ еще увѣренъ, что реформы должны продолжаться, ибо правительство къ просвѣщенному абсолютизму неспособно, и потому неизбѣженъ „великій земскій соборъ" представителей народа, безъ различія классовъ и сословій. „Какова бы ни была наша первая *конституанта*, первый *парламентъ*,—у насъ будетъ сво-

*) Игра англійскимъ словомъ—peace—миръ.

бода обсужденія и законная почва дѣятельности.—Съ этими данными можно двинуться впередъ".

Французскій „Колоколъ" былъ встрѣченъ холодно. Старый другъ Герцена, съ которымъ онъ возобновилъ оборвавшуюся было переписку, Тургеневъ писалъ ему: „По моему понятію, ни Европа не такъ стара, ни Россія не такъ молода, какъ ты ихъ представляешь: мы сидимъ въ одномъ мѣшкѣ, и никакого за ними спеціально „новаго слова" не предвидится. Но дай Богъ тебѣ прожить сто лѣтъ, и ты умрешь послѣднимъ славянофиломъ, и будешь писать статьи умныя, забавныя, парадоксальныя, глубокія, которыхъ нельзя будетъ не дочитать до конца. Сожалѣю я только о томъ, что ты не почелъ нужнымъ нарядиться въ платье, не совсѣмъ тебѣ подходящее. Вѣрь мнѣ или не вѣрь, но для такъ называемаго воздѣйствія на европейскую публику всѣ твои статьи безполезны".

Скоро Герценъ и самъ долженъ былъ въ этомъ сознаться. „Kolokol" не привлекалъ почти никакихъ статей изъ Россіи, и наполненъ былъ почти исключительно новыми и кое-какими старыми статьями самого Герцена. Однако, все еще слово его вызывало тревогу въ правительственныхъ кругахъ, и въ полуоффиціозныхъ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ" появился проектъ, для противодѣйствія женевской прессѣ, объ изданіи „свободнаго и независимой международной газеты о Россіи на французскомъ языкѣ, редактируемой чистокровными русскими".

Огаревъ въ „Kolokol" почти не работалъ, да и жили они врозь, а Огаревъ, сломившій въ февралѣ 1868 г. ногу, вдобавокъ, часто болѣлъ. Съ 15 апрѣля журналъ сталъ выходить только разъ въ мѣсяцъ.

5-го іюля Герценъ писалъ Огареву изъ Люцерна: „Работается плохо,—да я, просто, ничего не дѣлаю, и это не отъ переѣздовъ (хотя и они способствуютъ) — а такъ—тяжелая и апатичная полоса. Колокольныя статьи французскія не допускаютъ полемики—русскій „Колоколъ" не существуетъ (какъ и вся наша дѣятельность въ Россіи). Я все жду Schwung'a, толчка, перемѣны. Ну, хоть бы полемику съ Бакунинымъ или новымъ органомъ *). Нѣтъ Anregung, а говорить одному скучно. Ты думаешь одинъ—это другое дѣло—für sich".

14 іюля. „Caro mio—намъ пора въ отставку и приняться за что-нибудь другое — за большія сочиненія или за длинную старость.

23 іюля. „...Жерновъ останавливается все больше и

*) „Народное Дѣло"—журналъ Бакунина и Жуковскаго.

больше—мы вяло толчемъ воду — окруженные... смѣхомъ и подлой завистью. Россія глуха. Посѣвъ сдѣланъ, она прикрыта навозомъ — до осени дѣлать нечего. Мнѣ пришло въ голову написать тебѣ письмо (т. е. оффиціальное)—съ предложеніемъ сдѣлать stoppage—я и сдѣлаю это.

„...Я на гробѣ „Колокола“ желалъ бы одного—внѣшняго покоя, умѣнья съ одной стороны быть покойнымъ, почти безучастнымъ къ окружающимъ уколамъ. Но это не „Колоколъ“, съ этимъ не сладишь, благо, ты его имѣешь—пользуйся. Прощай“.

Огаревъ сначала пытался продлить дни журнала, но и онъ уступилъ. № 14—15 „Kolokol“ вышелъ съ письмомъ Герцена къ Огареву отъ 1-го декабря 1868 г. на первомъ мѣстѣ. Полное грустной торжественности, какъ надгробное слово, письмо начинается сознаніемъ, что существованіе журнала стало мнимымъ, искусственнымъ, но все же дышитъ вѣрою, что впереди то свѣтлое будущее родины, для котораго они работали столько лѣтъ.

„Идея не погибнетъ. Мы—„ранніе сѣятели“, ничего изъ нашего посѣва не пропадало, но растетъ и пробивается.

„Насильно ускорять развитіе — рискуешь вызвать смертельный кризисъ или выкидышъ. Надо умѣть ждать. Не всегда ли мы проповѣдывали смиреніе предъ фактомъ?.

„Молодежь идетъ своею дорогою, она не нуждается въ нашемъ словѣ, она достигла совершеннолѣтія и знаетъ это. Другимъ — намъ нечего говорить.

„Спокойно оставимъ нашу газетную арену, ни побѣжденные, ни обогнанные. Никто съ нами не сражался. Наши призывы никогда не сопровождались серьезной борьбой“.

Герценъ, однако, не заканчивается на будущее время: онъ лишь на время подвязываетъ языкъ своего „Колокола“. Онъ сознается и въ томъ, что надежда, будто голосъ свободнаго русскаго можетъ привлечь вниманіе европейцевъ, оказалась ошибочна.

„Пойдемъ же нашею дорогою, рука объ руку, какъ начали. Отдыхъ не далекъ!“

Такъ сошло на нѣтъ изданіе не такъ давно столь вліятельнаго органа. „Я прочелъ твои „Adieux de Fontainebleau“ въ „Колоколѣ“,—писалъ Герцену Тургеневъ:—я всегда сожалѣю, что ты не кончилъ разомъ, а какъ Рейнъ, разбивающійся на множество мелкихъ ручьевъ при впаденіи въ море, и особенно мнѣ было досадно, что ты могъ вообразить, будто французамъ нужно знать правду о чемъ бы то ни было, не говоря уже о Россіи! Наши дѣла и мы сами отнесены въ прошедшее: хоть бы тамъ остаться на время...“

Герценъ писалъ: „Въ „Figaro“ было нѣсколько

строкъ о прекращеніи „Колокола“ и переведенъ весь анекдотъ о Н. Н. Замѣть, ни одного русскаго голоса—ни даже частнаго. „Колоколъ“ умеръ, какъ Клейнмихель, „никѣмъ не оплаканъ“, и мы лѣзли изъ шкуры для этой милой св...“

Кажется, единичны были и отзывы со стороны иностранцевъ, именно историковъ Мишле и Кинэ, которые писали Герцену въ началѣ 1869 г.,—первый:—„Исчезновеніе „Колокола“—бѣдствіе для цѣлой Европы“, и второй:—„Никто, какъ я, такъ не жалѣетъ о „Колоколѣ“. Ничто его не замѣнитъ. Я чувствую потребность поблагодарить за хорошіе часы, которыми вамъ обязанъ. Каждый вашъ номеръ былъ для меня блистательнымъ сѣвернымъ сіяніемъ на нашемъ нѣмомъ Западѣ“.

Оглядываясь назадъ въ концѣ этимъ и закончившейся своей журнальной дѣятельности Герценъ имѣлъ одно утѣшеніе: въ чистотѣ своихъ намѣреній и полной неподкупной искренности, и онъ съ полнымъ правомъ писалъ о себѣ: „Мы можемъ упрекать себя во многихъ ошибкахъ, многихъ заблужденіяхъ; но если мы неповинны въ какой-либо слабости эмиграціи—такъ это въ позированіи: мы не позировали ни въ качествѣ заговорщиковъ, ни диктаторовъ, ни разоблачителей, посланниковъ или иныхъ чиновниковъ революціи. Мы говорили и повторяли, что мы лишь случайные представители подпольнаго движенія въ Россіи отъ дней Николая—его свободный голосъ, его крикъ негодованія, страданія, надежды, когда изъ тайнаго движеніе становится явнымъ“ („Kolokol“, № 7, 1868).

Въ связи съ толками и слухами о прекращеніи „Колокола“ возникали и слухи о возвращеніи Герцена въ Россію. Онъ говорилъ объ этомъ Огареву въ письмѣ по поводу сдачи Кельсіева русскому правительству: „Мы слишкомъ далеко зашли, останемся въ нашей фортеціи умирать—но пусть гарниза (желающая) идетъ по дворамъ“. Но, очевидно, такъ порою томила тоска по родинѣ, что у него мелькала иногда и серьезная мысль о возвращеніи на тѣхъ или иныхъ условіяхъ, какъ это видно изъ писемъ этого же времени. Такъ, въ 1869 году, 7 апрѣля Герценъ писалъ Огареву: „Пошлю тебѣ сегодня или завтра „Биржевыя Вѣдомости“ съ длиннѣйшей статьей обо мнѣ. Пожалуйста, успокойся насчетъ ея толкованія. Кромѣ пользы отъ этого ничего не выйдетъ. 1) Я буду отвѣчать. 2) Я поясню, на какихъ условіяхъ я могу возвратиться. 3) Все же русскому обществу будетъ извѣстно, что я *хочу* возвратиться“. 31 іюля: „Возвращеніе въ Россію дѣтей съ тѣмъ именемъ, которое я имъ пріобрѣлъ, было моей мечтой... Отчего же всѣ уйдутъ и затянутся мелкой западной жизнью, и не будетъ никого

представителемъ нашей русской дѣятельности?" Правда, Огаревъ не раздѣлялъ надеждъ Герцена и, напр., 30 марта 1869 г. отвѣчалъ ему. „Что касается до свободнаго возвращенія въ Русь, о которомъ ты говоришь въ каждомъ письмѣ, чѣмъ больше объ немъ думаю, тѣмъ больше нахожу, что мы такъ поставлены, что худшаго наказанія для насъ найти невозможно".

Сколько могъ, Герценъ продолжалъ вглядываться во все, что дѣлается въ Россіи, слѣдя и за журналистикою, и за разсказами русскихъ, съ кѣмъ приходилось встрѣчаться. Его радовало, что удачно пошли въ ходъ новые суды, интересовали шаги земства, этой формы „провинціальности", на которую онъ возлагалъ столько надеждъ возрожденія Россіи. „Общая сумма слуховъ изъ Россіи очень разношерстна,— замѣчаетъ онъ въ одномъ письмѣ.—Столичное образованное общество, говорятъ, падаетъ видимо тономъ... Женщинъ хвалятъ—занимаются и рвутся на волю".

Въ литературѣ вниманіе его останавливаетъ возрожденіе „Отеч. Записокъ", съ Некрасовымъ, Салтыковымъ и Елисеевымъ, гдѣ въ 1869 г. началъ свои статьи и Н. К. Михайловскій, къ которому вскорѣ надолго перешло идейное руководительство радикальнаго русскаго общественнаго мнѣнія. Интересна отмѣтка въ одномъ изъ писемъ о знаменитыхъ статьяхъ Михайловскаго: „Что такое прогрессъ?"— Находя языкъ статей „ужаснымъ", Герценъ отзывается: „сущность хороша". Нельзя не признать, что эта „сущность" была въ значительной мѣрѣ изложеніемъ и развитіемъ того міровоззрѣнія, которое разлито въ общефилософскимъ статьяхъ и построеніяхъ самого Герцена, какъ и народничество „Отеч. Записокъ" было своеобразно преломившимся отраженіемъ мессіанистическихъ идей самого Герцена.

Онъ пытался завязать и литературныя связи съ Россіей. Такъ, его очень тѣшила возможность печатать свои наброски „Скуки ради" подъ псевдонимомъ „Г. Ніонскій" (отъ названія городка Ніонъ близъ Женевы) въ еженедѣльной газетѣ „Недѣля".

Но вся эта разношерстность извѣстій о Россіи, немногое свѣтлое и обиліе извѣстій удручающихъ, невозможность прежней рѣчи,—все это не могло не настраивать его, при тогдашнемъ его бездѣятельномъ положеніи, на безнадежныя думы о цѣломъ поколѣніи.

„Свободной Россіи мы не увидимъ,—съ тяжелымъ чувствомъ говоритъ онъ въ одной изъ послѣдней статей русскаго „Колокола", что было и выраженіемъ взгляда и его послѣднихъ дней.—Весь нашъ трудъ въ ломкѣ препятствій и расчищеніи мѣста. Мы умремъ въ сѣняхъ, и это не отъ

того, что при входѣ въ хоромы стоятъ жандармы, а оттого, что въ нашихъ жилахъ бродитъ кровь нашихъ прадѣдовъ— сѣченныхъ кнутомъ и битыхъ батогами, доносчиковъ Петра и Бирона, нашихъ дѣдовъ-палачей, въ родѣ Аракчеева и Магницкаго, нашихъ отцовъ, судившихъ декабристовъ, судившихъ Польшу, служившихъ въ III Отдѣленіи, забивавшихъ въ гробъ солдатъ, засѣкавшихъ въ могилу крестьянъ. Оттого, что въ жилахъ нашихъ лидеровъ, нашихъ журнальныхъ заправилъ догниваетъ такая же гадкая кровь, благопріобрѣтенная ихъ отцами въ переднихъ, съѣзжихъ и канцеляріяхъ..." (Прибавочный листъ къ 1-му десятилѣтію „Колок.", стр. 11).

Тяжелое, иногда безнадежное раздумье—таково преобладающее настроеніе всего имъ написаннаго въ эти темные послѣдніе годы...

Въ 1869 г. имъ издана послѣдняя, восьмая книжка „Полярной Звѣзды", состоящая исключительно изъ его набросковъ послѣдняго времени и стихотвореній Огарева. Кромѣ того набрасывались воспоминанія и написаны замѣчательныя письма: „Къ старому товарищу" (М. Бакунину).

Эти послѣднія его произведенія, какъ выраженіе послѣднихъ его настроеній и наиболѣе зрѣлыхъ взглядовъ, заслуживаютъ особаго вниманія.

XIV.

Произведенія послѣднихъ лѣтъ.

Еще и раньше сильна была въ Герценѣ жилка философа-созерцателя безконечнаго бѣга и суеты міра явленій. Теперь, при отсутствіи непосредственной возможности отклика на общественно-политическую жизнь, она выдвигается все сильнѣе и сильнѣе. Очень характерно для этой полосы настроеній Герцена такое, напримѣръ, лирическое вступленіе къ прелестному наброску „Трагедія за стаканомъ грога“ (1863 г.). „Очерки, силуэты, берега безпрерывно возникаютъ и теряются, вплетаясь своею тѣнью и свѣтомъ, своей ниткой въ общую ткань движущейся съ нами картины.—Этотъ мимо идущій міръ, это проходящее, все идетъ и все не проходитъ, а все остается чѣмъ-то всегдашнимъ. Мимо идетъ, видно, *вѣчное*, оттого оно и не проходитъ. Оно такъ и отражается въ человѣкѣ. Въ отвлеченной мысли—нормы и законы; въ жизни—мерцаніе едва уловимыхъ частностей и пропадающихъ формъ.—Но въ каждой задержанной былинкѣ несущагося вихря тѣ же мотивы, тѣ же силы, какъ въ землетрясеніяхъ и переворотахъ, и буря въ стаканѣ воды, надъ которой столько смѣялись, вовсе не такъ далека отъ бури на морѣ, какъ кажется“.

И Герценъ все охотнѣе и чаще высказывается и говоритъ въ качествѣ „посторонняго“, не увлеченнаго и лично не заинтересованнаго текущею борьбою общественныхъ силъ, въ качествѣ наблюдателя, который вдумывается не только во внѣшнее ближайшее, но и въ болѣе глубокое, общее философское значеніе развертывающагося предъ нимъ пестраго міра, въ „вѣчное“.

Мы не будемъ подробно останавливаться на чисто беллетристическихъ очеркахъ, путевыхъ картинахъ, мимолетныхъ впечатлѣніяхъ, воспоминаніяхъ этого времени. Какъ разсказчикъ, Герценъ здѣсь по-прежнему неподражаемъ, по-прежнему остро наблюдательный, остроумный и увлекатель-

ный. Чувствуется лишь въ языкѣ больше прежняго галлицизмовъ, не русскихъ оборотовъ, но и это не мѣшаетъ впечатлѣнію. Но тонъ всего—спокойно грустное созерцаніе мыслителя. Послѣднія его мысли о вѣчномъ и путяхъ человѣческаго развитія мы и прослѣдимъ съ нѣкоторой подробностью.

Прежде всего необходимо указать, что теперь философскіе вопросы личнаго человѣческаго существованія почти не занимаютъ его. Онъ спокойно, безъ тревоги глядитъ въ глаза смерти. „Я все принимаю, какъ фатумъ, я желалъ бы спокойно провести немного времени, записать еще кое-что людямъ на память и потухнуть безъ особой боли",—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ (Огареву, 31 іюля 1869). Тревога вѣчной загадки личнаго бытія для него осталась далеко позади, и мысль его обращена не къ смерти, но къ жизни, вѣчно творящей и неизмѣнной въ своей измѣнчивости. Человѣчество и его темные пути занимаютъ его больше, чѣмъ личность, и смыслъ личнаго существованія осмысливается въ гармоническомъ сліяніи съ общимъ шагомъ людскимъ, въ который онъ и стремится глубже всмотрѣться.

Въ 1867 г. въ бытность во Флоренціи Герцену случилось на одномъ вечерѣ у знакомыхъ прочесть друзьямъ французскій переводъ „Доктора Крупова", появившійся въ одномъ обозрѣніи. Чрезъ 20 лѣтъ, мысли д-ра Крупова о повальномъ безуміи рода человѣческаго показались Герцену еще довольно оптимистическими, и онъ пишетъ, въ продолженіе своей московской сатиры, „Aphorismata" Тита Левіафанскаго, „рефлексіи и контроверзіи" якобы ученика Крупова, мрачнаго прозектора-семинара, отъявленнаго нигилиста. Эта мрачная шутка—настоящій безнадежный стонъ надорванной жестокими испытаніями души, стонъ, прикрытый блестящимъ остроуміемъ и выдержанною художественною формою.

„Круповъ" заканчивался свѣтлымъ, полнымъ терпимости и сожалѣнія взглядомъ на вещи и веселою шуткой. „Левіафанскій"—сплошь безвыходное тяжелое страданіе, стоически принимаемое во имя смиренія предъ истиною.

Крупову родъ человѣческій казался пораженнымъ повальнымъ безуміемъ, исторія есть освобожденіе отъ этого безумія. „Какъ же онъ, сей врачъ, не понялъ,—мрачно спрашиваетъ Левіафанскій,—...что другого *чистаго* мозга вовсе нѣтъ, и быть не можетъ...? какъ же *постоянное состояніе* какого-нибудь животнаго рода или вида можетъ излечиться, хотя бы оно имѣло свои неудобства, какъ слѣпота крота—это не болѣзнь, а *особенность*, *признакъ*.

„... Безъ хроническаго, родового помѣшательства прекратилась бы всякая государственная дѣятельность... съ изле-

ченіемъ отъ него остановилась бы исторія. Не было бы въ ней занятія, не было бы въ ней интереса. Не въ силѣ ума сила и слава исторіи, да и не въ счастьи, какъ поетъ старинная пѣсня, а въ *безуміи*.

„Безъ него мы были бы сведены на математику.

„Отнимите у людей сказки и бредни, библіи и апокалипсисы, вѣру въ пришествіе вѣчнаго мира и такого же братства,—и родъ человѣческій, какъ Калигула, возжелаетъ имѣть едину главу и едину каротиду, чтобъ перерѣзать ее однимъ ударомъ бистурія"...

„... Все, что намъ дорого и изъ-за чего мы такъ обильно льемъ кровь ближняго, а иногда и свою, все имѣетъ глубокіе корни въ безуміи и не имѣетъ *ихъ развѣ его*... Безконечность и безсмертіе, честь и слава, воля человѣческая и воля Божія, обѣ свободныя, одна подчиненная другой *и обѣ другъ другу не мѣшающія, несмотря на необходимость*, въ коей онѣ движутся. Будто это можно понять, не сойдя съ ума?...

„... Пусть же великое и покровительствующее безуміе, хранящее и утѣшающее, исправляющее и ведущее насъ чрезъ вѣка и океаны, пусть же оно и впредь сопровождаетъ насъ во вѣки вѣковъ, пока родъ человѣческій не поглотится геологическимъ переворотомъ. И пусть предъ его торжественнымъ шествіемъ несется, какъ и прежде, то лучезарное, то въ облакахъ, то полное, то съ ущербомъ, *свѣтило разума*, пребывающее, какъ луна, все въ томъ же разстояніи отъ земного шара, какъ бы онъ ни торопился!" *)

---

*) „Высоко, высоко надъ холоднымъ міромъ, окутаннымъ безпросвѣтной мглой, далеко отъ тусклой, безцвѣтной дѣйствительности, въ сторонѣ отъ безсмысленной житейской суетни есть прекрасный міръ идеала, яркій, красивый, содержательный, полный смысла и нравственнаго тепла. Сквозь темную и холодную мглу дѣйствительной жизни этотъ далекій міръ идеала кажется только небольшой свѣтящейся точкой, подобно тѣмъ особенно яркимъ звѣздамъ, которыя загораются надъ нами въ темныя ночи. Свѣтъ отъ этихъ безконечно далекихъ свѣтилъ доходитъ до нашей земли, ласково манитъ къ себѣ наши взоры, но онъ не грѣетъ холодной земли, не разсѣиваетъ царящей кругомъ темной мглы, не приноситъ жизни и силы... И никогда, никогда эти свѣтящіяся точки не спустятся съ своей высоты, не приблизятся къ міру, не согрѣютъ, не оживятъ его собою, никогда не сдѣлаютъ его жизни такою же красивой, яркой, сіяющей, какъ они сами. И никогда ничто не побѣдитъ страшной власти разъединяющаго ихъ пространства, темная и холодная бездна вѣчно останется непроходимой. Свѣтящіяся точки навсегда останутся неприступными, никогда не одолѣютъ леденящаго дыханія властной дѣйствительности. Онѣ только свѣтятъ, но не грѣютъ".

Такими чертами одинъ критикъ характеризуетъ „пессимистическій идеализмъ" Чехова (Волжскій, Очерки о Ч., Спб. 1903).

„Левіафанскій“ былъ по формѣ шуткой, но почти тѣ же безнадежныя мысли Герценъ высказываетъ и совершенно серьезно. Въ наброскахъ „Скуки ради“ (блестящихъ фельетонахъ изъ французской и женевской жизни), находимъ, напр., такія лирическія отступленія:

„... Міромъ владѣютъ „нищіе духомъ“,—тамъ, какъ большинство, тутъ, какъ одинъ за всѣхъ.

„Въ сущности, все дѣлается по глупости, только никто никогда не признается въ этомъ, кромѣ русскаго человѣка, и всѣ ищутъ всегда и во всемъ умныхъ причинъ и объясненій и потому идутъ всякій разъ направо, когда слѣдуетъ итти налѣво,—запутываются дальше и дальше въ безвыходныхъ соображеніяхъ и затемняющихъ объясненіяхъ.

„Люди выбиваются изъ силъ, отыскивая тайныя пружины, спрятанныя причины, глубокіе замыслы, сокровенныя связи, злостныя цѣли, коварные планы, обдуманные ковы,—всего этого вовсе нѣтъ и придумано послѣ. Міръ идетъ гораздо наивнѣе и проще, чѣмъ кажется сквозь призму критики и рефлексій.

„Девять десятыхъ всѣхъ злодѣйствъ дѣлаются по глупости и наказываются по двойной,—и это не особенность злодѣйствъ, а вообще всѣхъ поступковъ, особенно крупныхъ. Въ самыхъ рѣшительныхъ событіяхъ жизни умъ не участвуетъ или участвуетъ, помогая глупости. Не по уму же люди, напримѣръ, играютъ въ карты, въ карты *по уму* играютъ одни шулера,—оттого-то они и выигрываютъ всегда, пока ихъ кто-нибудь не поколотитъ по глупости...“

„Отчего весь міръ видитъ ясно, просто, что война—величайшая глупость, и идетъ рѣзаться?

„Мудрено понять, и мудрено-то именно потому, что глупо!

„Свѣтъ стоитъ между недошедшими до ума и перешедшими его, между глупыми и сумасшедшими, и стоитъ довольно давно и прочно; если же и не устоитъ, такъ не умъ же будетъ въ этомъ участвовать, а безсмысленныя физическія силы...“

И Герценъ снова повторяетъ свой протестъ противъ людской покорности безсмыслію жизни и противъ тумана, въ которомъ проходитъ существованіе огромнаго большинства человѣчества, влачащаго свою участь по готовымъ дорогамъ и въ готовыхъ формахъ, какъ онѣ ни изжиты, какъ ни противны...

Это близко подходитъ и къ пессимистическимъ настроеніямъ Герцена въ парадоксахъ Левіафанскаго и др. Параллели между Чеховымъ и Герценомъ, въ критической нашей литературѣ, кажется, не появлялось, между тѣмъ она могла бы дать весьма любопытныя черты для характеристики обоихъ писателей.

„Отъ этой лѣни и небрежности, мы всю жизнь бродимъ въ какомъ-то пріятномъ полумракѣ и умираемъ въ сумрачномъ мерцаніи. Всѣ мы ужасно похожи на докторовъ, довольствующихся знаніемъ, что они не знаютъ, что дѣлаютъ, но что снадобья хороши.

„Мы повторяемъ сто лѣтъ, двѣсти лѣтъ, какой-нибудь вздоръ и чувствуемъ, что что-то неладно, да такъ и идемъ мимо, за недосугомъ, страшно озабоченные чѣмъ-то другимъ.

„Что же это за другое дѣло?...

„Объ этомъ люди еще не подумали, а должно быть *дѣло не шуточное!*"

То же говорилъ Герценъ въ Москвѣ, то же пламенемъ вырвалось у него въ книгѣ „Съ того берега", и тотъ же мотивъ протеста противъ владѣющаго міромъ „мѣщанства" мысли и чувства, мѣщанства, рабски готоваго на всякое униженіе, лишь бы не выходить на неизвѣданный путь созданія новыхъ формъ жизни,—этотъ мотивъ теперь снова звучитъ въ его рѣчи, привычно остроумной, но съ глубокимъ оттѣнкомъ скорби и печали... Эти мысли объ отсутствіи внутренней свободы въ людяхъ, эта скорбь о человѣческомъ достоинствѣ, порабощенномъ во всяческомъ мѣщанствѣ, были одною изъ постоянныхъ струй въ моральной проповѣди Герцена, и въ ней право его на одинъ изъ лавровъ, вѣнчающихъ его славу.

Всѣ впечатлѣнія, какія онъ привычно схватываетъ въ затишьи тогдашней европейской жизни, въ затишьи предъ грозою франко-прусской войны, такъ или иначе сводятся къ обличенію этого мѣщанства и обыденщины.

„Въ средніе вѣка люди жили наисквернѣйшимъ образомъ и тратились на совершенно ненужныя и неидущія къ удобствамъ постройки. Но средніе вѣка не толковали о страсти къ удобствамъ, напротивъ, чѣмъ неудобнѣе шла ихъ жизнь, тѣмъ она ближе была къ ихъ идеалу, ихъ роскошь была въ благолѣпіи дома Божія и дома общиннаго, и тамъ они уже не скупились, не жались. Рыцарь строилъ тогда крѣпость, а не дворецъ, и выбиралъ не наиудобнѣйшую дорогу для нея, а неприступную скалу. Теперь защищаться не отъ кого, въ спасеніе души отъ украшенія церквей никто не вѣритъ; отъ форума и ратуши, отъ оппозиціи и клуба мирный гражданинъ порядка отсталъ; страсти и фанатизмы, религія и героизмы—все это уступило мѣсто матеріальному благосостоянію, *а оно-то и не устроилось.*

„Для меня во всемъ этомъ есть что-то печальное, трагическое, точно этотъ міръ живетъ кое-какъ въ ожиданіи, что земля разступится подъ ногами, и ищетъ не устроиться, а забыться.

„Я это вижу не только въ озабоченныхъ морщинахъ, но и въ боязни передъ серьезной мыслью, въ отвращеніи всякаго разбора своего положенія, въ судорожной жаждѣ недосуга, внѣшней разсѣянности. Старики готовы играть въ игрушки, „лишь бы дѣло не шло на умъ“.

„Модный оттягивающій пластырь—всемірныя выставки...

„... Ну, а выставки надоѣдятъ,—примутся за войну, начнутъ разсѣиваться грудами труповъ, лишь бы не видѣть какихъ-то *черныхъ точекъ* на небосклонѣ...“ (Безъ связи, I).

Герценъ не видѣлъ выхода и въ соціализмѣ, по крайней мѣрѣ, въ томъ бланкистскомъ соціализмѣ, который тогда все еще наиболѣе заставлялъ говорить о себѣ, по поводу международныхъ своихъ съѣздовъ, съ ихъ пылкими мечтами о близости полнаго соціальнаго переворота и готовностью его адептовъ рисковать своими и чужими головами.

Одну изъ слабостей тогдашняго соціалистическаго броженія Герценъ съ рѣдкою проницательностью видѣлъ въ томъ, что оно стояло одною ногою всецѣло на почвѣ вѣры, а не изученія дѣла, что оно было „религіею“. Устами одного дѣйствующаго лица въ замѣчательныхъ очеркахъ: „Докторъ, умирающіе и мертвые“ (здѣсь данъ удивительно выпуклый портретъ стараго революціонера 1793 года, который оттѣняетъ собою низменное мѣщанство французовъ сороковыхъ годовъ), Герценъ говоритъ о соціализмѣ.

„— Вольно же вамъ соціализмъ считать религіей?

„— А какъ же? Можетъ онъ когда-нибудь и выростетъ изъ стихаря, даже есть обѣщающіе зачаточки; но это еще не рѣшенное дѣло, великая революція имѣла не меньше его зачатковъ, а такъ и состарѣлась на своихъ цивическихъ литургіяхъ и политическихъ процессіяхъ. Все тѣ же идолопоклонники и иконоборцы; только иконы другія; а средства защиты и нападенія, какъ встарь, чисто богословскія, основанныя на вѣрѣ во что-нибудь невѣроятное, подтверждаемое доказательствами, ничего не доказывающими, и силой, доказывающей, что разсужденіемъ ничего не сдѣлаешь, а кулакомъ очень много.

„— Ничего подобнаго нѣтъ въ современной борьбѣ капитала съ работой, какія тутъ литургіи, да крестные ходы?

„— Помилуйте, да тутъ все литургія, кромѣ самаго предмета. Одни хотятъ увѣрить другихъ, что эти другіе... не имѣютъ права на необходимое, тогда какъ они сами имѣютъ лишнее, и дивятся, какъ тѣ не понимаютъ, что въ этомъ-то и состоитъ свобода. Другіе укоряютъ въ грабежѣ тѣхъ, которые такъ же безсознательно имѣютъ деньги, какъ укоряющіе ихъ не имѣютъ. Гдѣ же тутъ логика? Одно богословіе, примѣненное къ земнымъ предметамъ. Иконоборцы капитала

и его идолопоклонники такъ и стоятъ на своемъ диспутѣ, все больше и больше отравляя его и поддразнивая другъ друга.

„— Куда же это приведетъ?

„— Туда, куда приводятъ всѣ религіозныя препинанія: не *къ дѣлу, а къ крови.*

„— И будто это такъ неминуемо?

„— Я не фаталистъ, но, кажется, миновать трудно. Одинъ станъ растетъ не по днямъ, а по часамъ; другой свирѣпѣетъ, и оба не понимаютъ другъ друга...

„— Надобно посредниковъ.

„— А гдѣ же ихъ взять? Примирившихся и непримиримыхъ бездна, но примирителей нѣтъ. Примирившіеся резонеры всего хуже; что они примутся объяснять, то остается на вѣки мутнымъ и безжизненнымъ, какъ замерзнувшая лужа. Это—наша язва".

Среди бездны роковыхъ случайностей, ломающихъ и уродующихъ индивидуальную жизнь, среди хаоса политическаго міра, идущаго ковыляя по дорогѣ, полной бѣдствій и нелѣпицы,—одно остается для Герцена вѣрнымъ, надежнымъ, несомнѣннымъ—*наука.* Въ одномъ изъ интимныхъ писемъ этого времени находимъ любопытныя и очень характерныя строки:

„Вчера я встрѣтилъ больного ребенка... 3-хъ лѣтъ—онъ лежитъ неподвижно на подушечкѣ и у него выходятъ кости и тоже ѣсть нечего. Фу, какая гадость это милое существованіе.—Вотъ частная индивидуальная жизнь. А что дѣлаютъ пруссаки? Они à la lettre съѣли бѣдную Моравію и разорятъ Франкфуртъ. Они послѣ перемирія уничтожили баварскій отрядъ. Вотъ политическая жизнь.

„Что же осталось?

„Наука.

„Посылаю Nord, въ которомъ величайшій фактъ. Телеграфъ между Нью-Іоркомъ и Лондономъ конченъ" (Н. А. Огарева-Тучкова. Воспоминанія. М. 1903. стр. 292).

Въ раздумьи о судьбахъ человѣчества онъ и въ сферу соціальной политики желалъ бы перенести теперь тѣ же представленія о „смиреніи" предъ фактомъ трудности и медленности какого бы то ни было дѣйствительнаго прогресса и о руководящемъ значеніи науки. Наиболѣе подробно эти мысли развиты въ его посмертныхъ „письмахъ къ старому товарищу", на которыхъ, какъ на соціально-политическомъ завѣщаніи Герцена нельзя не остановиться подробнѣе.

Эти письма адресованы были Бакунину, съ которымъ послѣ польскаго возстанія они почти совершенно разошлись. Бакунинъ въ это время былъ уже на краю мечты всеобщаго

соціальнаго переворота, „закусилъ удила“, по выраженію Герцена въ одномъ письмѣ, и погрузился въ пропаганду насильственнаго разрушенія стараго міра. „Die Lust der Zerstörung ist zugleich eine schaffende Lust“ (Духъ разрушенія есть въ то же время созидающій духъ). Этотъ лозунгъ, провозглашенный Бакунинымъ еще въ началѣ сороковыхъ годовъ, мало-по малу принялъ для него значеніе всеохватывающаго, непосредственно руководящаго принципа революціонной дѣятельности, превратившись въ настоящую страсть бунтарства, съ которою онъ готовъ былъ кинуться, да и кидался въ любое, самое безнадежное возстаніе. Отрѣшившись послѣ польскаго возстанія отъ славянскихъ мессіанистическихъ идей, онъ свои надежды переноситъ на пылкія романскія расы, особенно на итальянцевъ. На съѣздахъ и организуемыхъ имъ тайныхъ обществахъ и союзахъ чисто бланкистскіе проекты и планы играютъ видную роль. Онъ сближается въ это время, какъ извѣстно, особенно съ Нечаевымъ, черпающимъ въ одобреніи Бакунина поощреніе къ самымъ фантастическимъ замысламъ, даже къ знакомой уже намъ программѣ всеобщаго разрушенія „поганаго строя“.

Герценъ не могъ не отшатнуться при этомъ поворотѣ стараго друга на дорогу воинствующаго безгосударственнаго соціализма, оставшись навсегда при мысли, что задача въ пересозданіи *мѣщанскаго*, буржуазнаго государства въ *народное*. Его письма къ старому товарищу—послѣднее выраженіе наиболѣе зрѣлыхъ и выношенныхъ мыслей о ходѣ человѣческаго развитія и въ частности грядущаго соціальнаго устройства.

„Насъ занимаетъ одинъ и тотъ же вопросъ,—начинаетъ Герценъ первое письмо:—Впрочемъ, одинъ *серьезный вопросъ* и существуетъ на историческомъ череду“. Это, конечно, вопросъ соціальный. „Конечное разрѣшеніе у насъ обоихъ *одно*“,—категорически заявляетъ Герценъ. Онъ видитъ, что „исключительному царству капитала и безусловному праву собственности такъ же пришелъ конецъ, какъ нѣкогда пришелъ конецъ царству феодальному и аристократическому“. Но онъ желаетъ провести рѣшительную грань между своимъ пониманіемъ способовъ движенія къ тому же концу и тѣмъ, которое такъ бурно проповѣдуетъ, увлекая другихъ, его старый товарищъ.

Герценъ и здѣсь останавливается въ раздумьи предъ великою силою пассивной безсознательности массъ. Ею крѣпко и долго держатся всѣ разъ сложившіяся жизненныя формы. Надъ нею онъ весело шутилъ въ „Докторѣ Круповѣ“, она наводила на него безнадежное уныніе въ „Левіафанскомъ“. И считаться съ нею приходится, по мнѣнію Герцена

въ первую голову, особенно по отношенію къ формамъ экономическихъ связей и традицій, еще только едва тронутыхъ критикою, едва доступныхъ пониманію массъ.

„Большинство, наиболѣе страдающее, стремится одною частью городскихъ работниковъ выйти изъ него (изъ существующаго порядка экономическихъ отношеній), но удержано старымъ, традиціоннымъ воззрѣніемъ другой и самой многочисленной части".

„Зланія и пониманія не возьмешь никакими coup d'état и никакими coup de tête. Медленность, сбивчивость историческаго хода пониманія насъ бѣситъ и душитъ, она намъ невыносима, и многіе изъ насъ, измѣняя собственному разуму, торопятся и торопятъ другихъ. Хорошо ли это или нѣтъ? въ этомъ весь вопросъ.

„Слѣдуетъ ли толчками возмущать съ цѣлью ускоренія внутренней работы, которая очевидна? Сомнѣнія нѣтъ, что акушеръ можетъ ускорять, облегчать, устранять препятствія, но въ извѣстныхъ предѣлахъ, а ихъ трудно установить и страшно переступать. На это, сверхъ логическаго самоотверженія, надобенъ тактъ и вдохновенная импровизація. Сверхъ того не вездѣ одинаковая работа и одни предѣлы. Петръ I, конвентъ научили насъ шагать семимильными сапогами, шагать изъ перваго мѣсяца беременности въ девятый и ломать безъ разбора все, что попадется на дорогѣ. „Die zerstörende Lust ist eine schaffende Lust!"—и впередъ за неизвѣстнымъ богомъ-истребителемъ, спотыкаясь на разбитыя сокровища, вмѣстѣ со всякимъ мусоромъ и хламомъ".

Герценъ вспоминаетъ такъ страшно и тяжело имъ пережитые іюньскіе дни 1848 года.

„Мы видѣли грозный примѣръ кроваваго возстанія, въ минуту отчаянія и гнѣва, сошедшаго на площадь и спохватившагося на баррикадахъ, что у него нѣтъ знамени. Сплоченный въ одну дружину, міръ консервативный побилъ его. Вслѣдствіе этого было то ретроградное движеніе, котораго слѣдовало ожидать. Но что было бы, если бы побѣда стала на сторону баррикадъ? Въ двадцать лѣтъ грозные борцы высказали ли все, что у нихъ было за душой? Ни одной построяющей органической мысли мы не находимъ въ ихъ завѣтѣ, а экономическіе промахи не косвенно, какъ политическіе, а прямо и глубже ведутъ къ разоренію, къ застою къ голодной смерти".

А между тѣмъ и тогда, вѣдь, *общее* рѣшеніе задачи будущаго соціалистическаго строя было ясно. Но въ томъ-то и дѣло, что „общее постановленіе задачи,—говоритъ далѣе Герценъ,—не даетъ ни путей, ни средствъ, ни даже достаточной среды. Насиліемъ ихъ не завоюешь. Подорванный

порохомъ весь міръ буржуазный, когда уляжется дымъ и расчистятъ развалины, снова начнетъ съ разными измѣненіями *какой-нибудь буржуазный* міръ. Потому, что онъ внутри *не конченъ, и потому еще что ни міръ построяющій*, ни новая организація не настолько готовы, чтобы пополниться, осуществляясь. Ни одна основа изъ тѣхъ, на которыхъ покоится современный порядокъ, изъ тѣхъ, которыя должны рухнуть и пересоздаться, не настолько почата и расшатана, чтобы ее достаточно было вырвать силой, чтобъ исключить изъ жизни.

„Пусть каждый добросовѣстный человѣкъ самъ себя спроситъ, готовъ ли онъ? Такъ ли ясна для него новая организація, къ которой мы идемъ, какъ общіе идеалы коллективной собственности, солидарности, и знаетъ ли онъ процессъ (кромѣ простого ломанья), которымъ должно совершиться превращеніе въ нее старыхъ формъ? И пусть, если онъ лично доволенъ собою, пусть скажетъ, готова ли та среда, которая по положенію должна первая ринуться въ дѣло“.

Подозрительно относясь къ „религіи“ соціализма, Герценъ желаетъ имѣть подъ ногами твердую реальную почву, на которой и долженъ вырасти новый соціальный строй.

„Экономическій переворотъ имѣетъ необъятное преимущество передъ всѣми религіозными и политическими революціями въ трезвости своей основы. Таковы должны быть и пути его, таково и обращеніе съ данными. По мѣрѣ того, какъ онъ выростаетъ изъ состоянія неопредѣленнаго страданія и недовольства, онъ невольно становится на *реальную почву*. Тогда какъ всѣ другіе перевороты постоянно оставались одною ногой въ фантазіяхъ, мистицизмѣ, вѣрованіяхъ и неоправданныхъ предразсудкахъ—патріотическихъ, юридическихъ и пр.,—экономическіе вопросы подлежатъ математическимъ законамъ“.

Дальше онъ говоритъ:

„Конечно, математическій, какъ и всякій научный законъ, носитъ доказательство въ самомъ себѣ и не нуждается ни въ эмпирическомъ оправданіи, ни въ большинствѣ голосовъ. Но для приложенія эмпирическая сторона и всѣ внѣшнія условія осуществленія выступаютъ на первый планъ. „Мотивы могутъ быть истинны, но безъ достаточныхъ средствъ они не осуществятся“ *). Все это принято во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ и обходится слишкомъ сангвиническими людьми въ дѣлѣ такого значенія, какъ общественное

*) Эти слова Бентама составляютъ эпиграфъ перваго письма.

пересозданіе. Какой механикъ не знаетъ, что его выкладка, формула не перейдетъ въ дѣйствительность, пока въ ряду явленій, захватываемыхъ имъ, будутъ элементы, не подчиняющіеся, посторонніе или подлежащіе другимъ законамъ. Большей частью въ физическомъ мірѣ эти возмущающіе элементы не сложны и легко вводятся въ формулы, какъ вѣсъ линіи маятника, упругость среды, въ которой дѣлаются его размахи, и пр. Въ мірѣ историческаго развитія это не такъ просто. Процессы общественнаго роста, ихъ отклоненія и уклоненія и послѣдніе результаты до того переплелись, до того неразымчато вошли въ глубочайшую глубь народнаго сознанія, что приступъ къ нимъ вовсе не легокъ, что съ ними надобно очень считаться и однимъ реестромъ отрицаемаго, отданнымъ, какъ въ приказѣ по соціальной арміи, ничего, кромѣ путаницы, не сдѣлаешь".

Герценъ противъ подобнаго отрицанія, разъ оно *только отрицаніе*. „Старый порядокъ вещей крѣпче *признаніемъ* его, чѣмъ матеріальной силой, его поддерживающею". Задача въ томъ прежде всего, чтобы не на словахъ только, а и на дѣлѣ овладѣть народнымъ сознаніемъ, а не протестовать только противъ соціальныхъ нелѣпостей, которыя держатся на темнотѣ этого сознанія прочнѣе всего.

Въ этой мысли для Герцена является источникъ великой терпимости къ темному пути, которымъ бредетъ, спотыкаясь, человѣчество. „Винить, наказывать, отдавать на копье—все это становится ниже нашего пониманія". „Собственность, семья, церковь, государство были огромными воспитательными формами человѣческаго освобожденія и развитія, мы выходили изъ нихъ по миновании надобности.—Обрушивать отвѣтственность за былое и современное на послѣднихъ представителей „прежней правды", дѣлающейся „настоящею неправдою" такъ же нелѣпо, какъ было нелѣпо и несправедливо казнить французскихъ маркизовъ за то, что они не якобинцы; и еще хуже, потому что мы за себя не имѣемъ якобинскаго оправданія: наивной вѣры въ свою правоту, въ свое право".

Второе письмо начинается привѣтствіемъ международнымъ съѣздомъ рабочихъ, какъ растущей силѣ, вышедшей на серьезную, покойную работу. „Было бы несчастьемъ,— говоритъ Герценъ,—если бы они преждевременно вышли изъ этого строя". Всякія порывистыя попытки и выступленія только повредятъ дѣлу соціализма, потому что на руку врагамъ его и реакціи. „Уничтожать и топтать всходы легче, чѣмъ торопить ихъ ростъ. Тотъ, кто не хочетъ ждать и работать, тотъ идетъ по старой колеѣ пророковъ и проповѣдателей, іересіарховъ, фанатиковъ и цеховыхъ революю-

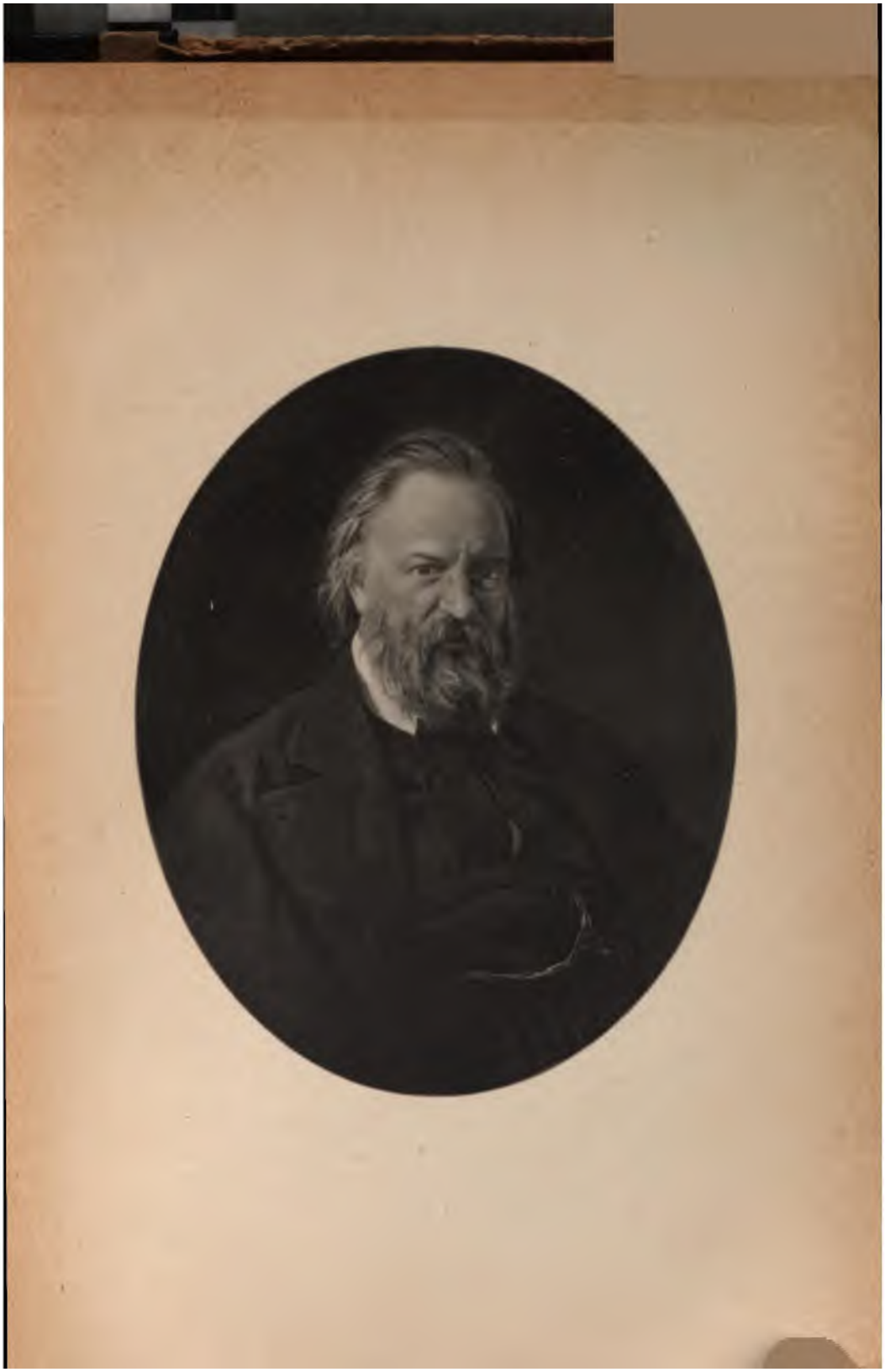
піонеровъ. А всякое дѣло, совершающееся при пособіи элементовъ безумныхъ, мистическихъ, фантастическихъ, въ послѣднихъ выводахъ своихъ непремѣнно будетъ имѣть и безумные результаты съ дѣльными".

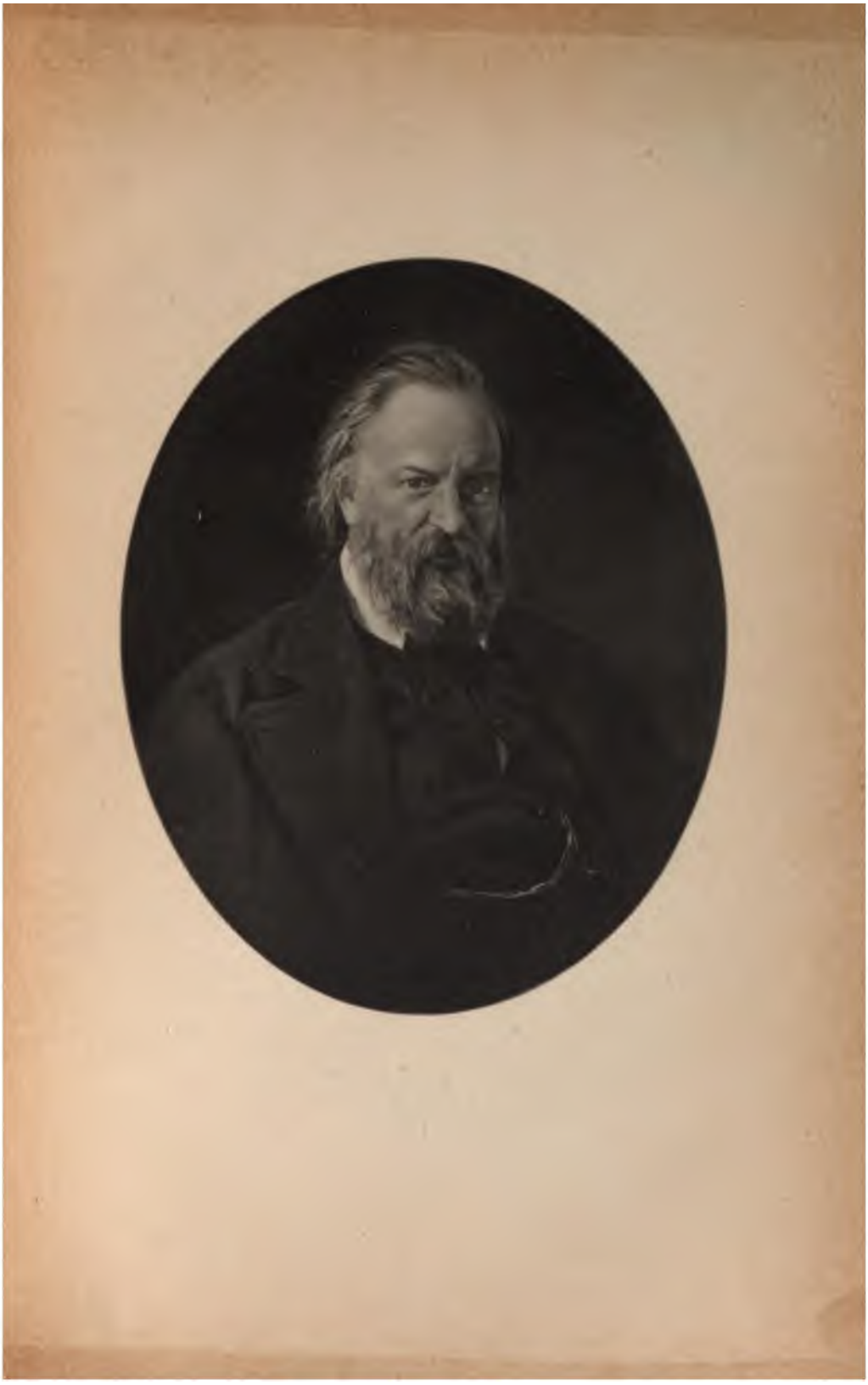
Новый общественный строй долженъ вырасти на почвѣ сознательнаго пониманія массами всего сложнаго соціальнаго процесса, въ противоположность современной безсознательности. „Изъ этого-то міра нравственной неволи и подавторитетности, повторяю, мы и бьемся выйти въ ширь пониманія, въ міръ *свободы въ разумѣ*. Всякія попытки обойти, перескочить сразу отъ нетерпѣнія, увлечь страстью или авторитетомъ, приведутъ къ страшнѣйшимъ столкновеніямъ и, что хуже, почти къ неминуемымъ пораженіямъ".

Это распространеніе пониманія въ массахъ, для превращенія безсознательнаго процесса въ сознательный, конечно, не можетъ быть быстрымъ. И Герценъ не боится заявить себя постепеновцемъ.

„Я нисколько не боюсь слова „постепенность", опошленнаго шаткостью и невѣрнымъ шагомъ разныхъ реформирующихъ властей. Постепенность такъ, какъ непрерывность, неотъемлема всякому процессу разумѣнія. Математика передается постепенно, отчего же конечные выводы мысли о соціологіи могутъ прививаться, какъ оспа, или вливаться въ мозги такъ, какъ вливаютъ лошадямъ лекарство въ ротъ, сразу. Между конечными выводами и современнымъ состояніемъ есть практическія облегченія пути, компромиссы и діагонали... Понять, которыя изъ нихъ короче, удобнѣе и возможнѣе—дѣло практическаго такта, дѣло революціонной стратегіи. Идя безъ оглядки впередъ, можно затесаться, какъ Наполеонъ, въ Москву и погибнуть, отступая отъ нея, не доходя даже до Березины".

Далѣе Герценъ на примѣрѣ отдѣльныхъ институтовъ буржуазнаго общества, какъ частная собственность на землю въ Западной Европѣ или право наслѣдства, показываетъ, до какой степени массы не могутъ еще вмѣстить иного пониманія соціальнаго устройства, кромѣ существующаго. Въ случаѣ насильственной революціи, произведенной соціалистическими группами,—предсказываетъ онъ, и это предсказаніе оправдалось вскорѣ на парижской коммунѣ, когда свирѣпое укрощеніе ея явилось дѣломъ столько же „буржуазіи", сколько войска и несоціалистической массы,—„всего яростнѣе возстанутъ за „ракъ" наиболѣе страдающіе отъ него. Это очень глупо, но пора съ глупостью считаться, какъ съ громадною силой". И именно поэтому, Герценъ противъ всякаго насажденія принциповъ и институтовъ, считаемыхъ высшими, насильственнымъ, кровавымъ путемъ.





у могилы жены не было для него мѣста какой бы то ни было неискренности передъ самимъ собою. Здѣсь, въ полномъ почти уединеніи у него было довольно досуга выносить и взвѣсить эти скорбныя и глубокія мысли, и оттого такъ вѣско въ этихъ письмахъ каждое слово. Здѣсь, передъ лицомъ прошлаго не было также мѣста пылу и раздраженію политической борьбы и дрязгамъ, такъ называемаго, „общаго“ русскаго дѣла, и письма „къ старому товарищу“ оттого такъ полны великой, покойной терпимости мудреца, такъ что невольно вспоминается образъ одного изъ величайшихъ провозвѣстниковъ этой терпимости, котораго всегда особенно цѣнилъ Герценъ,—Спинозы.

Два слѣдующихъ письма къ Бакунину были написаны уже позднѣе, въ Брюсселѣ и Парижѣ осенью 1869 г. Оба они касаются нѣкорыхъ частностей бакунинскаго революціонизма. Между прочимъ Бакунинъ рискнулъ пустить въ своихъ воззваніяхъ въ оборотъ несчастную мысль, что наука аристократична, что непосредственная соціально-революціонная борьба по праву должна первенствовать надъ наукою. Это грубо повторено въ извѣстной уже намъ нечаевской программѣ. Со стороны Герцена эта мысль вызвала вдумчивый и горестный откликъ.

„Мои возраженія...—писалъ онъ,—нетерпѣливымъ людямъ начинаютъ надоѣдать. „Время слова, говорятъ они, прошло; время дѣла наступило“. Какъ будто *слово* не есть *дѣло*? Какъ будто время слова можетъ пройти? Враги наши никогда не отдѣляли *слово* и дѣло и казнили за *слово* не только одинакимъ образомъ, но часто свирѣпѣе, чѣмъ за дѣло...

„Но кто же, кромѣ нашихъ враговъ, готовъ на бой и силенъ на дѣло? Наша сила въ мысли, въ силѣ правды, въ силѣ слова, въ исторической попутности. Международные сходы только сильны проповѣдью; матеріально, дальше отрицательной силы гревы (стачки), они не могутъ идти.

„Стало быть, остается попрежнему сидѣть, сложа руки, весь вѣкъ, довольствуясь прекрасными рѣчами?

„Не знаю, весь ли вѣкъ или часть его, но навѣрное до тѣхъ поръ не сходить въ рукопашную, пока нѣтъ ни единства убѣжденій, ни нравственныхъ силъ. Быть правымъ—въ бою не много значитъ: правота давала побѣду только въ судѣ божіемъ; у насъ на небесное вмѣшательство надежды мало“.

Герценъ протестуетъ и противъ того, будто ходъ событій, путь исторіи могутъ вынудить людей поневолѣ вступить въ роли разрушителей стараго порядка.

„Чтобы стать слѣпымъ орудіемъ судебъ, бичемъ, палачемъ божіимъ,—надобно наивную вѣру, простоту невѣдѣнія,

дикій фанатизмъ и своего рода непочатое младенчество мысли. Честно мы не можемъ брать на себя ни роль Аттилы, ни даже роль Антона Петрова *). Принимая ихъ, мы должны будемъ обманывать другихъ или самихъ себя. За эту ложь намъ придется отвѣчать передъ своею совѣстью и передъ судомъ близкихъ намъ по духу. — То, что мыслящіе люди прощали Аттилѣ, комитету общественнаго спасенія и даже Петру, не простятъ намъ. Мы не слыхали голоса, призывающаго насъ свыше къ исполненію судебъ, и не слышали подземнаго голоса снизу, который указалъ бы путь. Для насъ существуетъ одинъ голосъ и одна власть—власть *разума и пониманія*. Отвергая ихъ, мы становимся разстригами и ренегатами цивилизаціи".

Слѣдуетъ далѣе, въ возраженіе Бакунину, рядъ мыслей Герцена о значеніи государства, какъ явленія, до сихъ поръ не изжитого. Государство, по мнѣнію Герцена, „какъ рабство, идетъ къ самоуничтоженію, и его нельзя сбросить съ себя, какъ грязное рубище, до извѣстнаго возраста. Государство—форма, черезъ которую проходитъ всякое человѣческое сожитіе, принимающее значительные размѣры. Оно постоянно измѣняется сообразно съ обстоятельствами и прилаживается къ потребностямъ. Государство вездѣ начинается съ полнаго порабощенія лица и вездѣ стремится, перейдя извѣстное развитіе, къ полному освобожденію его... Государство не имѣетъ собственнаго опредѣленнаго содержанія; оно служитъ одинаково реакціи и революціи, тому, съ чьей стороны сила... Этой государственной силой хотѣлъ воспользоваться Лассаль для введенія соціальнаго устройства. Что же, думалось ему, ломать мельницу, когда ея жернова могутъ молоть и нашу муку? На томъ же самомъ основаніи и я не вижу разумной примѣнимости въ отреченіи. Между мнѣніемъ Лассаля и проповѣдью о неминуемомъ распущеніи государства въ федерально-коммунную жизнь лежитъ вся разница обыкновеннаго рожденія и выкидыванія. Изъ того, что женщина беременна, никакъ не слѣдуетъ, что ей завтра слѣдуетъ родить. Изъ того, что государство—форма *проходящая*, не слѣдуетъ, что эта форма уже *прошедшая* **).

---

*) Не разъ упоминаемый Герценомъ фанатикъ волненій крестьянъ въ с. Безднѣ.

**) Намъ случилось встрѣтить въ ультра-реакціонныхъ изданіяхъ эксплоатацію парадокса Герцена, который брошенъ въ третьемъ письмѣ.

„Нельзя людей освобождать въ наружной жизни больше, чѣмъ они освобождены внутри. Какъ ни странно, но опытъ показываетъ, что народамъ легче выносить насильственное бремя рабства, чѣмъ даръ излишней свободы". Какъ объективное наблюденіе, эта мысль то же, что мысль пушкинскаго „сѣятеля":

Закончимъ изложеніе этихъ мыслей Герцена характернымъ для писателя протестомъ въ послѣднемъ письмѣ противъ обращенія къ „дурнымъ страстямъ“ въ качествѣ революціоннаго средства, что отъ Бакунина привело къ нечаевскимъ надеждамъ на разбой и преступленіе.

„Дикіе призывы къ тому, чтобы закрыть книги, оставить науку и идти на какой-то безсмысленной бой разрушенія, принадлежатъ къ самой неистовой демагогіи и къ самой вредной. За ними такъ и слѣдуетъ разнузданіе дикихъ страстей, le déchaînement des mauvaises passions. Этими страшными словами мы шутимъ, нисколько не считая, насколько они вредны для дѣла и для слушающихъ.

„Нѣтъ, великіе перевороты не дѣлаются разнуздываніемъ дурныхъ страстей. Христіанство проповѣдывалось чистыми и строгими въ жизни апостолами и ихъ послѣдователями, аскетами и постниками, людьми, замаривавшими всѣ страсти, кромѣ одной. Таковы были гугеноты и реформаторы. Таковы были якобинцы 93 года. Бойцы за свободу въ серьезныхъ поднятіяхъ оружія всегда были святы, какъ воины Кромвеля, и оттого сильны.

„Я не вѣрю въ серьезность людей, предпочитающихъ ломку и грубую силу развитію и сдѣлкамъ. Проповѣдь нужна людямъ, проповѣдь неустанная, ежели путная; проповѣдь, равно обращенная къ работнику и хозяину, къ земледѣльцу и мѣщанину. Апостолы намъ нужны прежде авангардныхъ офицеровъ, прежде саперовъ разрушенія. Апостолы, проповѣдующіе не только своимъ, но и противникамъ.

„Проповѣдь къ врагу—великое дѣло любви: они не виноваты, что живутъ внѣ современнаго потока какими-то просроченными векселями прежней нравственности. Я ихъ жалѣю, какъ больныхъ, какъ поврежденныхъ, стоящихъ на краю пропасти съ грузомъ богатствъ, который ихъ стянетъ въ нее. Имъ надобно раскрыть глаза, а не вырвать ихъ, чтобы и они спаслись, если хотятъ.

„Греки радикальнѣе насъ говорили: „Мудрому законъ не нуженъ: его разумъ законъ“. Ну, такъ и начнемъ съ того, что „сдѣлаемъ“ сами себя и другъ друга мудрыми“.

Письмо заканчивается, наконецъ, напоминаніемъ о гибели и *вещей*, которымъ грозятъ потокъ и разрушеніе, проповѣдуемые, какъ панацея.

„Къ чему стадамъ дары свободы? Ихъ должно рѣзать или стричь“. По связи же со всѣмъ ходомъ мысли письма, здѣсь идетъ рѣчь объ насильственномъ уничтоженіи формы государственности, внѣ которой еще не жило человѣчество, почему нѣтъ никакого ручательства, что при такомъ насильственномъ, безъ предварительнаго воспитанія массъ, освобожденіи отъ этой формы массы немедленно не начнутъ снова строить какое-нибудь государство.

„Я не только жалѣю людей, но жалѣю и вещи, и *иныя вещи больше иныхъ людей*... Разгулявшаяся сила истребленія уничтожитъ вмѣстѣ съ межевыми знаками и тѣ *предѣлы* силъ человѣческихъ, до которыхъ люди достигали во всѣхъ направленіяхъ съ начала цивилизаціи.

„Довольно христіанство и исламизмъ наломали древняго міра. Довольно французская революція наказнила статуй, картинъ, памятниковъ; намъ не приходится играть въ иконоборцевъ.

„Я это такъ живо чувствовалъ, стоя съ тупою грустью и чуть не со стыдомъ передъ какимъ-нибудь кустодомъ, указывающимъ на пустую стѣну, на разбитое изваяніе, на выброшенный гробъ, повторяя: „Все это истреблено во время революціи"...

Возвышенная простота и проникновенная искренность послѣдней рѣчи Герцена, неподражаемыя въ этомъ тонѣ глубокаго, искренняго убѣжденія, долго не были оцѣнены по достоинству. Особенно не могли сдѣлать этого большинство земляковъ, имѣвшихъ съ нимъ дѣло за границей. Его раздумье надъ вѣчными вопросами общечеловѣческаго развитія было совсѣмъ не въ тонъ тогдашнихъ настроеній, и до послѣдняго времени это общественно-политическое завѣщаніе Герцена мало привлекало къ себѣ.

Установившееся эволюціонное міровоззрѣніе, не только въ естественно-научной, но и въ соціологической области, подготовило современнаго читателя къ болѣе правильной оцѣнкѣ послѣднихъ мыслей Герцена. Въ нихъ твердо устанавливается задача общественнаго развитія, какъ задача чисто эволюціонная, а не насильственныхъ скачковъ и экспериментовъ надъ человѣческими жизнью и кровью. Средствомъ—указывается общественно-политическое воспитаніе массъ, подъ знаменемъ науки и просвѣщенія. „Компромиссы и постепеновщина", обвиненія въ которыхъ сыпались на Герцена,—не въ вульгарномъ смыслѣ компромиссы или откладываніе подлежащаго рѣшенію въ долгій ящикъ, но сознаніе моральной отвѣтственности за свое слово и дѣло, сознаніе, не допускающее сколько-нибудь легкаго отношенія къ людской крови и жизнямъ.

Именно этой серьезности слишкомъ часто не видѣлъ Герценъ среди дѣятелей того поколѣнія, которое отвернулось отъ него и такъ часто омрачало его общественную и жизненную борьбу.

Кажется, теперь оправдана надежда его, выраженная въ письмахъ этого послѣдняго времени подъ заглавіемъ: „Еще разъ Базаровъ", надежда, что „мы съ дѣтьми Базарова встрѣтимся симпатично, и они съ нами—безъ озлобленія и насмѣшки".

Въ дѣлѣ улаженія споровъ „отцовъ и дѣтей“ Герценъ надежду полагаетъ все на ту же науку и науку. По его мнѣнію, наука спасла бы Базарова отъ его безплоднаго по существу презрѣнія къ людямъ, въ частности къ русскимъ людямъ. И мы можемъ закончить настоящую главу словами Герцена по этому поводу, въ которыхъ итогъ всего, такъ часто тяжелаго, раздумья послѣднихъ его лѣтъ, но просвѣтленнаго этою вѣрою въ великую освобождающую и благую силу науки, человѣческаго разума.

„Наука учитъ насъ смиренію. Она не можетъ ни на что глядѣть свысока, она не знаетъ, что такое *свысока*, она ничего не презираетъ, никогда не лжетъ для роли и ничего не скрываетъ изъ кокетства. Онъ останавливается предъ фактами, какъ изслѣдователь, иногда, какъ врачъ, никогда, какъ палачъ, еще меньше съ враждебностью и ироніей.

„Наука—я, вѣдь, не обязанъ скрывать нѣсколько словъ въ тиши душевной,—наука—*любовь*, какъ сказалъ Спиноза о мысли и вѣдѣніи“.

Этою „интеллектуальною любовью къ Богу“ Спинозы (amor Dei intellectualis) поистинѣ объяты послѣднія творческія настроенія мысли Герцена, какъ писателя. Отсюда вѣетъ тотъ созрѣвшій въ годахъ испытаній великій духъ любви и терпимости, который подымаетъ образъ Герцена на чистую высоту учителя жизни и борьбы лишь чистымъ оружіемъ слова и просвѣщенія. Здѣсь его геній отрѣшается отъ временныхъ и національныхъ чертъ и свободно паритъ на высотѣ общечеловѣческихъ чувства и мысли.

XV.

Послѣдніе дни и кончина.

Съ 1861 года, когда правительство Наполеона III разрѣшило Герцену бывать въ Парижѣ, онъ проѣздомъ и ненадолго былъ здѣсь нѣсколько разъ. Въ Парижѣ у него былъ свой домъ и воспитывалась младшая дочь. Но Парижъ Наполеона III не могъ, конечно, привлекать Герцена. „Это не тотъ Парижъ, который я любилъ и ненавидѣлъ, не тотъ, въ который я стремился съ дѣтства, не тотъ, который я покидалъ съ проклятіемъ на губахъ. Это Парижъ, утратившій свою личность, равнодушный, откипѣвшій. Сильная рука давила его вездѣ и всякую минуту готова была притянуть вожжи"... (La belle France, Intra muros).

Вдумчивыя и очень мрачныя картины духовнаго разложенія наполеоновской Франціи Герценъ набросалъ въ рядѣ очерковъ, появившихся въ послѣдней книжкѣ „Полярной Звѣзды", подъ названіемъ: „La belle France". Послѣдній набросокъ: „Послѣ набѣга" (помѣтка „Генуя, 31 дек. 1867), содержитъ одно изъ прославленныхъ предсказаній Герцена о неминуемомъ столкновеніи Франціи и Пруссіи и разгромѣ первой изъ нихъ второю.

Эпиграфомъ взяты слова (изъ шиллеровскаго „Донъ-Карлоса") Филиппа II Великому Инквизитору: „Святой отецъ— теперь ваше дѣло".

„Эти слова мнѣ такъ и хочется повторить Бисмарку,— писалъ Герценъ:—Груша зрѣла, и безъ его сіятельства не обойдется. Не церемоньтесь, графъ!

„Я не дивлюсь тому, что̀ дѣлается, и не имѣю права дивиться—я давно кричалъ свое: „Берегись, берегись!"... Я просто прощаюсь, и это тяжело. Тутъ нѣтъ ни противорѣчія, ни слабости...

„Мнѣ жаль личностей, которыхъ я люблю.

„Мнѣ жаль, что я правъ, я словно прикосновенный къ дѣлу тѣмъ, что въ общихъ чертахъ его предвидѣлъ. Я до-

садую на себя, какъ досадуетъ дитя на барометръ, предсказавшій бурю и испортившій прогулку.

„...Графъ Бисмаркъ, теперь ваше дѣло!

„А вы, Маццини, Гарибальди, послѣдніе могикане, сложите ваши руки, успокойтесь. Теперь васъ не нужно. Вы свое сдѣлали. Теперь дайте мѣсто безумію, бѣшенству крови, которыми или Европа себя убьетъ, или реакція. Ну, что же вы сдѣлаете съ вашими ста республиканцами и вашими волонтерами, съ двумя-тремя ящиками контрабандныхъ ружей? Теперь милліонъ отсюда, милліонъ оттуда, съ иголками *) и другими пружинами. Теперь пойдутъ озера крови, моря крови, горы труповъ... а тамъ тифъ, голодъ, пожары, пустыри.

„А! господа консерваторы, вы не хотѣли даже и такой блѣдной республики, какъ февральская, не хотѣли подслащенной демократіи, которую вамъ подносилъ кондитеръ Ламартинъ. Вы не хотѣли ни Маццини—стоика, ни Гарибальди—героя. Вы хотѣли *порядка*.

„Будетъ вамъ за то война семилѣтняя, тридцатилѣтняя...

„Вы боялись соціальныхъ реформъ, вотъ вамъ феніане съ бочкой пороха и зажженнымъ фитилемъ.

„*Кто въ дуракахъ?*“

Повидимому, пребываніе на континентѣ нѣсколько разсѣяло это враждебное предубѣжденіе къ французамъ, и осенью 1869 года Герценъ поселился въ Парижѣ.

Мотивами переѣзда въ Парижъ были снова кое-какіе планы и замыслы литературно-публицистическаго характера. Нѣсколько раньше (24 апр. 1868) онъ писалъ Огареву: „Не жить въ Парижѣ, а пожить было бы очень недурно; мы получили бы тамъ легко такой вѣсъ, котораго Вырубовъ никогда не получитъ и который составляетъ мертвый капиталъ для Тургенева. Печатать „Колоколъ“, разумѣется, слѣдуетъ въ Женевѣ... Овладѣть мнѣніемъ двухъ-трехъ журналовъ легко, но лично подталкивая, повторяя. Все вмѣстѣ удвоило бы силу вліянія дома“. Какъ видно изъ переписки съ Огаревымъ, мысль о возобновленіи „Колокола“ возникла снова. „Жду отъ тебя твою нравственную смѣту по части новаго „Колокола“,—говоритъ Герценъ (30 іюня 1869 г.):—Не взять ли ему эпиграфъ Пугачева: Redivivus est ultor (воскресшій есть мститель). Вотъ былъ бы радъ Нечаевъ. Но одно не забудь: „Колоколъ“ невозможенъ въ направленіи, которое ты и Бакунинъ приняли. Онъ можетъ только издаваться въ духѣ прежняго. Сверхъ того volео vi-

*) „Игольчатыя“ ружья, вооруженные которыми пруссаки въ 1866 г. побили австрійцевъ.

dere (хочу видѣть) корреспонденціи"... И въ другихъ письмахъ Герценъ полемизируетъ съ другомъ въ тонѣ своихъ писемъ „къ старому товарищу": „Тебѣ, напримѣръ, кажется хирургическая фраза не бѣда, а мнѣ бѣда (очевидно рѣчь о кровожадныхъ лозунгахъ соціально-политической борьбы, — *Авт.*). Ты думаешь, что призывъ къ скернымъ страстямъ — отместка за скверну дѣлающуюся, а я думаю, что это самоубійство партіи, и что никогда нигдѣ не поставится на знамени эта фраза. Всѣ возстанія въ исторіи—ты все ссылаешься на прошедшіе перевороты—были сдѣланы монахами, суровыми аскетами, у которыхъ за всѣ страсти была одна. Возьми Кромвелевыхъ солдатъ, дѣятелей XVIII столѣтія. „Да это фраза". Зачѣмъ же употреблять дерзкія и вредныя фразы"... (3 окт. 1869).

Былъ у Герцена планъ и новаго періодическаго изданія, продолженія „Полярной Звѣзды", гдѣ Герценъ думалъ перепечатать „три четверти" Колокола. Но планамъ этимъ не суждено было осуществиться.

Герценъ зажилъ въ Парижѣ сначала въ „Hôtel du Louvre, потомъ на Rue de Rivoli въ меблированномъ домѣ Pavillon de Rohan съ частью своего семейства, не какъ знаменитый эмигрантъ, вокругъ котораго могъ бы сгруппироваться болѣе или менѣе видный политическій кругъ, а просто иностранцемъ, живо интересующимся парижской жизнью, вдумчивымъ ея наблюдателемъ. За нѣсколько мѣсяцевъ этой зимы П. Боборыкинъ, недавно напечатавшій нѣсколько воспоминаній о тогдашнихъ своихъ встрѣчахъ съ Герценомъ, не припоминаетъ, чтобы познакомился у него съ какимъ-нибудь выдающимся эмигрантомъ. Всего чаще посѣщали его, кромѣ мимолетныхъ, случайныхъ встрѣчъ, Вырубовъ („самый счастливый человѣкъ,—писалъ о немъ Герценъ:—всѣмъ доволенъ, все объясняетъ, все понимаетъ, ни въ чемъ не сомнѣвается, ни о чемъ не печалится), г. Боборыкинъ, въ то время много корреспондировавшій въ русскія изданія и, несомнѣнно, интересный Герцену извѣстною своей отзывчивостью на всѣ теченія русской жизни, Е. И. Рагозинъ (общественно-литературный дѣятель) и немногіе изъ молодежи.

Попрежнему въ письмахъ Герцена мелькаютъ, уже отмѣченныя нами за послѣдніе его годы, ноты тайной досады, что не налаживается спокойная личная жизнь. „Такая тоска по покою, по отсутствію тревоги, по recueillement,—пишетъ онъ, напримѣръ, другу,—что нельзя себя представить! Желаніе пожить одному мѣшаетъ мнѣ думать, смотрѣть, читать". „Рапортъ о твоемъ здоровьи хорошъ, и за то спасибо!" — добавляетъ онъ съ трогательной внимательностью, до послѣднихъ дней слѣдя за здоровьемъ и настроеніемъ

друга. Отмѣчая одну журнальную статью о старомъ и новомъ поколѣніи, въ которой авторъ великодушно хоронитъ поколѣніе сороковыхъ годовъ, Герценъ отмѣчаетъ: „Можно было бы написать кое-что противъ. Но о работѣ и думать нельзя при теперешней жизни“, и т. п.

Въ думахъ объ окружавшей его французской общественно-политической жизни, наряду съ ожиданіемъ внѣшняго разгрома Франціи со стороны Пруссіи, онъ мрачно настроенъ ожиданіемъ тяжелой внутренней смуты, изъ которой не видитъ выхода въ виду безсознательности соціальнаго броженія. Огареву объ этихъ своихъ впечатлѣніяхъ онъ пишетъ:

„*3 октября 1869 г.* Языкъ Бакунина точно наканунѣ катастрофы. Его тѣшитъ быть пугаломъ однихъ, подавлять другихъ смѣлостью безпардонности. А въ сущности, кромѣ силы мысли и исторической попутности, еще ничего нѣтъ. Вглядывался я раскрытыми глазами въ Брюсселѣ, и здѣсь вглядываюсь,—думаю, что до здѣшней поѣздки у меня былъ излишній пессимизмъ, особенно къ Парижу. Но сангвиническихъ упованій я не дѣлю. Ни единства, ни соглашенья въ началахъ, ни денегъ, ни матеріальныхъ силъ. Противъ—не одна громадная сила“.

12 октября. „Вчера я обѣдалъ у романиста и историка Кларти. Онъ очень милый и дѣльный человѣкъ. У него былъ Степанъ Араго и безъ умолку говорилъ... Саперлотъ!—съ 1848 года ни шагу впередъ, ни тѣни пониманія новыхъ стремленій даже старые шансоны (пѣсни) остались. Я попробовалъ поспорить, но, видя ненужность, оставилъ...

„Самое поразительное дѣло здѣсь—это совершенное отсутствіе единства. Ну, что же можетъ выйти? Сумбуру бездна. Разумѣется, главное теченіе пробьется—но какъ—chi lo sa?—А до вашего свирѣпенства еще какъ до луны. И оттого объявленія объ уничтоженіи права собственности и устраненіи политическихъ вопросовъ — такая же нелѣпость съ другой стороны, какъ попытки возстановить сорокъ-восьмой сюрпризъ“.

21 октября. „Здѣсь—хаосъ, и мы бродимъ на вулканѣ; жалѣю, что всѣхъ впечатлѣній не передать—эта страница парижской жизни стоитъ томовъ. Положеніе гораздо болѣ натянуто, чѣмъ издали кажется. Лѣвая сторона—окончательно въ параличѣ—и не встанетъ—но и побившіе ее другъ друга ненавидятъ до... до героизма, т. е. до сумасшедшей отваги.—Если эти лѣвшаи одержатъ верхъ когда-нибудь,—то я на другой день уѣду изъ Парижа—на недѣлю. Потому что черезъ недѣлю отъ нихъ останутся только косточки...“—Предсказаніе, роковымъ образомъ оправдавшееся въ укрощеніи коммуны черезъ полтора года.

14 января 1870 г. Пятница. Что будетъ—не знаю, я не пророкъ. Но что исторія совершаетъ свой актъ здѣсь, и будетъ ли рѣшеніе по + или по —, но оно будетъ здѣсь,— это ясно до очевидности. А изъ этого еще яснѣе, что до окончанія V акта и до занавѣси жить лучше здѣсь,—даже чисто зрителемъ".

Видѣвшіе Герцена въ эту осень въ Парижѣ согласно говорятъ о большомъ его оживленіи и подъемѣ въ немъ энергіи. Но тяжелая болѣзнь—діабетъ, начавшійся года два-три назадъ,—дѣлала свое разрушительное дѣло. Герцена лечилъ, между прочимъ, знаменитый С. П. Боткинъ, который нашелъ положеніе серьезнымъ, но сказалъ: „Еще поживемъ-съ!" и предписалъ строжайшую діэту, а весною курсъ леченія въ Карлсбадѣ. „Съ виду онъ замѣтно похудѣлъ, постарѣлъ, и цвѣтъ лица принялъ болѣзненный желтоватый оттѣнокъ" (Бѣлоголовый).

Но это былъ все тотъ же огромный умъ, горячій темпераментъ, талантливый наблюдатель, живой остроумный собесѣдникъ, очаровывавшій имѣвшихъ съ нимъ дѣло. Вглядываясь въ послѣдніе дни лица, за жизнью котораго слѣдишь какъ біографъ, невольно особо останавливаешься на этомъ *послѣднемъ*. Мы позволимъ себѣ привести здѣсь еще нѣсколько выдержекъ изъ воспоминаній г. Боборыкина, о послѣднихъ мѣсяцахъ жизни Герцена.

Въ первый разъ они встрѣтились у Г. Н. Вырубова, редактировавшаго совмѣстно съ Литтре журналъ „Philosophie positive".

„Изъ этого перваго вечера, проведеннаго съ Герценомъ, у меня остался въ памяти философскій споръ, который начался между нимъ и старикомъ Литтре, соредакторомъ Вырубова, тогдашнимъ главой позитивистовъ лѣваго лагеря, не признававшихъ той позитивной религіи, которую Огюстъ Контъ создалъ послѣ выпуска въ свѣтъ своей системы позитивной философіи. Герценъ, оставаясь вѣрнымъ научно-философскому credo, не могъ соглашаться съ нѣкоторыми положеніями правовѣрнаго позитивизма. Въ немъ сидѣлъ слишкомъ убѣжденный и пылкій поборникъ революціоннаго движенія, онъ не могъ соглашаться на слишкомъ спокойное и объективное признаніе законовъ соціологіи. И тутъ я сразу увидалъ, до какой степени Герценъ, несмотря на продолжительное пребываніе за границей, остался русскимъ человѣкомъ и москвичемъ 30-хъ и 40-хъ годовъ. Говорилъ онъ бойко по-французски, но думалъ по-русски, и намъ всѣмъ, присутствовавшимъ при этомъ состязаніи, было замѣтно, какъ старикъ Литтре часто затруднялся сразу схватить то или иное выраженіе Герцена: его слова были французскія, а обороты—русскіе".

Что Герценъ боленъ, трудно было сказать, „глядя на его еще свѣжую фигуру, живую игру физіономіи, блескъ глазъ, слушая его оживленную, блестящую рѣчь, полную темперамента, ума и тонкаго пониманія всего, что онъ переживалъ и раньше, и въ данную минуту. Онъ остался по манерѣ держать себя, по тону, разговору, по интонаціямъ голоса опять-таки типичнѣйшимъ русскимъ интеллигентомъ и москвичомъ".

„Чувствовалась ли въ немъ огорченность человѣка, который не нашелъ себѣ все-таки же постояннаго мѣстопребыванія и сознавалъ, что онъ уже не будетъ значить для своихъ соотечественниковъ того, что онъ представлялъ собою нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ? У него прорывались грустныя ноты, но никакъ нельзя сказать, чтобы тотъ пессимизмъ, какой овладѣлъ имъ послѣ іюньскихъ дней 1848 года, сдѣлался еще сильнѣе или подавлялъ его душевныя настроенія. Мнѣ кажется, что, напротивъ, онъ съ переселенія на континентъ сталъ менѣе мрачно смотрѣть на европейскую реакцію, на тогдашній бонапартизмъ, возлагалъ больше надеждъ на французскую молодежь (что сказалось въ теплой и блестящей статьѣ, посвященной Латинскому кварталу), и, не превращаясь въ форменнаго соціалъ-демократа, послѣдователя теоріи Маркса, все-таки же, несмотря на долгое нерасположеніе къ автору „Капитала" (за то, что тотъ обвинилъ Бакунина чуть не въ роли русскаго шпіона), въ письмѣ къ Огареву, относящемся уже къ послѣднему году его жизни, признаетъ Маркса великимъ иниціаторомъ въ борьбѣ пролетаріевъ съ капиталистическимъ строемъ... Онъ ставилъ въ великую заслугу Марксу созданіе „Международнаго союза рабочихъ". На второмъ съѣздѣ этого союза, бывшемъ какъ разъ въ это время въ Брюсселѣ, я былъ единственный русскій корреспондентъ, сообщавшій въ „Голосъ" подробные отчеты объ засѣданіяхъ этого съѣзда. И Герценъ заинтересовался и этими отчетами и говорилъ о нихъ Вырубову, прося его устроить у себя наше свиданіе...

„Тогдашній Парижъ уже сбрасывалъ съ себя иго Бонапартова режима, оппозиція въ палатѣ подымала голову, происходили и уличныя демонстраціи по поводу убійства одного молодого радикала членомъ императорской фамиліи. Все это волновало Герцена, точно молодого политическаго бойца. Онъ ходилъ всюду, гдѣ проявлялось броженіе, посѣщая публичныя лекціи и сходки, но не примыкалъ, сколько я помню, ни къ какому тогдашнему оппозиціонному кружку. Когда я достаточно ознакомился со всѣми характерными чертами его душевной и бытовой физіономіи, я легко понялъ, что молодыя поколѣнія русской эмиграціи не могли

считать его своимъ руководителемъ исключительно потому, что онъ казался имъ слишкомъ бариномъ, если не „буржуемъ“, потому что онъ, продолжая горячо сочувствовать революціонному движенію въ Россіи, не бралъ на себя роли тайнаго агитатора и не могъ мириться со всѣмъ тѣмъ, что онъ видѣлъ въ нихъ слишкомъ фанатически-прямолинейнаго, а, главнымъ образомъ, грубаго, некультурнаго и мелочнаго. Но никто бы не сказалъ, что въ немъ чувствуется какое-нибудь „генеральство“. Напротивъ, онъ оставался до смерти своей чрезвычайно доступнымъ, отзывчивымъ на все, что отвѣчало его симпатіямъ и протестамъ.

„Онъ способенъ былъ говорить съ юморомъ, и даже съ прямой насмѣшкой о своихъ слабостяхъ, о своихъ эпикурейскихъ наклонностяхъ, о пристрастіи къ хорошей ѣдѣ и къ стакану шампанскаго, въ которомъ такъ безпощадно обличалъ его Серно-Соловьевичъ. Авторскаго тщеславія я не подмѣчалъ въ немъ никакого; разговаривая цѣлыми часами, разсказывая интереснѣйшіе эпизоды своей жизни, дѣлая блестящіе портреты своихъ сверстниковъ, и въ Россіи, и за границей, онъ почти никогда не указывалъ на какія-либо свои произведенія, очерки, статьи. Той чисто писательской самовлюбленности, какую я замѣчалъ во многихъ изъ его знаменитыхъ сверстниковъ и въ людяхъ дальнѣйшихъ генерацій,—въ немъ рѣшительно не было. И это понятно. Онъ слишкомъ жилъ дорогими для него идеями, слишкомъ ненавидѣлъ хищническій строй лже-либеральной буржуазіи, слишкомъ сочувствовалъ тому, что въ Россіи работало надъ дѣломъ раскрѣпощенія страны, чтобы вездѣ совать свое авторское „я“. Онъ былъ такъ добродушно скроменъ, что на первыхъ же порахъ нашего знакомства, по поводу записки, написанной мнѣ, самъ шутливо замѣтилъ, что онъ былъ всегда „въ оппозиціи съ русской этимологіей“, дѣлая маленькія ошибки въ мягкихъ знакахъ неопредѣленныхъ наклоненій и въ другихъ отступленіяхъ отъ общепринятаго правописанія.

„За нѣсколько дней до его болѣзни (когда онъ простудился на публичной лекціи тогдашняго радикала-соціалиста Вермореля) за обѣдомъ въ ресторанѣ „Frères provençaux“ (уже не существующемъ теперь) онъ былъ въ особенности въ ударѣ; и тогда я испыталъ самый сильный припадокъ обиды и горечи за то, что такой полный еще жизни, творчества и умственнаго блеска, такой великій возбудитель политическаго и соціальнаго самосознанія нашего отечества принужденъ былъ все-таки довольствоваться жизнью иностранца, не имѣющаго возможности жить и дѣйствовать у себя дома, принять непосредственное участіе въ томъ, что у насъ творится“.

Какъ часто бываетъ при хроническихъ болѣзняхъ, какъ діабетъ, развязка наступила быстрѣе, чѣмъ можно было ожидать. Въ это время Парижъ волновался изъ-за убійства принцемъ Пьеромъ Бонапартомъ журналиста Нуара. Происходили бурныя собранія протеста. На одномъ изъ нихъ Герценъ и простудился, быстро развилось воспаленіе легкихъ, и 9 (21) января онъ скончался.

При кончинѣ его были только ближайшіе члены семьи: Огаревъ лежалъ больной въ Женевѣ, Тургеневъ, пріѣхавшій было изъ Баденъ-Бадена, случайно уѣхалъ изъ Парижа. Нѣжная любовь къ Огареву прорывалась до послѣднихъ сознательныхъ минутъ Герцена, и онъ умеръ съ вопросомъ о депешѣ отъ друга *).

Временно прахъ Герцена былъ погребенъ въ Парижѣ на кладбищѣ Père Lèchaise. Похороны были гражданскіе и состоялись утромъ 23 янв. „Похоронная процессія, двигавшаяся изъ Pavillon de Rohan къ кладбищу „Père Lèchaise", отличалась большою простотою; двѣ только лошади везли гробъ; около 500 человѣкъ, среди которыхъ находились личные друзья покойнаго, представители парижской демократіи, блузники, съ дѣтьми на рукахъ, дамы, одѣтыя въ черное, женщины изъ простого народа,—сопровождали процессію.

Шествіе тронулось въ 11 часовъ дня вмѣсто назначенныхъ 12, кажется,—по настоянію администраціи, желавшей ослабить демонстративное участіе въ погребеніи парижской и международной демократіи; вслѣдствіе этого на погребеніе многіе опоздали. На могилѣ однимъ только Вырубовымъ было произнесено слѣдующее надгробное слово на французскомъ языкѣ.

„Граждане! Семья Герцена, подчиняясь неоднократно выраженному имъ желанію, проситъ не произносить у могилы его рѣчей. Какъ ни необычно и—добавлю—тягостно такое нѣмое прощаніе съ человѣкомъ, который въ рядахъ европейской демократіи былъ одною изъ самыхъ выдающихся личностей, уважимъ это желаніе. Погребая мертвыхъ такъ, какъ они при жизни того хотѣли, мы отдаемъ имъ нашъ долгъ уваженія. И я не стану говорить вамъ длинной рѣчи, я подавлю въ себѣ чувства, бьющія черезъ край, какъ ни хотѣлось бы подѣлиться ими съ вами. Скажу только, что Россія, эта страна, уже столько испытавшая подъ гнетомъ безграничнаго деспотизма, не могла понести утраты

*) Смерть Герцена подробно описана въ „Воспоминаніяхъ" Н. А. Тучковой-Огаревой. Она послужила сюжетомъ разсказа П. Боборыкина „Послѣдняя депеша" (Сборн. О-ва люб. рос. словесности, на 1901 годъ).

болѣе тяжкой. У Россіи свободомыслящей, у демократической Россіи, истерзанной гоненіями, оставался одинъ только голосъ, одинъ великій голосъ для протеста противъ правящаго ею варварскаго режима. Этотъ голосъ только что смолкъ, и нужно ли говорить, что замѣнить его ничей голосъ не въ силахъ.

„Мы пришли сюда отдать послѣдній долгъ великому гражданину, столько сдѣлавшему для своей родины. Но Россія не облечется въ трауръ по немъ, лишь немногіе друзья, оставшіеся ему вѣрными, будутъ носить этотъ трауръ въ сердцахъ. Но придетъ день, и соотечественники его лучше поймутъ свою исторію и вспомнятъ объ этой одинокой могилѣ. На могильной плитѣ они воздвигнутъ ему памятникъ и на немъ вырѣжутъ слова: „Великому гражданину, великому изгнаннику—Александру Герцену—благодарная Россія“.

„А теперь, граждане, отъ имени семьи усопшаго, а также отъ имени нѣсколькихъ соотечественниковъ, его друзей, также сюда пришедшихъ, благодарю всѣмъ, кто проводилъ его гробъ. Я въ особенности благодарю французскую демократію, которая двадцать лѣтъ назадъ приняла его съ такою симпатіей, и среди которой у него осталось столько друзей, благодарю за то, что она явилась отдать ему послѣдній знакъ дружелюбія. Среди современной соціальной неустойчивости, среди этого торжества всяческаго зла, это единеніе всѣхъ демократовъ Европы—утѣшительное и благородное зрѣлище. Манифестаціи, подобныя настоящей, являются пока только разрозненными, единичными фактами, но онѣ становятся все чаще, и въ нихъ залогъ для будущаго. Отдаваясь надеждѣ, этой религіи всѣхъ побѣжденныхъ, и мысленно всматриваясь въ будущее, я вижу въ дали вѣка—счастливѣе нашего, когда народы разрушатъ границы, эти преграды вліянію цивилизаціи, забудутъ о расахъ, о взаимной ненависти и національныхъ предразсудкахъ и сольются въ одно великое братство. Тогда, на памятникѣ, который Россія воздвигнетъ Герцену, можно будетъ добавить слова: „Велики его заслуги предъ человѣчествомъ“ (Il a bien merité de l' humanité).

Послѣ рѣчи Вырубова всѣ окружающіе осыпали могилу цвѣтами иммортелей. Двѣ молодыя дѣвушки въ траурѣ горько плакали и долго не рѣшались отойти отъ могилы. То были дочери Герцена. Среди провожавшихъ былъ одинъ изъ послѣднихъ доживавшихъ свой вѣкъ декабристовъ, Н. И. Тургеневъ *).

*) Погребеніе Герцена описано въ воспоминаніяхъ Свербеева

Въ Россіи смерть Герцена была скупо и сдержанно отмѣчена немногими некрологами газетъ и журналовъ. Только появившійся въ „Вѣстникѣ Европы“ некрологъ сдержанно намекалъ на огромную историческую роль Герцена въ русскомъ освободительномъ движеніи. Большинство ограничилось замѣчаніями о крупномъ его литературномъ талантѣ, не пытаясь, по цензурнымъ условіямъ, войти въ его оцѣнку. Некрологъ „Недѣли“, гдѣ Герценъ печаталъ свои послѣднія произведенія, говорилъ между прочимъ: „Эта искренность, глубокое убѣжденіе, умъ и несомнѣнный талантъ рѣзко выдѣляютъ Герцена изъ массы русскихъ эмигрантовъ, которые часто оставляютъ родину безъ всякаго сколько-нибудь достаточнаго повода и ѣдутъ за границу, сами не зная зачѣмъ“. Тургеневъ, который не могъ удержаться отъ слезъ при полученіи извѣстія о смерти стараго друга, угадалъ въ письмѣ къ Анненкову: „Вѣроятно, всѣ въ Россіи скажутъ, что Герцену слѣдовало умереть ранѣе, что онъ себя пережилъ“. Такъ, некрологъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ отмѣтилъ въ его дѣятельности „Колоколъ“, какъ газету, „имѣвшую сначала значительный успѣхъ, но потерявшую свое значеніе, съ того времени, какъ русская печать получила нѣкоторыя льготы“. Въ реакціонной печати смерть вызвала прежде всего полемику о томъ, кто первый „обезсилилъ“ Герцена: Катковъ, Чичеринъ, „Сѣверная Пчела“ или „Наше Время“.

Такъ согласно хоронилась дѣятельность Герцена, какъ принадлежащая прóшлому.

Въ заграничной русской печати можно отмѣтить, кажется, лишь брошюру: „А. И. Герценъ. Нѣсколько словъ отъ русскаго къ русскимъ. 1870. Paris, Leipzig“. Анонимный авторъ, говорившій, что лично не былъ знакомъ съ Герценомъ, съ теплой симпатіей говорилъ о личности ушедшаго. „Вся жизнь его представляетъ удивительно гармоническое цѣлое; угловатости, привходившія извнѣ, сглаживались, перерабатывались и не нарушали цѣльности характера Гер-

---

и—болѣе подробно—въ статьѣ австрійскаго эмигранта Густава Раша (Neue Freie Presse, № 1944 отъ 27 янв. 1870), откуда заимствованы подробности погребенія въ статьѣ Е. Некрасовой въ „Русск. Вѣдомостяхъ“ 1903 г. отъ 9 января. Тамъ же напечатана Некрасовой и рѣчь Вырубова, но съ нѣкоторыми сокращеніями. Въ статьѣ Раша поименованы въ числѣ провожавшихъ прахъ Герцена: французы—Этьенъ и Эмануэль Араго, Пассенъ, Малярдье, Массоль, Анри Мартенъ, Ульбахъ и Милькъ, нѣмцы—Фридрихъ Каппъ (которому былъ продиктованъ нѣмецкій переводъ „Съ того берега“), братья Грицнеры, Александръ Подулакъ, полк. Эрнестъ Гаугъ, д-ръ К. Таузенау, Розетти. Многія изъ этихъ лицъ упоминаются въ письмахъ и писаніяхъ Герцена.

цена". Брошюра отмѣчаетъ, въ виду памятныхъ еще счетовъ Герцена съ нѣмецкой демократіей, тотъ фактъ, что „Интернаціональ" заявила въ своемъ органѣ „Egalité", что „она не забудетъ Герцена, какъ Герценъ не забывалъ своей связи съ ней". Имѣя въ виду Серно-Соловьевича, недавно предъ тѣмъ покончившаго самоубійствомъ, брошюра говоритъ: „Отрадно заявить, что Герценъ въ послѣдніе дни еще сочувственно говорилъ объ одномъ честномъ молодомъ дѣятелѣ, такъ рано умершемъ въ Женевѣ, который въ свое время высказалъ ему много горькаго изъ-за любви къ правдѣ (хотя въ формѣ, не одобренной даже его ближайшими друзьями). Мы цѣнимъ благородную деликатность редакціи „Народнаго Дѣла", только вскользь упомянувшей объ этой размолвкѣ". Общая историческая роль Герцена оцѣнивалась очень горячо. „Явятся другіе, съ горячей любовью къ дѣлу, люди честные, энергичные, но того значенія, которое имѣлъ „Колоколъ", не будетъ имѣть ни одинъ обличительный органъ, какое бы ни имѣлъ крайнее направленіе. Сила вліянія Герцена съ 1858 по 1862 годъ заключалась именно въ той сдержанности, упругости его мысли, пластичности выраженія ея; онъ таилъ въ душѣ подчасъ накипавшее негодованіе, чтобы не истратиться до поры напрасной злобой на лицъ, которыя держатъ судьбы народа: во имя этого народа онъ сдерживалъ себя, говоря съ царемъ"... Очень скоро раздались однако, голоса, не только критически относящіеся къ Герцену, но и такіе, которые протестовали, напримѣръ, противъ того, что въ одномъ письмѣ (№ 6 нечаевскаго „Колокола") Герценъ былъ названъ *„вѣчно дорогимъ для Россіи"*. „Нѣкоторое историческое значеніе за Герценомъ признаютъ даже его личные враги. Но въ настоящее время его сочиненія (я говорю не о литературныхъ) надо спустить въ чуланъ вмѣстѣ со старою ветошью... Честь и хвала Александру Ивановичу, но мертвымъ надо дать покой!" Редакція присоединила къ этому протесту противъ „преувеличенія" Герцена такія строки: „Признавая громадное значеніе таланта А. И. Герцена въ политическомъ развитіи русскихъ людей недалекаго прошлаго, мы не думаемъ, чтобы это значеніе во всей его силѣ сохранилось въ настоящемъ, и положительно отрицаемъ возможность этого значенія *вѣчно!*"

Едва ли не теплѣе отнеслись къ смерти Герцена нѣкоторыя иностранныя газеты. Такъ, консервативный „Таймсъ" сравнилъ его съ Гейне и далъ переводъ отрывка изъ „Былого и Думъ", не говоря о некрологахъ демократической печати (къ сожалѣнію, мы не могли съ ними познакомиться). Но и здѣсь не обошлось безъ своего хулителя. Извѣстный

ГЕРЦЕНЪ НА СМЕРТНОМЪ ОДРѢ.

нѣмецкій эмигрантъ Карлъ Блиндъ разразился въ той же „Neue Freie Presse“, гдѣ появилась горячая статья Раша, рѣзкимъ протестомъ „во имя европейскаго образованія, во имя своей родины, во имя демократическихъ принциповъ“, противъ зачисленія Герцена въ ряды „передовыхъ бойцовъ истинной гуманности и свободы“, обвиняя Герцена въ узкомъ „панславизмѣ“, во враждѣ къ германской культурѣ и пр. (№ 1953 и 2036 за 1870 г.), не брезгуя такими упреками, будто Герценъ женатъ былъ на еврейкѣ и пр.

Нужны были долгіе годы, чтобы мысль о томъ, что память Герцена будетъ вѣчно дорога въ Россіи, что онъ въ то же время писатель международнаго серьезнаго значенія, равноправный съ передовыми дѣятелями Европы борецъ за освободительные принципы, стала проникать въ общее сознаніе...

Чрезъ нѣкоторое время прахъ Герцена, согласно неоднократно выраженному имъ при жизни желанію, былъ перенесенъ въ Ниццу и погребенъ рядомъ съ тѣломъ Наталіи Александровны Герценъ. На могилѣ сооруженъ прекрасный памятникъ на средства семьи и частью на общественный сборъ между заграничными почитателями Герцена.

Извѣстно стихотвореніе Надсона, посвященное этому памятнику:

Среди саркофаговъ и урнъ погребальныхъ,
Среди обветшалыхъ крестовъ
И мраморныхъ женщинъ, красиво печальныхъ
Въ оградахъ своихъ цвѣтниковъ,—
Тамъ ждалъ меня кто-то, какъ я, одинокій,
Какъ я, на чужихъ берегахъ
Страдальческій образъ отчизны далекой
Хранившій въ завѣтныхъ мечтахъ.
Отлитый изъ мѣди, тяжелой пятою
На мраморный цоколь ступивъ,—
Какъ будто живой, онъ вставалъ предо мною
Подъ темнымъ наметомъ олцвъ.
Въ чертахъ величавая грусть вдохновенья,
Раздумье во взорѣ нѣмомъ,
И руки на мѣдной груди безъ движенья
Прижаты тяжелымъ крестомъ...

О впечатлѣніи, производимомъ этимъ художественнымъ изваяніемъ Герцена, другой русскій писатель говоритъ: „Бронзовый Герценъ освящаетъ своимъ грустнымъ величіемъ таинственную тишину прелестнаго кладбища въ Ниццѣ... Кругомъ цвѣтутъ розы, пляшутъ и кувыркаются въ воздухѣ пестрыя бабочки, скользятъ, какъ изумрудныя молніи, зеленыя ящерицы, солнечный лучъ сливается въ золотомъ поцѣлуѣ съ жемчужною волною... А *онъ* одинъ стоитъ и

думает о близких—о тех близких, что никогда не знали *ему* жить счастливых настоящих".—

Шли годы. Заглушенные имя Герцена, святыня рабочих масс все чаще и громче вспоминались на родине, которой он отдал лучший жар сердца и пыл своей мысли. Время пришло. Шел пятый год после смерти, пошатнулся и свалился деспот, пала русская самодержавная, обманувшая своих, что заставила Герцена, во имя свободы, покинуть родину для добровольной работы за границей. Тогда и он—в первом послереволюционном, уже очень исковерканном издании его сочинений 1905 года—вернулся на родину уже не чайкою, не вещею птицею.

Мы сейчас теперь наблюдать только и немногую долю чрезвычайно забвения родиною имени Герцена. В конце, *весною 1907 года*, в связи с исполнившимся пятидесятилетием „Колокола", возникла даже мысль о перенесении праха Герцена с места его упокоения в Москву, на родину великого изгнанника. Вполне вероятно тогда же, что во всяком случае вернуть прах Герцена в Россию подобало бы только *Россия, действительно свободной*. Но и независимо от этого соображения следует, нам кажется, оставить эту мысль.

Герцен сам выбрал для себя место своего вечного *успокоения* и при жизни закрепил его за собою и близкими. Прах его покоится рядом с прахом Натальи Александровны Герцен, рядом с детьми Н. А. Огаревой. „Лучше этой горы-кладбища во мире нет",—писал он Огареву. Мечтая о возвращении в Россию,—„лишь бы без рам на синий и не частным проходом, а общей дверью" (*т. е.*, в силу общей амнистии эмигрантам),—Герцен добавлял с грустью: „Осиротеет тогда кладбище в Ницце, а я иногда смотрю с удовольствием на наши места и думаю: вот тут будет Огарев, тут—я,—все же замкнутая история и даже *точка* общая"... („В. Евр." 1907 г., июнь).

Перенесение праха Герцена, действительно, „осиротит" место успокоения близких ему,—тех, кто в жизни и в годы изгнания делил его горе и немногия радости. Могила его на чужбине, действительно, „замыкает", завершает его жизнь: это—не случайная смерть за пределом родины, это—кончина Моисея, не увидевшаго обетованной свободы, для которой он шел впереди сородичей. И отнимать прах Герцена от праха не только его близких, но и от разсеянных на Западе могил других русских людей, также оставивших родину во имя свободы, было бы нарушением *прямых* желаний Герцена.

Пусть будетъ могила Герцена для русскихъ на Западѣ мѣстомъ паломничества. Въ такомъ паломничествѣ былъ бы свой глубокій воспитательный смыслъ и символъ, напоминаніе единства освободительныхъ теченій въ Россіи и на Западѣ, память о всѣхъ сложившихъ на чужбинѣ кости во имя той же свободы. Могила Герцена вдали отъ родины должна стать для русскихъ тѣмъ же, чѣмъ была въ свое время для людей Запада одинокая могила Жанъ-Жака Руссо, которую привѣтствовалъ Шиллеръ, какъ монументъ вѣчнаго позора гонителямъ свободной мысли. Мрачная полоса русской жизни, которая издавна губила и губитъ столько благородныхъ и славныхъ, тоже въ могилѣ Герцена въ Ниццѣ видитъ свое обличеніе, и пусть вѣчнымъ останется этотъ безмолвный укоръ...

Москва, съ которою такъ тѣсно была связана жизнь Герцена, можетъ и обязана когда-нибудь воздвигнуть ему всенародный памятникъ на одной изъ своихъ площадей, обязана увѣковѣчить его память созданіемъ тѣхъ или иныхъ учрежденій его имени, и пора это все начать теперь же. Но могила Герцена принадлежитъ не только семьѣ близкихъ его по крови, она принадлежитъ всей семьѣ русской эмиграціи, наконецъ, великой міровой семьѣ освободительнаго движенія всего человѣчества,—и пусть останется она навсегда неприкосновенна тамъ, гдѣ того хотѣлъ самъ Герценъ.

Итоги.

„Герценъ резюмировалъ въ себѣ нѣсколько десятилѣтій умственной жизни въ Россіи, онъ представлялъ собою не какой-нибудь слой или классъ людей, а русское современное ему общество безъ всякаго различія сословій. Въ немъ былъ и народный духъ, и аристократическое чувство, и художественное чутье, и научное образованіе, въ него вошли, уравновѣшиваясь и сливаясь, всѣ элементы русской жизни, онъ былъ типомъ цѣльнымъ, на который нельзя смотрѣть съ какой-нибудь спеціальной точки зрѣнія".

Такъ говоритъ о Герценѣ авторъ предисловія къ заграничному собранію сочиненій его Вырубовъ, и лично хорошо его знавшій. И когда предъ нами прошла вся разнообразная жизнь великаго русскаго добровольнаго изгнанника, богатая и свѣтомъ, и тѣнью, отразившая въ себѣ самые разнообразные моменты въ исторіи развитія русской литературы, мысли и общественности, нельзя не присоединиться къ высказанному здѣсь мнѣнію, что нельзя подводить жизнь Герцена и его самого подъ какую-нибудь одну узкую точку зрѣнія.

Мы видѣли, какъ въ самые ранніе годы возникаетъ и разгорается въ немъ пылкое стремленіе къ независимости и свободѣ. Оно питается и рано сознаннымъ ложнымъ положеніемъ Герцена, какъ незаконнорожденнаго, и претившими ему впечатлѣніями позорнаго крѣпостного рабства, наконецъ, легендою великой французской революціи и памятью несчастнаго, но гордаго, подавленнаго, но жившаго гдѣ-то въ памяти русскаго общества, возстанія декабристовъ... Впослѣдствіи всю свою дѣятельность онъ ставитъ въ связь съ движеніемъ декабристовъ, въ частности—въ особенности съ идеями Пестеля, въ которомъ цѣнитъ пониманіе экономической стороны будущаго освобожденія.

На университетской скамьѣ, кромѣ либеральныхъ политическихъ вѣяній его захватываетъ и навсегда входитъ въ кругъ его умственнаго настроенія сенъ-симонизмъ. Отсюда

начало его симпатій къ соціализму, и, конечно, первымъ русскимъ соціалистомъ былъ Герценъ. Тутъ правительство надолго ссылаетъ его въ провинцію. Въ ней лишь мимолетно мысль его какъ-будто сгибается подъ гнетомъ, но онъ не усмиреннымъ возвращается въ столицы, чтобы въ ряду другихъ дѣятелей сороковыхъ годовъ бросить читателями намеками и художественными картинами тѣ же мысли объ освобожденіи умственномъ и общественномъ и, наконецъ, вырывается за границу, чтобы тамъ начать вскорѣ свой знаменитый походъ противъ крѣпостного права, противъ политическаго гнета, во всѣхъ его видахъ тяготѣвшаго надъ несчастною страною.

„Господствующая ось, около которой шла наша жизнь,— говоритъ онъ съ полнымъ правомъ,—это наше отношеніе къ русскому народу, вѣра въ него, любовь къ нему и желаніе дѣятельно участвовать въ его судьбахъ“. Вольною русскою типографіей Герценъ воскресилъ для Россіи традицію вольномыслія XVII и XVIII вѣковъ, за рубежомъ абсолютическихъ государствъ находившаго свободные печатные станки. Въ своихъ изданіяхъ и въ особенности въ „Колоколѣ“ Герценъ нашелъ полное удовлетвореніе этому стремленію „дѣятельно участвовать въ судьбахъ родины“. Съ этой стороны его заслуги внѣ сомнѣній, дѣятельность его въ этомъ отношеніи не разъ сравнивалась съ дѣятельностью Вольтера въ борьбѣ съ инквизиціею и абсолютизмомъ. Извѣстенъ вольтеровскій девизъ: „Ecrasez l'infâme“. И у Герцена былъ такой же несомнѣнный врагъ, съ которымъ не могло быть примиренія: произволъ русскаго самодержавія, николаевщина,—и гордый девизъ—„человѣческое достоинство, свободная рѣчь“. Ради нихъ онъ и покинулъ родину. И затѣянная имъ въ одиночку борьба съ самымъ могучимъ, неуклоннымъ и безпощаднымъ изъ деспотизмовъ, въ концѣ концовъ своею смѣлостью и послѣдовательностью и въ то же время тактичностью, оказалась борьбою цѣлой молодой Россіи за свои непризнанныя права. Со стороны, можетъ быть, даже виднѣе не только спеціально русское, но и общечеловѣческое значеніе этой борьбы съ противникомъ неслыханной физической силы силою только убѣжденія, нравственной правоты, орудіемъ слова и смѣха: „Уничтожающимъ походомъ противъ абсолютическаго милитарнаго государства и псевдоконсерватизма николаевской системы,—говоритъ иностранецъ,—Герценъ воздвигъ себѣ прочный памятникъ не только въ русской, но и въ міровой исторіи“ (Eckhardt).

Безспорно величіе заслуги Герцена предъ родиною и въ томъ отношеніи, что онъ первый заговорилъ съ иностранцами о Россіи будущаго, о Россіи свободной, Россіи народ-

ной и идущей тѣми же, что и Западъ, путями духовной жизни и духовнаго творчества, и заставилъ себя слушать. Это было исполненіемъ второй части его программы дѣятельности за границей, знакомить Европу съ Русью, извѣстной ранѣе только съ фасада. Эта сторона его дѣятельности подготовила болѣе тѣсное духовное общеніе Россіи и Запада, который ранѣе только давалъ намъ; съ Герцена начиная, это общеніе становится взаимнымъ. Нельзя, напримѣръ, сомнѣваться, что именно по Герцену Англія узнала, что „существуетъ Россія—въ личностяхъ, интеллектуальная и моральная,—противъ которой Англія никогда не пойдетъ войною“ (стр. 269). Здѣсь дѣйствовало одинаково и личное обаяніе Герцена на самыхъ выдающихся людей Запада, и его писательскій талантъ. Его мессіанистическія предвидѣнія будущей роли Россіи, какъ обѣтованной страны соціализма, встрѣчали многократно отпоръ и критику, но вся его проповѣдь неизмѣнно шла въ духѣ широкой международной солидарности, укрѣпляя идею послѣдней, даже раскрывая людямъ Запада (какъ Торе) широту соціальнаго броженія. Такъ, дѣятельность Герцена всесторонне подготовляла почву для разлившихся позднѣе широко интересовъ Запада сначала къ Тургеневу и Толстому, потомъ ко всей русской литературѣ и жизни, къ русской наукѣ и мысли, къ русскому освобожденію. Въ лицѣ Герцена Западъ приговоромъ международной демократіи призналъ впервые равноправіе съ собою Россіи уже не въ области внѣшняго государственнаго могущества, но въ области духовной жизни и соціальныхъ интересовъ. Впервые слово русскаго слушалось уже не съ снисходительнымъ только вниманіемъ, какъ исключеніе, но какъ нѣчто, равноцѣнное высшимъ проявленіямъ мысли Запада, оцѣниваемое по внутренней своей сущности. Неизсякающій интересъ къ Герцену, напримѣръ, въ Германіи, гдѣ недавно вышли переводы „Былого и Думъ“ и его переписки съ Наталіей Александровной Герценъ, достаточно показываетъ, что и понынѣ живо общечеловѣческое въ Герценѣ для людей Запада, и въ смыслѣ содѣйствія идеѣ международной солидарности, конечно, приходится только повторить слова, сказанныя на могилѣ его: „Il a bien merité de l'humanité“.

Какъ публицистъ, отдавшій много уже отжитымъ, временнымъ интересамъ и настроеніямъ, Герценъ, конечно, становится уже частью предметомъ сравнительно холоднаго историческаго интереса. Современники могли плакать отъ восторга и умиленія надъ статьями „Колокола“,—нынѣшній читатель останется большею частью холоденъ отъ газетныхъ статей Герцена. Мы знали и видѣли и иную, болѣе героическую и рискованную борьбу за политическую свободу, не-

жели то, что дѣлалъ Герценъ. И хотя мы и признаемъ его духовнымъ отцомъ множества идей, вошедшихъ въ обиходъ общественно-политическаго прогрессивнаго пониманія, но это не есть живой интересъ къ публицисту-современнику.

И все-таки многія горячія статьи Герцена въ „Колоколѣ“ до сихъ поръ производятъ очень сильное и цѣльное впечатлѣніе: столько въ нихъ непосредственно захватывающаго лиризма, неподдѣльнаго жара, глубокаго чувства и любви къ свободѣ, правдѣ, родинѣ. Когда-то въ отроческіе и юношескіе годы Шиллеръ наполнялъ его душу восторгомъ. Нѣчто отъ возвышеннаго шиллеровскаго лиризма навсегда осталось въ душѣ Герцена, въ его страстной рѣчи, въ энтузіазмѣ великой и пылкой души, горѣвшей огнемъ негодованія при видѣ ужасовъ, такъ часто творившихся на родинѣ.

Въ большей или меньшей степени становятся намъ чужды, какъ вчерашній день развитія русской общественной мысли, и тѣ построенія Герцена о возможномъ своеобразномъ соціальномъ пути развитія Россіи, которыя нашли себѣ преемство въ нашемъ народничествѣ отъ шестидесятыхъ до девяностыхъ годовъ прошлаго вѣка. Многія детали въ нихъ кажутся пережитыми и опровергнутыми и жизнью, и критикою позднѣйшаго времени, но основное не изжито, и основныя идеи соціализма Герцена—въ особенности проводившее его чрезъ всю жизнь отъ первой переписки съ Огаревымъ представленіе о проблемѣ соціальности, какъ необходимаго примиренія личнаго начала и общественнаго,—долго еще будутъ предметомъ пристальнаго вниманія и изученія, а такой лозунгъ, какъ „Земля и Воля“, быть можетъ, еще очень долго будетъ лозунгомъ широкаго народнаго броженія и задачей практической политики цѣлыхъ поколѣній въ Россіи. Въ дебатахъ о соціальномъ вопросѣ, не разъ, быть можетъ, русскіе люди услышатъ призывъ: „Назадъ—къ Герцену!“ Но даже тогда, когда мессіанистическія его упованія будутъ уже малопонятны новымъ поколѣніямъ, живое, тревожное чувство, вызывавшее Герцена на эти построенія, будетъ живо биться въ горячей его рѣчи о родинѣ, о русскомъ народѣ. Какъ мы указали въ своемъ мѣстѣ, Герценъ сначала вѣрилъ и любилъ свой народъ, который узналъ хорошо въ скитаніяхъ по лицу пространной русской земли, и потомъ уже сталъ строить, воспользовавшись отчасти указаніями славянофиловъ, но исходя изъ чисто соціалистическихъ представленій объ идеалѣ общественности, свои мессіанистическія идеи о русскомъ крестьянствѣ, объ общинѣ, объ артели и пр. Этимъ мыслямъ онъ остался вѣренъ до конца своей жизни. Это было един-

ственное въ его взглядахъ, предъ чѣмъ пасовалъ его смѣлый, столь скептически ко всему, ко всякой мертвой теоріи и застывшему взгляду, относившійся умъ. Въ этой увѣренности со стороны Герцена въ святой миссіи своего народа было, наконецъ, нѣчто глубоко трогательное. Здѣсь бился неизсякаемый родникъ живого, чистаго національнаго чувства, чуждаго какого бы ни было шовинизма. Здѣсь была та физіологическая черта, которая роднила съ этимъ объевропеившимся москвичемъ, съ этимъ неистовымъ „аѳеемъ"— православно-вѣровавшихъ славянофиловъ. Эта „русская бечевка" связывала его крѣпче съ какимъ-нибудь поклонникомъ русской государственности, лишь бы искреннимъ, въ родѣ многократно имъ же осмѣяннаго Погодина, чѣмъ со многими радикальными людьми Запада, съ которыми онъ былъ близокъ по своимъ философскимъ и соціальнымъ взглядамъ. Разлитая въ каждой строкѣ Герцена о Россіи, эта великая, не въ громкихъ словахъ изливающаяся, а скрытая въ томъ тонѣ, который „дѣлаетъ музыку", любовь Герцена къ родинѣ, вѣра въ нее, спасшая его, по собственному признанію, на краю нравственной гибели, долго и долго еще, всею мощью непосредственнаго чувства, будетъ захватывать, чаровать, заражать читателя великимъ и плодотворнымъ энтузіазмомъ.

Мѣсто Герцена въ исторіи русской художественной литературы совершенно своеобразное. Неожиданное сочетаніе въ одномъ лицѣ и крупнаго художественнаго таланта, и огромнаго философскаго ума, и жара и страсти публициста— само по себѣ явленіе чрезвычайно рѣдкое, какъ рѣдки вообще натуры, обнаруживающія блескъ геніальности, тѣмъ болѣе сразу въ нѣсколькихъ сферахъ духовнаго творчества. Чрезъ интимную мысль Герцена и ея выраженіе въ писаніяхъ, отъ беллетристическихъ набросковъ до философскихъ разсужденій, прошли съ сороковыхъ годовъ то же, что у другихъ писателей этой эпохи, тяготѣніе къ народу, интересъ къ крестьянству, сливающіеся съ широкимъ теченіемъ эпохи сороковыхъ годовъ, жгучій соціальный интересъ съ такими его частностями, какъ женскій вопросъ, Герценъ— въ художественныхъ своихъ произведеніяхъ—писатель по преимуществу сороковыхъ годовъ, съ традиціонной близостью къ Гоголю въ изображеніи внѣшняго быта, съ отголоскомъ западнаго вліянія въ отношеніяхъ къ женскому вопросу, сущность котораго сводится преимущественно къ праву женщины самоопредѣленія въ своихъ чувствахъ, съ общею своею гуманистическою тенденціею. Въ этомъ отношеніи, Герценъ, уже, можетъ быть, нѣсколько „старомоденъ". Но сквозь эту все болѣе намъ чуждую оболочку такъ мощно

пробивается выраженіе личности Герцена, его рѣзко выраженной индивидуальности, что отграничить беллетриста отъ философа и публициста нѣтъ возможности. И въ этой многогранной разносторонности Герценъ далеко оставляетъ позади остальныхъ писателей сороковыхъ годовъ. Въ немъ нашли себѣ яркое выраженіе сороковые годы въ своей совокупности духовныхъ интересовъ; „центральная натура“ онъ отразилъ не только литературныя ихъ направленія и содержаніе, но и философскую и общественную мысль.

За границей Герценъ, можно сказать, уже почти не возобновлялъ чисто беллетристическихъ работъ, но рядомъ съ произведеніями публицистическаго характера, онъ создалъ свой собственный художественный родъ—знаменитые „Былое и Думы“, гдѣ во всемъ блескѣ развернулся его рѣдкій прекрасный даръ художественнаго воспроизведенія дѣйствительности во всей ея жизненной правдѣ и простотѣ. Но и здѣсь, какъ въ произведеніяхъ русскаго періода, надъ объективнымъ значеніемъ воспоминаній Герцена, какъ ряда ослѣпительныхъ картинъ и художественныхъ портретовъ дѣятелей прошлаго и незамѣтныхъ людей массы, въ конечномъ счетѣ дѣлающихъ исторію, встаетъ отраженіе личности Герцена, его исповѣдь, его думы. Чрезъ многіе годы скитаній онъ пронесъ неизмѣнной великую скорбь и тоску по родинѣ, и бережно сложилъ у ногъ ея въ „Быломъ и Думахъ“.

Съ особенной силой, тоской и болью эта великая сердечная связанность Герцена съ родиной разлита въ первой половинѣ „Былого и Думъ“, посвященной его жизни въ Россіи и наиболѣе законченной и отдѣланной. Изъ художественныхъ произведеній Герцена едва ли не „Былому и Думамъ“ и суждена наибольшая долговѣчность и любовь русскаго читателя. Оно, независимо отъ своихъ чисто художественныхъ достоинствъ и историко-общественнаго значенія, болѣе всего и вводитъ читателя въ пониманіе этой многогранной личности, въ личное обаяніе и внушеніе лучшихъ сторонъ ума и сердца Герцена.

Безпощадный къ себѣ,—онъ не разъ сурово клеймитъ въ себѣ—въ дневникѣ сороковыхъ годовъ, въ воспоминаніяхъ, въ интимныхъ письмахъ къ другу—свой „слабый“ характеръ, уступчивость, особенно мелкое тщеславное чувство страсти къ одобренію со стороны окружающихъ, вовлекавшее его въ непослѣдовательности, ошибки, въ жестокіе даже поступки. Систематически подобравъ всѣ такія самопризнанія, сопоставивъ ихъ съ такою особенностью стиля Герцена, какъ замѣтное пристрастіе (унаслѣдованное, можетъ быть, отъ отца и имъ же воспитанное) пристрастіе къ острому словцу и блеску неожиданныхъ сопоставленій, мож-

но, пожалуй, даже создать карикатурный портретъ Герцена, нѣчто, дѣйствительно, близко напоминающее вѣчно самолюбующагося Ораса изъ одноименнаго романа Жоржъ Зандъ, съ которымъ самъ Герценъ себя сравнивалъ. Эти тѣни были созданы въ немъ, конечно, барской избалованностью, ранней привычкой чувствовать себя центромъ; эти слабости могли находить пищу и въ рано сознанномъ чувствѣ превосходства надъ окружающими. Но онъ же сознательно и боролся съ этими склонностями, оставленными въ немъ безпорядочными условіями барскаго воспитанія и ранняго развитія. Въ итогѣ онъ глубоко искренень въ своихъ признаніяхъ, исповѣди, проповѣди. Этимъ, вѣдь, въ сущности вся его литературная дѣятельность и была, въ этомъ его слово и черпало всегда особую подкупающую силу и власть, какъ ни пользовались его противники каждымъ его неудачнымъ шагомъ, ошибкой, промахомъ пера, чтобы изобразить его поклонникомъ только хлесткой фразы, позеромъ, честолюбцемъ, руководимымъ только мелкимъ необузданнымъ тщеславіемъ. Любопытно, что въ этомъ сошлись совершенно какъ представитель реакціи Катковъ, такъ и съ крайней лѣвой стороны—А. Серно-Соловьевичъ: слишкомъ соблазнительно, на глазахъ лежала возможность придраться къ столь личному, какъ Герценъ, публицисту именно въ этомъ отношеніи.

Мы видѣли, чѣмъ были его уступки въ нѣкоторыхъ практическихъ шагахъ, когда онъ, одинокій, поддавался голосу той или иной организованной группы или въ угоду друзьямъ подавлялъ въ себѣ голосъ своего вѣчнаго скепсиса. Но тогда, когда голосъ, какъ казалось ему, цѣлаго новаго поколѣнія ждалъ новаго обѣтованія отъ демагогическихъ призывовъ и кровавыхъ лозунговъ и когда легко было вернуть пошатнувшуюся популярность, заговоривъ въ тонъ ожиданіямъ молодой эмиграціи, онъ не сдѣлалъ ни шагу уступки и стоически вынесъ этотъ разрывъ съ молодежью, принесшій ему столько тяжелыхъ минутъ. Чуждый въ дѣйствительности во всѣхъ серьезныхъ случаяхъ мелкаго самолюбія и тщеславной гордости *своимъ*, онъ не разъ даетъ примѣры, насколько выше онъ всякихъ личныхъ счетовъ, даже съ такими людьми, съ которыми имѣлъ острыя столкновенія: у него нельзя найти строки, отразившей личное раздраженіе столкновеній съ Добролюбовымъ, въ разгаръ острыхъ счетовъ съ Некрасовымъ (изъ-за имѣнія Огарева) онъ перепечатываетъ въ „Колоколѣ“ съ горячимъ привѣтствіемъ его „Размышленія у парадная подъѣзда“, тепло поминаетъ своего яраго антагониста А. Серно-Соловьевича и т. д., и если приходится говорить обо всемъ этомъ, то

потому, что противъ самого Герцена въ его неумѣренныхъ самообличеніяхъ—приходится противопоставлять подобные факты.

Тѣневыя черты и слабости этого характера требуютъ своего объясненія, но на нихъ что-либо строить для объясненія личности Герцена въ ея цѣломъ было бы грубою ошибкою. Онѣ только рѣзче оттѣняютъ въ общемъ, несомнѣнно, свѣтлую гармоническую структуру личности Герцена. Въ цѣломъ онъ напоминаетъ Пушкина, съ его яснымъ, здоровымъ складомъ натуры, по существу гармонической, въ мѣру созерцательной, сочетавшей зоркій трезвый умъ съ горячимъ сердцемъ.

Жизнь безпощадно терзала Герцена и личными утратами, и тяжелыми испытаніями его общественнаго чувства. Множество разъ изъ самаго сердца его рвется крикъ отчаянья, потери вѣры въ смыслъ личнаго существованія, въ людей, въ человѣчество. Но верхъ неизмѣнно беретъ въ концѣ-концовъ здоровая сторона его натуры, неистощимая въ ней заложенная сила непосредственной жизненности, вѣры въ жизнь и ея творящія силы. Въ итогѣ колебаній и сомнѣній, перевѣсъ на сторонѣ здороваго въ индивидуальномъ и общественномъ смыслѣ идеализма, который умѣетъ стоически принимать неизбѣжныя послѣдствія того, что человѣкъ не внѣ законовъ природы и общественности, умѣетъ смириться предъ истиной, но истину видитъ и въ себѣ самомъ, въ собственныхъ чаяніяхъ „жизни будущаго вѣка“, въ томъ, что „изъ вратъ храма науки человѣчество выйдетъ съ гордымъ и поднятымъ челомъ на творческое созданіе вещи Божіей“. Эта вѣра сердца проводила его чрезъ всю жизнь. Точно также „Герценъ вѣровалъ въ благородные инстинкты человѣческаго сердца, анализъ его умолкалъ и благоговѣлъ передъ инстинктивными побужденіями нравственнаго организма, какъ передъ единственной несомнѣнной истиной существованія“ (Анненковъ). Такъ отъ первыхъ съ другомъ мечтаній до послѣднихъ предсмертныхъ къ нему писемъ на жизни Герцена лежитъ возвышенный идеалистическій отпечатокъ, и оттого всегдашній лирическій подъемъ его духовныхъ интересовъ, его „осердеченный умъ“ (выраженіе Бѣлинскаго)—такъ привлекали и очаровывали при его жизни множество замѣчательнѣйшихъ умовъ и сердецъ, оттого такъ интересна и поучительна эта жизнь, въ которой нераздѣльно слиты личныя переживанія и все, чѣмъ жили его современники.

Умъ это былъ огромный и своеобразный, трезвый и скептическій, со склонностью къ острой шуткѣ надо всѣмъ, что такъ или иначе противорѣчитъ строгой логикѣ и послѣ-

довательности. Съ неумолимой послѣдовательностью разлагаетъ и разбираетъ этотъ умъ все, что лежитъ на его пути, будь то политическій фактъ, религіозное вѣрованіе, обыденное явленіе жизни. Этотъ умъ не способенъ застыть ни на какомъ законченномъ ученіи, программѣ, доктринѣ. Лучше всего эта сторона въ складѣ герценовскаго безпокойнаго, вѣчно тревожнаго ума можетъ быть выяснена по противоположенію его, напримѣръ, Луи Блану, какъ онъ обрисованъ самимъ Герценомъ. Французскій эмигрантъ поражаетъ русскаго необычайной своей замкнутостью въ кругѣ все однихъ и тѣхъ же интересовъ и разъ принятыхъ взглядовъ. „Онъ занимается только Франціей, знаетъ только Францію и ничего не знаетъ „развѣ ея". События міра, открытія науки, землетрясенія и наводненія занимаютъ его по той мѣрѣ, по которой они касаются Франціи... Когда я ближе познакомился съ Луи Бланомъ, меня поразилъ внутренній невозмутимый покой его. Въ его разумѣніи все было въ порядкѣ и рѣшено; тамъ не возникало вопросовъ, кромѣ второстепенныхъ, прикладныхъ. Свои счеты онъ свелъ: er war im Klaren mit sich; ему было нравственно свободно, какъ человѣку, который знаетъ, что онъ правъ. Въ частныхъ ошибкахъ своихъ, въ промахахъ друзей онъ сознавался добродушно: теоретическихъ угрызеній совѣсти у него не было. Онъ былъ доволенъ собой послѣ разрушенія республики 1848 г. Умъ его, подвижный въ ежедневныхъ дѣлахъ и подробностяхъ,—былъ японски неподвиженъ во всемъ общемъ. Эта незыблемая увѣренность въ основахъ, однажды принятыхъ, слегка провѣтриваемая холоднымъ раціональнымъ вѣтеркомъ, прочно держалась на нравственныхъ подпорочкахъ, силу которыхъ онъ никогда не испытывалъ, потому что вѣрилъ въ нее. Мозговая религіозность и отсутствіе скептическаго сосанія подъ ложечкой обводили его китайской стѣной, за которую нельзя было забросить ни одной новой мысли, ни одного сомнѣнія". Въ противоположность этому очень рано въ Герценѣ развилось и проводило его чрезъ всю жизнь вѣчное безпокойство ума, о размѣрахъ котораго Бѣлинскій, какъ мы говорили, не зналъ, на что его столько одному человѣку. И съ этой особенностью своего умственнаго склада Герценъ вѣчно былъ насторожѣ и менѣе всего былъ способенъ надолго отдаваться какому бы ни было кумиру. „Не только въ моихъ письмахъ, но и въ сердцѣ,—говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ („Письма изъ Фр. и Ит.", V),—недостаетъ этой смиренной, почтительной струны, готовой умильно склоняться, „принижаться", какъ говорятъ славянофилы; для которой поклоненіе необходимо, чему бы то ни было,—золотому теленку или серебряному барану,

русскимъ древностямъ или парижскимъ новостямъ. Изъ всѣхъ преступленій я всего дальше отъ идолопоклонства и противъ второй заповѣди никогда не согрѣшу. Человѣкъ тогда только свободно смотритъ на предметъ, когда онъ не гнетъ его въ силу своей теоріи и самъ не гнется передъ нимъ. Уваженіе къ предмету, не произвольное, а обязательное, ограничиваетъ человѣка, лишаетъ его свободнаго размаха".

Такому свободному размаху своего разума всегда былъ и оставался вѣренъ Герценъ. Если и случалось ему поддаваться на нѣкоторое время настроеніямъ, чуждымъ трезвой реалистической закваскѣ его натуры и образованія, долго они не могли держаться. Такъ, въ молодости онъ отдѣлялся отъ мистической временной настроенности, отрѣшился въ концѣ концовъ и отъ всѣхъ оковъ традиціи и выступилъ предъ русскимъ обществомъ свободнымъ мыслителемъ. И съ такою глубокою страстью принимается имъ новое воззрѣніе, что здѣсь былъ, какъ мы видѣли, источникъ тяжелой размолвки съ близкимъ другомъ, Грановскимъ. И столь же мало способнымъ на уступки мы видимъ его вездѣ и всегда, когда идетъ рѣчь о принципіальномъ любомъ вопросѣ разума, и отсюда знакомая намъ безпощадная къ самому себѣ переоцѣнка всѣхъ цѣнностей въ книгѣ „Съ того берега", во имя неподкупнаго разума и столь для него характернаго „смиренія предъ истиной".

Въ этой области критическаго анализа общихъ основъ современной культуры, въ критикѣ множество ходячихъ представленій и принятыхъ условностей нашего буржуазнаго—мѣщанскаго по терминологіи Герцена—міра, въ этомъ неустанномъ протестѣ его противъ всяческаго приниженія и умаленія достоинства человѣческой личности, чѣмъ бы они не вызывались,—въ этой всегдашней борьбѣ противъ мѣщанства мысли и чувства и заключаются болѣе всего права Герцена на живѣйшее вниманіе читателя и въ наше время.

Пусть поблекло непосредственное вліяніе Герцена, какъ политическаго писателя; пусть какъ философъ, въ области теоріи познанія и общаго міропониманія, онъ заслоненъ новыми философскими построеніями, далекими иногда отъ тѣхъ началъ, которыя онъ считалъ послѣднимъ словомъ человѣческаго разума; пусть порою кажется онъ старомоднымъ, и какъ соціологъ, и чуждая ему, въ качествѣ основной, классовая точка зрѣнія заслоняетъ его отъ новыхъ поколѣній, какъ „утописта". Все-таки центральное ядро его міровоззрѣнія—представленіе о мѣрилѣ вещей въ человѣческой личности—остается вѣчно цѣннымъ, и какъ моралистъ, особенно ярко проводившій и высказывавшій эту идею са-

мощной живой человѣческой личности. Герценъ еще очень-очень долго не утратитъ живого, дѣйственнаго значенія.

Не даромъ такъ высоко ставитъ Герцена такой человѣкъ и моралистъ, какъ Левъ Толстой. „Онъ блестящъ и глубокъ, что встрѣчается очень рѣдко“, – говоритъ онъ о Герценѣ (П. Сергѣенко). „Что за удивительный писатель!—писалъ онъ же художнику Ге: — Наша жизнь русская за послѣднія двадцать лѣтъ (писано въ 1888 г.) была бы не та, если-бъ этотъ писатель не былъ скрытъ отъ молодого поколѣнія. Изъ организма русскаго общества вынутъ насильственно очень важный органъ“. То же повторено въ письмѣ Черткову.

Это признаніе святости человѣческой личности, признаніе, прошедшее чрезъ жизнь Герцена фейербаховскаго: „Homo homini—Deus“, какъ руководящій принципъ, выношенный и выстраданный въ годы испытаній, объясняетъ многое въ тѣхъ нерѣшительныхъ шагахъ, которые часто ставились Герцену въ упрекъ, со стороны менѣе его цѣнившихъ людскую жизнь и кровь. Герценъ видѣлъ слишкомъ много крови вблизи, чтобы въ концѣ концовъ съ легкимъ сердцемъ хоть намекомъ или необдуманнымъ словомъ толкать къ пролитію ея кого бы ни было и съ чьей бы ни было стороны. Отвращеніе его къ кровавымъ путямъ и средствамъ и хирургическимъ и мясническимъ мѣрамъ въ области политики, слишкомъ просто объяснялось въ свое время пылкими людьми, хотя бы играли они и собственной жизнью, какъ слабость и робость. Но оно имѣло источникомъ, кромѣ впечатлѣній ужасныхъ іюньскихъ дней, и принципіальное представленіе. Всею жизнью внушенное пониманіе медленности эволюціи человѣчества и отчетливое сознаніе, что для укрѣпленія завоеваній передовой общественной мысли и результатовъ случайныхъ стихійныхъ революцій необходимо послѣдовательно изо дня въ день проводимое общественно-политическое воспитаніе народныхъ массъ, и привели Герцена къ отрицанію всякаго „бланкизма“ въ проектахъ и замыслахъ освобожденія и соціальнаго переустройства, ибо на этомъ пути, какъ писалъ онъ Огареву, увлеченному Бакунинымъ, надо отвыкнуть „жалѣть личности“.

Въ этотъ уваженіи къ человѣческой личности, не въ отвлеченной идеѣ только, а и въ практическихъ путяхъ дѣятельности, надо видѣть источникъ, живой и неистощимый, и той терпимости, которая, какъ глубокое чувство скорбнаго участія къ людямъ, къ человѣчеству, къ темнымъ путямъ, которыми оно бредетъ, вылились у Герцена еще въ Москвѣ въ неподражаемомъ „Докторѣ Круповѣ“, въ произведеніи, послѣ „Былого и Думъ“, наиболѣе полно отражающемъ не

только умъ, но и въ особенности сердце Герцена. Въ „Быломъ и Думахъ“ и въ произведеніяхъ послѣдняго періода жизни Герцена, эта идея снова особенно выступаетъ впередъ. Онъ сознавалъ, какъ медленно осуществляются въ человѣчествѣ самые дорогіе его идеалы, хотя бы они опирались непосредственно на нужды и интересы самыхъ широкихъ народныхъ массъ, и онъ не можетъ не быть снисходительнымъ къ нимъ и не протестовать противъ экспериментовъ in anima vili надъ этими массами. Но это не есть морализированіе, въ какой бы ни было формѣ, всегда безусловно чуждое Герцену: это отношеніе къ жизни и ея явленіямъ, непосредственно, такъ же какъ любовь къ родинѣ, разлитое въ его рѣчи, какъ тонъ, дѣлающій музыку. Вмѣсто безплоднаго негодованія на неизбѣжное, вмѣсто голаго осужденія и готовыхъ рецептовъ и панацей — пониманіе и проповѣдь, подъ знаменемъ науки,—вотъ что нужно, таковъ эпилогъ Герцена.

Помимо отдѣльныхъ сторонъ и моментовъ въ жизни и дѣятельности Герцена, которые надолго даютъ ему право на пристальное вниманіе русскаго общества, его жизнь и нравственная личность въ цѣломъ всегда будутъ полны захватывающаго интереса, какъ одного изъ строителей грядущаго, какъ дѣятеля, глубоко захватившаго едва ли не всѣ вѣчные тревожные вопросы индивидуальной и соціальной жизни, все пережившаго и испытавшаго въ исканіи рѣшеній и... ихъ не нашедшаго, ибо нѣкій демонъ не давалъ ему успокоиться, собственная его неугасающая въ своемъ вѣчномъ стремленіи впередъ душа.

Если сравнивать Герцена съ извѣстными литературными типами, какъ наглядымъ и понятнымъ всѣмъ мѣриломъ, то не съ Гамлетомъ, кажется, надо сравнить его, а скорѣе съ Фаустомъ. Его жизнь — настоящее фаустовское исканіе истины и дѣла, подвига, которому онъ могъ бы отдаться, чтобы сказать мгновенію: „Остановись, прекрасно ты!“. И такія мгновенія были въ этой необыкновенной жизни, извѣдавшей всѣ ступени отъ послѣднихъ низинъ царства русскаго рабства до послѣднихъ „горныхъ вершинъ“ свободнаго мірового духовнаго развитія.

Вѣчный врагъ самодовольства Вагнеровъ, которое онъ такъ клеймилъ и въ молодыхъ своихъ статьяхъ и въ произведеніяхъ зрѣлыхъ лѣтъ, даже въ лицѣ людей такого типа, какъ Луи Бланъ,—онъ, несмотря на грустное сознаніе, что онъ лишь „ранній сѣятель“, все же далъ въ своихъ пламенныхъ лирическихъ изліяніяхъ захватывающій, заражающій примѣръ неустаннаго исканія истины и готовности покорно принять ее, какъ бы печальна она ни пока-

залась. Эта сторона его урока его жизни и мысли резюмирована имъ съ рѣдкой силой и искренностью въ извѣстномъ посвященіи книги „Съ того берега“ сыну:

„Я не хочу тебя обманывать,—знай истину, какъ я ее знаю: тебѣ эта истина пусть достанется не мучительными ошибками, не мертвящими разочарованіями, а просто по праву наслѣдства.

„Въ твоей жизни придутъ иные вопросы, иныя столкновенія... въ страданіяхъ, въ трудѣ недостатка не будетъ.

„Не ищи рѣшеній въ этой книгѣ (въ книгѣ жизни и труда Герцена!—*Авт.*),—ихъ нѣтъ въ ней, ихъ вообще нѣтъ у современнаго человѣка. То, что рѣшено, то кончено, а грядущій переворотъ только что начинается.

„Мы не строимъ, мы ломаемъ, мы не возвѣщаемъ новаго откровенія, а устраняемъ старую ложь. Современный человѣкъ, печальный Pontifex Maximus, ставитъ только мостъ,—иной, неизвѣстный, будущій пройдетъ по немъ. Ты, можетъ, увидишь его... Не останься на старомъ берегу... Лучше съ нимъ погибнуть, нежели спастись въ богадѣльнѣ реакціи.

„Религія грядущаго общественнаго переустройства—одна религія, которую я завѣщаю тебѣ. Она безъ рая, безъ вознагражденія, кромѣ собственнаго сознанія, кромѣ совѣсти...

„Благословляю тебя на этотъ путь во имя человѣческаго разума, личной свободы и братской любви!“

Извѣстенъ конецъ Фауста. Онъ нашелъ мгновеніе высшаго блаженства въ сознаніи дѣятельнаго труда на благо человѣчества, въ подвигѣ дѣятельной любви. Смиреніе Герцена предъ наукой, его апофеозъ человѣческаго разума, какъ у Фауста, тѣсно слиты съ всегдашней жаждой живой творческой дѣятельности, и долго еще примѣръ ея въ борьбѣ Герцена за свободу и благо родины будетъ привлекать къ нему и благодарную память, и восхищенное удивленіе, какъ къ вождю и свѣточу русскаго сознанія.

Если были въ этой удивительной жизни горестныя ошибки, паденія и мучительные дни отчаянія и сомнѣній, то, какъ сказано о Фаустѣ,

„Кто ищетъ истины,—не чуждъ и заблужденія“

и

„... чистая душа въ своемъ исканіи смутномъ
Сознаньемъ истины полна“.

Жизнь Герцена „горитъ и жжетъ“, по выраженію Тургенева о „Быломъ и Думахъ“. Блескъ и жаръ этой души долго еще будетъ свѣтить и грѣть русскимъ людямъ въ тѣхъ темныхъ путяхъ, по которымъ бредетъ русское разви-

ПАМЯТНИКЪ НА МОГИЛѢ ГЕРЦЕНА въ Ниццѣ.

(Работы П. П. Забѣллы).

тіе. У насъ, русскихъ, не было и нѣтъ писателя, который бы до такой же степени полно, ярко, художественно и послѣдовательно отразилъ въ своемъ творчествѣ и самой жизни всѣ исканія, боли, всю тоску и муку исканій правды, свободы, соціальной справедливости. Въ этомъ главное право на безсмертіе, какъ литературныхъ произведеній Герцена, такъ и самой жизни его, вѣчно скитальческой, безпокойной, полной борьбы во имя свободы, родины, человѣчества. Въ этомъ онъ достигъ высшихъ вершинъ, на какія только подымался русскій геній, и въ Герценѣ, наряду съ такими представителями русскаго духовнаго творчества и мысли, какъ Пушкинъ, Левъ Толстой, Достоевскій, Бѣлинскій и немногіе другіе, залогъ и обѣтованіе неувядающей творческой мощи всего русскаго народа.

„Тебѣ—лавровый вѣнокъ, представителю русской мысли, чающей свое величіе и неизмѣримую будущность".

БИБЛІОГРАФІЯ

ПРОИЗВЕДЕНІЙ

А. И. ГЕРЦЕНА

И ЛИТЕРАТУРЫ О НЕМЪ.

Составилъ А. Г. Фоминъ.

Оба имѣющихся у насъ изданія „Сочиненій“ Герцена, какъ заграничное, такъ и выпущенное въ 1905 году въ Россіи, не являются полными: въ нихъ не вошло очень многое изъ написаннаго Герценомъ. Но не говоря уже о полномъ собраніи его сочиненій, у насъ до сихъ не было даже списка всѣхъ сочиненій писателя, что сильно тормозило изученіе его дѣятельности и жизни. Желая облегчить изученіе Герцена, мы составили такой списокъ. Предлагая его, мы считаемъ необходимымъ оговориться, что на абсолютную полноту онъ не претендуетъ. Герценъ печаталъ свои произведенія за границей и помѣщалъ замѣтки въ заграничныхъ газетахъ. Это обстоятельство крайне затрудняетъ работу библіографа. Не облегчаютъ ее и тѣ матеріалы, которые переданы наслѣдниками Герцена въ Московскій Румянцевскій Музей. Эти матеріалы цѣнны и окажутъ большую услугу изучающему жизнь и дѣятельность Герцена, на что мы и обращаемъ вниманіе, но не помогаютъ библіографу, такъ какъ на вырѣзкахъ статей Герцена изъ заграничной печати, за малыми исключеніями, не отмѣчены не только годъ и нумеръ, но и названіе изданія, въ которомъ статья была помѣщена.

Если нашъ указатель, въ силу отмѣченныхъ обстоятельствъ, не является абсолютно полнымъ, то думается, все-таки, что въ немъ отмѣчено все наиболѣе крупное и важное.

Порядокъ размѣщенія матеріала принятъ нами хронологическій. Одной звѣздочкой (*) отмѣчено то, что не вошло въ русское изданіе сочиненій Герцена; двумя (**)—то, что вошло съ сокращеніемъ, каково оно ни было бы.

Относительно второй части нашего указателя—списка книгъ и статей о Герценѣ, нужно отмѣтить, что въ указатель вошли цѣликомъ матеріалы литературнаго архива С. А. Венгерова, напечатанные имъ въ „Источникахъ словаря русскихъ писателей“ и обнимающіе время до 1900 года. Намъ же принадлежитъ списокъ книгъ и статей о Герценѣ, появившихся въ русской печати за періодъ 1900—1907 гг., и нѣкоторыя дополненія къ списку С. А. Венгерова.

Указанія на книги и статьи 1908 г.—случайны. Перепечатки нами не отмѣчались, за исключеніемъ того случая, когда указаніе ихъ представлялось намъ полезнымъ или необходимымъ.

I.

Сочиненія А. И. ГЕРЦЕНА.

I.

Произведенія, вышедшія отдѣльными изданіями, и сборники.

1833 г.

* **Объ историческомъ развитіи Коперниковой системы**. Кандидатская диссертація. Москва. Въ Унив. Тип. 1833.

1837 г.

Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской Публичной Библіотеки 6 декабря 1837 года. Вятка. 1837. (Перепечатана въ „Вятскихъ Губ. Вѣд.", 1862, отд. II, ч. неофиц., № 16, отъ 21 апрѣля, стр. 119—120; въ „Сѣверн. Пчелѣ", 1862, № 124, отъ 9 мая, стр. 494; въ „Сынѣ Отечества", 1862, № 112, отъ 10 мая, стр. 875 и въ „Москов. Вѣд.", 1862, № 102, отъ 11 мая, стр. 817—818.

1847 г.

Кто виноватъ? Романъ въ двухъ частяхъ СПБ. 1847.
— 2 изд. Лондонъ. 1859.
— 2 изд. В. Ковалевскаго. СПБ. 1866.
— 3 изд. В. Ковалевскаго. СПБ. 1871 (*конфисковано*).
— 4 изд. „Семейная Библіотека" №№ 13 и 14. Изд. Ѳ. Трозинера, ред. А. Н. Чудинова. СПБ. 1891.
— Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1907.
— **Aan wien ligt de Schuld?** Een russisch verhaal. Haarlem. 1853.
— **Wer ist schuld?** Roman. Aus dem Russischen von Wilhelm Lange. Leipzig. 1886.

1850 г.

** **Vom andern Ufer.** Aus dem russischen Manuskript. Hamburg. 1850.
— **Съ того берега**. Лондонъ. 1855.
Введеніе.—Передъ грозой.—Послѣ грозы.—LVII годъ республики.—Vixerunt.—Consolatio.—Эпилогъ 1849 года.—Omnia mea mecum porto.—Доново Кортесъ.

— 2 изд., пересмотрѣнное авторомъ. Лондонъ. 1858.
— Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.
— **De l'autre rive.** Troisième édit. Traduit du Russe par Alex. Herzen-fils. Genève. 1870.
** **Briefe aus Italien und Frankreich** (1848—1849) von einem Russen, Verfasser des „Vom andern Ufer". Hamburg 1850.
— **Письма изъ Франціи и Италіи** (1847—1852). Лондонъ. 1855.
— 2 изд. Трюбнера. Съ портретомъ Герцена. Лондонъ. 1858.
— **Lettres de France et d'Italie** (1847—1852). Traduit du russe par M-me N. H. Edition des enfants de l'auteur. Genève. 1871.

1851 г.

* **Du développement des idées révolutionnaires en Russie.** Paris. 1851.
— 2 éd. Londres. 1853.
— 3 éd. Londres. 1858.
— **Къ развитію революціонныхъ идей въ Россіи.** Переводъ со второго, просмотрѣннаго авторомъ изданія 1853 года. Изд. В. М. Саблина. Москва. 1907.
— **Движеніе общественной мысли въ Россіи.** Съ приложеніемъ статьи „О сельской общинѣ въ Россіи". Переводъ съ французскаго. Изд. т-ва Сытина. Москва. 1907.
— **О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи.** Переводъ съ французскаго А. Тверитинова. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1907.

1853 г.

** **Крещенная собственность.** Лондонъ. 1853.
— 2 изд. Лондонъ. 1857.
— 3 изд. Трюбнера. Лондонъ. 1858.
— Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.
* **Вольное русское книгопечатаніе въ Лондонѣ. Братьямъ на Руси.** Лондонъ. 1853. (Литографія).
** **Юрьевъ день! Юрьевъ день!** (Листокъ). Лондонъ. 1853.
* **Поляки прощаютъ насъ.** (Листокъ). Лондонъ. 1853.
* **Amnestie et alliance.** 1853.

1854 г.

** **La Russie et le vieux monde.** Lettres à W. Linton. Jersey. 1854.
— **Старый міръ и Россія.** Письма къ В. Линтону, редактору „The English Republik" (1854 г.). Переводъ съ французскаго. Лондонъ. 1858.
— Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.
Тюрьма и ссылка. Изъ записокъ Искандера. Лондонъ. 1854.
— 2 изд. Трюбнера. Лондонъ. 1858.
Прерванные разсказы. Лондонъ. 1854.
** Долгъ прежде всего.—Мимоѣздомъ.—Поврежденный.—** Докторъ Круповъ.
— 2 изд., исправленное авторомъ. Съ его портретомъ. Лондонъ. 1857.
— **Unterbrochene Erzählungen.** Aus dem Russischen übersetzt von Malwida v. Meysenbug. Hamburg. 1858.
Russlands sociale Zustände. Aus dem Russischen. Hamburg. 1854.

1855 г.

My exile. Vols 1—2. London. 1855.

Aus den Memoiren eines Russen. Im Staatsgefängniss und in Sibirien. Hamburg. 1855.

— Neue Folge. Petersburg und Nowgorod. Hamburg. 1856.

— Dritte Folge. Jugenderinnerungen. Hamburg. 1856.

— Vierte Folge. Gedachtes und Erlebtes. Hamburg. 1859.

** **The Russian people and their socialism.** A letter to M. Michelet. London. 1855.

— **Le peuple russe et le socialisme.** Lettre à Mr. Michelet. 2-e éd. Jersey. 1855.

— **Русскій народъ и соціализмъ.** Письма къ Н. Мишле. Переводъ съ французскаго. Лондонъ. 1858.

— Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.

* **Discours,** prononcé au meeting tenu le 27 février 1855, dans St. Martin's Hall. à Londres. Jersey.

1856 г.

En Russers Memoirer eller Statsfaengselet og Siberien. Kjóbenhavn. 1856.

— Ny Folge. Kjóbenhavn. 1856.

1857 г.

* **L'Etoile Polaire sur la mort de S. Worcell.** Traduit du russe. Londres. 1857.

1858 г.

* **La conspiration russe de 1825,** suivie d'une lettre sur l'émancipation des paysans en Russie. Londres. 1858.

— **Die russische Verschwörung und der Aufstand vom 14 Dec. 1825.** Hamburg. 1858.

— **Заговоръ 1825 года.** Изд. Гуго Штейница. „Собраніе лучшихъ русскихъ произведеній", часть 44. Берлинъ. 1903.

— **Заговоръ 1825 года.** Съ приложеніемъ письма объ освобожденіи крестьянъ въ Россіи. Переводъ Н. Жуковской. Изд. книгоиздательства „Исторія". Москва. 1907.

— **Русскій заговоръ 1825 г.** Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1907.

* **La France ou l'Angleterre?** Variations russes sur le thême de l'attentat du 14 Janv. Londres. 1858.

— **Frankreich oder England.** Russische Variationen über das Thema des Attentats vom 14 Jan. Hamburg. 1858.

— **Франція или Англія?** Русскія варіаціи на тему 14-го января 1858 года. Переводъ съ французскаго, съ новымъ предисловіемъ автора. Лондонъ. 1858.

1860 г.

Le monde russe et la révolution. Mémoires 1812—1847. Traduits par H. Delaveau. Vols 1—3. Paris 1860—1862.

За пять лѣтъ (1855—1860). Соціальныя и политическія статьи Искандера и Огарева. 2 части. *Первая часть.* Статьи Искандера. Лондонъ. 1860. *Вторая часть.* Статьи Огарева. Лондонъ. 1861.

Часть 1. * Введеніе.—* Письмо къ Александру II (10 марта 1855 г.).—** Еще варіація на старую тему.—** Революція въ Россіи.—* Письмо къ Александру II по поводу книги барона Корфа (20 сентября 1857 г.).—* Черезъ три года и черезъ три

года съ половиной.—* Письмо къ императрицѣ Маріи Александровнѣ (1 ноября 1858 г.).—** Америка и Сибирь.—** Россія и Польша.—** Отвѣтъ русской дамѣ.—** Война и Миръ.—** Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе.—* 1860 годъ.

* **La presse russe à Londres aux Serbes et Monténégrins**. Londres. 1860.

1861 г.

** **Былое и думы**. 4 тома. I—III томы. Лондонъ. 1861. IV томъ въ двухъ книгахъ. Женева. 1867.

Томъ I. Часть I. Дѣтская и университетъ (1812—1834). Часть II. Тюрьма и ссылка (1834—1838).

Томъ II. Часть III. Владиміръ на Клязьмѣ (1838—1839). Часть IV. Москва, Петербургъ и Новгородъ (1840—1847).

Томъ III. Между четвертой и пятой частью.—I. Записки одного молодого человѣка.—II. Лициній и Вильямъ Пенъ.—III.—Капризы и раздумье (По поводу одной драмы.—По разнымъ поводамъ.—Новыя варіаціи на старыя темы).—IV. Полемическія статьи („Москвитянинъ" о Коперникѣ.—„Москвитянинъ" и вселенная.—Умъ хорошо, а два лучше.—Путевыя записки г. Вѣдрина).—V. Станція Едрово.—VI. Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.

Томъ IV. Часть V. Парижъ—Италія—Парижъ (1847—1852). Отдѣленіе I. Передъ революціей и послѣ ея.

Томъ IV. Отдѣленіе II. Русскія тѣни. 1) Н. А. Сазоновъ.—2) Энгельсоны.

1863 г.

** **Концы и начала**. Norkoeping. 1863.

* **Десятилѣтіе Вольной Русской Типографіи въ Лондонѣ.** Лондонъ. 1863.

1864 г.

* **Nouvelle phase de la littérature russe.** Bruxelles et Gand. 1864.

1865 г.

Camicia rossa. Bruxelles. 1865.

1866 г.

Еще разъ. Сборникъ статей. Съ приложеніемъ ненапечатаннаго разсказа „Трагедія за стаканомъ грога". Женева. 1866.

Отъ издателя.—** Концы и начала.—Трагедія за стаканомъ грога.—Западные арабески.—** Еще варіація на старую тему.—** Лишніе люди и желчевики.—* Донозо Кортесъ, маркизъ Вальдегамасъ и Юліанъ, императоръ римскій.—* Записки Дашковой.

1869 г.

* **La Mazourka,** un article du „Kolokol", dédié avec profonde sympathie et respect à Edgar Quinet par Alexandre Herzen. Genève. 1869.

1870 г.

Сборникъ посмертныхъ статей. Съ портретомъ автора. Изд. дѣтей покойнаго. Женева. 1870.

Къ читателямъ. — Н. Х. К. (1842—1847).—Эпилогъ.—Эпизодъ изъ 1844 года, Базиль и Арманъ.—Отрывки изъ „Былого и Думъ". Нѣмцы въ эмиграціи.—Ледрю Ролленъ и Кошутъ.—

Феликсъ Пья, В. Гуго и пр., Луи Бланъ и французскіе эмигранты. Бартелеми.—С. Ворцель.—Апогей и Перигей.—* За кулисами.—В. И. Кельсіевъ.—Общій фондъ.—М. Б. и польское дѣло.—Пароходъ Ward Jackson.—Lapinski-colonel.—Polles side de camp.—** Докторъ, умирающій и мертвые. Повѣсть.—* Thiers-Daniel.—** Письма къ старому товарищу.

— 2 изд. Женева. 1874.

Раздумье. Разныя варіаціи на старыя темы. Москва. 1870.

Записки одного молодого человѣка.—По поводу одной драмы.—Капризы и раздумье.—Сорока-воровка.—** Изъ сочиненій доктора Крупова „О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности".—Новыя варіаціи на старыя темы.—Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.—** Письма изъ Avenue Marigny.—Гофманъ.—Дилетантизмъ въ наукѣ и дилетанты-романтики.— Цехъ ученыхъ и буддизмъ въ наукѣ.

Письма объ изученіи природы. СПБ. 1870 (*уничтожено цензурой*).

1871 г.

О причинахъ упадка Франціи. Изъ сочиненій П. Ж. Прудона и А. И. Герцена. т. I. 1) Политическія противорѣчія П. Ж. Прудона и 2) Мнѣнія и замѣтки о Франціи А. И. Герцена. Изд. Георгліфова. СПБ. 1871 (*уничтожено цензурой*).

1875 г.

Село и деревня. Идиллическій отрывокъ. Казань. 1875. (подъ иниціалами И. Г.).

Книжка была напечатана въ трехъ экземплярахъ съ цѣлью испытать, узнаетъ ли цензоръ, что она извлечена изъ сочиненій Герцена, и такимъ образомъ испробовать бдительность и внимательность цензора. Онъ не узналъ автора и допустилъ книгу къ выходу. (См. „Россійская библіографія", 1881, № 12, стр. 265. Сообщеніе барона Богушевскаго и „Литературный архивъ", изд. П. Картавовымъ въ 1902 году, стр. 72).

Сочиненія въ 10 томахъ. Женева, Базель, Ліонъ, 1875—1879.

Томъ I (1875 г.). Предисловіе.—Дневникъ (1842—1845 гг.).—Дилетантизмъ въ наукѣ.—Дилетанты въ наукѣ.—Дилетанты-романтики.—Дилетанты и цехъ ученыхъ.— Буддизмъ въ наукѣ.

Томъ II (1876 г.). Раннія произведенія (1834 — 1840 гг.). Знаменитые современники. Гоффманъ.—Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 6 декабря 1837 года.—Журнальныя статьи (1840—1845 гг.): Письма объ изученіи природы.—Разсказы о временахъ меровингскихъ.—По поводу одной драмы.

Томъ III (1878 г.) (1841—1846 гг.). Кто виноватъ?—Москва и Петербургъ.—Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ.—Сорока-Воровка.—Докторъ Круповъ. Повѣсть.—О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности. Сочиненіе доктора Крупова.—Мимоѣздомъ. Отрывокъ.

Томъ IV (1878 г.) (1847 — 1852 гг.). Долгъ прежде всего. Повѣсть. — Поврежденный. Повѣсть. — Письма изъ Франціи и Италіи (1847—1851 гг.).—Приложеніе: Письмо къ Риберолю, издателю журнала „L'Homme"

Томъ V (1878 г.) (1847—1859 гг.). Съ того берега. — Русскій народъ и соціализмъ. Письмо къ И. Мишле. — Крещеная

собственность.—Старый міръ и Россія. Письмо къ В. Линтону.—Вольное русское книгопечатаніе въ Лондонѣ. Братьямъ на Руси.—Юрьевъ день! Юрьевъ день! Русскому дворянству.—Поляки прощаютъ насъ!—Вольная русская община въ Лондонѣ.—Русскому воинству въ Польшѣ.—XXIII годовщина польскаго возстанія въ Лондонѣ. Рѣчь, произнесенная на сходѣ въ Ганноверъ Румѣ 29 ноября 1853 года.—Народный сходъ въ память февральской революціи.

Томъ VI (1878 г.). Былое и думы. *Томъ первый* (1812—1838 гг.). Часть первая. Дѣтство и Университетъ (1812—1834 гг.).—Часть вторая. Тюрьма и ссылка (1834—1838 гг.).

Томъ VII (1879 г.). Былое и Думы. *Томъ первый* (1838—1847 гг.). Часть третья. Владиміръ на Клязьмѣ (1838—1839 гг.).—Часть четвертая. Москва, Петербургъ и Новгородъ (1840—1847 гг.).

Томъ VIII (1879 г.). Былое и думы. *Томъ второй* (1847—1850 гг.). Между четвертой и пятой частью. Вступленіе.—Записки одного молодого человѣка.—Лициній и Вильямъ Пенъ.—Капризы и раздумье. По разнымъ поводамъ.—Новыя варіаціи на старыя темы.—Статьи полемическія. „Москвитянинъ“ и Коперникъ.—„Москвитянинъ“ и вселенная.—Умъ хорошо, а два лучше.—Путевыя записки г. Вѣдрина.—Станція Едрово.—Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.—Часть пятая. Отд. I. Парижъ, Италія, Парижъ (1847—1852 гг.).

Томъ IX (1879 г.). Былое и Думы. *Томъ второй.* Часть пятая (1850—1864 гг.). Отд. II. Русскія тѣни: 1) Н. И. Сазоновъ. 2) Энгельсоны.—Англія (1852—1855).

Томъ X (1879 г.). Былое и Думы (1867—1868 гг.). Безъ связи.—Лондонская вольница пятидесятыхъ годовъ.—Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ.—Концы и начала.—Еще варіація на старую тему.—Лишніе люди и желчевики.—Княгиня Дашкова. — Смерть Станислава Ворцеля.—Aphorismata. По поводу психіатрической теоріи доктора Крупова. Сочиненіе прозектора и адъюнктъ-профессора Тита Левіаѳанскаго.

1876 г.

** **Изъ сочиненія доктора „Крупова.—** Письма изъ „Avenue Marigny“**. Собраніе сочиненій русскихъ писателей. Изд. В. Бера. Томъ V. Берлинъ. 1876.

1887 г.

** **Die Pflicht vor Allem.** Dresden. 1887.

„Колоколъ“. *Избранныя статьи.* (1857—1869). Съ предисловіемъ Л. Тихомирова. Библіотека соціальныхъ знаній. Серія первая. Томъ I. Женева. 1887.

1903 г.

О насиліи. Статьи Л. Толстого и А. Герцена. Изд. Гуго Штейница „Извѣстнѣйшая русская библіотека“, часть 38. Берлинъ. 1903.

1904 г.

Отрывки изъ „Былого и Думъ“. Изд. Гуго Штейница. „Собраніе лучшихъ русскихъ произведеній“, часть 91. Берлинъ. 1904.

М. Бакунинъ и польское дѣло. Изд. Гуго Штейница.

„Собраніе лучшихъ русскихъ произведеній", часть 100. Берлинъ. 1904.

1905 г.

Сочиненія и переписка съ Н. А. Захарьиной въ семи томахъ. Съ примѣчаніями, указателемъ и 8 снимками (7 портретовъ и 1 статуя). Изданіе Ф. Павленкова. СПБ. 1905.

Томъ I. Вмѣсто предисловія. *Повѣсти, разсказы и романы.* Легенда о св. Ѳеодорѣ.—Встрѣчи.—Это было 22-го октября 1817 г.—Записки одного молодого человѣка.—Лициній и Вильямъ Пенъ.—Кто виноватъ?—Послѣдній праздникъ дружбы.—Сорока-Воровка.—Докторъ Круповъ.—Aphorismata.—Мимоѣздомъ.—Долгъ прежде всего.—Поврежденный.—Трагедія за стаканомъ грока.—Скуки ради.—Докторъ, умирающій и мертвые.—Приложенія: Изъ римскихъ сценъ.—Маріи Р.—Между четвертой и пятой частью.—Примѣчанія.

Томъ II. Былое и Думы. Ч. I. Дѣтская и университетъ.—Ч. II. Тюрьма и ссылка.—Ч. III. Владиміръ на Клязьмѣ.—Ч. IV. Москва, Петербургъ, Новгородъ.—Прибавленія: Н. Х. К.—Базиль и Армансъ.—Примѣчанія.

Томъ III. Былое и Думы. Ч. V.—Парижъ.—Италія.—Парижъ.—Русскія тѣни.—Англія.—On Liberty.—Ворцель.—Pater V. Petscherine.—Робертъ Оуэнъ.—Дуэль.—Бартелеми.—Camicia Rossa.—Апогей и Перигей.—В. И. Кельсіевъ.—Общій фондъ.—М. Б. и Польское дѣло.—Пароходъ Ward-Jackson, R. Weterli et C°.—Lapinski-colonel.—Polles-aide de camp.—Безъ связи.—Venezia la Bella.—La Belle France.—Приложенія: Примѣчанія.

Томъ IV. Публицистическія и критическія статьи. Знаменитые современники. Гоффманъ.—Рѣчь, сказанная при открытіи Вятской публичной библіотеки 6-го декабря 1837 г.—Отдѣльныя мысли.—Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ.—Разсказы о временахъ Меровингскихъ.—По поводу одной драмы.—Москва и Петербургъ.—Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ.—Дилетантизмъ въ наукѣ.—Публичныя чтенія г. Грановскаго.—Письмо первое о „Москвитянинѣ" 1845 г.—„Москвитянинъ" и вселенная.—Умъ хорошо, а два лучше.—Путевыя записки Вѣдрина.—Письма объ изученіи природы.—Публичныя чтенія г-на профессора Рулье.—Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣйшихъ враговъ его.—Капризы и Раздумье.—Станція Едрово.—Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.—„Москвитянинъ" о Коперникѣ.—Оба лучше.—Изъ писемъ путешественника.—Изъ воспоминаній объ Англіи.—Русская колонія въ Парижѣ.—Опытъ бесѣды съ молодыми людьми.—Разговоръ съ дѣтьми.—Приложенія: Примѣчанія.

Томъ V. Публицистическія и критическія статьи. (Продолженіе). Письма изъ Франціи и Италіи.—Съ того берега.—Русскій народъ и соціализмъ.—Крещеная собственность.—Старый міръ и Россія.—Юрьевъ день! Юрьевъ день!—Еще варіація на старую тему.—Лишніе люди и желчевики.—Старика Вѣдрина крѣпкое до польскихъ братьевъ словцо.—Концы и Начала.—Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ.—Еще разъ Базаровъ.—Къ старому товарищу.—Приложенія: Примѣчанія.

Томъ VI. Дневникъ.—*Статьи изъ „Колокола"*: Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей.—Революція въ Россіи.—Лобное мѣсто.—Западныя книги.—Что значитъ судъ безъ гласности.—На-дняхъ мы получили письмо.—Черезъ три года.—Розги и розги!...—Матеріалы для некролога Авраамія

Сергіевича Норова.—Тамбовское дворянство.—Дворянство Сумскаго уѣзда.—1 іюля 1858.—Опять надежды.—А. Ивановъ.—Насъ упрекаютъ.—Америка и Сибирь.—Обвинительный актъ.—Россія и Польша (отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ).—О бородѣ А. А. Иванова.—Генералы отъ цензуры и В. Гюго на батареѣ Сальванди.—Отвѣтъ русской дамѣ.—Война.—Very dangerous!!!.—На углу.—Выговоръ по службѣ.—Миръ.—Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе.—Россія и Польша (второе письмо).—„Библіотека“, дочь Сенковскаго.—Записки И. В. Лопухина.—Розги долой!—Духу не стало.—Манифестъ.—Repetitio est mater studiorum.—Mortuos plango.—М. А. Бакунинъ.—Мясо освобожденія.—Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма.—Личное объясненіе.—Дурныя оружія.—Письмо къ гг. Каткову и Леонтьеву.—Съ континента.—Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ.—Изъ заведенія А. А. Краевскаго.—Михаилъ Семеновичъ Щепкинъ.—Письма къ будущему другу.—Письма къ противнику.—П. Ж. Прудонъ.—Приложенія: Примѣчанія.

Томъ VII. Переписка съ Н. А. Захарьиной.—Приложенія: Примѣчанія.—Указатель.

1906 г.

** **Робертъ Оуэнъ**. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.

** **Александръ I и В. Н. Каразинъ**. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.

* **Княгиня Екатерина Романовна Дашкова**. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1906.

1907 г.

Статьи о Польшѣ изъ „Колокола“. Изд. Ф. Павленкова. СПБ. 1907 (*книга была конфискована*).

II.

Произведенія, появившіяся въ журналахъ и газетахъ, и предисловія къ книгамъ.

1830 г.

* **О землетрясеніяхъ.** Переводъ съ французскаго.—„Атеней“, 1830, ч. II, стр. 289—307.

1833 г.

* **Неизданная статья 1833 года**.—„Былое“, 1906, кн. II, стр. 1—4.

* **28 января** (написано въ январѣ 1833 г.).—„Былое“, 1907, кн. VII, стр. 3—8.

1834 г.

Встрѣчи. *Первая встрѣча.* Германскій путешественникъ. (Написана въ декабрѣ 1834 г.).—„Русская Мысль“, 1882, кн. I, отд. I, стр. 239—252.

1835 г.

Легенда о святой Феодорѣ. (Написана въ февралѣ 1835 г.).—„Русская Мысль“, 1881, кн. XII, отд. I, стр. 49—73.

Отдѣльныя замѣчанія о русскомъ законодательствѣ. (Написано въ Вяткѣ 1835—1837 гг.).—„Русская Старина“, 1889, кн. I, стр. 177—180.

Отдѣльныя мысли. (Написано въ Вяткѣ 1835—1837 гг.).—„Русская Старина", 1889, кн. I, стр. 174—177.

1836 г.

Знаменитые современники. Гофманъ. — „Телескопъ", 1836, ч. XXXIII, стр. 139—168.

Встрѣчи. *Вторая встрѣча.* Человѣкъ въ венгеркѣ. (Написана въ мартѣ 1836 г.).—„Русская Мысль", 1882, кн. XII, отд. I, стр. 145—152.

1837 г.

Это было 22 октября 1817 года (Фантазія) (написана въ октябрѣ 1837 года).—„Сѣверный Вѣстникъ", 1895, кн. IX, стр. 111—113.

1838 г.

Изъ римскихъ сценъ (первая половина 2 сцены „Лициніи") (написана въ 1838 г.) — напечатано Т. П. Пассекъ въ книгѣ „Изъ дальнихъ лѣтъ". Изд. 2-е. СПБ. 1906. Т. II. Стр. 65—78.

Послѣдній праздникъ дружбы (написано въ 1838 г.).—Напечатано Т. П. Пассекъ въ книгѣ „Изъ дальнихъ лѣтъ". Изд. 2-ое. СПБ. 1906. Т. I. Стр. 417—429.

Отрывки изъ „Дневника" (1838—1839 гг.).—„Сѣверн. Вѣстн.", 1894, кн. XI, стр. 181—186.

* **Вотяки и черемисы.**—„Вятскія Губ. Вѣд.", № 1, прибавленіе № 1, стр. 1—2; № 5, прибавленіе № 3, стр. 11—15.

* **Вотяцкія молитвы.**—„Вятск. Губ. Вѣд.", № 9, прибавленіе № 5, стр. 23; № 19, прибавленіе № 10, стр. 45—46.

* **Владимірская Публичная Библіотека.** — „Владимірскія Губ. Вѣд.", прибавленіе № 8, стр. 39—40. (Перепечатано въ „Влад. Губ. Вѣд.", 1874, № 44, стр. 2).

Подъ этой статьей стоитъ подпись: *А. Герценъ*. Несмотря на это, самъ Герценъ отрицаетъ принадлежность статьи его перу. Въ замѣткѣ „Личное объясненіе" („Колоколъ", 1862, № 135) онъ говоритъ: „Сколько я не ломалъ себѣ голову, этой статьи совсѣмъ не помню. Я знаю навѣрное, что при открытіи библіотеки во Владимірѣ я не былъ. Очень вѣроятно, что я подписалъ статью, писанную моимъ товарищемъ по редакціи кандидатомъ Небабой. Можетъ, даже онъ составилъ ее по моей рѣчи" (здѣсь Герценъ говоритъ о рѣчи на открытіе Вятской публичной библіотеки (см. выше). Если даже принять предположеніе Герцена, что статья о Владимірской библіотекѣ составлена Небабой по рѣчи на открытіе Вятской Библіотеки, то и тогда статья „Владимірская Публичная Библіотека" должна быть включена въ списокъ написаннаго Герценомъ, такъ какъ по своему содержанію она очень близка къ рѣчи на открытіе Вятской Публичной Библіотеки, встрѣчаются даже одинаковыя выраженія.

1839 г.

* **Извѣстія. Публичныя лекціи въ г. Владимірѣ по физикѣ и химіи.**—„Влад. Губ. Вѣд.", прибавленіе № 1, стр. 2.

* **Извѣстія. Физическій кабинетъ при Владимірской гимназіи.**—„Влад. Губ. Вѣд.", прибавленіе № 1, стр. 2.

* **Владиміръ 20 апрѣля.** (Чествованіе въ г. Владимірѣ губернскаго предводителя дворянства А. Б. Голицына).—„Влад. Губ. Вѣд.", прибавленіе № 16, стр. 63.

* *Примѣчаніе къ статьѣ Я. Е. Протопопова.* — „Влад. Губ. Вѣд.", прибавленіе № 26, стр. 105.

1840 г.

Записки одного молодого человѣка. — „Отеч. Записки", т. 13, отд. III, стр. 267—288.

1841 г.

Разсказы о временахъ Меровингскихъ.—„Отеч. Записки", т. 14, отд. II, стр. 45—48.

Еще изъ записокъ одного молодого человѣка.—„Отеч. Записки", т. 17, отд. III, стр. 161—188.

1843 г.

Дилетантизмъ въ наукѣ. *Статья I.* Дилетанты въ наукѣ.—„Отеч. Записки", т. 26, отд. II, стр. 31—42.

— *Статья II.* Дилетанты - романтики.—„Отеч. Записки", т. 27, отд. II, стр. 27—40.

— *Статья III.* Дилетанты и цехъ ученыхъ.—„Отеч. Записки", т. 28, отд. II, стр. 1—16.

— *Статья IV.* Буддизмъ въ наукѣ.—„Отеч. Записки", т. 31, отд. II, стр. 57—74.

По поводу одной драмы.—„Отеч. Записки", т. 29, отд. II, стр. 96.

„Москвитянинъ" о Коперникѣ.—„Отеч. Записки", т. 31, отд. VIII, стр. 56—58.

Путевыя записки г. Вѣдрина. — „Отеч. Записки", т. 31, отд. VIII, стр. 58—60.

Публичныя чтенія г. Грановскаго. *Письмо первое.*— „Москов. Вѣд.", № 142, 27 ноября, стр. 857—858. (Напечатано также въ книгѣ Т. П. Пассекъ.—„Изъ дальнихъ лѣтъ". Изд. 2-е. СПБ. 1906. Т. II. Стр. 308—314).

1844 г.

Истинная и послѣдняя эмансипація рода человѣческаго отъ злѣйшихъ враговъ его. — „Отеч. Записки", т. 37, отд. VIII, стр. 64—67. (Напечатано также въ „Русской Старинѣ", 1874, кн. IX, стр. 401—406 и въ книгѣ Т. П. Пассекъ— „Изъ дальнихъ лѣтъ", т. II).

О публичныхъ чтеніяхъ г. Грановскаго. *Письмо второе.*—„Москвитянинъ", ч. IV, кн. VII, стр. 167—173. (Напечатано также въ книгѣ Т. П. Пассекъ.—„Изъ дальнихъ лѣтъ". Изд. 2-е. СПБ. 1906. Т. II. Стр. 314—320).

1845 г.

Письмо первое о „Москвитянинѣ". — „Отеч. Записки", т. 38, отд. VIII, стр 133.

Письма объ изученіи природы. — *Письмо I.* Эмпирія и идеализмъ. *Письмо II.* Наука и природа, феноменологія мышленія.—„Отеч. Записки", т. 39, отд. II, стр. 81—115.

„Москвитянинъ" и вселенная. (Подписано *Ярополкъ Водянскій*).—„Отеч. Записки", т. 39, отд. VIII, стр. 48—51.

Письма объ изученіи природы. *Письмо III.* Греческая философія. *Письмо IV.* Послѣдняя эпоха древней науки.—„Отеч. Записки", т. 41, отд. II, стр. 1—35 и 73—95.

Кто виноватъ? Повѣсть. — „Отеч. Записки", т. 43, отд. I, стр. 195—245.

Письма объ изученіи природы. *Письмо V.* Схоластика. *Письмо VI.* Декартъ и Бэконъ.—„Отеч. Записки", т. 43, отд. II, стр. 1—28.

Публичныя чтенія г. профессора Рулье.—„Моск. Вѣд.", № 147, 8 декабря, стр. 953; № 148, 11 декабря, стр. 961—962.

1846 г.

Капризы и раздумье.—Петербургскій Сборникъ, изд. Н. Некрасовымъ. СПБ. стр. 203—222.

Владиміръ Бельтовъ. *Эпизодъ между первой и второй частями*.—„Отеч. Записки", т. 45, отд. I, стр. 155—192. (Продолженіе романа „Кто виноватъ?". Полностью романъ приложенъ къ первой книгѣ „Современника" за 1847 г.).

Письма объ изученіи природы. *Письмо VII*. Бэконъ и его школа въ Англіи. *Письмо VIII*. Реализмъ.—„Отеч. Записки", т. 45, отд. II, стр. 1—28 и 91—108.

* **Кое-что о первомъ нумерѣ „Москвитянина" за 1846 годъ**.—„Отеч. Записки", т. 45, отд. VIII, стр. 64—66.

* **Нѣчто о второмъ нумерѣ „Москвитянина" за 1846 годъ и „Сѣверной Пчелѣ"**.—„Отеч. Записки", т. 45, отд. VIII, стр. 119—123.

Умъ—хорошо, а два—лучше. (Написано въ 1846 г.).—„Русская Старина", 1871, т. 4, кн. XI, стр. 524—532.

1847 г.

Новыя варіаціи на старыя темы. — „Современникъ", т. 2, отд. II, стр. 21—31.

** **Докторъ Круповъ**. Повѣсть. О душевныхъ болѣзняхъ вообще и объ эпидемическомъ развитіи оныхъ въ особенности. Сочиненіе доктора Крупова. — „Современникъ", т. 5, отд. I, стр. 1—31. (Первая глава этого произведенія подъ заглавіемъ „Левка" была напечатана въ книгѣ—„Для чтенія". Сборникъ повѣстей, разсказовъ, стихотвореній и популярныхъ статей для дѣтей всѣхъ возрастовъ. Изд. Лихачевой и Суворинои. СПБ. 1866).

** **Письма изъ Avenue Marigny.**—„Современникъ", т. 5, отд. I, стр. 155—197; т. 6, отд. I, стр. 119—137.

Станція Едрово. Разсказъ.—„Московскій Городской Листокъ", № 57, стр. 227—229 и № 58, стр. 231—233.

1848 г.

Сорока-воровка. Повѣсть.—„Современникъ", т. 7, отд. II, стр. 125—147. (Повѣсть была перепечатана въ сборникѣ „На нѣсколько часовъ" (СПБ. 1867, т. II, стр. 1—43). По подлинной рукописи „Сорока-воровка" была напечатана Т. П. Пассекъ въ „Русской Старинѣ", 1889, т. 62, кн. IV, стр. 59—84).

Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести.—„Современникъ", т. 8, отд. II, стр. 28—85.

1849—1850 гг.

* **Статьи въ газетѣ „Voix du Peuple"**, издаваемой Прудономъ въ Парижѣ съ 1 октября 1849 по 14 мая 1850 гг.

Въ этой газетѣ въ трехъ нумерахъ за ноябрь и декабрь 1849 г. была напечатана большая статья Герцена о Россіи, подписанная „Русскій". Эта статья носила форму письма къ Гервегу. Переведенная на нѣмецкій языкъ подъ заглавіемъ—„An Georg Herweg", статья была приложена въ 1850 году къ „Vom andern Ufer" (см. выше). Отрывокъ изъ нея былъ приложенъ также къ „Du développement des idées révolutionnaires en Russie" (см. выше). Въ „Voix du Peuple" была также напе-
атана въ нумерѣ отъ 15 марта 1850 года статья о Донозо Кор-

тесѣ, составившая потомъ послѣднюю главу—„Съ того берега“ (см. выше). Эта статья не вошла въ изданныя въ Россіи „Сочиненія Герцена“. О сотрудничествѣ Герцена въ газетѣ Прудона см. въ статьѣ М. Гершензона—„Западные друзья Герцена“ („Былое“, 1907, кн. IV, стр. 63).

1855 г.

* *Предисловіе* (Искандеръ). — „Полярная Звѣзда“, кн. I, стр. III—X.

„Полярная Звѣзда“ выходила разъ въ годъ. Она вышла въ 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862 и 1869 годахъ. Первыя 7 книгъ вышли въ Лондонѣ, послѣдняя въ Женевѣ.

Въ скобкахъ при статьяхъ въ „Полярной Звѣздѣ“ поставлена подпись. Если этого нѣтъ, то, значитъ, статья безъ подписи.

* **Письмо къ Императору Александру II** (Искандеръ).—Тамъ же, кн. I, стр. 11—14.

** **Былое и Думы**.—Тамъ же, 1855, кн. I, стр. 79—195; 1856, кн. II, стр. 45—209; 1857, кн. III, стр. 83—165; 1858, кн. IV, стр. 119—276; 1859, кн. V, стр. 75—193; 1861, кн. VI, стр. 215—324; 1862, кн. VII, вып. I, стр. 112—124; 1862, кн. VII, вып. II, стр. 124—160; (Въ этой книгѣ помѣщена статья о Бернарѣ подъ заглавіемъ—„Not Guilty“, не вошедшая въ изданныя въ Россіи „Сочиненія Герцена“); 1869, кн. VIII, стр. 3—129.

* **„Возрожденіе“ Мишле**. — Тамъ же, кн. I, стр. 196—209.

Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ.—Тамъ же, кн. I, стр. 212—218.

* **Отвѣтъ**.—Тамъ же, кн. I, стр. 220—223.

* **Къ нашимъ** (И—ръ).—Тамъ же, кн. I, стр. 229—234.

* **Примѣчаніе къ „Письму къ Александру II“** (Искандеръ).—Тамъ же, кн. I, стр. 252.

* **Reply to M. Colovin** (письмо въ редакцію отъ 14 февраля).—„The Morning Advertiser“.

* *Письмо въ редакцію.*—„The Globe“, 25 oct.

1856 г.

Изъ писемъ путешественника. *Во внутренности Англіи.* (Подписано В. Б.).—„С.-Петерб. Вѣд.“, № 91, 26 апрѣля, стр. 523—524.

Оба лучше. (Подписано В. Б.).—„С.-Петерб. Вѣд.“, № 206, 20 сентябрь, стр. 1138—1139.

* **Замѣтка о смерти П. Я. Чаадаева**. (И—ръ).— „Полярная Звѣзда“, кн. II, отдѣльный листъ.

* *Предисловіе.*—Тамъ же, кн. II, стр. I.

* **Впередъ! Впередъ!** (И—ръ).—Тамъ же, кн. II, стр. III—X.

* *Замѣтка безъ заглавія о воззрѣніяхъ Герцена на Европу.* (И—ръ).—Тамъ же, кн. II, стр. 211—215.

* **Отвѣты на два письма**. (И—ръ).—Тамъ же, кн. II, стр. 256—258; 263—267.

* **Предисловіе къ „Голосамъ изъ Россіи“**. Часть I. Лондонъ.

* **Предисловіе къ „Голосамъ изъ Россіи“**. Часть II. вып. I. Лондонъ.

1857 г.

* *Отъ издателя.* (И—ръ).—„Полярная Звѣзда“, кн. III, стр. III—IV.

* **Княгиня Екатерина Романовна Дашкова**. (И—ръ).—Тамъ же, кн. III, стр. 234—302.

** 3. **Еще варіація на старую тему**. (Искандеръ).—Тамъ же, кн. III, стр. 322—337.

* **Смерть Станислава Ворцеля**. (И—ръ). — Тамъ же, кн. III, стр. 338—345.

* *Предисловіе*. (Искандеръ). — „Колоколъ", № 1, 1 іюля, стр. 1—3.

Первый нумеръ „Колокола" вышелъ 1 іюля 1857 года. До 25 мая 1865 года газета выходила въ Лондонѣ, съ этого дня въ Женевѣ. Одновременно, въ 1863—1865 гг. въ Брюсселѣ, независимо отъ Герцена, выходилъ „La Cloche" подъ редакціей La Fontain'a, въ которомъ было перепечатано много статей Герцена изъ „Колокола". Въ іюлѣ 1867 года изданіе „Колокола" прекращается, въ августѣ выходитъ „Прибавочный Листъ". Въ 1868 г. „Колоколъ" издается на французскомъ языкѣ („Kolokol" (La Cloche). Revue du développement sociale, politique et littéraire en Russie), при чемъ прилагалось „Русское Прибавленіе". Въ 1868 г. вышло 15 №№ газеты и 7 №№ „Русскаго Прибавленія". Въ 1869 г. 15 февраля вышло „Supplément du „Kolokol". Въ 1907—8 гг. А. Н. Вакуловскимъ выпущено въ Спб. 22 №№ „Колокола". Первые 18 №№—точныя (фотоцинкографическія) копіи.

Въ этомъ отдѣлѣ нашего указателя мы отмѣчаемъ лишь то изъ „Колокола", что подписано Герценомъ, и то изъ неподписаннаго, что *безъ сомнѣнія* принадлежитъ ему. Въ скобкахъ приводится подпись; если ея нѣтъ, то, значитъ, статья не подписана.

Тѣ же изъ неподписанныхъ статей, которыя *съ извѣстною достовѣрностью* можно приписать Герцену, на что даетъ право ихъ стиль и языкъ, мы отмѣчаемъ въ отдѣлѣ: „Статьи, которыя можно приписать А. И. Герцену".

Въ нашемъ спискѣ статей Герцена изъ „Колокола" возможны пропуски, такъ какъ иногда нѣтъ возможности установить, какія изъ неподписанныхъ статей принадлежатъ ему. Главнымъ образомъ, это относится къ мелкимъ замѣткамъ.

** **Что сдѣлано для освобожденія крѣпостныхъ людей?**—Тамъ же, № 1, 1 іюля, стр. 3.

* **Августѣйшіе путешественники**. *Вдовствующая императрица*.—Тамъ же, № 1, 1 іюля, стр. 7—8.

** **Революція въ Россіи**. (И—ръ). — Тамъ же, № 2, 1 августа, стр. 11—14.

** **Москва и Петербургъ**. — Тамъ же, № 2, 1 августа, стр. 15—18.

** **Лобное мѣсто** (Искандеръ). — Тамъ же, № 3, 1 сентября, стр. 25—26.

* **Письмо къ императору Александру II**. (По поводу книги барона Корфа) (Искандеръ).—Тамъ же, № 4, 1 октября, стр. 27—31.

* **Нашимъ анонимнымъ корреспондентамъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 4, 1 октября, стр. 31—32.

* *Отъ издателя* (А. Герценъ).—Тамъ же, № 4, 1 октября, стр. 34.

** **Западныя книги** (И—ръ).—Тамъ же, № 6, 1 декабря, стр. 45—48.

* **Lettera a Mazzini** sulle presenti condizioni della Russia.—„L'Italia del Popolo", № 18.

* **Предисловіе къ „Голосамъ изъ Россіи"**. Часть III. Лондонъ.

1858 г.

* **Освобожденіе крестьянъ** (Искандеръ). — „Полярная Звѣзда", кн. IV, стр. III.

* **Отъ издателя къ „Судебнымъ сценамъ"** (И—ръ).—Тамъ же, кн. IV, стр. 7.

Опытъ бесѣды съ молодыми людьми (И—ръ).—Тамъ же, кн. IV, стр. 301—315.

* *Отъ издателя* (И—ръ) — тамъ же, кн. IV, стр. 326—332.

** **Что значитъ судъ безъ гласности** (И—ръ). — „Колоколъ", № 7, 1 января, стр. 56.

** **Замѣтка по поводу присланнаго письма о „Колоколѣ"**,—тамъ же, № 8, 1 февраля, стр. 65—66.

** **Черезъ три года** (Искандеръ).—Тамъ же, № 9, 15 февраля, стр. 67—68.

* **Лакеи и нѣмцы не допускаютъ**. (И—ръ).—Тамъ же, № 9, 15 февраля, стр. 74.

* **Саксонскому министру внутреннихъ дѣлъ**. (А. Герценъ).—Тамъ же, № 9, 15 февраля, стр. 74.

* **Ложный доносъ на насъ и безграмотный циркуляръ о нашихъ книгахъ**.—Тамъ же, № 10, 1 марта, стр. 81.

* **Солидарность** (И—ръ). — Тамъ же, № 10, 1 марта, стр. 82.

* **Не стыдно ли?** (И—ръ).—Тамъ же, № 10, 1 марта, стр. 82.

* **Ватерлоо 15 апрѣля 1858 года** (И—ръ).—Тамъ же, № 14, 1 мая, стр. 110.

** **Розги и розги!**—Тамъ же, № 15, 15 мая, стр. 107.

Матеріалы для некролога Авраамія Сергіевича Норова (И—ръ).—Тамъ же, № 15, 15 мая, стр. 124.

* **Словобоязнь** (И—ръ).—Тамъ же, № 16, 1 іюня, стр. 125.

Дворянство Сумскаго уѣзда.—Тамъ же, № 16, 1 іюня, стр. 131.

** **Тамбовское дворянство** (И—ръ). — Тамъ же, № 16, 1 іюня, стр. 132.

* **Право гражданства, пріобрѣтенное „Колоколомъ" въ Россіи** (И—ръ).—Тамъ же, № 17, 15 іюня, стр. 140.

** **1 іюля 1858 года** (Искандеръ).—Тамъ же, № 18, 1 іюля, стр. 141—143.

* **Письмо къ Александру II** (Искандеръ). — Тамъ же, № 21, 15 августа, стр. 169.

Въ этомъ 21 нумерѣ „Колокола" помѣщена статья „Опять надежды", которая вошла въ русское изданіе сочиненій Герцена и въ сборникъ статей Герцена изъ „Колокола", изданный подъ редакціей Л. Тихомирова въ Женевѣ въ 1887 году (см. выше), между тѣмъ эта статья принадлежитъ не Герцену, а Огареву, что видно изъ словъ послѣдняго въ статьѣ „Удѣль-

ные крестьяне не освобождены" („Колоколъ", 1858, № 23—24, 15 сентября).

** **А. Ивановъ.** (Искандеръ).—Тамъ же, № 22, 1 сентября, стр. 177—178.

* **Еще и еще разъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 22, 1 сентября, стр. 184.

* **Предостереженіе** (Искандеръ).—Тамъ же, № 23—24, 15 сентября, стр. 185.

* *Отъ редакціи* (И—ръ).—Тамъ же, № 23—24, 15 сентября, стр. 190.

* **Извѣщеніе объ изданіи „Записокъ" Екатерины II.**—Тамъ же, № 23—24, 15 сентября, стр. 200.

** **О бородѣ А. А. Иванова.**—Тамъ же, № 26, 15 октября, стр. 216.

* **Письмо къ императрицѣ Маріи Александровнѣ.** (Искандеръ).—Тамъ же, № 27, 1 ноября, стр. 217—219.

Насъ упрекаютъ. (И—ръ). — Тамъ же, № 27, 1 ноября, стр. 219—220.

* **Сѣкущее православіе** (И — ръ). — Тамъ же, № 27, ноября, стр. 224.

* *Передовая замѣтка.*—Тамъ же, № 28, 15 ноября, стр. 225.

** **Иванова борода и Гурьевъ лобъ.** — Тамъ же, № 28, 15 ноября, стр. 232.

** **Америка и Сибирь** (Искандеръ). — Тамъ же, № 29, 1 декабря, стр. 233—235. (Статья перепечатана въ „Новомъ Времени", 1905, № 10557).

** **Обвинительный актъ.** (И—ръ). — Тамъ же, № 29, 1 декабря, стр. 236.

** **Замѣтка по поводу письма гр. Гуровскаго.** (Искандеръ).—Тамъ же, № 29, 1 декабря, стр. 240.

* **Appel à la pudeur.** Издателямъ русскихъ газетъ. (И—ръ).—Тамъ же, № 30—31, 15 декабря, стр. 249, 251.

* **A l'illustre sénat de la ville libre de Francfort-sur-la-Main.** (Листокъ на французскомъ языкѣ, приложенный къ „Колоколу").

* **Предисловіе къ изданію сочиненій Кн. М. Щербатова—„О повреждении нравовъ" и А. Радищева—„Путешествіе изъ Петербурга въ Москву".** Лондонъ.

* **Предисловіе къ книгѣ — „14 декабря 1825 г. и императоръ Николай I".** Издано „Полярной Звѣздой" по поводу книги барона Корфа. Лондонъ.

1859 г.

* **Старыя письма.** (И—ръ).—„Полярная Звѣзда", кн. V, стр. 194—195.

Разговоръ съ дѣтьми. (И—ръ). Тамъ же, кн. V, стр. 252—260.

* **Опять объясненія.** (И—ръ). — „Колоколъ", № 32—33, 1 января, стр. 272.

** **Россія и Польша.** Отвѣтъ автору статьи о русской типографіи въ Лондонѣ. (Искандеръ).—Тамъ же, № 32—33, 1 января, стр. 257—260; № 34, 15 января, стр. 273—276; 1860, № 65—66, 15 марта, стр. 539—544; № 67, 1 апрѣля, стр. 555—558.

** **Генералы отъ цензуры и Викторъ Гюго на батареѣ Сальванди.** (Искандеръ).—Тамъ же, № 35, 1 февраля, стр. 290.

** **Отвѣтъ русской дамѣ** (Искандеръ).—Тамъ же, № 36, 15 февраля, стр. 291—293.

* **Отвѣтъ на письмо изъ Польши** (Искандеръ).—Тамъ же, № 37. 1 марта. стр. 299—302.

* **Еще и еще письма противъ обвинительнаго акта, помѣщеннаго въ 29 листѣ „Колокола“** (И—ръ).—Тамъ же, № 39, 1 апрѣля, стр. 315.

* **Джонъ Стюартъ Милль и его книга „On liberty“** (Искандеръ).—Тамъ же, № 40—41, 15 апрѣля, стр. 323—327.

* *Передовая замѣтка.*—Тамъ же, № 42—43, 1 и 15 мая, стр. 339.

* **Смѣсь**. *Замѣтка.* (И—ръ).—Тамъ же, № 42—43, 1 и 15 мая, стр. 358.

** **Война**. *Статья первая* (Искандеръ). — Тамъ же, № 44, 1 іюня, стр. 359—362.

** **Very dangerous!** (И—ръ). — Тамъ же, № 44, 1 іюня, стр. 363—364.

На углу (И—ръ).—Тамъ же, № 45, 15 іюня, стр. 374.

* **Поправка**. *Отъ редакціи.*—Тамъ же, № 47, 1 іюля, стр. 383.

** **Выговоръ по службѣ** (И—ръ). — Тамъ же, № 48, 15 іюля, стр. 395—397.

* *Отъ редакціи.*—Тамъ же, № 49, 1 августа, стр. 404.

* **Смѣсь**. *Замѣтка* (И—ръ).—Тамъ же, № 49, 1 августа, стр. 406.

* **Подъ судъ!** (Искандеръ, Огаревъ). — Тамъ же, № 49, 1 августа' стр. 406.

Миръ. *Вторая статья о войнѣ* (И—ръ).—Тамъ же, № 50, 15 августа, стр. 407—408.

** **Русскіе нѣмцы и нѣмецкіе русскіе** (И—ръ). *Отрывокъ первый.* Правительствующіе нѣмцы.—Тамъ же, 1859, № 53, 1 октября, стр. 431—433; *Отрывокъ второй.* Доктринерствующіе нѣмцы. — № 54, 15 октября, стр. 439—441; *Отрывокъ третій.* Варіаціи. — № 56, 15 ноября, стр. 459—461; *Отрывокъ четвертый.* — № 57—58, 1 декабря, стр. 467—470; *Отрывокъ пятый.* — № 59, 15 декабря. стр. 483—487.

* **Синхедріонъ московскихъ университетскихъ фарисеевъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 55, 1 ноября, стр. 452—454.

* **„Pas de rêveries!“, ведущее къ Faux pas!** (И—ръ).—Тамъ же, № 57—58, 1 декабря, стр. 478—479.

* *Отъ Искандера.*—Тамъ же, № 57—58, 1 декабря, стр. 482.

* **Предисловіе къ книгѣ — „Catherine II. Mémoires écrits par elle-même“**. Londres.

— **„Memoirs of the empress Catherine II“**, written by herself and edited with Preface by Alexander Herzen. London.

— **„Записки Екатерины II“**. Изд. Искандера. Переводъ съ французскаго. Лондонъ.

* **Предисловіе къ „Запискамъ кн. Е. Р. Дашковой“**. Переводъ съ англійскаго. Лондонъ.

* **Предисловіе къ „Историческому сборнику вольной русской типографіи въ Лондонѣ“**. Лондонъ. Стр. V—XVI.

* **Предисловіе къ книгѣ Grigorowitsch D. B. Die Fischer, ein Roman aus dem Russischen**. Hamburg.

* **Предисловіе къ „Голосамъ изъ Россіи“** (подписано—Искандеръ и Н. Огаревъ) ч. VI. Лондонъ.

1860 г.

* **1860 годъ** (И—ръ).—„Колоколъ“, № 60, 1 января, стр. 491—495.

* **Das Liefländische Athen** (И—ръ). — Тамъ же, № 61, 15 января, стр. 504—505.

" [illegible]. — Тамъ же, № 61, 15 января, стр. [illegible].

" **Замѣтка о „Przegląd Rzeczy Polskich"** (И—ръ). — Тамъ же, № 63, 15 февраля, стр. 529—530.

" **Ростовцевъ и Строгановъ** (Шпицберъ). — Тамъ же, № 64, 1 марта, стр. 531.

" [illegible] (И—ръ).—Тамъ же, № 64, 1 марта, стр. 532—533.

" **Опять разсѣ**—Тамъ же, № 64, 1 марта, стр. 537.

" [illegible].—Тамъ же, № 65—66, 15 марта, стр. 539.

" [illegible]. — Тамъ же, № 65—66, 15 марта, стр. 554.

" **La vérité sur la Russie** (И—ръ). — Тамъ же, № 70, 1 іюня, стр. 590.

" **Библіотека** [illegible] (И—ръ).—Тамъ же, № 71, 15 іюня, стр. 595—596.

" **За пять лѣтъ** (И—ръ)— Тамъ же, № 72, 1 іюня, стр. 599—600.

" **Религіозное значеніе „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей"** (И—ръ).—Тамъ же, № 73—74, 15 іюня, стр. 614.

" [illegible]. — Тамъ же, № 73—74, 15 іюня, стр. 620.

" **Роста папій** (И—ръ).—Тамъ же, № 75, 1 іюля, стр. 623.

" **Русская музыка въ Лондонѣ** (И—ръ). — Тамъ же, № 76, 15 іюля, стр. 637—638.

" **Письмо къ генералъ-адъютанту Зиновьеву** (Изъ „Колокола").—Тамъ же, № 77—78, 1 августа, стр. 654.

" [illegible]. — Тамъ же, № 77—78, 1 августа, стр. 654.

" **Записки Н. В. Лопухина** (И—ръ). — Тамъ же, № 79, 15 августа, стр. 655—656.

" **Послѣдній удѣлъ** (И—ръ)—Тамъ же, № 82, 1 октября, стр. 692.

" **Богъ-вандалъ и богъ-саранча** (И—ръ). — Тамъ же, № 83, 1 октября, стр. 693—694.

" **Лишніе люди и желѣзныя** (И—ръ). — Тамъ же, № 83, 15 октября, стр. 699—702.

" **Вольное русское книгопечатаніе за границей.** — Тамъ же, № 83, 15 октября, стр. 698.

" **Сербы и чехо-моравцы** (Шпицберъ). — Тамъ же, № 84, 1 ноября, стр. 695—696.

" **А. С. Хомяковъ**—Тамъ же, № 84, 1 ноября, стр. 704.

" [illegible] (И—ръ).—Тамъ же, № 85, 15 ноября, стр. 706—709.

" **Предисловіе къ „Запискамъ Н. В. Лопухина"**. Лондонъ.

" **Предисловіе къ сочиненію Ж. Санда—Похожденія Грибуля**. Переводъ съ французскаго. Лондонъ, стр. VII—XI.

" **Предисловіе къ „Голосамъ изъ Россіи"** (подписано К. Гогоцкій, И. Огаревъ и Н. Тучковъ). Лондонъ.

1861 г.

" **К. С. Аксаковъ** (И—ръ)—„Колоколъ", № 90, 15 января, стр. 758.

" [illegible] (И—ръ)—Тамъ же, № 91, 1 февраля, стр. 765—768.

" **Наканунѣ** (И—ръ). — Тамъ же, № 93, 1 марта стр. 777.

" **Духу — достало** (И—ръ)—Тамъ же, № 94, 15 марта, стр. 791.

* **Vivat Polonia!** (И—ръ).—Тамъ же, № 94, 15 марта, стр. 789—791.

** **Манифестъ!** (И—ръ).—Тамъ же, № 95, 1 апрѣля, стр. 797.

* *Отъ издателей.*—Тамъ же, № 95, 1 апрѣля, стр. 803—804.

* **10 апрѣля 1861 года и убійство въ Варшавѣ.** (Искандеръ).—Тамъ же, № 96, 15 апрѣля, стр. 805—806.

* **Mater Dolorosa** (Искандеръ). — Тамъ же, № 97, 1 мая, стр. 813.

* **Отвѣтъ на письмо Гарибальди** (А. Герценъ).—Тамъ же, № 97, 1 мая, стр. 814.

* **Отеческій совѣтъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 98—99, 15 мая, стр. 822—823.

* **12 апрѣля 1861. (Апраксинскія убійства)** (И—ръ).—Тамъ же, № 101, 1 іюня, стр. 848—849.

* **Письмо къ издателю „Przegladu rzeczy Polskich"** (Искандеръ).—Тамъ же, № 101, 14 іюня, стр. 852.

* **Польскій адресъ** (Искандеръ). — Тамъ же, № 103, 15 іюля, стр. 861.

* **Русскія женщины—женщинамъ польскимъ.** Тамъ же, № 103, 15 іюля, стр. 861.

* **Крестный ходъ бого-мокрицъ въ гору просвѣщенія.**—Тамъ же, № 103, 15 іюля, стр. 868.

* **Заводите типографіи! Заводите типографіи!**—Тамъ же, № 105, 15 августа, стр. 877.

* **Ископаемый епископъ, допотопное правительство и обманутый народъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 105, 15 августа, стр. 877—879.

Repetitio est mater studiorum (И—ръ).—Тамъ же, № 107, 15 сентября, стр. 893—895.

* **Подметныя письма** (А. Герценъ).—Тамъ же, № 108, 1 октября, стр. 908.

* **Бруты и Кассіи III отдѣленія** *(Письмо къ русскому послу въ Лондонѣ)* (А. Герценъ).—Тамъ же, № 109, 15 октября, стр. 909.

* **Польскимъ изгнанникамъ въ Генуѣ** (И—ръ).—Тамъ же, № 109, 15 октября, стр. 916.

* **Исполинъ просыпается.** (Искандеръ). — Тамъ же, № 110, 1 ноября, стр. 917—918.

* **По дѣлу Брутовъ и Кассіевъ III отдѣленія** (И—ръ). Тамъ же, № 111, 8 ноября, стр. 932.

* **Третья кровь!** (И—ръ).—Тамъ же, № 112, 15 ноября, стр. 933.

* *Передовая замѣтка о Бакунинѣ.*—Тамъ же, № 113, 22 ноября, стр. 941.

* **По поводу студентскихъ избіеній** (И—ръ).—Тамъ же № 113, 22 ноября, стр. 941—942.

* **Оклеветанный графъ** (И—ръ).—Тамъ же. № 116, 15 декабря, стр. 965.

* **По поводу письма изъ Волыни.** (И—ръ). Тамъ же, № 116, 15 декабря, стр. 965—966.

Изъ воспоминаній объ Англіи. (Подписано *Н. Огурчиковъ*).—„Искра", № 24, стр. 349—354.

* **Caribaldi and the Warsaw Massacre** (письмо въ редакцію отъ 16 апрѣля).—„The Daily News".

* **Caribaldi and the Warsaw Murders** (письмо въ редакцію отъ 20 апрѣля).—Тамъ же.

1862 г.

** **Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ** (Искандеръ).—„Полярная Звѣзда", кн. VII, вып. II, стр. 7—56.

** **Mortuos plango** (И—ръ).—„Колоколъ", № 118, 1 января, стр. 981—983.

** **М. А. Бакунинъ** (И—ръ). Тамъ же, № 119—120, 15 января, стр. 989—990.

* **Годовщина 14 декабря въ Петербургѣ** (И—ръ).—Тамъ же, № 119—120, 15 января, стр. 1002.

** **Мясо освобожденія** (И—ръ).—Тамъ же, № 121, 1 февраля, стр. 1005—1006.

* **Юбилей** (И—ръ).—Тамъ же, № 121, 1 февраля, стр. 1006—1007.

* **Ученая Москва** (И—ръ).—Тамъ же, № 125, 15 марта, стр. 1037.

** **Сенаторамъ и тайнымъ совѣтникамъ журнализма** (И—ръ.)—Тамъ же, № 130, 22 апрѣля, стр. 1077—1078.

* **Заявленіе по поводу фельетона „Сѣверной Пчелы"**. (И—ръ).—Тамъ же, № 131, 1 мая, стр. 1092.

* *Отъ издателей.* (А. Герценъ. Н. Огаревъ).—Тамъ же, № 133, 15 мая, стр. 1101.

* **Ultimatum**. (И—ръ).—Тамъ же, № 133, 15 мая, стр. 1101—1102.

* *Отъ издателей* (А. Герценъ. Н. Огаревъ).—Тамъ же, № 134, 22 мая, стр. 1116.

* **Письмо къ офицерамъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 135, 1 іюня, стр. 1117.

* **Москва намъ не сочувствуетъ** (И—ръ).—Тамъ же, № 135, 1 іюня, стр. 1117—1118.

* **Руфинъ Піотровскій** (И—ръ).—Тамъ же, № 135, 1 іюня, стр. 1118—1119; № 136, 15 іюня, стр. 1125—1127.

** **Личное объясненіе**. (Искандеръ). — Тамъ же, № 135, 1 іюня, стр. 1124.

* *Передовая замѣтка.*—Тамъ же, № 137, 22 іюня, стр. 1133.

** **Дурныя оружія**. (И—ръ).—Тамъ же, № 137, 22 іюня, стр. 1139—1140.

** **Концы и начала**. (И—ръ).—Тамъ же, № 138, 1 іюля, стр. 1141—1144; № 140, 1 августа, стр. 1157—1160; № 142, 22 августа, стр. 1173—1176; № 144, 8 сентября, стр. 1189—1191; № 145, 15 сентября, стр. 1197—1198; № 148, 22 октября, стр. 1222—1223; № 149, 1 ноября, стр. 1229—1232; 1863, № 154, 15 января, стр. 1278—1281; № 156; 15 февраля, стр. 1297—1299.

* **Молодая и старая Россія**. (Искандеръ).—Тамъ же, № 139, 15 іюля, стр. 1149—1151.

** **Письмо къ гг. Каткову и Леонтьеву**. (А. Герценъ).—Тамъ же, № 139, 15 іюля, стр. 1155—1156.

* *Отъ издателей.*—Тамъ же, № 139, 15 іюля, стр. 1156.

* **Аргольдъ, Сливицкій и Ростковскій**. (И—ръ).—№ 140, 1 августа, стр. 1157.

* *Отъ издателей.* (И—ръ). — Тамъ же, № 141, 15 августа, стр. 1165.

* **Журналисты и террористы**. (И—ръ). — Тамъ же, № 141, 15 августа, стр. 1165—1167.

* **Записки декабристовъ**. (И—ръ). — Тамъ же, № 143, 1 сентября, стр. 1182.

* **[illegible]тъ г. Поляку на статью и письмо**. (Издатели „Кол[illegible]—Тамъ же, № 144, 8 сентября, стр. 1195—1196.

* **Центральному польскому комитету въ Варшавѣ**. (Издатели „Колокола“).—Тамъ же, № 147, 15 октября, стр. 1213.

* **Русскимъ офицерамъ въ Польшѣ**. (Издатели „Колокола“).—Тамъ же, № 147, 15 октября, стр. 1213—1215.

* **Подтасованный наборъ**. (И—ръ). — Тамъ же, № 151, 1 декабря, стр. 1246.

* **Пути! Пути!** (Издатели „Колокола“). — Тамъ же, № 152, 15 декабря, стр. 1257.

* *Отъ издателей и Еще отъ издателей*. — „Общее Вѣче“, № 1, 15 іюля, стр. 1 и 8.

1863 г.

* **MDCCCLXIII**. (И—ръ). — „Колоколъ“, № 153, 1 января, стр. 1269—1270.

* **Оффиціальный контръ-адресъ**. (И-ръ [А. Герценъ]).—Тамъ же, № 153, 1 января, стр. 1271.

* **Expiatio !** (И—ръ).—Тамъ же, № 154, 15 января, стр. 1277.

* **Resurrexit !** (Искандеръ).—Тамъ же, № 155, 1 февраля, стр. 1286.

* **Братская просьба къ русскимъ воинамъ**. (И—ръ).—Тамъ же, № 155, 1 февраля, стр. 1288—1289.

* **Преступленія въ Польшѣ**. (Искандеръ). — Тамъ же, № 156, 15 февраля, стр. 1294—1295; № 157, 1 марта, стр. 1302—1304.

* **21 февраля 1863 года**. (И—ръ). — Тамъ же, № 157, 1 марта, стр. 1309.

* **Плачъ**. (И—ръ). — Тамъ же, № 158, 8 марта, стр. 1310—1311.

* **Great western.** (И—ръ). — Тамъ же, № 159, 15 марта, стр. 1314—1315.

* **Десятилѣтіе Вольной русской типографіи въ Лондонѣ**. (И—ръ) —Тамъ же, № 159, 15 марта, стр. 1316—1317.

* **Прокламаціи „Земли и Воли“**. (И—ръ). — Тамъ же, № 160, 1 апрѣля, стр. 1318.

* **1831 — 1863 гг**. (И—ръ). — Тамъ же, № 160, 1 апрѣля, стр. 1318—1321; № 161, 15 апрѣля, стр. 1327—1329; № 163, 15 мая, стр. 1343—1345.

* **Русскіе офицеры въ рядахъ инсургентовъ**. (И—ръ).—Тамъ же, № 161, 15 апрѣля, стр. 1326—1327.

* **Астрономъ, наблюдатель и миссіонеръ Хотинскій** (Издатели „Колокола“).—Тамъ же, № 161, 15 апрѣля, стр. 1333.

* **Первое мая**. (И—ръ). — Тамъ же, № 163, 15 мая, стр. 1341.

* **Чего они такъ испугались**. (И—ръ). — Тамъ же, № 163, 15 мая, стр. 1341—1343.

* **Доносъ на „С.-Петербургскія Вѣдомости“**. (И—ръ).—Тамъ же, № 163, 15 мая, стр. 1345—1346.

* **Подлые !** (И—ръ).—Тамъ же, № 166, 20 іюня, стр. 1365.

* **Польскій мартирологъ**. *Убіеніе плѣнныхъ и раненыхъ*. (И—ръ).—Тамъ же, № 167, 10 іюля, стр. 1373.

* **„День“ и „Колоколъ“**. — Тамъ же, № 166, 20 іюня, стр. 1370—1371.

* **„Колоколъ“ и „День“**. (И—ръ). — Тамъ же, № 167, 10 іюля, стр. 1374—1377.

* **Протестъ**. (И—ръ). — Тамъ же, № 168, 1 августа, стр. 1381—1382.

* **„День“ и „Колоколъ“.** (Искандеръ). — Тамъ же, № 168, 1 августа, стр. 1383—1386.

* **А дѣло идетъ своимъ чередомъ.** (И—ръ). — Тамъ же, № 168, 1 августа, стр. 1388.

* **Висѣлицы и журналы.** (И—ръ). — Тамъ же, № 169, 15 августа, стр. 1389—1390.

* **Выводъ изъ владѣнія.** (И—ръ). — Тамъ же, № 169, 15 августа, стр. 1389—1390.

* **Въ этапѣ.** (И—ръ). — Тамъ же, № 170, 1 сентября, стр. 1397—1399.

* **Post scriptum.** (И—ръ). — Тамъ же, № 170, 1 сентября, стр. 1399—1400.

** **Изъ заведенія А. А. Краевскаго.** (И-ръ).—Тамъ же, № 170, 1 сентября, стр. 1402—1403.

Старика Вѣдрина крѣпкое до польскихъ братій словцо.—Тамъ же, № 170, 1 сентября, стр. 1404. (Напечатано также въ „Вѣстникѣ Всемірной Исторіи“, 1901, кн. IX, стр. 181—183).

* **Чистая ложь.** (А. Герценъ). — Тамъ же, № 170, 1 сентября, стр. 1404.

** **М. С. Щепкинъ.** (И-ръ). — Тамъ же, № 171, 1 октября, стр. 1408—1410.

** **Съ континента.** *Письмо изъ Неаполя.* (И-ръ). — Тамъ же, № 173, 15 ноября, стр. 1422—1424.

* **Post scriptum.** (И-ръ).—Тамъ же, № 173, 15 ноября, стр. 1425.

* **Въ вѣчность грядущему 1863 году.** (И-ръ). — Тамъ же, № 175, 15 декабря, стр. 1437—1439.

** **Ввозъ нечистотъ въ Лондонъ.** (И-ръ). — Тамъ же, № 175, 15 декабря, стр. 1442—1443.

* *Письмо въ редакцію по поводу помѣщенной въ № 19 газеты замѣтки Касьянова о Бакунинѣ.*—„День“, № 25, 22 іюня, стр. 18—19.

* *Отъ издателей по поводу опубликованія „Записокъ“ кн. Трубецкого.* (И-ръ).—„Записки декабристовъ“. Лондонъ. Вып. II—III, стр. 183.

1864 г.

* **1864 г.** (И-ръ).—„Колоколъ“, № 176, 1 января, стр. 1446.

* **П. А. Мартьяновъ и земскій царь.** (И-ръ).—Тамъ же, № 176, 1 января, стр. 1448—1450.

* **Письмо къ Гарибальди.** (И-ръ).—Тамъ же, № 177, 15 января, стр. 1453—1456.

* **Отвѣтъ Гарибальди.** (И-ръ). — Тамъ же, № 178, 1 февраля, стр. 1461—1463.

* **Русская конституція и англійскій журналъ.** (И-ръ).—Тамъ же, № 178, 1 февраля, стр. 1467—1468.

* **Іосифъ Янковскій.** (И-ръ).—Тамъ же, № 180—181, 1 марта, стр. 1486.

** **Письма къ будущему другу.** (И-ръ).—Тамъ же, первое письмо—№ 180—181, 1 марта, стр. 1487—1489; второе письмо—№ 182, 20 марта, стр. 1496—1498; третье письмо—№ 184, 1 мая, стр. 1513—1516; четвертое письмо—№ 186, 15 іюня, стр. 1528—1530; пятое письмо—1866, № 213, 1 февраля, стр. 1741—1743.

* **Uncrowned king!** (И-ръ).—Тамъ же, № 183, 15 апрѣля, стр. 1508.

* **17 апрѣля 1864 года.** (А. Герценъ). — Тамъ же, № 184, 1 мая, стр. 1509—1510.

* **Н. Г. Чернышевскій**. (И-ръ).—Тамъ же, № 186, 15 іюня, стр. 1526.

* **VII лѣтъ**. (И-ръ). — Тамъ же, № 187, 15 іюля, стр. 1533—1535.

* **Die heilige tripel Allianz** (И-ръ). — Тамъ же, № 187, 15 іюля, стр. 1535—1536.

* **„Колоколъ“ на 1865 г**. (А. Герценъ. Н. Огаревъ).—Тамъ же, № 190, 15 октября, стр. 1557.

Camicia rossa. (И-ръ).—Тамъ же, № 188, 15 августа, стр. 1541—1546; № 189, 15 сентября, стр. 1553—1555; № 191, 15 ноября, стр. 1568—1572.

** **Письма къ противнику**. (И-ръ).—Тамъ же. Письмо первое—№ 191, 15 ноября, стр. 1563—1568; письмо второе—1865, № 193, 1 января, стр. 1586—1588; письмо третье—№ 194, 1 февраля, стр. 1593—1595.

* **Что же дальше?** (И-ръ).—Тамъ же, № 192, 1 декабря, стр. 1573—1577.

1865 г.

* **1865 годъ**, (А. Герценъ и Н. Огаревъ). — „Колоколъ“, № 193, 1 января, стр. 1581.

** **П. Ж. Прудонъ**. (И-ръ). — Тамъ же, № 194, 1 февраля, стр. 1596.

* **Прививка конституціонной оспы**. (И-ръ).—Тамъ же, № 195, 1 марта, стр. 1597—1599.

* **Письмо къ императору Александру II**. (Искандеръ).—Тамъ же, № 197, 25 мая, стр. 1613—1614.

* **Письма къ путешественнику**. (И-ръ). — Тамъ же, письмо первое—№ 197, 25 мая, стр. 1615—1618; письмо второе—№ 199, 1 іюля, стр. 1629—1631; письмо третье—№ 200, 15 іюля, стр. 1642—1644; письмо четвертое—№ 201, 1 августа, стр. 1646—1649; письмо пятое, № 202, 17 августа, стр. 1656—1659; письмо шестое—№ 203, 1 сентября, стр. 1662—1663.

* **Дѣло Серно-Соловьевича**. (И-ръ).—Тамъ же, № 200, 15 іюля, стр. 1637—1638.

* *Отъ издателей*. (А. Герценъ).—Тамъ же, № 203, 1 сентября, стр. 1661—1662.

* **Болтовня съ дороги**. (И-ръ).—Тамъ же, № 203, 1 сентября, стр. 1663—1664.

* **Въ редакцію „Инвалида“**. (И-ръ).—Тамъ же, № 204, 15 сентября, стр. 1669—1670.

Изъ V части „Былого и Думъ“. *Глава IV. Польскіе выходцы*. (И-ръ).—Тамъ же, № 205, 1 октября, стр. 1680—1682; № 207, 1 ноября, стр. 1693—1696.

* **Письмо къ издателю „Отголосковъ“**. (А. Герценъ).—Тамъ же, № 205, 1 октября, стр. 1684.

* **Двѣ кончины**. (И-ръ).—Тамъ же, № 208, 15 ноября, стр. 1701.

* **Запросъ гг. издателямъ русскихъ партикулярныхъ журналовъ**. (А. Герценъ и Н. Огаревъ).—Тамъ же, № 209, 1 декабря, стр. 1709.

* **Къ концу года**. (И-ръ).—Тамъ же, № 209, 1 декабря, стр. 1709—1712; № 210, 15 декабря, стр. 1717—1720.

1866 г.

* **Крѣпостники**. (И-ръ).—„Колоколъ“, № 211, 1 января, стр. 1730—1732.

* **Вранье „Дневника Варшавскаго“**. (И-ръ). — Тамъ же, № 212, 15 января, стр. 1740.

* **Ужасъ въ вражьемъ стану**. (И-ръ).—Тамъ же, № 214, 15 февраля, стр. 1749.

* **Дѣйствительный статскій совѣтникъ и кавалеръ М. С. Хотинскій**. *Эпизодъ изъ исторіи заморскаго шпіонства*. (И-ръ).—Тамъ же, № 215, 1 марта, стр. 1757—1760.

* **1789 г.** (И-ръ).—Тамъ же, № 217, 1 апрѣля, стр. 1773—1774.

* **Новости изъ Россіи**. (И-ръ).—Тамъ же, № 220, 15 мая, стр. 1797.

* **Письмо къ императору Александру II**. (Искандеръ).—Тамъ же, № 221, 1 іюня, стр. 1805.

* **Изъ Петербурга**. (И — ръ). — Тамъ же, № 221, 1 іюня, стр. 1806—1807.

* **Отъ государя кн. П. П. Гагарину**. (И—ръ).—Тамъ же, № 222, 15 іюня, стр. 1814—1815.

* *Отъ издателей*.—Тамъ же, № 222, 15 іюня, стр. 1820.

* **Итакъ, опять кровь и кровь**. (И—ръ). — Тамъ же, № 223, 1 іюля, стр. 1821—1822.

* **Польша въ Сибири и Каракозовское дѣло**. (Искандеръ).—Тамъ же, № 227, 1 сентября, стр. 1853—1854.

* *Передовая замѣтка*. (И—ръ).—Тамъ же, № 228, 1 октября, стр. 1861.

* **Америка и Россія**.—Тамъ же, № 228, 1 октября, стр. 1861—1862.

* **Заговора не было!** (И—ръ).—Тамъ же, № 229, 1 ноября. стр. 1869.

* **„Gmina“**. (И—ръ).—Тамъ же, № 229, 1 ноября, стр. 1875.

* **Порядокъ торжествуетъ**. (И—ръ).—Тамъ же, № 230, 1 декабря, стр. 1877—1881; 1867, № 231—232, 1 января, стр. 1885—1889; № 233—234, 1 февраля, стр. 1901—1905.

* **Неизданная глава изъ „Былого и Думъ“ о И. Головинѣ**. (Написана въ 1866 г.).—„Былое“, 1907, кн. V, стр. 1—23.

1867 г.

* *Передовая замѣтка объ „обществѣ поджигателей“*. (А. Герценъ).—„Колоколъ“, № 237, 15 марта, стр. 1933.

* **На площади Св. Марка**. (И—ръ). — Тамъ же, № 238, 1 апрѣля, стр. 1941.

* **Жаль**. (И—ръ).—Тамъ же, № 239, 15 апрѣля, стр. 1949—1950.

* **Письмо къ И. С. Аксакову**. (А. Герценъ). — Тамъ же, № 239, 15 апрѣля, стр. 1950—1951.

* **Отвѣтъ И. С. Аксакову**. (Искандеръ). — Тамъ же, № 240, 1 мая, стр. 1957—1961.

* **Частное дѣло**. (*Письмо къ В. П. Титову*). (А. Герценъ).—Тамъ же, № 242, 1 іюня, стр. 1977.

* **Выстрѣлъ 6 іюня**. (И—ръ).—Тамъ же, № 243, 15 іюня, стр. 1981.

* **Мазурка**. (И—ръ).—Тамъ же, № 243, 15 іюня, стр. 1981—1982.

** **Безъ связи**. *Отрывки изъ путешествія*. (И—ръ).—Тамъ же, № 241, 15 мая, стр. 1971; № 242, 1 іюня, стр. 1978—1979; № 243, 15 іюня, стр. 1985—1986.

* **Августѣйшіе путешественники**. *Статья вторая. Государь въ Avenue Marigny*. (И—ръ).—Тамъ же, № 243, 15 іюня, стр. 1986—1987.

* **1857—1867 гг.** (А. Герценъ, Н. Огаревъ). — Тамъ же, № 244—245, 1 іюля, стр. 1991.

* **Изъ письма къ М. Бакунину**. (И—ръ). — Тамъ же, № 244—245, 1 іюля, стр. 1992.

* **Березовскій**. (И—ръ).—Тамъ же, № 244—245, 1 іюля, стр. 1995—1996.

Апогей и Перигей. *Изъ IV части „Былого и Думъ"*. (И—ръ).—Тамъ же, № 244—245, 1 іюля, стр. 1997—2002.

* **Судъ въ Парижѣ и убійство въ Петербургѣ**. (И—ръ).—„Колоколъ". Прибавочный листъ къ первому десятилѣтію. 1 августа 1867, стр. 11.

* *Замѣтка о прекращеніи „Колокола"*. (И—ръ).—Тамъ же, стр. 13.

* *Письмо въ редакцію по поводу обвиненія въ участіи въ обществѣ поджигателей*.—„Москва", № 58, 14 марта.

Русская колонія въ Парижѣ (переводъ статьи Герцена, напечатанной въ „Paris-Guide par les principaux écrivains et artistes de France. Deuxième partie: La vie. Paris 1867. Le étrangers á Paris). — „Отеч. Записки", 1867, т. 174, кн. IX, отд. VIII (критическія замѣтки), стр. 30—35.

1868 г.

* **Предисловіе** (Alexandre Herzen, Nicolas Ogareff). — „Kolokol" („La Cloche"), № 1, du 1 Janvier, p. 1.

* **Un fait personnel** (Alexandre Herzen). — Ibidem, № 1, du 1 Janvier, p. 2—3.

* **Prolégomènes** (Iscander). — Ibidem, № 1, du 1 Janvier, p. 3—13.

* **Sommes-nous pour la guerre?** (Iscander).—Ibidem, № 3, du 1 Février, p. 33—34.

* **Mœurs Russes. Les fleurs Doubles et les fleurs de Minerve.** Fragment. (Iscander). — Ibidem, № 4, du 15 Février, p. 50—53.

** **Le docteur Kroupoff** (Iscander).—Ibidem, № 4, du 15 Février, p. 56—63; № 5, du 1 Mars, p. 68—71.

* *Передовая замѣтка* (A. Herzen).—Ibidem, № 5, du 1 Mars, p. 65.

* **L'imbroglio** (Iscander).—Ibidem, № 5, du 1 Mars, p. 65—66.

* **Communisme Russe** (I—r). — Ibidem, № 5, du 1 Mars, p. 66—67.

* **Faits divers. Arthur Beni** (A. Herzen). — Ibidem, № 5, du 1 Mars, p. 71.

* *Передовая замѣтка* (I—r). — Ibidem, № 6, du 1 Avril, p. 73—75.

** **Variations psychiatriques sur le thème du docteur Kroupoff.** Lettre du prosecteur T. Leviathanski au rédacteur du „Kolokol".—Ibidem, № 6, du 1 Avril, p. 82—85.

* *Передовая замѣтка* (Alexandre Herzen, Nicolas Ogareff).—Ibidem, № 7, du 15 Avril, p. 89.

* **Frisant la question polonaise.** *Article premier* (Iscander).—Ibidem, № 7, du 15 Avril, p. 89—94.

* **Pièces justificatives. Lettre aux officiers Russes qui se trouvent en Pologne** (Les rédacteurs du „Kolokol").—Ibidem, № 7, du 15 Avril, p. 95—98.

** **L'empereur Alexandre I et V. N. Karazine** (Iscander).—Ibidem, № 6, du 1 Avril, p. 76—78; № 7, du 15 Avril, p. 98—102; № 8, du 15 Mai, p. 110—117.

* **L'article de M. Charles Mazade** (I—r). —Ibidem, № 8, du 15 Mai, p. 105—106.

* **Nos grands morts commencent à revenir** (I—r).—Ibidem, № 9, du 15 Juin. p. 121—122.

* **Un conspirateur de 1825**. (I—r).—Ibidem, № 9, du 15 Juin, p. 128—132; № 10, du 15 Juillet, p. 143—148; № 11, du Août, p. 162—166.

* **A nos lecteurs** (I—r).—Ibidem, № 11, du 1 Août, p. 153.

* **La manie de délation** (I—r). — Ibidem, № 11, du 1 Août, p. 153—155.

* **Mazzini aux Polonais** (I—r). — Ibidem, № 12, du 15 Septembre, p. 169.

** **Cogitata et visa**. Fragment des Mémoires d'Iscander. *Quatrième volume* (1848- 1853). — Ibidem, № 12, du 15 Septembre, p. 177—182; № 13, du 15 Octobre, p. 192—198; № 14—15, du 1 Décembre, p. 225—231; „Supplément du „Kolokol", 1869, du 15 Février, p. 239—241.

* **Les Russes au congrès de Berne** (I—r). — Ibidem, № 13, du 15 Octobre, p. 185—186.

* **Lettre à N. Ogareff** (Alex. Herzen).—Ibidem, № 14—15, du 1 Décembre, p. 203—205.

* **A nos ennemis** (I—r). — Ibidem, № 14 -15, du 1 Décembre, p. 205—210.

* *Передовая замѣтка*. (И—ръ).—„Колоколъ". Русское Прибавленіе, 1868, № 1, 1 января, стр. 1—2.

В. И. Кельсіевъ. (И—ръ).—Тамъ же, стр. 4.

* **Письмо не для печати**. (И—ръ).—Тамъ же, № 3, 1 марта, стр. 9.

Скуки ради. (Подписано *I. Hіонскій*).—„Недѣля", № 48, стр. 1694 — 1700; 1869, № 10, стр. 310—317 и № 16, стр. 505—510. (Эта статья приложена А. Пятковскимъ къ его очерку—„Двѣ встрѣчи съ А. И. Герценомъ".—„Наблюдатель", 1900, кн. II, стр. 308—318). „Скуки ради" вошло, какъ начало статьи „Докторъ, умирающій и мертвые", въ „Сборникъ посмертныхъ статей", выпущенный въ 1870 году въ Женевѣ (см. выше).

1869 г.

* **Mon assassin futur et son calendrier** (A. Herzen).—„Supplément du „Kolokol" du 15 Février, p. 237—238.

* **Réponse á M. Wyrouboff** (Alex. Herzen). — Ibidem, p. 238—239.

* *Письмо въ редакцію по поводу сообщенія газеты о хлопотахъ въ Вѣнѣ черезъ священника Раевскаго о возвращеніи въ Россію*.—„Бирж. Вѣд.", № 71, 14 марта.

* *Письмо въ редакцію* по тому же поводу.—„Голосъ", № 95, 5 апрѣля.

** **Aphorismata по поводу психіатрической теоріи д-ра Крупова**. *Сочиненіе прозектора и адъюнкть-профессора Тита Левіаванскаго*.—„Полярная Звѣзда", кн. VIII, стр. 130—140.

** **Еще разъ Базаровъ**. (И—ръ). — Тамъ же, кн. VIII, стр. 141—160.

III.

Статьи, которыя можно приписать А. И. Герцену.

1. „Вятскія Губернскія Вѣдомости".

Герценъ прибылъ въ Вятку 19 мая 1835 года. 1 іюня онъ былъ назначенъ переводчикомъ Губернскаго Правленія, а въ сентябрѣ ему было поручено составленіе статистическаго очерка губерніи. „Вятскія Губерн. Вѣд." начали выходить въ январѣ 1838 года, когда Герцена уже не было въ Вяткѣ. Съ перваго года изданія газета печатаетъ цѣлый рядъ статистическо-бытовыхъ очерковъ, описывающихъ губернію. Въ примѣчаніи редакціи къ первому изъ нихъ— „Вотяки и Черемисы" сказано: „Изъ первой тетради статистической монографіи, составленной А. Герценомъ". (См. „Вят. Губ. Вѣд.", 1838, № 1, Прибавленіе № 1). Г-жа М—ва въ своей статьѣ—„Культурная дѣятельность Герцена въ провинціи" („Русская Мысль", 1900, кн. II, отд. I, стр. 1—13) приписываетъ Герцену и остальные, не подписанные очерки. Категорически утверждать этого, конечно, нельзя, но есть основанія предполагать, что, если не всѣ, то нѣкоторые изъ упомянутыхъ очерковъ принадлежатъ Герцену. Во-первыхъ, очерки однородны по своему характеру, во-вторыхъ, какъ мы уже отмѣтили, Герцену оффиціально было поручено составленіе описанія губерніи: какъ мы знаемъ изъ „Былого и Думъ" (Соч. т. II, стр. 183—184), никто другой не могъ взяться за это дѣло. Но такъ какъ это—предположеніе, то мы не рѣшились внести эти очерки въ предшествующую часть нашего списка, а указываемъ въ ней лишь то, что принадлежитъ Герцену несомнѣнно. А такими очерками являются лишь два—„Вотяки и Черемисы", на что указываетъ приведенное выше примѣчаніе, и продолженіе этого очерка—„Вотяцкія молитвы", въ примѣчаніи къ которому сказано: „Въ предшествующихъ №№ газеты мы сообщали свѣдѣнія о домашнемъ бытѣ полудикаго племени вотяковъ, теперь не излишнимъ считаемъ предложить нѣкоторыя изъ ихъ молитвъ, болѣе замѣчательныхъ" („Вят. Губ. Вѣд.", 1838, № 9, прибавленіе № 5, стр. 23). Въ настоящемъ отдѣлѣ нашего списка мы указываемъ и то, что можетъ быть предположительно приписано Герцену. Г-жа М—ва указываетъ слѣдующія статьи:

1838 г.

Русскіе крестьяне Вятской губерніи.—„Вятскія Губернскія Вѣдомости", № 7, прибавленіе № 4, стр. 17—19. (Эту статью

приписываетъ Герцену и А. Спицынъ въ книгѣ „Систематическій указатель статей мѣстнаго отдѣла неоффиціальной части „Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ (1838—1890), ч. II, стр. 42).

Преданіе о Елабужскомъ Чертовомъ городищѣ.—№ 7, прибавленіе № 4, стр. 19—20.

Географическое описаніе Вятской губерніи.—№ 19, Прибавленіе № 10, стр. 43—45; № 21, Прибавленіе № 11, стр. 49—53.

Историческое и статистическое описаніе г. Нолинска.—№ 25, прибавленіе № 13, стр. 63—66; № 27, прибавленіе № 14, стр. 68—70; № 29, прибавленіе № 15, стр. 72—74.

Состояніе народовъ въ Вяткѣ до времени Петра Великаго.—№ 41, прибавленіе № 21, стр. 100—112; № 43, прибавленіе № 22, стр. 113—116; № 45, прибавленіе № 23, стр. 118—120.

1842 г.

Нѣчто о характеристикѣ племенъ, обитающихъ въ Вятской губерніи.—№ 4, прибавленіе № 2, стр. 5—6.

Взглядъ на состояніе разныхъ вѣтвей хозяйства и промышленности жителей Вятской губерніи.—№ 12, прибавленіе № 6, стр. 32—34; № 14, прибавленіе № 7, стр. 35—37.

2. „Владимірскія Губернскія Вѣдомости“.

Герценъ прибылъ во Владиміръ 2 января 1838 года. Съ 30 января онъ начинаетъ принимать участіе въ „Владимірскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ“, а съ № 10, вмѣстѣ съ Д. В. Небабой, начинаетъ ихъ редактировать, что видно изъ заявленія самой редакціи въ прибавленіи № 1 за 1839 годъ (стр. 2). Послѣ смерти Д. В. Небабы, съ іюня 1839 года Герценъ редактируетъ газету одинъ. Всякое участіе его въ ней прекращается съ послѣднихъ чиселъ іюля. Въ апрѣлѣ 1840 года онъ уѣзжаетъ изъ Владиміра. Безъ сомнѣнія, какъ лицо, ведущее газету, Герценъ много писалъ въ ней, тѣмъ болѣе, что на первыхъ порахъ другихъ сотрудниковъ почти не было, что видно изъ заявленія редакціи, но статей не подписывалъ. Но тѣмъ не менѣе, можно съ извѣстной достовѣрностью указать написанное имъ. Въ № 44 части неоффиціальной за 1874 годъ (стр. 23) редакція въ статьѣ Тихонравова—„Замѣчательные дѣятели въ „Влад. Губ. Вѣд.“ съ начала ихъ существованія“ говоритъ: „Съ № 10 А. И. Герценъ постоянно участвуетъ въ губернской газетѣ трудами своими по разработкѣ оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ о губерніи за 1837 годъ и разными замѣтками по современной хроникѣ“. Если это замѣчаніе указываетъ въ общихъ чертахъ то, что писалъ Герценъ въ газетѣ, то вступительная замѣтка отъ редакціи въ прибавленіи № 1 за 1839 годъ, въ которой упоминаются всѣ сотрудники газеты и указывается, что принадлежитъ каждому изъ нихъ, позволяетъ съ большей достовѣрностью

указать то, что написано Герценомъ въ газетѣ въ 1838 году. Мы поступаемъ здѣсь такъ же, какъ поступили по отношенію къ „Вятскимъ Губ. Вѣд.“, т. е. во 2-ю часть указателя внесли лишь то, что принадлежитъ Герцену несомнѣнно и удостовѣряется подписью или иниціалами, здѣсь же указываемъ то, что съ извѣстной достовѣрностью можетъ быть отнесено къ его перу.

1838 г.

Владимірскій Успенскій Соборъ.—Прибавленіе № 10 стр. 49—50; № 11, стр. 53—54; № 12, стр. 56—61; № 13, стр. 65—68 № 14, стр. 71—73.

Нѣкоторыя свѣдѣнія объ уѣздныхъ городахъ Владимірской губерніи. *Покровъ*.—1838, прибавленіе № 15, стр. 77—79; № 16, стр. 82—83; *Александровъ*.—№ 17, стр. 86—87; № 18, стр. 89—91; *Шуя*.—№ 19, стр. 93—94; *Гороховецъ*.—№ 20, стр. 97—98; № 21, стр. 102—103; *Вязники*.—№ 22, стр. 106—107; № 23, стр. 110—111; *Суздаль*.—№ 24, стр. 114—116; *Судогда*.—№ 26, стр. 125—126; *Муромъ*.—№ 27, стр. 128—129, № 28, стр. 131—132; *Шуя*.—№ 31, стр. 144—146; *Переяславль-Залѣскій*.—№ 33, стр. 152—153; № 34, стр. 156—157; *Меленки*.—№ 35, стр. 160—162; № 36, стр. 164—165; *Ковровъ*.—№ 37, стр. 168—169; № 38, стр. 172—173; *Юрьевъ*.—№ 44, стр. 195—197; *Киржачъ*.—№ 45, стр. 201—202; *Гавриловскій посадъ*.—№ 50, стр. 220—221; № 51, стр. 224—225.

Замѣтка отъ редакціи о доставленіи ей матеріаловъ для описанія губерніи.—Прибавленіе № 16, стр. 81—82; № 17, стр. 85—86.

Флорищева Пустынь. — Прибавленіе № 24, стр. 113—114.

Грамоты во Флорищевской Пустыни. — Прибавленіе № 26, стр. 123—125, № 27, стр. 127—128.

Юрьевскій Георгіевскій Соборъ. — Прибавленіе № 31, стр. 143—144.

Церковь св. Георгія во Владимірѣ.—Прибавленіе № 31, стр. 144.

Краткое описаніе Муромскаго уѣзда. — Прибавленіе № 32, стр. 148—149.

Отъ редакціи.—Прибавленіе № 50, стр. 219—220.

1839 г.

Извѣстія. Владиміръ 13 января (о дворянскихъ выборахъ).—Прибавленіе № 2, стр. 5—6.

Смѣсь.—Прибавленіе № 2, стр. 6.

О состояніи и движеніи суммъ во Владимірскомъ приказѣ общественнаго призрѣнія.—Прибавленіе № 4, стр. 14—16; № 5, стр. 17—18; № 6, стр. 21—23; № 7, стр. 25—26.

Отъ редакціи.—Прибавленіе № 6, стр. 21.

Богоугодныя заведенія во Владимірской губерніи.—Прибавленіе № 10, стр. 37—38; № 11, стр. 42—44.

3. „Колоколъ“.

1857 г.

Кончина И. Д. Якушкина.—№ 5, 1 ноября, стр. 35.

Полицейскій разбой въ Москвѣ.—№ 5, 1 ноября, стр. 35.

Международная просьба.—№ 5, 1 ноября, стр. 41.

Москва.—№ 6, 1 декабря, стр. 43.

Паки и паки о князѣ Петрѣ Вяземскомъ.—№ 6, 1 декабря, стр. 49.

1858 г.

Императоръ и студенты.—№ 8, 1 февраля, стр. 59.

Охапка дровецъ старушки.—№ 8, 1 февраля, стр. 66.

Замѣтка по поводу смерти П. Н. Кудрявцева.—№ 9, 15 февраля, стр. 67.

Pas de rêveries! Pas de rêveries!—№ 16, 1 іюня, стр. 132.

Фанатикъ паспортовъ.—№ 17, 15 іюня, стр. 139.

Архипасторское рвеніе о мракѣ.—№ 17, 15 іюня, стр. 140.

Приложеніе крѣпостного права къ журналистикѣ.—№ 20, 1 августа, стр. 167.

Харьковская исторія.—№ 20, 1 августа, стр. 168.

Безобразное окончаніе харьковской студентской исторіи.—№ 22, 1 сентября, стр. 184.

Распространеніе іезуитизма въ Петербургѣ.—№ 22, 1 сентября, стр. 184.

Изъ Польши.—№ 23—24, 15 сентября, стр. 195.

1859 г.

Пьянство, возведенное въ православную и государственную обязанность.—№ 44, 1 іюня, стр. 364—365.

Замѣтка по поводу кончины И. И. Пущина.—№ 46, 22 іюня, стр. 375.

Еще о возведеніи пьянства въ православную и государственную обязанность.—№ 46, 22 іюня, стр. 382.

Правила для студентовъ Московскаго Университета.—№ 59, 15 декабря, стр. 488—490.

1860 г.

Изобличитель.—№ 62, 1 февраля, стр. 512.

Набѣгъ нѣмецкихъ татаръ на Тамбовскую губернію.—№ 67, 1 апрѣля, стр. 566.

Слово гр. Виктора Панина къ депутатамъ.—№ 68—69, 15 апрѣля, стр. 567.

Письма изъ Россіи.—№ 68—69, 15 апрѣля, стр. 567—569.

Императорскій кабинетъ и Муравьевъ-Амурскій.—№ 87—88, 15 декабря, стр. 721 и 742.

1861 г.

Тимашевъ, сидите дома, какъ Бейстъ, не ѣздите, какъ Гейнау.—№ 89, 1 января, стр. 752.

Сто пятнадцать благородныхъ офицеровъ.—№ 92, 15 февраля, стр. 769.

Панихида въ Петербургѣ.—№ 95, 1 апрѣля, стр. 797.

Т. Шевченко.—№ 95, 1 апрѣля, стр. 798.

Исправительныя письма.—№ 95, 1 апрѣля, стр. 802.

День страха.—№ 95, 1 апрѣля, стр. 804.

Смѣсь: *Рейтернъ, Александръ II и Муравьевъ съ Вислы. У Кокорева свой Хрулевъ. Царское самодержавіе и студентское самоуправленіе.*—№ 97, 1 мая, стр. 819—820.

Русская кровь льется.—№ 98—99, 15 мая, стр. 821.

Инквизиторъ Аскоченскій и его жертва.—№ 102, 1 іюля, стр. 860.

Храбрый Дренякинъ.—№ 104, 1 августа, стр. 876.

Гр. Муравьевъ-Амурскій и его поклонники.—№ 109, 15 октября, стр. 910—911.

1863 г.

Земля и воля.—№ 157, 1 марта, стр. 1302.

1864 г.

Они совсѣмъ сошли съ ума.—№ 179, 15 февраля, стр. 1469.

Правительственная агитація и журнальная полиція. *I. Herr Katkoff le grand. II. Рука Всевышняго брошюру разбросала*.—№ 190, 15 октября, стр. 1563—1564.

1865 г.

Нашимъ читателямъ.—№ 197, 25 мая, стр. 1620.

Агентство Герцена въ Тульчѣ и „Московскія Вѣдомости“.—№ 204, 15 сентября, стр. 1671.

Лжецы.—№ 206, 15 октября, стр. 1685.

Агентство въ Тульчѣ.—№ 207, 1 ноября, стр. 1693.

1866 г.

Князь Сергѣй Григорьевичъ Волконскій (*Предисловіе къ статьѣ П. Долгорукова*).—№ 212, 15 января, стр. 1733.

Николаевская желѣзная дорога и ея этико-политическая экономія. *Отъ издателей*.—№ 217, 1 апрѣля, стр. 1774.

Иркутскъ и Петербургъ.—№ 219, 1 мая, стр. 1789—1791.

Стихи и проза Некрасова.—№ 220, 15 мая, стр. 1803.

П. А. Мартьяновъ.—№ 224, 15 іюля, стр. 1829.

II.

Литература объ А. И. ГЕРЦЕНѢ.

I.

Русскіе источники.

I. Словари, сборники и книги, въ которыхъ говорится о Герценѣ.

1. Энциклопедическіе словари: Брокгауза и Ефрона, (т. 8, ст. *Арабажина*), т-ва „Просвѣщенія“ (т. 6) и др.

2. *Ровинскій.* Словарь. Другіе портреты въ „Альбомѣ выставки въ память Бѣлинскаго“. М. 1898.

3. *Геннади* Словарь.

4. *Березинъ-Ширяевъ.* Матеріалы, т. IX, стр. 276

5. *Тихонравовъ.* Замѣчательные дѣятели.

6. *Барсуковъ.* Жизнь и труды М. Погодина. (см. по указателю).

6а. *Никитенко А. В.* Дневникъ.

7. *Пыпинъ.* Исторія русской литературы (см. указатель въ IV томѣ).

8. *Ивановъ.* Исторія русской критики.

9. *Миллеръ.* Русскіе писатели послѣ Гоголя.

9а. Краткое обозрѣніе направленія періодическихъ изданій и газетъ и отзывовъ ихъ по важнѣйшимъ правительственнымъ и другимъ вопросамъ за 1862 г. Спб. (*Конфиденціальное изданіе*).

10. *Станкевичъ.* Грановскій и его переписка. Т. I. М. 1869—97.

11. *Пыпинъ А.* Бѣлинскій, его жизнь и переписка. 2 т. Спб. 1876—1907.

12. *Анненковъ.* Воспоминанія и критическіе очерки. Спб. 1877—1881. т. III.

13. *Т. П. Пассекъ.* Изъ дальнихъ лѣтъ. Спб. 1878—1906.

13а. *Сологубъ.* Воспоминанія. Спб. 1887.

14. *Семевскій В.* Крестьянскій вопросъ въ царствованіе Николая I. Отношеніе Герцена къ крестьянскому вопросу. См. „Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII в. и въ первой половинѣ XIX в.“ Т. II, гл. X. Спб. 1888.

15. *Невѣдѣнскій.* Катковъ и его время. Спб. 1888.

16. *Майковъ В.* Критическіе опыты. Стр. 280, 314, 343. Спб. 1889, а также „Сочиненія“. Кіевъ 1901.

17. *Пыпинъ*. Характеристики литературныхъ мнѣній отъ двадцатыхъ до пятидесятыхъ годовъ. Спб. 1890—1907.

18. *Колубовскій*. Дополненіе къ русскому переводу „Исторіи новой философіи" Ибервега-Гейнце. 1890 и 1899.

19. *А. Милюковъ*. Литературныя встрѣчи и знакомства. Спб. 1890.

20. *Панаева-Головачева*. Русскіе писатели и артисты. Спб. 1890.

21. *Скабичевскій*. Сочиненія. т. I. 1890—1903. („Три человѣка сороковыхъ годовъ" и „Сорокъ лѣтъ русской критики").

22. *Гиляровъ-Платоновъ*. Возрожденіе общ. любит. росс. словесности" 1891. стр. 148.

23. Анненковъ и его друзья. Спб. 1892.

24. Помощь голодающимъ. Сборникъ. М. 1892, въ статьѣ Е. Ф. Корша, стр. 517—529.

25. *Шелгуновъ Н.* Сочиненія. Изд. 1895. т. II, стр. 415—434, 647—652, 666—674.

26. Починъ. Сборникъ. Вып. I. М. 1895. Въ ст. *Е. С. Некрасовой*—„Н. П. Огаревъ", стр. 36—37, 42—72; „Изъ воспоминаній Н. М. Сатина", стр. 232—237; Вып. II. М. 1896. Ст. *Е. С. Некрасовой*—„Герценъ въ Вяткѣ", стр. 87—132; въ ст. „Письма В. Г. Бѣлинскаго къ М. В. Орловой", стр. 221—222, письмо № 16; въ ст. *А. А. Андреевой*—„И. С. Тургеневъ въ кругу французскихъ литераторовъ", стр. 559.

27. *Алексѣй Веселовскій*. Западное вліяніе въ новой русской литературѣ. М. 1896.

28. *Вѣтринскій Ч.* (Чешихинъ). Т. Н. Грановскій и его время. Истор. очерки. М. 1897. 2-е изд. Спб. 1905.

29. *Головинъ К.* Русскій романъ и русское общество. Спб. 1897. Ч. II, гл. V. Романъ Герцена „Кто виноватъ?"

30. *Страховъ*. Борьба съ Западомъ въ нашей литературѣ. т. I. Спб. 1897—1898.

30а. *Бѣлоголовый Н. А.* Воспоминанія. М. 1897—1898.

31. *Д. А. Корсаковъ*. Былое изъ казанской жизни. Казань. 1898.

32. *Бурцевъ*. Описаніе рѣдкихъ книгъ. Спб. 1898—1899.

33. *Сергѣенко П.* Какъ живетъ и работаетъ Л. Н. Толстой. (отзывъ о Герценѣ). М. 1898.

34. Современный календарь на 1898 годъ Ступина. (съ портретомъ Герцена).

35. *Вѣтринскій Ч.* Въ сороковыхъ годахъ. М. 1899.

36. *Некрасова Е.* Смерть Н. А. Герценъ. Изъ дневника А. И. Герцена.—„Памяти Бѣлинскаго". Сборникъ. М. 1899, стр. 241—245.

37. Отчеты Румянцевскаго Музея за 1899 г., стр. 48. М. 1900; за 1900 г., стр. 30. М. 1901; за 1902 г., стр. 40—41. М. 1903; за 1903 г., стр. 50—51. М. 1904; за 1906 г., стр. 38—48, 155—179. М. 1907.

38. *Волынскій*. Борьба за идеализмъ. Стр. 236—253. Спб. 1900.

39. Галлерея русскихъ писателей. Изд. Скирмунта. М. 1901. Стр. 212—217.

40. *Шелгунова Л.* Изъ далекаго прошлаго. Спб. 1901. Стр. 90—92.

41. *Милюковъ П.* Изъ исторіи русской интеллигенціи. Спб. 1902. Стр. 169—175.

42. *Морозовъ П.* Минувшій вѣкъ. Литературные очерки. Стр. 444—524. Спб. 1902.

43. *Энгельгардтъ Н.* Исторія русской литературы XIX ст. Спб. 1902, т. I, гл. IV и V.

44. *Бородкинъ*. Славянофильство Тютчева и Герцена. Спб. 1902. (Отзывъ объ этой книгѣ въ „Вѣстн. Евр.“, 1902, т. 3, кн. VI, стр. 877—880).

45. Литературный архивъ, издан. *П. Картавовымъ*, стр. 68—72. Спб. 1902.

46. Отчетъ Имп. Публичной библіотеки за 1898 годъ. Спб. 1902. Стр. 203. (Письмо къ Люи Блану).

47. *Огарева-Тучкова*. Воспоминанія. М. 1903.

48. *Булгаковъ*. Отъ марксизма къ идеализму. Сборникъ. Спб. 1903. Стр. 161—194.

48а. *Иванюковъ И.* Паденіе крѣпостного права въ Россіи. 2-е изд. Спб. 1903.

49. *Козминъ Н.* Очерки по исторіи русскаго романтизма. Спб. 1903. Стр. 467—490.

49а. Главные дѣятели освобожденія крестьянъ. Подъ ред. *С. А. Венгерова*. Спб. 1903. Статья *А. К. Бороздина*.

49б. *Стасовъ*. Н. Н. Ге. М. 1904 (см. указатель).

50. *Бороздинъ А.* Литературныя характеристики XIX в. т. II, вып. I, стр. 74—88. Спб. 1904.

51. *Богучарскій В.* Изъ прошлаго русскаго общества. Спб. 1904.

52. *Андреевичъ*. Опытъ философіи русской литературы. Стр. 164—209. Спб. 1905.

52а. *Корниловъ А.* Крестьянская реформа. Спб. 1905.

53. *Драгомановъ*. Герценъ, Бакунинъ, Чернышевскій и польскій вопросъ. Казань 1906.

54. *Овсянико-Куликовскій*. Исторія русской интеллигенціи. Т. I-II. М. 1906 и 1907.

55. *Тунъ А.* Исторія революціонныхъ движеній въ Россіи. Спб. 1906.

56. *Нелидовъ Ѳ.* Очерки по исторіи новѣйшей русской литературѣ. Ч. I, стр. 65—382. М. 1906.

57. *Брикнеръ*. Исторія русской литературы. Спб. 1906. Ч. II.

58. *Ганжулевичъ*. Достоевскій и Герценъ въ исторіи русскаго самосознанія. Спб. 1907.

59. *Соловьевъ Е.* (Андреевичъ). Очерки по исторіи русской литературы XIX в. 3-е изд. Спб. 1907. Стр. 150—174.

60. *Коробка Н.* Опытъ обзора исторіи русской литературы. Часть III. Эпоха реалистическаго романа. Спб. 1907. Стр. 118—131.

61. *Кропоткинъ П.* Идеалы и дѣйствительность въ русской литературѣ. Спб. 1907. Стр. 294—300.

62. *Венгеровъ С.* Очерки по исторіи русской литературы. Спб. 1907, Стр. 245—262.

63. *Саводникъ В.* Очерки по исторіи русской литературы. XIX в. Ч. I, гл. VII. Изд. 3-е. М. 1907.

64. *Ивановъ-Разумникъ*. Исторія русской общественной мысли. Т. I, стр. 255—328. Спб. 1907.

65. *Писаревъ*. Статья о Шедо-Ферроти въ „Дополнительномъ выпускѣ къ „Сочиненіямъ Писарева“. Спб. 1907.

66. *Глинскій*. Борьба за конституцію. Историческіе очерки. Гл. XIII—XVI. Спб. 1908.

67. *Гершензонъ М.* Чаадаевъ. Жизнь и мышленіе. Спб. 1908.

68. *Лемке М.* Николаевскіе жандармы и литература 1826—1855 гг. Спб. 1908. Стр. 305.

69. *Гершензонъ М.* Исторія Молодой Россіи. М. 1908.

II. Книги и брошюры, спеціально посвященныя Герцену.

1. Письма Тургенева и Герцена къ А. А. Краевскому. Изъ собранія автографовъ Императорской Публичной Библіотеки. Спб. 1893. (Приложено также къ „Отчету Императорской Публичной Библіотеки за 1890". Спб. 1893).

2. *В. Д. Смирновъ.* А. И. Герценъ. Спб. 1897—1898. (Отзывы: 1) В. Я., въ „Русс. Вѣд.", 1897, № 269; 2) Ладожскаго, въ „Спб. Вѣд.", 1897, № 260; 3) въ „Книжн. Вѣстн.", 1897, № 34; 4) въ „Сынѣ Отеч.", 1898, № 248; 5) въ „Сѣв. Кур.", 1899, № 15; 6) въ „Русск. Богат.", 1898, № 1, стр. 40; 7) А. Фаресова въ „Истор. Вѣстн.", 1897, № 11).

3. *Батуринскій В.* А. И. Герценъ, его друзья и знакомые. Спб. 1904. (Отзывы о книгѣ: 1) А. Налимова въ „Литерат. Вѣстн.", 1903, кн. VII—VIII, стр. 274; 2) Б. А. въ „Всемірн. Вѣстн.", 1903, кн. XII, стр. 186—187: 3) въ „Русск. Богат.", 1904, кн. I, отд. II, стр. 20—21; 4) въ „Вѣстн. Евр.", 1903, т. VI, кн. XII на обложкѣ и 1904, т. I, кн. II, стр. 837—839; 5) „Русс. Мысль", 1904, кн. II, библіограф. отдѣлъ, стр. 43; 6) М. Гершензона въ „Научномъ Словѣ", 1904, кн. I, стр. 142—143; 7) С. А. въ „Мірѣ Божьемъ", 1904, кн. VIII, отд. II, стр. 100; 8) А. Е. въ „Историч. Вѣстн." 1904, т. 97, кн. IX, стр. 1029—1031; 9) въ „Правдѣ", 1904, № 2; 10) Коробки Н. въ „Вѣстн. и библіотекѣ самообразованія", 1904. № 9; 11) В-ва В. „Русск. Вѣд.", 1903, № 316).

4. *С. Н. Булгаковъ.* Душевная драма Герцена. Кіевъ 1905.

5. *Бѣлозерскій Н.* Герценъ, славянофилы и западники. Спб. 1905. (Отзывы: 1) Фомина А. въ „Истор. Вѣстн.", 1906, т. 103, кн. III, стр. 1044—1045; 2) въ „Новостяхъ", 1905, № 193; 3) въ „Восточн. Обозр." 1905, № 232).

6. *Гершензонъ* Соціально-политическіе взгляды Герцена. М. 1906. (Отзывъ М. Л. въ „Мірѣ Божьемъ", 1906, кн. VIII, библіограф. отдѣлъ, стр. 78).

7. *Діесперовъ.* Герценъ. М. 1906.

8. *Овсянико-Куликовскій Д. Н.* Герценъ. Характеристика. Спб. 1908.

III. Статьи и замѣтки о Герценѣ въ журналахъ и газетахъ.

1839 г.

1. Замѣтка о пожертвованіи Герценомъ эвдіометра Физическому кабинету Владимірской гимназіи.—„Влад. Губ. Вѣд.", прибавленіе № 3, стр. 11.

1846 г.

2. „Москвитянинъ", ч. I, № 2, стр. 186. (Рец. о *„Капризахъ и раздумьѣ"*).

3. „Москвитянинъ", ч. II, № 4, стр. 120.

4. „Библ. для чтенія", т. LXXV, отд. V, стр. 50. (О томъ же).

1847 г.

5. „Сынъ Отеч.", кн. IV, т. II, отд. VI, стр. 28—34 (Рец. о *„Кто виноватъ?"*).

1848 г.

6. *Бѣлинскій.*—„Современникъ", № 3, т. VIII, отд. III, стр. 3—13. (О томъ же) и въ Соч.

7. *Шевыревъ.*—„Москвитянинъ", ч. I, № 2, стр. 39 и 56.

1849 г.

8. „Современникъ", т. XIII, отд. III, стр. 21.

1862 г.

9. *Д. П.* Новые подвиги нашихъ лондонскихъ агитаторовъ.—„Русск. Вѣд.", № 9, стр. 425—438.

10. *С. Маковъ.* Письма по поводу ст. о русскихъ агитаторахъ.—„Наше Время", № 188.

11. *М. З.* Нѣсколько словъ по поводу нов. вопроса въ русск. публицистикѣ.—„Сынъ Отеч.", № 197.

12. *С. С. Громека.* Анапольское дѣло.—„Отеч. Зап.", № 6, т. CXLII, стр. 164—197.

13. Г. Герценъ и г. Огаревъ.—„Наше Время", №№ 166, 169, 189, 196, 248; 1863, № 8 и 11.

14. *А. Пятковскій.* Замѣтка на письмо А. И. Герцена къ русск. поелу въ Лондонѣ съ отвѣтомъ Д. К. Шедо-Ферроти.—„Книжн. Вѣстн.", № 7, стр. 167—168.

15. То же.—„Вилен. Вѣстн.", № 34.

16. *М. Катковъ.* Замѣтка для издателя „Колокола"—„Русск. Вѣсти.", № 6, стр. 834—852.

17. То же.—„Сынъ Отеч." № 180.

18. „Сѣв. Пчела", №№ 203 (ст. *А. Б.*), 212, 213 и 239 (по поводу предыдущ. статьи).

19. *Катковъ.*—„Книжн. Вѣстн." № 15 (тоже).

20. „Домашн. Бесѣда", № 32 („Герценъ—Искандеръ то-жъ").

21. „Сѣв. Пчела", № 232 (объ отношеніяхъ „Сѣв. Пчелы" къ Герцену и его „*Собачкамъ*").

22. „Сѣв. Пчела", № 143. (Мнѣнія объ А. И. Герценѣ и *о рѣчи*, сказан. имъ въ Вяткѣ).

23. *И К—ій.* А. Герценъ, онъ же Искандеръ.—„Вѣстн. Юго-Зап. и Зап. Россіи", т. II, № 6, отд. IV, стр, 226—231.

24. „Русск. Листокъ", №№ 32 и 33 (Первое слово русск. журналовъ о Герценѣ).

25. „Домашн. Бесѣда", № 49. (Дочь Герцена въ церкви).

26. *Свящ. Мих. Архангельскій.*—„Странникъ", т. IV, кн. 10, отд. III, стр. 161—170. (Рец. объ изд. въ Берлинѣ *біографіи Герцена).*

1863 г.

27. „День", № 25. (Письмо отъ кн. А. Голицына и Герцена).

28. „Кронштт. Вѣсти.", № 57. (Герценъ и Бакунинъ).

29. *А. Горошковскій.* Ворона въ соколиныхъ перьяхъ.—„Вѣстн. Юго-Зап. и Зап. Россіи", прилож. къ № 7.

30. „Вѣсть", № 6. (Негодованіе г. Герцена на Россію).

1865 г.

31. „Кіевлянинъ", № 102. (Свѣдѣнія о революціонномъ Тульчин. агенствѣ Герцена).

32. „Книжн. Вѣстн., № 24, стр. 477. (Рец. о „*Кто виноватъ?*")

33. *А. Шеллеръ.*—„Русск. Слово", № 12, стр. 1—15 (о томъ же).

1866 г.

34. „Книжникъ", № 2. (О „*Кто виноватъ?*").

1867 г.

35. *Д.* я Герцена и старообрядцы.—„Русск. Вѣстн.", № 3, стр.

36. „Домашн. Бесѣда“, № 6, стр. 212. (Герценисты и раскольники).
37. *М. Погодинъ*. Дорожныя записки.—„Русскій“, №№ 9 и 10.
38. То же.—„Кіевлянинъ“, №№ 64 и 65.
39. „Современ. Листокъ“, № 62. (Русскій прогрессистъ А. И. Герценъ.).
40. „Голосъ“, № 75. (Отъ ред. по поводу *письма Герцена* въ № 58 газ. „Москва“).
41. „Бирж. Вѣд.“, № 307. (Объ изданіи „*Колокола*“).
42. „Отеч. Зап.“, т. LXXIV, № 17, стр. 30—35; № 19, стр. 86—92; т. LXXV, № 22, стр. 113—125 и № 23, стр. 177—187. (Крит. замѣтки).

1868 г.

43. „Петерб. Газ.“ № 56. (Герцену по поводу изд. „*Колокола*“).
44. „Бирж. Вѣд.“, № 19. (Второй № „*Колокола*“).
45. „Современ. Листокъ“, № 19. (*„Колоколъ“* г. Герцена. Изъ письма Г. Н. Щербаня въ „Голосъ“).
46. „Домашн. Бесѣда“, № 25. (Герценъ и соціализмъ).
47. „Бирж. Вѣд.“, № 119. (По поводу *письма* гг. Герцена и Огарева, помѣщен. во 2-мъ № „*Новаго Колокола*“).

1869 г.

48. „Соврем. Листокъ“. №№ 19, 22 и 52. (Слухи о Герценѣ).
49. „Бирж. Вѣд.“, № 44. (По поводу будто бы раскаянія Герцена).
50. „Бирж. Вѣд.“, №№ 71, 73 и 95. (По поводу *письма* Герцена въ „Бирж. Вѣд.“ и его дѣятельности).
51. „Голосъ“. № 95. (Письмо Герцена).
52. „Русск. Вѣстн.“, т. LXXIX. № 1, стр. 264—290. Невольное объясненіе съ издателемъ „Колокола“ *Н. К. Рененкампфа*.

1870 г.

53. „Недѣля“, № 5, стр. 181—182. (Иностр. газеты о Герценѣ).
54. *Н. С.* Замѣтка: предсказаніе нынѣшней войны, сдѣлан. Герценомъ.—„Заря“, № 8, стр. 176—180.
55. *Н. Страховъ*, въ „Зарѣ“, № 3, стр. 92—127; № 4, стр. 72—106 и № 12, стр. 233—269. Отдѣльно въ книгѣ: „Борьба съ Западомъ въ нашей литер.“, т. I.
56. „Отеч. Зап.“, т. CLXXXVIII, № 2, стр. 373—381. (По поводу извѣстія о смерти Герцена).
56а. Очерки умственнаго развитія нашего общества—„Отеч. Зап.“, кн. X и XI.
57. „Бирж. Вѣд.“, № 27. (О смерти Герцена).
58. Тамъ же, № 173. (Былъ ли покойный Герценъ панславистомъ или нѣтъ?).
59. „Русск Вѣд.“, № 8. (Некр.).
60. „Спб Вѣд.“, № 13. (Некр.).
61. „Всеобщая Газета“, № 13. (Некр.).
62. *Нилъ Адмирари* въ „Голосѣ“, № 18.
63. „Вѣсть“, № 16.
64. „Домашн. Бесѣда“, № 12. (Нѣкоторыя подробности о смерти Герцена).
65. „Вѣстн. Евр.“, № 2, стр. 935—945. (Некр.).
66. *М. П. Погодинъ*. А. И. Герценъ.—„Заря“, № 2, стр. 75—95.

67. „Русск. Лѣтоп.“, № 3. (Некр.).
68. „Совр. Изв.“, № 10. (По поводу смерти А. И. Герцена).
69. *Д. Н. Свербеевъ.* Воспоминанія объ А. И. Герценѣ.—„Русск. Арх.“, № 3, стр. 673—686.

1871 г.

70. Д. Посмертное сочиненіе Герцена, въ „Русск. Вѣстн.“, № 2, стр. 804—816
71. *П. Щ.* Лучше поздно, чѣмъ никогда. (Сборникъ *посмертныхъ статей* А. И. Герцена).—„Русс. Вѣстн.“, № 8, стр. 647—665.
72. ***, въ „Бесѣдѣ“, № 7, стр. 106—118. (Изъ Рима. Сборникъ *посмертныхъ статей* А. И. Герцена).

1872 г.

73. *Т. П. Пассекъ.* Воспоминанія, въ „Русск. Стар.“, 1872, т. VI; 1873, т. VII; 1876, т. XV—XVII; 1877, т. XVIII—XX; 1878, т. XXI; 1879, т. XXVI; 1882, т. XXXIV; 1886, т. LII; 1887, т. LVI. То же въ отд. изд.

1874 г.

74. *Тихонравовъ К. Н.* Замѣчательные дѣятели въ „Владимірскихъ Губ. Вѣд.“ съ начала ихъ существованія. А. И. Герценъ.—„Влад. Губ. Вѣд.“, часть неофиціальная, № 44, стр. 2—3.
75. А. И. Герценъ, какъ сотрудникъ оффиціальнаго изданія. Изъ „Владим. Губ. Вѣд.“—„Москов. Вѣд.“; № 281.

1876 г.

76. „Русск. Стар.“, т. XVIII, стр. 273—296, 759—768. (*Письма* Герцена къ А. Л. Витбергу).
77. „Русск. Арх.“, № 3, стр. 311. (Русс. изданія за границей о Герценѣ).
77а. *Авдѣевъ.* Въ сороковыхъ годахъ. Повѣсть.—„Вѣстн. Евр.“, кн. №№ 9—11. (См. стр. 91 настоящей книги).

1880 г.

78. „Русск. Вѣстн“, № 8. (Сенъ-Симонъ).

1882 г.

79. „Русск. Мысль“, № 12, стр. 145—152. (Встрѣча съ Герценомъ).

1888 г.

80. *В. Буренинъ.* Герценъ и Огаревъ.—„Нов. Вр.“, № 2526.
81. *П. В. Анненковъ.* Идеалисты тридцатыхъ годовъ.—„Вѣстн. Евр.“, № 3, стр. 122—171; № 4, стр. 501—543.
81а. Чичеринъ и Герценъ.—„Русск. Арх.“, 1883, кн. I.

1884 г.

82. „Русск. Стар.“, т. XLII, № 5, стр. 435. (Въ статьѣ „Памятникъ имп. Александру II, сооружен. крестьянами и исполн. акад. П. П. Забѣлло“).

1885 г.

83. *И. П. Хрущовъ.* Изъ частнаго письма о Герценѣ.—„Русск. Архивъ“, № 9, стр. 96—97.
83а. *Таль Н. А. (Утина)* Жизнь за жизнь. Разсказъ.—„Вѣстн. Евр.“ кн. №№ 4—6 (см. стр. 207 настоящей книги).

1886 г.

84. *Гр. В. А. Соллогубъ.* Воспоминанія.—„Истор. Вѣстн.“, № 4, стр. 86.

84а. *Шелгуновъ Н.* Изъ прошлаго и настоящаго.—„Русск. Мысль“, кн. 1 и Сочин.

1887 г.

85. *Костенецкій.* Воспоминанія.—„Русск. Арх.“, № 1, стр. 111.

86. Письма Герцена къ Д. П. Голохвастову.—„Русс. Арх.“, № 8, стр. 519—522.

1888 г.

87. *А. Н. М.* А. И. Герценъ, гражданская его служба въ 1840—1841 гг.—„Русс. Стар.“, т. LVII, № 3, стр. 769—770.

88. Тамъ же, т. LVIII, № 6, стр. 702. (По поводу *объявленія* А. И. Герцена).

89. Изъ переписки недавнихъ дѣятелей.—„Русск. Мысль“, 1888, №№ 7, 8, 10, 11; 1889, №№ 1, 4, 10—12; 1890, №№ 3, 9, 10; 1891, №№ 6—8.

90. *А. Милюковъ.* Знакомство съ Герценомъ. — „Русск. Вѣстн.“, № 12, стр. 47—61 и въ отд. изд.

1889 г.

91. *А. Я. Головачева* (Панаева). Воспоминанія.—„Истор. Вѣстн.“, № 3, стр. 560—567; № 4, стр. 47—49 и въ отд. изд.

92. *В. Курута.* А. И. Герценъ. (Изъ матеріаловъ для его біографіи).—„Русс. Мысль“, № 5, стр. 1—16; № 6, стр. 1—19.

93. *Ар.*, въ „Русс. Вѣд.“, №№ 158 и 195. (По поводу предыдущей статьи).

94. *Некрасова.* А. И. Герценъ. Его замѣтки и наброски.—„Русск. Стар.“, т. LXI, № 1. стр. 173—180.

95. Тамъ же, стр. 181—182. (А. И. Герценъ и А. А. Герценъ).

96. *Письма* Герцена къ В. И. Кельсіеву.—Тамъ же, стр. 182—190.

97. *А. М-скій.* Герценъ и его корреспонденты. — „Русск. Вѣстн.“, № 4, стр. 130—153; № 5, стр. 272—297.

98. „Братское Слово“, т. II, № 19, стр. 696. (Герценъ о Кельсіевѣ и Гончаровѣ).

1890 г.

99. *В. Зотовъ.* Петербургъ въ сороковыхъ годахъ.—„Истор. Вѣстн.“, № 4, стр. 113—115.

99а. *Чуйко В.* Докторъ Круповъ и его теорія. (По поводу одной старинной повѣсти).—„Наблюдатель“, 1890, кн. XII.

100. *Н. А. Огарева.* Къ запискамъ Т. П. Пассекъ.—„Русск. Стар.“, т. LXV, № 1, стр. 229—232.

101. *Записки Н. А. Огаревой-Тучковой.*—Тамъ же, т. LXVIII, № 10, стр. 36—80.

1891 г.

102. *И. Залетный.* Критическія бесѣды.—„Русск. Богат.“, № 11, стр. 155—156.

103. „Русск Мысль“, № 1, стр. 10. (Бѣлинскій въ письмахъ къ Герцену).

104. „Книжки Недѣли“, № 2, Литерат. лѣтоп., стр. 190—192.

1892 г.

105. *А. Волынскій.* Литературныя замѣтки.—„Сѣв. Вѣстн.“, 1892, № 6, стр. 158—173, 183—185; 1893, № 10, стр. 138—140; 1894, № 4, стр. 103—115; 1895, № 5, стр. 263 и слѣд.

106. *Д. А. Корсаковъ.* Изъ литерат. переписки Кавелина.—„Русск. Мысль", № 1, стр. 104—138.

107. Тамъ же, № 7, стр. 88—89. (Письма А. И. Полевого къ Герцену).

108. *Протопоповъ.* Беллетр. и публиц.—тамъ же, № 11, стр. 150—151.

109. „Русск. Стар.", т. LXXIII, № 3, стр. 780—792. (Переписка Н. А. Герценъ съ А. Г. Кліентовой).

1893 г.

110. *Е. Некрасова.* А. И. Герценъ и Н. А. Захарьина.—„Русск. Мысль", № 1, стр. 98—142.

111. *Д. В. Григоровичъ.* Литературныя воспоминанія.—„Русск. Мысль", № 2, стр. 73—83.

112. *П. Г. Виноградовъ.* Т. И. Грановскій.—„Русск. Мысль", № 4, стр. 59, 63.

113. А. И. Герценъ и Н. А. Захарьина (ихъ переписка).—„Русск. Мысль", 1893, № 3, стр. 201—232; № 4, стр. 76—106; № 6, стр. 1—33; № 7, стр. 1—23; № 8, стр. 1—16; № 11, стр. 1—26; 1894, № 1, стр. 73—97; № 4, стр. 161—191; № 8, стр. 112—135.

1894 г.

114. Изъ новыхъ воспоминаній о Герценѣ.—„Вѣстн. Иностр. Литературы", кн. XII, стр. 63—70.

115. *Н. Ге.* Встрѣчи.—„Сѣв. Вѣстн.", № 3, стр. 235—240.

116. *Е. Некрасова.* Связка писемъ А. И. Герцена.—Тамъ же, № 7, стр. 185—204; № 8, стр. 15—35.

117. Изъ жизни и литературы.—Тамъ же, № 11, стр. 55—57.

118. Отрывки изъ „Дневника".—Тамъ же, № 11, стр. 181—186.

119. *М. М. Филипповъ.* Судьбы русск. философіи.—„Русск. Богат." № 9, стр. 150; № 11, стр. 51—56.

120. *С. Н. Южаковъ.* Хроника внутр. жизни.—Тамъ же, № 11, стр. 156—159.

121. *Н. А. Тучкова-Огарева.* Воспоминанія. — „Русск. Стар.", т. LXXXII, № 9, стр. 63—100; № 10, стр. 1—45; № 11, стр. 1—26; № 12, стр. 1—27.

122. „Книжки Недѣли", № 3, Литерат. лѣтоп., стр. 238—239.

123. Тамъ же, № 8, библ. отд., стр. 381—382.

1895 г.

124. *Е. Некрасова.* Юношескіе литературные труды Герцена. „Сѣв. Вѣстн.", № 9, стр. 89—122.

125. *А. О. Смирнова.* Записки. — „Сѣв. Вѣстн.", № 11, стр. 115—116 и въ отд. изданіи.

126. Тамъ же, № 12, стр. 249—262. (Изъ интимной переписки Герцена).

127. *Z.* Изъ переписки И. С. Тургенева съ А. И. Герценомъ въ 1867 г.—„Русск. Обозр." янв., стр. 111.

128. „Русск. Мысль", № 2, библ. отд., стр. 97. (О перепискѣ Герцена съ Тургеневымъ).

129. *Н. М. Павловъ.* Полемика Каткова съ Герценомъ.—„Русск. Обозр." май, стр. 308.

130. *Свящ. І. И. Фудель.* Одна изъ нашихъ слабостей (По поводу полемики Каткова съ Герценомъ).—Тамъ же, іюнь, стр. 899.

131. *Н. М. Павловъ.* Вынужденное объясненіе.—Тамъ же, авг., стр. 825.

132. Еще о М. Н. Катковѣ. (Замѣтки *К. Н. Цвѣткова* и *Н. М. Павлова*).—Тамъ же, окт., стр. 833.

133. *Н. М. Павловъ*, въ „Русс. Словѣ", №№ 118, 123 и 125.

134. *К. Н. Цвѣтковъ*. Еще о Катковѣ и Герценѣ.—Тамъ же, № 139.

135. *К. Н. Цвѣтковъ*. Добровольный отвѣтъ.—Тамъ же, № 244.

136. *Spectator*. Главная заслуга М. Н. Каткова.—„Русск. Обозр.", ноябрь, стр. 383.

137. *В. Н. Лясковскій*. Письмо въ редакцію.—Тамъ же, дек., стр. 1044.

138. „Книжки Недѣли", № 1, Литер. лѣтоп., стр. 202—203.

1896 г.

139. *К. И. Арабажинъ*. А. И. Герценъ. — „Русск. Стар.", т. LXXXV, № 2, стр. 413—424. Съ портр.

140. А. И. Герценъ. Его переписка съ Н. А. Захарьиной.—„Нов. Слово", 1896, № 1, окт., стр. 50—65; № 4, янв., стр. 108—133; № 5, февр., стр. 144—159; № 7, апр., стр. 123—137; № 9, іюнь, стр. 118—134; № 10, іюль, стр. 117—132; 1897, № 4, янв., стр. 119—138; № 5, февр., стр. 151—168; № 6, мартъ, стр. 50—66; № 8, май, стр. 103—118.

141. *С. К.*, въ „Нов. Словѣ", № 10, іюль, стр. 253.

142. *А. Н. Пыпинъ*. Послѣ Гоголя.—„Вѣстн. Евр.", № 2, стр. 808.

143. *П. Милюковъ*. Любовь у идеалистовъ тридцатыхъ годовъ.—„Русс. Вѣд.", №№ 276, 282, 289, 305, 335, 345.

144. „Книжки Недѣли", № 3, литерат. лѣтопись, стр. 278—279; № 5, литерат. лѣтопись, стр. 283—284.

145. *Н. Тучкова-Огарева*. Воспоминанія объ А. И. Герценѣ.—„Сѣв. Вѣстн.", №№ 2—4.

146. „Русск. Вѣд.", № 36. (Выдержки изъ ст. Арабажина и „Воспоминаній" Тучковой-Огаревой).

1897 г.

147. *Novus*. На разныя темы.—„Нов. Слово", № 7, апр., стр. 44.

148. „Русск. Вѣд.", № 78. (Выдержки изъ статьи Н. Н. Ге).

149. *В. Якушкинъ*, въ „Русск. Вѣд.", № 147.

150. Три встрѣчи съ Герценомъ. (Изъ воспоминаній Н. А. Бѣлоголоваго).—„Русск. Вѣд.", №№ 167 и 171 и въ отд. изд.

151. *Василій Цезъ*, въ „Русск. Стар.", т. XCII, № 11, стр. 273—277.

152. Тамъ же, № 12, стр. 477—495. (Письма А. Л. Витберга къ Герцену).

153. „Новости", № 168. (Выдержки изъ „Воспоминаній" Бѣлоголоваго.).

154. „Нов. Вр.", № 7655. (О томъ же).

155. „Сарат. Листокъ", № 135. (О томъ же).

156. „СПБ. Вѣд.", № 174. (О томъ же).

157. „Саратовскій Дневникъ", № 133. (О томъ же).

158. „Нов. Вр.", № 7760, прилож. (Къ характеристикѣ А. И. Герцена).

1898 г.

159. *Соловьевъ, Е.* Литературная дѣятельность А. И. Герцена.—„Научн. Обозр.", кн. VII, стр. 1148—1172.

159а. Литературный обзоръ.—„Научн. Обозрѣніе", кн. XI, стр. 1997—1999.

160. *Щепкина*. Воспоминанія.—„Русск. Вѣд.“, № 263.
161. *И. Ивановъ*. Исторія русск. критики.—„Міръ Божій“, № 3, и въ отд. изд.
162. *Н. Бѣлозерскій*, въ „Вѣстн. Евр.“, № 11, стр. 183.
163. *П. Ф. Гриневичъ*. Итогъ двухъ юбилеевъ.—„Русск. Богат.“, № 8.
164. „Русск. Мысль“, № 12, стр. 492 и 496.
165. „Нов. Вр.“, № 7906. (Выдержки изъ воспоминаній Саліаса) и № 7944. (Портр.)

1899 г.

166. *Бѣлозерскій Н.* Матеріалы для біографіи Герцена.—„Русс. Мысль“, кн. VIII, отд. II, стр. 146—154.
167. *Н. Огаревъ*, въ „Недѣлѣ“, № 46.
168. *Д. А. Корсаковъ*. Изъ жизни К. Д. Кавелина.—„Русск. Мысль“, № 5, стр. 32.
169. *Д. Михайловъ*. „Борьба съ Западомъ. Н. Н. Страхова“,—„Моск. Вѣд.“, № 24.

1900 г.

170. *Батуринскій В.* Матеріалы для біографіи А. А. Иванова и М. С. Щепкина.—„Вѣстникъ Всемірной Исторіи“, кн. XI. стр. 182—199.
171. Замѣтка о 30-лѣтіи со дня смерти Герцена.—„Вѣстн. Евр.“, т. I, кн. II, стр. 879—880.
172. *М—на П.* Изъ воспоминаній старой идеалистки о Герценѣ.—„Вѣстн. Евр.“, т. IV, кн. XI, стр. 88—130.
173. *Батуринскій В.* Герценъ и Тургеневъ.—„Истор. Вѣстн.“, т. 79, кн. I, стр. 203—228.
174. Мемуары Мальвиды фонъ Мейзенбугъ. — „Истор. Вѣстникъ“, т. 82, кн. X, стр. 359—360.
174а. *Порошинъ И.* Герценъ, какъ художникъ слова.—„Литерат. Вечера“.
175. *Милюковъ*. Памяти Герцена.—„Міръ Божій“, кн. II, отд. II, стр. 17—21.
176. *Пятковскій А.* Двѣ встрѣчи съ Герценомъ.—„Наблюдатель“, кн. II, стр. 288—307; кн. III, стр. 235—256; кн. IV, стр. 284—298.
177. *Богучарскій В.* А. И. Герценъ.—„Научное Обозрѣніе“, кн. VIII, стр. 1406—1420; кн. IX, стр. 1542—1548.
178. Тридцатилѣтіе смерти Герцена.—„Образованіе“, кн. II, отд. II, стр. 46—49.
179. *Морозовъ П.* Герценъ.—„Образов.“, кн VII—VIII, отд. I, стр. 60—84; кн. IX, отд. I, стр. 64—95.
180. *М—ва Н.* Культурная дѣятельность Герцена въ провинціи.—„Русск. Мысль“, кн. II отн. I, стр. 1—13.
181. *Л—ва С.* Новыя воспоминанія о Герценѣ.—„Русская Мысль“, кн. VII, отд. II, стр. 169—191.
182. Изъ записокъ барона Корфа.—„Русск. Старина“, т. 102, кн. V, стр. 277.
183. *Горнфельдъ*. Памяти Герцена.—„Русск. Богат.“, кн. I, отд. II, стр. 182—188.
184. *Л. М.* А. И. Герценъ.—„Курьеръ“, № 9.
185. Маленькія замѣтки. Либеральный „экзаменъ Россіи“. По поводу толковъ о Герценѣ.—„Моск Вѣд.“, № 47.
186. А. И. Герценъ.—„Недѣля“ (газета), № 3
187. *Перцовъ П.* Герценъ.—„Нов. Вр.“, № 8568.
188. Сообщеніе о чтеніи г. Боборыкинымъ своихъ воспоминаній о Герценѣ.—„Нов. Вр.“, № 8601.

189. Герценъ.—„Одесск. Новости“, № 4841.
190. *Old Gentleman.* Листки.—„Россія“, № 254.
101. *Дорошевичъ В.* Герценъ.—„Россія“, № 254.
192. *И.* А. И. Герценъ. По поводу 30-лѣтія со дня смерти.—„Русск. Вѣд.“, № 9.
193. Замѣтка о чествованіи 30-лѣтія смерти Герцена.—„Русск. Вѣд.“, № 13.
194. *Джаншіевъ Г.* Современники освобожденія крестьянъ.—„Русск. Вѣд.“, № 64.
195. *Шмурло.* Герценъ и Радищевъ.—„С.-Петерб. Вѣд.“, № 37.
196. *Додоновъ В.* Текущая журналистика.—„Сынъ Отеч.“, № 75.
197. Бесѣда съ гр. Л. Н. Толстымъ (отзывъ Л. Толстого о Герценѣ).—„Сѣверный Край“, № 12.
198. Корреспонденція изъ Ниццы.—„Сѣв. Край“, № 34.
199. *Арабажинъ.* Герценъ.—„Сѣв. Курьеръ“, № 72.

1901 г.

200. *Бѣлозерскій Н.* Герценъ и молодое поколѣніе.—„Вѣстн. Всемірн. Исторіи“, кн. II, стр. 166—172.
201. *Батуринскій В.* Герценъ и Тургеневъ.—„Вѣстн. Всемірн. Исторіи“, кн. II, стр. 34—57; кн. III, стр. 128—146; кн. IV, стр. 82—94; кн. V, стр. 176—202; кн. XI, стр. 1—21; кн. XII, стр. 111—131.
202. Два письма А. И. Герцена.—„Ежемѣсячныя Сочиненія“, кн. VI, стр. 85.
203. За шестнадцать лѣтъ. Письма И. С. Тургенева.—„Ежемѣсячныя Сочиненія“, кн. XII, стр. 306—308.
204. *Козминъ Н.* Изъ исторіи русской литературы тридцатыхъ годовъ.—„Извѣстія Отд. р. яз. и словесн. И. А. Наукъ“, т. VI, кн. IV, стр. 1—29.
205. Иностранцы о Россіи. Мемуары М. Мейзенбугъ.—„Истор. Вѣстн.“, т. 83, кн. II, стр. 736—747.
206. *Петровъ К.* Публицистъ-государственникъ. Катковъ.—„Истор. Вѣстн.“, т. 86, кн. XI, стр. 570, 571, 575, 576.
207. „А. Герцену“. Стихотв. Огарева.—„Лит. Вѣстн.“, кн. VIII, стр. 314—315.
208. Изъ русскихъ журналовъ (о статьѣ Батуринскаго).—„Міръ Божій“, кн. V, отд. II, стр. 27—29.
209. *Богучарскій В.* Столкновеніе двухъ теченій общественной мысли.—„Міръ Божій“, кн. XI отд. I, стр. 91—98.
210. *Бѣлозерскій Н.* Матеріалы для біографіи А. И. Герцена.—„Научное Обозрѣніе“, кн. VII, стр. 1—7.
211. Воспоминанія *В. А. Панаева.*—„Русск. Стар.“, т. 107, кн. IX, стр. 486 и 508; 1902, т, 110, кн. V, стр. 319—329; 1903, т. 113, кн. II, стр. 376—379.
212. Изъ хроники Московскаго университета. Исторія съ проф. Маловымъ.—„Русск. Арх.“, кн. I, № 2, стр. 316—324.
213. *Друцкій-Соколинскій.* Изъ моихъ воспоминаній.—„Русск. Арх.“, кн. I, № 4, стр. 683 и 684.
214. *Подарскій В.* Наша текущая жизнь. — „Русск. Богат.“, кн. XII, отд. II, стр. 195—216.
215. *Вергунъ Д.* Герценъ и славянскій вопросъ.—„Славянск. Вѣкъ“, № 19.
215а. *Боборыкинъ П.* Послѣдняя депеша. Разсказъ.—„Сборн. О-ва люб. росс. словесности“ на 1901 г. (см. 445 стр. настоящей книги).
216. *Павчинскій.* Памяти А. И. Герцена.—„Казбекъ“, № 942.

1902 г.

217. *Булаковъ.* Душевная драма Герцена.—„Вопр. филос. и психолог.", кн. 64 (IV), стр. 1249—1275; кн. 65 (V), стр. 1364—1378.

218. Русскіе писатели въ ихъ перепискѣ.—„Русск. Мысль" кн. XI, отд. I, стр. 143—166; кн. XII, отд. I, стр. 166—172.

219. *Басаргинъ А.* Герценъ, какъ славянофилъ.—„Моск. Вѣд.", № 12.

1903 г.

220. *Батуринскій В.* Герценъ, его друзья и знакомые.—„Всемірн. Вѣстн." 1903, кн. II, стр. 151—172; кн. III, стр. 56—89; кн. IV, стр. 61—100; кн. V, стр. 182—198; 1904, кн. I, стр. 150—156; кн. IV, стр. 1—9; кн. VII, стр. 41—78; кн. VIII, стр. 1—27; кн. IX, стр. 21—64; кн. XI, стр. 3—22; кн. XII, стр. 3—60; 1905, кн. I, стр. 16—35; кн. II, стр. 32—63; кн. III, стр. 21—51; кн. V, стр. 67—98; кн. VIII, стр. 1—48; кн. IX, стр. 1—30.

221. *Батуринскій В.* Въ началѣ сороковыхъ годовъ.—„Всемірн. Вѣстн.", кн. IV, стр. 210—237.

222. Кавелинъ и Герценъ.—„Всемірный Вѣстникъ", кн. VIII, стр. 22—63.

223. *Лозинскій Е.* Дѣтскіе годы и семейное воспитаніе А. И. Герцена.—„Вѣстн. Воспитанія", кн. VIII, отд. I, стр. 47—81.

224. *Романовичъ-Славатинскій А.* Моя жизнь и академическая дѣятельность. Знакомство съ Герценомъ.—„Вѣстн. Евр.", т. 2, кн. III, стр. 204—206.

225. Похороны Герцена. — „Міръ Божій", кн. II, отд. II, стр. 28—31.

226. Изъ русскихъ журналовъ. (О статьѣ Булгакова).—„Міръ Божій" кн. II, отд. II, стр. 45—49.

227. *Инсаровъ.* Изъ воспоминаній идеалистки.—„Міръ Божій", кн. V, отд. I, стр. 1—19.

228. *Гершензонъ М.* Исторія одной дружбы. Грановскій, Герценъ и Огаревъ.—„Научное Слово", кн. VIII, стр. 75—95; кн. IX, стр. 48—58.

229. *Гутьяръ Н.* И. С. Тургеневъ и Н. А. Некрасовъ.—„Русск. Стар." т. 113, кн. I, стр. 77—78.

230. Записки *Н. Г. Зальсова.*—„Русск. Стар.", т. 115, кн. VII, стр. 32.

231. Разрѣшеніе Герцену пріѣзжать въ Петербургъ. Сообщилъ А. В. Безродный.—„Русск. Стар.", т. 115, кн. IX, стр. 584.

232. *Гутьяръ Н.* Тургеневъ и польскій вопросъ.—„Русск. Стар.", т. 115, кн. IX, стр. 589 и 594.

233. *Стремоуховъ П.* Изъ воспоминаній о гр. П. А. Валуевѣ.—„Русск. Стар.", т. 116, кн. XI, стр. 280.

234. *Матвѣевъ П.* И. С. Тургеневъ. Изъ личныхъ воспоминаній.—„Русс. Стар.", т. 116, кн. XII, стр. 633 и 635.

235. *Некрасова Е.* Интересный документъ о Герценѣ.—„Бакинскія Извѣстія", № 7. (Статья перепечатана въ „Образованіи", 1903, кн. II, стр. 89—92).

236. *Б—скій В.* Изъ воспоминаній о Герценѣ (по поводу книги г. Батуринскаго „Герценъ, его друзья и знакомые").—„Нов. Вр.", № 9971, Приложеніе.

237. *Некрасова Е.* Похороны А. И. Герцена. По поводу годовщины смерти.—„Русск. Вѣд.", № 9.

238. *Некрасова Е.* Изъ заграничной жизни Герцена.—„Русск. Вѣд.", № 119.

239. Сообщеніе о рефератѣ Е. С. Некрасовой — „Артистъ М. С. Щепкинъ и А. И. Герценъ“.—„Русск. Вѣд.“, № 321.
240. О средствахъ Герцена (по поводу статьи Некрасовой).—„Міръ Божій“, кн. VII, отд. II, стр. 17.

1904 г.

241. *Воропоновъ Ѳ.* Сорокъ лѣтъ тому назадъ. По личнымъ воспоминаніямъ.—„Вѣстн. Евр.“ т. 4, кн. VII, стр. 24—30.
242. Сообщеніе о рефератѣ Е. С. Некрасовой о Герценѣ.—„Истор. Вѣст.“, т. 95, кн. I, стр. 379—381.
243. *Т—ва В. (Починковская О.).* Годъ работы съ знаменитымъ писателемъ (Достоевскимъ).—„Ист. Вѣстн.“, т. 95, кн. II, стр. 500.
244. Изъ русскихъ журналовъ.—(О статьѣ Некрасовой).—„Міръ Божій“, кн. III, отд. II, стр. 46—49.
245. *Богучарскій В.* Изъ русскихъ журналовъ (о статьѣ В. Батуринскаго).—„Міръ Божій“, кн. XII, отд. II, стр. 78—81.
246. *Гершензонъ М.* Литературное обозрѣніе (о статьѣ В. Богучарскаго).—„Научное Слово“, кн. VIII, стр. 144—148.
247. *Ашешовъ Н.* Новая книга о Герценѣ. Переломъ во взглядахъ Герцена. С. Булгаковъ объ этомъ переломѣ. „Колоколъ“ и его сотрудники.—„Образов.“, кн. I, отд. III, стр. 54—79.
248. *Некрасова Е.* Актеръ М. С. Щепкинъ и А. И. Герценъ.—„Русск. Мысль“, кн. I, отд. II, стр. 73—84.
249. *Некрасова Е.* Герценъ, его хлопоты о заграничномъ паспортѣ и послѣдняя поѣздка въ Петербургъ.—„Русск. Мысль“, кн. IX, отд. II, стр. 145—164; кн. XI, отд. II, стр. 36—60.
250. *Миргородскій С.* Изъ далекаго прошлаго.—„Сѣв.-Запад. Слово“, № 1829.

1905 г.

251. Отзывы объ изданіи „Сочиненій А. И. Герцена“: 1) П. Сакулина.—„Вѣстн. Воспит.“ 1906, кн. II, отд. II, стр. 1—3; 2) Переселенкова С.—„Вѣстн. и Библіотека Самообразованія“, 1905, № 50; 3) „Русск. Мысль“, 1906, кн. II, библіографич. отд., стр. 39—40; 4) „Русск. Богатство“, 1905, кн. VIII, отд. II, стр. 51—52; 5) Историка—„Наша Жизнь“, 1905, № 184; 6) Лемке Мих.—Тамъ же, № 280.
352. *Ашевскій С.* По поводу изданія сочиненій Герцена.—„Міръ Божій“, кн. XII, отд. I, стр. 182—199.
253. *Измайловъ А.* Сочиненія Герцена. Литературныя замѣтки.—„Бирж. Вѣд.“, № 8949.
254. *Брусиловскій И.* Сочиненія Герцена.—„Кіевск. Отклики“, № 209.
255. *Могилянскій М.* По поводу одного газетнаго объявленія. Изданіе сочиненій Герцена.—„Кіевск. Отклики“, № 104.
256. *В. К.* Объ изданіи сочиненій Герцена.—„Кіевск. Отклики“, № 12.
257. *Арскій.* Литературныя новинки.—„Новости Дня“. № 7851
258. *Чужой.* На разныя темы. По поводу изданія сочиненій Герцена.—„Одесск. Новости“, № 6635.
259. *Линниченко И.* По поводу русскаго изданія сочиненій Герцена.—„Одесск. Новости“, № 6770.
260. *Геккеръ Н.* Литературныя замѣтки. Сочиненія Герцена.—„Одесск. Новости“, № 6751.
261. *И.* Литературные отголоски. Сочиненія Герцена.—„Русск. Вѣд.“, № 221.

262. Замѣтка по поводу выхода сочиненій Герцена.—„Русск. Вѣд.“, № 206.

263. *Боцяновскій В.* Герценъ вышелъ!..—„Русь“, № 168.

264. *Книголюбецъ.* По поводу изданія сочиненій Герцена.—„Сынъ Отеч.“, № 53.

265. *Яковенко В.* По поводу предварительной записи на собраніе сочиненій Герцена. Письмо въ редакцію.—„Сынъ Отеч.“, № 63.

265. *Амфитеатровъ А.* Памяти великаго публициста.—„Вѣстникъ и Библіотека Самообразованія“, № 32 и № 33.

267. *Макшеева А.* Памяти Герцена. Стихотв.—„Всемірн. Вѣстн.“, кн. I, стр. 205—206.

268. *Макшеева А.* Дѣтскіе и отроческіе годы Герцена.—„Всемірн. Вѣстн.“ кн. X, стр. 1—27; кн. XI, стр. 86—106.

269. *Макшеева А.* Студенческіе годы Герцена.—„Всемірн. Вѣстн.“, кн. XII, стр. 59—82.

270. *Богучарскій В.* Изъ русскихъ журналовъ (о статьѣ В. Батуринскаго).—„Міръ Божій“, кн. I, отд. II, стр. 47—48.

271. *Гершензонъ М.* Литературное Обозрѣніе.—„Научное Слово“, кн. VIII—IX, стр. 170—179; кн. X, стр. 94—103.

272. *Вѣтринскій Ч.* Герценъ за границей. Статья Фридриха Альтгауза.—„Русск. Мысль“, кн. XI, отд. II, стр. 111—135.

273. *Рейнгардъ Н.* Чернышевскій по воспоминаніямъ и разсказамъ разныхъ лицъ.—„Русск. Стар.“, т. 121, кн. II, стр. 455—457, 470 и 475.

274. *Носковъ Н.* Памяти Герцена. Къ 35-лѣтію со дня кончины.—„Бирж. Вѣд.“, № 8621.

275. *Дубровскій К.* Памяти Герцена. Стихотв.—„Восточн. Обозр.“, № 7.

276. *Dieudonné.* Герценъ.—„Восточ. Обозр.“, № 7.

277. *И. Ж.* А. И. Герценъ. Къ тридцатилѣтію со дня его смерти.—„Наша Жизнь“, № 66.

278. *Овсянико-Куликовскій Д.* А. И. Герценъ.—„Наша Жизнь“, № 87.

279. *Овсянико-Куликовскій Д.* Западничество и славянофильство Герцена.—„Наша Жизнь“, № 129.

280. *Овсянико-Куликовскій Д.* Національнизмъ и соціализмъ Герцена.—„Наша Жизнь“, № 146.

281. *Овсянико-Куликовскій Д.* Русскій мессіанизмъ Герцена.—„Наша Жизнь“, № 168.

282. *Горифельдъ А.* Герценъ и русскіе читатели.—„Наши Дни“, № 22.

283. Портретъ Герцена. Замѣтка.—„Новости“, № 179.

284 Герценъ въ Германіи.—„Новости“, № 207.

285. *Арскій.* А. И. Герценъ.—„Новости Дня“, № 7985.

286. *С. Ш.* А. И. Герценъ. Къ 35-лѣтію со дня смерти.—„Одесск. Новости“, № 6527.

287. Замѣтка о переводѣ на нѣмецкій языкъ сочиненія Герцена.—„Русск. Вѣд.“, № 124.

288. *Бѣлявскій Ф.* Судьба Герцена, какъ публициста.—„Слово“, № 38.

289. *Грибовскій В.* Герценъ, какъ основатель народничества.—„Слово“, № 38.

290. Отъ редакціи. Замѣтка по поводу помѣщенія портрета Герцена.—„Слово“, № 41.

291. Герценъ. Къ 35-лѣтію его смерти.—„Слово“, Прилож. къ № 42.

292. *Кентъ*. Воскресшій писатель.—„Слово“, № 230 и № 233.
293. *Перцовъ П.* На могилѣ Герцена.—„Слово“, № 132.
294. *Ивановскій В.* А. И. Герценъ и одинъ изъ его критиковъ (По поводу статьи г. Булгакова).—„Сынъ Отеч.“, № 143.

1906 г.

295. *Лемке М.* Дѣло о лицахъ, обвиняемыхъ въ сношеніяхъ съ лондонскими пропагандистами.—„Былое“, кн. IX, стр. 158—207; кн. X, стр. 80—120; кн. XI, стр. 194—220; кн. XII, стр. 160—204.
296. И. С. Тургеневъ и эмигранты. Сообщ. А. Безродный.—„Истор. Вѣстн.“, т. 103, кн. I, стр. 181—198.
297. *Глинскій Б.* Борьба за конституцію. Политическія движенія въ Николаевскую эпоху.—„Истор. Вѣстн.“, т. 105, кн. IX, стр. 903—914; т. 106, кн. XII, стр. 968—971.
298. *Лемке М.* Очерки жизни и дѣятельности Герцена, Огарева и ихъ друзей. Очеркъ первый. Съ дѣтства до тюрьмы. — „Міръ Божій“, кн. I, отд. I, стр. 36—69; Очеркъ второй. Арестъ, тюрьма и ссылка.—кн. II, отд. I, стр. 119—148: Очеркъ третій. Огаревъ и Сатинъ въ 1834—1841 гг.—кн. IV, отд. I, стр. 120—153. Очеркъ четвертый. Герценъ въ 1840—1847 гг.—кн. VII, отд. I, стр. 90—118.
299. *Ѳоминъ А.* Новый историко-литературный кладъ.—„Русск. Мысль“, кн. V, отд. II, стр. 13.
300. Записки *А. Унковскаго*.—„Русск. Мысль“, кн. VI, отд. II, стр. 192; кн. VII, отд. II, стр. 114.
301. Изъ дневника *М. И. Михайлова*.—„Русс. Стар.“, т. 127, кн. VIII, стр. 429 и 454.
302. Изъ писемъ къ Я. К. Гроту. (Приводится письмо Ю. Ѳ. Самарина къ А. Жизневскому о Герценѣ).—„Русск. Арх.“, кн. II, № 6, стр. 276.
303. Переписка И. С. Аксакова съ Н. И. Костомаровымъ о Малороссіи.—„Русск. Арх.“, кн. III, № 12, стр. 541.
304. *Иванова-Райкова С.* Памяти Герцена. Сонетъ.—„Современность“, кн. I, мартъ, стр. 73.
305. *Лемке М.* Герценъ въ Европѣ (1847—1851).—„Современный Міръ“, кн. I. (октябрь), отд. I, стр. 36—66.
306. *Ашевскій С.* Освобожденіе крестьянъ и „Колоколъ“.—„Совр. Міръ“, кн. XII, отд. II, стр. 261—296.
307. *Амфитеатровъ*. А. И. Герценъ.—„Двадц. Вѣкъ“, № 52 и № 53.
308. Лекція о Герценѣ проф. Ивановскаго.—„Наша Жизнь“, № 373.
309. Неизданное письмо Герцена къ Ю. Ф. Курута.—„Русск. Вѣд.“, № 62.
310. *В. К.* Неизвѣстный трудъ Герцена.—„Русь“, № 4.

1907 г.

311. *Книголюбецъ*. Отзывъ о дешевыхъ изданіяхъ сочиненій Герцена, выпущенныхъ издательствомъ Ф. Павленкова.—„Былое“, кн. I, стр. 304—305.
312. *Гершензонъ М.* Западные друзья Герцена. По неизданнымъ матеріаламъ. — „Былое“, кн. IV, стр. 62—94; кн. V, стр. 205—227.
313. *Успенскій М.* Дѣло о службѣ Герцена по вѣдомству императорскаго двора.—„Былое“, кн. VII, стр. 10—19.
314. Неизданное письмо Герцена къ Мишле. — „Былое“, кн. VII, стр. 29—37.

315. Письмо Герцена къ Мишле. Сообщ. М. Гершензонъ.—„Былое", кн. VII, стр. 20—28.

316. Пятидесятилѣтіе „Колокола" (Къ статьѣ приложены: два неизданныхъ портрета Герцена, снимокъ съ медали, выбитой по случаю 10-лѣтія „Вольной русской прессы", факсимиле двухъ прошеній Герцена и пая „Вольной русской типографіи").—„Былое", кн. VII, стр. 1—2.

317. Письмо Герцена къ Марко-Вовчку.—„Былое", кн. X, стр. 63—72.

318. *Сильчевскій. Д. П.* Отзывъ объ изданіяхъ сочиненія Герцена—„О развитіи революціонныхъ идей въ Россіи".—„Былое", кн. X, стр. 314—318.

318а. Владиміръ Энгельсонъ и его письма къ А. И. Герцену.—„Всемірн. Вѣстн.", кн. I, стр. 54—94.

319. Отзыв. *Евг. Л.* объ изданіи сочиненія Герцена—„Движеніе общественной мысли въ Россіи".—„Вѣстн. Евр.", кн. II, стр. 822—824.

320. Изъ переписки Герцена и Огарева. Сообщилъ Г. П. Георгіевскій.—„Вѣстн Евр.", кн. VI, стр. 636—691.

321. *Глинскій Б.* Очерки изъ исторіи революціоннаго движенія въ Россіи.—„Истор. Вѣст.", т. 107, кн. I, стр. 270, 274—278, 285—287; т. 109, кн. VIII, стр. 568—570, 582 и 583.

322. *Вѣтринскій Ч.* Къ біографіи Герцена и Бакунина.—„Русск. Мысль", кн. I. отд. II, стр. 56—60.

323. *Гершензонъ М.* Герценъ и Западъ.—„Русск. Мысль", кн. III, отд. II, стр. 135—157.

324. *Боборыкинъ П.* А. И. Герценъ.—„Русск. Мысль", кн. XI, отд. II, стр. 99—118.

325. *Ивановскій В.* Герценъ какъ соціалистъ.—„Образованіе", кн. II, отд. I, стр. 37—57; кн. II а, отд. II, стр. 92—116.

326. *Ашевскій С.* Реформы Александра II и „Колоколъ" Герцена.—„Современ. Міръ". кн. I, отд. I. стр. 52—72; кн. II, отд. I, стр. 226—242; кн. III, отд. I, стр. 277—296.

327. Замѣтка о лекціи г. Боборыкина о Герценѣ.—„Бирж. Вѣд.", № 9838 и „Товарищъ", 1906, № 208.

328. Даръ А. А. Герцена Румянцевскому музею.—„Бирж. Вѣд.", № 9838.

329. *Вѣтринскій Ч.* Герценъ.—„Нижегород. Листокъ", № 9.

330. *Семевскій В.* Герценъ.—„Обществ. Дѣло", № 6.

331. М. Герценъ о Гарибальди.—„Русск. Вѣд.", № 143.

332. *Родичевъ Ф.* Годовщина.—„Рѣчь", № 155.

333. *Новоселовъ В.* „Рыцарь истины".—„Слово" № 95.

334. *Тамаринъ Н.* Вечеръ въ память А. И. Герцена.—„Слово", № 117.

335. Сообщеніе объ опубликованіи въ „Revue des Revues" переписки Мишле съ Герценомъ. Корреспонд. изъ Парижа.—„Слово", № 140.

336. *Старцевъ. Г.* Герценъ и Гарибальди.—„Слово", № 181.

337. *Новоселовъ В.* Отзвучавшій „Колоколъ".—„Слово", № 189.

338. *Горянскій В.* Звонарь. Памяти Герцена. Стихотв.—„Слово", № 194.

339. *Е. А.* Герценъ въ академіи.—„Страна", № 7.

340. Замѣтка объ изданіи литературно-художественнаго сборника, посвященнаго памяти Герцена.—„Товарищъ", № 287.

341. *Богучарскій.* Къ пятидесятилѣтію „Колокола".—„Товарищъ", № 307.

342. *Во[illegible]новъ В.* 50-лѣтній юбилей „Колокола". — „Товарищъ", №

1908 г.

343. А. И. Герценъ въ его письмахъ къ Н. П. Огареву. Вторая половина 60-хъ годовъ. Сообщилъ Г. П. Георгіевскій.—„Вѣстн. Евр.“, кн. I, стр. 91—146.
344. Кружокъ имени А. И. Герцена.—„Слово“, № 354.

Важнѣйшимъ біографическимъ матеріаломъ является „Былое и Думы“ и другія сочиненія Герцена, а также рядъ его замѣтокъ и объясненій въ „Колоколѣ“. О роли „Колокола“ въ ходѣ работъ комиссій по крестьянскому дѣлу см. у Семенова, Иванюкова и въ др. сочиненіяхъ по исторіи освобожденія крестьянъ. Такъ какъ жизнь Герцена была тѣсно связана съ жизнью Огарева, то, изучая Герцена, необходимо быть знакомымъ и съ тѣмъ, что написано объ Огаревѣ. Списокъ литературы о немъ составленъ Д. Тихомировымъ (См. „Извѣстія II отд. И. А. Н.“, 1907, т. XII, кн. 4, стр. 361—395).

II.

Иностранные источники и книги, брошюры и статьи на русскомъ языкѣ, появившіяся за границей.

Указанія на иностранные источники и книги и брошюры, изданныя за границей на русскомъ языкѣ, взяты нами изъ „Источниковъ словаря русскихъ писателей“ С. А. Венгерова. Часть этихъ указаній собрана самимъ С. А. Венгеровымъ, часть сообщена ему В. Л. Бурцевымъ (В. Барановымъ). Намъ же принадлежатъ въ этомъ отдѣлѣ лишь небольшія дополненія. Конечно, предлагаемый списокъ далеко не исчерпываетъ всей богатой заграничной литературы о Герценѣ: составить полный перечень очень трудно, такъ какъ для этого нужно просмотрѣть всѣ заграничныя изданія болѣе, чѣмъ за 50 лѣтъ. Много вырѣзокъ статей о Герценѣ и его книгахъ изъ заграничной печати находится въ Румянцевскомъ Музеѣ въ Москвѣ, но сдѣлать точныя указанія нельзя, такъ какъ на вырѣзкахъ, за небольшими исключеніями, не указано не только года и нумера, но даже и названія изданія.

---

1) Энциклопедическіе словари. Наиболѣе объстоятельныя статьи въ „Grande Encyclopédie“ т. XX и у Ларусса.
2) „Bibliothèque Universelle de Genève“, 1851, Juin, p. 207.
3) „Deutsche Monatschrift“, 1851, Juni 1 („Wer ist schuld?“).
4) О „Le peuple russe et le socialisme“ Мишле, въ „Democratic Legends of the North“, 1852, стр. 125.
5) По поводу основанія вольной русской типографіи и ея

первыхъ изданій, въ „Demokracie Polskiem“, отъ 3-го іюня 1853 г.; о томъ же, въ „La Nation Bèlge“ (статья Ворцеля).

6) „France litt.“, Querard'a 1853, т. XI, p. 183.

7) „Unsere Zeit“. B. III, 128—140.

8) Переводъ на англійскій языкъ брошюры „Вольная русская община въ Лондонѣ русскому воинству въ Польшѣ“, съ введеніемъ редакціи, въ „Daily News“, 1854, 21 апр. („Adress to the russian armes“).

9) Le roman contemporain en Russie. Alexandre Hertzen. M. H. Delaveau, „Revue des deux Mondes“, 15 іюля 1854 г.

10) „Athenaeum français“, 1854, Mars 18.

11) Анонимное введеніе о Герценѣ, при „My Exile in Siberia“, 1855, стр. IX—XVII

12) „The Athenaeum“ № 1462, 3 ноября 1855 г. („The Polar Star“).

12a) О „My Exile in Siberia“. „The Athenaeum“ № 1460, 1855 г., 20 окт., стр. 1209—1211 и № 1465, 1855 г., 24 ноября, стр. 1371.

13) О „Тюрьмѣ и ссылкѣ“: a) „The Athenaeum“, 1855 г., № 1419, 6 янв.; b) Объ англійскомъ изд. той же книги, въ № 1421, стр. 83; c) „Revue des deux Mondes“, 1 сент. 1854 г. „Les années de Prison et d'Exil“, 857—899.

14) „Allgemeine Zeitung“, 1855, № 63.

15) Al. Hercen i Wolna Rossyiska drukarnja w Londynie. 1858.

16) Искандеръ-Герценъ. Берлинъ 1859. (Статьи противъ Герцена, собран. *Н. Елагинымъ*).

17) Записки *Ивана Головина*. Лейпцигъ. 1859. (6-й выпускъ „Русской Библіотеки“).

18) Alexander Herzen. — „Unsere Zeit“, 1859, т. III, стр. 128—140.

19) *Шедо-Ферроти*. Искандеръ-Герценъ. Берлинъ 1859.

20) *Долгоруковъ П.* „La Vérité sur la Russie“, стр. 336—337. Paris. 1860.

21) *H. Delaveau*. „Avant-Propos“ о Герценѣ, при „Le Monde Russe et la Révolution. Mémoires de A. Hertzen“. 1860—1862, т. III. (Изданіе съ иллюстраціями и примѣчаніями, составленными, очевидно, при помощи Герцена).

22) Шестой выпускъ „Etudes sur l'avenir de la Russie“ Шедо-Ферроти. (Le serfs non encore libérés). Berlin. 1861.

23) „The Rank and Talent of the Time“. London. 1861. (Для этого изданія Герценъ прислалъ автобіографическое письмо, хранящееся въ Британскомъ музеѣ).

24) „Gartenlaube“, 1861, № 48.

25) Много замѣтокъ о Герценѣ и его изданіяхъ помѣщено въ „Будущности“ Долгорукова 1861 г., „Правдивомъ“, 1862 г., „Листкѣ“ 1862—1864 гг.

26) Письмо А. И. Герцена къ русскому послу въ Лондонѣ съ отвѣтомъ и нѣкоторыми примѣчаніями Д. К. Шедо-Ферроти. Берлинъ 1862 и позднѣе.

27) „Revue des deux Mondes“ 15 янв. 1862 г. M. Charles de Mazade. „La Russie sous l'Empereur Alexandre II“; — Его же, вторая статья „La Russie sous l'Empereur Alexandre II. La crise de l'autocratie et la société russe“ 15 іюня, 1862 г.

28) Центральный народный польскій комитетъ въ Варшавѣ и издатели „Колокола“. Лондонъ. 1862.

29) Нынѣшнее состояніе Россіи и заграничные русскіе дѣятели. Berlin. 1862, 3 августа (съ приложеніемъ перевода трехъ статей о Герценѣ изъ нѣмецкой „Новой Ганноверской Газеты“ отъ 3, 5 и 7 января 1862 г.).

30) Много замѣтокъ о Герценѣ помѣщено въ издававшемся въ 1863—1865 гг. въ Брюсселѣ Léon Fontain'омъ „La Cloche", въ которомъ печатались, съ одной стороны, статьи Герцена изъ „Колокола", съ другой, замѣтки о немъ.

31) „Листокъ" кн. Долгорукова 1863, № 7. Услужливый дуракъ опаснѣе врага. (По поводу статьи Аскоченскаго въ „Домашней Бесѣдѣ" № 40).

32) „Le Nord" отъ 29 янв. 1863 г. Про офицеровъ Варшавскаго гарнизона. (Отвѣтъ Герцена Nord'у и Times'у въ „Колоколѣ" № 156).

33) *Edmond Charles.* Panthéon Parisien. Album des célébrités contemporaines. Alexandre Herzen. Paris. 1863.

34) 8-й выпускъ „Que fera-t-on de la Pologne?" 1864 г.

35) „Standard", 20 апр. 1864 г. „Account of visit paid by Garibaldi to M. Herzen".

35a) О томъ же статья Долгорукаго, въ „Листкѣ" № 19 (въ „Колоколѣ" за 1864 г. 15 авг., 15 сент. и 15 ноября статья Герцена „Camicia Rossa").

36) „Literarisches Centralblatt", 1865, № 34. (Nouvelle phase de la littérature russe, par A. Herzen. Bruxelles. 1864).

37) „Magazin für die Literatur des Auslandes", 1865, № 19. (A. Herzen über die russ. Literatur).

38) „Revue moderne", 1866, 1 Novembre, 189—214. (A. Herzen, par Ch. du Bouzet).

39) M. Charles de Mazade. „La Russie sous le Tzar Alexandre II.— La Société et le gouvernement russes depuis l'insurrection polonaise".—„Revue des deux Mondes" 15 Mars 1866.

40) *Ар. Бенни* (Benny) „Russian Society". — „Fortnightly Review", 1866, №№ 10 и 11.

41) *Серно-Соловьевичъ.* Наши домашнія дѣла. 1867.

42) „Истина", журналъ старообрядцевъ, издававш. въ Іоганнисбургѣ (въ Пруссіи), 1867—1868 гг. (Письма Огарева и объ Огаревѣ и Герценѣ). (Ср. Субботинъ, въ „Русс. Вѣстн." 1868, № 8).

43) *D. K. Schédo-Ferroti.* Le Nihilisme en Russie. Berlin et Bruxelles. 1867.

44) *Боборыкинъ.* Le nihilisme en Russie, 357—385.—„Revue Britannique", 1868 г., № 9. (Paris). То же по-англійски, въ „Fortnightly Review", 1868 г.

45) *Julius Eckardt.* „Modern Russia". Лондонъ. 1870.

46) *Огаревъ*, въ „Колоколѣ" 1870, № 3, 16 апр.

46a) „La Marseillaise", (Paris, газета Рошфора), № 37, 24 янв., статья S. Dereure. Тамъ же, въ № 38 „Enterrement civil d'Alexandre Hertzen, статья Collot, (рѣчь Вырубова), тамъ же, № 72, 73, статья Бакунина о Герценѣ (опроверженіе статей „Presse" и „Liberté" о Герценѣ).

47) „Notes and Queries", 1870, № 109.

48) „The Times", 1870, 22 янв., 10 февр., 18 февр. (Переводъ важнаго отрывка изъ воспоминаній Герцена, не вошедшаго въ собр. сочиненій).

49) A. Herzen. А. И. Герценъ. Нѣсколько словъ отъ русскаго къ русскимъ. 1870. Paris. Leipzig, Librairie internationale.

50) *Ральстонъ*, въ „Temple-Bar-Magazine", 1870, April.

51) „Allgemeine Zeitung", 1870, №№ 30—35.

52) „Illustrirte Zeitung", 1870, № 1390, съ портр.

53) „The Athenaeum", 1870, № 2205, p. 160—161.

54) *Рашъ Г.* въ „Neue Freie Presse", 1870, № 1944.

54a) *Блиндъ, Карлъ*, въ „Neue Freie Presse", 1870, №№ 1953 и 2036.

55) Zeitgenossen. „Alex. Herzen". Leipzig. 1871, pp. 96 (брошюра).

56) *Julius Eckardt.* Jungrussisch und Altlivländisch. Politische und culturgeschichtliche Aufsätze", 1871 г. Leipzig. (Глава „Alexander Herzen", стр. 124—197).

57) Biographische Skizzen von Alfred von Wurzbach. A. Herzen. Wien. 1871.

58) „Harper's New Monthly Magazine" 1872 г., № 9, стр. 581—593; № 10, стр. 722—732; № 11, стр. 849—560. „The Republican movement in Europe". (Три обширныя статьи Emilio Castelar). Кое-что было о Герценѣ и въ „La Russia contemporanea" Кастеляра. Madrid. 1881.

59) *Fr. Althaus,* въ „Unsere Zeit", 1872, т. VIII, № 1, стр. 21—56.

60) „Europa", 1873, № 10.

61) Предисловіе *(Вырубова)* при 1-мъ томѣ „Сочиненій А. И. Герцена", 1875 г., VII—XXIII стр.

62) Александръ Ивановичъ Герценъ (ст. *Лаврова?*), во „Впередъ", 1875, № 18, 1 окт., стр. 573—576; № 19, 15 окт., стр. 605—608; № 22, 1 декабря, ст. 697—704.

63) *M. Meysenbug.* Aus den Memoiren einer Idealistin. 1876.

64) *D-r. Mackenzie Wallace.* „Russia" и его-же статья въ „The Fortnightly Review". 1877, № 8, „Secret Societies in Russia", 149—169 стр.

65) *Eckardt.* La societé russe. Par un russe, съ предисловіемъ Antonin Proust, 2 v. Paris, 1877 г.

66) A. Herzen.—„La Rivista Republiciana", 1878.

67) Историческіе очерки Россіи со временъ войны до заключенія Берлинскаго договора. 1855—1878 гг. 4 т. 1879. (См. 3-й т. „Русская заграничная печать", стр. 253—272).

68) *Arnaudo (Giovanni Battista).* Il Nihilismo. Come è nato, come si è sviluppato, che cosa è, che cosa vuole, съ письмами И. С. Тургенева и А. А. Герцена (объ отцѣ). Torino. 1879, pp. 184.—То же по-французски, „Le Nihilisme et les Nihilistes". Paris. 1880 г.

69) *Ivan Golovin.* „Der russische Nihilismus. Meine Beziehungen zu Herzen und zu Bakunin nebst einer Einleitung über die Dekabristen". Leipzig 1880.

69a) Leroy-Beaulieu. „L'Empire des Tsars" 1881—1889 гг. и позднѣе.

70) *М. Драгомановъ.* „Историческая Польша и Великорусская демократія". Женева. 1882 г. (Изъ „Вольнаго Слова" 1881—1882 гг.). 511+VIII стр. (особенно главы: „Колоколъ" и польскій вопросъ до конца 1862 г." и „Герценъ и польскіе революціонеры въ 1862—1863 гг.").

71) „Вольное Слово", 1883, №№ 56—61. Изъ бумагъ „Колокола" М. Драгоманова (важныя для біографіи Герцена письма Самарина, Ив. Чичерина, Громеки, Мельгунова и др.).

72) *Alphons Thun.* „Geschichte der revolutionären Bewegungen in Russland". Leipzig. 1883.

73) *H. Sutterland Edwards,* въ статьѣ „The Romanoffs" въ „Harper's New Monthly Magazine".

74) *Левъ Тихомировъ.* „La Russie politique et sociale". Paris. 1886—1887 гг. 2 т. и 2-е изд. (Перев. на англійскій языкъ).

75) Предисловіе *Л. Тихомирова* къ книгѣ—„Колоколъ". Избранныя статьи А. И. Герцена". „Библіотека соціальныхъ знаній". Женева. 1887.

76) *И. Ягичъ*, въ „Arch. f. slav. Phil", 1888, B. XI, S. 157—158. (отзывъ о „Повѣсти о Царьградѣ").

77) *Karl Oldenberg*. „Der russische Nihilismus von seinen Anfängen bis zur Gegenwart". Leipzig. 1888.

78) „Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева къ А. И. Герцену" съ объяснительными примѣчаніями *М. Драгоманова* и его вводной статьей о Герценѣ. Genève. 1892. стр. XII+227. (То же въ нѣм. переводѣ Minzes'a 1894). (Выдержки въ „Истор. Вѣстн." въ статьяхъ *В. Батуринскаго* „Черты изъ жизни И. С. Тургенева" (1898) и „Герценъ и Тургеневъ" (1900, кн. I).

79) *W. J. Linton*. „European Republicans. Recollections of Mazzini and his Friends". London. 1893. (Главы „Herzen. Autobiography. Vivos voco", стр. 243—304).

80) *Rosen*. Die socialpolitischen Ideen A. Herzens. Halle. 1893.

81) *D-r. Otto von Sperber* (псевдонимъ, принадлежащій русскому писателю). Die socialpolitischen Ideen Alexander Herzens. Leipzig 1894. X+147.

82) То же—„Le vues théoriques de A. Herzen. Bruxelles. 1894

83) „Notes and Queries", 1894, № 130.

84) *Victor-Barrucaud*. A. Herzen.—„La Revue Blanche", 1895.

85) *Z. L. S.* Historya dwoch lat. Краковъ. 1895.

86) Листъ Украінки до Герцена.—„Жите і Слово", 1895, III, стр. 347.

87) *М. И. Венюковъ*. Изъ воспоминаній. 2-й т. Амстердамъ. 1896.

88) Письма М. А. Бакунина къ А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Изд. *Драгоманова*. Genève. 1896. (То же по нѣм. 1895 г.).

89) За сто лѣтъ. 1801—1896 гг. Сборникъ. Составилъ *Вл. Бурцевъ* при участіи *С. М. Кравчинскаго (Степняка)*. Лондонъ. 1897.

90) А. И. Герценъ. Его отношенія къ Мадзини, Орсини, Гарибальди и Прудону. Genève. 1901.

91) Герценъ и Огаревъ въ Швейцаріи. Ихъ послѣднія произведенія. Genève. 1901.

92) Изъ письма Л. Толстого къ В. Г. Черткову о Герценѣ въ книгѣ „О насиліи". Извѣстнѣйшая русская библіотека. Изд. Гуго Штейница. Часть 38. Берлинъ 1903.

Ровинскимъ въ его „Словарѣ портретовъ" указывается только одинъ портретъ Герцена, но ихъ было много за границей при его изданіяхъ.

УКАЗАТЕЛЬ [1]).

Авдѣевъ, М., писатель—91.
Адлербергъ, графъ—390.
Аксаковъ, И. С. — 149, 158, 304, 310, 334, 368, 381, 382.
Аксаковъ, К. С.—29, 33, 119, 121, 127, 128, 130, 163, 309, 389.
Аксаковъ, С.—267.
Аксбергъ Эмилія—45.
Александръ I—5, 12, 32, 55, 244, 252, 288.
Александръ II, Наслѣдникъ:—62, 70, 199; Императоръ:—287 — 289, 295—297, 299, 300, 309, 315 — 317, 320, 330—339, 341, 343, 344, 347, 348, 360, 379, 385, 391, 397—400, 409.
Алексѣй Петровичъ, царевичъ—291.
Аленицынъ, вятск. чиновн.—53.
Альтгаузъ Фридр., нѣм. эмигр.—256, 324.
Анненковъ, П. В., писат.—25, 64, 67, 68, 83, 93, 107, 114, 115, 124, 128, 129, 167, 179, 181, 190, 191, 204, 206 — 208, 226, 268, 321, 447, 459.
Анфантенъ (Enfantin)—37.
„Апогей и перигей“—371.
Аполлоній Тіанскій—67.
Араго, Эм.—447.
Араго, Этьеннъ—441, 447.
Аракчеевъ—419, 432.
Аргиропуло, рев.—348.
Арнгольдтъ, офиц. рев.—380.
Арсеньевъ К. И., воспитат. Александра II—70, 81.
Аттила—434.
Ашенбреннеръ, рев.—316.
„Aphorismata“ Тита Левіафанскаго—421—423.
Бабефъ, фр. рев.—360, 361.
Бабстъ, И., экон. 321.
Байронъ, лордъ—16, 58, 266.
Бакстъ, русскій эмигр.—406.
Бакунинъ, М.—33, 80, 86, 88, 122, 163, 178, 179, 181, 182, 199, 271, 272, 274, 358, 360, 361, 363, 365, 374, 375, 378, 381 — 383, 390, 401, 406, 411, 414, 415, 419, 426, 427, 433 — 435, 439, 441, 443, 462.
Бальзакъ, пис.—178.
Барбесъ, франц. рев.—281.
Бахметевъ, эмигр.—402.
Бедо, франц. ген.—189.

[1]) Въ указатель включены собственныя имена лицъ и названія произведеній и изданій Герцена. Имена авторовъ, упомянутыхъ въ библіографіи А. Г. Фомина, въ настоящій указатель не включены.

Безобразовъ, П. В., пис.—118.
„Безъ связи“—410, 424, 425.
Бенжаменъ Констанъ—34.
Бенкендорфъ, шефъ жандармовъ—31, 48, 84, 97, 106, 177.
Бентамъ—252, 429.
Березовскій, пол.—400.
Бернаръ, франц. эмигр.—299.
Берне—160, 213.
Беранже—34.
Бестужевъ-Марлинскій, Мих., декабр.—279, 289.
Билль І., англ. радикалъ—281.
Бирон, герц.—419.
Бисмаркъ—438, 439.
Благосвѣтловъ, писат.—355.
Бланки, франц. рев.—360, 361.
Бланъ, Луи, франц. соц.—113, 165, 263, 342, 343, 460, 463.
Блиндъ, К., нѣм. эмигр.—257, 449.
Боборыкинъ, П.—440, 442—445.
Бомарше, пис.—11.
Бонапартъ, принцъ Пьеръ—445.
Боткинъ, В. П.—80, 91, 107, 110, 113, 122, 128, 138, 183, 304, 310, 313.
Боткинъ, С. П., д-ръ—442.
Брайтъ, Дж., англ. либ.—306.
Браницкій Ксав., пол. эмигр.—192.
„Братьямъ на Руси“ — 272, 273, 276.
„Бруты и Кассіи III Отдѣленія“—366.
Буало, пис.—16.
Булгаковъ, С. Н.—223.
Булгаринъ, Ѳаддей — 90, 118, 353.
Бурачекъ, изд.—118.
Бушо, учит.—14.
„Былое и Думы“—263—271, 457, 462, 463.
Бѣлинскій, В. Г.—30, 33, 67, 79—82, 85, 86, 89—91, 93, 99, 100, 106, 107, 110, 114, 118, 122, 124 — 127, 132, 134, 148 — 151, 153—156, 367, 407, 459, 460, 465.
Бѣлоголовый, д-ръ—323, 396, 397, 407, 442.
Бюхнеръ, Л.—86.
Barrucaud, Victor—230, 235.
Валуевъ, мин.—349, 356, 390.
Варенцовъ—314.
Варнгагенъ, фонъ Энзе—275.
Вейль, Ж., фр. ист.—214, 215.
Велепольскій, маркизъ — 379, 380.
Вельтманъ, А. Ѳ.—95.
Верморель—444.
„Very dangerous!“—353, 354.
Веселовскій, А. Н.—159.
Вико—39, 68.
„Вильямъ Пеннъ“—78, 79.
Витбергъ, А. Л., архит. — 23, 55, 56, 58, 60, 61, 67, 68, 71, 75—78, 80.
Віельгорскій, графъ—103.
Владимиръ Мономахъ—243.
„Владимирскія Губ. Вѣдомости“—73, 74.
Волконскій, С. Г., дек.—297.
„Вольная русская община въ Лондонѣ Русскому воинству въ Польшѣ“—279.
Вольтеръ—3, 11, 19, 148, 150, 328, 453.
Вольфсонъ, переводч.—116.
Вормсъ, русскій эмигр.—406.
Ворцель, графъ Стан., эмигр.—264, 271, 272, 274, 275, 281, 372, 373.
„Вотяки и черемисы“—69.
„Вотяцкія молитвы“—69.
„Встрѣчи“—66, 67, 69.
Вырубовъ, Г., эмигр., позитивистъ—414, 439, 440, 442, 445—447, 452.

Вѣра Артамоновна, няня—5.
Вяземскій, кн. П. А.—90, 304.
„Вятскія Губернскія Вѣдомости“—69, 71.
„Vivat Polonia!“—340.
„Voix du peuple“—198, 199.

Гаагъ Генр. - Луиза, мать Герц.—3—6, 10—12, 19, 80, 168, 171, 209.
Гагарины, кн.—122, 341.
Гакстгаузенъ, бар.—125.
Гарибальди — 185, 257, 263, 326, 387, 388, 396, 413, 439.
Гаугъ, Эрн., полк.—447.
Ге Н. Н., худ.—325, 406, 408, 462.
Гегель — 39, 78, 85—90, 93, 99, 100, 101, 106, 122, 164, 178, 250.
Геденштернъ, тайн. агентъ—317.
Гедеоновъ, директ. театровъ—312.
Гейне, Г.—91, 160, 213, 448.
Гейнценъ, историкъ—235.
Гервегъ Георгъ—181, 199, 204, 205, 207, 208, 233, 265.
Гердеръ—39.
„Германскій путешественникъ“—50, 66.
Герценъ Александръ Алекс.—77, 325, 408.
Герценъ Егоръ Ивановичъ—6, 7, 17, 80, 171.
Герценъ Наталія Александровна—44 — 46, 48, 50 — 52, 54—64, 66, 68, 70, 71, 74—78, 80, 92, 99, 103, 105, 113, 162, 169 — 171, 190, 191, 197, 205 — 211, 265, 302, 386, 394, 449, 450, 454.
Гершензонъ, М. — 181, 240, 259, 271.
Герье, проф.—118.
Гете—11, 34, 50, 58, 64, 67, 87, 88, 203, 230, 255, 323, 463, 464.
Гизо—184.
Глинка, писатель—89.
Гоголь—26, 68, 81, 90, 101, 102, 121 — 123 151, 152, 170, 182, 203, 238, 247, 290, 316.
Голицынъ, кн. А. Ѳ.—47—49.
Голицынъ, кн. С. М.,—попеч.—31, 47, 48.
Голицынъ, кн. (музыкантъ)—342.
Головачевъ, общ. дѣят.—329.
Головинъ, И., эмигр. — 199, 279—281.
Головинъ, К.—159.
„Голоса изъ Россіи“—294, 295, 312, 317.
Голохвастовъ—168.
Голохвастовъ, звенигор. предв., 398.
Голохвастовы—30.
Гомеръ—101.
Гонта, гайдам.—384.
Гончаровъ, И., пис.—150.
Гончаровъ, Осипъ, „некрас.“—365.
Горчаковъ, кн.—310.
Гофманъ—66—68.
Грановскій, Т. Н.—80, 81, 85, 86, 88, 91, 106—110, 113, 114, 118, 121, 122, 126—129, 148, 159, 162—165, 167, 168, 171, 182, 185, 203, 205, 209, 219, 235, 278, 280, 292, 293, 319, 326, 353, 461.
Гречъ, Н.—89, 353.
Грибоѣдовъ—16, 17, 121.
Григоровичъ, Д., писат.—129, 152.
Гриммъ, фонъ, воспитатель Насл. Николая Александр.—307.
Грицнеры—447.
Громека, писат., жанд.—311.

Гюго, В.—178, 270, 281, 290, 323, 356.
Gfrörer—166.
Дантонъ—310.
Дантъ—56, 60, 67, 68.
Дашкова, кн. Е. Р.—85, 244, 245, 297.
Двигубскій, ректоръ—29.
Декандоль, ботаникъ—17.
Демунъ, Камиллъ—164, 178.
„Десятилѣтіе вольной русской типографіи"—271, 276, 287, 370.
„Десятое апрѣля 1861 г. и убійства въ Варшавѣ"—342.
Джонсъ Эрнестъ, чартистъ—281.
Дибичъ, фельдмаршалъ—34.
Диккенсъ, Чар.—396.
„Дилетантизмъ въ наукѣ" — 101, 132—140, 218.
Дмитревскій, истор.—73.
Дмитріевъ, И., писатель—67.
Дмитріевъ, М. А., писат.—286.
Добролюбовъ, Н.—143, 318, 319, 355, 356, 458.
„Докторъ, умирающіе и мертвые"—425.
Долгоруковъ, кн. В. А.—312, 315.
Долгоруковъ, кн. П. В.—339.
„Донозо Кортесъ"—199, 237.
Достоевскій, Ѳ.—145, 203, 465.
Драгомановъ, М. П.—374—378, 383.
Дубельтъ, Л.. зав. III Отд.—97, 98, 106, 177.
„Духу не достало"—340.
„Du développement des idées revolutionnaires en Russie"—202, 234, 240 и слѣд.
Европеусъ, бѣжецк. предв.—336, 338.
„Его превосходительство"—78.
Екатерина II—297, 298, 319.
Елагина, А. П.—122.
Елагинъ, Н.—317, 366.
Елена Павловна, Вел. Княгиня—322.
Елизавета, корол. англійская—299.
Елисеевъ, писатель—418.
Ермоловъ, А. П.—121, 182.
Ешемазеръ—67.
„Еще варіація на старую тему"—241.
Eckhardt—269, 366, 453.
Жеребцова, О. А.—85.
Жоржъ Зандъ—112, 153, 160, 178, 458.
Жуковскій, В. А.—16, 67, 70, 71, 80, 89, 90, 199, 287, 295.
Жуковскій, Н., эмигр.—391.
„Журналисты и террористы"—361.
„За пять лѣтъ"—337.
Зайчневскій, рев.—348.
Закревскій, графъ А.—304.
Зализнякъ, гайд.—384.
Зандъ, Карлъ—38.
„Записки Декабристовъ"—296.
„Записки одного молодого человѣка"—50, 69, 91.
„Зарево"—370.
Захарьина, Нат. Александр., см. Герценъ Н. А.
Зено-Свентославскій — 281, 292.
Зиновьевъ, воспитатель Наслѣд. Никол. Алекс.—307.
Зольгеръ—232.
Зонненбергъ, К. И.—21, 22, 171, 172.
Зуровъ, Э. А.—95—97.
„I Maestri"—67, 69, 80.
Іоаннъ Креститель—61.
Ибаевъ, оф.—49.
Ибсенъ, Генр.—226.
Ивановскій—229.

Иванъ Васильевичъ Грозный—95, 243, 286.
Ижицынъ, псевд.—318.
„Императоръ Александръ I и В. Н. Каразинъ"—360.
„Историческій Сборникъ" — 295.
Кабе—187.
Кавелинъ, К. Д.—3, 30, 107, 128, 280, 304, 310, 314, 348, 352.
Кавеньякъ, дикт. Парижа—190, 205, 207, 225.
Кайдановъ, ист.—358.
Кало, камерд.—6.
Кантъ, фил.—164, 292.
Капнистъ, В. В.—15.
Каппъ, Фр.—477.
„Капризы и раздумье"—132, 140, 148.
Каразинъ, В. Н.—288.
Каракозовъ, Д.—398, 399.
Карамзинъ, Н. М.—18, 22, 73, 151.
Карлейль, Т —264, 283.
Карлъ Великій—243.
Касаткинъ, эмигр.—391.
Катковъ, М.—80, 310, 353, 365—369, 382, 401, 447, 458.
Каховскій, декабр.—289.
Каченовскій, историкъ—30.
Каченовскій, харьков. проф.—338.
Качоровскій, статистикъ—256,
Кельсіевъ, В.—297, 313, 364, 365, 409, 417.
Кердеруа—215, 234.
Кетчеръ, Н. Х.—32, 38, 42, 74, 80, 107, 110, 128, 171, 322, 353.
Кинкель, нѣм. эмигр.—264, 281.
Кинэ—историкъ—258, 417.
Кириллъ, митрополитъ Бѣлокриницкій—365.
Кирѣевскій, И. В.—80, 119, 124, 127, 130, 287, 309.
Кирѣевскій, П. В.—80, 119, 130, 309.
Киселевъ, Н. Д., парижск. посланникъ—199.
Кларти—441.
Клейнмихель — министръ — 295, 417.
Клюшниковъ—33.
Козловъ, поэтъ—16.
„Колоколъ"—главы IX—XIII.
„Kolokol"—410—417.
Кольцовъ—247.
Конингемъ, В., англ. рад.—281.
Кинсидеранъ—113, 165.
Константинъ Николаевичъ, Вел. Князь—330, 341, 380.
Константинъ Павловичъ, Вел. Князь—3, 13, 22.
Контъ, О.—139, 442.
„Концы и Начала"—228, 241, 358, 396.
Коперникъ—38.
Корниловъ, А. А.—330.
Корниловъ, вятскій губернаторъ—70, 71.
Корфъ, баронъ—296.
Коршъ, Евг. Ѳ.—107, 128, 129, 164, 171, 353.
Коршъ М. Ѳ.—171.
Костровъ—29.
Костюшко—34.
Коцебу—11, 38.
Кочубей, кн. П.—305, 310.
Кошелевъ А. И. — 13, 286, 304, 329.
Кошутъ—264, 274, 281.
Кравчинскій-Степнякъ—402.
Краевскій А. А., издат. „Отеч. Зап." и „Голоса"—101, 133, 150, 368.
Красовъ—33.
„Крѣпеная собственность" — 238, 241, и слѣд. 276.

Кромвель О.—301, 435.
Кропоткинъ П.—267, 291, 305, 316, 333.
„Круповъ“ — 132, 140, 142, 145—148, 150, 153, 421.
Крыловъ Н. И., проф.—106.
Крюковъ Д. Л,, проф. —91, 106, 122.
Ксанфъ—102.
„Кто виноватъ“—17, 102, 132, 145, 150, 152—160.
Куперъ—281.
Курута, влад. губ.—73, 80.
Кучина Т., см. Пассекъ Т. П.
Кювье—17.
Кюстинъ, маркизъ де-,—111, 112.
Лавровъ—173.
Лаландъ, мат.—18.
Ламартинъ, 439.
Ламенне, хр. соц.—79.
Ланской, С., мин. вн. д.—330.
Лассаль Ф.—434.
Лафайетъ—34.
Лафонтенъ, роман.—11.
Лахтинъ, тов. Герцена — 33, 42, 48, 49.
„La belle France“—439.
„La conspiration russe de 1825“—296, 334.
Левицкій, двоюр. братъ Герцена—325.
Ледрю-Ролленъ—263, 281.
Лемке, М. К.—319.
Леонтьевъ—353.
Леопарди, ит. поэтъ—265.
Лерминье—39.
Лермонтовъ—29, 30, 90, 160, 239, 272.
Леру Пьеръ, соц.—79, 178, 187, 281.
Лесовскій, жанд.—38.
Линтонъ, англ. журн. —241, 243, 277.
Литтре—442.
„Лициній“—79.
Ловецкій, проф.—104.
Лопухинъ И. В.—297.
Лукіанъ, сат.—306.
Лужинъ, харьк. губ.—338.
Львовъ, комп.—325.
Льюисъ Дж., англ. пис.—264.
Людовикъ-Наполеонъ, см. Наполеонъ III.
Людовикъ-Филиппъ, кор. фр.—34.
Людовикъ XIV—47.
Людовикъ XV—263.
Людовикъ XVI—14, 226.
Лютеръ—40.
Магницкій—419.
Майковъ А. Н.—285.
Маловъ, проф.,—31.
Малярдье—447.
„Манифестъ!“—340, 341.
Маратъ—432.
Марія Александровна, Императрица—307.
Марксъ К.—229, 281, 443.
Мартенъ, Анри—447.
Мартьяновъ—379, 381, 391.
Масловъ, тов. Герцена—33.
Массоль—447.
Маршаль, учит.—16, 17, 19,
„Mater dolorosa“—344.
Мацини—185, 201, 210, 211, 233, 263, 272, 274, 277, 281, 283, 289, 290, 342, 343, 356, 362, 367, 373, 386, 411, 439.
Медвѣдева П. — 56, 70, 71, 103.
Медичи Дж.—201, 210.
Мейзенбугъ,—Мальвида фонъ, 233, 234, 261—263, 293, 302, 323, 324.
Мейнъ-Ридъ—281.
Мельгуновъ—304.
Мельниковъ, П. И. (Андрей Печерскій)—312.
Меровинги—228.
Меттернихъ—239, 384.

Мечниковъ Л., эмигр.—392.
Мещерскій, кн.. писат.—236.
Миллеръ, моск. полицм.—46.
Милль, Дж. Ст.—405.
Милорадовичъ, гр.—9, 12.
Милькъ—447.
Милюковъ А.—95, 323, 325.
Милюковъ П. Н.—207.
Милютинъ Н. А.—349.
Михайловскій Н. К.—143, 219, 252, 418.
Михайловъ М. Л., пис.—319, 346, 348, 357, 359.
Мицкевичъ. Ад.—121, 182, 192, 274.
Мишле, историкъ—39, 63, 181, 202, 210, 240, 241, 243, 264, 265, 270, 291, 297, 417.
Монтескье—39.
Мордини, ит. патр.—201.
Мортье, маршалъ—5.
Моссе Дж.—281.
„Моя жизнь“—69.
Муравьевъ М. Н. Виленскій—310, 317, 341, 381, 383, 409.
Муравьевъ-Апостолъ Серг.—279, 289.
Муравьевъ М. Н., писатель—15.
Мѣрославскій, пол. дикт.—378.
„Мысль и откровеніе“—69.
„MDCCCLXIII“—370.
Надсонъ С.—449.
Назимовъ, ген.-губ. 330.
„Наканунѣ“, ст. Герц.—339, 340.
Наполеонъ I—5, 18, 36, 91, 180, 182, 192, 243, 373, 431.
Наполеонъ III—189, 192, 196, 210, 213, 279, 298, 299, 317, 438.
Небаба, учит.—73.
Невѣдѣнскій—378.
Некрасова Е.—447.
Некрасовъ Н. А.—123, 128, 157, 239, 255, 409, 418, 458.
Нессельроде—180.
Нечаевъ,—391, 403, 427.
Никитенко А. В.—42, 170, 203, 286, 307, 311, 318, 321, 369, 384.
Николай I—13, 49, 65, 71, 85, 91, 97, 110, 116, 170, 171, 180, 199, 202, 244, 245, 255, 267, 271, 275, 277, 278, 280, 281, 284—287, 289—292, 296, 300, 329, 332, 337, 340, 346, 373, 388, 390, 417.
„Новгородъ Великій и Владиміръ на Клязьмѣ“—95.
Норовъ А., мин.—317.
Носковъ, тов. Герц.—33.
Нуаръ, фр. журналистъ—445.
„Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ развитіи чести“—132.
Оболенскій, тов. Герц.—38, 47, 52.
„Общее вѣче“, листки при „Колоколѣ“—363, 364.
„Общій фондъ“—402, 404—406.
Огарева М. Л.—24, 78.
Огаревъ Ник. Плат.—21—27, 30, 32, 33, 35, 37—39, 41—43, 47—50, 63, 64, 68, 78, 80, 83, 86, 92, 93, 101, 107, 112, 114, 162—165, 171, 205, 250, 291—293, 296, 302, 303, 318, 326, 330, 332, 333, 336, 337, 350, 352, 353, 355, 358, 362—365, 367, 375, 381, 385, 386, 388—396, 401, 406, 407, 409, 413—419, 421, 432, 439—442, 443, 445, 455, 458, 459, 462.
Одоевскій, кн. В. Ѳ.—67, 81, 90, 348.

Оkенъ—18, 29.
Орловъ М. Ѳ., дек.—121.
Орловъ Алексѣй, графъ—317, 335.
Орсини Ф.—185, 210, 263, 298, 301.
Оуэнъ Роб.—219, 220.
Павелъ, апостолъ—89.
Павелъ I, императоръ — 32, 291, 399.
Павловъ М. Г., профессоръ—29.
Павловъ Н. Ф., писатель—353, 369.
Пальмерстонъ, лордъ—298.
Панаевъ В., инж.—321, 325, 335.
Панаевъ И. И., пис.—91, 107, 128, 129.
Панинъ В. Н., мин. юст.—304, 310, 317, 337, 338.
Пантелѣевъ Л. Ф.—348.
Парацельсъ—67.
Паскаль Б.—68, 152.
Паскевичъ, фельдмаршалъ — 180, 182.
Пассекъ Вадимъ—20, 32, 35, 40.
Пассекъ Людмила—40, 41.
Пассекъ Т. П. (Кучина)—7, 9, 20, 21, 31, 40, 45, 46, 171, 205, 323, 325, 326.
Пафнутій коломенскій, старооб. еп.—365.
Пеллико, Сильвіо—269.
Перевощиковъ, проф.—38, 87.
Пестель, декабристъ—13, 255, 279, 282, 289, 296, 360, 452.
Петрашевскій—166.
Петровъ, Антонъ, безднинскій крест.—360, 434.
Петровъ, Григ. Спир.—236.
Петръ, апостолъ—51.
Петръ I — 74, 114, 120, 122, 124, 130, 156, 244, 245, 280, 308, 331, 419, 428.
Петръ III—291, 297, 399.
Печеринъ—86, 122, 272, 273.
Піа Феликсъ—281.
Пій IX—184, 289.
Пикулинъ, д-ръ—280, 292.
Пироговъ, д-ръ—30.
Писаревъ Д.—143, 403.
„Письма изъ Avenue Marigny"—160, 182, 183.
„Письма изъ провинціи"—338.
„Письма изъ Франціи и Италіи"—182, 187, 193, 202—204, 212 — 217, 225, 227, 252.
„Письма къ противнику" — 160, 166, 177, 389.
„Письма къ старому товарищу"419, 426—436.
„Письма объ изученіи природы" — 18, 132, 138 — 140, 160, 218.
„Письма о Казани, Перми и Вяткѣ"—67.
„Письмо къ Мишле"—202, 241 и слѣд., 317.
Плетневъ—90.
Поггенполь—317.
Погодинъ М. П. — 117, 286, 368, 408, 412, 456.
Поджіо, дек.—297.
Подулакъ Ал.—447.
„Подъ судъ"—304—305.
Полевой Н.—16, 40.
Полежаевъ, поэтъ—42, 272.
„Поляки прощаютъ насъ" — 273.
„Полярная Звѣзда" — 149, 289—292, 303, 317, 334.
Понятовскій—297.
„По поводу одной драмы"—132, 144, 149, 153, 202.
„Порядокъ торжествуетъ" — 349, 350, 402, 403.
Потебня, русск. оф.—381, 382, 402.
Прово, м-мъ, няня—6.

Протопоповъ И. Е.—14—16.
„Прощаніе“—193—195.
Прудонъ—113, 166, 179, 198, 211, 215, 216, 290, 356, 378.
Пуансо, мат.—29.
Пугачовъ, Ем.—360, 432, 439.
Пульскій—264.
Пушкинъ А.—15, 16, 19, 22, 70, 88—90, 118, 121, 195, 246, 247, 272, 275, 291, 307, 405.
Пыпинъ А.—241, 323.
Пьянчани—281.
Рагозинъ Е. И.—440.
Радецкій—225.
Радищевъ—297, 298, 328.
Расинъ—16.
Распайль—281.
Рафаэль—61.
Рашъ Г.—192, 447, 449.
Ребильо, преф.—199.
Рейсъ, хим.—29.
Родбертусъ—229.
Розетти—447.
Ронге—281.
Ростковскій, унт.-оф.—380.
Ростовцевъ, Я.—310, 335, 336.
Ростовцевы, графы—366.
Ротшильдъ—199.
Рубинштейнъ—366.
„Русскій народъ и соціализмъ“, см. „Письмо къ Мишле“.
„Русскія тѣни“—32.
Руссо Ж.-Ж. — 45, 79, 270, 328, 451
Рылѣевъ, дек. — 15, 22, 272, 279, 287, 289, 291.
Рѣдкинъ П. Г.—106, 121, 128, 164.
„Рѣчь при открытіи библіотеки“—71, 80, 366.
Савичъ А. Н.—33.
Сазоновъ Н. И. — 32, 41, 42, 178, 179, 182, 271.
Салтыковъ-Щедринъ — 113, 156, 418.
Самаринъ Юрій — 286, 304, 310, 313, 329, 335, 378, 389—391.
Сатинъ Н.—32, 38, 41, 42, 48, 49, 80, 171, 353.
Саффи — 185, 201, 263, 281, 325, 342.
Саша, горничн.—45.
Свербѣевъ—122, 446.
Свифтъ—146.
Семевскій, В.—328, 329.
Сенковскій О.—90, 353.
Сентъ Илеръ, Ж.—18.
Сенъ Симонъ—35—38, 40, 47.
Сергѣенко П.—462.
Серно-Соловьевичъ, А. — 355—357, 391, 402, 403, 406, 444, 448, 458.
Серно-Соловьевичъ, Н. — 356, 359, 360.
„Симпатія“—69.
Скарятинъ—406.
Скворцевъ, учитель — 54, 68, 71.
Скребицкій—321.
„Скуки ради“—418, 423.
Сливицкій, оф. 380.
Соколовскій В. И.—43, 47—49.
Соллогубъ, пис.—91, 103, 170, 171.
Соловьевъ, С. М.—118.
„Сорока-воровка“ — 107, 129, 132, 152, 153.
Sperber, О.—229.
Спиноза—133, 136, 433, 437.
Стааль, моск. ком.—47.
Станкевичъ Н. В.—33, 80, 86, 106, 107, 122.
„Старая и молодая Россія“ — 361.
„Старый міръ и Россія“—241, 246, 277.
Стасовъ В.—325.
Стахевичъ С. Г.—355.
Стенька Разинъ—359.
Стефановичъ, рев.—401.

Страховъ Н.—146.
Строгановъ гр. А. Г.,—81, 92.
Строгановъ С. Г., московскій попеч.—29, 105, 126, 139.
Суворовъ, ген. губ.—390.
Суворовъ, фельдмаршалъ—114.
Сунгуровъ—33, 38.
„Съ того берега“ — 140, 188, 193, 198, 199, 201, 202, 211, 212, 217 — 237, 246, 265, 295, 461, 464.
Сѣраковскій—381, 389.
Сю, Евг.—178, 281.

Таландье—342.
Таль Н. А. (Утина)—207.
„Тамъ“—67, 69.
Тарле—281.
Таузенау К., д-ръ—447.
Телеки—180.
Тимашевъ, мин.—317, 322.
„Титъ Левіафанскій“, см. „Aphorismata“.
Тихомировъ Левъ—236.
Товянскій—182.
Токвиль—70.
Толочановъ, крѣп. врачъ—8.
Толстой, графъ Алексѣй К. — 158.
Толстой Левъ Н. 141, 145, 217, 223, 224, 230, 462, 465.
Торе—258, 454.
„Трагедія за стаканомъ грога“—421.
Третьяковскій—29.
Тромпетеръ Полина—54, 69, 71.
Трюбнеръ, изд.—292, 317.
Тургеневъ А. И.—122.
Тургеневъ И. С.—15, 26, 99, 107, 114, 128, 129, 145, 150, 152, 158, 160, 184, 189, 191, 239, 242, 247, 267, 268, 291, 304, 306, 310, 312, 313, 321, 332, 334, 345, 353, 363, 366, 396, 403, 407, 415, 416, 439, 445, 447.
Тургеневъ Н., дек.—195, 297, 304, 446.
Тучкова-Огарева Наталья Алексѣевна—24, 191, 206, 209, 302, 326, 342, 393, 426, 445, 450.
Тучковы—191.
Тхоржевскій, типогр.—299.
Тьерри О.—91.
Тютчевъ Н.—321.
Тюфяевъ, вят. губ. — 52, 53, 65, 69, 70.
„Ты побѣдилъ, Галилеянинъ“ („За три года“)—330—333.

Уваровъ гр. С.—28, 29, 31, 32, 116.
Ульбахъ—447.
Унковскій А. М. — 311, 329, 330, 335, 336, 338, 346.
Утинъ Н., эм.—391,392.
Уткинъ—48, 49.

Фази Дж.—326.
Фальмерейеръ—232.
Фейербахъ Л.—101, 102, 134, 135, 143, 145, 218, 361, 462.
Филаретъ, митр.—13, 139, 393.
Филипповичъ, г-жа Л.—99, 100.
Финленъ—281.
Фиркъ (Шедо-Ферроти), баронъ—366.
Фонъ-Поль К.—84.
Фохтъ Карлъ — 86, 201, 209, 265, 292, 403.
Франкъ, изд.—318.
„Франція или Англія?“ —298.
Фребель, Юліусъ—232.
Фурье—113, 165.

Хлопинъ, совѣтникъ—97.
Хованская княгиня—44 — 46, 75.
Хоецкій—363.
Хомяковъ, А. С.—80, 119, 121—123, 125, 130, 163, 287, 309, 355, 358, 390.
Хрулевъ—380.

Цезарь—101.
Цихановичъ, ссыльн.—52, 67.
Чаадаевъ, П. Я.—67, 68, 108, 109, 122, 127.
Чарторыжскій, Адамъ—379.
Черкасскій, кн.—329.
Черкескій, типогр.—272, 276.
Чернышевскій, Н. Г.—143, 154, 241, 329, 331, 347, 348, 353—358, 375, 389, 391, 402, 406.
Чертковъ—462.
„Четырнадцатое декабря 1825 г. и Императоръ Николай"—296.
Чеховъ, Ан.—422, 423.
Чичеринъ, Б. 319, 320—322, 353, 447.
Чичероваккіо—184, 185.
Чумаковъ, проф.—29.
Шаннеръ—281.
Шассенъ—447.
Шведенборгъ—67.
„Шведъ"—67.
Шевченко—152, 314.
Шевыревъ, С. П.—118, 126, 127.
Шедо-Ферроти, см. Фирксъ.
Шекспиръ—101, 405.
Шелгунова, Л. П.—391.
Шелгуновъ, Н.—323.
Шеллингъ—29, 39.
Шиллеръ—16, 21—23, 130, 305, 451, 455.
Штирнеръ, М.—226.
Штраусъ, Д.—178.
Штраусъ, муз.—178.
Шуваловъ, П. А.—312, 313.
Шумахеръ—314.
Щепкинъ, М. С.—80, 107, 122, 128, 171, 276, 277, 312.
Щербатовъ, М.—297, 298.
Эккартсгаузенъ—61, 67.
Экъ, И. И.—17, 19.
Эленборо, лордъ—385.
Элпидинъ, эм.—394, 406.
Энгельсонъ—149, 202, 209, 270, 278, 279, 290, 364.
Эпикуръ—143.
Эрнъ, вят. чин.—55.
Эрнъ, М. К.—171, 191.
„**Ю**рьевъ день"—247, 273.
Языковъ, поэтъ—127.
Якоби, нѣм. рад.—232.
Якоби, рус. эмигр.—391.
Яковлевъ, Александръ Алексѣевичъ, дядя Гер.—3, 17.
Яковлевъ, Алексѣй Александровичъ, дѣдъ Гер.—3.
Яковлевъ, Алексѣй Александровичъ, „химикъ", двоюр. братъ Герц.—17—19, 29, 37.
Яковлевъ, Иванъ Алексѣевичъ, отецъ Герц.—3—14, 18, 19, 21, 22, 28, 44, 46, 55, 69, 75, 76, 80, 104, 148, 168.
Яковлевъ, Левъ Алексѣевичъ, сенаторъ—3, 5, 6, 8.
Яковлевъ, Петръ Алексѣевичъ, дядя Герц.—3.
Яковлевы, родъ ихъ—3.
Якушкинъ, И., дек,—291, 297.
„**Ѳ**еодора" („Легенда о св. Ѳеодорѣ")—50, 67.

06372

DK 209.6 .H4 C4
Gertsen.
Stanford University Libraries
3 6105 041 533 386

16

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

AUG 24 1978